ПИСАРЕВ
2

ПИСАРЕВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Д. И. ПИСАРЕВ

СОЧИНЕНИЯ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1955

Д. И. ПИСАРЕВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ 2

СТАТЬИ

1862-1864



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1955

Подготовка текста
и примечания
Ю. С. СОРОКИНА

СТАТЬИ

1862-1864



БАЗАРОВ

(«Отцы и дети», роман И. С. Тургенева)

I

Новый роман Тургенева дает нам все то, чем мы привыкли наслаждаться в его произведениях. Художественная отделка безукоризненно хороша; характеры и положения, сцены и картины нарисованы так наглядно и в то же время так мягко, что самый отчаянный отрицатель искусства почувствует при чтении романа какое-то непонятное наслаждение, которого не объяснишь ни занимательностью рассказываемых событий, ни поразительною верностью основной идеи. Дело в том, что события вовсе не занимательны, а идея вовсе не поразительно верна. В романе нет ни завязки, ни развязки, ни строго обдуманного плана; есть типы и характеры, есть сцены и картины, и, главное, сквозь ткань рассказа сквозит личное, глубоко-прочувствованное отношение автора к выведенным явлениям жизни. А явления эти очень близки к нам, так близки, что все наше молодое поколение с своими стремлениями и идеями может узнать себя в действующих лицах этого романа. Я этим не хочу сказать, чтобы в романе Тургенева идеи и стремления молодого поколения отразились так, как понимает их само молодое поколение; к этим идеям и стремлениям Тургенев относится с своей личной точки зрения, а старик и юноша почти никогда не сходятся между собою в убеждениях и симпатиях. Но если вы подойдете к зеркалу, которое, отражая предметы, изменяет немного их цвета, то вы узнаете свою физиономию, несмотря на погрешности зеркала. Читая роман Тургенева, мы видим в нем типы настоящей минуты и в то же время отдаем себе отчет в тех изменениях, которые испытали явления действительности, проходя через сознание художника. Любопытно проследить, как действуют на человека, подобного Тургеневу, идеи и стремления, шевелящиеся в нашем молодом поколении и проявляющиеся, как все живое, в самых разнообразных формах, редко привлекательных, часто оригинальных, иногда уродливых.

Такого рода исследование может иметь очень глубокое значение. Тургенев — один из лучших людей прошлого поколения; определить, как он смотрит на нас и почему он смотрит на нас так, а не иначе, значит найти причину того разлада, который замечается повсеместно в нашей частной семейной жизни; того разлада, от которого часто гибнут молодые жизни и от которого постоянно кряхтят и охают старички и старушки, не успевающие обработать на свою колодку понятия и поступки своих сыновей и дочерей. Задача, как видите, жизненная, крупная и сложная; сладить я с нею, вероятно, не слажу, а подумать — подумаю.

Роман Тургенева, кроме своей художественной красоты, замечателен еще тем, что он шевелит ум, наводит на размышления, хотя сам по себе не разрешает никакого вопроса и даже освещает ярким светом не столько выводимые явления, сколько отношения автора к этим самым явлениям. Наводит он на размышления именно потому, что весь насквозь проникнут самою полною, самою трогательною искренностью. Все, что написано в последнем романе Тургенева, прочувствовано до последней строки; чувство это прорывается помимо воли и сознания самого автора и согревает объективный рассказ, вместо того чтобы выражаться в лирических отступлениях. Автор сам не отдает себе ясного отчета в своих чувствах, не подвергает их анализу, не становится к ним в критические отношения. Это обстоятельство дает нам возможность видеть эти чувства во всей их нетронутой непосредственности. Мы видим то, что просвечивает, а не то, что автор хочет показать или доказать. Мнения и суждения Тургенева не изменят ни на волос нашего взгляда на молодое поколение и на идеи нашего времени; мы их даже не примем в соображение, мы с ними даже не будем спорить; эти мнения, суждения и чувства, выраженные в неподражаемо живых образах, дадут только материалы для характеристики прошлого поколения, в лице одного из лучших его представителей. Постараюсь сгруппировать эти материалы и, если это мне удастся, объясню, почему наши старики не сходятся с нами, качают головами и, смотря по различным характерам и по различным настроениям, то сердятся, то недоумевают, то тихо грустят по поводу наших поступков и рассуждений.

II

Действие романа происходит летом 1859 года. Молодой кандидат, Аркадий Николаевич Кирсанов, приезжает в деревню к своему отцу вместе с своим приятелем, Евгением Васильевичем Базаровым, который, очевидно, имеет сильное влияние на образ мыслей своего товарища. Этот Базаров, человек сильный по уму и по характеру, составляет центр всего романа. Он — представитель нашего молодого поколения; в его личности сгруппированы те свойства, кото-

рые мелкими долями рассыпаны в массах; и образ этого человека ярко и отчетливо вырисовывается перед воображением читателя.

Базаров — сын бедного уездного лекаря; Тургенев ничего не говорит об его студенческой жизни, но надо полагать, что то была жизнь бедная, трудовая, тяжелая; отец Базарова говорит о своем сыне, что он у них отроду лишней копейки не взял; по правде сказать, многого и нельзя было бы взять даже при величайшем желании, следовательно, если старик Базаров говорит это в похвалу своему сыну, то это значит, что Евгений Васильевич содержал себя в университете собственными трудами, перебивался копеечными уроками и в то же время находил возможность дельно готовить себя к будущей деятельности. Из этой школы труда и лишений Базаров вышел человеком сильным и суровым; прослушанный им курс естественных и медицинских наук развил его природный ум и отучил его принимать на веру какие бы то ни было понятия и убеждения; он сделался чистым эмпириком; опыт сделался для него единственным источником познания, личное ощущение — единственным и последним убедительным доказательством. «Я придерживаюсь отрицательного направления, — говорит он, — в силу ощущений. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? Тоже в силу ощущения — это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу». Как эмпирик, Базаров признает только то, что можно ощупать руками, увидать глазами, положить на язык, словом, только то, что можно освидетельствовать одним из пяти чувств. Все остальные человеческие чувства он сводит на деятельность нервной системы; вследствие этого наслаждения красотами природы, музыкою, живописью, поэзиею, любовью женщины вовсе не кажутся ему выше и чище наслаждения сытным обедом или бутылкою хорошего вина. То, что восторженные юноши называют идеалом, для Базарова не существует; он все это называет «романтизмом», а иногда вместо слова «романтизм» употребляет слово «вздор». Несмотря на все это, Базаров не ворует чужих платков, не вытягивает из родителей денег, работает усидчиво и даже не прочь от того, чтобы сделать в жизни что-нибудь путное. Я предчувствую, что многие из моих читателей зададут себе вопрос: а что же удерживает Базарова от подлых поступков и что побуждает его делать что-нибудь путное? Этот вопрос поведет за собою следующее сомнение: уж не притворяется ли Базаров перед самим собою и перед другими? Не рисуется ли он? Может быть, он в глубине души признает многое из того, что отрицает на словах, и, может быть, именно это признаваемое, это затаившееся спасает его от нравственного падения и от нравственного ничтожества. Хоть мне Базаров ни сват, ни брат, хоть я, может быть, и не сочувствую ему, однако, ради отвлеченной справедливости, я постараюсь ответить на вопрос и опровергнуть лукавое сомнение.

На людей, подобных Базарову, можно негодовать, сколько душе угодно, но признавать их искренность — решительно необходимо. Эти люди могут быть честными и бесчестными, гражданскими деятелями и отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствам и по личным вкусам. Ничто, кроме личного вкуса, не мешает им убивать и грабить, и ничто, кроме личного вкуса, не побуждает людей подобного закала делать открытия в области наук и общественной жизни. Базаров не украдет платка по тому же самому, почему он не съест кусок тухлой говядины. Если бы Базаров умирал с голоду, то он, вероятно, сделал бы то и другое. Мучительное чувство неудовлетворенной физической потребности победило бы в нем отвращение к дурному запаху разлагающегося мяса и к тайному посягательству на чужую собственность. Кроме непосредственного влечения, у Базарова есть еще другой руководитель в жизни — расчет. Когда он бывает болен, он принимает лекарство, хотя не чувствует никакого непосредственного влечения к касторовому маслу или к ассафетиде. Он поступает таким образом по расчету: ценою маленькой неприятности он покупает в будущем большее удобство или избавление от большей неприятности. Словом, из двух зол он выбирает меньшее, хотя и к меньшему не чувствует никакого влечения. У людей посредственных такого рода расчет большею частью оказывается несостоятельным; они по расчету хитрят, подличают, воруют, запутываются и в конце концов остаются в дураках. Люди очень умные поступают иначе; они понимают, что быть честным очень выгодно и что всякое преступление, начиная от простой лжи и кончая смертоубийством, — опасно и, следовательно, неудобно. Поэтому очень умные люди могут быть честны по расчету и действовать начистоту там, где люди ограниченные будут вилять и метать петли. Работая неутомимо, Базаров повиновался непосредственному влечению, вкусу и, кроме того, поступал по самому верному расчету. Если бы он искал протекции, кланялся, подличал, вместо того чтобы трудиться и держать себя гордо и независимо, то он поступал бы нерасчетливо. Карьеры, пробитые собственною головою, всегда прочнее и шире карьер, проложенных низкими поклонами или заступничеством важного дядюшки. Благодаря двум последним средствам можно попасть в губернские или в столичные тузы, но по милости этих средств никому, с тех пор как мир стоит, не удавалось сделаться ни Вашингтоном, ни Гарибальди, ни Коперником, ни Генрихом Гейне. Даже Герострат — и тот пробил себе карьеру собственными силами и попал в историю не по протекции. Что же касается до Базарова, то он не метит в губернские тузы: если воображение иногда рисует ему будущность, то эта будущность как-то неопределенно широка; работает он без цели, для добывания насущного хлеба или из любви к процессу работы, а между тем он смутно чувствует по количеству собственных сил, что работа его не останется бесследною и к чему-нибудь приведет. Базаров

чрезвычайно самолюбив, но самолюбие его незаметно именно вследствие своей громадности. Его не занимают те мелочи, из которых складываются обыденные людские отношения; его нельзя оскорбить явным пренебрежением, его нельзя обрадовать знаками уважения; он так полон собою и так непоколебимо-высоко стоит в своих собственных глазах, что делается почти совершенно равнодушным к мнению других людей. Дядя Кирсанова, близко подходящий к Базарову по складу ума и характера, называет его самолюбие «сатанинскою гордостью». Это выражение очень удачно выбрано и совершенно характеризует нашего героя. Действительно, удовлетворить Базарова могла бы только целая вечность постоянно расширяющейся деятельности и постоянно увеличивающегося наслаждения, но, к несчастию для себя, Базаров не признает вечного существования человеческой личности. «Да вот, например, — говорит он своему товарищу Кирсанову, — ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, — она такая славная, белая, — вот сказал ты: Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; — ну, а дальше?»

Итак, Базаров везде и во всем поступает только так, как ему хочется или как ему кажется выгодным и удобным. Им управляют только личная прихоть или личные расчеты. Ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя он не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. Впереди — никакой высокой цели; в уме — никакого высокого помысла, и при всем этом — силы огромные. — Да ведь это безнравственный человек! Злодей, урод! — слышу я со всех сторон восклицания негодующих читателей. Ну, хорошо, злодей, урод; браните больше, преследуйте его сатирой и эпиграммой, негодующим лиризмом и возмущенным общественным мнением, кострами инквизиции и топорами палачей, — и вы не вытравите, не убьете этого урода, не посадите его в спирт на удивление почтенной публике. Если базаровщина — болезнь, то она болезнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какие паллиативы и ампутации. Относитесь к базаровщине как угодно — это ваше дело; а остановить — не остановите; это та же холера.

III

Болезнь века раньше всего пристает к людям, стоящим по своим умственным силам выше общего уровня. Базаров, одержимый этою болезнью, отличается замечательным умом и вследствие этого производит сильное впечатление на сталкивающихся с ним

людей. «Настоящий человек, — говорит он, — тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть». Под определение настоящего человека подходит именно сам Базаров; он постоянно сразу овладевает вниманием окружающих людей; одних он запугивает и отталкивает; других подчиняет, не столько доводами, сколько непосредственною силою, простотою и цельностью своих понятий. Как человек замечательно умный, он не встречал себе равного. «Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, — проговорил он с расстановкой, — тогда я изменю свое мнение о самом себе».

Он смотрит на людей сверху вниз и даже редко дает себе труд скрывать свои полупрезрительные, полупокровительственные отношения к тем людям, которые его ненавидят, и к тем, которые его слушаются. Он никого не любит; не разрывая существующих связей и отношений, он в то же время не сделает ни шагу для того, чтобы снова завязать или поддержать эти отношения, не смягчит ни одной ноты в своем суровом голосе, не пожертвует ни одною резкою шуткою, ни одним красным словцом.

Поступает он таким образом не во имя принципа, не для того, чтобы в каждую данную минуту быть вполне откровенным, а потому, что считает совершенно излишним стеснять свою особу в чем бы то ни было, по тому же самому побуждению, по которому американцы задирают ноги на спинки кресел и заплевывают табачным соком паркетные полы пышных гостиниц. Базаров ни в ком не нуждается, никого не боится, никого не любит и, вследствие этого, никого не щадит. Как Диоген, он готов жить чуть не в бочке и за это предоставляет себе право говорить людям в глаза резкие истины по той причине, что это ему нравится. В цинизме Базарова можно различить две стороны — внутреннюю и внешнюю: цинизм мыслей и чувств и цинизм манер и выражений. Ироническое отношение к чувству всякого рода, к мечтательности, к лирическим порывам, к излияниям составляет сущность внутреннего цинизма. Грубое выражение этой иронии, беспричинная и бесцельная резкость в обращении относятся к внешнему цинизму. Первый зависит от склада ума и от общего миросозерцания; второй обусловливается чисто внешними условиями развития, свойствами того общества, в котором жил рассматриваемый субъект. Насмешливые отношения Базарова к мягкосердечному Кирсанову вытекают из основных свойств общего базаровского типа. Грубые столкновения его с Кирсановым и с его дядею составляют его личную принадлежность. Базаров не только эмпирик — он, кроме того, неотесанный бурш, не знающий другой жизни, кроме бездомной, трудовой, подчас дико-разгульной жизни бедного студента. В числе почитателей Базарова найдутся, наверное, такие люди, которые будут восхищаться его грубыми манерами, следами бурсацкой жизни, будут подражать этим манерам, составляющим во всяком случае недостаток, а не достоинство, будут даже, может быть, утрировать

его угловатость, мешковатость и резкость. В числе ненавистников Базарова найдутся, наверное, такие люди, которые обратят особенное внимание на эти неказистые особенности его личности и поставят их в укор общему типу. Те и другие ошибутся и обнаружат только глубокое непонимание настоящего дела. И тем и другим можно будет напомнить стих Пушкина:

Быть можно дельным человеком,
И думать о красе ногтей.

Можно быть крайним материалистом, полнейшим эмпириком, и в то же время заботиться о своем туалете, обращаться утонченно-вежливо с своими знакомыми, быть любезным собеседником и совершенным джентльменом. Это я говорю для тех читателей, которые, придавая важное значение утонченным манерам, с отвращением посмотрят на Базарова, как на человека mal élevé и mauvais ton. * Он действительно mal élevé и mauvais ton, но это нисколько не относится к сущности типа и не говорит ни против него, ни в его пользу. Тургеневу пришло в голову выбрать представителем базаровского типа человека неотесанного; он так и сделал и, конечно, рисуя своего героя, не утаил и не закрасил его угловатостей; выбор Тургенева можно объяснить двумя различными причинами: во-первых, личность человека, беспощадно и с полным убеждением отрицающего все, что другие признают высоким и прекрасным, всего чаще вырабатывается при серой обстановке трудовой жизни; от сурового труда грубеют руки, грубеют манеры, грубеют чувства; человек крепнет и прогоняет юношескую мечтательность, избавляется от слезливой чувствительности; за работою мечтать нельзя, потому что внимание сосредоточено на занимающем деле; а после работы нужен отдых, необходимо действительное удовлетворение физическим потребностям, и мечта нейдет на ум. На мечту человек привыкает смотреть как на блажь, свойственную праздности и барской изнеженности; нравственные страдания он начинает считать мечтательными; нравственные стремления и подвиги — придуманными и нелепыми. Для него, трудового человека, существует только одна, вечно повторяющаяся забота: сегодня надо думать о том, чтобы не голодать завтра. Эта простая, грозная в своей простоте забота заслоняет от него остальные, второстепенные тревоги, дрязги и заботы жизни; в сравнении с этою заботою ему кажутся мелкими, ничтожными, искусственно созданными разные неразрешенные вопросы, неразъясненные сомнения, неопределенные отношения, которые отравляют жизнь людей обеспеченных и досужих.

Таким образом пролетарий-труженик самым процессом своей жизни, независимо от процесса размышления, доходит до практического реализма; он за недосугом отучается мечтать, гоняться

* Плохо воспитанного и дурного тона (*франц.*). — *Ред.*

за идеалом, стремиться в идее к недостижимо-высокой цели. Развивая в труженике энергию, труд приучает его сближать дело с мыслью, акт воли с актом ума. Человек, привыкший надеяться на себя и на свои собственные силы, привыкший осуществлять сегодня то, что задумано было вчера, начинает смотреть с более или менее явным пренебрежением на тех людей, которые, мечтая о любви, о полезной деятельности, о счастии всего человеческого рода, не умеют шевельнуть пальцем, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить свое собственное, в высшей степени неудобное положение. Словом, человек дела, будь он медик, ремесленник, педагог, даже литератор (можно быть литератором и человеком дела в одно и то же время), чувствует естественное, непреодолимое отвращение к фразистости, к трате слов, к сладким мыслям, к сентиментальным стремлениям и вообще ко всяким претензиям, не основанным на действительной, осязательной силе. Такого рода отвращение ко всему отрешенному от жизни и улетучивающемуся в звуках составляет коренное свойство людей базаровского типа. Это коренное свойство вырабатывается именно в тех разнородных мастерских, в которых человек, изощряя свой ум и напрягая мускулы, борется с природою за право существовать на белом свете. На этом основании Тургенев имел право взять своего героя в одной из таких мастерских и привести его в рабочем фартуке, с неумытыми руками и угрюмо-озабоченным взглядом в общество фешенебельных кавалеров и дам. Но справедливость побуждает меня выразить предположение, что автор романа «Отцы и дети» поступил таким образом не без коварного умысла. Этот коварный умысел и составляет ту вторую причину, о которой я упомянул выше. Дело в том, что Тургенев, очевидно, не благоволит к своему герою. Его мягкую, любящую натуру, стремящуюся к вере и сочувствию, коробит от разъедающего реализма; его тонкое эстетическое чувство, не лишенное значительной дозы аристократизма, оскорбляется даже самыми легкими проблесками цинизма; он слишком слаб и впечатлителен, чтобы вынести безотрадное отрицание; ему необходимо помириться с существованием если не в области жизни, то по крайней мере в области мысли или, вернее, мечты. Тургенев, как нервная женщина, как растение «не тронь меня», сжимается болезненно от самого легкого соприкосновения с букетом базаровщины.

Чувствуя, таким образом, невольную антипатию к этому направлению мысли, он вывел его перед читающей публикою в возможно неграциозном экземпляре. Он очень хорошо знает, что в публике нашей очень много фешенебельных читателей, и, рассчитывая на утонченность их аристократического вкуса, не щадит грубых красок, с очевидным желанием уронить и опошлить вместе с героем тот склад идей, который составляет общую принадлежность типа. Он очень хорошо знает, что большинство его читателей скажут только о Базарове, что он дурно воспитан и что его нельзя пу-

стить в порядочную гостиную; дальше и глубже они не пойдут; но, говоря с такими людьми, даровитый художник и честный человек должен быть в высшей степени осторожен из уважения к самому себе и к той идее, которую он защищает или опровергает. Тут надо держать в узде свою личную антипатию, которая при известных условиях может превратиться в непроизвольную клевету на людей, не имеющих возможности защищаться тем же оружием.

IV

Я старался до сих пор обрисовать крупными чертами личность Базарова, или, вернее, тот общий, складывающийся тип, которого представителем является герой тургеневского романа. Надобно теперь проследить по возможности его историческое происхождение; надо показать, в каких отношениях находится Базаров к разным Онегиным, Печориным, Рудиным, Бельтовым и другим литературным типам, в которых, в прошлые десятилетия, молодое поколение узнавало черты своей умственной физиономии. Во всякое время жили на свете люди, недовольные жизнью вообще или некоторыми формами жизни в особенности; во всякое время люди эти составляли незначительное меньшинство. Масса во всякое время жила припеваючи и, по свойственной ей неприхотливости, удовлетворялась тем, что было налицо. Только какое-нибудь материальное бедствие, вроде «труса, глада, потопа, нашествия иноплеменных», приводило массу в беспокойное движение и нарушало обычный, сонливо-безмятежный процесс ее прозябания. Масса, составленная из тех сотен тысяч неделимых, [1] которые никогда в жизни не пользовались своим головным мозгом как орудием самостоятельного мышления, живет себе со дня на день, обделывает свои делишки, получает местечки, играет в картишки, кое-что почитывает, следит за модою в идеях и в платьях, идет черепашьим шагом вперед по силе инерции и, никогда не задавая себе крупных, многообъемлющих вопросов, никогда не мучась сомнениями, не испытывает ни раздражения, ни утомления, ни досады, ни скуки. Эта масса не делает ни открытий, ни преступлений; за нее думают и страдают, ищут и находят, борются и ошибаются другие люди, вечно для нее чужие, вечно смотрящие на нее с пренебрежением и в то же время вечно работающие для того, чтобы увеличить удобства ее жизни. Эта масса, желудок человечества, живет на всем на готовом, не спрашивая, откуда оно берется, и не внося с своей стороны ни одной полушки в общую сокровищницу человеческой мысли. Люди массы у нас в России учатся, служат, работают, веселятся, женятся, плодят детей, воспитывают их, словом, живут самою полною жизнью, совершенно довольны собою и средою, не желают никаких усовершенствований и, шествуя по торной дороге, не подозревают ни возможности, ни необ-

ходимости других путей и направлений. Они держатся заведенного порядка по силе инерции, а не вследствие привязанности к нему; попробуйте изменить этот порядок — они сейчас сживутся с нововведением; закоренелые староверы являются самобытными личностями и стоят выше безответного стада. А масса сегодня ездит по скверным проселочным дорогам и мирится с ними; через несколько лет она сядет в вагоны и будет любоваться быстротою движения и удобствами путешествия. Эта инерция, эта способность на все соглашаться и со всем уживаться составляет, может быть, драгоценнейшее достояние человечества. Убогость мысли уравновешивается таким образом скромностью требований. Человек, у которого не хватает ума на то, чтобы придумать средства для улучшения своего невыносимого положения, может назваться счастливым только в том случае, если он не понимает и не чувствует неудобств своего положения. Жизнь человека ограниченного почти всегда течет ровнее и приятнее жизни гения или даже просто умного человека. Умные люди не уживаются с теми явлениями, к которым без малейшего труда привыкает масса. К этим явлениям умные люди, смотря по различным условиям темперамента и развития, становятся в самые разнородные отношения.

Вот, положим, живет в Петербурге молодой человек, единственный сын богатых родителей. Он умен. Учили его как следует, слегка всему тому, что по понятиям папеньки и гувернера необходимо знать молодому человеку хорошего семейства. Книги и уроки ему надоели; надоели и романы, которые он читал сначала потихоньку, а потом открыто; он жадно набрасывается на жизнь, танцует до упаду, волочится за женщинами, одерживает блестящие победы. Незаметно пролетает два-три года; сегодня то же самое, что вчера, завтра то же, что сегодня, — шуму, толкотни, движения, блеску, пестроты много, а в сущности разнообразия впечатлений нет; то, что видел наш предполагаемый герой, то уже понято и изучено им; новой пищи для ума нет, и начинается томительное чувство умственного голода, скуки. Разочарованный или, проще и вернее, скучающий молодой человек начинает раздумывать, что бы ему сделать, за что бы ему приняться. Работать, что ли? Но работать, задавать себе работу для того, чтобы не скучать, — все равно, что гулять для моциона без определенной цели. О таком фокусе умному человеку и подумать странно. Да и наконец, не угодно ли вам найти у нас такую работу, которая заинтересовала и удовлетворила бы умного человека, не втянувшегося в эту работу смолоду. Уж не поступить ли ему на службу в казенную палату? Или не готовиться ли для развлечения к магистерскому экзамену? Не вообразить ли себя художником и не приняться ли, в двадцать пять лет, за рисование глаз и ушей, за изучение перспективы или генерал-баса?

Разве влюбиться? — Оно, конечно, не мешало бы, да беда в том, что умные люди очень требовательны и редко удовлетворяются

теми экземплярами женского пола, которыми изобилуют блестящие петербургские гостиные. С этими женщинами они любезничают, с ними они сводят интриги, на них они женятся, иногда по увлечению, чаще по благоразумному расчету; но сделать из отношений с подобными женщинами занятие, наполняющее жизнь, спасающее от скуки, — это для умного человека немыслимо. В отношения между мужчиною и женщиною проникла та же мертвящая казенщина, которая обуяла остальные проявления нашей частной и общественной жизни. Живая природа человека здесь, как и везде, скована и обесцвечена мундирностью и обрядностью. Ну вот, молодому человеку, изучившему мундир и обряд до последних подробностей, остается только или махнуть рукой на свою скуку, как на неизбежное зло, или с отчаянья броситься в разные эксцентричности, питая неопределенную надежду рассеяться. Первое сделал Онегин, второе — Печорин; вся разница между тем и другим заключается в темпераменте. Условия, при которых они формировались и от которых они заскучали, — одни и те же; среда, которая приелась тому и другому, — та же самая. Но Онегин холоднее Печорина, и потому Печорин дурит гораздо больше Онегина, кидается за впечатлениями на Кавказ, ищет их в любви Бэлы, в дуэли с Грушницким, в схватках с черкесами, между тем как Онегин вяло и лениво носит с собою по свету свое красивое разочарование. Немножко Онегиным, немножко Печориным бывал и до сих пор бывает у нас всякий мало-мальски умный человек, владеющий обеспеченным состоянием, выросший в атмосфере барства и не получивший серьезного образования.

Рядом с этими скучающими трутнями являлись и до сих пор являются толпами люди грустящие, тоскующие от неудовлетворенного стремления приносить пользу. Воспитанные в гимназиях и университетах, эти люди получают довольно основательные понятия о том, как живут на свете цивилизованные народы, как трудятся на пользу общества даровитые деятели, как определяют обязанности человека разные мыслители и моралисты. В неопределенных, но часто теплых выражениях говорят этим людям профессора о честной деятельности, о подвиге жизни, о самоотверженни во имя человечества, истины, науки, общества. Вариации на эти теплые выражения наполняют собою задушевные студенческие беседы, во время которых высказывается так много юношески-свежего, во время которых так тепло и безгранично верится в существование и в торжество добра. Ну вот, проникнутые теплыми словами идеалистов-профессоров, согретые собственными восторженными речами, молодые люди из школы выходят в жизнь с неукротимым желанием сделать хорошее дело или — пострадать за правду. Пострадать им иногда приходится, но сделать дело никогда не удается. Они ли сами в этом виноваты, та ли жизнь виновата, в которую они вступают, — рассудить мудрено. Верно по крайней мере то, что переделать условия жизни у них не хва-

тает сил, а ужиться с этими условиями они не умеют. Вот они мечутся из стороны в сторону, пробуют свои силы на разных карьерах, просят, умоляют общество: «Пристрой ты нас куда-нибудь, возьми ты наши силы, выжми из них для себя какую-нибудь частицу пользы; погуби нас, но губи так, чтобы наша гибель не пропала даром». Общество глухо и неумолимо; горячее желание Рудиных и Бельтовых пристроиться к практической деятельности и видеть плоды своих трудов и пожертвований остается бесплодным. Еще ни один Рудин, ни один Бельтов не дослужился до начальника отделения; да к тому же — странные люди! — они, чего доброго, даже этою почетною и обеспеченною должностью не удовлетворились бы. Они говорили на таком языке, которого не понимало общество, и после напрасных попыток растолковать этому обществу свои желания они умолкали и впадали в очень извинительное уныние. Иные Рудины успокоивались и находили себе удовлетворение в педагогической деятельности; делаясь учителями и профессорами, они находили исход для своего стремления к деятельности. Сами мы, говорили они себе, ничего не сделали. По крайней мере передадим наши честные тенденции молодому поколению, которое будет крепче нас и создаст себе другие, более благоприятные времена. Оставаясь таким образом вдали от практической деятельности, бедные идеалисты-преподаватели не замечали того, что их лекции плодят таких же Рудиных, как и они сами, что их ученикам придется точно так же оставаться вне практической деятельности или делаться ренегатами, отказываться от убеждений и тенденций. Рудиным-преподавателям было бы тяжело предвидеть, что они даже в лице своих учеников не примут участия в практической деятельности; а между тем они бы ошиблись, если бы, даже предвидя это обстоятельство, они подумали, что не приносят никакой пользы. Отрицательная польза, принесенная и приносимая людьми этого закала, не подлежит ни малейшему сомнению. Они размножают людей, *неспособных* к практической деятельности; вследствие этого самая практическая деятельность, или, вернее, те формы, в которых она обыкновенно выражается теперь, медленно, но постоянно понижаются во мнении общества. Лет двадцать тому назад все молодые люди служили в различных ведомствах; люди неслужащие принадлежали к исключительным явлениям; общество смотрело на них с состраданием или с пренебрежением; сделать карьеру — значило дослужиться до большого чина. Теперь очень многие молодые люди не служат, и никто не находит в этом ничего странного или предосудительного. Почему так случилось? А потому, мне кажется, что к подобным явлениям пригляделись, или, что то же самое, потому что Рудины размножились в нашем обществе. Не так давно, лет шесть тому назад, вскоре после Крымской кампании, наши Рудины вообразили себе, что их время настало, что общество примет и пустит в ход те силы, которые они давно предлагали ему

с полным самоотвержением. Они рванулись вперед; литература оживилась; университетское преподавание сделалось свежее; студенты преобразились; общество с небывалым рвением принялось за журналы и стало даже заглядывать в аудитории; возникли даже новые административные должности. Казалось, что за эпохою бесплодных мечтаний и стремлений наступает эпоха кипучей, полезной деятельности. Казалось, рудинству приходит конец, и даже сам г. Гончаров похоронил своего Обломова и объявил, что под русскими именами таится много Штольцев. Но мираж рассеялся — Рудины не сделались практическими деятелями; из-за Рудиных выдвинулось новое поколение, которое с укором и насмешкой отнеслось к своим предшественникам. «Об чем вы ноете, чего вы ищете, чего просите от жизни? Вам небось счастия хочется, — говорили эти новые люди мягкосердечным идеалистам, тоскливо опустившим крылышки, — да ведь мало ли что! Счастие надо завоевать. Есть силы — берите его. Нет сил — молчите, а то и без вас тошно!» — Мрачная, сосредоточенная энергия сказывалась в этом недружелюбном отношении молодого поколения к своим наставникам. В своих понятиях о добре и зле это поколение сходилось с лучшими людьми предыдущего; симпатии у них были общие; желали они одного и того же; но люди прошлого метались и суетились, надеясь где-нибудь пристроиться и как-нибудь, втихомолку, урывками, незаметно влить в жизнь свои честные убеждения. Люди настоящего не мечутся, ничего не ищут, нигде не пристраиваются, не подаются ни на какие компромиссы и ни на что не надеются. В практическом отношении они так же бессильны, как и Рудины, но они сознали свое бессилие и перестали махать руками. «Я не могу действовать теперь, — думает про себя каждый из этих новых людей, — не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружает, и не стану скрывать этого презрения. В борьбу со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До тех пор буду жить сам по себе, как живется, не мирясь с господствующим злом и не давая ему над собою никакой власти. Я — чужой среди существующего порядка вещей, и мне до него нет никакого дела. Занимаюсь я хлебным ремеслом, думаю — что хочу, и высказываю — что можно высказать».

Это холодное отчаяние, доходящее до полного индифферентизма и в то же время развивающее отдельную личность до последних пределов твердости и самостоятельности, напрягает умственные способности; не имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать; не имея возможности переделать жизнь, люди вымещают свое бессилие в области мысли; там ничто не останавливает разрушительной критической работы; суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги, и миросозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений.

«— Что же вы делаете? (спрашивает дядя Аркадия у Базарова).

— А вот что мы делаем (отвечает Базаров): прежде — в недавнее время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда.

— Ну да, да, вы — обличители, — так, кажется, это называется? Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но...

— А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и к доктринерству; мы увидали, что умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда *грубейшее суеверие нас душит*, * когда все наши акционерные общества лопаются единственно от того, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы напиться дурману в кабаке...

— Так, — перебил Павел Петрович, — так; вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься?

— И решились ни за что не приниматься, — угрюмо повторил Базаров. Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом, — повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью».

Итак, вот мои выводы. Человек массы живет по установленной норме, которая достается ему на долю не по свободному выбору, а потому, что он родился в известное время, в известном городе или селе. Он весь опутан разными отношениями: родственными, служебными, бытовыми, общественными; мысль его скована принятыми предрассудками; сам он не любит ни этих отношений, ни этих предрассудков, но они представляются ему «пределом, его же не прейдеши», и он живет и умирает, не проявив своей личной воли и часто даже не заподозрив в себе ее существования. Если попадется в этой массе человек поумнее, то он, смотря по обстоятельствам, в том или в другом отношении выделится из массы и распорядится по-своему, как ему выгоднее, удобнее и приятнее. Умные люди, не получившие серьезного образования, не выдерживают жизни массы, потому что она надоедает им своею бесцветностью; они сами не имеют понятия о лучшей жизни и потому, инстинктивно отшатнувшись от массы, остаются в пустом пространстве, не зная, куда идти, зачем жить на свете, чем разогнать тоску. Здесь отдельная личность отрывается от стада, но не умеет

* Курсив Д. И. Писарева. — *Ред.*

распорядиться собою. Другие люди, умные и образованные, не удовлетворяются жизнью массы и подвергают ее сознательной критике; у них составлен свой идеал; они хотят идти к нему, но, оглядываясь назад, постоянно боязливо спрашивают друг друга: а пойдет ли за нами общество? А не останемся ли мы одни с своими стремлениями? Не попадем ли мы впросак? У этих людей, за недостатком твердости, дело останавливается на словах. Здесь личность сознает свою отдельность, составляет себе понятие самостоятельной жизни и, не осмеливаясь двинуться с места, раздваивает свое существование, отделяет мир мысли от мира жизни. Люди третьего разряда идут дальше — они сознают свое несходство с массою и смело отделяются от нее поступками, привычками, всем образом жизни. Пойдет ли за ними общество, до этого им нет дела. Они полны собою, своею внутреннею жизнью и не стесняют ее в угоду принятым обычаям и церемониалам. Здесь личность достигает полного самоосвобождения, полной особности и самостоятельности.

Словом, у Печориных есть воля без знания, у Рудиных — знание без воли; у Базаровых есть и знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое.

V

До сих пор я говорил об общем жизненном явлении, вызвавшем собою роман Тургенева; теперь надо посмотреть, как это явление отразилось в художественном произведении. Узнавши, что такое Базаров, мы должны обратить внимание на то, как понимает этого Базарова сам Тургенев, как он заставляет его действовать и в какие отношения ставит его к окружающим людям. Словом, я приступлю теперь к подробному фактическому разбору романа.

Я сказал выше, что Базаров приезжает в деревню к своему приятелю, Аркадию Николаевичу Кирсанову, подчиняющемуся его влиянию. Аркадий Николаевич — молодой человек, неглупый, но совершенно лишенный умственной оригинальности и постоянно нуждающийся в чьей-нибудь интеллектуальной поддержке. Он, вероятно, лет на пять моложе Базарова и в сравнении с ним кажется совершенно не оперившимся птенцом, несмотря на то, что ему около двадцати трех лет и что он кончил курс в университете. Благоговея перед своим учителем, Аркадий с наслаждением отрицает авторитеты; он делает это с чужого голоса, не замечая таким образом внутреннего противоречия в своем поведении. Он слишком слаб, чтобы держаться самостоятельно в той холодной атмосфере трезвой разумности, в которой так привольно дышится Базарову; он принадлежит к разряду людей, вечно опекаемых и вечно не замечающих над собою опеки. Базаров относится к нему покровительственно и почти всегда насмешливо;

Аркадий часто спорит с ним, и в этих спорах Базаров дает полную волю своему увесистому юмору. Аркадий не любит своего друга, а как-то невольно подчиняется неотразимому влиянию сильной личности, и притом воображает себе, что глубоко сочувствует базаровскому миросозерцанию. Отношения его к Базарову чисто головные, сделанные на заказ; он познакомился с ним где-нибудь в студенческом кругу, заинтересовался цельностью его воззрений, покорился его силе и вообразил себе, что он его глубоко уважает и от души любит. Базаров, конечно, ничего не вообразил и, нисколько не стесняя себя, позволил своему новому прозелиту любить его, Базарова, и поддерживать с ним постоянные отношения. Поехал он с ним в деревню не для того, чтобы доставить ему удовольствие, и не для того, чтобы познакомиться с семейством своего нареченного друга, а просто потому, что это было по дороге, да и наконец, отчего же не пожить недели две в гостях у порядочного человека, в деревне, летом, когда нет никаких отвлекающих занятий и интересов?

Деревня, в которую приехали наши молодые люди, принадлежит отцу и дяде Аркадия. Отец его, Николай Петрович Кирсанов, — человек лет сорока с небольшим; по складу характера он очень похож на своего сына. Но у Николая Петровича между его умственными убеждениями и природными наклонностями гораздо больше соответствия и гармонии, чем у Аркадия. Как человек мягкий, чувствительный и даже сентиментальный, Николай Петрович не порывается к рационализму и успокоивается на таком миросозерцании, которое дает пищу его воображению и приятно щекочет его нравственное чувство. Аркадий, напротив того, хочет быть сыном своего века и напяливает на себя идеи Базарова, которые решительно не могут с ним срастись. Он — сам по себе, а идеи — сами по себе болтаются, как сюртук взрослого человека, надетый на десятилетнего ребенка. Даже та ребяческая радость, которая обнаруживается в мальчике, когда его шутя производят в большие, даже эта радость, говорю я, заметна в нашем юном мыслителе с чужого голоса. Аркадий щеголяет своими идеями, старается обратить на них внимание окружающих, думает про себя: «Вот какой я молодец!» и, увы, как дитя малое, неразумное, иногда провирается и доходит до явного противоречия с самим собою и с накладными своими убеждениями.

Дядя Аркадия, Павел Петрович, может быть назван Печориным маленьких размеров; он на своем веку пожуировал и подурачился, и, наконец, все ему надоело; пристроиться ему не удалось, да этого и не было в его характере; добравшись до той поры, когда, по выражению Тургенева, сожаления похожи на надежды и надежды похожи на сожаления, бывший лев удалился к брату в деревню, окружил себя изящным комфортом и превратил свою жизнь в спокойное прозябание. Выдающимся воспоминанием из прежней шумной и блестящей жизни Павла Петровича было сильное

чувство к одной великосветской женщине, чувство, доставившее ему много наслаждений и вслед за тем, как бывает почти всегда, много страданий. Когда отношения Павла Петровича к этой женщине оборвались, то жизнь его совершенно опустела.

«Как отравленный, бродил он с места на место, — говорит Тургенев, — он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека, он мог похвастаться двумя-тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал; он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностью, — знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России: в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорее».

Как человек желчный и страстный, одаренный гибким умом и сильною волею, Павел Петрович резко отличается от своего брата и от племянника. Он не поддается чужому влиянию; он сам подчиняет себе окружающие личности и ненавидит тех людей, в которых встречает себе отпор. Убеждений у него, по правде сказать, не имеется, но зато есть привычки, которыми он очень дорожит. Он по привычке толкует о правах и обязанностях аристократии и по привычке доказывает в спорах необходимость *принсипов*. Он привык к тем идеям, которых держится общество, и стоит за эти идеи, как за свой комфорт. Он терпеть не может, чтобы кто-нибудь опровергал эти понятия, хотя в сущности он не питает к ним никакой сердечной привязанности. Он гораздо энергичнее своего брата спорит с Базаровым, а между тем Николай Петрович гораздо искреннее страдает от его беспощадного отрицания. В глубине души Павел Петрович такой же скептик и эмпирик, как и сам Базаров; в практической жизни он всегда поступал и поступает, как ему вздумается, но в области мысли он не умеет признаться в этом перед самим собою и потому поддерживает на словах такие доктрины, которым постоянно противоречат его поступки. Дяде и племяннику следовало бы поменяться между собою убеждениями, потому что первый ошибочно приписывает себе веру в *принсипы*, второй точно так же ошибочно воображает себя крайним скептиком и смелым рационалистом. Павел Петрович начинает чувствовать к Базарову сильнейшую антипатию с первого знакомства. Плебейские манеры Базарова возмущают отставного денди; самоуверенность и нецеремонность его раздражают Павла Петровича как недостаток уважения к его изящной особе. Павел Петрович видит, что Базаров не уступит ему преобладания над собою, и это возбуждает в нем чувство досады, за которое он ухватывается как за развлечение среди глубокой деревенской скуки. Ненавидя самого Базарова, Павел Петрович возмущается всеми его мнениями, придирается к нему, насильно

вызывает его на спор и спорит с тем рьяным увлечением, которое обыкновенно обнаруживают люди праздные и скучающие.

А что же делает Базаров среди этих трех личностей? Во-первых, он старается обращать на них как можно меньше внимания и бо́льшую часть своего времени проводит за работою; шляется по окрестностям, собирает растения и насекомых, режет лягушек и занимается микроскопическими наблюдениями; на Аркадия он смотрит как на ребенка, на Николая Петровича — как на добродушного старичка, или, как он выражается, на старенького романтика. К Павлу Петровичу он относится не совсем дружелюбно; его возмущает в нем элемент барства, но он невольно старается скрывать свое раздражение под видом презрительного равнодушия. Ему не хочется сознаться перед собою, что он может сердиться на «уездного аристократа», а между тем страстная натура берет свое; он часто запальчиво возражает на тирады Павла Петровича и не вдруг успевает овладеть собою и замкнуться в свою насмешливую холодность. Базаров не любит ни спорить, ни вообще высказываться, и только Павел Петрович отчасти обладает уменьем вызвать его на многозначительный разговор. Эти два сильные характера действуют друг на друга враждебно; видя этих двух людей лицом к лицу, можно себе представить борьбу, происходящую между двумя поколениями, непосредственно следующими одно за другим. Николай Петрович, конечно, неспособен быть угнетателем, Аркадий Николаевич, конечно, неспособен вступить в борьбу с семейным деспотизмом; но Павел Петрович и Базаров могли бы, при известных условиях, явиться яркими представителями: первый — сковывающей, леденящей силы прошедшего, второй — разрушительной, освобождающей силы настоящего.

На чьей же стороне лежат симпатии художника? Кому он сочувствует? На этот существенно важный вопрос можно отвечать положительно, что Тургенев не сочувствует вполне ни одному из своих действующих лиц; от его анализа не ускользает ни одна слабая или смешная черта; мы видим, как Базаров завирается в своем отрицании, как Аркадий наслаждается своей развитостью, как Николай Петрович робеет, как пятнадцатилетний юноша, и как Павел Петрович рисуется и злится, зачем на него не любуется Базаров, единственный человек, которого он уважает в самой ненависти своей.

Базаров завирается — это, к сожалению, справедливо. Он сплеча отрицает вещи, которых не знает или не понимает; поэзия, по его мнению, ерунда; читать Пушкина — потерянное время; заниматься музыкою — смешно; наслаждаться природою — нелепо. Очень может быть, что он, человек, затертый трудовой жизнью, потерял или не успел развить в себе способность наслаждаться приятным раздражением зрительных и слуховых нервов, но из этого никак не следует, чтобы он имел разумное основание отрицать или осмеивать эту способность в других. Выкраивать других

людей на одну мерку с собою значит впадать в узкий умственный деспотизм. Отрицать совершенно произвольно ту или другую естественную и действительно существующую в человеке потребность или способность — значит удаляться от чистого эмпиризма.

Увлечение Базарова очень естественно; оно объясняется, во-первых, односторонностью развития, во-вторых, общим характером эпохи, в которую нам пришлось жить. Базаров основательно знает естественные и медицинские науки; при их содействии он выбил из своей головы всякие предрассудки; затем он остался человеком крайне необразованным; он слыхал кое-что о поэзии, кое-что об искусстве, не потрудился подумать и сплеча произнес приговор над незнакомыми ему предметами. Эта заносчивость свойственна нам вообще; она имеет свои хорошие стороны как умственная смелость, но зато, конечно, приводит порою к грубым ошибкам. Общий характер эпохи заключается в практическом направлении; мы все хотим жить и придерживаемся того правила, что соловья баснями не кормят. Люди очень энергические часто преувеличивают тенденции, господствующие в обществе; на этом основании слишком неразборчивое отрицание Базарова и самая односторонность его развития стоят в прямой связи с преобладающими стремлениями к осязательной пользе. Нам надоели фразы гегелистов, у нас закружилась голова от витания в заоблачных высях, и многие из нас, отрезвившись и спустившись на землю, ударились в крайность и, изгоняя мечтательность, вместе с нею стали преследовать простые чувства и даже чисто физические ощущения, вроде наслаждения музыкою. Большого вреда в этой крайности нет, но указать на нее не мешает, и назвать ее смешною вовсе не значит стать в ряды обскурантов и старых романтиков. Многие из наших реалистов восстанут на Тургенева за то, что он не сочувствует Базарову и не скрывает от читателя промахов своего героя; многие изъявят желание, чтобы Базаров был выведен человеком образцовым, рыцарем мысли без страха и упрека, и чтобы таким образом было доказано перед лицом читающей публики несомненное превосходство реализма над другими направлениями мысли. Да, реализм, по-моему, вещь хорошая; но во имя этого же самого реализма не будем же идеализировать ни себя, ни нашего направления. Мы смотрим холодно и трезво на все, что нас окружает; посмотрим же точно так же холодно и трезво на самих себя; кругом чушь и глушь, да и у нас самих не бог знает как светло. Отрицаемое нелепо, да и отрицатели тоже делают порою капитальные глупости; они все-таки стоят неизмеримо выше отрицаемого, но тут еще честь больно невелика; стоять выше вопиющей нелепости не значит еще быть гениальным мыслителем. Но мы, пишущие и говорящие реалисты, теперь слишком увлечены умственною борьбою минуты, горячими схватками с отсталыми идеалистами, с которыми по-настоящему не стоило бы даже спорить; мы, говорю я, слишком увлечены, чтобы скептически отнестись к самим себе

и проверить строгим анализом, не провираемся ли мы в пылу диалектических сражений, совершающихся в журнальных книжках и во вседневной жизни. К нам отнесутся скептически наши дети, или, может быть, мы сами узнаем себе со временем настоящую цену и посмотрим à vol d'oiseau * на теперешние любимые идеи. Тогда мы будем смотреть с высоты настоящего на прошедшее; Тургенев же теперь смотрит на настоящее с высоты прошедшего. Он не идет за нами; он спокойно смотрит нам вслед, описывает нашу походку, рассказывает нам, как мы ускоряем шаги, как прыгаем через рытвины, как порою спотыкаемся на неровных местах дороги.

В тоне его описания не слышно раздражения; он просто устал идти; развитие его личного миросозерцания окончилось, но способность наблюдать за движением чужой мысли, понимать и воспроизводить все ее изгибы осталась во всей своей свежести и полноте. Тургенев сам никогда не будет Базаровым, но он вдумался в этот тип и понял его так верно, как не поймет ни один из наших молодых реалистов. Апофеозы прошедшего нет в романе Тургенева. Автор «Рудина» и «Аси», разоблачивший слабости своего поколения и открывший в «Записках охотника» целый мир отечественных диковинок, делавшихся на глазах этого самого поколения, остался верен себе и не покривил душою в своем последнем произведении. Представители прошлого, «отцы», изображены с беспощадною верностью; они люди хорошие, но об этих хороших людях не пожалеет Россия; в них нет ни одного элемента, который действительно стоило бы спасать от могилы и от забвения, а между тем есть и такие минуты, когда этим отцам можно полнее сочувствовать, чем самому Базарову. Когда Николай Петрович любуется вечерним пейзажем, тогда он всякому непредубежденному читателю покажется человечнее Базарова, голословно отрицающего красоту природы.

«— И природа пустяки? — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.

— И природа пустяки в том значении, в каком ты ее теперь понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».

В этих словах у Базарова отрицание превращается во что-то искусственное и даже перестает быть последовательным. Природа — мастерская, и человек в ней — работник, — с этою мыслью я готов согласиться; но, развивая эту мысль дальше, я никак не прихожу к тем результатам, к которым приходит Базаров. Работнику надо отдыхать, и отдых не может ограничиться одним тяжелым сном после утомительного труда. Человеку необходимо освежиться приятными впечатлениями, и жизнь без приятных впе-

* С птичьего полета (*франц.*). — *Ред.*

чатлений, даже при удовлетворении всем насущным потребностям, превращается в невыносимое страдание. Последовательные материалисты, вроде Карла Фохта, Молешотта и Бюхнера, не отказывают поденщику в чарке водки, а достаточным классам — в употреблении наркотических веществ. Они смотрят снисходительно даже на нарушения должной меры, хотя признают подобные нарушения вредными для здоровья. Если бы работник находил удовольствие в том, чтобы в свободные часы лежать на спине и глазеть на стены и потолок своей мастерской, то тем более всякий здравомыслящий человек сказал бы ему: глазей, любезный друг, глазей, сколько душе угодно; здоровью твоему это не повредит, а в рабочее время ты глазеть не будешь, чтобы не наделать промахов. Отчего же, допуская употребление водки и наркотических веществ вообще, не допустить наслаждения красотою природы, мягким воздухом, свежею зеленью, нежными переливами контуров и красок? Преследуя романтизм, Базаров с невероятною подозрительностью ищет его там, где его никогда и не бывало. Вооружась против идеализма и разбивая его воздушные замки, он порою сам делается идеалистом, т. е. начинает предписывать человеку законы, как и чем ему наслаждаться и к какой мерке пригонять свои личные ощущения. Сказать человеку: не наслаждайся природою — все равно, что сказать ему: умерщвляй свою плоть. Чем больше будет в жизни безвредных источников наслаждения, тем легче будет жить на свете, и вся задача нашего времени заключается именно в том, чтобы уменьшить сумму страданий и увеличить силу и количество наслаждений. Многие возразят на это, что мы живем в такое тяжелое время, в котором еще нечего думать о наслаждении; наше дело, скажут они, работать, искоренять зло, сеять добро, расчищать место для великого здания, в котором будут пировать наши отдаленные потомки. Хорошо, я согласен с тем, что мы поставлены в необходимость работать для будущего, потому что плоды всех наших начинаний могут созреть только в течение нескольких столетий; цель наша, положим, очень возвышенна, но эта возвышенность цели представляет очень слабое утешение в житейских передрягах. Человеку усталому и измученному вряд ли станет весело и приятно от той мысли, что его праправнук будет жить в свое удовольствие. В тяжелые минуты жизни утешаться возвышенностью цели — это, воля ваша, все равно, что пить неподслащенный чай, поглядывая на кусок сахара, привешенный к потолку. Людям, не обладающим чрезмерною пылкостью воображения, чай не покажется вкуснее от этих тоскливых взглядов кверху. Точно так же жизнь, состоящая из одних трудов, окажется не по вкусу и не по силам современному человеку. Поэтому, с какой точки зрения вы ни посмотрите на жизнь, а все-таки выйдет на поверку, что наслаждение решительно необходимо. Одни посмотрят на наслаждение как на конечную цель; другие принуждены будут признать в наслаждении важней-

ший источник сил, необходимых для работы. В этом будет заключаться вся разница между эпикурейцами и стоиками нашего времени.

Итак, Тургенев никому и ничему в своем романе не сочувствует вполне. Если бы сказать ему: «Иван Сергеевич, вам Базаров не нравится, чего же вам угодно?» — то он на этот вопрос не ответил бы ничего. Он никак не пожелал бы молодому поколению сойтись с отцами в понятиях и влечениях. Его не удовлетворяют ни отцы, ни дети, и в этом случае его отрицание глубже и серьезнее отрицания тех людей, которые, разрушая то, что было до них, воображают себе, что они — соль земли и чистейшее выражение полной человечности. В разрушении своем эти люди, может быть, правы, но в наивном самообожании или в обожании того типа, к которому они себя причисляют, заключается их ограниченность и односторонность. Таких форм, таких типов, на которых действительно можно было бы успокоиться и остановиться, еще не выработала и, может быть, никогда не выработает жизнь. Те люди, которые, отдаваясь в полное распоряжение какой бы то ни было господствующей теории, отказываются от своей умственной самостоятельности и заменяют критику подобострастным поклонением, оказываются людьми узкими, бессильными и часто вредными. Поступить таким образом способен Аркадий, но это совершенно невозможно для Базарова, и именно в этом свойстве ума и характера заключается вся обаятельная сила тургеневского героя. Эту обаятельную силу понимает и признает автор, несмотря на то, что сам он ни по темпераменту, ни по условиям развития не сходится с своим нигилистом. Скажу больше: общие отношения Тургенева к тем явлениям жизни, которые составляют канву его романа, так спокойны и беспристрастны, так свободны от раболепного поклонения той или другой теории, что сам Базаров не нашел бы в этих отношениях ничего робкого или фальшивого. Тургенев не любит беспощадного отрицания, и между тем личность беспощадного отрицателя выходит личностью сильною и внушает каждому читателю невольное уважение. Тургенев склонен к идеализму, а между тем ни один из идеалистов, выведенных в его романе, не может сравниться с Базаровым ни по силе ума, ни по силе характера. Я уверен, что многие из наших журнальных критиков захотят во что бы то ни стало увидать в романе Тургенева затаенное стремление унизить молодое поколение и доказать, что дети хуже родителей, но я точно так же уверен в том, что непосредственное чувство читателей, не скованных обязательными отношениями к теории, оправдает Тургенева и увидит в его произведении не диссертацию на заданную тему, а верную, глубоко прочувствованную и без малейшей утайки нарисованную картину современной жизни. Если бы на тургеневскую тему напал какой-нибудь писатель, принадлежащий к нашему молодому поколению и глубоко сочувствующий базаровскому направлению,

тогда, конечно, картина вышла бы не такая, и краски были бы положены иначе. Базаров не был бы угловатым бурсаком, господствующим над окружающими людьми естественною силою своего здорового ума; он, может быть, превратился бы в воплощение тех идей, которые составляют сущность этого типа; он, может быть, представил бы нам в своей личности яркое выражение тенденций автора, но вряд ли он был бы равен Базарову в отношении к жизненной верности и рельефности. Предполагаемый мною молодой художник говорил бы своим произведением, обращаясь к сверстникам: «Вот, друзья мои, чем должен быть развитый человек! Вот конечная цель наших стремлений!» Что же касается до Тургенева, то он просто и спокойно говорит: «Вот какие бывают теперь молодые люди!» и при этом не скрывает даже того обстоятельства, что ему такие молодые люди не совсем нравятся. — Как же это можно, закричат многие из наших современных критиков и публицистов, это обскурантизм! — Господа, можно было бы ответить им, да что вам за дело до личного ощущения Тургенева? Нравятся или не нравятся ему такие люди — это дело вкуса; вот если бы он, не сочувствуя типу, клеветал бы на него, тогда каждый честный человек имел бы право вывести его на свежую воду, но подобной клеветы вы не найдете в романе; даже угловатости Базарова, на которые я уже обращал внимание читателя, объясняются совершенно удовлетворительно обстоятельствами жизни и составляют если не существенно необходимое, то по крайней мере очень часто встречающееся свойство людей базаровского типа. Нам, молодым людям, было бы, конечно, гораздо приятнее, если бы Тургенев скрыл и скрасил неграциозные шероховатости; но я не думаю, чтобы, потворствуя таким образом нашим прихотливым желаниям, художник полнее охватил бы явления действительности. Со стороны виднее достоинства и недостатки, и потому строго-критический взгляд на Базарова со стороны в настоящую минуту оказывается гораздо плодотворнее, чем голословное восхищение или раболепное обожание. Взглянув на Базарова со стороны, взглянув так, как может смотреть только человек «отставной», не причастный к современному движению идей, рассмотрев его тем холодным, испытующим взглядом, который дается только долгим опытом жизни, Тургенев оправдал и оценил его по достоинству. Базаров вышел из испытания чистым и крепким. Против этого типа Тургенев не нашел ни одного существенного обвинения, и в этом случае его голос, как голос человека, находящегося по летам и по взгляду на жизнь в другом лагере, имеет особенно важное, решительное значение. Тургенев не полюбил Базарова, но признал его силу, признал его перевес над окружающими людьми и сам принес ему полную дань уважения.

Этого слишком достаточно для того, чтобы снять с романа Тургенева всякий могущий возникнуть упрек в отсталости направления; этого достаточно даже для того, чтобы признать его роман практически полезным для настоящего времени.

VI

Отношения Базарова к его товарищу бросают яркую полосу света на его характер; у Базарова нет друга, потому что он не встречал еще человека, «который бы не спасовал перед ним»; Базаров один, сам по себе, стоит на холодной высоте трезвой мысли, и ему не тяжело это одиночество, он весь поглощен собою и работою; наблюдения и исследования над живою природою, наблюдения и исследования над живыми людьми наполняют для него пустоту жизни и застраховывают его против скуки. Он не чувствует потребности в каком-нибудь другом человеке отыскать себе сочувствие и понимание; когда ему приходит в голову какая-нибудь мысль, он просто высказывается, не обращая внимания на то, согласны ли с его мнением слушатели и приятно ли действуют на них его идеи. Чаще всего он даже не чувствует потребности высказаться; думает про себя и изредка роняет беглое замечание, которое обыкновенно с почтительною жадностью подхватывают прозелиты и птенцы, подобные Аркадию. Личность Базарова замыкается в самой себе, потому что вне ее и вокруг нее почти вовсе нет родственных ей элементов. Эта замкнутость Базарова тяжело действует на тех людей, которые желали бы от него нежности и сообщительности, но в этой замкнутости нет ничего искусственного и преднамеренного. Люди, окружающие Базарова, ничтожны в умственном отношении и никаким образом не могут расшевелить его, поэтому он и молчит, или говорит отрывочные афоризмы, или обрывает начатый спор, чувствуя его смешную бесполезность. Посадите взрослого человека в одну комнату с дюжиной ребят, и вы, вероятно, не найдете удивительным, если этот взрослый не станет говорить с своими товарищами по месту жительства о своих человеческих, гражданских и научных убеждениях. Базаров не важничает перед другими, не считает себя гениальным человеком, непонятным для своих современников или соотечественников; он просто принужден смотреть на своих знакомых сверху вниз, потому что эти знакомые приходятся ему по колено; что ж ему делать? Ведь не садиться же ему на пол для того, чтобы сравняться с ними в росте? Не прикидываться же ребенком для того, чтобы делить с ребятами их недозрелые мысленки? Он поневоле остается в уединении, и это уединение не тяжело для него потому, что он молод, крепок, занят кипучею работою собственной мысли. Процесс этой работы остается в тени; сомневаюсь, чтобы Тургенев был в состоянии передать нам описание этого процесса; чтобы изобразить его, надо самому пережить его в своей голове, надо самому быть Базаровым, а с Тургеневым этого не случалось, за это можно поручиться, потому что кто в жизни своей хотя один раз, хоть в продолжение нескольких минут смотрел на вещи глазами Базарова, тот остается нигилистом на весь свой век. У Тургенева мы видим только результаты, к которым

пришел Базаров, мы видим внешнюю сторону явления, т. е. слышим, что говорит Базаров, и узнаем, как он поступает в жизни, как обращается с разными людьми. Психологического анализа, связного перечня мыслей Базарова мы не находим; мы можем только отгадывать, что́ он думал и как формулировал перед самим собою свои убеждения. Не посвящая читателя в тайны умственной жизни Базарова, Тургенев может возбудить недоумение в той части публики, которая не привыкла трудом собственной мысли дополнять то, что не договорено или не дорисовано в произведении писателя. Невнимательный читатель может подумать, что у Базарова нет внутреннего содержания и что весь его нигилизм состоит из сплетения смелых фраз, выхваченных из воздуха и не выработанных самостоятельным мышлением. Можно сказать положительно, что сам Тургенев не так понимает своего героя, и только потому не следит за постепенным развитием и созреванием его идей, что не может и не находит удобным передавать мысли Базарова так, как они представляются его уму. Мысли Базарова выражаются в его поступках, в его обращении с людьми; они просвечивают, и их разглядеть не трудно, если только читать внимательно, группируя факты и отдавая себе отчет в их причинах.

Два эпизода окончательно дорисовывают эту замечательную личность: во-первых, отношения его к женщине, которая ему нравится; во-вторых — его смерть.

Я рассмотрю и то и другое, но сначала считаю нелишним обратить внимание на другие, второстепенные подробности.

Отношения Базарова к его родителям могут одних читателей предрасположить против героя, других — против автора. Первые, увлекаясь чувствительным настроением, упрекнут Базарова в черствости; вторые, увлекаясь привязанностью к базаровскому типу, упрекнут Тургенева в несправедливости к своему герою и в желании выставить его с невыгодной стороны. И те и другие, по моему мнению, будут совершенно не правы. Базаров действительно не доставляет своим родителям тех удовольствий, которых эти добрые старики ожидают от его пребывания с ними, но между ним и его родителями нет ни одной точки соприкосновения.

Отец его — старый уездный лекарь, совершенно опустившийся в бесцветной жизни бедного помещика; мать его — дворяночка старого покроя, верящая во все приметы и умеющая только отлично готовить кушанье. Ни с отцом, ни с матерью Базаров не может ни поговорить так, как он говорит с Аркадием, ни даже поспорить так, как он спорит с Павлом Петровичем. Ему с ними скучно, пусто, тяжело. Жить с ними под одною кровлею он может только с тем условием, чтобы они не мешали ему работать. Им это, конечно, тяжело; их он запугивает, как существо из другого мира, но ему-то что ж с этим делать? Ведь это было бы безжалостно в отношении к самому себе, если бы Базаров захотел

посвятить два-три месяца на то, чтобы потешить своих стариков; для этого ему надо было бы отложить в сторону всякие занятия и целыми днями просиживать с Василием Ивановичем и с Ариною Власьевною, которые на радостях болтали бы всякий вздор, приплетая каждый по-своему и уездные сплетни, и городские слухи, и замечания об урожае, и рассказы какой-нибудь юродивой, и латинские сентенции из старого медицинского трактата. Человек молодой, энергический, полный своею личною жизнью, не выдержал бы двух дней подобной идиллии и как угорелый вырвался бы из этого тихого уголка, где его так любят и где ему так страшно надоедают. Не знаю, хорошо ли бы себя почувствовали старики Базаровы, если бы после двухсуточного блаженства они услышали от своего ненаглядного сына, что непредвиденные обстоятельства принуждают его уехать. Не знаю вообще, каким образом Базаров мог бы вполне удовлетворить требованиям своих родителей, не отказываясь совершенно от своего личного существования. Если же, так или иначе, ему непременно пришлось бы оставить их неудовлетворенными, тогда не из чего было возбуждать в них такие надежды, которые не могли осуществиться. Когда два человека, любящие друг друга или связанные между собою какими-нибудь отношениями, расходятся между собою в образовании, в идеях, в наклонностях и привычках, тогда разлад и страдание той или другой стороны, а иногда обеих вместе, делаются до такой степени неизбежными, что становится даже бесполезным хлопотать об их устранении. Но родители Базарова страдают от этого разлада, а Базаров и в ус не дует; это обстоятельство естественно располагает сострадательного читателя в пользу стариков; иной скажет даже: зачем он их мучает? Ведь они его так любят! — А чем же, позвольте вас спросить, он их мучает? Тем, что ли, что он не верит в приметы или скучает от их болтовни? Да как же ему верить-то и как же не скучать? Если бы самый близкий мне человек сокрушался бы оттого, что во мне с лишком два с половиною, а не полтора аршина роста, то я, при всем моем желании, не мог бы его утешить; вероятно, даже я не стал бы утешать его, а просто пожал бы плечами и отошел в сторону. Предвижу, впрочем, одно довольно курьезное обстоятельство: если бы Базаров так же страдал от невозможности сойтись с своими родителями, то сострадательные читатели помирились бы с ним и посмотрели бы на него как на несчастную жертву исторического процесса развития. Но Базаров не страдает, и потому многие на него накинутся и с негодованием назовут его бесчувственным человеком. Эти многие очень дорожат красотою чувства, хотя эта красота не имеет никакого практического значения. Страдание от разъединения с родителями кажется им чертою, необходимою для красоты чувства, и потому они требуют, чтобы Базаров страдал, не обращая внимания на то, что это нисколько не поправило бы дела и что Василию Ивановичу и Арине Власьевне от этого никак не было бы легче.

Если же отношения Базарова к его родителям могут повредить ему только во мнении сострадательных читателей, то Тургенева нельзя упрекнуть в несправедливости или утрировке, потому что тем людям, у которых чувствительность берет решительный перевес над критикою ума, вообще не понравятся все существенные, основные черты базаровского типа. Им не понравится ни трезвость мысли, ни беспощадность критики, ни твердость характера, не понравились бы им эти свойства даже в том случае, когда бы автор романа написал этим свойствам восторженный панегирик; следовательно, тут, как и везде, не художественная обработка, а самый материал, самое явление действительности возбудило бы неприязненные чувства. Изображая отношения Базарова к старикам, Тургенев вовсе не превращается в обвинителя, умышленно подбирающего мрачные краски; он остается попрежнему искренним художником и изображает явление как оно есть, не подслащая и не скрашивая его по своему произволу. Сам Тургенев, может быть, по своему характеру подходит к сострадательным людям, о которых я говорил выше; он порою увлекается сочувствием к наивной, почти не сознанной грусти старухи матери и к сдержанному, стыдливому чувству старика отца, увлекается до такой степени, что почти готов корить и обвинять Базарова; но в этом увлечении нельзя искать ничего преднамеренного и рассчитанного. В нем сказывается только любящая натура самого Тургенева, и в этом свойстве его характера трудно найти что-нибудь предосудительное. Тургенев не виноват в том, что жалеет бедных стариков и даже сочувствует их непоправимому горю. Тургеневу не резон скрывать свои симпатии в угоду той или другой психологической или социальной теории. Эти симпатии не заставляют его кривить душою и уродовать действительность, следовательно, они не вредят ни достоинству романа, ни личному характеру художника.

VII

Базаров с Аркадием отправляются в губернский город, по приглашению одного родственника Аркадия, и встречаются с двумя в высшей степени типичными личностями. Эти личности — юноша Ситников и молодая дама Кукшина — представляют великолепно исполненную карикатуру безмозглого прогрессиста и по-русски эманципированной женщины. Ситниковых и Кукшиных у нас развелось в последнее время бесчисленное множество; нахвататься чужих фраз, исковеркать чужую мысль и нарядиться прогрессистом теперь так же легко и выгодно, как при Петре было легко и выгодно наряжаться европейцем. Истинных прогрессистов, т. е. людей действительно умных, образованных и добросовестных, у нас очень немного, порядочных и развитых женщин — еще того меньше, но зато не перечтешь того несметного количества

разнокалиберной сволочи, которая тешится прогрессивными фразами, как модною вещицею, или драпируется в них, чтобы закрыть свои пошленькие поползновения. У нас можно сказать, что всякий пустомеля смотрит прогрессистом, лезет в передовые люди, создает из чужих лоскутьев свою теорию и даже часто силится заявить о ней в литературе. «Русский вестник» [2] смотрит на это обстоятельство с сердечным прискорбием, которое часто переходит в крикливое негодование. Это крикливое негодование вызывает себе отпор.

— Что вы делаете? — говорят многие «Русскому вестнику»: — Вы ругаете прогрессистов, вы вредите делу и идее прогресса. — «Русский вестник», вероятно, с особенным наслаждением принял на свои страницы те сцены романа Тургенева, в которых действуют Ситников и Кукшина: вот, думает он, все псевдопрогрессисты с ужасом и с отвращением оглянутся на самих себя! Многие из литературных противников «Русского вестника» с ожесточением накинутся на Тургенева за эти сцены. Он осмеивает нашу святыню, — закричат они с неистовыми жестами, — он идет против направления века, против свободы женщины. Этот спор между сторонниками и противниками «Русского вестника», как вообще многие литературные и нелитературные споры, вовсе не касается того предмета, по поводу которого горячатся спорящие стороны. Как негодование «Русского вестника» против Ситниковых, так и негодование многих журналов против возгласов «Русского вестника» не имеют ни малейшего смысла. Негодование против глупости и подлости вообще понятно, хотя, впрочем, оно так же плодотворно, как негодование против осенней сырости или зимнего холода. Но негодование против той формы, в которой выражается глупость или подлость, делается уже совершенно нелепым. Ни правительственные распоряжения, ни литературные теории никогда не уничтожат глупых и мелких людей; эти глупые и мелкие люди надевают на себя тот или другой костюм, но никакой головной убор не может закрыть их ослиные уши. Чем бы ни был Ситников — байронистом (вроде Грушницкого), гегелистом (вроде Шамилова) [3] или нигилистом (каков он и есть), он все-таки останется пошлым человеком. Следовательно, не все ли равно, как он себя величает — консерватором или прогрессистом? Всего лучше то положение, которое делает глупого человека по возможности безвредным, а надо сказать правду, что глупый прогрессист принадлежит к числу наиболее безвредных созданий. В былые годы Ситников был бы способен из удальства бить на почтовых станциях ямщиков; теперь он уже откажет себе в этом удовольствии, потому что это не принято и потому что — я-де прогрессист. Уж и это хорошо, и за то спасибо отечественному прогрессу. Против чего же тут негодовать и отчего же не позволить Ситникову величать себя прогрессистом и деятелем? Кому это вредит? Кому от этого больно? Но только, конечно, надо знать Ситниковым их

настоящую цену и не надо ожидать чудес гражданской и человеческой доблести от такого общества, в котором бо́льшая половина сама не знает того, что она говорит и чего хочет. Поэтому художник, рисующий перед нашими глазами поразительно живую карикатуру, осмеивающий искажения великих и прекрасных идей, заслуживает нашей полной признательности. Многие идеи сделались ходячею монетою и, путешествуя из рук в руки, потемнели и потерлись, как старый полтинник; на идею валят то, что принадлежит исключительно ее уродливому проявлению, то, что пристало к ней случайно от прикосновения грязных рук; чтобы очистить идею, надо представить уродливое проявление во всей его уродливости и, таким образом, строго отделить основную сущность от произвольных примесей. Между Кукшиной и эманципациею женщины нет ничего общего, между Ситниковым и гуманными идеями XIX века нет ни малейшего сходства. Назвать Ситникова и Кукшину порождением времени было бы в высокой степени нелепо. Оба они заимствовали у своей эпохи только верхнюю драпировку, и эта драпировка все-таки лучше всего остального их умственного достояния. Стало быть, какой же смысл будет иметь негодование теоретиков против Тургенева за Кукшину и Ситникова? Что же, было бы лучше, если бы Тургенев представил русскую женщину, эманципированную в лучшем смысле этого слова, и молодого человека, проникнутого высокими чувствами гуманности? Да ведь это было бы приятное самообольщение! Это была бы сладкая ложь, и к тому же ложь в высшей степени неудачная. Спрашивается, откуда бы взял Тургенев красок для изображения таких явлений, которых нет в России и для которых в русской жизни нет ни почвы, ни простора? И какое значение имела бы эта произвольная выдумка? Вероятно, возбудила бы в наших мужчинах и женщинах добродетельное желание подражать столь высоким образцам нравственного совершенства!.. Нет, скажут противники Тургенева, пусть автор не выдумывает небывалых явлений! Пусть он только разрушает старое, гнилое и не трогает тех идей, от которых мы ожидаем обильных, благодетельных результатов. Ах! да, это понятно; это значит: наших не тронь! Да как же, господа, не трогать, если в числе наших много дряни, если фирмою многих идей пользуются те самые негодяи, которые, за несколько лет тому назад, были Чичиковыми, Ноздревыми, Молчалиными и Хлестаковыми? Неужели не трогать их в награду за то, что они перебежали на нашу сторону, неужели поощрять их за ренегатство подобно тому, как в Турции поощряют за принятие исламизма? Нет, это было бы слишком нелепо. Мне кажется, идеи нашего времени слишком сильны своим собственным внутренним значением, чтобы нуждаться в искусственной подпорке. Пусть принимает эти идеи только тот, кто действительно убежден в их верности, и пусть он не думает, что титул прогрессиста сам по себе, подобно индульгенции, покрывает грехи

прошедшего, настоящего и будущего. Ситниковы и Кукшины всегда останутся смешными личностями; ни один благоразумный человек не порадуется тому, что он стоит с ними под одним знаменем, и в то же время не припишет их уродливости тому девизу, который написан на знамени. Посмотрите, как обращается Базаров с этими идиотами; он, по приглашению Ситникова, заходит к Кукшиной, с целью посмотреть людей, завтракает, пьет шампанское, не обращает никакого внимания на усилия Ситникова блеснуть смелостью мысли и на усилия Кукшиной вызвать его, Базарова, на умный разговор и, наконец, уходит, даже не простившись с хозяйкой.

«Ситников выскочил вслед за ними.

— Ну что, ну что? — спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева, — ведь я говорил вам: замечательная личность! Вот каких бы нам женщин побольше! Она в своем роде высоко нравственное явление!

— А это заведение *твоего* отца — тоже нравственное явление? — промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили.

Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова».

VIII

В городе Аркадий знакомится на бале у губернатора с молодою вдовою, Анною Сергеевною Одинцовой; он танцует с нею мазурку, между прочим заговаривает с нею о своем друге Базарове и заинтересовывает ее восторженным описанием его смелого ума и решительного характера. Она приглашает его к себе и просит привести с собою Базарова. Базаров, заметивший ее, как только она появилась на бале, говорит о ней с Аркадием, невольно усиливая обыкновенный цинизм своего тона, отчасти для того, чтобы скрыть и от себя и от своего собеседника впечатление, произведенное на него этою женщиною. Он с удовольствием соглашается пойти к Одинцовой вместе с Аркадием и объясняет себе и ему это удовольствие надеждою завести приятную интригу. Аркадия, не преминувшего влюбиться в Одинцову, коробит от шутливого тона Базарова, а Базаров, конечно, не обращает на это ни малейшего внимания, продолжает толковать о красивых плечах Одинцовой, спрашивает у Аркадия, действительно ли эта барыня — ой, ой, ой! — говорит, что в тихом омуте черти водятся и что холодные женщины — все равно что мороженое. Подходя к квартире Одинцовой, Базаров чувствует некоторое волнение и, желая переломить себя, в начале визита ведет себя неестественно развязно и, по замечанию Тургенева, разваливается в кресле не

хуже Ситникова. Одинцова замечает волнение Базарова, отчасти отгадывает его причину, успокоивает нашего героя ровною и тихою приветливостью обращения и часа три проводит с молодыми людьми в неторопливой, разнообразной и живой беседе. Базаров обращается с нею особенно почтительно; видно, что ему не все равно, как об нем подумают и какое он произведет впечатление; он, против обыкновения, говорит довольно много, старается занять свою собеседницу, не делает резких выходок и даже, осторожно держась вне круга общих убеждений и воззрений, толкует о ботанике, медицине и других хорошо известных ему предметах. Прощаясь с молодыми людьми, Одинцова приглашает их к себе в деревню. Базаров в знак согласия молча кланяется и при этом краснеет. Аркадий все это замечает и всему этому удивляется. После этого первого свидания с Одинцовой Базаров пробует попрежнему говорить об ней шутливым тоном, но в самом цинизме его выражений сказывается какое-то невольное, затаенное уважение. Видно, что он любуется этою женщиною и желает с нею сблизиться; шутит он на ее счет потому, что ему не хочется говорить серьезно с Аркадием ни об этой женщине, ни о тех новых ощущениях, которые он замечает в самом себе. Базаров не мог полюбить Одинцову с первого взгляда или после первого свидания; так вообще влюблялись только очень пустые люди в очень плохих романах. Ему просто понравилось ее красивое, или, как он сам выражается, богатое тело; разговор с нею не нарушил общей гармонии впечатления, и этого на первый раз было достаточно, чтобы поддержать в нем желание узнать ее покороче. Базаров не составлял себе никаких теорий о любви. Его студенческие годы, о которых Тургенев не говорит ни слова, вероятно не обошлись без похождений по сердечной части; Базаров, как мы увидим впоследствии, оказывается опытным человеком, но, по всей вероятности, он имел дело с женщинами совершенно не развитыми, далеко не изящными и, следовательно, неспособными сильно заинтересовать его ум или шевельнуть его нервы. Он и на женщин привык смотреть сверху вниз; встречаясь с Одинцовой, он видит, что может говорить с нею как равный с равною и предчувствует в ней долю того гибкого ума и твердого характера, который он сознает и любит в своей особе. Говоря между собою, Базаров и Одинцова, в умственном отношении, умеют как-то смотреть друг другу в глаза, через голову птенца Аркадия, и эти задатки взаимного понимания доставляют приятные ощущения обоим действующим лицам. Базаров видит изящную форму и невольно любуется ею; под этою изящною формою он отгадывает самородную силу и безотчетно начинает уважать эту силу. Как чистый эмпирик, он наслаждается приятным ощущением и постепенно втягивается в это наслаждение, и втягивается до такой степени, что когда приходит время оторваться, тогда оторваться уже становится тяжело и больно. У Базарова в любви нет анализа, потому что нет недо-

верия к самому себе. Он едет в деревню к Одинцовой с любопытством и без малейшей боязни, потому что хочется присмотреться к этой миловидной женщине, хочется быть с нею вместе, провести приятно несколько дней. В деревне незаметно проходит пятнадцать дней; Базаров много говорит с Анной Сергеевною, спорит с нею, высказывается, раздражается и, наконец, привязывается к ней какою-то злобною, мучительною страстью. Такую страсть всего чаще внушают энергическим людям женщины красивые, умные и холодные. Красота женщины волнует кровь ее обожателя; ум ее дает ей возможность понимать головою и обсуживать тонким психическим анализом такие чувства, которых она сама не разделяет и которым даже не сочувствует; холодность застраховывает ее против увлечения и, усиливая препятствия, вместе с тем усиливает в мужчине желание преодолеть их. Глядя на такую женщину, мужчина невольно думает: она так хороша, она так умно говорит о чувстве, порою так оживляется, высказывая свои тонкие психологические замечания или выслушивая мои горячо прочувствованные речи. Отчего же в ней так упорно молчит чувственность? Как затронуть ее за живое? Неужели вся жизнь ее сосредоточена в головном мозгу? Неужели она только тешится впечатлениями и не способна ими увлечься? Время уходит в напряженных усилиях распутать живую загадку; голова работает вместе с чувственностью; являются тяжелые, мучительные ощущения; весь роман отношений между мужчиною и женщиною принимает какой-то странный характер борьбы. Знакомясь с Одинцовой, Базаров думал ~~развлечься приятною~~ интригою; узнавши ее покороче, он почувствовал к ней уважение и вместе с тем увидал, что надежды на успех очень мало; если бы он не успел привязаться к Одинцовой, тогда он просто махнул бы рукой и тотчас утешился бы практическим замечанием, что земля не клином сошлась и что на свете много таких женщин, с которыми легко справиться; он попробовал и тут поступить таким образом, но махнуть рукою на Одинцову у него не хватило сил. Практическое благоразумие советовало ему бросить все дело и уехать, чтобы не томить себя понапрасну, а жажда наслаждения говорила громче практического благоразумия, и Базаров оставался, и злился, и сознавал, что делает глупость, и все-таки продолжал ее делать, потому что желание пожить в свое удовольствие было сильнее желания быть последовательным. Эта способность делать сознательные глупости составляет завидное преимущество людей сильных и умных. Человек бесстрастный и сухой поступает всегда так, как велят поступать логические выкладки; человек робкий и слабый старается обмануть себя софизмами и уверить себя в правоте своих желаний или поступков; но Базаров не нуждается в подобных фокусах; он прямо говорит себе: это глупо, а поступаю я все-таки так, как мне хочется, и ломать себя не хочу. Когда явится необходимость, тогда успею и сумею повернуть самого себя как следует. Цельная, креп-

кая натура сказывается в этой способности сильно увлекаться; здоровый, неподкупный ум выражается в этом умении назвать глупостью то самое увлечение, которое в данную минуту охватывает весь организм.

Отношения Базарова с Одинцовою кончаются тем, что между ними происходит странная сцена. Она вызывает его на разговор о счастье и любви, она с любопытством, свойственным холодным и умным женщинам, выспрашивает у него, что в нем происходит, она вытягивает из него признание в любви, она с оттенком невольной нежности произносит его имя; потом, когда он, ошеломленный внезапным притоком ощущений и новых надежд, бросается к ней и прижимает ее к груди, она же отскакивает с испугом на другой конец комнаты и уверяет его, что он ее не так понял, что он ошибся.

Базаров уходит из комнаты, и тем кончаются отношения. Он уезжает на другой день после этого происшествия, потом видится раза два с Анной Сергеевной, даже гостит у нее вместе с Аркадием, но для него и для нее прошедшие события оказываются действительно невоскресимым прошедшим, и они смотрят друг на друга спокойно и говорят между собою тоном рассудительных и солидных людей. А между тем Базарову грустно смотреть на отношения с Одинцовою как на пережитый эпизод; он любит ее и, не давая себе воли ныть, страдать и разыгрывать несчастного любовника, становится, однако, как-то неровен в своем образе жизни, то бросается на работу, то впадает в бездействие, то просто скучает и брюзжит на окружающих людей. Высказаться он ни перед кем не хочет, да он и сам перед собою не сознается в том, что чувствует что-то похожее на тоску и на утомление. Он как-то злится и окисляется от этой неудачи, ему досадно думать, что счастье поманило его и прошло мимо, и досадно чувствовать, что это событие производит на него впечатление. Все это скоро переработалось бы в его организме; он принялся бы за дело, выругал бы самым энергическим образом проклятый романтизм и неприступную барыню, водившую его за нос, и зажил бы попрежнему, занимаясь резанием лягушек и ухаживая за менее непобедимыми красавицами. Но Тургенев не вывел Базарова из тяжелого настроения. Базаров внезапно умирает, конечно не от огорчения, и роман оканчивается или, вернее, резко и неожиданно обрывается.

В то время как Базаров хандрит в деревне своего отца, Аркадий, влюбившийся также в Одинцову со времени губернаторского бала, но не успевший даже заинтересовать ее, сближается с ее сестрою, Катериною Сергеевною, 18-летнею девушкою, и, сам того не замечая, привязывается к ней, забывает свою прежнюю страсть и, наконец, делает ей предложение. Она соглашается, Аркадий женится на ней, и вот, когда он уже объявлен женихом, между ним и Базаровым, уезжающим к своему отцу, происходит следующий короткий, но выразительный разговор.

«Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз.

— Что значит молодость! — произнес спокойно Базаров: — да я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит.

— Прощай, брат! — сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу, и, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил: — вот тебе, изучай!

— Это что значит? — спросил Аркадий.

— Как? разве ты так плох в естественной истории или забыл, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебе пример! Прощайте, синьор!

Телега задребезжала и покатилась».

Да, Аркадий, по выражению Базарова, попал в галки и прямо из-под влияния своего друга перешел под мягкую власть своей юной супруги. Но как бы то ни было, Аркадий свил себе гнездо, нашел себе кой-какое счастье, а Базаров остался бездомным, не согретым скитальцем. И это не прихоть романиста. Это не случайное обстоятельство. Если вы, господа, сколько-нибудь понимаете характер Базарова, то вы принуждены будете согласиться, что такого человека пристроить очень мудрено и что он не может, не изменившись в основных чертах своей личности, сделаться добродетельным семьянином. Базаров может полюбить только женщину очень умную; полюбивши женщину, он не подчинит свою любовь никаким условиям; он не станет охлаждать и сдерживать себя и точно так же не станет искусственно подогревать своего чувства, когда оно остынет после полного удовлетворения. Он не способен поддерживать с женщиною обязательные отношения; его искренняя и цельная натура не подается на компромиссы и не делает уступок; он не покупает расположение женщины известными обязательствами; он берет его тогда, когда оно дается ему совершенно добровольно и безусловно. Но умные женщины у нас обыкновенно бывают осторожны и расчетливы. Их зависимое положение заставляет их бояться общественного мнения и не давать воли своим влечениям. Их страшит неизвестное будущее, им хочется застраховать его, и потому редкая умная женщина решится броситься на шею к любимому мужчине, не связав его предварительно крепким обещанием перед лицом общества и церкви. Имея дело с Базаровым, эта умная женщина поймет очень скоро, что никакое крепкое обещание не свяжет необузданной воли этого своенравного человека и что его нельзя обязать быть хорошим мужем и нежным отцом семейства. Она поймет, что Базаров или вовсе не даст никакого обещания, или, давши его в минуту полного увлечения, нарушит его тогда, когда это увлечение рассеется. Словом, она поймет, что чувство Базарова свободно и останется свободным, несмотря ни на какие клятвы и контракты. Чтобы не отщатнуться от неизвестной перспективы, эта женщина

должна безраздельно подчиниться влечению чувства, броситься к любимому человеку, очертя голову и не спрашивая о том, что будет завтра или через год. Но так способны увлекаться только очень молодые девушки, совершенно незнакомые с жизнью, совершенно не тронутые опытом, а такие девушки не обратят внимания на Базарова или, испугавшись его резкого образа мыслей, откинутся к таким личностям, из которых со временем вырабатываются почтенные галки. У Аркадия гораздо больше шансов понравиться молодой девушке, несмотря на то, что Базаров несравненно умнее и замечательнее своего юного товарища. Женщина, способная ценить Базарова, не отдастся ему без предварительных условий, потому что такая женщина обыкновенно бывает себе на уме, знает жизнь и по расчету бережет свою репутацию. Женщина, способная увлекаться чувством, как существо наивное и мало размышлявшее, не поймет Базарова и не полюбит его. Словом, для Базарова нет женщин, способных вызвать в нем серьезное чувство и с своей стороны горячо ответить на это чувство. В настоящее время нет таких женщин, которые, умея мыслить, умели бы в то же время, без оглядки и без боязни, отдаваться влечению господствующего чувства. Как существо зависимое и страдательное, современная женщина из опыта жизни выносит ясное сознание своей зависимости и потому думает не столько о том, чтобы наслаждаться жизнью, сколько о том, чтобы не попасть в какую-нибудь неприятную переделку. Ровный комфорт, отсутствие грубых оскорблений, уверенность в завтрашнем дне для них дороги. Их за это нельзя осуждать, потому что человек, подверженный в жизни серьезным опасностям, поневоле становится осмотрительным, но вместе с тем трудно осуждать и тех мужчин, которые, не видя в современных женщинах энергии и решимости, навсегда отказываются от серьезных и прочных отношений с женщинами и пробавляются пустыми интригами и легкими победами. Если бы Базаров имел дело с Асею, или с Натальею (в «Рудине»), или с Верою (в «Фаусте»), то он бы, конечно, не отступил в решительную минуту, но дело в том, что женщины, подобные Асе, Наталье и Вере, увлекаются сладкоречивыми фразерами, а пред сильными людьми, вроде Базарова, чувствуют только робость, близкую к антипатии. Таких женщин надо приласкать, а Базаров никого ласкать не умеет. Повторяю, в настоящее время нет женщин, способных серьезно ответить на серьезное чувство Базарова, и пока женщина будет находиться в теперешнем зависимом положении, пока за каждым ее шагом будут наблюдать и она сама, и нежные родители, и заботливые родственники, и то, что называется общественным мнением, до тех пор Базаровы будут жить и умирать бобылями, до тех пор согревающая нежная любовь умной и развитой женщины будет им известна только по слухам да по романам. Базаров не дает женщине никаких гарантий; он доставляет ей только своею особою непосредственное наслаждение,

в том случае, если его особа нравится; но в настоящее время женщина не может отдаваться непосредственному наслаждению, потому что за этим наслаждением всегда выдвигается грозный вопрос: а что же потом? Любовь без гарантий и условий не употребительна, а любви с гарантиями и условиями Базаров не понимает. Любовь так любовь, думает он, торг так торг, «а смешивать эти два ремесла», по его мнению, неудобно и неприятно. *К сожалению*, я должен заметить, что *безнравственные* и *пагубные* убеждения Базарова находят себе во многих хороших людях сознательное сочувствие.

IX

Рассмотрю теперь три обстоятельства в романе Тургенева: 1) отношение Базарова к простому народу, 2) ухаживание Базарова за Фенечкою и 3) дуэль Базарова с Павлом Петровичем.

В отношениях Базарова к простому народу надо заметить прежде всего отсутствие всякой вычурности и всякой сладости. Народу это нравится, и потому Базарова любит прислуга, любят ребятишки, несмотря на то, что он с ними вовсе не миндальничает и не задаривает их ни деньгами, ни пряниками. Заметив в одном месте, что Базарова любят простые люди, Тургенев говорит в другом месте, что мужики смотрят на него как на шута горохового. Эти два показания нисколько не противоречат друг другу. Базаров держит себя с мужиками просто, не обнаруживает ни барства, ни приторного желания подделаться под их говор и поучить их уму-разуму, и потому мужики, говоря с ним, не робеют и не стесняются; но, с другой стороны, Базаров и по обращению, и по языку, и по понятиям совершенно расходится как с ними, так и с теми помещиками, которых мужики привыкли видеть и слушать. Они смотрят на него как на странное, исключительное явление, ни то ни се, и будут смотреть таким образом на господ, подобных Базарову, до тех пор, пока их не разведется больше и пока к ним не успеют приглядеться. У мужиков лежит сердце к Базарову, потому что они видят в нем простого и умного человека, но в то же время этот человек для них чужой, потому что он не знает их быта, их потребностей, их надежд и опасений, их понятий, верований и предрассудков.

После своего неудавшегося романа с Одинцовою Базаров снова приезжает в деревню к Кирсановым и начинает заигрывать с Фенечкою, любовницею Николая Петровича. Фенечка ему нравится как пухленькая, молоденькая женщина; он ей нравится как добрый, простой и веселый человек. В одно прекрасное июльское утро он успевает напечатлеть на ее свежие губки полновесный поцелуй; она слабо сопротивляется, так что ему удается «возобновить и продлить свой поцелуй». На этом месте его любовное похождение обрывается; ему, как видно, вообще не везло в то лето,

так что ни одна интрига не доводилась до счастливого окончания, хотя все они начинались при самых благоприятных предзнаменованиях.

Вслед за тем Базаров уезжает из деревни Кирсановых, и Тургенев напутствует его следующими словами: «Ему и в голову не пришло, что он в этом доме нарушил все права гостеприимства».

Увидавши, что Базаров поцеловал Фенечку, Павел Петрович, давно уже питавший ненависть к «лекаришке» и нигилисту и, кроме того, неравнодушный к Фенечке, которая почему-то напоминает ему прежнюю любимую женщину, вызывает нашего героя на дуэль. Базаров стреляется с ним, ранит его в ногу, потом сам перевязывает ему рану и на другой день уезжает, видя, что ему после этой истории неудобно оставаться в доме Кирсановых. Дуэль, по понятиям Базарова, нелепость. Спрашивается, хорошо ли поступил Базаров, принявши вызов Павла Петровича? Этот вопрос сводится на другой, более общий вопрос: позволительно ли вообще в жизни отступать от своих теоретических убеждений? Насчет понятия *убеждение* господствуют различные мнения, которые можно свести к двум главным оттенкам. Идеалисты и фанатики готовы всё сломать перед своим убеждением — и чужую личность, и свои интересы, и часто даже непреложные факты и законы жизни. Они кричат об убеждениях, не анализируя этого понятия, а потому решительно не хотят и не умеют взять в толк, что человек всегда дороже мозгового вывода, в силу простой математической аксиомы, говорящей нам, что целое всегда больше части. Идеалисты и фанатики скажут таким образом, что отступать в жизни от теоретических убеждений — всегда позорно и преступно. Это не помешает многим идеалистам и фанатикам при случае струсить и попятиться, а потом упрекать себя в практической несостоятельности и заниматься угрызениями совести. Есть другие люди, которые не скрывают от себя того, что им иногда приходится делать нелепости, а даже вовсе не желают обратить свою жизнь в логическую выкладку. К числу таких людей принадлежит Базаров. Он говорит себе: «Я знаю, что дуэль — нелепость, но в данную минуту я вижу, что мне от нее отказаться решительно неудобно. По-моему, лучше сделать нелепость, чем, оставаясь благоразумным до последней степени, получить удар от руки или от трости Павла Петровича». Стоик Эпиктет, конечно, поступил бы иначе и даже решился бы с особенным удовольствием пострадать за свои убеждения, но Базаров слишком умен, чтобы быть идеалистом вообще и стоиком в особенности. Когда он размышляет, тогда дает своему мозгу полную свободу и не старается прийти к заранее назначенным выводам; когда он хочет действовать, тогда он по своему благоусмотрению применяет или не применяет свой логический вывод, пускает его в ход или оставляет его под спудом. Дело в том, что мысль наша свободна, а действия наши происходят во времени и в пространстве; между верною

мыслью и благоразумным поступком такая же разница, как между математическим и физическим маятником. Базаров знает это и потому в своих поступках руководствуется практическим смыслом, сметкою и навыком, а не теоретическими соображениями.

X

В конце романа Базаров умирает; его смерть — случайность; он умирает от хирургического отравления, т. е. от небольшого пореза, сделанного во время рассечения трупа. Это событие не находится в связи с общею нитью романа; оно не вытекает из предыдущих событий, но оно необходимо для художника, чтобы дорисовать характер своего героя. Действие романа происходит летом 1859 года; в течение 1860 и 1861 года Базаров не мог бы сделать ничего такого, что бы показало нам приложение его миросозерцания в жизни; он бы попрежнему резал лягушек, возился бы с микроскопом и, насмехаясь над различными проявлениями романтизма, пользовался бы благами жизни по мере сил и возможности. Все это были бы только задатки; судить о том, что разовьется из этих задатков, можно будет только тогда, когда Базарову и его сверстникам минет лет пятьдесят и когда им на смену выдвинется новое поколение, которое в свою очередь отнесется критически к своим предшественникам. Такие люди, как Базаров, не определяются вполне одним эпизодом, выхваченным из их жизни. Такого рода эпизод дает нам только смутное понятие о том, что в этих людях таятся колоссальные силы. В чем выразятся эти силы? На этот вопрос может отвечать только биография этих людей или история их народа, а биография, как известно, пишется после смерти деятеля, точно так же, как история пишется тогда, когда событие уже совершилось. Из Базаровых, при известных обстоятельствах, вырабатываются великие исторические деятели; такие люди долго остаются молодыми, сильными и годными на всякую работу; они не вдаются в односторонность, не привязываются к теории, не прирастают к специальным занятиям; они всегда готовы променять одну сферу деятельности на другую, более широкую и более занимательную; они всегда готовы выйти из ученого кабинета и лаборатории; это не труженики; углубляясь в тщательные исследования специальных вопросов науки, эти люди никогда не теряют из виду того великого мира, который вмещает в себя их лабораторию и их самих, со всею их наукою и со всеми их инструментами и аппаратами; когда жизнь серьезно шевельнет их мозговые нервы, тогда они бросят микроскоп и скальпель, тогда они оставят недописанным какое-нибудь ученейшее исследование о костях или перепонках. Базаров никогда не сделается фанатиком, жрецом науки, никогда не возведет ее в кумир, никогда не обречет своей жизни на ее служение; постоянно сохраняя скептическое

отношение к самой науке, он не даст ей приобрести самостоятельное значение; он будет ею заниматься или для того, чтобы дать работу своему мозгу, или для того, чтобы выжать из нее непосредственную пользу для себя и для других. Медициною он будет заниматься отчасти для препровождения времени, отчасти как хлебным и полезным ремеслом. Если представится другое занятие, более интересное, более хлебное, более полезное, — он оставит медицину, точно так же как Вениамин Франклин оставил типографский станок. Базаров — человек жизни, человек дела, но возьмется он за дело только тогда, когда увидит возможность действовать не машинально. Его не подкупят обманчивые формы; внешние усовершенствования не победят его упорного скептицизма; он не примет случайной оттепели за наступление весны и проведет всю жизнь в своей лаборатории, если в сознании нашего общества не произойдет существенных изменений. Если же в сознании, а следовательно, и в жизни общества произойдут желаемые изменения, тогда люди, подобные Базарову, окажутся готовыми, потому что постоянный труд мысли не даст им залениться, залежаться и заржаветь, а постоянно бодрствующий скептицизм не позволит им сделаться фанатиками специальности или вялыми последователями односторонней доктрины. Кто решится отгадывать будущее и бросать на ветер гипотезы? Кто решится дорисовывать такой тип, который только что начинает складываться и обозначаться и который может быть дорисован только временем и событиями? Не имея возможности показать нам, как живет и действует Базаров, Тургенев показал нам, как он умирает. Этого на первый раз довольно, чтобы составить себе понятие о силах Базарова, о тех силах, которых полное развитие могло обозначиться только жизнью, борьбою, действиями и результатами. Что Базаров не фразер — это увидит всякий, вглядываясь в эту личность с первой минуты ее появления в романе. Что отрицание и скептицизм этого человека сознаны и прочувствованы, а не надеты для прихоти и для пущей важности, — в этом убеждает каждого беспристрастного читателя непосредственное ощущение. В Базарове есть сила, самостоятельность, энергия, которой не бывает у фразеров и подражателей. Но если бы кто-нибудь захотел не заметить и не почувствовать в нем присутствия этой силы, если бы кто-нибудь захотел подвергнуть ее сомнению, то единственным фактом, торжественно и безапелляционно опровергающим это нелепое сомнение, была бы смерть Базарова. Влияние его на окружающих людей ничего не доказывает; ведь и Рудин имел влияние; на безрыбье и рак рыба; и на людей, подобных Аркадию, Николаю Петровичу, Василию Ивановичу и Арине Власьевне, больно нетрудно произвести сильное впечатление. Но смотреть в глаза смерти, предвидеть ее приближение, не стараясь себя обмануть, оставаться верным себе до последней минуты, не ослабеть и не струсить — это дело сильного характера. Умереть

так, как умер Базаров, — все равно что сделать великий подвиг; этот подвиг остается без последствий, но та доза энергии, которая тратится на подвиг, на блестящее и полезное дело, истрачена здесь на простой и неизбежный физиологический процесс. Оттого, что Базаров умер твердо и спокойно, никто не почувствовал себе ни облегчения, ни пользы, но такой человек, который умеет умирать спокойно и твердо, не отступит перед препятствием и не струсит перед опасностью.

Описание смерти Базарова составляет лучшее место в романе Тургенева; я сомневаюсь даже, чтобы во всех произведениях нашего художника нашлось что-нибудь более замечательное. Выписывать какой-нибудь отрывок из этого великолепного эпизода я считаю невозможным; это значило бы уродовать цельность впечатления; по-настоящему следовало бы выписать целых десять страниц, но место не позволяет мне этого сделать; кроме того, я надеюсь, что все мои читатели прочли или прочтут роман Тургенева, и потому, не извлекая из него ни одной строки, я постараюсь только проследить и объяснить с начала до конца болезни психическое состояние Базарова. Обрезав себе палец при рассечении трупа и не имевши возможности тотчас прижечь ранку ляписом или железом, Базаров через четыре часа после этого события приходит к отцу и прижигает себе больное место, не скрывая ни от себя, ни от Василия Ивановича бесполезности этой меры в том случае, если гной разлагающегося трупа проник в ранку и смешался с кровью. Василий Иванович, как медик, знает, как велика опасность, но не решается взглянуть ей в глаза и старается обмануть самого себя. Проходит два дня. Базаров крепится, не ложится в постель, но чувствует жар и озноб, теряет аппетит и страдает сильною головною болью. Участие и расспросы отца раздражают его, потому что он знает, что все это не поможет и что старик только самого себя лелеет и тешит пустыми иллюзиями. Ему досадно видеть, что мужчина, и притом медик, не смеет видеть дело в настоящем свете. Арину Власьевну Базаров бережет; он говорит ей, что простудился; на третий день ложится в постель и просит прислать ему липового чаю. На четвертый день он обращается к отцу, прямо и серьезно говорит ему, что скоро умрет, показывает ему красные пятна, выступившие на теле и служащие признаком заражения, называет ему медицинским термином свою болезнь и холодно опровергает робкие возражения растерявшегося старика. А между тем ему хочется жить, жаль прощаться с самосознанием, с своею мыслью, с своею сильною личностью, но эта боль расставания с молодою жизнью и с неизношенными силами выражается не в мягкой грусти, а в желчной, иронической досаде, в презрительном отношении к себе, как к бессильному существу, и к той грубой, нелепой случайности, которая смяла и задавила его. Нигилист остается верен себе до последней минуты.

Как медик, он видел, что люди зараженные всегда умирают, и он не сомневается в непреложности этого закона, несмотря на то, что этот закон осуждает его на смерть. Точно так же он в критическую минуту не меняет своего мрачного миросозерцания на другое, более отрадное; как медик и как человек, он не утешает себя миражами.

Образ единственного существа, возбудившего в Базарове сильное чувство и внушившего ему уважение, приходит ему на ум в то время, когда он собирается прощаться с жизнью. Этот образ, вероятно, и раньше носился перед его воображением, потому что насильственно сдавленное чувство еще не успело умереть, но тут, прощаясь с жизнью и чувствуя приближение бреда, он просит Василия Ивановича послать нарочного к Анне Сергеевне и объявить ей, что Базаров умирает и приказал ей кланяться. Надеялся ли он увидеть ее перед смертью или просто хотел ей дать весть о себе, — это невозможно решить; может быть, ему было приятно, произнося при другом человеке имя любимой женщины, живее представить себе ее красивое лицо, ее спокойные, умные глаза, ее молодое, роскошное тело. Он любит только одно существо в мире, и те нежные мотивы чувства, которые он давил в себе, как романтизм, теперь всплывают на поверхность; это не признак слабости, это — естественное проявление чувства, высвободившегося из-под гнета рассудочности. Базаров не изменяет себе; приближение смерти не перерождает его; напротив, он становится естественнее, человечнее, непринужденнее, чем он был в полном здоровье. Молодая, красивая женщина часто бывает привлекательнее в простой утренней блузе, чем в богатом бальном платье. Так точно умирающий Базаров, распустивший свою натуру, давший себе полную волю, возбуждает больше сочувствия, чем тот же Базаров, когда он холодным рассудком контролирует каждое свое движение и постоянно ловит себя на романтических поползновениях.

Если человек, ослабляя контроль над самим собою, становится лучше и человечнее, то это служит энергическим доказательством цельности, полноты и естественного богатства натуры. Рассудочность Базарова была в нем простительною и понятною крайностью; эта крайность, заставлявшая его мудрить над собою и ломать себя, исчезла бы от действия времени и жизни; она исчезла точно так же во время приближения смерти. Он сделался человеком, вместо того чтобы быть воплощением теории нигилизма, и, как человек, он выразил желание видеть любимую женщину.

Анна Сергеевна приезжает, Базаров говорит с нею ласково и спокойно, не скрывая легкого оттенка грусти, любуется ею, просит у нее последнего поцелуя, закрывает глаза и впадает в беспамятство.

К родителям своим он остается попрежнему равнодушен и не дает себе труда притворяться. О матери он говорит: «Мать

бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом?» Василию Ивановичу он предобродушно советует быть философом.

Следить за нитью романа после смерти Базарова я не намерен. Когда умер такой человек, как Базаров, и когда его геройскою смертью решена такая важная психологическая задача, произнесен приговор над целым направлением идей, тогда стоит ли следить за судьбою людей, подобных Аркадию, Николаю Петровичу, Ситникову et tutti quanti?.. * Постараюсь сказать несколько слов об отношениях Тургенева к новому, созданному им типу.

XI

Приступая к сооружению характера Инсарова, Тургенев во что бы то ни стало хотел представить его великим и вместо того сделал его смешным. Создавая Базарова, Тургенев хотел разбить его в прах и вместо того отдал ему полную дань справедливого уважения. Он хотел сказать: наше молодое поколение идет по ложной дороге, и сказал: в нашем молодом поколении вся наша надежда. Тургенев не диалектик, не софист, он не может доказывать своими образами предвзятую идею, как бы эта идея ни казалась ему отвлеченно верна или практически полезна. Он прежде всего художник, человек бессознательно, невольно искренний; его образы живут своею жизнью; он любит их, он увлекается ими, он привязывается к ним во время процесса творчества, и ему становится невозможным помыкать ими по своей прихоти и превращать картину жизни в аллегорию с нравственною целью и с добродетельною развязкою. Честная, чистая натура художника берет свое, ломает теоретические загородки, торжествует над заблуждениями ума и своими инстинктами выкупает все — и неверность основной идеи, и односторонность развития, и устарелость понятий. Вглядываясь в своего Базарова, Тургенев, как человек и как художник, растет в своем романе, растет на наших глазах и дорастает до правильного понимания, до справедливой оценки созданного типа.

С недобрым чувством начал Тургенев свое последнее произведение. С первого разу он показал нам в Базарове угловатое обращение, педантическую самонадеянность, черствую рассудочность; с Аркадием он держит себя деспотически-небрежно, к Николаю Петровичу относится без нужды насмешливо, и все сочувствие художника лежит на стороне тех людей, которых обижают, тех безобидных стариков, которым велят глотать пилюлю, говоря о них, что они отставные люди. И вот художник начинает искать в нигилисте и беспощадном отрицателе слабого места; он ставит

---

* И всякие прочие (*итал.*). — *Ред.*

его в разные положения, вертит его на все стороны и находит против него только одно обвинение — обвинение в черствости и резкости. Всматривается он в это темное пятно; возникает в его голове вопрос: а кого же станет любить этот человек? В ком найдет удовлетворение своим потребностям? Кто его поймет насквозь и не испугается его корявой оболочки? Подводит он к своему герою умную женщину; женщина эта смотрит с любопытством на эту своеобразную личность; нигилист, с своей стороны, вглядывается в нее с возрастающим сочувствием и потом, увидав что-то похожее на нежность, на ласку, кидается к ней с нерассчитанною порывистостью молодого, горячего, любящего существа, готового отдаться вполне, без торгу, без утайки, без задней мысли. Так не кидаются люди холодные, так не любят черствые педанты. Беспощадный отрицатель оказывается моложе и свежее той молодой женщины, с которою он имеет дело; в нем накипела и вырвалась бешеная страсть в то время, когда в ней только что начинало бродить что-то вроде чувства; он бросился, перепугал ее, сбил ее с толку и вдруг отрезвил ее; она отшатнулась назад и сказала себе, что спокойствие все-таки лучше всего. С этой минуты все сочувствие автора переходит на сторону Базарова, и только кой-какие рассудочные замечания, которые не вяжутся с целым, напоминают прежнее недоброе чувство Тургенева.

Автор видит, что Базарову некого любить, потому что вокруг него все мелко, плоско и дрябло, а сам он свеж, умен и крепок; автор видит это и в уме своем снимает с своего героя последний незаслуженный упрек. Изучив характер Базарова, вдумавшись в его элементы и в условия развития, Тургенев видит, что для него нет ни деятельности, ни счастья. Он живет бобылем и умрет бобылем, и притом бесполезным бобылем, умрет как богатырь, которому негде повернуться, нечем дышать, некуда девать исполинской силы, некого полюбить крепкою любовью. А незачем ему жить, так надо посмотреть, как он будет умирать. Весь интерес, весь смысл романа заключается в смерти Базарова. Если бы он струсил, если бы он изменил себе, — весь характер его осветился бы иначе: явился бы пустой хвастун, от которого нельзя ожидать в случае нужды ни стойкости, ни решимости; весь роман оказался бы клеветою на молодое поколение, незаслуженным укором; этим романом Тургенев сказал бы: вот посмотрите, молодые люди, вот случай: умнейший из вас — и тот никуда не годится! Но у Тургенева, как у честного человека и искреннего художника, язык не повернулся произнести теперь такую печальную ложь. Базаров не оплошал, и смысл романа вышел такой: теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности, но в самых увлечениях сказываются свежая сила и неподкупный ум; эта сила и этот ум без всяких посторонних пособий и влияний выведут молодых людей на прямую дорогу и поддержат их в жизни.

Кто прочел в романе Тургенева эту прекрасную мысль, тот не может не изъявить ему глубокой и горячей признательности, как великому художнику и честному гражданину России.

А Базаровым все-таки плохо жить на свете, хоть они припевают и посвистывают. [4] Нет деятельности, нет любви, — стало быть, нет и наслаждения.

Страдать они не умеют, ныть не станут, а подчас чувствуют только, что пусто, скучно, бесцветно и бессмысленно.

А что же делать? Ведь не заражать же себя умышленно, чтобы иметь удовольствие умирать красиво и спокойно? Нет! Что делать? Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, а вообще не мечтать об апельсинных деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры.

1862 г. Март.

БЕДНАЯ РУССКАЯ МЫСЛЬ

(«Наука и литература в России при Петре Великом».
Исследование П. Пекарского)

I

Исследование г. Пекарского еще не находится в руках публики в полном своем составе; в продажу поступил только первый том, заключающий в себе с лишком 500 страниц текста; второй том, который, вероятно, будет такого же объема, выдет осенью. Над этим исследованием г. Пекарский трудился несколько лет. В 1855 году был напечатан в IV томе «Известий Академии наук по II отделению» план этого ученого труда. С 1855 до половины 1859 года г. Пекарский работал в публичной библиотеке; затем с половины 1859 года он группировал собранные материалы и готовил их к печати, и вот, наконец, в начале 1862 года читающая публика может воспользоваться плодами многолетних и усидчивых трудов. Приступая к оценке книги г. Пекарского, я счел необходимым прежде всего описать ее размеры и привести ее формулярный список; к каким бы результатам меня ни привел разбор этого исследования, во всяком случае надо прежде всего отдать должную дань уважения тому количеству добросовестного труда, которое положено в эти сотни убористо напечатанных страниц. Сколько хламу надо было перерыть, сколько скуки перенести, сколько самоотвержения потратить для того, чтобы составить эту книгу! Поэтому, принимая в соображение путь узкий и прискорбный, по которому г. Пекарский шел к своей светлой цели, я от всей души порадовался за автора, прочтя на обертке его книги: «Удостоено от Академии наук полной демидовской премии». Вероятно, автор предвидел, что это приятное известие обрадует всех добрых людей, которым попадется в руки его исследование; предвидя это и желая на первых же порах доставить своим читателям приятное ощущение, г. Пекарский так и напечатал это на обертке; я говорю это собственно для тех неисправимых скептиков, которые, усматривая во всяком деле дурные умыслы, подумают, что эти слова на обертке поставлены ради тщеславия или

для того, чтобы зарекомендовать заранее книгу нашей слишком доверчивой и мало читающей публике. Неисправимые скептики глубоко ошибутся в своих коварных предположениях: г. Пекарский решительно неспособен придавать особенно высокое значение приговору Академии, он знает очень хорошо, что только суд публики в самом обширном смысле должен быть дорог для писателя, добросовестно служащего своей идее; он знает также, что наша Академия не пользуется особенным сочувствием публики и что теперь даже неакадемические авторитеты меркнут и бледнеют перед беспощадным сомнением. Г. Пекарский известен публике как сотрудник «Современника», следовательно, все эти вещи он твердо знает; повторяю, что слова: «Удостоено от Академии наук полной демидовской премии» помещены на обертке с самым добрым намерением, единственно для того, чтобы порадовать публику хорошим известием. Эти слова ободряют меня, рецензента, приступающего к оценке книги; я рассуждаю так: если г. Пекарский уже получил за свою работу значительное и почетное вознаграждение, то, по всей вероятности, он не огорчится теми замечаниями, которые мне, может быть, придется сделать в этой статье. Г. Пекарский уже знает, что почтенное собрание русских ученых уже увенчало его труд многоценными лаврами. Что же значат после такого решительного торжества беглые и поверхностные замечания скромного журналиста?

Зоил бранит — поэт не *ропчет,*

сказал сам г. Полонский, заканчивая четвертую главу своего «Свежего предания»; [1] а уж если г. Полонский, которому в последнее время действительно насолили зоилы, обещает не роптать даже в случае брани, то тем более есть надежда, что г. Пекарский с величественным равнодушием пропустит мимо ушей мои легкие замечания.

Замечания мои будут действительно очень легки и немногочисленны. Я замечу только, что книга г. Пекарского дает очень много фактов и очень мало выводов; если у меня спросят, что такое это замечание, похвала или порицание, то я скажу, что принять его в ту или в другую сторону совершенно зависит от г. Пекарского. Если бы такое суждение произнес над исследованием почтенный академик, тогда малейшее сомнение сделалось бы невозможным. Обилие фактов, нужных или ненужных, годных или негодных, на языке цеховых ученых называется основательностью исследования, а отсутствие выводов на том же языке называется осторожностью и благоразумием. Что же касается до меня, то я скажу прямо, что книга г. Пекарского при другой, более живой обработке могла бы быть втрое короче и по крайней мере вдвое занимательнее. Первый том состоит из пятнадцати глав; вторая, третья, четвертая, пятая и седьмая представляют много интерес-

ного; затем можно найти некоторые характерные подробности в одиннадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой; все остальное сухо и бесплодно; самый любознательный читатель, раскрывающий книгу с добросовестным желанием научиться чему-нибудь дельному, должен будет употребить в дело геройские усилия, чтобы не оставить чтения на этих безнадежно скучных местах. Надо сказать правду, что весь героизм этих усилий будет потрачен даром, потому что те немногие и мелкие крупицы, которые можно вынести из утомительного чтения, решительно не могут вознаградить читателя за потраченное время и за испытанную скуку. С восьмой главы начинается библиография: г. Пекарский с величайшею тщательностью описывает нам внешний вид разных петровских учебников и приводит из этих душеспасательных книг длиннейшие цитаты; тут мы узнаем например, что первый букварь в Москве вышел в 1634 году, «трудами и тщанием Василья Федорова Бурцева и прочих сработников»; потом мы узнаем, что в 1637 году напечатано второе издание этого букваря, потом в 1664 году — еще букварь, потом в том же году — букварь в Киеве, потом в 1674 году — еще букварь Львовского братства, и так далее, история о букварях тянется на пятнадцать страниц; затем начинается история о грамматиках, потом об арифметиках, о календарях, о географиях; читая эти страницы, можно подумать, что петровская Россия вся сидела в огромной классной комнате и что введение тех или других учебных руководств составляло самую живую, единственную и интересную сторону общественной и умственной жизни. Статистика букварей, стоившая, по всей вероятности, г. Пекарскому многих трудов, могла бы при известных условиях привести к кое-каким результатам. Например, один и тот же букварь Василия Бурцева напечатан двумя изданиями в течение трех лет. Если бы г. Пекарский мог знать, в каком количестве экземпляров было напечатано первое издание, то, узнавши, сколько букварей разошлось в течение трех лет, он мог бы приблизительно рассчитать, как велик был запрос на грамотность в первой половине XVII столетия. Но ведь делать такие расчеты надо очень осторожно; вместе с букварем Бурцева могли быть и действительно были в обращении другие буквари, вышедшие раньше, не в Москве, а хоть бы, например, в Вильне; кроме того, во многих семействах дети могли учиться не по букварям, а просто по псалтири или по какой-нибудь другой священной книжке, как это действительно делалось.

Наконец, г. Пекарскому даже неизвестно то количество экземпляров, в котором печатались эти буквари; стало быть, даже голая цифра, определяющая число учащихся грамоте, не может быть выведена из библиографического перечня учебников. В этом перечне помещено довольно подробное описание каждого отдельного букваря, каждой грамматики и арифметики. Характерного в этих описаниях найдется очень немного. Следующий замысло-

ватый панегирик розге, бичу и жезлу представляет, быть может, самое любопытное место в этой монографии о букварях:

Розга ум вострит, память возбуждает
  и волю злую в благу прелагает:
Учит господу богу ся молити
  и рано в церковь на службу ходити,
Бич возбраняет скверно глаголати
  и дел лукавых юным соделати,
Жезл ленивые к делу побуждает,
  рождших слушати во всем научает.

Как ни игрив этот педагогический мадригал, однако, надо сказать правду, даже в нем читатель находит мало характерного; что в школах секли в XVII столетии — это всем известно; что учение и мучение в то время были синонимами — это тоже не ново; мы всё еще помним, отчасти по собственному опыту, отчасти по свежим преданиям, которым верится без малейшего труда, что розга являлась естественным посредником и живою органическою связью между учителем и учеником. Следовательно, какая же это характерная черта для изображения русского воспитания в XVII столетии; даже воспевание педагогических орудий в стихах не составляет исключительной принадлежности нашей старины. Не дальше как с месяц тому назад в «Северной пчеле» была напечатана заметка о стихотворении одного ксендза, который в розге, или, как он ее называет, в *«розочке»* видит истинный и верный путь к добродетельной жизни и к вечному блаженству. А Витгенштейн! А Юркевич с его энергическими мотивами жизни![2] Нет, решительно те черты эпохи, которые г. Пекарский откапывает в заброшенных петровских и допетровских азбуках, живым живут в XIX столетии; стало быть, или пора истории еще не настала для петровской эпохи, или надо искать исторических материалов не там, где их ищет г. Пекарский. Это второе предположение несомненно верно. Искать черты быта и народного характера в книжонках, по которым учились грамоте и счету разные ребята и школьники, — это такая идея, на которую может напасть только отчаянный библиоман; думать, что значительная часть идей и стремлений, одушевлявших во время óно живых людей, может прилипнуть к школьным руководствам, составлявшимся разными трудолюбивыми тупицами, — это, воля ваша, очень оригинально. Но ведь дело-то в том и есть, что большая часть наших ученых вовсе не задает себе вопроса о конечной цели своих трудов. Один пишет о какой-нибудь черниговской гривне, [3] другой о том, как писалась буква *юс* в рукописях XIII века, третий о значении слова *изгой* или еще что-нибудь в таком же нравоучительном роде. Если бы вы спросили у этих добровольных мучеников, к чему же они стремятся, из чего они бьются, чем оправдывают и объясняют свою многострадальческую и пребесполезную деятельность, знаете ли вы, что они ответили бы вам на один из подобных вопросов?

Самые задорные ответили бы вам, что вы профан и невежда, что если вы не признаете пользы и необходимости археологических, филологических, палеографических и разных других разысканий, одаренных очень звучными названиями, то с вами и говорить не стоит о предметах, недоступных вашему ограниченному пониманию. Другие, более смиренные на вид, ответят скромно, что они собирают материалы для будущего здания русской истории, что они, безвестные труженики, работают для грядущих поколений, которые будут пожинать плоды их усилий. Этот приличный ответ в сущности не что иное, как довольно ловкая увертка, которая действительно обманывает многих доверчивых слушателей и читателей. Представьте себе, что кто-нибудь хочет построить каменный дом и купил себе для этого землю, место; у этого NN есть много знакомых, сочувствующих его предприятию и желающих, чтобы роскошное здание, как можно скорее и успешнее, было воздвигнуто на приготовленном месте; и вот все эти знакомые начинают тащить на место предполагающейся постройки всякий хлам, все, что им попадается под руку: один волочёт старую подошву, другой — разбитую склянку, третий — мешок гнилого картофеля, четвертый — растрепанный экземпляр какого-нибудь сочинения Эккартсгаузена.

— Что вы делаете? — спросит у этих людей посторонний и беспристрастный зритель.

— Да вот, батюшка, — скажут ему усердные носильщики, — собираем материалы для будущего здания.

Конечно, беспристрастный зритель захохочет.

— Помилуйте, — скажет он, — за что же вы разоряете хозяина? Ведь ему придется нанимать несколько подвод, чтобы вывезти с своего участка всю ту рухлядь, которую вы набросали. Разве вы не знаете, из чего строятся каменные дома? Разве вы не понимаете, что битое стекло и гнилой картофель ни при каких условиях не превращаются ни в кирпич, ни в камень, ни в известку? Неужели у вас и на это не хватает мозга и соображения? Правду же говорил об вас Чернышевский, что вы очень несообразительны. [4]

Обидятся или не обидятся этими словами собиратели хлама, — до этого мне нет никакого дела. Смысл моей нехитрой басни, кажется, ясен. Дело все в том, что собирать материалы без разбору, без критики, без смысла — значит затруднять задачу будущего зодчего, будущего таланта, который должен окинуть орлиным взором всю вереницу прошедших событий, увидать между ними действительную связь и набросать широкими штрихами великую картину, полную живого смысла, блещущую яркими красками исторической правды. Что за облегчение для будущего историка, если вы перепечатаете ему в своем исследовании половину изданных в России букварей и часословов? Что за облегчение, если вы ему представите в хронологическом порядке все изменения, кото-

рые в течение веков испытала в своем начертании буква *юс* или *кси*? Что за облегчение, если вы пересчитаете, сколько раз слово *прѣ* (паруса) встречается в летописях или в переводе библии? Если вы трудолюбивый исследователь и не признаете за собою способности созидать здание, т. е. ярко изображать или стройно группировать и сообщать факты, то собирайте их с толком, умейте различать, что камень, что дерево, а что просто навоз. Ведь в этом-то и состоит единственно возможное разделение труда в деле научного исследования. Ведь нельзя же возводить в драгоценные исторические материалы *пробы пера* какого-нибудь человека, хотя бы этот человек был величайший гений нашей планеты и хоть бы он жил лет за тысячу до нашего времени. Пробы пера все-таки останутся пробами пера, и вы из них не выжмете ничего путного; бумага и пергамент не вино; они не становятся лучше и занимательнее от времени.

Зиждущий талант будущего историка потратится на расчищение места, если скромные исследователи попрежнему будут усыпать его архивною пылью. Дело исследователей — обсудить, что годится, что не годится, и потом представить в своем исследовании совокупность всего годного; дело талантливого историка — взять это годное и из этих очищенных материалов вылепить живые фигуры и осмысленные барельефы; первый сортирует, отвеивает зерна от мякины, второй творит из данного материала. Что касается до наших русских ученых, то большая часть из них не годится ни в историки, ни даже в собиратели материалов. Сырье остается сырьем; характерные факты ставятся рядом с самыми бесцветными; занимательные подробности рядом с такими обстоятельствами, которые можно было бы забыть с величайшим удобством. Слабость мысли, раболепное уважение к старине потому только, что она старина; умиление над прошедшим потому только, что оно прошло; бесцельная погоня за мелким фактом, не имеющим ни малейшего исторического смысла; бессознательная перепечатка рукописей и документов потому только, что они написаны старинным почерком, — вот какими свойствами и действиями отличается большая часть наших тружеников. Смеяться над такою наукою и над такими учеными можно именно из любви к истинной, плодотворной и живой науке. Этой сухой и дряхлой официальной науке, над которою, по моему мнению, может и должен смеяться всякий живой и энергический человек, этой самой науке, прозябающей в разных умственных оранжереях, г. Пекарский принес обильную дань в своем исследовании. Сотрудник «Современника», умеющий иногда отзываться живыми статьями на запросы времени, перерыл все петровские буквари и учебники, описал их заглавные картинки, изучил их шрифт, перепечатал из них многое множество скучных цитат, потом заключил всю эту неорганическую компиляцию под одну обертку и с торжеством написал на этой обертке: «Удостоено от Академии наук полной демидовской премии». Ну,

и слава богу! Отдавая должную дань официальной науке, той науке, которая гордо объявляет, что она сама себе цель и что ей до общества и до жизни нет дела, г. Пекарский доказал очень наглядным примером, что порода ученых переливателей из пустого в порожнее переведется у нас очень не скоро и что петровский период искусственного насаждения наук в России продолжается до наших времен и, может быть, будет продолжаться еще для наших детей и внуков.

II

Впрочем, бог с ними, и с официальною наукою, и с демидовскою премиею, и с счастливым триумфатором, г. Пекарским! Взглянем лучше на ту эпоху, которою занимался наш исследователь; будем брать факты из его же книги, а рассуждать о них будем по-своему, т. е. не так, как рассуждают ученые, а так, как рассуждают простые люди, не лишенные здравого смысла.

Теперь, кажется, спор между славянофилами и западниками о значении Петра в истории нашего просвещения, оставаясь нерешенным, затих и заглох, потому что самые литературные партии, красовавшиеся под этими двумя фирмами, успели выродиться и преобразиться. Теперь уже никто серьезно не советует возвратиться к временам боярства, и вследствие этого уже никто серьезно не полемизирует с боярским элементом. Слышатся кое-где фразы о народности, о почве; эпитет *русский* ни к селу ни к городу привязывается к словам: жизнь, мысль, ум, развитие; но те господа, которые сочиняют подобные фразы и употребляют всуе многознаменательный эпитет, сами как-то не верят тому, что говорят, и на самом деле придают своим словам очень мало значения. Фразы и вывески год от году теряют свою обаятельную прелесть; прежде достаточно было сказать: «матушка Русь православная», или заговорить о народной подоплеке, [5] или противопоставить «русскую цельность духа» европейскому рационализму, для того чтобы прослыть не только патриотом, но даже опасным человеком. Теперь уже не то. Теперь вы можете кричать на всех перекрестках, что вы прогрессист, либерал, демократ, и вам немногие поверят на слово, и вас немногие будут слушать или читать, если под звучными вашими словами нет оригинальных мыслей, если под вашими фразами не кроются глубоко продуманные убеждения. Наши теперешние литературные партии теперь не выкидывают ярких флагов, не тащат насильно читателей ни на восток, ни на запад, не стараются прыгнуть ни в XVI столетие, ни в XXII-е; они живут во времени и в пространстве, они следят за жизнью и комментируют одни и те же явления и смотрят на них или по крайней мере стараются смотреть на них не с китайской, не с французской, не с английской, а просто с человеческой, с своей личной точки зрения. Вот, говорят одни, это распоряжение

хорошо, потому что оно облегчает судьбу такого-то сословия. Нет, возражают другие, такое-то распоряжение нехорошо, потому что оно недостаточно облегчает и обеспечивает участь заинтересованного класса. Являются доказательства с той и с другой стороны. Доказательства эти берутся из живого быта, из чистой действительности. Спорят большею частью о том, удобно или неудобно новое бытовое условие, а не о том, соответствует или не соответствует оно прежнему историческому ходу развития, и не о том, согласно ли оно с выводами чистой умозрительной логики. Вера в непогрешимость чистой логики и в разумность истории оказывается подорванною; эту веру задавили настоятельные потребности жизни; мы увидали, что жизнь наша устроена очень плохо, так плохо, что если бы нарочно выдумывать, то нельзя было бы изобрести чего-нибудь более неудобного; между тем мы видели и знали, что решительно ни один человек, имевший влияние на устройство нашего быта, не делал нам умышленного зла; всякий хотел сделать получше, всякий мудрил над жизнью, всякий вертел по-своему ее огромный калейдоскоп, и от этого отдельные камешки и стеклышки складывались в невероятно уродливые фигуры, теснили друг друга, без нужды сшибались и сталкивались между собою, то приходили в хаотическое движение, то вдруг останавливались и замирали в самом неестественном положении. Всякий мудритель над жизнью, как более или менее крупный Петр Иванович Бобчинский, хотел заявить о себе почтеннейшей публике и часто заявлял такою же оригинальною шуткою, посредством которой Эрострат вошел во всемирную историю. Если перебрать жизнь и действия всех великих и больших исторических деятелей, то найдется очень немного таких людей, с которых можно было бы снять упрек в мудрении над жизнью. В этом мудрении над жизнью и заключается темное пятно их жизни и деятельности. Личная логика этих деятелей расходилась с потребностями людей и времени; эти настоящие, законные потребности заявляли свое существование сопротивлением, иногда тупым и инертным, как сопротивление наших староверов, иногда деятельным и блестящим, как сопротивление нидерландских патриотов против распоряжений Филиппа II, желавшего насильно ввести своих подданных в царство небесное. Тогда личная логика мудрителя, опираясь на его личную волю и на его материальные средства, вступала в отчаянную борьбу с естественными силами непонятой им жизни; борьба была более или менее упорна, смотря по тому, насколько была крупна личность деятеля и насколько были развиты силы сопротивления и отпора. В конце концов непонятая и насильственно ломаемая жизнь всегда одерживала победу уже потому, что она переживала своего противника; во всей всемирной истории мы не видим ни одного примера, чтобы личная воля одного человека, отрешенная от естественных потребностей народа и эпохи, основала какое-нибудь прочное государственное или социальное

здание, какое-нибудь долговечное учреждение, какое-нибудь живучее бытие. Возьмите, например, историю всех монархий, составившихся завоеваниями одного человека; все они, начиная от монархии Александра Македонского и кончая империею Наполеона I, не переживали своих основателей и, насильственно сколоченные из разнородных кусков и верешков, мгновенно разлагались на свои составные части. Припомните историю отвлеченных законодательных теорий, которые втискивались в жизнь народа по воле отдельного лица; что делалось с этими теориями? Их выкидывал народ из своей жизни, или он их проглатывал и переработывал так, что голая теория становилась неузнаваемою. Припомните, далее, историю религиозных преследований — этого грубейшего проявления личного произвола: вы увидите, что эти преследования не упрочивали господства того культа, во имя которого они воздвигались; Джордано Бруно, Савонарола, Ян Гус не остановились перед кострами, а за ними пошли тысячи людей, которые затоптали, заплевали эти костры и разметали по свету безобразные головни и погасшие угли. Все эти примеры, однако, вовсе не доказывают, что мудрение над жизнью, производимое историческими деятелями по тем или другим побуждениям и соображениям, остается безвредным и не ведет за собою важных последствий. Дело только в том, что последствия никогда не бывают такие, каких желает сам деятель. Если бы Филипп II не ввел инквизицию в Нидерланды, то, вероятно, Нидерланды долго не оторвались бы от испанских владений; стало быть, Филипп II имел влияние на судьбу Нидерландов, только влияние это было очевидно не то, которое он желал иметь; ему хотелось утвердить католицизм — он ввел инквизицию, и вдруг это непогрешимое средство подействовало совершенно навыворот: вместе с католицизмом оно опрокинуло в Нидерландах господство Испании; личная логика оказалась несостоятельною; историческая действительность перехитрила все тонкие расчеты Филиппа II.

Владея известною материальною силою, задавшись известною идеею, деятель вступает в борьбу с тою или другою стороною современной ему жизни; эта борьба, конечно, изменяет состояние сопротивляющейся силы; всякое гонение изменяет положение гонимого класса народа или религиозного общества; во время гонения преследуемые идеи доводятся до своего последнего, крайнего выражения. Гонение порождает мучеников; мученичество вызывает сочувствие; сочувствие, закравшееся в сердца целых тысяч людей, выражается в более или менее сильном протесте против гонителей; словом, напор личной логики и личной воли вызывает реакцию, и дальнейшее историческое движение, дальнейшее направление жизни определяется совокупным действием этих двух сил, из которых сила личной логики и воли всегда оказывается слабейшею.

Реформаторская попытка, предпринятая историческим деятелем, напрягает таким образом силу тех начал, которые заключаются в обработываемом материале. Кроме того, эта же реформаторская попытка изменяет самое расположение этих начал; перепутывая и переламывая существующий порядок, нарушая заведенный ход обыденной жизни, борьба между личною логикою и народною волею изменяет самые условия жизни, но изменяет их обыкновенно не настолько и не так, насколько и как того желает сам деятель. Ревностный католик, германский император Фердинанд II начал Тридцатилетнюю войну с полным желанием искоренить или по крайней мере стеснить протестантизм, насколько это было возможно. Вместе с тем он имел в виду войною упрочить преобладание своей династии и неограниченное господство императора как в Германии вообще, так в наследственных своих землях в особенности. Он хотел переломать по-своему весь строй общественных отношений и религиозных понятий; на самом же деле ему удалось только разрушить тот порядок вещей, который он застал при вступлении своем на престол.

Протестантизм не погиб, а абсолютизм германского императора не разросся и не окреп, но во всяком случае Германия после Вестфальского мира была уже не та, какою мы ее видели раньше битвы при Белой горе. [6] Многие вопросы жизни, едва поставленные в начале Тридцатилетней войны, успели определиться и подвинуться к своему разрешению; территориальные отношения перепутались; Швеция и Франция благодаря военным действиям приобрели небывалое до того времени влияние на дела Германии; католики-французы, сражаясь рядом с немцами-протестантами, убедили Европу в том, что религиозные войны начинают делаться анахронизмом и что умные государственные люди руководствуются в своих действиях чисто политическими расчетами. Все эти последствия Тридцатилетней войны вовсе не были похожи на то, чего желал и ожидал император Фердинанд. Таким образом, мы видим, что крупный исторический деятель имел несомненное влияние на развитие событий, но что это влияние, переработанное силою обстоятельств, было вовсе не сознательное и вовсе не соответствовало ни его личным соображениям, ни его личным желаниям. Крупная личность вовсе не управляет ходом событий; она сама, как ингредиент, входит в процесс исторической жизни; ее действия перерабатываются известными условиями и обстоятельствами, образуют с этими условиями и обстоятельствами разные комбинации и компликации, вовсе не зависящие от ее личной воли. Алхимики хотели найти философский камень и жизненный эликсир, а вместо того обогатили естественные науки разными открытиями, о которых они и не думали. Колумб хотел проехать в Восточную Индию, а вместо того открыл новую часть света, о которой он не имел понятия.

Область неизвестного, непредвиденного и случайного еще так велика, мы еще так мало знаем и внешнюю природу и самих себя,

что даже в частной жизни наши смелые замыслы и последовательные теории постоянно разбиваются в прах то об внешние обстоятельства, то об нашу собственную психическую натуру. Кто из нас не знает, например, что ревность — чепуха, что чувство свободно, что полюбить и разлюбить не от нас зависит и что женщина не виновата, если изменяет вам и отдается другому? Кто из нас не ратовал словом и пером за свободу женщины? А пусть случится этому бойцу испытать в своей любви огорчение, пусть его разлюбит женщина, к которой он глубоко привязан! Что же выдет? Неужели вы думаете, что он утешит себя своими теоретическими доводами и успокоится в своей безукоризненно-гуманной философии?

Нет, помилуйте! Этот непобедимый диалектик, этот вдохновенный философ полезет на стены и наделает таких глупостей, на которые, может быть, не решился бы самый дюжинный смертный. «Чужую беду я руками разведу, а к своей беде и ума не приложу», — говорит русская пословица. Ну, вот видите ли, ведь исторические деятели такие же люди, как и мы; у них такая же плоть и кровь, такой же разлад между мозговыми выкладками и физическими ощущениями, такое же несогласие между мыслью и делом. Если сумма их умственных и нервных сил больше нашей, то зато и круг действий шире, и ошибки заметнее, и падения опаснее. Если нам трудно и даже невозможно расположить собственную жизнь по той программе, которую совершенно одобряет наш разум, то тем более историческому деятелю, т. е. человеку, стоящему на заметной ступеньке, совершенно невозможно сделать так, чтобы несколько тысяч или миллионов людей завели бы между собою именно такие отношения, какие он считает разумными и нормальными. Физический маятник ни при каких условиях не будет двигаться совершенно так, как математический; тяжесть, трение, сопротивление воздуха, свойства металла введут в движение физического маятника такие условия и ограничения, каких нет и не может быть в отвлеченной алгебраической формуле. Так точно бывает с каждым теоретическим проектом, когда дело идет о том, чтобы привести его в действие; то, что в голове прожектера складно и последовательно, то, что на бумаге ясно, легко и просто, то может не пойти в ход от какого-нибудь ничтожного столкновения с плотью и кровью жизни, то может расстроиться от какого-нибудь маленького, непредусмотренного обстоятельства. Кто же решится утверждать, что он знает жизнь и что для него жизнь не представляет вереницы случайностей, сбивающих с толку самого тонкого психолога, самого опытного дипломата? Драгоценнейший результат исторической жизни человечества, драгоценнейший плод изучения этой жизни состоит, быть может, именно в том, что мы потеряли веру в нашу личную логику, приложенную к предусматриванию или предустроению событий. Ты будь себе хоть семи пядей во лбу, думаем и говорим мы теперь, обращаясь к истори-

ческим деятелям, а ты событий не создашь и даже не предскажешь. В древности верили в существование разных Солонов и Ликургов; верили, что законы каждого государства составлены каким-нибудь очень мудрым мудрецом, который сказал, что должно быть так и эдак, и которому все граждане поверили на слово. В древности даже исторические мудрецы, оставившие нам вполне достоверные сочинения, воображали себе, что они могут основать идеальные государства и осчастливить человечество, заставив его жить в пределах данной программы. С падением Греции и Рима не погибла претензия умных людей распоряжаться жизнью, мыслями и поступками своих ближних; утописты, т. е. люди, изображавшие идеальный порядок вещей и пытавшиеся осуществить свои фантазии на деле, являлись во всевозможных богословских, философских и экономических школах; может быть, они не перевелись и до сих пор, но зато рядом с ними явились и такие люди, которые, не возражая против частностей их проектов, говорят просто и решительно: «Это построение чистого разума, это теоретическое сооружение, следовательно, оно не приложимо к жизни. Жизнь не терпит произвольных ампутаций и механических склеиваний; кто хочет коверкать на свой лад живую действительность, тот этим самым желанием обнаруживает полное непонимание жизни и полную неспособность действовать на нее благотворно». Это заявление полного и решительного недоверия к непогрешимости личной логики составляет протест мужающего человечества против опеки разных гениев, мудрецов и великих людей. Без этого протеста обыкновенным людям нельзя было бы жить на свете; их постоянно охраняли и предостерегали бы от увлечений разные мудрецы; их постоянно просвещали бы против их воли разные гении; им постоянно благодетельствовали бы, не спрашивая их согласия, разные исполины филантропии; а ведь непрошенные предостережения, просвещения и благодеяния все равно что не в пору гость — хуже татарина. Самое драгоценное достояние человека — его личная независимость, его свобода постоянно приносилась бы в жертву разным обширным и возвышенным целям, созревающим в разных великих и высоких головах; нам, простым смертным, пришлось бы отказаться от всякой самодеятельности; за нас думали, чувствовали и жили бы разные герои, мудрецы и гении; может быть, в нашей жизни водворилось бы вследствие этого небывалое благочиние; может быть, явилась бы невиданная и неслыханная гармония, но во всяком случае нам, отдельным атомам, букашкам и моськам, было бы скучно и тяжело среди этого размеренного, рассчитанного, чинного и симметричного хозяйства жизни. К счастью или к несчастью (смотря по вкусам читателя), стремление к личной независимости с каждым десятилетием глубже и глубже проникает в сознание людей; необходимость личной полноправности сознается шире, полнее и определеннее; увеличивающееся сознание этой необходимости

составляет даже главное основание того процесса, который называется в истории развитием или усовершенствованием человечества. Чем развитее нация, тем полнее самостоятельность отдельной личности, и в то же время тем безопаснее одна личность от посягательств другой. Пользоваться полною личною свободою и в то же время не вредить другому и не нарушать его личной свободы — вот то положение, в которое всевозможные законодательства и общественные учреждения стараются поставить отдельную личность. Чем ближе подходят существующие общества людей к этому желанному положению, тем незначительнее становится влияние людей, склонных мудрить над жизнью и ломать ее по своей прихоти или по своим более или менее мудрым соображениям. В цивилизованной нации, в которой каждый отдельный гражданин считает себя полноправным лицом и знает, где кончается свобода и где начинается нахальный произвол, в такой нации, говорю я, возможны или постепенные изменения в нравах и идеях, изменения, происходящие от смены поколений и от естественного движения жизни, или крупные перевороты, соответствующие той или другой неудовлетворенной потребности целого сословия, целой массы людей. По идее одного мыслителя, по воле одного гения, как бы ни был умен этот мыслитель, как бы ни был силен этот гений, не сделается никакого ощутительного изменения ни в жизни, ни в понятиях, ни в стремлениях. Когда мыслят, когда живут полною человеческою жизнью целые тысячи или миллионы разумных существ, тогда, конечно, единичная мысль и единичная воля тонут и исчезают в общих проявлениях великой народной мысли, великой народной воли. Когда существенный характер общества заключается не в инерции, а в самодеятельности, когда каждый устраивает себе жизнь по-своему и составляет себе о ней свои более или менее своеобразные и самостоятельные понятия, тогда ваши идеи, высказанные публично или напечатанные, принимаются не иначе, как после многосторонней и строгой критической проверки. В обществе мыслящих людей самый красноречивый оратор, самый вдохновенный мыслитель найдет себе мало слепо верующих адептов. Выслушав такого оратора или мыслителя, каждый отдельный человек скажет про себя: ты, друг любезный, очень умен, но это нисколько не отнимает у меня возможности и потребности взвешивать твои слова и разбирать, насколько они дельны и справедливы. Словом, слепой фанатизм, увлекающий многоголовую толпу за тем человеком, который умышленно или нечаянно успел поразить ее воображение, возможен только при таком состоянии общества, которое уже миновалось для большей части образованных европейских наций или по крайней мере для действительно образованных слоев этих народов.

Если в этих образованных нациях трудно или невозможно увлечь за собою толпу, действуя только на ее воображение, то тем более трудно или невозможно повести эту толпу за собою

насильно. В Африке, в какой-нибудь империи негров-ашантиев,[7] властелин, имеющий под своим начальством преданное войско, может, пожалуй, по своему благоусмотрению изменять у жителей моды, обычаи, образ жизни; он может насильно дать им новую религию, новые законы, новые увеселения. Не составив себе ясного понятия о своих чисто человеческих правах, бедные ашантии покорятся, привыкнут, может быть, к новым, искусственным порядкам и даже, может быть, согласятся быть в руках своего властелина послушными орудиями для дрессирования своих упорных или непонятливых соотечественников. В образованном обществе, конечно, немыслима даже подобная попытка. Самый сумасшедший из римских цезарей, какой-нибудь Кай Калигула, Коммод или Гелиогабал, не пытался произвольно перестроить социальные отношения, установленные обычаи, существующие законы. В новейшее время самое легкое посягательство отдельного лица на такие права, которые общество привыкло считать своею неотъемлемою и законною собственностью, вело за собою самые резкие и решительные перевороты. Достаточно назвать Карла I и Иакова II английских, Карла X и Людовика-Филиппа французских. Эти четыре имени напомнят читателю четыре многознаменательные исторические эпизода. [8] Из этих эпизодов так легко вывести нравоучение басни, что я предоставлю этот труд другим, а сам приступлю, наконец, к личности и деятельности Петра.

III

Когда западники спорили с славянофилами о реформе Петра, тогда первые доказывали, что она была в высшей степени полезна, а вторые утверждали, что она извратила русскую жизнь и нанесла к нам целые груды иноземной лжи. Западники говорили, что с реформы Петра начинается история России, а что предыдущие столетия не что иное, как печальное и мрачное введение; славянофилы божились, напротив того, что с Петра начинается вавилонское пленение русской мысли, египетская работа, заданная нам Западом. Мне кажется, нельзя согласиться ни с западниками, ни с славянофилами. Западников можно было озадачить одним очень простым вопросом: в чем же вы, господа, можно у них спросить, видите проявление исторической жизни в России после Петра? Какое же существенное различие между Россиею Алексея Михайловича и Россиею Екатерины I? В чем изменилась судьба народа? И какое дело народу до того, что в Петербурге ученые немцы собирают монстры и раритеты, что приказы переименованы в коллегии и что шведский король разбит под Полтавою? Обращаясь к славянофилам, можно сказать: помилуйте, господа, о чем вы горюете? Если иноземная ложь действительно подавила нашу народную правду, то, значит, эта ложь хоть и ложь, а все-

таки была сильнее хваленой вашей правды. Если эта победа лжи над правдою есть явление временное, происходящее от временного ослабления этой правды, тогда ждите ее усиления и не вините Петра в том, что он будто бы задавил это живое начало. Да и что за правда? Где она? В какой это прелюбезной черте старорусской жизни вы ее видите? В боярщине, в унижении женщины, в холопстве, в батогах, в постничестве и юродстве? Если это правда, то во всяком случае правда относительная. Иному она нравится, а иному и даром не нужна. Расходясь с западниками и славянофилами, я в то же время схожусь и с теми и с другими на некоторых существенно важных пунктах. С западниками я разделяю их стремление к европейской жизни, с славянофилами — их отвращение против цивилизаторов à la Паншин [9] или, что то же самое, à la Петр Великий. Европейская жизнь хороша, спору нет, — не хорошо только то, что мы до сих пор созерцаем ее в заманчивой, но отдаленной перспективе. Любя европейскую жизнь, мы не должны и не можем обольщаться тою бледною пародиею на европейские нравы, которая разыгрывается высшими слоями нашего общества со времен Петра; мы должны помнить, что ничто не вредит истинному прогрессу так сильно, как сладенький оптимизм, принимающий декорации за живую действительность, удовлетворяющийся фразами и жестами, питающийся дешевыми надеждами и не решающийся называть вещи их настоящими именами. Постепенное очищение нашего сознания от этого тупого оптимизма составляет самую живую и интересную сторону в развитии наших литературных идей. С каждым десятилетием мы начинаем смелее и беспощаднее относиться к самим себе, к тем проявлениям нашей жизни, которые так недавно возбуждали в нас патриотическую гордость. Мы трезвеем с изумительною быстротою и перестаем бояться тех неприятных ощущений, которые может доставить нам созерцание неподкрашенной действительности. Давно ли Полевой писал свою «Парашу-сибирячку»? Давно ли Загоскин восхищал патриотическую публику произведениями вроде «Юрия Милославского» или «Рославлева»? Давно ли Пушкин взывал к клеветникам России, давно ли он пел Петру переслащенные панегирики в «Полтаве» и в «Медном всаднике?» Давно ли даже Гоголь в конце первой части «Мертвых душ» сравнивал Россию с могучею тройкою, от которой сторонятся народы, перед которой чуть ли не с благоговением расступаются европейские державы? Возьмите, наконец, Белинского, этого неподкупного критика, этого трезвого мыслителя. Просмотрите его статью о Петре, писанную в 1841 году. [10] Что это за восторги, что за восклицания, что за риторические фигуры вместо тонкого анализа и последовательной аргументации! Надо сказать правду, в последнее время наши умственные и нравственные требования поднялись гораздо выше. Теперь даже г. Пекарский, которого по таланту, конечно, смешно и сравнивать с Белинским, не обнаружит в отношении

к Петру того ребячески-слепого благоговения, которое в начале сороковых годов одолело нашего знаменитого критика. Созрели ли мы или не созрели, это такой вопрос, которого разрешение надо предоставить г. Е. Ламанскому или г. Погодину, [11] но достоверно то, что мы почувствовали и начали сознавать нашу незрелость, мы стали строги и требовательны к самим себе, мы вооружились против себя и против других оружием насмешки и презрения, юмор и желчь проникли насквозь нашу литературу и заразили собою самых незлобивых наших поэтов, — вот что хорошо, вот на что мы можем надеяться, потому что, как говорит Базаров, кто сердится на свою болезнь, тот наверное победит ее. Итак, мы любим европеизм, но, именно из любви к нему, стремимся к настоящему европеизму и не удовлетворяемся остроумными затеями Петра Алексеевича.

С славянофилами мы сходимся, как я уже заметил, в их отвращении к цивилизаторам, насильно благодетельствующим человечеству. Мы бы желали, чтобы народ развивался сам по себе, чтобы он собственным ощущением сознавал свои потребности и собственным умом приискал средства для их удовлетворения. Мы в этом случае не восстаем против подражательности, если только народ собственным процессом мысли доходит до сознания необходимости позаимствоваться у соседей тем или другим изобретением или учреждением. Мы не желаем только, чтобы над жизнью народа проделывали те или другие фокусы; если бы теперь в России жили два человека, из которых один захотел бы силою вводить заключение женщины в терема, а другой вздумал бы силою же вводить гражданские браки, то меня прежде всего возмутило бы не направление той или другой реформы, а ее насильственность, т. е. способ ее проведения в жизнь. Но, придавая таким образом важное значение самостоятельному развитию народной жизни и народной мысли, мы не желаем утешать себя звучным падением слов; мы не думаем, чтобы мыслящий историк мог в истории московского государства до Петра подметить какие-нибудь симптомы народной жизни, мы не думаем, чтобы он нашел в ней что-нибудь, кроме жалкого, подавленного прозябания. Мы не думаем, чтобы мыслящий гражданин России мог смотреть на прошедшее своей родины без горести и без отвращения; нам не на что оглядываться, нам в прошедшем гордиться нечем; мы молоды как народ, и если счастье дастся нам в руки, так не иначе как в будущем, впереди, в неизвестной, заманчивой, голубой дали. Следовательно, славянофильское отрицание действий Петра во имя допетровского порядка вещей оказывается несостоятельным, хотя это отрицание основано на очень законном и понятном отношении славянофилов к тем бытовым формам, которые выработались у нас в XVIII и в половине XIX века. Сухой бюрократизм этих бытовых форм тяготел над ними свинцовою тяжестью, и они видели, что этот бюрократизм ведет свое происхождение из заморского Запада и постоянно

указывает на свою непосредственную связь с действиями Петра. Недовольные настоящим, несправедливо негодуя против заморского Запада, славянофилы обратились к тому гонимому, отверженному прошедшему, которое наши официальные историки отнесли под рубрику русских древностей. Желая вычитать из летописей привлекательные черты этого умышленно забытого прошедшего, славянофилы успели это сделать; в каждой книге, в каждой рукописи всегда можно прочесть именно то, что желаешь, и, таким образом, многие из наших патриотов по предвзятой идее влюбились в наше прошедшее, доказали себе, что оно хорошо, и зажмурили глаза, чтобы не видеть его гнойных ран и кровавых болячек. Накидываясь на Петра за то, что он нарушил гармонию этого прошедшего, славянофилы не сообразили того, что один человек не может изменить строй народной жизни, если эта жизнь действительно построена на крепких и разумных основах, сознанных и любимых самим народом. Если Петр действительно опрокинул что-нибудь, то он опрокинул только то, что было слабо и гнило, только то, что повалилось бы само собою.

Мы видим таким образом, что и славянофилы и западники преувеличивают значение деятельности Петра; одни видят в нем исказителя народной жизни, другие — какого-то Сампсона, разрушившего стену, отделявшую Россию от Европы. Метафорам с той и с другой стороны нет конца, потому что только метафорами можно до некоторой степени закрасить нелепость того или другого положения. Деятельность Петра вовсе не так плодотворна историческими последствиями, как это кажется его восторженным поклонникам и ожесточенным врагам. Жизнь тех семидесяти миллионов, которые называются общим именем русского народа, вовсе не изменилась бы в своих отправлениях, если бы, например, Шакловитому удалось убить молодого Петра. Конечно, очень может быть, что у нас не было бы столицы на берегах Невы и, следовательно, не было бы ни кунсткамеры с раритетами, ни академии наук, ни даже исследования г. Пекарского, удостоенного полной демидовской премии. Все это очень возможно, но скажите по совести, положа руку на сердце, какое дело русскому народу до всех этих общеполезных учреждений? Многие ли из этих семидесяти миллионов знают о их существовании? Вот манифест 19 февраля 1861 года — дело совсем другое; об нем через полгода знала вся Россия, и мужики повеселели на всем протяжении земли

От хладных финских скал
До пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая. [12]

Этот манифест — историческое событие, эпоха для жизни России. Но кто же, кроме г. Устрялова, решится считать эпохою закладку Петербурга, или учреждение академии, или основание потешных рот?

А между тем нельзя не заметить, что многосторонняя, кипучая деятельность Петра представляет собою оригинальное и характерное явление. Эта деятельность важна и замечательна, как барометрическое указание; она доказывает нам, как глубоко спал русский народ, как бессилен был против этого богатырского сна тот шум, который производил Петр, и как непробудно продолжал спать этот народ во время деятельности своего властелина и после ее окончания. Проснулся ли он теперь, просыпается ли, спит ли попрежнему, — мы не знаем. Народ с нами не говорит, и мы его не понимаем. Верно только одно: если он проснется, то проснется сам по себе, по внутренней потребности; мы его не разбудим воплями и воззваниями, не разбудим любовью и ласками, как не разбудил Петр Алексеевич ни казнями стрельцов, ни изданиями голландской типографии Тессинга.

IV

К. С. Аксаков в своей статье о богатырях времен великого князя Владимира [13] приводит очень характерный рассказ о столкновении Ильи Муромца с каким-то неведомым богатырем необъятной силы.

Создав богатыря страшной силы, — говорит Аксаков, — народная фантазия не остановилась на этом. Она создает еще богатыря — необъятную громаду и необъятную силу: его не держит земля; на всей земле нашел он одну только гору, которая может выносить его страшную тяжесть, и лежит на ней неподвижный. Прослышал о богатыре Илья Муромец и идет с ним померять силы; он отыскивает его и видит, что на горе лежит другая гора — это богатырь. Илья Муромец, не робея, выступает на бой, вынимает меч и вонзает в ногу богатырю. — Никак я зацепился за камушек, — говорит богатырь. Илья Муромец наносит второй удар, сильнее первого. — Видно, я задел за прутик, — говорит богатырь и, обернувшись, прибавляет: — это ты, Илья Муромец; слышал я о тебе: ты всех сильнее между людьми, — ступай и будь там силен. А со мною нечего тебе мерять силы; видишь, какой я урод; меня и земля не держит; я и сам своей силе не рад.

Борьба между волею Петра и естественною силою обстоятельств в тогдашней России напоминает собою этот своеобразный эпизод из богатырской жизни Ильи Муромца. Подобно Илье Муромцу, Петр чувствовал себя сильнее всех своих современников; силы его ума и воли были необыкновенны; положение его совершенно исключительно; все его приказания исполнялись буквально; все нарушители его воли подвергались жестокому наказанию; сопротивление было невозможно и немыслимо; даже недостаток усердия в повиновении считался преступлением; словом, все единичные воли без борьбы склонялись перед волею Петра, и Петр, как сказочный богатырь Илья Муромец, не находил себе соперников и противников между живыми людьми.

Но почти всегда случается так, что претензии превышают сумму наличных сил; это бывает даже тогда, когда наличных сил очень много; могучий гений почти всегда бывает одержим таким беспокойным стремлением к деятельности, которое заставляет его предпринимать невыполнимые задачи, сталкиваться с неодолимыми препятствиями и горьким опытом убеждаться в том, что всякой человеческой силе есть мера и границы.

Решившись создать русскую цивилизацию, решившись превратить в европейцев те миллионы своих подданных, которые еще не обнаруживали ни малейшего желания и не чувствовали ни малейшей потребности изменить свой стародавний быт, Петр, очевидно, вступил в борьбу уже не с единичною волею, и даже не с массою единичных воль, а просто с стихийною силою, с природою, с физическими законами вещества. Переделать целое поколение своих современников и устранить влияние этого поколения на подрастающую молодежь значило создать для целой обширной страны новую, искусственную атмосферу жизни. Выполнить такого рода задачу было так же невозможно, как, например, изменить в России климат, или поворотить назад все течение Волги, или сровнять с землею Уральский хребет. Принимаясь за свое невыполнимое дело, наш Илья Муромец XVIII века вступал в борьбу с таким богатырем, который даже по своей огромности не мог чувствовать его ударов, который даже не давал себе труда сопротивляться его усилиям. Да и к чему было сопротивление, когда усилия сами собою разбивались об естественные препятствия, об очевидную невозможность?

Цивилизаторские попытки Петра прошли мимо русского народа; ни одна из них не прохватила вглубь, потому что ни одна из них не была вызвана живою потребностью самого народа. Вместе с Петром двигались и хлопотали по его приказанию сотни военных и гражданских чиновников; по команде этих чиновников трудились и утомлялись тысячи простых работников, облеченных в сермяжные кафтаны и в форменные мундиры. Чиновники Петра до некоторой степени понимали некоторые из его желаний; работники, исполнявшие приказания чиновников, уже ровно ничего не понимали; общая мысль правительства была ясна и понятна только самому Петру; спускаясь по бюрократической лестнице рангов и должностей, дробясь, изменяясь и искажаясь в различных инстанциях, свет этой мысли быстро слабел по мере того, как он удалялся от своего источника; уже второстепенные чиновники едва видели этот свет, а низшие исполнители были совершенно слепы и работали во мраке. За низшею инстанциею исполнителей начинался народ, который уже ровно ничего не знал о действиях и намерениях правительства; по правде сказать, он и не старался узнавать; ему нечем было интересоваться; только увеличение денежных налогов или естественных повинностей напоминало ему порою о существовании центральной власти; на что шли собирае-

мые деньги, куда тратились живые силы, выхватываемые из его среды, об этом было бесполезно спрашивать. На что бы они ни шли, куда бы они ни тратились, ясно было одно — они исчезали, а ощутительного улучшения быта не замечалось.

Колоссальный богатырь нашей сказки разговаривает с Ильею Муромцем и, как мы видели, принимает его удары сначала за действие маленького камушка, потом за столкновение с прутиком. Богатырь, с которым имел дело Петр, по всей вероятности был громаднее сказочного богатыря: он ничего не говорил Петру и совсем не замечал его усиленных ударов. Приближенные Петра любили и боялись своего властелина; раскольники боялись и ненавидели его, но вся масса народа, та масса, мимо которой шли и до сих пор идут все исторические события и перевороты, не чувствовала к нему ни любви, ни ненависти, ни боязни. Ее занимали неизбежные, вседневные заботы о пропитании; каждый день приносил с собою свои труды и хлопоты, свои невымышленные опасения и горести, свою нескончаемую борьбу за право жить. Мужику было не до политики и не до Петра, когда ему надо было сегодня пахать, завтра двоить, послезавтра сеять и во все это время ладить то с барином, то с бурмистром, то с каким-нибудь приказным, то с своею собственною горемычною семьею. Мужику показались бы барскими затеями и прихотями все прогрессивные распоряжения Петра, но, к счастью или к несчастью, мужик об них не знал и решительно не интересовался ими; чтобы дать мужику возможность интересоваться распоряжениями правительства, надо было хоть немного облегчить тот страшный гнет материальных забот, лишений и стеснений, который обременяет собою низшее сословие даже в самых образованных государствах Европы и который в странах, еще не успевших освободиться от рабства или от крепостного права, парализирует в низшем сословии всякую самодеятельность мысли, всякую энергию воли и поступков, всякое решительное стремление к лучшему порядку вещей. Надо было стряхнуть с русского мужика его отчаянную апатию — эту вынужденную апатию безнадежности, которая так неминуемо и неизбежно вытекала из безвыходности положения. Стряхнуть эту роковую апатию, — которую многие совершенно ошибочно принимают за физиологическую черту русского народного характера, — мог только или сам народ, или такой смелый преобразователь, который, находясь в положении Петра I, решился бы коснуться основных сторон гражданского и экономического быта нашего простонародья. Петра, конечно, нельзя упрекнуть в недостатке смелости и энергии; если бы он понял необходимость радикальных бытовых реформ, если бы он убедился в том, что истинное просвещение может пустить глубоко корни только в такой стране, в которой все граждане пользуются естественными человеческими правами, — тогда, конечно, он не побоялся бы ожесточенного сопротивления бояр и не отступил бы от упорной борьбы с рабо-

владельческим порядком вещей. Но чтобы увидать корень зла, причину застоя и неподвижности, Петру было необходимо стать выше своего века и посмотреть на задачу просвещения не так, как смотрели на нее короли, подобные Людовику XIV, и ученые, подобные Лейбницу и французским академикам.

В предыдущей статье [14] я выразил ту мысль, что личная инициатива крупного исторического деятеля почти никогда не имеет решительного, определяющего влияния на развитие исторических событий. Эта мысль подтверждается примером Петра. Читатель, быть может, возразит мне, что если бы Петр уничтожил крепостное право, тогда, вероятно, весь ход исторических событий в России XVIII века сложился бы иначе, и в наше время Россия находилась бы уже не в той фазе развития, в которой мы ее застали. — Это возражение действительно довольно важно, тем более что нет таких исторических фактов, которые доказывали бы, что у Петра недостало бы сил или энергии для совершения такого переворота. Если бы Петр решился распорядиться таким образом и если бы он нашел под руками необходимые силы и средства, тогда, значит, за чем же дело стало? — Только за мыслью. А что, если бы явилась эта мысль? — Вот тут-то и оказывается слабая сторона того возражения, которое может представить читатель. Разве же мысль является когда-нибудь случайно? Разве же она сваливается с неба? — Вы без надобности не повернете головы, не шевельнете пальцем; каждое движение ваше непременно вызывается или внутреннею потребностью, или внешним впечатлением; каждое усилие вашего мозга является только ответом на какой-нибудь запрос, поставленный вам обстоятельствами жизни. — Чтобы напасть на мысль об уничтожении крепостного права, мало быть гениальным человеком; надо еще жить в такое время, когда вопрос поставлен на виду, когда слышатся голоса за и против, когда, следовательно, важность этого очередного вопроса бросается в глаза даже такому человеку, который еще не знает, на чьей стороне логика и справедливость.

Гениальные мыслители древности, Платон и Аристотель, строят свои социальные здания на рабстве и сходятся в своих идеях с каким-нибудь негодяем Фиц-Гугом, [15] которого в наше время можно назвать мыслителем только в насмешку. Эти же самые гениальные мыслители порою городят такую чепуху об астрономии, о димиурге, [16] о мироздании, которая заставит улыбнуться недоучившегося гимназиста. Точно так же можно себе представить, что Архимед или Эвклид знали меньше математических истин, чем сколько знает их теперь какой-нибудь нехитрый преподаватель высшей алгебры в среднем учебном заведении. Если взять пример еще более наглядный, то легко будет себе представить, что какой-нибудь карлик без особенного труда победит самого сильного и неустрашимого из паладинов Карла Великого, если только этому карлику будет дано оружие нашего времени, а паладину будут предоставлены палица, меч

и копье. — Конечно, из всех этих примеров ни один здравомыслящий человек не выведет того заключения, что недоучившийся гимназист умнее Платона и Аристотеля, что нехитрый преподаватель талантливее Архимеда и Эвклида или что карлик сильнее паладина. Общим выводом из всех этих примеров будет только та очень известная, но между тем часто забываемая мысль, что отдельный человек во всей своей деятельности, во всех свойствах и особенностях своей личности зависит от окружающих обстоятельств, от количества и качества идей, находящихся в обращении между его современниками и выработанных его предками. Теперь ясно, почему Петр не мог уничтожить в России рабства, несмотря на колоссальную силу своего ума и своей энергии; ясно, почему он даже не мог подумать о таком распоряжении, которое теперь кажется нам естественным, необходимым и во всяком случае вовсе неудивительным. [— Я говорил уже, что влияние исторического деятеля всегда ограничено обстоятельствами места и времени; эта зависимость отдельной личности от обстановки и от общей жизни всего народа и эпохи всего рельефнее выражается в том, что даже самый процесс мысли в голове очень умного человека вполне обусловливается теми впечатлениями, которые воспринимает последний. Становясь на свои ноги, начиная жить своим умом, каждый человек уже приносит с собою, во-первых, известный темперамент, во-вторых, известный запас тех или других впечатлений. Формирующийся ум этого человека, как орудие, принимается перерабатывать данный материал, состоящий из самых разнообразных ингредиентов; тут есть и частички собственного опыта и мысли других людей; кое-что в этой груде разнородных материалов возбуждает сочувствие; иное шевелит пытливость ума; иное вызывает негодование и отвращение; работая над этим пестрым материалом, самое орудие натачивается или зазубривается, полируется или покрывается ржавчиною, смотря по свойствам тех веществ, с которыми оно приходит в соприкосновение. Ум человека, да и весь человек вообще получает тот или иной склад, ту или иную физиономию, и получает их притом независимо от своей собственной воли; с тех пор как существует мир, ни один смертный не сделал себя по своему произволу фанатиком или скептиком, идеалистом или материалистом, верующим католиком или неверующим рационалистом. Наверное можно также сказать, что ни один человек не рождается ни скептиком, ни фанатиком, ни католиком, ни буддистом. Вероятно, однако, можно предположить, что уже в новорожденном ребенке есть основы будущего темперамента, точно так же как в его теле есть задатки будущего роста. Как ни кормите молодого карлика, как ни развивайте его силы гимнастикою, вы не сделаете из него атлета, точно так же как не превратите простого котенка в леопарда. Как есть от природы люди малорослые, так точно есть от природы люди малоумные; как ни учите, как ни развивайте такого человека, вы никогда

не успеете придать его уму ту живость и плодовитость, которую вы часто замечаете в совершенно необработанных самородках. Точно так же есть от природы люди, одаренные сильным воображением, или отличающиеся критическим складом ума, или, наконец, способные легко поддаваться впечатлениям минуты. Словом, умственная почва с своим богатством или с своею бедностью, с своими свойствами и предрасположениями дается от природы. Так, например, не подлежит сомнению существование врожденных наклонностей к живописи, к математике, к изучению языков и т. д.]

Если вы владеете каким-нибудь участком земли и посеяли на нем какие-нибудь семена, то, конечно, урожай в значительной степени будет зависеть от климатических условий, от дождя, от солнечной теплоты, от направления ветра и т. п. Но если вы имеете какое-нибудь понятие об агрономии, то вы, конечно, знаете, что, кроме климатических условий, существуют еще и другие обстоятельства, имеющие самое важное влияние на успешное прозябание посеянных зерен. Свойства самой почвы могут содействовать или препятствовать урожаю. Каждый деревенский хозяин скажет вам, что такой-то грунт любит картофель, а такую-то землю — пшеница, а такое-то удобрение — мак. Конечно, может случиться, что от засухи погибнет хлеб, посеянный на отлично удобренной земле, и притом именно на таком грунте, который при благоприятных условиях совершенно соответствует его потребностям; может точно так же произойти и то, что при достаточной поливке более тощая и менее удобная почва даст более обильный урожай, но подобные случайности вовсе не доказывают, чтобы урожай не зависел от химического состава почвы; они доказывают только, что урожай зависит не от одной почвы, а вместе с тем и от других влияний и обстоятельств.

Эта агрономическая притча прилагается вполне к деятельности человека. Почва — сам человек, семена — тот материал, который он переработывает; урожай — плоды его деятельности; климатические условия — те внешние обстоятельства, которые содействуют или препятствуют успешному ходу развития и работы; химические свойства почвы — естественный склад и естественная, прирожденная сила ума. — Очевидно, в притче остается незанятым только одно место — это место хозяина участка, место того *вы*, к которому я обратился в начале моей агрономической экскурсии. Конечно, очень многие мыслители утверждают, что это место занято, что это *вы* действительно существует, но из этого нельзя вывести никакого положительного заключения, потому что нет той нелепости, за которую с пеною у рта не спорила бы какая-нибудь школа мыслителей. Те господа, о которых я упомянул сейчас, пишут даже целые объемистые трактаты по истории и по философии, чтобы доказать, что картофель, овес, мак и прочая благодать всегда попадают именно на ту почву, на которую им следует попасть. Когда же они встречаются в истории человечества

с такими фактами, которые прямо доказывают, что овес попал туда, куда следовало попасть пшенице, тогда они стараются поддержать свою колеблющуюся теорию следующим рассуждением: конечно, — говорят они, — в этом месте овес попал не туда, куда следует, но это случилось неспроста; тут видна великая идея; тут кроется благое предначертание; тут надо было доказать, что самые крупные овсяные зерна не могут прорасти в песке. — Помилуйте, — ответит читатель, — да из-за того, чтобы доказать такую очевидную истину, не стоило тратить овес и время. — Но мыслитель, задавшийся идеею доказать разумность и целесообразность исторических событий, закусит удила и, конечно, не обратит внимания на возражение читателя. — Мы, с своей стороны, не будем обращать внимания на натянутые доводы подобных псевдомыслителей и пойдем дальше по пути нашего рассуждения.

Конечно, никто не вздумает обвинять человека за то, что он родился с теми или другими чертами лица, с тем или другим устройством черепа, с тою или другою организациею мозга. — Новорожденный попадает под непосредственное влияние нянек, родителей, кормилиц; его кормят тою или другою пищею, ему рассказывают те или другие сказки, его наказывают и награждают, ласкают или секут по тем или другим обычаям, капризам или педагогическим теориям. Ко всем этим условиям, из которых слагается жизнь и характер, подрастающий ребенок поневоле относится совершенно пассивно; он физически слаб, он неопытен, он бессилен мыслью, и потому все окружающие мнут его, как жидкую глину, мнут и руками, и розгами, и благонамеренными советами, и изнеживающими ласками. Но от времени и от действия воздуха глина твердеет; усилия людей, вылепливающих на этой глине разные узоры, мало-помалу перестают увенчиваться вожделенным успехом; ребенок нечувствительно и незаметно превратился в человека и начал обнаруживать свои наклонности, свои мысли, свою волю. Педагоги замечают, что пассивное повиновение сменилось рассуждениями, возражениями, сопротивлением. Сначала они борются с этими проявлениями личной самостоятельности, но потом привыкают к ним, мирятся с ними как с существующим фактом и, наконец, говорят: наш Вася или Петя вырос; он теперь сам понимает, что делает, он теперь своим умом живет. Когда человеку выдан таким образом патент совершеннолетия, тогда знакомые и незнакомые начинают взыскивать с него как с взрослого. К его поступкам прилагается более строгая мерка; даже закон смотрит на совершеннолетнего иначе, не так, как на ребенка или отрока. Всякое лыко ставится в строку: начинается вменяемость. Но позвольте же спросить, господа судьи, образующие своими приговорами общественное мнение, как же вы проведете границу между тем временем, когда молодой человек зависит от родителей и наставников, и тем временем, когда он зависит только от самого себя? Если даже вам удастся провести эту границу, то

как же вы сумеете разрушить связь между теми двумя эпохами жизни, которые вам удалось разграничить? — Положим, что предмету ваших наблюдений минуло сегодня двадцать один год; положим, что родители и опекуны вручают ему все его имение и объявляют его полноправным и независимым гражданином. Что же вы думаете? Разве он в самом деле независим? Разве он может по своему произволу выбрать себе род занятий и образ жизни? Разве нынешний день не обусловливается для него вчерашним? Разве его вкусы, наклонности и желания не подготовлены заранее предыдущею, зависимою жизнью? — Человека доводят на помочах до известного возраста и потом ему говорят: ступай, ты свободен, ты сам отвечаешь за каждый свой поступок. — Помилуйте, да где же он свободен, когда он сам не что иное, как продукт разных внешних и посторонних влияний? Где же он свободен, когда он извне получил направляющий толчок! — Если его природные способности испорчены и извращены, справедливо ли взыскивать с него за то, что он сделает грязный поступок? Если его голова набита хорошими сентенциями, которых он не успел переварить, справедливо ли осуждать его за то, что он не сумеет руководствоваться этими сентенциями в жизни? Если его изнежила и расслабила любящая мать, справедливо ли презирать его за то, что он опускает крылышки при малейшей неудаче? Если его забил и ожесточил суровый отец, справедливо ли ненавидеть его за то, что он туго сближается с людьми и порою обнаруживает к ним неосновательное недоверие? Каждый из нас, слабых смертных, попадает в жизнь, как молодой щенок, которого на глубоком месте реки выбросили из лодки: ну, выплывай, — кричат нам с лодки; — выплывешь — молодец будешь, не выплывешь — сам виноват. Ступай ко дну! Туда и дорога! — При этом надо заметить, что у многих из этих щенят перекалечены или перевязаны лапы; иные окормлены тяжелою пищею; иные заморены голодом до истощения сил. А глубокой реке до всех этих подробностей нет никакого дела; вода, как неодолимая стихийная сила, покроет своим синим уровнем и правого, и виноватого, и связанного, и больного, и вообще всякого, кто не умеет барахтаться именно так, как следует. Вода не умеет рассуждать, это и не ее дело; но те господа, которые, сидя в лодке, смотрят на захлебывающихся щенят, те могли бы, я думаю, понять и обсудить их положение; они могли бы заметить, что ни один из них не тонет по злонамеренности и что все погибают или по глупости, или по слабости, или по неповоротливости. — И в жизни точно так же никто не падает нарочно, из любви к падению, а падают потому, что нет достаточной физической, или умственной, или так называемой нравственной силы. А откуда же ее взять, коль ее нет? И как же не упасть, когда нет сил держаться на ногах?

История — та же жизнь, только жизнь, отошедшая назад, жизнь, превратившаяся в неподвижную картину, которую можно

спокойно рассматривать и изучать. Бросая беглый взгляд на эту картину, мы замечаем, что на ней изображены на первом плане разные большие люди, меняющие костюмы, позы и взаимные отношения, управляющие другими людьми, выслушивающие их донесения и раздающие им разнородные приказания. Этих больших людей можно назвать общим именем исторических деятелей. При беглом взгляде на историческую картину можно подумать, что весь интерес ее заключается именно в позах и жестах этих больших людей; можно подумать, что они своими личными достоинствами или пороками украшают или искажают всю картину, что они разливают вокруг себя свет или мрак, добро или зло, радость или горе. Но всмотритесь в картину попристальнее, и вы увидите, что эти большие люди, эти так называемые деятели просто образчики известной эпохи, просто безответные игрушки событий, безвинные жертвы случайностей и переворотов, которые толкают их вперед и выносят их наверх, бог знает как и бог знает для чего. Всмотритесь в картину событий, говорю я вам, и вы перестанете восхищаться добродетелями Тита и негодовать перед злодействами Домициана. Вы увидите, что во всей жизни человечества нет ни одного светлого десятилетия; вы увидите везде борьбу, везде страдания, везде насилие и перестанете дивиться тому, что среди этого дикого хаоса возникают и формируются нравственные уроды изумительного безобразия. Свыкнувшись с уродливыми явлениями, вы начнете относиться чрезвычайно скептически как к титанам добродетели, так и к титанам порока. Вы перестанете верить в их титанизм, вы будете принимать этот титанизм за оптический обман, за результат исторической перспективы, вы начнете разлагать титана на его составные элементы, и вы, наконец, увидите, что в титане нет ничего необыкновенного; кое-что приврано историками, кое-что неверно понято и недостаточно освещено, а на поверку выходит, что титан просто человек, каких много, и что титанизм его зависит вовсе не от колоссальности его страстей или способностей, а просто от исключительности его случайного положения, от односторонности его развития, от общего настроения умов в данную минуту. — Смешно припомнить, какими ужасными красками расписывают, например, римских императоров разные русские и заграничные Кайдановы и Смарагдовы. Сколько эпитетов, сколько риторского жара и сколько пороха, потраченного на ветер! — Как достается, например, бедному Калигуле, который, при ближайшем рассмотрении, оказывается просто несчастным больным, нуждающимся в уходе и в лечении. Попробуйте дать любому из субъектов, содержащихся в психиатрической лечебнице, такой круг действий, каким пользовался Калигула, — и вы увидите точно такие же гадости и нелепости. Вся штука в том, что уже теперь подобный случай невозможен; Георг III английский потерял всякую власть с той самой минуты, когда приближенные его заметили его умственное расстройство;

а при Калигуле было иначе; Калигулу никто не решался взять под опеку даже тогда, когда он произвел свою лошадь в сенаторы, а между тем каждый из приближенных старался эксплуатировать в свою пользу капризы и сумасбродства властелина; в случае неудачи этот же приближенный попадал в руки палача, а на его место становился другой искатель счастья, который точно так же подольщался и старался примениться к характеру болезни, чтобы обратить эту болезнь в обильный источник щедрот для себя и для своих близких. Калигула приказывал построить себе храм и становился в позы Юпитера Олимпийского: этому никто не удивлялся, и разные города из далекой Азии присылали в Рим почетных послов, добиваясь чести поставить у себя алтари новому доморощенному божеству. — Ну, что же вы скажете? Где же корень того зла, которое делал Калигула, потом Нерон, потом Домициан? В характере ли этих отдельных личностей или в том хаотическом состоянии умов, которым отличается эпоха падения язычества? Разве один человек может мучить десятки миллионов людей, если эти десятки миллионов не хотят, чтобы их мучили? А если десятки миллионов соглашаются быть пассивным орудием в руках полоумного Калигулы, то Калигула-то, собственно говоря, ни в чем не виноват; не он, так другой, не другой, так третий; зло заключается не в том человеке, который его делает, а в том настроении умов, которое его допускает и терпит. Если вы сами развесите уши и позволите бить и обирать себя, то на такое занятие всегда найдутся охотники; природа человека гибка и изменчива; бо́льшая часть получает свою физиономию от обстоятельств; обстоятельства делают их хорошими людьми или негодяями; получая от обстоятельств направляющий толчок, люди вносят только в избираемую деятельность ту дозу энергии, умственной силы и изворотливости, которую они получили при рождении вместе с чертами лица и устройством черепа.

За какое бы дело ни принялся Петр I, он во всяком случае не остался бы в ряду посредственностей. Живой ум и железная воля заявили бы себя и в военном деле, и в ученом труде, и в техническом занятии или производстве. Если бы Петр был простым работником на какой-нибудь фабрике, то его, наверное, уважали бы товарищи, им дорожил бы хозяин, и он, может быть, выдумал бы какую-нибудь новую машину. Попал ли бы он во всемирную историю — это, конечно, неизвестно. Много светлых голов затирает темная, трудовая жизнь, и много жалких посредственностей оставляют свое имя в истории по праву рождения и по стечению случайных обстоятельств. Способности и силы Петра составляют его полную неотъемлемую собственность; что же касается до его деятельности, то она зависит преимущественно от его исторической костюмировки, от декораций и освещения. Он стоит на подмостках времени и места, он окружен послушными исполнителями, за ним стоит великий, безответный народ; он один думает, действует,

управляет событиями, а все, что его окружает, то оттеняет только его деятельное могущество своею официальною безгласностью, своим пассивным повиновением. — Как величие Петра зависит преимущественно от случайных особенностей его положения, так точно и несостоятельность его исторической деятельности должна быть отнесена на счет условий времени и места. В России, в начале XVIII столетия, сын царя Алексея Михайловича не мог действовать иначе; за то, что он сделал, он лично не заслуживает ни признательности, ни осуждения; сочувствовать ему мы не можем, обвинять его мы не вправе, потому что на плеча одного человека, хотя бы этот человек был исполин, нельзя наваливать ответственность за ошибки целой эпохи или за безгласность целого народа.

Живые силы народов до сих пор играли в исторических событиях самую второстепенную роль; менялись лица, менялись политические формы, разрушались и созидались государства, и все это большею частью проходило мимо народа, не нарушая и не изменяя ни междучеловеческих, ни междусословных, ни экономических отношений. Конечно, какой-нибудь немецкий барон XIX века уже теперь не то, чем был его предок в XIV столетии; конечно, теперешний бюргер стоит к этому барону не в тех отношениях, в каких стоял средневековый бюргер к средневековому феодалу; конечно, и барон и бюргер, оба смотрят теперь не так на простого крестьянина, как смотрели на него во времена Тридцатилетней войны, но все эти перемены, которых существенная важность, конечно, не подлежит сомнению, произошли не на поле сражения, не на вселенском соборе, не на имперском сейме, не при смерти того или другого политического деятеля, не при вступлении на престол той или другой династии. Эти перемены совершились в области человеческого сознания, в той области, где живут и действуют мыслители и художники; внешние события, изменения политических форм, войны и союзы, революции и подвиги исторических деятелей имели на эти перемены значительное влияние; но точно так же подчиняли их своему влиянию землетрясения, наводнения, моровые язвы и неурожаи; жизнь изменялась постоянно под влиянием разных случайностей, но источник и законы этой жизни лежали вне стихийных сил и случайных событий. Подрастающие поколения воспринимали самые разнородные впечатления, зависевшие от внешних событий, происходивших перед их глазами; они чувствовали себя счастливыми или несчастными, порабощенными или свободными, сытыми или голодными; но весь запас опыта и знания, собранный их отцами и дедами, переходил к этим подрастающим поколениям, вызывал деятельность их мысли, формировал их взгляд на жизнь и обусловливал собою их отношения к религии, к правительству, к обществу, к сословиям и к отдельной человеческой личности. В эту внутреннюю историю человечества входили как ингредиенты всякого рода внешние события; эти события производили известного рода впечатление; ряд впечатлений вы-

зывал идею; идея вырабатывалась, видоизменялась, доходила до полной ясности выражения и потом в свою очередь порождала события.

Например, возьмем изобретение пороха, сокрушившее аристократизм военного сословия. Первое сражение, в котором новое оружие показало бесполезность физической силы, тяжелого вооружения и даже *личной* храбрости, конечно, не опрокинуло преобладания рыцарства. Ряд таких сражений породил тип солдата и отодвинул тип рыцаря в область прошедшего; низшие сословия почувствовали свою численную силу и увидали, что перед мушкетною пулею все равны — и рыцарь, и оруженосец, и простой мужик. То обстоятельство, что низшее сословие подняло голову, повело за собою неисчислимые последствия и изменило весь ход всемирной истории. — Мы видим на этом отдельном примере, что не факт, не случайное событие действует на изменение человеческого сознания; на него действует целая цепь однозначащих фактов, на него действует смысл и направление фактов. А откуда же берется смысл и направление фактов? Опять-таки из того же сознания. Стало быть, сознание видоизменяется само собою и зависит только от самого себя; другими словами, человеческая природа развивается совершенно самостоятельно и на пути своего развития постоянно, хотя иногда медленно, разрушает все препятствия.

Например, мы видим, что по анатомическому и физиологическому сложению все люди индоевропейской расы равны между собою, как животные одной породы; мы видим также, что образ жизни, степень материального обеспечения, умственного развития и личной независимости кладут между этими равными по природе людьми такие грани, которые отдельному человеку кажутся неразрушимыми. — Всматриваясь в общее направление исторических событий, мы видим далее, что эти грани слабеют и постепенно сглаживаются; стало быть, физический закон равенства между отдельными экземплярами одной породы постепенно подходит к своему осуществлению во вседневной жизни. — Но такого рода основные законы и существенные свойства человеческой природы выясняются медленно; людям приходится переживать много горя и делать много ошибок, чтобы доходить до понимания отдельных требований своей природы. Все осуществившиеся политические системы и большая часть неосуществившихся социальных утопий — не что иное, как ряд практических или теоретических ошибок, из которых вытекло или могло вытечь для человеческой личности много действительного горя. В истории мы видим на первом плане постоянно не удающиеся попытки создать что-нибудь прочное, способное постоянно удовлетворять потребностям человека. Эти попытки предпринимаются отдельными личностями; побуждения, которыми руководствуются эти личности, большею частью мелки, узки и своекорыстны; всякий заметный деятель строит себе какую-то Хеопсову пирамиду и оплачивает издержки постройки пóтом и кровью подвластных людей; жизнь простого

человека истрачивается на борьбу с нуждою, с притеснениями, с монополиями и монополистами; как бы ни была велика вера этого незаметного страдальца в возможность и в неизбежность лучшего будущего, во всяком случае эта вера не может служить ему утешением и поддержкою; он знает, что это лучшее будущее настанет для отдаленных потомков, что он, страдалец, его не увидит, что человечество со временем окончательно поумнеет и устроит свое житье-бытье очень удобно, но что до тех пор миллионы людей поплатятся за историческое движение жизнью, здоровьем и силами.

До конца XVIII столетия во всемирной истории стоит на первом плане судьба государства, той внешней политической формы, которой видоизменения часто не имеют ничего общего с народною жизнью. Жизнь народа идет в тени; на нее никто не обращает внимания; великими людьми считаются полководцы, умевшие залить кровью несколько тысяч квадратных миль, министры и дипломаты, умевшие оттягать у соседей несколько сел и городов, администраторы, выдумавшие какой-нибудь замысловатый налог, короли, говорившие с полным основанием: l'état c'est moi! * — Когда эти великие люди давали себе труд бросить милостивый взор на жизнь простых смертных, тогда они обыкновенно находили, что все в этой жизни нелепо, все не на своем месте, все никуда не годится; они уверяли себя в том, что им предстоит задача все перестроить и усовершенствовать, и принимались за работу с непрошенным усердием и с полною уверенностью в успехе. Одним декретом они изменяли религию, другим декретом изгоняли взяточничество, третьим — выписывали из-за границы просвещение; великие люди не ошибались в том, что все было нелепо в жизни простых смертных; ошибки их начинались только тогда, когда они принимались отыскивать причины господствующей нелепости и пытались найти против нее лекарство; они не понимали того, что большая часть житейских нелепостей происходит именно от того, что вся жизнь отдельного человека сдавлена и спутана в своих проявлениях в угоду отвлеченного понятия государства, именно от того, что всякий отдельный человек бывает прежде всего чиновником, солдатом, учителем, купцом, министром, а собственно человеком бывает только в досужие минуты, в свободное от служебных обязанностей время. Этого великие люди, постоянно состоявшие на действительной службе, не понимали; им все казалось, что в жизни простых смертных мало порядка, мало однообразия и систематичности; они всё хотели нарядить в тот форменный мундир, который был им по вкусу; Филипп II хотел превратить своих подданных в монашествующих католиков, Людовик XIV — в блестящих камерлакеев, а Петр I — в голландских шкиперов.

Личные наклонности и способности простых смертных, осыпаемых неизреченными благодеяниями, не могли приниматься в сооб-

* Государство — это я *(франц.)* (выражение, приписываемое Людовику XIV). — *Ред.*

ражение. Посудите сами: разве способен какой-нибудь неотесанный болван из нидерландских гёзов, или из овернских крестьян, или из русских мужиков рассуждать о том, что ему полезно, какой род занятий ему нравится, какая религия ему приходится по душе? Если эти неотесанные болваны осмеливаются возражать против благодетельных распоряжений великих людей, то они, конечно, делают это по грубому невежеству, по крайнему тупоумию или по злонамеренному упорству; их надо вразумить, их надо обтесать, их надо осчастливить во что бы то ни стало. За средствами дело не станет: у Филиппа II на то есть инквизиция; у Людовика XIV — драгонады, Бастилия и lettres de cachet; [17] у Петра I есть дубинка и кнут. И вот такими-то средствами пробавлялись с тех пор, как мир стоит, все великие люди, осыпавшие толпу простых смертных грудами своих благодеяний и озарявшие целое столетие блеском своего имени и своих подвигов. Только в конце XVIII века простые смертные заявили, наконец, довольно громко, что им надоели как благодеяния, так и педагогические средства, при помощи которых проводились в их жизнь эти великие и богатые милости. Со времени этого заявления история европейского Запада оживилась и получила новый характер; великие люди сделались поосторожнее в замыслах и поразборчивее в средствах, а простые смертные начали думать, что, чего доброго, можно жить и своим умом. Мы имеем неосторожность думать, что эти простые смертные вовсе не так сильно ошибаются, как это может показаться с первого взгляда. Нам кажется, что жить своим умом по меньшей мере приятно, и потому те периоды всемирной истории, во время которых благодетели человечества никому не позволяли жить своим умом, наводят на нас тоску и досаду. Великие люди, реформировавшие жизнь простых смертных с высоты своего умственного или какого-либо другого величия, по нашему крайнему разумению, кажутся нам все в равной мере достойными неодобрения; одни из этих великих людей были очень умны, другие — замечательно бестолковы, но это обстоятельство нисколько не уменьшает их родового сходства; они все насиловали природу человека, они все вели связанных людей к какой-нибудь мечтательной цели, они все играли людьми, как шашками; следовательно, ни один из них не уважал человеческой личности, следовательно, ни один из них не окажется невиновным перед судом истории; все поголовно могут быть названы врагами человечества; но там, где виноваты все, там никто не виноват в отдельности; порок целого типа не может быть поставлен в вину неделимому. [18] Говоря о Петре, мы лично против него не можем иметь неприязни; но на всей деятельности Петра лежит та печать [проклятия и отвержения], которая тяготеет над личностями и деятельностями Людовика XI, Филиппа II, кардинала Ришелье, Меттерниха и разных других господ, не сходных между собою ни по размеру способностей, ни по масштабу деятельности, ни по образу

мыслей, но при всем том имевших один общий, вечный пароль — вражду против личной свободы и умственной инициативы отдельного человека. Все, что сделал Петр, [то оказалось бесплодным, потому что все это было делом его личной прихоти, все это было барскою фантазиею,] все это вводилось и учреждалось помимо воли тех людей, для которых это все, повидимому, предназначалось.

Как распоряжался Петр на поприще государственной администрации, этого мы не будем рассматривать; в этой области, как известно, произволу его не было никаких границ. В книге г. Пекарского мы встречаемся с Петром как с просветителем России; мы, следовательно, имеем случай взглянуть на самую блестящую часть его исторической ореолы. Тут нет ни пыток, ни казней, ни ссылок, ни даже исторической дубинки; тут ведется список, и притом список очень подробный, бескровным благодеяниям, доставшимся нашему отечеству из рук великого деятеля. Эти бескровные благодеяния в своем роде очень замечательны; в совокупности своей они доказывают, что можно быть гениальным человеком и в то же время не иметь самого элементарного понятия о тех необходимых условиях, без которых немыслима разумная человеческая деятельность.

Весь ряд отвлеченных рассуждений, которыми до сих пор была набита моя статья, клонился к тому, чтобы определить наши отношения к личностям, подобным Петру Великому. Я доказал или по крайней мере старался доказать следующие идеи.

1) Деятельность всех так называемых великих людей была совершенно поверхностна и проходила мимо народной жизни, не шевелила и не пробуждала народного сознания.

2) Деятельность великих людей была ограничена тем кругом идей, который был в их время достоянием общего сознания.

[3) Деятельность великих людей была чисто пассивна, потому что сами они, как и все люди вообще, продукт известных условий, не зависящих от их свободного выбора.

4) Деятельность великих людей была постоянно вредна, потому что претензии этих господ постоянно превышали их силы.]

Эти идеи применяются вполне к деятельности Петра. Я беру теперь книгу г. Пекарского, извлекаю из нее некоторые характерные факты и рассматриваю их с той точки зрения, которая установлена предыдущими рассуждениями.

V

«Бывши в Лейдене, — пишет г. Пекарский, — Петр не преминул посетить другую медицинскую знаменитость того времени, доктора Бергавена, и осматривал также анатомический театр. Сохранилось известие, что там царь долго оставался перед трупом,

у которого мускулы были раскрыты для насыщения их терпентином. Петр, заметив при том отвращение в некоторых из своих русских спутников, заставлял их разрывать мускулы трупа зубами» (стр. 10). Вот, видите ли, великому человеку любопытно смотреть на обнаженные мускулы трупа, а простым смертным этот вид кажется неприятным; надо же проучить простых смертных, имеющих дерзость находить не по вкусу то, что нравится великому человеку; вот великий человек и заставляет их зубами разрывать мускулы трупа; должно сознаться, что это средство побеждать неразумное отвращение настолько же изящно, насколько оно действительно. Наверное, спутники Петра, испытавшие на себе это отеческое вразумление, после этого случая входили в анатомические театры без малейшего отвращения и смотрели на трупы с чувством живой любознательности. Если бы даже случилось, что некоторые из них заразились от прикосновения гнилых соков к нежным тканям рта, то и это беда небольшая — тем действительнее будет урок, данный остальным присутствующим; они, наверное, поймут, что простому смертному нельзя иметь собственного вкуса, что главная и единственная обязанность простого смертного — смотреть в глаза великому человеку, отражать на своей физиономии его настроение и с надлежащим подобострастием любоваться теми предметами, которые обратили на себя его благосклонное внимание. На анекдоте, приведенном в книге г. Пекарского, не стоило бы останавливаться, если бы в этом анекдоте не выражались самым рельефным образом типические черты благодетельных преобразований великого Петра. Кому были нужны эти преобразования? Кто к ним стремился? Чьи страдания облегчились ими? Чье благосостояние увеличилось путем этих преобразований? Если бы подобные вопросы могли дойти теперь до слуха Петра, они, наверное, показались бы ему совершенно непонятными, и, наверное, наш гордый самодержец не дал бы себе труда отвечать на них что бы то ни было. Мне кажется, те историки и публицисты, которые говорят, что все преобразования Петра клонились ко благу русского народа, повторяют фразу, лишенную внутреннего содержания, или, что то же, переносят на эпоху и на личность Петра такие понятия, которые возникли гораздо позднее и, кроме того, не в той сфере, в которой вращаются деятели, подобные Петру. Петр формировал себе исполнителей как в былое время богатый помещик, отдавая в учение дворовых мальчишек, формировал себе полный штат поваров, сапожников, портных, столяров, кузнецов и шорников. — Только обширная и разносторонняя деятельность могла удовлетворять энергическую природу Петра; только громкая, европейская известность могла польстить его громадному честолюбию. Петру необходимо было постоянно над чем-нибудь работать и постоянно чем-нибудь обращать на себя внимание современников; как человек умный, Петр мог удовлетворять этим потребностям своей природы, не делая таких нелепых

эксцентричностей, в какие пускались не только в древности римские императоры, но даже в XVIII веке разные немецкие князья и князьки, одержимые бесом тщеславия и надувавшиеся, как лягушки, в подражание жирному волу, Людовику XIV. Благодаря своему замечательному уму он, человек, не имевший во всю свою жизнь никакой цели, кроме удовлетворения крупным прихотям своей крупной личности, успел прослыть великим патриотом, благодетелем своего народа и основателем русского просвещения. Действительно, нельзя не отдать Петру Алексеевичу полной дани уважения: немногим удается так ловко подкупить в свою пользу суд истории.

Бывши в Голландии, Петр дал Яну Тессингу привилегию печатать и присылать в Россию русские книги. В грамоте встречается следующее место: «и видя ему, Ивану Тессингу, к себе нашу, царского величества, премногую милость и жалованье в печатании тех чертежей и книг, показать нам, великому государю, нашему царскому величеству, службу свою и прилежное радение, чтоб те чертежи и книги напечатаны были к славе нашему, великого государя, нашего царского величества, превысокому имени и всему нашему российскому царствию меж европейскими монархи к цветущей, наивящей похвале, и ко общей народной пользе и прибытку, и ко обучению всяких художеств и ведению, а пониженья б нашего царского величества превысокой чести и государства наших в славе в тех чертежах и книгах не было»... Не правда ли, господа читатели, надо быть самым злонамеренным человеком и неисправимым скептиком, чтобы по прочтении этого места грамоты хоть на одну минуту усомниться в чистоте и самоотвержении того патриотизма, который одушевлял нашего венценосного прогрессиста. Правда, сказано, что книги и чертежи должны быть напечатаны «к славе нашему, великого государя, нашего царского величества, превысокому имени» и к «цветущей, наивящей похвале нашему царствию», но вслед за тем словами «к общенародной пользе и прибытку» выражена истинно трогательная заботливость о благосостоянии простых смертных. Та же трогательная заботливость проглядывает в предостережении не печатать в тех чертежах и книгах никакого «пониженья». Петр хотел воспитывать свой народ и, подобно всем добродетельным педагогам, понимал, что есть много таких вещей, которые детям не по возрасту, которые могут (говоря высоким слогом) нарушить первобытное спокойствие их мысли и осквернить девственную чистоту их розового миросозерцания.

Трогательная заботливость Петра вполне оправдывается неразвитостью его подданных; вот что пишет о русском народе один из современников нашего преобразователя: «Притом же москвитяне, как и вам это известно, нисколько тем не интересуются; они всё делают по принуждению и в угоду царю, а умри он — прощай наука!» Эти простые слова современника, смотревшего на пред-

приятие Тессинга с чисто коммерческой стороны, подтверждают высказанную мною идею о том, что деятельность великих людей поверхностна и непрочна в своих результатах; эти слова бросают также яркую полосу света на характер петровских преобразований; в основе этих преобразований лежит каприз или по меньшей мере доктрина; исполнительными средствами являются насилие и принуждение.

[Опять педагогическая картина: ребенку не хочется учиться, а честолюбивому папеньке или усердному преподавателю хочется, чтобы ребенок учился; честолюбивая маменька желает похвастаться перед соседкою знаниями и прилежанием своего сынка; а усердный преподаватель вычитал из своих книжек, что его воспитаннику пора жить умственною жизнью и находить удовольствие в изучении букваря. Стоит ли обращать внимание на волю неразумного ребенка? Конечно, нет. Заупрямится — можно поставить на колени, потом высечь. И прекрасно: вам и розги в руки, честолюбивая маменька и усердные преподаватели!]

Много ли сделали голландские издания для «общей народной пользы и прибытка» — положительно неизвестно, но «о славе превысокому имени» и о «цветущей похвале царствию» радели всеми силами своей изобретательности как Тессинг, так и преемник его, Копиевский. Вот, например, описание реки Москвы: «Она паче всех рек прославися зело и именем Мосоха, праотца российского, и пресветлейшим престолом пресветлейшего и великого монарха». Далее: «Зде удивитеся! приидите все боящиеся, приидите и видите дела божия, яко господь огради люди свои на восток от запада и от полуденныя страны тремя великими и славными реками; даде господь бог и пастыря единого всем, возлюбленного помазанника своего, пресветлейшего и великого государя, его же величество вознесе даже до небесе с высокого на высочайший степень, паче всех царей земных». По прочтении этого места нам оставалось только пожалеть, что книжных дел мастер, Копиевский, не писал стихов; наш великий Державин, думал я, который

истину царям с улыбкой говорил, [19]

имел бы себе в этом господине достойного предшественника; теперь, продолжал я размышлять, Копиевский может только служить предтечею историографов: Карамзина, Устрялова, и Рафаила Зотова, и... ну, да всех не перечтешь. Но не успел я перевернуть две страницы в исследовании г. Пекарского (которое, сказать правду, читается очень медленно), как мне пришлось взять назад свое опрометчивое сожаление. Оказалось, что Копиевский преуспел во всех отраслях заказной литературы. Для «цветущей и наивящей славы превысокого имени» он вдохновил себя лирическим жаром и описал взятие Азова «стихами поетыцкими», которые, вероятно, в свое время приводили русских читателей в благоговейное недо-

умение. Чтобы превознести победу русских, привилегированный составитель книг воспевает сице могущество побежденной Турции:

Страшно было еже впасть азийского змия
    В руце, яко и сама европейская выя
Жестокия ярости его убояся;
    Сетоваша все страны в едину сходяся,
Советоваша купно, но не премогоша,
    Злочестивые силы зело превзыдоша
Нощная же луна их нача помрачати
    И всю подсолнечную тьмою наполняти.
Новомесячников лунных много сотвори,
    Благочестие и любовь, веру разори
Православную: вместо ж ее Махомета
    Неверие приведе мрачная планета.

Вот какою поэзиею Петр угощал своих неразумных подданных, но подданные, по крайней тупости и загрубелости, не умели восхищаться «поетыцкими» красотами. Выше мы видели образчик той науки, которую, по приказанию Петра, фабриковали в Голландии; наука эта, несмотря на очевидную свою привлекательность, также не проникала русского ума; еще выше мы видели, каким образом Петр в лейденском анатомическом театре развивал в молодых россиянах наклонность к реальному образованию; эти усилия Петра, несмотря на свою несомненную энергичность, также оставались безуспешными; Петр везде встречал скрытое равнодушие или даже глубокое, затаенное отвращение к «поетыцким стихам», к науке Копиевского и к реальному образованию лейденского анатомического театра. Он имел дело с варварами, и эти варвары без его просвещенного влияния непременно погрязли бы в тине пороков и во мраке невежества; будь на месте Петра другой деятель, менее крупных размеров, он непременно махнул бы рукою на нелепых варваров и предоставил бы этих неблагодарных людей их печальной участи.

Но Петр был великодушен до конца; видя безуспешность своих собственных усилий, он стал просить советов у знающих людей; махнуть рукою на варваров он никак не решался, несмотря на то, что варварам до смерти хотелось, чтобы их оставили в покое. — Петр услышал, что есть в Германии немец Лейбниц, человек, которого все считают чрезвычайно умным и который знает все, что доступно уму человеческому; Петру захотелось посмотреть на этого диковинного человека; он повидался с ним в Торгау, произвел его в тайные советники, положил ему жалованье в 1000 рейхсталеров и начал советоваться с ним, как бы обтесать русских варваров и насадить в России древо познания. Лейбниц был человек ловкий, придворный и политичный; и философская система его была так устроена, что она должна была нравиться великим людям; и сам он умел держать себя с надлежащею приятностью в высоких сферах; и манеры, и мягкие речи, и направление советов — все показывало в Лейбнице, что он человек бывалый, поли-

рованный, вполне достойный чина тайного советника и звания камергера или церемониймейстера. Петру, умевшему угадывать истинное достоинство людей, это придворное светило германского ученого мира очень понравилось с первого взгляда. Вероятно, он подумал про себя, что было бы очень приятно завести у себя в Петербурге своего доморощенного Лейбница, и неоцененные плоды истинного просвещения, вероятно, в эту минуту показались ему еще неоцененнее. Если Петр оценил Лейбница, то Лейбниц с своей стороны, конечно, разгадал Петра с первых двух слов. Он тотчас распознал слабую струну, обворожил венценосного собеседника картинами будущей русской цивилизации, которая ему, Петру, будет обязана своим происхождением, и в несколько свиданий совершенно упрочил за собою и пожалованный чин и положенное жалование. Когда Петр уехал в Россию, тогда Лейбниц стал писать к нему письма; эти письма, которые Лейбниц, конечно, выдавал за плоды долговременных и глубоких размышлений, наполнены советами, как ввести в Россию просвещение; Лейбницу было очень приятно получать ежегодно по 1000 талеров, но, чтобы оставить за собою это жалование, надо было хоть для виду хлопотать об русской цивилизации; иначе Петр, не любивший тунеядцев, мог прекратить выдачу денег; и вот Лейбниц напоминает о своем существовании и письмами своими показывает вид, что он принимает к сердцу горькую участь русских варваров, погибающих в бездне невежества. — Для спасения несчастного народа он считает нужным произвести в разных местах России магнитные наблюдения, разыскать — соединен ли американский материк с азиатским, устроить сообщения с Китаем и меняться с ним не только товарами, но также знаниями и искусствами; собрать и сохранить памятники греческой церкви, составить словари языков инородцев; учредить девять правительственных коллегий, «внутреннее устройство которых похоже на механизм часов, где колеса взаимно друг друга приводят в движение»; навербовать за границею побольше ученых; одних забрать в Россию, других оставить на месте, чтобы они, получая жалование, сообщали известия о том, что происходит в ученом мире; построить кабинеты, лаборатории и обсерватории, развести ботанические сады, библиотеки и музеи и набить последние инструментами, моделями, медалями и древностями; учредить академии, университеты и школы в Петербурге, в Киеве, в Москве и в Астрахани.

В истории сношений Петра с Лейбницем всего удивительнее то, что умный человек, подобный Петру, поддавался такому наглому шарлатанству и платил деньги за такие полезные советы. Этот странный факт можно объяснить или тем, что для Петра общая идея просвещения расплывалась в какие-то привлекательные, но совершенно неопределенные образы, или же тем, что он платил Лейбницу деньги и поддерживал с ним сношения просто из тщеславия, для пущей важности. Легко может быть, что тут действовали в одно и то же время обе причины; иначе я не умею

себе объяснить, каким образом Петр мог принимать за чистую монету советы Лейбница — производить магнитные наблюдения, вывозить из Китая знания, собирать памятники и составлять словари для того, чтобы вызвать к жизни или пробудить от усыпления умственные силы русского народа. [Тут вся штука в том, что Петру было так же мало дела до русского народа и до его умственных сил, как и самому Лейбницу.] Ученый немец, очевидно, хотел только удержать за собою жалование, а гениальный преобразователь хотел только обставить самого себя на европейский манер, хотел, чтобы у него было так, как у знатных господ бывает. Там заведены академии — и у нас давай заводить академии; там музеи — и у нас музеи; там ученые — и у нас пускай будут ученые; если нельзя найти ученых в России, надо из-за границы выписать; если ученым, выписанным из-за границы, нечем заниматься собственно в России, если их сочинения, напечатанные на русском языке, не найдут себе ни покупателей, ни читателей — и это не беда. Пусть занимаются в Петербурге тем же, чем занимались в Берлине, или в Марбурге, или в Гейдельберге, пусть печатают свои сочинения на французском, или на немецком, или на латинском языке, пусть печатают хоть на санскритском, дело не в сочинениях и тем более не во влиянии этих сочинений на русское общество: дело именно в том, что они будут жить в Петербурге, состоять на русской службе и составлять из себя русскую академию. Дело не в действии, а в декорациях. Вот чем Петр отдавал дань своему тщеславному, мишурному веку; он был бережлив в своем образе жизни, он жил в тесных комнатах, носил потертое платье, пил простую анисовую водку и в то же время заводил бесполезнейшую академию и платил шарлатану Лейбницу такое жалование, на которое можно было сшить десять роскошных костюмов. [Вы скажете, может быть: тот помещик, который разоряется на библиотеку, во всяком случае обнаруживает большее развитие ума и вкуса, чем тот, который садит деньги на псовую охоту; а я вам на это скажу, что нельзя произносить суждения, не вглядевшись в дело: если помещик, разоряющийся на библиотеку, страстный охотник до чтения, тогда ему и книги в руки; но если он заводит библиотеку для-ради важности, тогда он оказывается глупее того, который разоряется на псарню. Последний действует по живому влечению, а первый просто поступает как обезьяна. В том и в другом случае не мешает спросить: чьи они тратят деньги? Если свои, тогда и толковать не об чем.]

VI

Немцы, которых Петр старался залучить к себе, чтобы сделать из них придворные украшения, понимали слабость преобразователя к умственному блеску и, стараясь эксплуатировать эту страстишку, ломили неслыханные цены. Агенты Петра долго ухажи-

вали за Христианом Вольфом, за тем самым, который, как известно, был впоследствии учителем Ломоносова. Они всё приглашали его в Петербург, а Вольф все отнекивался и, наконец, порадовал их следующим ответом: он потребовал по 2000 рублей ежегодного жалования, обещал прослужить в России пять лет и, по истечении этого срока, желал получить единовременно сумму в 20 000 рублей. «Это немного, — продолжает он, говоря об этих условиях в письме к Блументросту, — если принять во внимание, что̀ король Альфонс пожаловал еврею Газану за составление Альфонсовых астрономических таблиц, Александр Великий — Аристотелю за сочинение «Historiae animalium» * и покойный король Людовик Великий — Винцентию Вивиани, математику великого герцога флорентийского, за восстановление утраченной книги из высшей геометрии. Не говоря об огромных суммах, полученных Аристотелем от Александра Великого, всем известно, что еврей Газан имел от Альфонса 400 тысяч дукатов, а Вивиани от Людовика Великого такую сумму, на которую он выстроил во Флоренции огромный палаццо, выгравированный при его геометрической книге. Что же все сделанное этими людьми в сравнении с осуществлением исполинского замысла его императорского величества? Для того требуется муж опытный во всех философских и математических науках. В бозе почивший прусский король пожаловал Лейбницу гораздо более, нежели сколько я требую, за то, что он заботился заочно о Берлинской академии». «Исполинский замысел его императорского величества», о котором говорит Вольф, состоял просто в том, чтобы основать в Петербурге академию. Вольф, очевидно, называет этот замысел исполинским с тою же целью, с какою он выписывает исторические примеры, замечательные по своей назидательности. Ему хочется выторговать себе выгодные условия, и потому он преувеличивает трудность задачи, выставляет на вид черты похвальной щедрости. Можно себе представить, во сколько обошлась бы нам наша бесценная академия, если бы действительно за блеск имени пришлось платить по 20 000 рублей. К счастью, должно сознаться, что умственное тщеславие не вполне ослепляло Петра; он позволял себе платить по 1000 талеров Лейбницу ни за что ни про что, но когда дело шло о такой сумме, какую требовал Вольф, тогда преобразователь наш становился внимательнее и недоверчивее. Блументрост не решился даже сразу доложить Петру о притязаниях немецкого философа и отвечал Вольфу с некоторым оттенком иронии: «что касается до 20 тысяч рублей, то если мы даже предположим, что наш всемилостивейший монарх превосходит Александра Великого, Альфонса и Людовика Великого в великодушии и любви к искусствам и наукам, а ваше высокородие по своей учености и услугам, оказанным ученому миру вашими мудрыми сочинениями, выше Аристотеля, Газана

---

* «Исследования о животных» *(лат.)*. — *Ред.*

и Виньяни, все-таки это такая сумма, о которой императору следует представить с осмотрительностью». Из этого письма Блументроста мы видим, что Петру действительно очень хотелось прослыть великодушным покровителем человеческой мудрости, но, во-первых, [как неукротимый деспот,] он хотел, чтобы эта мудрость стала к нему в зависимые отношения льстивого клиента, во-вторых, как русский человек, любящий выгадать и выторговать, он хотел нанять мудрецов подешевле. Петр был плохой меценат; кроме того, он не знал или не хотел знать, что меценаты вообще вредят развитию науки, что честные деятели мысли бегут от их покровительства и что продажные ученые окончательно развращаются под их влиянием.

Профессор анатомии Рюйш сообщил Петру Великому открытый им способ бальзамировать трупы, с тем чтобы Петр хранил его в тайне. «Однако, — говорит г. Пекарский, — царь передал секрет Лаврентию Блументросту, тот Шумахеру, который, в видах подслужиться лейб-медику Ригеру, рассказал ему о способе Рюйша. Ригер, покинув Россию, распубликовал его в «Notitia rerum naturalium», * статья «Animal». ** — Кажется, этот анекдот не требует комментария, и, кажется, истолковать это событие в пользу нашего преобразователя не сумеют самые неисправимые его поклонники.

Бывши в Копенгагене, Петр получил там для своей кунсткамеры половину окаменелого хлеба и деревянную обувь, которую носили лапландцы. «Взамен их царь просил хранить в Копенгагенском музее русские лапти». Нельзя не улыбнуться этому ребяческому желанию великого человека; ему захотелось русскими лаптями заявить в одном из европейских музеев о существовании своего государства. Благодаря этому желанию русские лапти попали на почетное место, среди разных монстров и раритетов.

Вот выписка из указа о доставлении в кунсткамеру со всех концов России уродов, редкостей и пр. «Того ради паки сей указ подновляется, дабы конечно такие, как человечьи, так скотские, звериные и птичьи уроды, приносили в каждом городе к комендантам своим, и им за то будет давана плата; а именно: за человеческую — по 10 р., за скотскую и звериную по 5, а за птичью по 3 р. за мертвых. А за живые: за человеческую по 100 р., за скотскую и звериную по 15 р., за птичью по 7 р. А ежели очень чудное, то дадут и более; буде же с малою отменою перед обыкновенным, то меньше. Еще же и сие прилагается: что ежели у нарочитых родятся и для стыда не захотят принести, и на то такой способ: чтоб те неповинны были сказывать, кто принесет, а коменданты неповинны их спрашивать — чье? Но приняв, деньги тотчас дав, отпустить. А ежели кто против сего будет таить, на таких возвещать; а кто обличен будет, на том штрафу брать вдесятеро против

---

* «Понятие о природе» *(лат.)*. — *Ред.*
** «Животное» *(лат.)*. — *Ред.*

платежа за оные и те деньги отдавать изветчикам». Великий преобразователь находил нужным поощрять доносчиков для того, чтобы наполнять кунсткамеру монстрами и раритетами; должно сознаться, что здесь очень мелкая цель оправдывала очень некрасивые средства; впрочем, наверное, найдутся у нас такие историки, которые признают это распоряжение не только извинительным, но даже полезным, премудрым и необходимым. Таков был дух времени, скажут они, таков характер народа! Вероятно, г. Щебальский, открывший, как известно, ту великую психологическую истину, что донос в характере русского народа, [20] основал свои наблюдения на документах, подобных вышеприведенному указу. Вероятно, он принял распоряжение Петра Алексеевича за проявление русского народного характера; если это действительно так случилось, то можно себе представить, что сближение между великими деятелями и простыми смертными не всегда бывает выгодно и приятно для последних. Если бы мы судили обо всех испанцах по Филиппу II, обо всех итальянцах по Фердинанду Неаполитанскому, обо всех англичанах по Генриху VIII, то, вероятно, испанцы, итальянцы и англичане почувствовали бы себя глубоко и притом несправедливо оскорбленными. — Указ Петра произвел свое действие; с разных концов России потянулись в Петербург живые и мертвые уроды; если бы за нравственное и умственное уродство определена была премия, тогда бы, вероятно, количество прибывающих субъектов было еще значительнее, — тогда, может быть, пришлось бы содержать при кунсткамере и Никиту Зотова, и Кесаря Ромодановского, и Шумахера, и даже самого Александра Даниловича Меншикова. Из денежных отчетов кунсткамеры от 1719 до 1723 годов видно, что при ней содержались живые монструмы Яков, Степан и Фома; на каждого из них выходило по рублю в месяц. В Заиконоспасской академии, во время Ломоносова, отпускалось на каждого ученика по алтыну в день, следовательно, по 90 копеек в месяц. Живые монструмы получали больше; следовательно, при великом основателе просвещения в России живым уродам было удобнее жить на свете, чем молодым студентам.

Радея о процветании наук, искусств и уродов в России, Петр Великий заботился также о том, чтобы просвещенная Европа восхищалась не только русскими лаптями, поставленными в Копенгагене, но также учеными учреждениями, возникавшими в юном Петербурге. Петр держал на жаловании писателей, обязанных прославлять распоряжения русского правительства. Главным литературным агентом Петра был барон Гюйссен. Немецкий журнал «Europäische Fama» помещал на своих страницах благорасположенные статьи, которые, по словам г. Пекарского, «приемами своими и стилем напоминают «Le Nord», [21] современный бельгийский журнал. — В книге г. Пекарского подробно рассказана полемика между Нейгебауэром и Гюйссеном. Нейгебауэр был настав-

ником Алексея Петровича, но не ужился в России и, уехавши за границу, издал брошюру, в которой описал самым беспощадным образом грязные стороны новорожденной цивилизации. Гюйссен написал и издал опровержение; Нейгебауэр отвечал новою брошюрою, и тем дело кончилось. Полемика эта касается некоторых любопытных фактов и особенностей русских нравов.

Нейгебауэр говорит в своей брошюре, что иностранцы, приглашаемые в Россию, не находят в этой стране ни одного из тех удобств, которыми их стараются заманить. Им обещают большое жалованье, и не платят денег; им обещают чины и почет — а на поверку выходит, что их бесчестят, бьют батогами, награждают пощечинами, шпицрутенами и ударами кнута. Нейгебауэр приводит множество примеров. Вот некоторые из наиболее типичных.

Маиора Кирхена царь в Архангельске, перед полком, в присутствии голландских и английских купцов, также морских офицеров, назвал е....м... (Hurren Sohn) и, плюнув ему в глаза, выхватил у него шпагу и бросил к ногам, говоря: «ты, е....м..., хочешь быть маиором, а не стоишь быть мушкетером». И это за то, что Кирхен, прослужив целый год маиором, не хотел быть капитаном и уступить свое место одному русскому. — Капитан Лудвиг, прибыв волонтером к осаде Нотебурга — а таким волонтерам царь обещал по 300 рублей и маиорский чин, — потерял потом маиорское жалование и 100 рублей и получил от царского величества собственноручную пощечину во время входа в Москву за то, что он, для правильнейшего расположения орудий, положил в одну яму дерево, которому царь хотел дать иное назначение. — 1700 года генерал и посланник польский, барон Ланге, был пожалован от царя собственноручно ударами и пр. и пр. за то, что он не дозволял над собою шутить царскому любимцу, некоему пирожнику (Bäckerjungen), по имени Александру Даниловичу Меншенкопфу (Menschenkopff). — Полковник Штрасберг наказан воеводою города, где он стоял в гарнизоне, батогами единственно потому, что не хотел действовать вопреки царского указа. — Капитан Форбус был наказан шпицрутенами из шомполов, а перед тем генерал из русских, переломив собственноручно его шпагу и сказав: «теперь я хочу тебя ошельмовать», дал ему пощечину.

Вот какие сведения сообщает Нейгебауэр о батогах:

Батогами называются небольшие жидкие палки длиною с аршин. Их берут служители в руки и садятся на голову и ноги раздетого человека и бьют его палками до тех пор, пока двадцать или тридцать из них не изломаются; потом наказываемого переворачивают и бьют по животу, наконец по бедрам и икрам.

Бо́льшая часть обличений Нейгебауэра грешит своею голословностью; в каждом из них есть что-нибудь необъясненное и недосказанное. Так, например, в рассказе о маиоре Кирхене мы не видим, почему Петр хотел передать его место русскому офицеру; не видим также, каким образом Кирхен отстаивал свои права; бранные слова, произнесенные при этом случае царем, остаются голым фактом, не находящимся в связи с предшествующими событиями и не вытекающим ни из поведения Кирхена, ни из положения самого Петра. Рассказы о капитане Лудвиге, о бароне

Ланге, о полковнике Штрасберге и о капитане Форбусе точно так же дают нам одни голые, ничем не объясненные факты. К этой особенности обличительной брошюры Нейгебауэра было бы не трудно придраться; но барон Гюйссен, принявший на себя обязанность защищать честь русского правительства перед общественным мнением Европы, заблагорассудил не заметить этого недостатка обличительной брошюры; он, вероятно, боялся, чтобы Нейгебауэр, задетый за живое обвинением в голословности и бездоказательности, не привел в подкрепление своих рассказов такие факты и аргументы, которые зажали бы рот официальному адвокату России. Вместо того чтобы требовать от Нейгебауэра доказательств и дальнейших разъяснений, Гюйссен в своем возражении просто старается покрепче обругать автора обличительной брошюры и превознести громкими похвалами те важные лица, которые пострадали от язвительных рассказов и замечаний памфлетиста. Отстаивая Меншикова, Гюйссен решается даже придумать для него небывалую генеалогию; он утверждает, что Меншиков происходит из хорошей дворянской фамилии на Литве и что отец его был обер-офицером Семеновского полка. Потом он говорит, что римский император, во уважение к блестящим качествам Меншикова, по собственному побуждению возвел его в достоинство имперского князя. Конечно, в наше время ни один порядочный человек не поставит Меншикову в вину его плебейское происхождение, но сочинение произвольной генеалогии дает нам возможность судить как об авторской честности Гюйссена, так и о высоте нравственных требований тех людей, по приказанию которых этот паразит пускался в литературную деятельность. Из отзывов Гюйссена о Меншикове мы можем также составить себе понятие о том, насколько можно доверять остальным возражениям этого нанятого литератора против Нейгебауэра. Впрочем, большая часть возражений до такой степени слабы и нелепы сами по себе, что им нельзя было бы поверить даже в том случае, если бы мы не имели никаких данных против литературной честности автора. Вот, например, каким образом Гюйссен старается парализировать описание батогов, приведенное выше из брошюры Нейгебауэра. «Батоги, кнут и другие наказания, — пишет полемизирующий барон, — так подробно и обстоятельно описаны им, что можно думать, что автор часто имел все это перед глазами и увеселял свои нежные чувства подобными спектаклями. По всей справедливости можно пожелать таковых наказаний, как заслуженную награду, всем пасквилянтам, особенно же тем из них, которые нападают грубым образом на коронованных особ, на власть и честь их верных министров, что сделано в настоящей постыдной брошюре». — Это место может показаться очень остроумным и игривым, но самые пристрастные читатели будут принуждены согласиться, что рассказ Нейгебауэра о наказаниях батогами остается не опровергнутым. Отрицать батоги не решается сам Гюйссен, решившийся

отрицать плебейское происхождение Меншикова; не решается он, конечно, не из уважения к истине, а, вероятно, потому, что отрицать батоги значило бы восставать против господствовавших обычаев и учреждений; отрицать батоги значило бы находить их применение предосудительным; такого рода дерзкий образ мыслей мог не понравиться великому Петру; не желая рисковать своею благородною спиною, барон Гюйссен предпочел обойти вопрос о действительном существовании батогов в России и обрушиться всею тяжестью своего негодующего остроумия на пасквилянтов; такой полемический оборот был, конечно, удобнее и безопаснее. Я считаю бесполезным долее останавливаться на полемике Гюйссена с Нейгебауэром; приведенные мною отрывки показывают ясно, каким образом Петр пользовался содействием печатной гласности и насколько он был разборчив в выборе орудий и средств.

VII

Личные отношения Петра к несчастному Алексею Петровичу дают некоторые материалы для оценки общих воззрений царя на просвещение и на отношения науки к жизни. «Одною из важнейших причин, — говорит г. Пекарский, — неудовольствия его на сына, царевича Алексея Петровича, было нерасположение последнего к военным приемам и дисциплине, что ясно высказано в письмах царя при деле об осуждении царевича» (стр. 122).

В «Europäische Fama» в официально хвалебной статье о воспитании Алексея Петровича встречается следующий пассаж: «Его царское величество старается, чтобы московский принц, единственный сын его, шел по его стопам и мог бы славу российской монархии вознести на ту степень, на которую достославный родитель намерен поставить посредством недавних побед своих над турками, татарами и другими неприятелями. Царевич не только русским, но и иностранцам известен под именем пресветлейшего солдата» (стр. 137). Надо отдать справедливость составителю этой панегирической статьи; своею наивною похвалою он сильнее всякого памфлетиста насолил Петру во мнении мыслящего потомства. Титул «пресветлейшего солдата», приданный Алексею Петровичу льстецами русского правительства, дает нам самое рельефное понятие о том, чего требовал Петр от своего сына и во имя чего он насилием и наказаниями ломал естественные наклонности молодого человека. Мистические стремления Алексея, его пристрастие к старине, его юношеские пороки — все объясняется военною форменностью воспитания, все объясняется тем глубоким отвращением к [солдатизму], которое развил в нем Петр, старавшийся насильно приохотить сына к ружейным приемам и к военному артикулу. Мы видели, какими средствами Петр развивал в молодых русских любовь к анатомии; вероятно, такие же средства были пущены в ход для

того, чтобы действительно превратить Алексея в пресветлейшего солдата. Не знаю, превратились ли русские посетители лейденского анатомического театра в ревностных медиков, но достоверно известно, к чести Алексея, то, что его природа не подчинилась воле великого родителя и разбилась в неравной борьбе.

В той же статье «Europäische Fama» встречается следующее любопытное место об Алексее: «Его холерико-сангвинический темперамент дает ему нужные силы, и пресветлейший родитель с строгою заботливостью запретил ослаблять или портить нежным воспитанием его юность: поэтому его сиятельство, князь Меншиков, согласно родительской воле, обходится с ним без всякой излишней лести, и часто можно видеть, что царевич за обедом встает с своего места и становится позади родительского кресла, чтобы тем выказать сыновнее почтение, а его величество всякий раз ему приказывает садиться». Надо подивиться бестолковости тех людей, которых русское правительство облекало в звание официальных хвалителей. Скажите на милость, какое отношение имеют заботы Петра об укреплении сил молодого Алексея к той нелепой застольной комедии, о которой «Europäische Fama» рассказывает с очевидными усилиями найти ее похвальною! Если Алексей действительно становился за кресла Петра, то с какой же стати публиковать об этом в газетах? — Приведенный факт показывает нам образчик той субординации, в которой Петр старался держать всех окружающих, начиная с членов собственного семейства. Сохранив этот факт для потомства, панегиристы Петра оказали ему медвежью услугу; впрочем, иначе и быть не могло; панегиристы и продажные писатели все таковы, потому что люди умные и даровитые, способные существовать честным трудом мысли, не торгуют своим пером и не принимают на себя унизительной обязанности хвалить и порицать против убеждения.

Инструкция, данная Толстому при его отправлении в заграничное путешествие в 1697 году, показывает, что́ именно Петр считал достойным изучения и полезным для молодых русских, отправляемых в погоню за просвещением. Эта инструкция заключает в себе следующие параграфы или «статьи последующие учению»: «1) Знать чертежи или карты, компасы и прочие признаки морские. 2) Владеть судном, как в бою, так и в простом шествии, и знать все снасти и инструменты, к тому принадлежащие: паруса, веревки, а на каторгах и на иных судах весла и пр. 3) Сколь возможно искать того, чтобы быть на море во время боя, а кому и не случится, и то с прилежанием того искать, как в то время поступать; однакож видевшим и не видевшим бои от начальников морских взять на то свидетельствованные листы за руками их и за печатьми, что они в том деле достойны службы своея. 4) Ежели кто похощет впредь получить милость бо́льшую, по возвращении своем, то к сим выписанным повелениям и учению научился бы знать, как делать те суды, на которых они искушение свое примут».

Текст этой инструкции показывает нам ясно, что специально техническая сторона европейского образования всего сильнее привлекала Петра; ему хотелось иметь у себя дома хороших кораблестроителей, хороших моряков, солдатов, землемеров, чертежников и т. п. Умственное развитие человека оставалось на самом заднем плане. Петр инстинктивно понимал, что развитые люди редко бывают хорошими исполнителями чужой воли, и потому его административные соображения вовсе не требовали того, чтобы молодые русские путешественники вглядывались в житье-бытье европейских народов и выносили из своих наблюдений материалы для критики своего домашнего порядка вещей. А между тем нельзя зажимать глаза и уши молодым людям, отправляющимся за границу. Нельзя было требовать, чтобы они видели только чертежи, веревки, компасы, паруса и каторги.

Они видели много такого, что никогда не попалось бы им на глаза в России; они видели и рассуждали про себя, хотя многое из виденного проходило перед их неприготовленным пониманием, не оставляя по себе никакого прочного впечатления. Находились такие путешественники, которые на все смотрели с невозмутимым бесстрастием; но зато были и такие, которые выражали даже в полуофициальных своих заметках сочувствие к тем или другим явлениям иноземной жизни. Вот, например, выписка из описания путешествия графа Матвеева: «В том государстве лучше всех основание есть, что не властвует там зависть; к тому же король сам веселится о том состоянии честных своих подданных, и никто из вельмож ни малейшей причины, ни способа не имеет даже последнему в том королевстве учинить какова озлобления или нанесть обиду. Всякой из вельмож смотреть себя должен и свою отправлять должность, не вступая до того, в чем надлежит державе королевской. Ни король, кроме общих податей, хотя самодержавный государь, никаких насилований не может, особливо же ни с кого взять ничего, разве по самой вине, свидетельствованной против его особы в погрешении смертном, по истине, рассужденной от парламента; тогда уже по праву народному, не указом королевским, конфискации или описи пожитки его подлежать будут. Принцы же и вельможи ни малой причины до народа не имеют и в народные дела не вмешиваются, и от того никакую тесноту собою чинить николи никому не могут. Смертный закон имеют о взятках народных и о нападках на него».

Это говорится о Франции времен Людовика XIV; если эта страна до такой степени нравилась Матвееву, то можно себе представить, что требования были очень умеренны и что, насмотревшись на петровскую Россию, можно было легко помириться со всяким иным порядком вещей, как бы ни был сам по себе некрасив и неудобен этот иной порядок. Можно также себе представить, что деятельность нашего преобразователя во многих отношениях потеряла бы свой характер размашистой произвольности, если бы

симпатии Матвеева нашли себе отголосок в тогдашнем русском обществе. Если бы между молодыми людьми, посылавшимися за границу для изучения разных рукоделий, нашлось много умных голов, способных понимать различие между своим и иноземным, тогда, вероятно, Петру сделалось бы вовсе не так легко помыкать силами, способностями, убеждениями и наклонностями своих подданных. Сомневаюсь, чтобы Петр почувствовал особенную радость, замечая это пробуждение русской мысли. Но бедная русская мысль спала очень крепко, и ее отдельные разрозненные проявления, растрачиваясь в неравной, но не бесплодной борьбе, глохли и замирали, как слабый стон, вырывающийся из наболевшей груди.

ПЧЕЛЫ

Историки, публицисты и политики говорили, говорят и еще долго будут говорить чрезвычайно много вздора; все их теории будут разлетаться, как мыльные пузыри, до тех пор, пока они не будут чувствовать под ногами твердую почву осязательных фактов. Иной ученый муж пресерьезно начнет уверять вас, что он добрался в своих исследованиях до основных законов человеческого развития, до остова всемирной истории; спросите этого колосса учености, знает ли он устройство человеческого организма, предложите ему элементарный вопрос из физиологии или анатомии, и вы увидите, что он опустит глаза и поневоле признается в своем неведении; все его выводы основаны на бумажных документах; он не знает ни живого человека, ни живых людей; он не знает ни того процесса, который совершается в каждом неделимом, ни тех отправлений, которые имеют место в живом обществе; он видит только своими ослабевшими глазами ту частичку жизни, которая прилипла к пергаменному свитку, завалявшемуся в архивной пыли; по этой частичке он думает воссоздать живые личности, составить себе понятие о человеке, изучить законы его развития; от этих бессмысленных стремлений определить по жалким отрывкам то, чего не знаешь и не хочешь изучить во всем разнообразии жизненной полноты, от этих бессильных попыток заменить наблюдение творчеством ума происходят ошибки, доктрины, политические убеждения, замысловатые теории, в которых недостает безделицы: знания дела и здравого смысла. Чтоб понимать событие, надо знать его деятелей; чтобы объяснить себе историческое развитие человечества, надо знать те силы, которые действуют в нем самом и вокруг него. Пусть гг. доктринеры, которых очень много во всяком обществе, начинающем мыслить, посмотрят вокруг себя и скажут, положа руку на сердце: что они знают? Какое действительно существующее явление природы им известно и понятно? Они при-

нуждены будут сознаться, что знают большею частью только то, что думали другие доктринеры, жившие раньше их; над этими работами прежних доктринеров они проводят дни и годы, их они комментируют и критикуют, не добираясь до самой жизни и принимая свои слова и понятия за существующие явления. Эти доктринеры — современное видоизменение средневековых монахов; у них есть трудолюбие, есть добросовестность, и при этом — ни малейшего понятия о жизни, и вследствие этого ни одной живой идеи в уме, ни одного энергического движения в мозгу. Самое простое, понятное слово *жизнь* благодаря им превратилось в какую-то риторическую фигуру, лишенную плоти и крови; они понимают по-своему жизнь идеи, жизнь общества, жизнь человечества, словом, всякую *воображаемую* жизнь, всякую жизнь, кроме *действительной* жизни отдельного живого человека; о жизни животных им некогда и подумать; это такие мелочи, на которые им и взглянуть не хочется, им, законодателям человечества, носящим в своем мозгу решения разных мировых вопросов. Мы не имеем счастья быть доктринерами; у нас не хватает на это ни умения, ни желания; каемся чистосердечно в том, что мы имеем слабость интересоваться действительною жизнью, в каких бы крошечных размерах она ни проявлялась, и нисколько не интересоваться бесплотными порождениями доктринерствующих умов, в какие бы полнозвучные фразы они ни облекались. На этом основании мы намерены толковать с читателями не о теории божественного права, не об законе исторической постепенности, а просто о домашней и общественной жизни пчел. Мы сильно нуждаемся в положительной почве для наших исследований, в фактическом материале, из которого можно было бы выковать себе воззрения и убеждения металлической твердости и незыблемой основательности. Будем же смотреть вокруг себя, на живую природу, вместо того чтобы зажмуривать глаза или с упорным вниманием устремлять их на буквы, слова и фразы.

I

Пчела принадлежит к породе насекомых; у нее нет спинного хребта, и ее тело разделяется на три ясно обозначенные части; эти части следуют друг за другом в таком порядке: во-первых, голова, в которой находятся глаза, щупальца и ротик; во-вторых, средняя часть тела, к которой прикреплено снизу три пары ног, а сверху две пары крыльев; в-третьих, задняя часть тела, заключающая в себе сердце, дыхательные органы, пищеварительный канал и половые части. По обеим сторонам головы у пчелы находятся два большие глаза, составленные из нескольких тысяч микроскопических глаз, выглядывающих из-за общей прозрачной роговой оболочки. Этими двумя глазами пчела смотрит на мелкие предметы, находящиеся вблизи; эти два глаза заменяют ей наши

микроскопы; для того чтобы смотреть вдаль, чтобы направлять вдаль свой полет, пчела пользуется тремя крошечными глазками, прикрепленными к верхней части головы. Сколько известно при теперешнем состоянии науки, человек лишен тех глаз, которые управляют полетом пчелы. Вероятно, это обстоятельство составляет единственную причину, по которой бо́льшая часть человеческих суждений и построений страдает от близорукости своих творцов.

Рот пчелы отличается сложным устройством; достаточно будет отметить две роговидные острые челюсти, закрывающиеся друг на друга, как две половинки ножниц, щеточки, служащие для собирания цветочной пыли, и длинную нижнюю губу, покрытую волосами и заступающую место языка, конечно не для разговора. Останавливаться на нем я не буду; замечу только, что рабочие пчелы на своих задних ногах приносят в улей мед и цветочную пыль, а что трутни и матка лишены этой способности. Рабочие пчелы приготовляют в своем теле воск, который просачивается между колечками задней части и потом употребляется в улье как строительный материал. Матка, или царица, и трутни не способны к приготовлению воска.

Рабочие пчелы вооружены жалом, скрывающимся в задней части тела и связанным с пузырьком, из которого выделяется едкая, ядовитая жидкость. Трутни, как привилегированное сословие, избавлены от обязанности защищать общество от внешних врагов и лишены жала. Челюсти их особенно крепки и покрыты зазубринами, вследствие чего они отличаются прожорливостью. Жало царицы длиннее и острее жала обыкновенных рабочих, но она пользуется им только в единоборстве против соперников, когда дело идет о господстве над ульем.

Мы видим таким образом, что все население улья распадается на три касты, отличающиеся друг от друга внешними признаками. Во главе всего улья стоит матка, или царица, единственная самка, одаренная способностью и правом класть яйца; она буквально может сказать: l'état c'est moi, * потому что сама производит на свет все, что живет и движется в улье. Задняя часть ее тела значительно длиннее, чем у работниц; половые органы вполне развиты, зато крылья значительно короче; вследствие этого царица редко покидает улей и проводит всю жизнь в наслаждении готовою пищею и в удовлетворении сильно развитым половым влечениям. Она вылетает только за тем, чтобы среди цветущей природы отдаться любимому трутню или чтобы уступить место счастливой сопернице.

За царицею следуют трутни, или самцы, далеко превосходящие работниц величиною тела; эти трутни не работают, не носят при себе оружия, много едят, оплодотворяют по очереди царицу и кроме этого не знают ни забот, ни обязанностей.

---

* Государство — это я *(франц.)* (выражение, приписываемое Людовику XIV). — *Ред.*

Рабочие пчелы — самки, не способны к деторождению; в их неспособности виновата не природа, а воспитание; недостаточная пища задерживает развитие их половой системы и обрекает их на трудовую жизнь, лишенную наслаждения. Не имея возможности жить для себя, рабочие обращают свою деятельность на воспитывание личинок, рожденных царицею; весь мед, собранный ими на цветах, идет на продовольствие личинкам, трутням и царице; все — на пользу общую, и ничего — для себя; рабочая пчела, с трогательным, но совершенно нелепым самоотвержением, содействует поддержанию того уродливого порядка вещей, который лишает ее возможности пользоваться жизнью и производить потомство. Она сама плохо кормит целые сотни личинок и откармливает десяток других, чтобы из первых вышли оскопленные работницы, а из вторых — полные самки-царицы. Рабочие пчелы — жалкие парии, не чувствующие своего унижения, не способные из него выйти и поддерживающие в этом унижении следующее поколение, которое в свою очередь будет действовать в том же возмутительно-консервативном духе, и так далее, до бесконечности. Это пролетарии, задавленные существующим порядком вещей, закабаленные в безвыходное рабство, кружащиеся в колесе и потерявшие всякое сознание лучшего положения. Яйца, которые кладет королева, совершенно равны между собою по достоинству; червячки, выползающие из яичек, в первые три дня ничем не отличаются друг от друга; каждый из них может сделаться царицею. Но вот начинается различие воспитания: одного червячка сажают в просторную клетку, его кормят отборною пищею, его чистят и обмывают прислужницы и кормилицы; из этой личинки выходит царица; другую личинку, напротив того, втискивают в тесную каморку, кормят чем попало, никогда не обчищают; из этой личинки развивается простая работница. Смотря по обстоятельствам, одна рабочая пчела бывает сильнее, другая слабее; кто посильнее, тот вылетает из улья и добывает мед; кто послабее, тот сидит дома, ходит за личинками и куколками, чистит клеточки и исполняет разные домашние работы. Торопливо ползают эти заботливые кормилицы и экономки от ячейки к ячейке; там надо накормить голодного червячка; тут надо залепить воском запасный магазин, наполненный медом; в другом месте надо закрыть клеточку, в которой взрослый червяк превращается в куколку; еще где-нибудь необходимо вычистить большую клетку, в которой сидела царственная куколка; дело всегда найдется, и трудовая жизнь рабочих пчел проходит в непрерывном ряде забот, которые не позволяют им задуматься о наслаждении или помечтать о лучшем будущем. Когда молодое поколение накормлено, являются новые работы: надо построить новую клеточку для меда, надо облизать и обчистить возвращающихся с работы товарищей или даже праздного трутня, гулявшего по собственной охоте за пределами улья; когда становится холодно, кормилицы и экономки собираются вокруг царицы,

согревают ее теплотою собственного тела, смотрят на нее как на избранное, высшее существо. Словом, самоотвержению рабочих нет пределов, и если самоотвержение — добродетель, а не глупость, то добродетельнейшим существом в мире надо будет признать рабочую пчелу.

II

Составленное из таких элементов государство пчел имеет свою историю, свои периодические волнения, свои гражданские события и перевороты. Вот вылетает из улья новый рой, как толпа отважных колонистов, решившихся искать за морем счастья и простора. Впереди летит царица; ее окружают сильнейшие из рабочих, готовые защищать ее от всякой опасности и положить живот за то, что они считают общим делом. За этою передовою группою следуют в некотором расстоянии ленивые трутни и слабые кормилицы-экономки. Впрочем, старинные писатели говорят, что царицу окружают при этом переселении трутни; по всей вероятности, это ошибка; если же действительно так было прежде, то это изменение церемониала доказывает ясно, что привилегии, связанные с званием трутня, постепенно уменьшаются и что различие сословий в пчелином мире постепенно исчезает перед законом здравого смысла и перед фактическим правом личной, материальной силы. Царица долго летать не любит; она садится на какой-нибудь сук, вокруг нее густыми кучами усаживается ее народ, а между тем несколько сильных рабочих пчел летят на рекогносцировку, чтобы высмотреть помещение для будущей колонии. Обыкновенно человек предупреждает эти поиски и предлагает готовое жилище, соединяющее в себе все требуемые удобства. Пчелы принимают с благодарностью, не понимая того, что они закабаляют себя в рабство и что человек присвоивает себе неограниченное право распоряжаться их жизнью и собственностью, отнимать у них мед и воск, выкуривать их дымом, оглушать их серою и водою, перегонять их из одного помещения в другое и даже убивать их, если, по его соображениям, их не стоит кормить тем самым медом, который они же добыли. Пчелы не предвидят всех этих неудобств своего нового положения, и весь рой с радостным жужжанием влетает в новый улей.

Занявши свое новоселье, пчелы прежде всего замазывают и затыкают все отверстия, кроме одной маленькой дырочки, через которую поддерживается сообщение улья с внешним миром. На молодых побегах разных деревьев пчелы находят клейкую массу, и этою-то массою они как можно плотнее законопачивают щели; если в улей вставлено стекло, то они замазывают его, стараясь таким образом сделать свое жилище недоступным не только для внешних врагов, но преимущественно для действия внешнего света. Темнота совершенно необходима для поддержания существующего порядка. Вылетая из улья, пчела является свободным, усердным

работником; у себя дома она подавлена, принесена в жертву внешней стройности государственного тела, и потому, чтобы покоряться таким тягостным условиям, чтобы нести безропотно лишения и труды, не пользуясь своею долею наслаждений, ей необходимо *игнорировать* настоящее положение дел, не видать и не понимать того, как проводят время царица и трутни. Первый луч света пугает работницу, освещая грязь и бедность ее вседневной жизни; ей становится тяжело и страшно; она приписывает свое неприятное ощущение не тому зрелищу, которое осветил ворвавшийся луч, а именно самому лучу; она старается устранить его, как мы, люди, стараемся порою устранить возникающее сомнение; если любопытный натуралист вставит в улей стеклянное окошечко, его замажут, если он для своих наблюдений вынет замазанное стекло, то в улье начнется волнение при первых лучах света; трутни толпами побегут к отверстию, стараясь закрыть его собственными телами; рабочие полетят за замазкою и начнут заклепвать; внутри улья послышится жужжание, и дела придут в прежнее положение только тогда, когда водворится прежняя темнота.

Но если наблюдатель будет постоянно прочищать отверстие, заклеиваемое рабочими и загораживаемое трутнями, если освещение улья будет продолжаться, несмотря на сопротивление всех сословий пчелиного царства, то все дела мало-помалу придут в расстройство. Рабочие перестают работать и начинают понимать, что плодами их усилий пользуются привилегированные классы. Они перестают строить соты, не кормят личинок и не обращают внимания на королеву. Жужжание их усиливается; они собираются в кучки и как будто рассуждают о чем-то, к великому ужасу ториев-трутней и крайнему огорчению царицы, начинающей чувствовать голод и одиночество. Вылетающие рабочие возвращаются без меда, каждая из них сама съедает благоприобретенное имущество; наконец многие из рабочих совершенно покидают улей, начинают жить на просторе, среди цветущей природы, совершенно в свое удовольствие. Королева умирает с голоду, трутни рассеиваются, личинки погибают, и только стены опустелого улья свидетельствуют о недавнем существовании гражданственного или стадного элемента. Рабочие наслаждаются жизнью, насколько это возможно при изуродованном их положении, резвятся в теплом воздушном пространстве, носятся над цветущими лугами и полянами, упиваются медом и свободою, досыта наедаются цветочною пылью и, наконец, натешившись вволю, умирают, как жили, свободными гражданами животного мира. Некоторые из этих анархистов раскаиваются, впрочем, в своих поступках и пытаются пристать к какому-нибудь другому государству, т. е. поселиться в другом улье и принять на себя те самые обязанности, которые им приходилось нести прежде. Но в улей не принимают пришельцев; туземцы сейчас узнают иностранца и гонят его прочь, а в случае упорства убивают его и выбрасывают бездыханное тело за пределы

своего царства. Основана ли эта китайская ненависть пчел к инородцам на экономическом или на политическом расчете, решить довольно трудно. Боятся ли они в новом пришельце лишнего потребителя или проповедника антиконституционных начал, это до сих пор не решено исследователями их гражданского быта. Как бы то ни было, два факта не подлежат ни малейшему сомнению: во-первых, то, что мрак необходим для спокойствия и коллективного благоденствия улья, во-вторых, то, что пчелы, отрешившись от заветной нормы своего общественного устройства, не способны выработать себе другую норму и начинают жить совершенно индивидуальною жизнью, которая, при многих хороших сторонах, имеет свои несомненные чисто практические неудобства. Рабочие пчелы умеют работать и защищать свое общество от внешних врагов; но импульс к этим работам и к этой обороне дается им извне, такими существами, которые сами не способны ни работать, ни сражаться. В улье происходит самое оригинальное разделение труда: одни работают, другие едят и плодятся. Без этого разделения труда невозможно продолжение породы: кто работает, тот неспособен к деторождению, а кто способен иметь детей, тот не может работать. Пчелы, очевидно, испорчены своею уродливою гражданственностью; плебеи — кастраты, и естественные половые отправления составляют привилегию одной личности. Ни древний Египет, ни древняя Индия не доходили до такого строгого проведения кастических особенностей; даже парии имели возможность брать себе жен и производить детей; разве только современная Англия при постоянно возрастающем населении дойдет до того, что брак сделается привилегиею некоторых лиц или сословий и что пролетарию, не имеющему ни кола, ни двора, ни обеспеченного куска хлеба, закон будет воспрещать сношения с женщинами и деторождение. Заметим мимоходом, что Джон-Стюарт Милль обсуживает этот вопрос английской жизни в своей знаменитой книге «On liberty»;[1] он, величайший индивидуалист нашего времени, почти решается признать за обществом право контролировать заключение браков и запрещать те брачные союзы, которые угрожают обществу приращением неимущих граждан и, следовательно, понижением задельной платы. От подобной мысли до оправдания общественных учреждений пчел — не слишком далеко, но, к чести человека, можно выразить надежду на то, что подобный закон никогда не примется и не укоренится; каждый нищий скорее согласится умереть, чем позволит превратить себя в рабочего кастрата, живущего для того, чтобы служить бутом или фундаментом для общественного здания. Иные натуралисты приходят в полнейшее умиление, говоря об уме пчел и о их завидной способности жить в обществе себе подобных существ; мне кажется, напротив того, надо подивиться их чудовищной забитости, доходящей до того, что они, изуродованные сами, систематически уродуют других и являются, таким образом, в одно и то же время бесчувственными жертвами и бессмысленными палачами.

III

Вот, наконец, щели замазаны, мрак водворился, и государственная машина начинает свою работу. Прежде всего рабочие пчелы принимаются за построение сотов, шестиугольных восковых клеточек известной величины, определенного формата и неизменной архитектуры. Тут не нужно творчества, личной мысли, оригинального дарования. Каждая пчела умеет строить эти клеточки и знает, в каком отношении должны находиться между собою различные помещения. Для рабочих пчел строятся самые крошечные клеточки, для трутней — побольше, а для королевы тратится на построение клетки столько воску, сколько пойдет на 150 рабочих келий. Архитекторы не спорят между собою о плане будущих построек; все давно известно каждой пчеле; проектов представлять незачем, и лишь бы было темно и тихо, все пойдет как по маслу, потому что идея конституции вошла в плоть и кровь рабочего класса с своими мельчайшими фактическими подробностями.

Трутни понимают свои сословные привилегии; они не помогают деятельным строителям и в жаркий полдень вылетают из улья не затем, чтобы принести меду на пользу общую, а затем, чтобы в полном сознании своего превосходства набить себе желудок цветочною пылью. А в это время рабочие пчелы раз по шести или по восьми в день вылетают из улья и всякий раз возвращаются домой с полным грузом меда на ножках и в желудке; весь принесенный мед или по крайней мере большая часть его идет на прокормление королевы, трутней и личинок; себе рабочая пчела оставляет в обрез столько, сколько необходимо для поддержания жизни и рабочей силы.

Трутни как самцы окружают королеву, единственную самку всего улья, и стараются по возможности заслужить ее расположение; они толпятся вокруг нее, лижут и обчищают ее, оказывают ей самые почтительные любезности, наперерыв друг перед другом стремятся заявить свою глубокую преданность или, при случае, пылкую любовь, но при всем том живут между собою довольно мирно благодаря своему спокойному, ленивому характеру и отсутствию того смертоносного жала, которым вооружены рабочие пчелы.

Королева не остается нечувствительною к этим чистосердечным изъявлениям чувства; сердце — не камень; к тому же ей предстоит важная задача — произвести из себя все будущее поколение своего народа, и она с благородным усердием принимается за работу. Ее сотрудниками в служении обществу являются сотен шесть трутней, и благодаря их добросовестному содействию королева в день кладет до 200 яиц, а в полтора или в два месяца успевает снести до 12 000 яиц. Утром, когда ленивые трутни еще спят, а рабочие уже вылетели на работу, королева выходит из своей клетки в сопровождении десяти или двенадцати прислужниц

из рабочих. «Важно, — говорит Окен, — проходит она мимо наполненных яичек и останавливается, как только ее спутницы указывают ей на пустую клеточку; сперва она опускает в нее голову, чтобы убедиться в правильном ее устройстве; потом она оборачивается задом — и в эту решительную минуту спутницы собираются вокруг нее сплошною массою, чтобы скрыть ее от любопытных глаз. Если в это мгновение королева заметит, что на нее смотрит откуда-нибудь натуралист, она пройдет мимо клеточки, не положивши яйца, и окажется глубоко оскорбленною в своей женской стыдливости; если же все вокруг нее тихо и темно, она опускает в клеточку заднюю часть своего тела, и на дне клеточки появляется вслед за тем белое продолговатое яичко». Королева кладет таким образом яичек пять и потом несколько минут отдыхает; ее окружают усердные прислужницы, облизывают ей все тело, обчищают крылья и, наконец, подносят ей на кончике хоботка капельку отличнейшего меда.

Через три дня из яичек выползают маленькие белые червячки, или личинки, с твердою продолговатою головкою, но без ног; эти новорожденные существа решительно неспособны заботиться о себе, и рабочие пчелы совершенно принимают их на свое попечение, потому что ни королева, ни трутни не обращают на них никакого внимания. Кормилицы из рабочих пчел готовят из цветочной пыли с медом кашицу и этою кашицею кормят личинок, соблюдая при этом значительное различие между тою пищею, которую они подносят будущим пролетариям, и тою, которую они предлагают будущим королевам и благородным трутням. Личинки рабочих пчел кормятся в продолжение пяти дней, а личинки трутней немного дольше. По окончании этого срока кормилицы залепливают клеточки воском, и личинка начинает превращаться в куколку, т. е. строит себе кокон из тонких шелковидных нитей. Внутри кокона совершается развитие полного насекомого, и по окончании этого развития пчела выходит из своего заточения, разрывает кокон, прогрызает восковую крышечку и выходит на свет божий в виде пролетария, трутня или королевы.

Развитие трутня с той минуты, когда снесено яйцо, до того времени, как он выходит из кокона, продолжается 24 дня, развитие рабочей пчелы — 20 дней, а королева уже через 16 дней может принять на себя государственные заботы и считаться совершеннолетнею и полноправною. Дело в том, что королева у пчел нуждается в меньшей степени физического, а вместе с тем и умственного развития, чем рабочая пчела. Вся деятельность королевы сосредоточена в половых отправлениях; она не нуждается ни в силе мускулов, ни в мыслительных способностях; ей не надо ни строить соты, ни летать в дальние экспедиции, ни выбирать из цветов частицы меда и ароматной пыли; ее дело любезничать с трутнями, не имея даже надобности отбивать их у соперницы, и потом класть яйца, не заботясь о дальнейшей участи своих будущих потомков.

Народ ее сам отлично знает свое дело, и вся государственная машина идет полным ходом, не нуждаясь в ее вмешательстве и даже не допуская этого вмешательства. Чтобы занимать почетное место, не сопряженное ни с какими обязанностями, чтобы наслаждаться жизнью, не зная, какою ценою покупаются эти наслаждения, не нужно большого ума, — потому не удивительно, если развитие пчелиной матки, или королевы, совершается скорее, чем развитие рабочей пчелы. Личность этой королевы не имеет никакого влияния на дела улья; пчелы уважают в королеве воплощение той идеи, которая удерживает их в гражданском обществе и не позволяет им рассеяться, но этим пчелам нет никакого дела до того, будет ли их королева неподвижным яичком, лишенным сознания, или царственною личинкою, или спящею куколкою. Если бы внезапная смерть прервала государственные заботы взрослой королевы, то население улья не пришло бы в замешательство; пролетарии, составляющие действительную силу пчелиного общества, знают, что в яичках или в коконах есть формирующиеся королевы, и, успокоенные насчет будущности улья, продолжают свои работы, как будто бы не случилось ничего особенного.

Но, спрашивается, почему же трутни, которых деятельность так же ограничена, как деятельность королевы, которых умственные способности отличаются крайним ничтожеством, почему, спрашивается, трутни развиваются так долго? Фохт объясняет это физическою вялостью, свойственною природе трутней; вечно праздные, лишенные способности работать и заботиться о чем бы то ни было, трутни даже развиваются медленнее и ленивее других пчел; даже в зародыши трутней проникает та барственная неповоротливость и флегматичность, которою отличается во всех своих действиях привилегированное сословие пчелиного государства.

IV

У пчел нет постоянного войска; всякий пролетарий постоянно имеет при себе оружие и умеет владеть им; каждый солдат этой национальной гвардии воодушевлен патриотическим чувством, выражающимся в самой пламенной ненависти к шмелям, осам и даже пчелам других ульев; если в улей вздумает влететь какой-нибудь неосторожный или дерзкий иноплеменник, то ему придется очень плохо: на него бросятся сотни рабочих пчел, пуская в ход и челюсти и жало; путешественник будет непременно убит, и тело его, на страх другим, будет выброшено за пределы улья. В одном улье бывает до 20 000 рабочих пчел, и, несмотря на то, пчелы не ошибаются и не принимают в свое общество гражданина другого улья. Обменивается ли влетающая пчела условленными знаками с теми пчелами, которые сторожат вход в улей, — решить мудрено,

но достоверно то, что обитатели двух соседних ульев не могут посещать друг друга и что каждый улей с чисто китайским упорством запирает свои домашние дела от посторонних взоров. Но есть средство уничтожить родовую ненависть между пчелами разных ульев; стоит только побросать их всех в воду; пчелы ошалеют и потеряют сознание; после того их вылавливают и кладут на солнце. Мало-помалу они обсыхают и приходят в себя; утопленники начинают двигаться, расправляют лапки и крылья, потягиваются и стараются помочь своими заботами товарищам, еще не проснувшимся из продолжительной летаргии. После этого общего несчастия национальная вражда оказывается забытою, и пчелы двух ульев могут быть посажены в одно помещение и общими силами приняться за построение сотов и воспитывание молодого поколения. Сколько нам известно, вода является лекарством против национальных антипатий только у пчел; подействует ли она таким же чудесным образом на граждан двух враждующих государств, этого нельзя сказать наверное, по недостатку положительных опытов. Не мешает при этом заметить, что и на пчел вода окажет свое благодетельное действие только в том случае, если королева одного из ульев будет убита; если же обе королевы вместе будут брошены в воду, то они начнут враждовать между собою тотчас после того, как к ним возвратится сознание; к каждой из них пристает толпа рабочих, и сильнейшая партия выгонит слабейшую из улья; после этой схватки прежняя вражда возобновится с новою силою, впредь до нового купания. Немцы в некоторых отношениях похожи на пчел; в Германии, у себя дома, они большею частью поддерживают мелкие, местные интересы отдельных государств. Уроженцы Баварии, Виртемберга, Бадена, Ганновера, какого-нибудь Липпе-Шаумбурга или Гогенцоллерн-Зигмарингена [2] смотрят друг на друга как на иностранцев и толкуют, каждый для себя и про себя, об отдельной родине и о своем особенном патриотизме; но те же граждане различных немецких ульев едут за море, поселяются в Американских штатах, и тут, по единству языка, привычек и воззрений, начинают замечать, что между ними много общего, что все они — немцы и могут симпатизировать друг другу, не обращая никакого внимания на разные территориальные недоразумения и династические соперничества. Переезд через Атлантический океан заменяет, как видите, благодетельное купание пчел.

Главная и почти единственная цель деятельности у рабочих пчел заключается в воспитании молодого поколения. Их уважение к ничтожной личности королевы и их терпимость к праздной прожорливости трутней объясняется тем, что в королеве они видят единственную свою надежду, будущую мать всего потомства, а на трутней смотрят как на ее необходимых сотрудников и, следовательно, как на неизбежное зло, без которого не может держаться их государственная система. Личность кормилиц, выбранных из

рабочих пчел, находится в почете; кормилицы избавлены от обязанности вылетать из улья и добывать себе пропитание; их кормит государство; их уважают и лелеют, несмотря на их физическую хилость и слабость, другие пчелы. Если мы посмотрим на общество людей, если мы предложим себе вопрос о значении педагога в государстве, в обществе и семействе, то нам придется сознаться, что пчелы лучше нас понимают важность воспитания. Но нам тоже не следует слишком увлекаться добродетелями пчел; представьте себе, что вы живете на белом свете только затем, чтобы воспитывать вашего сына; ваш сын живет только затем, чтобы воспитывать вашего внука, и т. д.; каждое отдельное поколение сначала готовится к жизни, потом готовит к ней других, а жить-то когда же? И для чего же готовить других к тому, чем им не придется пользоваться? Пчелы очень хорошо поступают, обращая свое заботливое внимание на благоденствие молодого поколения, но кастрировать себя во имя своего потомства, для того чтобы это потомство в свою очередь оскопляло себя для будущего поколения, — это, воля ваша, безобразно, и в этом отношении мы все-таки не так глупы, как пчелы. Всего смешнее в жизни пчел то, что они, вероятно, полагают, будто их самоотвержение велико и возвышенно, будто они жертвуют собою, чтобы доставить всем другим счастье и наслаждения, а на самом деле выходит, что их трудами и страданиями пользуются только трутни да матка, т. е. самая бесполезная, пустая и недобросовестная часть их общества. Кажется, идеализм и пустое доктринерство, расходящиеся с жизнью, являются сильно распространенными болезнями, и человек, считающий эти болезни величайшею привилегиею своей породы, может и должен признать их существование даже в мелких насекомых. Вероятно, и пчела, подобно Платону и Гегелю, строит свою систему мира, в которой она является центром всего движущегося и живущего, а между тем, тратя время на эти серьезные забавы и уносясь в необъятные сферы чистого мышления, она, подобно этим светилам бедного человечества, не замечает или не хочет заметить того, что у нее крадут трудом добытый мед и систематически уродуют половые органы. Когда ей случается заметить свою ошибку, она круто повертывает дело, но идеализм, или, что то же, бестолковость, берут свое, и, после некоторых волнений, пчелиный мир улегается в прежнюю колею и застывает в прежних рамках.

V

Королева пчелиного царства чрезвычайно добродушна и кротка, когда она одна живет в улье, т. е. когда у нее нет и не предвидится соперницы. Женственная мягкость ее выражается в дружелюбных отношениях к трутням и в спокойном величии, с которым она принимает от последнего из пролетариев изъявления преданности,

выражающиеся в капельках меда. Добродушие королевы не изменяет ей даже тогда, когда она входит в соприкосновение с злейшим эксплуататором пчелиного мира, с человеком. Королеву можно смело брать в руки, гладить и ласкать, не боясь ее жала; основываясь на этом обстоятельстве, старинные исследователи полагали даже, что у королевы вовсе нет жала и что она, как царственная особа, предоставляет своим подданным отражать внешних врагов и наказывать нарушителей общественного спокойствия. Так и бывает действительно в большей части случаев, но в жизни королевы есть и такие минуты, в которые страсть побеждает требования этикета, заглушает голос нравственного чувства и превращает кроткое, величественно-спокойное и женственно-нежное создание в какую-то леди Макбет, в Медею, [3] вообще в нечто подобное тем образам, которые, повидимому, можно выкроить только из глубоко развращенной природы человека. Беда, если королева начинает бояться за свое господство, беда, если она видит или предчувствует соперницу. Две королевы, как два солнца, не совместимы на одном горизонте; они ненавидят друг друга, как властолюбивые повелительницы и как кокетливые женщины; каждая из них любит в своем положении два выдающиеся момента: преданность пролетариев и рыцарскую любезность лордов-трутней; и пролетарии и трутни должны принадлежать королеве безраздельно; первые составляют материальную опору ее владычества, вторые образуют ее гарем, в который она бросает платок то тому, то другому счастливцу. Все идет, таким образом, спокойно, ко взаимному удовольствию подданных и повелительницы, пролетариев и лордов, но вдруг получается в палатах королевы известие, которое более или менее поражает и обеспокоивает всех; в известии этом нет ничего неожиданного, но, несмотря на то, оно всегда производит сильное впечатление. Дело в том, что одна из куколок превращается в пчелу-королеву и прогрызает восковую крышечку своей клетки; рабочая пчела, приставленная к этой клетке, доносит об этом событии куда следует, и известие это с быстротою молнии распространяется в самые отдаленные углы пчелиного царства. Начинаются толки и рассуждения. Молодые, неопытные пчелы обнаруживают только любопытство и тревожную радость; старые пролетарии, видевшие на своем веку горе и радость, государственные перевороты и сцены грубого насилия, выжидают, что-то будет, и совещаются между собою, не зная, на что решиться; между старою и молодою королевою непременно произойдет столкновение; кто же одержит победу и за кого же им самим вступиться? За ту ли повелительницу, которой они служили с таким постоянным усердием и от которой они получали в награду такие благосклонные взоры, или за то молодое создание, которое выросло на их руках, выкормлено их заботами, взлелеяно их любовью? Пока добрые рабочие пчелы раздумывают и недоумевают, старая королева быстро решается действовать. В сопровождении своих при-

служниц и трутней она поспешно подходит к той клетке, вокруг которой уже собралась толпа рабочих, ожидающих с благоговейным нетерпением разрешения грозной задачи. Не любовь к рождающейся дочери приводит старую королеву к ее колыбели; она подходит, видя в дочери своей опасную соперницу; в ней говорит ревность женщины и властолюбивой повелительницы; раздражение ее выражается в ускоренной походке, в резких жестах, в невнимании, с которым она проходит мимо групп, собравшихся вокруг роковой клеточки. Рабочие пчелы предчувствуют, что готовится что-то недоброе; молодые пролетарии, сверстники молодой королевы, инстинктивно толпятся ближе к ее жилищу и стараются загородить ее матери доступ к только что развившемуся существу. Старуха хочет пройти мимо их; они ее не пускают; если ей удается преодолеть их сопротивление, она подходит к самой клетке, запускает в нее свое жало и убивает дочь свою, еще не успевшую взглянуть на белый свет и насладиться полною жизнью. Но в большей части случаев сила бывает на стороне добродушных рабочих; они успевают удержать расходившуюся королеву, и разгневанная повелительница в бессильном отчаянии, не зная, что делать, не слушая увещаний, считая свое господство навсегда потерянным, начинает без определенной цели бегать по улью. Дело кончается тем, что королева-мать вместе с верными своими сподвижницами и с любимыми трутнями покидает улей и летит искать счастья в голубую даль, в какое-нибудь естественное дупло или в искусственный улей. А между тем молодая королева выходит из своей клеточки во всей обаятельной свежести первой молодости, не зная даже, от какой опасности избавило ее самоотвержение и преданность добродушных работников. Ее окружают оставшиеся вокруг нее пчелы, и первым впечатлением ее является в пчелиной жизни упоение торжеством и властью, для приобретения которых она не сделала сама ни одного движения. — Она оглядывается вокруг себя, видит свое превосходство над окружающими ее лордами и пролетариями и тревожно спрашивает себя, одна ли она будет пользоваться тем блеском власти и почета, который окружил ее с первой минуты ее сознательной жизни; в молодой королеве с изумительною быстротою зарождаются и развиваются те самые инстинкты, которые побуждали королеву-мать к покушению на жизнь дочери и потом принудили ее выселиться из улья со своими приверженцами; молодая королева осматривает все свои владения, подходит ко всем клеточкам, в которых развиваются ее младшие сестры, прокалывает их своим ядовитым жалом и убивает таким образом всех будущих королев, чтобы не видать соперницы и ни с кем не разделять господства. Иногда случается, что две молодые королевы разом выходят из своих клеточек; тогда старая королева уже не пытается убить своих преемниц; она тотчас же собирает вокруг себя горсть преданных ветеранов и любимых лордов-трутней и с ними улетает на новое место жительства. Что же касается

до молодых королев, то они, конечно, не могут ужиться вместе, узы крови не имеют никакого значения, когда дело идет о господстве; одна из двух должна погибнуть, потому что ни одна из них не решится уступить добровольно и основать новую колонию. Ни рабочие, ни трутни не принимают участия в борьбе между двумя королевами; спор за господство, интересующий только две личности, решается между ними поединком, в котором никто не просит и не дает пощады. Соперницы подходят друг к другу, схватываются между собою челюстями, стараются повредить друг другу шею, голову или ноги; обе машут крыльями, чтобы оглушить противника; обе сталкиваются между собою головами, сплетаются ножками и ищут удобного случая, чтобы пронзить врага ядовитым жалом. Они целят в промежутки, находящиеся между роговидными пластинками, которыми защищены грудь и живот; шея, связка между грудью и заднею частью тела также легко могут быть проколоты, и во все эти части сражающиеся пчелы направляют свои удары. Наконец поединок оканчивается трагическим образом; смертоносное орудие попадает верно; раненая королева падает; агония продолжается недолго, и счастливая победительница глумится, в порыве гордой радости, над трупом убитой сестры. Теперь она одна — повелительница улья; рабочие окружают ее, признают ее господство, но сочувствие их оказывается вначале довольно слабым. Дело в том, что молодая королева совершила ряд преступлений и до сих пор ничем не заявила своих достоинств. Рабочие видели, с какою жестокою последовательностью она истребила в самой колыбели своих предполагаемых соперниц, тех самых невинных детей, которых они, рабочие, лелеяли и кормили; рабочие видели, как неумолима была королева в поединке с своею ровесницею-сестрою; все это совершалось на их глазах, но до сих пор еще никто из них не может судить о той степени пользы, которую молодая королева может принести их улью. Ее кротость, ее правосудие, а главное, ее плодовитость до сих пор оставались решительно неизвестны рабочим. Поэтому какое-то мучительное сомнение сковывает порыв их усердия, и они кланяются новой королеве каким-то холодным и сдержанным поклоном, в котором слышится невысказанный вопрос: что-то будет?

Но лорды-трутни чужды сомнений: им нет дела до процветания улья; они видят только личность королевы и, когда споры по престолонаследию оказываются решенными, друг перед другом стараются заявить свою глубокую преданность. Они оглушают ее льстивым жужжанием, лижут ей спину, голову и ноги, обчищают ей своими щеточками крылья и щупальца, разговаривают с нею на оживленном мимическом языке, словом, выказывают несвойственную им в обыкновенное время развязность, предприимчивость и энергию. Королеве на первых порах кажется очень странным весь этот придворный балет. Подобно девственной Елизавете английской, молодая королева холодно и даже с некоторым него-

дованием отвечает на страстные и часто слишком смелые любезности придворных трутней. Иногда ей приходит в голову пустить в ход ядовитое жало, чтоб разогнать всю эту блестящую толпу навязчивых ласкателей и любезников. Но, как известно, жизнь постепенно расшевеливает нас; просыпаются страсти одна за другою; вслед за властолюбием, выразившимся в молодой королеве рядом кровавых подвигов, пробуждается чувственность; страстные ласки трутней воспитывают и укрепляют ее; девушка превращается в женщину; существо неопытное, робкое и стыдливое начинает предчувствовать ту полноту нервного наслаждения, которую можно вынести из жизни; трутни окружают ее неотступными просьбами, то робко-почтительными, то страстно-восторженными. Сердце — не камень; королева склоняется, назначает придворный праздник и, окруженная радостно шумящей толпой трутней, вылетает из улья порезвиться на чистом воздухе, среди душистых цветов, на окрестных полянах, лугах и равнинах. Елизавета находит своего Лейстера. Что происходит на придворных банкетах и пикниках пчелиного королевства — на этот вопрос не ответит вам ни один натуралист. Уследить за несколькими десятками пчел, вылетевшими из улья с целью потешиться и порезвиться, нет никакой возможности. Сердечные тайны королевы непроницаемы для глаз обыкновенного смертного; венчики цветов, среди которых пировали трутни вместе с молодою королевою, хранят такое же глубокое молчание, как старые вековые деревья версальского parc aux cerfs. * Надо полагать, что королева на этих пиршествах наслаждается вволю, потому что в улей она возвращается утомленная, измятая, запыленная. Один ли трутень пользуется ее полным расположением или многие счастливцы разделяют между собою эту величайшую честь, это остается неизвестным как для человека, так и для массы граждан пчелиного королевства. Граждане об этом, впрочем, и не заботятся; на трутней они попрежнему обращают очень мало внимания, но королеву они окружают самыми нежными и почтительными ласками. В личном характере королевы они, конечно, не могли покуда заметить ничего особенно утешительного. Жестокость, обнаруженная ею при избиении будущих соперниц своих, уступила место необузданным порывам чувственности. Считается ли чувственность великим достоинством в нравственном кодексе пчел — не знаю; достоверно известно то, что это достоинство очень редкое, потому что на 20 000 самок, составляющих главную массу населения в улье, приходится только одна самка, вмещающая в себе это достоинство, и именно эта самка составляет собою тот центр, от которого исходит и к которому возвращается вся деятельность улья. Пчелы, очевидно, обожают производительную силу природы; в этом отношении они сходятся

---

* Олений парк [4] *(франц.)*. — *Ред.*

с древними народами Передней Азии; королева улья для них то же самое, чем была для вавилонян и ассириян богиня Астарта, представительница женского производительного начала. Культ пчел обращен, впрочем, не на фантастический образ, облекающий собою отвлеченную идею, а на действительно существующее лицо; этот культ для них тесно связывается с идеею государства и обусловливает собою то общественное устройство, которое они, по своей неразвитости, считают необходимым для своего благосостояния. Их королева — что-то вроде далай-ламы; она считается предметом первой необходимости; личность ее священна и неприкосновенна; каждый из ее подданных, беднейший из пролетариев, считает для себя священнейшею обязанностью и величайшим наслаждением сделать ей жертвоприношение, т. е., возвращаясь в улей с полевых работ, поднести ей капельку чистейшего, сладчайшего меда. Тут действует не расчет, не желание выслужиться, а простодушное, наивное религиозное чувство. Пролетарий смотрит на свою королеву как на высшее существо, и действительно он имеет на это полное основание. Королева каждый день, на его глазах, творит такие чудеса, перед которыми поневоле замолчит самое упорное сомнение; она каждый день несет яйца, т. е. воочию совершает такие деяния, на которые ни один из многочисленных обитателей улья не чувствует себя способным. Каждый день она производит на свет до 200 почти подобных себе существ, и так продолжается не неделю, не две недели, а целых два месяца. Королева творит, а пролетарии только работают; как же после этого пролетариям не повергнуться во прах и не сознать все ее величие и все свое ничтожество. Никакой скептицизм не устоит против таких очевидных и так постоянно повторяющихся доказательств; скептиков действительно в пчелином королевстве не бывает, да и в самом деле, зачем терпеть в благоустроенном обществе таких беспокойных и неблагонамеренных людей? Когда королева возвращается в улей после первого своего пикника, пролетарии начинают веровать в нее; они предчувствуют великие события, которые должны совершиться вследствие этой отлучки; они знают, что в скором времени королева начнет заботиться о приращении народонаселения, и на этом основании, видя в ней будущую мать молодого поколения, начинают заботиться о ее здоровье и спокойствии, начинают изъявлять ей самое искреннее уважение и самое трогательное, хотя в высшей степени почтительное сочувствие. Работники толпятся вокруг нее, с торжеством носят ее по улью, лижут, чистят ее щеточками, кормят ее с хоботков и возвещают всем радостную новость: «Владычица изволили сочетаться браком с одним из благородных лордов». Эпитет *законный* не присоединяется к существительному *брак*, потому что у пчел всякий совершившийся брак считается естественным и, следовательно, законным. Имя счастливого избранника или счастливых избранников также умалчивается; им никто не интересуется; пчелы слу-

жат делу, а не лицам; для них важен самый факт, а не обстановка.

Обыкновенный ход дела в улье, ровный, покойный и правильный, как движение часового механизма, нарушается иногда неприятными случайностями. Королева, несмотря на свое исключительное положение, несмотря на чудотворную силу, дарованную ей от всещедрой природы, подвержена тем же законам, которым покоряемся все мы, простые смертные. Она может, подобно ничтожнейшему из своих подданных, захворать, умереть, оставить в беспомощном положении свой улей в ту самую минуту, когда он всего более нуждается в ее общеполезных трудах. Ее может прихлопнуть ладонью или хлопушкою какой-нибудь шаловливый мальчишка, которому и в голову не придет подумать, что он готовит для целого народа или по крайней мере для целого города все ужасы междуцарствия. Когда умирает королева, уже успевшая снести такие яички, из которых выдут со временем новые королевы, то никаких ужасов не бывает, все идет прежним порядком; везде кипит прежняя деятельность, и номинальною королевою считается старшее яичко, старший червячок или старшая куколка; эта номинальная королева обыкновенно делается действительною королевою, потому что, развившись раньше своих младших сестер, она успевает всех их перерезать и, следовательно, прибирает к рукам весь улей. Нельзя даже сказать, чтобы пчелам приходилось особенно плохо в то время, когда королевою числится яичко или куколка; ни яичко, ни куколка не требуют корма, и, следовательно, общественные расходы очевидно сокращаются; рабочие, возвращающиеся в улей, по необходимости оставляют для самих себя те лучшие капельки меда, которые они в обыкновенное время, в припадке благоговейного усердия, несут своей повелительнице; следовательно, рабочие, очевидно, не оказываются в убытке. Но усердие их сильнее расчета и голоса здравого смысла; они ждут появления новой королевы с великим нетерпением и приветствуют ее самым радостным жужжанием.

Если королева умрет в тот период, когда она кладет только такие яички, из которых вылупятся рабочие личинки, то весь улей приходит в смятение. Надо во что бы то ни стало спасти монархический и религиозный принцип; вне принятых издавна норм, освященных тысячелетним своим существованием, пчелы не понимают жизни и не видят спасения. Королевы нет; заменить ее некому; что же делать? Остается только попробовать, нельзя ли тщательным уходом, отборною пищею и усиленными неусыпными заботами облагородить плебейскую натуру простых яичек, нельзя ли развить в будущих личинках ту чудотворную силу, которая творит себе подобные существа и которую обожали в прежней своей королеве простодушные обитатели улья? Тотчас же в улье начинается самая тревожная деятельность. Рядом с теми клеточками, где лежит счастливое яичко, долженствующее обратиться

в королеву, ломают стены и расчищают место; устраивается обширное жилище, и личинка, вылупившаяся из яичка, начинает наслаждаться тем комфортом, простором и чистотою, которые совершенно необходимы для нормального развития половых органов. Чтобы совершенно оградить себя от всяких случайностей, чтобы смерть избранной личинки не могла повести к новому междуцарствию, рабочие поступают таким образом с несколькими яичками, так что в одно время готовится несколько королев, которые потом, с оружием в руках, будут оспаривать друг у друга господство над ульем.

Междоусобия не опасны для улья потому, что дело решается поединком, в котором рабочие и трутни не принимают никакого участия. Как только из куколки вылупится королева, которой вначале суждено было быть простою рабочею пчелою, так она тотчас же начинает обнаруживать наклонности, отличавшие собою ее предшественниц; она точно так же схватывается на жизнь и на смерть с соперницею, если таковая окажется, и точно так же истребляет в зародыше все то, что может сделаться опасным для ее неограниченного господства. Потом она точно так же принимает любезности трутней, устраивает пикник, вступает в брачные отношения, и жизнь улья катится прежним порядком.

Пчелы как-то инстинктивно понимают всю важность материальных условий; чтобы развить в молодом существе известные наклонности, чтобы утвердить в нем такие свойства, которые ему придется прикладывать к делу в течение всей своей жизни, они начинают кормить его известною пищею, отводят ему просторное помещение, заботятся о его чистоте, — и цель достигается вполне; из скромного, трудолюбивого, бесстрастного и добродушного пролетария делается гордая, властолюбивая, жестокая к своим соперницам королева, совершенно неспособная работать, но зато чрезвычайно плодовитая и в высшей степени расположенная к чувственным наслаждениям. При своем трезвом миросозерцании пчелы могли бы сделать великие открытия в области естественных наук, но, к сожалению, забота о насущном хлебе поглощает все живые силы мыслящей части пчелиного народа; у пчел нет ни сословия ученых, ни академий, ни университетов; у них нет даже начатков литературы и поэзии. Они не делают даже самых простых выводов из тех фактов, которые находятся постоянно перед их глазами; они не умеют, например, рассуждать таким образом: ведь рабочая личинка может превратиться в королеву, если я буду кормить ее хорошим и сытым кормом; ведь королева — то же самое, что рабочая пчела, только она лучше откормлена и полнее развита; отчего же не кормить всех одинаково, чтобы все могли в равной мере пользоваться жизнью и производить детей? До этого простого рассуждения пчела никак не умеет дойти, вероятно, потому, что спешная работа не дает ей времени пофилософствовать. «Le travail

est un frein», * — говорил Гизо в 30-х годах нашего столетия, и, вероятно, его изречение, которое он великодушно применял к французским ремесленникам, может быть приложено не только к людям, но и к насекомым. Задавленные работою, которая не дает им ни отдыха, ни срока с самой минуты их рождения, пролетарии пчелиного королевства не составляют социальных теорий, не задумываются о смысле жизни, и бытовые формы улья остаются неизменными, незыблемыми и неподвижными. Движения мысли нет; постоянного прогресса незаметно; ни один обычай, ни одно учреждение не оказывается устарелым и не заменяется новым. Но спокойствие в улье сохраняется только тогда, когда припасов достаточно, когда кругом улья лежат цветущие луга, на которых тысячи пчел могут находить себе ежедневно обильную добычу. Как только наступает дождливая осень, как только полевые цветы увядают и осыпаются, так обитатели улья начинают чувствовать беспокойство; являются экономические недоразумения; трутни сталкиваются в своих интересах с пролетариями, и это столкновение ведет к страшным, кровавым результатам, ясно показывающим несостоятельность той конституции, которою управляются пчелы.

VI

Не мешает заметить, что запасы меда, набранные в улье, принадлежат рабочим пчелам, которые горою стоят за свою собственность и не позволяют кому бы то ни было завладевать их экономическими суммами. На это никто и не решается, покуда окрестные луга покрыты цветами; трутни отправляются завтракать и обедать за пределы улья; но, с наступлением осени, такого рода образ жизни становится невозможным; даже рабочие пчелы возвращаются часто в улей с пустым желудком и не приносят на ножках ни меда, ни цветочной пыли; благородные трутни, тяжелые на подъем и не любящие дальних отлучек от родного улья, не находят возможности кормиться и, покружившись над пожелтевшею травою, возвращаются домой голодные и недовольные. Тогда в улье начинаются волнения, смысл которых можно, для большей наглядности, передать в виде совещаний и разговоров между представителями различных сословий, партий и мнений в улье.

Трутни собираются в кучки и с ворчливым жужжаньем передают друг другу неутешительные сведения о бесплодии окружающих лугов и еще более неутешительные мнения о том, что, при подобном положении дел, надо ожидать голодной смерти.

«Мы — привилегированное сословие, — восклицает один из трутней, гордо расправляя крылья. — Мы пользуемся отменным расположением нашей милостивой повелительницы. Работники

* Труд — это узда *(франц.)*. — *Ред.*

должны заботиться о нашем пропитании. Это их прямая обязанность; во время летних дней они набрали много меда, и в этом запасе мы должны иметь свою долю. Мы имеем прирожденное право пользоваться общественным достоянием. Теперь, к величайшему сожалению, мы видим, что неразвитая толпа подвергает сомнению наши права. Рабочие пчелы полагают, что запас принадлежит им одним на том основании, что они одни собирали мед и складывали его в клеточки. Тут они явно выворачивают наизнанку самые элементарные основания логики и права. Эти запасы принадлежат обществу, и наше пчелиное государство имеет право распоряжаться ими по своему благоусмотрению, для покрытия своих насущных потребностей. А разве поддержание нашей жизни и нашего благоденствия не может и не должно быть названо насущною потребностью государства? Разве может существовать улей без трутней, без привилегированного сословия? Запасы принадлежат нам — нам прежде всего. Обеспечив свое существование, мы охотно отдадим часть нашего излишка голодным беднякам-рабочим, но надо же нам сначала утолить свой голод и упрочить за собою продовольствие на будущее время. Пойдемте к королеве, изложим ей наши желания и представим на ее рассмотрение предъявляемые нами права».

Речь предприимчивого оратора приходится по душе слушателям; она соответствует потребностям времени, она разрешает удовлетворительным образом страшный вопрос, поставленный обстоятельствами, вопрос: есть или не есть? — и вследствие этого встречает себе единодушное сочувствие.

Депутаты от благородного сословия трутней отправляются к королеве, и королева не только не съедает их, подобно тому как жители Сандвичевых островов съели европейских парламентеров, но, напротив того, обходится с ними чрезвычайно милостиво и выслушивает с величайшим вниманием их всеподданнейшие прошения. Затем она отвечает им в таком духе, что господам трутням ничего не остается желать.

«Я всегда, — говорит она, окидывая всех присутствующих благосклонным взором, — была убеждена в том, что для прочности и благоденствия государства необходимо существование наследственного сословия пэров; с уничтожением этого сословия распадутся в прах все правительственные основы общества. Вы служили мне верно, вы были привязаны к моей особе, и ваши доблести вполне заслуживают награды. Вы, без всякого сомнения, прежде всех других имеете право пользоваться накопленными запасами. Я, как повелительница ваша, даю вам честное слово: ваши интересы нисколько не пострадают от наступающих бедствий. Не обращайте внимания на ропот рабочих пчел; их назначение — работать, и пока они исполняют свое дело с подобающим усердием, я сохраняю в отношении к ним милостивое расположение. Но вы, пэры мои, не должны заботиться о своем пропитании; у вас есть

более высокое и благородное призвание; не забывайте этого и предоставляйте мелкие заботы о насущном хлебе низшим существам, менее вас облагодетельствованным дарами природы. В заключение изъявляю вам, господа пэры, искреннее мое благоволение за то, что вы с таким полным доверием обратились к вашей королеве».

Трутни торжествуют и прославляют величие, благодушие и государственную мудрость своей повелительницы.

Между тем пролетарии, встревоженные увяданием цветов, также начинают собираться в кучки и толковать . . . .
. . . .

1862 г.

⟨О БРОШЮРЕ ШЕДО-ФЕРРОТИ⟩

Глупая книжонка Шедо-Ферроти сама по себе вовсе не заслуживает внимания, но из-за Шедо-Ферроти видна та рука, которая щедрою платою поддерживает в нем и патриотический жар и литературный талант. Брошюра Шедо-Ферроти любопытна как маневр нашего правительства. Конечно, члены нашего правительства не умнее самого Шедо-Ферроти, но что делать, мы покуда от них зависим, мы с ними боремся, стало быть, надо же взглянуть в глаза нашим естественным притеснителям и врагам.

Обскурантов теперь, как известно, не существует. Нет того квартального надзирателя, нет того цензора, нет того академика, нет даже того великого князя, который не считал бы себя умеренным либералом и сторонником мирного прогресса. Считая себя либералом, как-то неловко сажать людей под арест или высылать их в дальние губернии за печатно выраженное мнение или за произнесенное слово. Правительство наше, которое все наголо состоит из либералов, начинает это чувствовать. Александру Николаевичу совестно ссылать Михайлова и Павлова; [1] сослать-то он их сослал, но, боже мой, чего это стоило его чувствительному сердцу! — Студенту Лебедеву проломили голову, [2] но правительству тут же сделалось так прискорбно, что оно напечатало в газетах объяснение: так и так, дескать, это случилось по нечаянности, ножнами жандармской сабли.

Словом, наше либеральное правительство уважает общественное мнение и для своих мирно-прогрессивных целей пускает в ход благородные средства, как то: печатную гласность. Валуев и Никитенко сооружают газету с либеральным направлением [3] и при этом продолжают все-таки преследовать честную журналистику доносами и цензурными тисками. Публицист III отделения, барон Фиркс, Шедо-Ферроти тож, по поручению русского правительства пишет и печатает в Берлине брошюры без цензуры; вели-

кодушное правительство смотрит сквозь пальцы на ввоз этого заказанного, но официально запрещенного товара; его продают открыто в книжных лавках; не давая своего официального разрешения, правительство упрочивает за книжкою заманчивость запретного плода; допуская и поощряя из-под руки продажу книжки, правительство обнаруживает свое великодушие. О, как все это тонко, остроумно и политично! А между тем журналам не позволяют разбирать книжонку; Шедо-Ферроти, как в прошлую осень Борис Чичерин, [4] объявляются личностями священными и неприкосновенными. — Горбатого одна могила исправит; наши умеренные либералы ни при каких условиях не сумеют быть честными людьми; наше правительство никогда не отучится от николаевских замашек. У него есть особенный талант оподлять всякую идею, как бы ни была эта идея сама по себе благородна и чиста. Например, все порядочные люди имеют привычку на печатное обвинение отвечать так же печатно и защищаться, таким образом, тем же оружием, каким вооружен противник. Наше правительство захотело доказать, что оно тоже порядочный человек. Находя, что Герцен несправедливо обвинил его, наше правительство высылает своего рыцаря. Кажется, очень хорошо и благородно. Но посмотрите поближе. Произведение Шедо-Ферроти впущено в Россию, а сочинения Герцена остаются запрещенными. Публика видит, что Герцена отделывают, а того она не видит, за что его отделывают. Конечно, и «Полярная звезда», и «Колокол», и «Голоса из России», и грозное «Под суд!» [5] известны нашей публике, но ведь все эти вещи провозятся и читаются вопреки воле правительства; стало быть, если оценивать только намерения правительства, то надо будет убедиться в том, что оно хочет чернить Герцена, не давая ему возможности оправдываться и обвинять в свою очередь. Чернить человека, которого сочинения строжайше запрещены! Подло, глупо и бесполезно! — Заказывая своему наемному памфлетисту брошюру о Герцене, правительство, очевидно, хочет продиктовать обществу мнения на будущее время. Это видно по тому, что мнения, противоположные мысленкам Шедо-Ферроти, не допускаются к печати. Правительство сражается двумя оружиями: печатною пропагандою и грубым насилием, а у общества отнимается и то единственное оружие, которым оно могло и хотело бы воспользоваться. Обществу остается или либеральничать с разрешения цензуры, или идти путем тайной пропаганды, тем путем, который повел на каторгу Михайлова и Обручева. [6] Хорошо, мы и на это согласны; это все отзовется в день суда, того суда, который, вероятно, случится гораздо пораньше второго пришествия Христова. —

Из чтения брошюры Шедо-Ферроти мы вынесли самое отрадное впечатление. Нас порадовало то, что, при всей своей щедрости, правительство наше принуждено пробавляться такими плоскими посредственностями. Приятно видеть, что правительство не умеет

выбирать себе умных палачей, сыщиков, доносчиков и клеветников; еще приятнее думать, что правительству не из чего выбирать, потому что в рядах его приверженцев остались только подонки общества, то, что пошло и подло, то, что неспособно по-человечески мыслить и чувствовать.

Брошюра Шедо-Ферроти имеет две цели: 1) доказать, что петербургское правительство не имеет ни надобности, ни желания убить Герцена, 2) осмеять и обругать при сем удобном случае Герцена как пустого самохвала и как загордившегося выскочку.

Чтобы доказать первое положение, Шедо-Ферроти утверждает, что Герцен вовсе не опасен для русского правительства и что, следовательно, даже III отделение не решится убить его. Процесс доказательств идет так: убивают только таких людей, от смерти которых может перемениться весь существующий порядок вещей в одном или в нескольких государствах; если Герцен, получая подметные письма о намерениях русского правительства, верит этим письмам, тогда он считает себя особою европейской важности и, следовательно, обнаруживает глупое тщеславие; если же он, не веря этим письмам, подымает гвалт, тогда он пустой и вздорный крикун. — Весь этот процесс доказательств рассыпается, как карточный домик. — Во-первых, правительства ежегодно убивают несколько таких людей, которые могли бы оставаться в живых, вовсе не нарушая существующего порядка. Дезертир, которого запарывают шпицрутенами, вовсе не особа европейской важности. Бакунин, которого захватили обманом, [7] Михайлов, Обручев, поручик Александров [8] вовсе не особы европейской важности, а между тем правительство заживо хоронит их в рудниках и в крепостях. Правительство вовсе не так дорожит жизнью отдельного человека, чтобы казнить и миловать с строгим разбором. Ведь турецкий султан и персидский шах вешают зря, как вздумается, а, кажется, в наше время только учебники географии проводят различие между деспотическим правлением и правлением монархическим неограниченным. На основании какого закона повешено пять декабристов? А если правительство казнит по своему произволу, то отчего же оно не может, по тому же произволу, подослать убийцу? Где разница между казнью без суда и убийством из-за угла? В наше время каждый неограниченный монарх поставлен в такое положение, что он может держаться только непрерывным рядом преступлений. Чтобы подданные его не знали о своих естественных человеческих правах, надо держать их в невежестве — вот вам преступление против человеческой мысли; чтобы случайно просветившиеся подданные не нарушили субординации, надо действовать насилием — вот еще преступление; чтобы иметь в руках орудие власти — войско, надо систематически уродовать и забивать несколько тысяч молодых, сильных, способных людей — опять преступление. Идя по этой дороге преступлений, нельзя отступать от убийства. Посмотрите на Але-

ксандра II: в его личном характере нет ни подлости, ни злости, а сколько подлостей и злодеяний лежит уже на его совести! Кровь поляков, кровь мученика Антона Петрова, [9] загубленная жизнь Михайлова, Обручева и других, нелепое решение крестьянского вопроса, истории со студентами, [10] — на что ни погляди, везде или грубое преступление, или жалкая трусость. Слабые люди, поставленные высоко, легко делаются злодеями. Преступление, на которое никогда не решился бы Александр II как частный человек, будет непременно совершено им как самодержцем всея России. Тут место портит человека, а не человек место. — Если бы наше правительство потихоньку отправило бы Герцена на тот свет, то, вероятно, в этом не нашли бы ничего удивительного те люди, которые знают, что́ делалось в Варшаве и в Казанской губернии. — Но допустим даже, что наше правительство не намеревалось убить Герцена; из этого еще вовсе не следует, чтобы III отделение не могло написать к нему несколько писем, наполненных глупыми угрозами и площадною бранью; судя по себе, Бруты и Кассии нашей тайной полиции [11] могли надеяться, что Герцена можно запугать; чтобы разом покончить все эти нелепые проделки, Герцен написал и напечатал письмо к представителю русского правительства. Этим письмом он заявил публично, что если бы за угрозами последовали действия, то вся тяжесть подозрения упала бы на Александра II. Агенты, подсылавшие к Герцену письма, должны были увидеть, что Герцен их угроз не боится. Следовательно, им осталось или действовать, или замолчать. Действовать они не решились — духу не хватило; замолчать тоже не хотелось; ведь они думают, что прав тот, кто сказал последнее слово; вот они и выдумали пустить против Герцена книжонку Шедо-Ферроти; родственное сходство между Шедо-Ферроти и сочинителями подметных писем не подлежит сомнению; недаром же Шедо-Ферроти на двух языках отстаивает перед Россиею и перед Европою нравственную чистоту III отделения. Свой своему поневоле друг.

Шедо-Ферроти плохо защитил правительство: он ничем не доказал, что оно не могло иметь намерения извести Герцена или по крайней мере запугать его угрозами. Усилия его оклеветать и оплевать Герцена еще более неудачны. Шедо-Ферроти, этот умственный пигмей, этот продажный памфлетист, силится доказать, что Герцен сам деспот, что он равняет себя с коронованными особами, что он только из личного властолюбия враждует с теперешним русским правительством. Доказательства очень забавны. Герцен деспот потому, что не согласился напечатать в «Колоколе» ответ Шедо-Ферроти на письмо Герцена к русскому послу в Лондоне. Да какой же порядочный редактор журнала пустит к себе Шедо-Ферроти с его остроумием, с его казенным либерализмом и с его пристрастием к III отделению? Герцен не думает запрещать писать кому бы то ни было, но и не думает также открывать в «Колоколе» богадельню для нравственных уродов и умственных паралитиков,

подобных Шедо-Ферроти. Панегирист III отделения требует, чтобы его статьям было отведено место в «Колоколе»; в случае отказа он грозит Герцену, что будет издавать свои произведения отдельно с надписью: «Запрещено цензурою «Колокола». Вот испугал-то! Да все статьи Булгарина, Аскоченского, Рафаила Зотова, Скарятина, Модеста Корфа и многих других достойных представителей русской вицмундирной мысли запрещены цензурою здравого смысла. Приступая к изданию своего журнала, Герцен вовсе не хотел сделать из него клоаку всяких нечистот и нелепостей. Эпиграфом к «Полярной звезде» он взял стих Пушкина: «Да здравствует разум!» Этот эпиграф прямо и решительно отвергает всякое ханжество, всякое раболепство мысли, всякое преклонение перед грубым насилием и перед нелепым фактом. «Да здравствует разум», и да падут во имя разума дряхлый деспотизм, дряхлая религия, дряхлые стропила современной официальной нравственности! Всякие попытки мирить разум с нелепостью, всякое требование уступок со стороны разума противоречит основной идее деятельности Герцена. Если бы даже Шедо-Ферроти был просто честный простачок, верующий в возможность помирить стремления к лучшему с существованием нашего средневекового правительства, то и тогда Герцен как человек, искренно и честно служащий своей идее, не мог бы поместить в «Колоколе» его старушечью болтовню. Но теперь, когда все знают, что Шедо-Ферроти — наемный агент III отделения, теперь его претензии печатать свои литературные доносы в «Колоколе» кажутся нам в то же время смешными и возмутительными по своей беспримерной наглости.

Шедо-Ферроти упрекает Герцена в том, что тот будто бы сравнивает себя с коронованными особами. В этом упреке выражается как нравственная низость, так и умственная малость Шедо-Ферроти. Какая же разница между простым человеком и помазанником божиим? И какая же охота честному деятелю мысли сравнивать себя с царственными лежебоками, которые, пользуясь доверчивостью простого народа, поедают вместе с своими придворными деньги, благосостояние и рабочие силы этого народа? Если бы кто-нибудь вздумал провести параллель между Александром Ивановичем Герценом и Александром Николаевичем Романовым, то, вероятно, первый серьезно обиделся бы такому сравнению. Но посмотрим, на чем же Шедо-Ферроти основывает свое обвинение. «Вы убеждены, — пишет он к Герцену, — что вы не только либерал, но социалист-республиканец, враг монархическому началу, а поминутно у вас выскакивают выражения, обнаруживающие несчастное расположение сравнивать себя с царствующими особами. В письме к барону Бруннову, сказав, что вы не допускаете мысли, чтобы император Александр II вооружил против вас спадассинов, [12] вы присовокупляете: «Я бы не сделал этого ни в каком случае». В том же письме, говоря об убийцах, разосланных за

моря и горы «den Dolch im Gewande», * и цитируя стих Шиллера, вы опять сравниваете себя с царствующим лицом, с Дионисием Сиракузским. Наконец, самые оглавления (заглавия) статей «Колокола», извещающих всю Европу о грозящей вам опасности, «Бруты и Кассии III отделения» содержат сравнение с одним из колоссальнейших исторических лиц. Брут и Кассий были убийцами Юлия Кесаря». —

Шедо-Ферроти как умственный пигмей и как сыщик III отделения вполне выражается в этой тираде. Он не может, не умеет опровергать Герцена в его идеях; поэтому он придирается к случайным выражениям и выводит из них невероятные по своей нелепости заключения; эта придирчивость к словам составляет постоянное свойство мелких умов; кроме того, она замечается особенно часто в полицейских чиновниках, допрашивающих подозрительные личности и желающих из усердия к начальству сбить допрашиваемую особу с толку и запутать ее в мелких недоговорках и противоречиях. Вступая в полемику с Герценом, Шедо-Ферроти не мог и не умел отстать от своих полицейских замашек. Адвокат III отделения остался верен как интересам, так и преданиям своего клиента.

Вся остальная часть брошюры состоит из голословных сравнений между Шедо-Ферроти и Герценом. Шеро-Ферроти считает себя истинным либералом, разумным прогрессистом, а Герцена признает вредным демагогом, сбивающим с толку русское юношество и желающим возбудить в России восстание для того, чтобы возвратиться самому в Россию и сделаться диктатором. — Шедо-Ферроти как адвокат III отделения старается уверить почтенную публику, что наше правительство исполнено благими намерениями и что от него должны исходить для Великой, Малой и Белой России всевозможные блага, материальные и духовные, вещественные и невещественные. Шедо-Ферроти, конечно, не предвидит возможности переворота или по крайней мере старается уверить всех, что, во-первых, такой переворот невозможен и что, во-вторых, он во всяком случае повергнет Россию в бездну несчастия. Одной этой мысли Шедо-Ферроти достаточно, чтобы внушить всем порядочным людям отвращение и презрение к его личности и деятельности. Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляет единственную цель и надежду всех честных граждан России. Чтобы, при теперешнем положении дел, не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла.

Посмотрите, русские люди, что́ делается вокруг нас, и подумайте, можем ли мы дольше терпеть насилие, прикрывающееся устарелою фирмою божественного права. Посмотрите, где наша

---

* С кинжалом под плащом *(нем.)*. — *Ред.*

литература, где народное образование, где все добрые начинания общества и молодежи. Придравшись к двум-трем случайным пожарам, [13] правительство все проглотило; оно будет глотать все: деньги, идеи, людей, будет глотать до тех пор, пока масса проглоченного не разорвет это безобразное чудовище. Воскресные школы закрыты, народные читальни закрыты, два журнала закрыты, [14] тюрьмы набиты честными юношами, любящими народ и идею, Петербург поставлен на военное положение, правительство намерено действовать с нами как с непримиримыми врагами. Оно не ошибается. Примирения нет. На стороне правительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, которые обманом и насилием выжимаются из бедного народа. На стороне народа стоит все, что молодо и свежо, все, что способно мыслить и действовать.

Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть. Их не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни литераторы, подобные Шедо-Ферроти.

То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу; нам останется только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы.

НАША УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА

УНИВЕРСИТЕТ

I

Осенью 1856 года я поступил в один из наших университетов. Осенью 1861 года я оставил этот университет с кандидатским дипломом. Я упоминаю теперь же об этом факте, чтобы сразу зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Если я — кандидат, стало быть, университет обошелся со мной очень милостиво, стало быть, я не имею никакого основания к личной неприязни против университета, стало быть, читатель может доверять моим показаниям настолько, насколько принято в обществе верить порядочному человеку, рассказывающему о таком обстоятельстве, в котором он не имеет причины быть пристрастным. Я выставил также цифру годов, чтобы показать читателю, что я — еще человек молодой и, следовательно, могу говорить о своих студенческих годах, не поддаваясь тому сентиментальному стремлению к идеализированию, которое обыкновенно действует в людях пожилых, когда эти почтенные люди, в назидание младшим братьям или потомкам, перебирают свои юношеские воспоминания. Не прошло еще двух лет с тех пор, как я вышел из университета, стало быть, все главнейшие факты моей тогдашней умственной жизни сохранились у меня в памяти во всей своей свежести. Мне незачем добавлять художественным творчеством какие-нибудь забытые черты или подробности. Я заранее могу дать читателю торжественное обещание, что не сочиню ни одной сцены, не выдумаю для украшения моих воспоминаний ни одного разговора. Вследствие этого воспоминания мои потеряют, может быть, в отношении к занимательности, но эта потеря с избытком будет вознаграждена тем, что они выиграют в отношении к строгой исторической верности. Все внимание мое будет сосредоточено только на одной стороне студенческой жизни, именно на отношениях студента к науке, и на деятельности профессоров, как посредников между алчущими и жаждущими умами, с одной стороны, и умственною пищею,

заключенною в различных фолиантах, с другой стороны. Отношения студентов между собою, различные проявления молодой умственной жизни, студенческие кружки, их горячие споры, их искренние верования и честные стремления, классическое «Gaudeamus igitur», * от которого встрепенется сердце всякого бывшего студента, — вся эта поэзия юности останется в стороне; я пишу серьезный очерк и хочу сохранить в настоящую минуту полную умственную трезвость; я хочу беспристрастно взглянуть на нашу университетскую науку и потому с суровостью, достойною древнего римлянина, отталкиваю от себя все то, что подкупает ум и разнеживает чувство. Затем, попросивши у читателя извинения за длинное вступление, я на всех парусах вступаю в бурное и негостеприимное море моего трезвого и сурового изложения.

II

Итак, я — студент. Позади меня, в близком прошедшем, лежит побежденная груда личных врагов моих, груда тех учебников, которых сумма называется в совокупности гимназическим курсом. Над этою хаотическою грудою поверженных и бессильных противников, как символ примирения и прощения, сияет кротким и умилительным блеском первая серебряная медаль с изображением богини мудрости и с многозначительною надписью: «Преуспевающему». Видя, что я преуспевал и в гимназии, читатель должен осязательно чувствовать, как возрастает в нем уважение к моей особе и доверие к моему беспристрастию. Внешние результаты моего пребывания в гимназии оказываются блистательными; внутренние результаты поражают неприготовленного наблюдателя обилием и разнообразием собранных сведений: логарифмы и конусы, усеченные пирамиды и неусеченные параллелепипеды перекрещиваются с гекзаметрами «Одиссеи» и асклепиадовскими размерами[1] Горация; рычаги всех трех родов, ареометры, динамометры, гальванические батареи приходят в столкновение с Навуходоносором, Митридатом, Готфридом Бульонским и нескончаемыми рядами цифр, составляющих неизбежное хронологическое украшение слишком известных исторических произведений гг. Смарагдова, Зуева и Устрялова.[2] А города, а реки, а горные вершины, а Германский союз, а неправильные греческие глаголы, а удельная система и генеалогия Иоанна Калиты! И при всем том мне только шестнадцать лет, и я все это превозмог, и превозмог единственно только по милости той драгоценной способности, которою обильно одарены гимназисты. Тою же самою способностью одарены, вероятно, в той же степени кадеты и семинаристы, лицеи-

* «Будем же радоваться» (начальные слова известной студенческой песни на латинском языке). — *Ред.*

сты и правоведы, да и вообще все обучающееся юношество нашего отечества. Эта благодатная способность не что иное, как колоссальная сила забвения. Лермонтовскому демону, как известно, не было дано этой силы, и Лермонтов, упоминая об этом обстоятельстве, прибавляет даже, что

Он и не взял бы забвенья.

Не мудрено. Но откуда взять? Вся вода реки Леты, с той самой минуты, как ее перестали пить души, вступающие в Елисейские поля, стала расходоваться на обучающееся юношество, которое с истинно юношескою жадностью упивается ее живительными струями. Юношество понимает, что эта магическая вода представляет для него единственное средство спасения. Только при помощи ее оно выдерживает свои многочисленные экзамены; и при ее же помощи оно, выдержавши последний свой экзамен, навсегда очищает свою голову от переполняющих и засоряющих ее ингредиентов. Во время учебного года гимназист удерживает зараз в своей голове только тот маленький кусочек каждой учебной книги, который учитель в ближайший класс может потребовать к осмотру; в одно время в его мозгу живут, независимо друг от друга, кусочки разных предметов; так как ни один предмет не вмещается в мозгу в своей целости, то эти кусочки живут и шевелятся сами по себе, без всякой связи с целым, так точно, как живут и шевелятся сами по себе куски разрезанного земляного червяка. Когда наступает пора экзаменов, тактика немедленно переменяется; эйн-цвей-дрей: куски разрезанного червяка сбегаются и срастаются в надлежащем порядке. Начинается церемониальный марш червяков через мозги гимназистов; по порядку, назначенному в расписании экзаменов, проходят предметы один за другим, и сам гимназист испытывает ряд изумительнейших превращений: сегодня он Архимед, через три дня — Цицерон, через неделю — Гомер; наконец весь этот ряд метаморфоз завершается тем, что увенчанный лаврами триумфатор, гордость и цвет гимназии — превращается в юного тельца, увозится на каникулы в деревню и там *нагуливает* жир, утраченный во время осенних, зимних и весенних трудов и переделок. Тут уже забывается все до последней капли; растительная жизнь вступает во все свои права; гимназист стоит на развалинах своего ученого величия и, вспоминая свою недавнюю славу, утешается тою мыслию, что именно такое же оскорбительное превращение досталось некогда на долю Навуходоносора, наполнявшего всю Переднюю Азию славою своего царственного имени и шумом своего победоносного оружия. Если сила забвения действует с непобедимым успехом во время переходных экзаменов, то она действует на выпускном экзамене в семь раз успешнее. Сдавши, например, выпускной экзамен из истории и приступая к занятию математикою, юноша разом вытряхивает из головы имена, годы и события, которые он еще накануне лелеял

с таким увлечением; приходится забыть не какой-нибудь уголок истории, а как есть все, начиная от китайцев и ассириян и кончая войною американских колоний с Англиею. * Как совершается это удивительное физиологическое отправление — не знаю, но что оно действительно совершается — это я знаю по своему личному опыту; этого не станет отвергать никто из читателей, если только он захочет заглянуть в свои собственные школьные воспоминания.

Быть может, некоторые педагоги, ревниво оберегающие честь своих гимназий, отнесутся к моей идее как к легкомысленному произведению праздной фантазии и скажут решительно и гордо, что их воспитанники учат уроки и выдерживают экзамены, не прибегая ни в каком случае к пособию благодатного забвения. Таким доверчивым воспитателям лукавого юношества я тотчас укажу верное средство испытать своих питомцев и убедиться в практическом значении моих слов. Положим, что сегодня, 21 мая, экзамен из географии происходит блистательно. Проходит два дня, 24-го числа те же воспитанники приходят экзаменоваться из латинского языка. Пусть тогда педагог, считающий меня фантазером, объявит юношам, что экзамена из латинского языка не будет, а повторится уже выдержанный экзамен из географии. Вы посмотрите, что̀ это будет. По рядам распространится панический страх; будущие друзья науки увидят ясно, что они попали в засаду; начнется такое избиение младенцев, какого не было со времен нечестивого царя Ирода; кто 21 мая получил пять баллов, помирится на трех, а кто довольствовался тремя, тот не скажет ни одного путного слова. Если моя статья попадется в руки обучающемуся юноше, то этот юноша будет считать меня за самого низкого человека, за перебежчика, передающего в неприятельский лагерь тайны бывших своих союзников. Рассуждая таким образом, юноша обнаружит трогательное незнание жизни; он подумает, что педагоги когда-нибудь действительно воспользуются моим коварным советом. Но этого никогда не будет и быть не может. Воспользоваться моим советом значит нанести смертельный удар существующей системе преподавания и, следовательно, обречь себя на изобретение новой системы. Конечно, наши педагоги никогда не доведут себя до такой печальной для них катастрофы.

III

«Чем же, однако, не хороша теперешняя система преподавания?» — спрашивает недоумевающий читатель. — А кто же вам, м. г., говорит, что она не хороша, отвечаю я. Я вам докладываю только, что она имеет некоторые своеобразные достоинства, вслед-

* Дальше этого пункта не простирались наши исторические познания. Снисходя к нашей отроческой невинности, педагоги набрасывали завесу на последние события XVIII столетия. [3]

ствие которых благодать забвения становится необходимою. Главное достоинство, от которого зависят уже все остальные, состоит в том, что различные предметы не связываются в общий цикл знаний, не поддерживают друг друга, а стоят каждый сам по себе, стараясь вытеснить своего соседа. Математика норовит обидеть историю, которая в свою очередь с угрожающим видом наступает на латинскую грамматику. Каждый предмет бывает то победителем, то побежденным; история их бесконечных раздоров составляет историю умственной жизни каждого гимназиста; мозг ученика — вечное поле сражения, а пора экзаменов — время самых истребительных войн между отдельными предметами. Буйные нравы этих задорных предметов вносятся даже в недра семейства, в группу родственных предметов, которые в силу своего родства должны были бы жить в добром согласии и защищать друг друга против благодати забвения. Семья математических наук представляет поучительный пример таких бедственных междоусобий. Геометрия в грош не ставит алгебру, и обе они так же враждебно смотрят на тригонометрию, как на какую-нибудь греческую грамматику. Что же касается до арифметики, то на нее старшие члены математической семьи и смотреть не хотят. Она — Сандрильона [4] семейства; об ней стараются забыть и действительно забывают, вплоть до самого выпускного экзамена, на котором, как на страшном суде, должно выйти на свет все, что было затаено в глубине преступной совести. На выпускном экзамене действительно произошла такая драматическая коллизия между арифметикою и ее старшими сестрами, такая, говорю я, коллизия, которая привела меня в трепет. Нам приходилось брать четыре билета (из арифметики, из алгебры, из геометрии и из тригонометрии), — экзаменовали нас несколько учителей разом на двух противоположных концах большой залы; я на одном конце преодолел тригонометрию и, победоносно разделавшись с синусами и тангенсами, перешел на другой конец отвечать из арифметики. Я был уверен в полном успехе, но вдруг задумался над отношениями и пропорциями, да так задумался, что весь экзамен стал казаться моему смущенному уму горькой и неуместной шуткой слепой судьбы. Я окончательно сел на мель, так что учитель, преподающий в младших классах, принужден был превратить экзамен в лекцию и объяснить мне, второму ученику седьмого класса, те истины, которые он внушал своим двенадцатилетним слушателям. Кроткий лик моей будущей медали отуманился легким облаком, и меня выручило только то обстоятельство, что за математику полагалась одна общая отметка, составлявшая средний вывод из четырех частных баллов. Скромность моих арифметических познаний прошла таким образом незамеченною и потонула в лучах моей алгебраической, геометрической и тригонометрической славы.

Но дело не в том. Вы вглядитесь в рассказанный факт, и тогда вы увидите, в какую грубую ошибку впадают те мыслящие люди,

которые утверждают, что математика развивает силу мышления и что математические науки представляют непрерывную цепь истин, вытекающих одна из другой по логической необходимости. У нас математика есть не что иное, как собрание сочинений Боско или Пинети; [5] это ряд удивительных фокусов, придуманных бог знает зачем и бог знает какою эквилибристикою человеческого мышления. У каждого фокуса есть свой особенный ключ, и эту сотню ключей надо осилить памятью, тою же самою памятью, которою осиливаются исторические и географические имена. Доказывая геометрическую теорему, гимназист только притворяется, будто он выводит доказательства одно из другого; он просто отвечает заученный урок; вся работа лежит на памяти, и там, где изменяет память, там оказывается бессильною математическая сообразительность, которую вы, благодушный педагог, уже готовы были предположить в вашем речистом ученике. Конечно, если вы перемените буквы чертежа, если вместо треугольника ABC дадите треугольник LOR, то ученик докажет и по этому треугольнику, — но вы этим не обольщайтесь; это покажет вам только, что отрок заучил не буквы, а фигуру чертежа, потому что буквы заучивают только те нищие духом, которые учат слово в слово историю, географию и другие литературные предметы. Такие личности уже переводятся в гимназиях. А вы попробуйте изменить фигуру; предложите, например, вместо остроугольника — тупоугольник или устройте так, чтобы заинтересованный в доказательстве угол глядел не в стену, как ему велено глядеть по учебнику геометрии, а хоть бы в пол или в потолок. Сделайте так, и я вам ручаюсь, что из десяти бойких геометров пятого класса девять погрузятся в бесплодную и мрачную задумчивость. Они с краской стыда на лице сознаются вам, что «у них этого нет», и если вы — немножко психолог, то вам сделается от души жалко бедных юношей; вы поймете, что в эту минуту их законное самолюбие страдает гораздо сильнее, чем если бы их поймали на крупной шалости или уличили в небрежности к заданному уроку; им приходится признаться в умственном бессилии — в бессилии, произведенном искусственными средствами, и они сами смутно чувствуют, что они могли бы быть сильнее и что их местная тупость находится в какой-то роковой связи с своеобразными достоинствами системы преподавания. Теперь нам хорошо писать панегирик этой системе, но надо помнить, что она еще не отошла в вечность и что было время, когда эта система была для нас неотразимым роком; мы изнемогали под ударами учебников, мы чувствовали иногда, что тупеем, а между тем исхода не было; отступление было невозможно. Именно такую тяжелую минуту сознательности переживут те девять геометров, которым не понравится, чтобы угол от созерцания стены перешел к рассматриванию потолка. Если же они благополучно выпутаются из предложенного испытания, тогда я не шутя советую старшему педагогу, имеющему власть, обратить все свое внимание на

учителя математики и отметить его в своих начальнических соображениях как опасного человека и беспокойного реформатора.

Не сетуйте на меня, читатель, за то, что я так долго говорил о математике, и не удивляйтесь тому, что я вовсе не буду говорить о других предметах гимназического курса. От других предметов и требовать нечего, но математика — наука великая, замечательнейший продукт одной из благороднейших способностей человеческого разума. Профанирование математики есть преступление перед разумом, преступление, за которое несем наказание мы, невинные жертвы своеобразных достоинств. Если у нас нет в обществе строгих мыслителей, если наши критические статьи бывают похожи на соображения Кифы Мокиевича, [6] если наши оптимисты смахивают на Манилова, а добродетельные либералы — на Ситникова, [7] то все эти привычные нам чудеса происходят, между прочим, и от того, что чистую и прикладную математику мы одолеваем памятью, а размышлять учимся впоследствии, погружаясь в исторические теории, в философские системы, в юридические фикции, в теологические гипотезы и в разные другие извинительные шалости досужего и игривого человеческого ума. Мы мыслим афоризмами и отыскиваем истину чутьем и инстинктом; история превратилась под нашими руками в нравоучительный роман, преследующий разные задние мысли, иногда хорошие, часто очень дурные, но во всяком случае не относящиеся к настоящему делу; философия до сих пор предъявляет права тиранического господства над такими смирными умами, которые совершенно неподвижны в покушении мыслить; юридическая литература вся наголо состоит из причитаний о законности и вменяемости, из причитаний, которых авторы поклялись торжественною клятвою никогда не отдавать отчета ни себе, ни другим — в том, что такое законность и до каких пределов должна простираться вменяемость. Натуралисты наши, последователи Мильн-Эдвардса и Катрфажа, [8] до сих пор любуются жизненною силою, толкуют о целях в природе и непритворно гордятся тем, что самый глупый человек все-таки умнее и привлекательнее самой умной обезьяны. Все эти историки, метафизики, юристы и натурфилософы, составляющие многочисленный и разнообразный класс наших филистеров, постоянно говорят и пишут, постоянно ссорятся и мирятся между собою, коварно соболезнуют друг о друге или дружелюбно свидетельствуют друг другу свое почтение. Но человеческая мысль сильна; порою вся пестрая сцена, набросанная мною в последних строках, внезапно освещается ярким лучом чьей-нибудь неиспорченной мысли; тогда на лицах филистеров изображается недоумение, безвредные споры их умолкают, взаимные любезности прекращаются, в пробившемся луче мысли они все чуют общего врага, — составляется общий хор, и все историки, юристы, политико-экономисты, метафизики и натурфилософы ревут благим матом, что новая мысль — совсем даже не мысль, а просто покушение на их

личную и имущественную безопасность, и хуже того — преступное посягательство на величие патентованной науки, которая одинаково дорога им всем, как общая кормилица и вечная дойная корова.

Прислушайтесь, читатель, к этому плачу и скрежету зубов, прислушайтесь и подумайте: ведь было же время, когда все эти мужи науки и брани были сами юными геометрами; было время, когда они, с мелом в руках, стояли у школьной доски, краснели от стыда и досады и сознавали с мучительною ясностью, что память их напрягается до истощения сил и что в это самое время непробужденная и неразвитая способность мышления не может ни на одну минуту поддержать и выручить их в борьбе с неожиданными препятствиями. Теперь они это забыли; теперь на их улице праздник; теперь они заставляют краснеть других геометров и, работая в обществе и в литературе, словом и пером отстаивают «своеобразные достоинства», от которых им самим во время оно приходилось жутко солоно. Усилия их увенчиваются успехом: наша учащаяся молодежь, воспользовавшись плодами учения, распадается на две резко обозначенные категории: направо идут овцы, неспособные краснеть; налево — козлища, весьма способные краснеть, шалить и лениться. Первые спокойно и радостно тупеют, вторые злятся и кусают ногти. Из первых выходят примерные чиновники; из вторых — широкие натуры и иногда даровитые деятели. Расстояние между теми и другими увеличивается с каждым годом; различие между обеими категориями постоянно становится глубже; несмотря на то, бывают иногда и такие случаи, что геометр, зачисленный в овцы и постоянно считавший себя овцою, вдруг открывает в себе козлиные свойства и наклонности и, сделав такое открытие, немедленно перебегает к своим естественным союзникам. Случается и наоборот, тем более что овцою быть выгодно и приятно.

IV

Я принадлежал в гимназии к разряду овец; я не злился и не умничал, уроки зубрил твердо, на экзаменах отвечал красноречиво и почтительно и в награду за все эти несомненные достоинства был признан «преуспевающим». Хотя я до сих пор не сообщил фактических подробностей о степени моего развития, но я осмеливаюсь думать, что из всего того, что я наговорил, проницательный читатель уже составил себе приблизительное и притом довольно верное понятие о том, что́ я смыслил при поступлении моем в университет; скажу я ему еще, что любимым занятием моим было раскрашивание картинок в иллюстрированных изданиях, а любимым чтением романы Купера и особенно очаровательного Дюма. Пробовал я читать «Историю Англии» Маколея, но чтение и подвигалось туго и казалось мне подвигом, требующим сильного

напряжения естественных сил. На критические статьи журналов я смотрел как на кодекс гиероглифических надписей, прилагавшийся к книжке исключительно по заведенной привычке, для вида и для счета листов; я был твердо убежден, что этих статей никто понимать не может и что природе человека совершенно несвойственно находить в чтении их малейшее удовольствие. Я должен признаться, что в отношении к некоторым журналам я даже до сего дня не исцелился от этого спасительного заблуждения.

Впрочем, это в скобках. Начал я также, будучи учеником седьмого класса, читать «Холодный дом», один из великолепнейших романов Диккенса, и не дочитал. Длинно так, и много лиц, и ничего не сообразишь, и приключений никаких нет, и шутит так, что ничего не поймешь; так на том и оставил, порешив, что «Les trois mousquetaires» * не в пример занимательнее. Ну, а русские писатели — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов? Читатель, мне стыдно за моих домашних воспитателей, стыдно и за себя — зачем я их слушал?.. Русских писателей я знал только по именам. «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени» считались произведениями безнравственными, а Гоголь — писателем сальным и в порядочном обществе совершенно неуместным. Тургенев допускался, но, конечно, я понимал его так же хорошо, как понимал геометрию, Маколея и Диккенса. «Записки охотника» ласкали как-то мой слух, но остановиться и задуматься над впечатлением для меня было немыслимо. Словом, я шел путем самого благовоспитанного юноши... А между тем что-то манило меня в университет, в словах: «студент», «профессор», «аудитория», «лекция» заключалась для меня какая-то необъяснимая прелесть; что-то свободное, молодое и умное чуялось мне в студенческой жизни; мне хотелось не кутежей, не шалостей, а каких-то неиспытанных ощущений, какой-то деятельности, каких-то стремлений, которым я не мог дать тогда ни имени, ни определения, но на которые непременно рассчитывал наткнуться в стенах университета. Даже внешние атрибуты студенчества казались мне привлекательными; синий воротник, безвредная шпага, двуглавые орлы на пуговицах — все это нравилось мне как «вещественные знаки невещественных отношений». В то время, когда я, окончивши выпускной экзамен, обновлял студенческий сюртук, некоторые из моих молодых родственников облекались в самые очаровательные офицерские формы; на касках их развевались султаны, сабли гремели, шпоры звенели, эполеты блестели, солдаты перед ними вытягивались, а я все-таки не завидовал, и мои скромные регалии не теряли в моих глазах ни одного процента из своей неизмеримой цены, несмотря на ослепительную блистательность «их благородий». Впрочем, любовь моя к университету была чувством совершенно платони-

---

* «Три мушкетера». — *Ред.*

ческим и даже пантеистическим; я любил университет и студенчество как какое-то отдельное мироздание, а знал я это мироздание еще гораздо меньше, чем Данте свою Беатриче. Кроме того, любя этот неведомый мир в его совокупности, я не чувствовал никакого особенного влечения к тому или другому кругу наук; а такое влечение непременно надо было почувствовать, потому что быть студентом вообще — так же невозможно, как быть птицей или рыбой. Надо быть курицей, грачом, ястребом, окунем, щукой или карасем, а поступая в университет, надо непременно сделаться студентом того или другого факультета. Это я знал, и потому, полюбовавшись на синеву воротника и на блеск золоченого эфеса шпаги, я в одно мгновение ока произвел в уме своем инспекторский смотр представлявшимся мне факультетам. По математическому не пойду, потому что математику ненавижу и в жизни своей не возьму больше в руки ни одного математического сочинения (читатель видел выше причины суровых отношений моих к этому циклу наук); по естественному тоже не пойду, потому что и там есть кусочек математики, да и физика почти то же самое, что математика; юридический факультет сух (это решение может показаться довольно отважным, тем более что я тогда еще в глаза не видал ни одного юридического сочинения, — но я уже заметил прежде, что мы часто мыслим афоризмами: так случилось и со мною); в камеральном факультете нет никакой основательности (вот вам еще афоризм, который ничем не хуже предыдущего). Управившись таким образом с четырьмя факультетами, я увидал, что передо мною остаются в ожидании только два: историко-филологический и восточный (медицинского не было в том университете, в который я собирался поступить). Разве на восточный... Поехать при посольстве в Турцию или в Персию... жениться на азиатской красавице... привезти ее в Петербург и посадить в национальном костюме в ложу, в бельэтаже, в итальянской опере... Это, впрочем, пустяки... А вот что: ведь на восточном придется осиливать несколько грамматик, которые, пожалуй, будут похуже греческой... Ну и бог с ним! значит — на филологический! На том и покончилось размышление.

V

Читатель, конечно, согласится со мною (не из одной только вежливости), что профессорам филологического факультета доставалось на долю в моей особе настоящее сокровище. Я говорю не шутя. Подумайте: я был юн, понятлив и совершенно нетронут. Им предстояло разработать девственное поле; они могли обсеменить меня всяким добром, возжечь во мне всякие благородные искры, вдунуть в мое здоровое тело именно такую мысль и такую душу, которая наиболее приходилась им по вкусу. Все эти обсеменения, возжигания и вдувания я принял бы с благоговейным восторгом,

с пламенною благодарностью, с фанатическим увлечением новопосвященного адепта. Вместе со мною поступили в университет личности всякого разбора: были совершенные олухи, оставшиеся верными своей природе вплоть до выхода из университета; были молодые фаты, уже испорченные великосветским элементом; были юноши себе на уме; были юноши тупо-серьезные; были добрые ребята; были просто терпеливые ослы; были, наконец, очень умные, — но, наверное, ни один из всех этих юношей не соединял в себе в большей степени, чем я, те два качества, которые профессор, любящий свое дело, должен считать в своем слушателе истинною драгоценностью. Эти два качества — способность к развитию и совершенная неразвитость — составляли все мое умственное достояние в то время, когда я вошел под священные своды храма наук. Благодаря этим качествам каждый профессор мог быть в отношении ко мне Христофором Колумбом; он мог открыть меня, водрузить в меня свое знамя и обратить меня в свою колонию, как землю незаселенную и никому не принадлежащую. Новая колония обрадовалась бы несказанно и по первому востребованию в неслыханном изобилии стала бы производить репу, табак, сахарный тростник или хлопчатую бумагу, смотря по тому, какие семена вздумал бы отважный мореплаватель доверить ее нераспаханным недрам. Мало того, видя, что Колумбы не пристают к ее гостеприимным берегам, колония сама преодолела свою робость и отправилась искать себе завоевателей и цивилизаторов; повторилась история новгородских славян и варяго-руссов. Но все это мы еще увидим. Попавши в общество студентов-филологов, [9] я впервые услышал такие вещи, которые заставили меня задуматься. Трое или четверо из них уже отмежевали себе ту или другую науку для специальных занятий; другие говорили, что выбор их еще не установился, но что вот они читают то и то и при этом размышляют так и так. Говорили об исторической критике, об объективном творчестве, об основе мифов, об отражении идей в языке, о гриммовском методе, [10] о миросозерцании народных песен; ухитрялись даже спорить; к ужасу моему, рассуждали о тех критических и ученых статьях в журналах, которые были мне недоступны, как полярные льды; произносили имена Соловьева, Кавелина, Буслаева, Срезневского и Нибура, Чичерина и Шафарика, Грановского и Вильгельма Гумбольдта; сумбуру имен соответствовал сумбур идей; о родовом и общинном быте толковали, [11] а я только моргал глазами и даже не пытался скрыть того, как глубоко удручает меня болезненное сознание моего вынужденного безгласия. Теперь я двух грошей не дал бы за то, что говорилось тогда, тем более что говоривший редко понимал самого себя, а спорившие уже решительно никогда не понимали друг друга, так что спор прекращался только началом лекции или охриплостью воюющих сторон. Но тогда... о, тогда я изнывал от своего бессилия и томился мучительною духовною жаждою, воображая себе, что

кругом меня люди угощают друг друга чистейшим нектаром. Понятно, что каждая лекция казалась мне усладительною каплею небесной росы, и понятно также, что эти росинки тотчас впитывались и бесследно исчезали в аравийской пустыне моего невежества.

Первою из таких росинок была для меня лекция профессора Креозотова.[12] Креозотов был человек замечательный. Над ним смеялись в совете университета его товарищи профессора, над ним смеялись его слушатели, над ним, наверное, смеялся в душе даже тот сторож, который в университетских сенях снимал с него шубу или пальто. Но Креозотов не замечал или не хотел замечать всех этих тайных и явных смехов и, не смущаясь ничем, твердою поступью направлялся к избранной цели, т. е. к выслуге в пенсион полного оклада жалованья. Служил он с упорным усердием и, занимая кафедру истории, действительно читал всякую историю, какую назначат, то древнюю, то русскую, то новейшую. Если бы ему поручили читать специальную историю Букеевской орды или Абиссинской империи, то это бы его нисколько не затруднило. Даже в таком экстренном случае у него нашлась бы готовая тетрадка, написанная лет двадцать тому назад на такой синей бумаге, какую теперь нельзя найти ни в одной бумажной лавке. Служебное усердие сопровождало Креозотова на лекцию и вместе с ним садилось на кафедру; профессорский пафос его был разнообразен, как сама природа; он кряхтел от душевного напряжения, он изнывал и становился певучим, когда герои его страдали или сходили в могилу; он откидывался на спинку кресла, уводил рот в сторону и придавал своей красной физиономии шаловливое выражение, когда его героини спотыкались на пути добродетели и когда таким образом игривый эротический анекдот прерывал собою величественное течение исторической жизни. Он лицедействовал на кафедре, он разыгрывал, а не читал свои тетрадки, и, как следовало ожидать, слушатели сначала недоумевали, потом смеялись, наконец переставали посещать его лекции, изредка показывались в его аудитории, ради соблюдения приличий, и заводили между собою очередь, чтобы на несколько человек иметь для экзамена по крайней мере один полный экземпляр креозотовских записок.

Ученость Креозотова была так же обширна, как велика была его типичность. Он не пропускал ни одного магистерского диспута, относящегося к филологическому факультету. На каждом диспуте он делал множество возражений и замечаний, очень бесплодных, микроскопически мелких, но тем более показывавших, что специальный вопрос, разработанный магистрантом, известен ему по источникам, во всех мельчайших подробностях. И это обилие знаний лежало точно в сундуке; единственным ученым сочинением Креозотова была какая-то славянская мифология; выпустив ее в свет, Креозотов весь ушел в свои синие тетрадки и все свои духовные силы посвятил кряхтению и мимическому искусству.

Мы слушали его древнюю историю вместе с камералистами,[13] но он объявил, что для нас, филологов, будет еще читать отдельно историю древней географии. Он сдержал свое обещание. Что это такое было — этого я и выразить не в состоянии. Тут уже не было ни героических смертей, ни эротических грехов, ни мимического искусства. Осталось одно кряхтение. В первый раз, когда он пришел читать этот длинный список собственных имен, его поразила наша малочисленность, которая тем резче бросалась в глаза, что занимаемая нами аудитория была очень обширна. При этом удобном случае он рассказал нам следующий исторический анекдот. — Один мудрец вошел в небольшой город, в котором были очень большие ворота. Увидев это обстоятельство, мудрец обратился к гражданам и сказал: «Я боюсь, чтобы ваш город не ушел через ваши ворота». — Неожиданно для самого Креозотова анекдот этот оказался пророчеством: в один прекрасный день город действительно ушел, и мудрец увидел только одни большие ворота. Дело в том, что терпение наше истощилось, и мы сговорились пренебречь историею древней географии и разойтись по домам. До совершения этого героического поступка мы, однако, выслушали около дюжины лекций. Креозотов успел приглядеться к нашим лицам, узнал наши фамилии и неоднократно разговаривал с каждым из нас. Сблизившись с нами таким образом, он однажды предложил нам предпринять общую работу. Я навострил уши. Предложение Креозотова состояло в том, чтобы общими силами перевести с греческого географическое сочинение Страбона. По окончании перевода Креозотов обязывался сверить его с подлинником, подвергнуть его одной общей редакции и издать, с признательностью упомянув в предисловии фамилии даровитых и добросовестных переводчиков. Предложение было принято. Предусмотрительный профессор, захвативший с собою экземпляр Страбона, для того чтобы ковать железо, пока оно было горячо, тотчас предъявил принесенную книгу, разрезал ее на восемь частей, по числу завербованных переводчиков, и вручил каждому желающему по пяти печатных листов довольно мелкого греческого текста. Я, конечно, ревностно начал переводить и потому могу объяснить читателю, что это была за работа. Представьте себе, что какой-нибудь господин раскрыл перед вами атлас, взял в руки указку и, водя ею взад и вперед по карте, рассказывает вам, что вот это мыс A, а в двух верстах от него залив B, а в залив этот впадает река C, а по реке C стоят города D, E и F, и т. д., и все в том же роде. Это строгое изложение разнообразится порою кратким историческим намеком на сражение, происшедшее поблизости, или на богослужебные обряды, совершавшиеся где-нибудь в священной роще... Вот и все. И таких прогулок по атласу набирается листов до сорока, а мне предстояло перевести пять листов, т. е. 80 страниц. Читатель понимает, конечно, как сильно такая работа могла обогатить мой ум и как необходимо было для русской публики полу-

чить издание Страбона в русском переводе. Чем дальше подвигалась моя работа, тем снисходительнее я начал смотреть на наших трех индепендентов. Дело, как и следовало ожидать, расклеилось. Креозотов собрал растерзанные части своего Страбона и отдал их в переплет.

VI

В то время, когда мы еще тянули лямку, возложенную на нас почтенным профессором, я вздумал обратиться к Креозотову за советом. Краснея от волнения, я покаялся ему, что желаю специально заняться историею, и убедительно просил его объяснить мне, как надо поступать в таком затруднительном случае. Выслушав мою исповедь, Креозотов тотчас посоветовал мне читать энциклопедию Эрша и Грубера и, кроме того, читать источники древней истории — Геродота, Фукидида, Поливия, Ксенофонта, Тита Ливия, Диодора Сицилийского, Диона Кассия и т. д. Я горячо поблагодарил его за добрый совет и немедленно побежал в университетскую библиотеку.

— Позвольте мне взять на дом энциклопедию Эрша и Грубера, — сказал я нашему библиотекарю.

На лице библиотекаря выразилось удивление.

— Книги, служащие для справок, — ответил он мне очень вежливо, — на дом не выдаются. Вы можете пользоваться ими здесь. Какую вам надобно букву?

Я не имел основания предпочитать одну букву другой и потому совершенно беспристрастно назвал букву А.

Тогда библиотекарь повел меня за собою в одну длинную галерею и указал мне длинный ряд больших и толстых книг, стоявших на паркете в стройном алфавитном порядке. Не помню, сколько их было, — тридцать, сорок или пятьдесят, но знаю, что их было очень много и что это зрелище привело меня в трепет; я взял первую книгу с левого фланга и увидал, что буква А далеко не исчерпывается этим томом, который, однако, оттягивал мне руки. Передо мною лежал знаменитый немецкий энциклопедический лексикон Ersch und Gruber, и, конечно, я на первых страницах его нашел то, что́ обыкновенно находится в таких книгах. Река *Aa*, слово *Aal* (угорь), река *Aar*, кантон *Aargau* и т. д. Собирать сведения обо всех этих предметах было, конечно, любопытно, а прочитать и сохранить в памяти всю энциклопедию Ersch und Gruber значило бы сделаться восьмым чудом света; но тем не менее чувство самосохранения взяло верх над этими заманчивыми соображениями. Я рассчитал, что мне пришлось бы читать Эрша и Грубера лет десять и потом, по окончании последнего тома, снова приняться за первый, который в это время успел бы еще раз приобрести для меня всю прелесть новизны. Прочитав энциклопедию раз пять от начала до конца, я мог бы сказать, что жизнь моя

наполнена и что я могу умереть спокойно, совершивши в земной жизни то, чего до меня еще не совершал ни один здравомыслящий смертный. Совет Креозотова обогатил меня, таким образом, следующими опытными знаниями: во-первых, я узнал, что книги, служащие для справок, на дом не выдаются; во-вторых, я узнал, что существует немецкая энциклопедия Эрша и Грубера, что она очень велика и годится для справок; в-третьих, я узнал, что приобретать исторические сведения в алфавитном порядке и вперемежку со всякими другими сведениями — оригинально, но неудобно; в-четвертых, я приобрел то драгоценное убеждение, что профессора университета могут иногда подавать советы, приводящие в недоумение.

Советом своим Креозотов заронил в меня ядовитое зерно скептицизма. Из этого семени выросла гибельная жатва. Теперь, если кто-нибудь решится упрекать меня в нигилизме, я тотчас укажу моему обидчику на Креозотова и скажу: вот мой первый наставник! Спросите у него, — пусть он ответит вам за мою погибшую душу.

Испытав неудачу на энциклопедии, я тем не менее попробовал применить к делу второй совет того же коварного профессора. Я взял к себе на дом творение Геродота во французском переводе и начал его читать. Тут, конечно, никаких трудностей не представлялось, но дело было столько же бесплодно, сколько легко. Всякому человеку, имеющему понятие о серьезных и последовательных умственных занятиях, хорошо известно, что исторические источники должны читаться с специальною целью исследования людьми уже развитыми, способными бросить на эпоху критический взгляд и желающими проверить и дополнить изыскания своих предшественников. Что же касается до птенцов, подобных мне, то им надо читать исторические сочинения и исследования, в которых факты приведены в порядок, сгруппированы и освещены критическими трудами мыслящих историков. Это я говорю для тех птенцов, которых обуревает неистовое желание с юных лет посвятить себя историческому изучению. Я, с своей стороны, такого желания во всяком случае не одобряю, потому что, по крайнему моему разумению, история вообще не такая наука (если только она наука, что требует доказательств), которая могла бы укрепить и сформировать молодое мышление. Но допустим то, чего нет никакой надобности допускать, — допустим, что влечение юности к истории порывисто и неудержимо, как эксцентрическое желание беременной женщины, то и в этом случае перепрыгнуть с учебника Смарагдова на чтение Геродота — значит броситься из огня в полымя или, гораздо вернее, из мелкого болота в глубокую трясину. Я поясню это параллелью. Студенту медицины необходимо в продолжение нескольких лет возиться с трупами; но если кромсать мертвых людей и животных начнет джентльмен, не имеющий никакого предварительного понятия об анатомии, то он из этого

кромсания вынесет только впечатления дурного запаха гнилой крови и разлагающегося мяса. Конечно, первый анатом ни у кого не учился. Да и первый портной, по справедливому замечанию госпожи Простаковой, тоже ни у кого не учился. «Да он, может быть, и работал хуже меня», — отвечает на это простаковский Тришка, который таким образом произносит безапелляционный приговор над глубокомысленным советом профессора Креозотова. Вы скажете, может быть, что параллель моя неверна, потому что предполагаемый джентльмен не имеет понятия об анатомии, а питомец Смарагдова до некоторой степени знает историю. Ну да. Джентльмен, войдя в анатомический театр, узнает голову, руку, ногу, — и питомец, читая Геродота, узнает Кира, Камбиза, Креза. Но трупы рассекаются не для того, чтобы убедиться в существовании головы, руки и ноги, а исторические источники читают добрые люди не для того, чтобы любоваться именами Кира, Камбиза и Креза. Значит, параллель верна, и больше об ней толковать нечего. Совет Креозотова имел в себе еще одну опасную сторону, которая могла сделаться гибельною для молодого человека, способного удручать плоть и мозг во имя величия и славы науки. Если бы Креозотов рекомендовал исторические сочинения Грота (не того, который пишет в «Русском вестнике»), [14] Нибура, Моммзена, Дункера и т. п., то для студента оставался бы шанс спасения. У него явились бы в мозгу идеи, обогащающие взгляды, попытки самостоятельного мышления. Прочтя две-три книги, он мог бы оглянуться на самого себя, мог бы довольно правильно поставить и разрешить в уме своем вопрос: действительно ли исторические занятия составляют потребность его природы? Но чтение Геродота и Фукидида отрезывало всякое отступление. Студент читает одного писателя, читает другого, и все не становится умнее, и все ждет прояснения своего мозга, и все громоздит факты на факты, и вдруг, нежданно-негаданно для самого себя, в одно прекрасное утро оказывается туго набитым историческим чемоданом, совершенно подобным своему прототипу и возлюбленному руководителю. Для меня подобная опасность не существовала. Я никогда не мог долго заниматься тем, что не доставляло мне умственного наслаждения. Столпники и аскеты науки называют таких людей дилетантами и шарлатанами. Это свойство моей натуры, может быть, очень дурно, но для меня оно во многих случаях было чрезвычайно полезно. Всякий раз, как я с добродетельным жаром думал посвятить себя какой-нибудь кретинизирующей деятельности, неумолимый демон умственного эпикуреизма насильно вырывал у меня работу из рук и деспотически сопротивлялся моему добросовестному стремлению поглупеть. Кончилось тем, что я махнул рукою и навсегда отказался от невозможной борьбы с бесовскими прелестями. Но дошел я до этого результата не вдруг, и читатель увидит, что не один Креозотов снабжал меня советами — сделаться идиотом.

VII

Кроме Креозотова, у нас было еще двое преподавателей истории. Я не обращался к ним за советами, но слушал в разные времена их лекции и нахожу, что легкий очерк их деятельности заслуживает внимания людей, интересующихся ходом образования в наших университетах. Во-первых, рекомендую вам приват-доцента Кавыляева.[15] Он молод летами, но велик своими достоинствами. Уступая Креозотову в эрудиции и мимической виртуозности, он далеко превосходит его утомительностью лекций. По скромности, свойственной молодому ученому, он всегда выбирает себе руководителя и, прилепившись к какому-нибудь одному историческому сочинению, с неизменным постоянством извлекает из него все свои лекции на целый академический год. Составленные таким образом записки идут, без изменения, на продовольствование следующего курса студентов; и так как нет причины останавливаться на этом пути, то есть основание надеяться, что со временем записки Кавыляева составят такую же палеонтологическую диковинку, какую в настоящее время уже составляют знаменитые синие тетрадки Креозотова. Кавыляев читал нам историю средних веков по сочинению Гизо «История цивилизации во Франции». Выбор сам по себе очень позволителен, но замечательно, что острый и живой анализ великого доктринера[16] делался совершенно незаметным в чтении маленького приват-доцента. Самая связь идей терялась в его безучастной, апатической передаче. Если бы вы заставили деревенского дьячка прочесть вслух речь Эдмонда Бёрка или графа Мирабо, то волнение английской палаты общин или французского учредительного собрания, вероятно, осталось бы для вас совершенно необъяснимым. Именно такую горькую долю терпело сочинение Гизо в руках Кавыляева. Не думайте, что я говорю о голосе или дикции, — об этих мелочах не стоило бы заботиться; тут дело идет о понимании. Когда человек выражает перед вами свою мысль или мысль чужую, но вполне усвоенную им и, следовательно, развивающуюся из головы его, а не из тетрадки, тогда он непременно оживляется и непременно передает вам часть этого оживления; тогда даже чужая мысль принимает на себя отпечаток его личности и приобретает хоть частицу той живучести, которую она имела в первобытном своем источнике. Где этого нет, где читающий совершенно равнодушен к тому, что он читает, там чтение самого занимательного произведения превращается в усыпительное журчание. Так действительно и было, — и лекции Кавыляева были гораздо невыносимее лекций Креозотова. Креозотов читал Креозотова и, следовательно, глубоко понимал его и мог даже изображать его в лицах, а Кавыляев читал Гизо, который, при всех своих политических и теоретических заблуждениях, был все-таки неизмеримо велик для кавыляевского понимания; следовательно... следова-

тельно, тот студент, который не желал среди лекции припасть головой к столу и унестись в царство сновидений, должен был тщательно обходить аудиторию Кавыляева.

Когда мы перешли на третий курс, тот же драгоценный Кавыляев стал читать нам новую историю или, точнее, биографию Лютера, началу которой он предпослал кое-какие подробности об эпохе Возрождения. Руководителем Кавыляева был историк реформации Мерль д'Обинье (Merle d'Aubigné). На этот раз все было одинаково хорошо. Достоинство выбора соответствовало достоинству изложения. Минуя множество замечательных европейских историков, наш приват-доцент отыскал себе родственную душу в райке исторической литературы. Этот Мерль д'Обинье оказался протестантским пиетистом и мистиком. На жизнь и деятельность Лютера он смотрел как на житие святого угодника и чудотворца; в каждом поступке своего героя он усматривал специальное выражение воли божией и, стараясь обратить своего читателя к таким же возвышенным умозрениям, собрал в своем многотомном сочинении всякие анекдоты и сплетни о Лютере и его сподвижниках. Тут рассказывалось и то, по скольку раз в день отец Лютера сек маленького Мартина, и то, что Мартин в монастыре делал, и то, как он в Риме ползал на коленках по каменной лестнице, и то, какие сны видел курфирст Фридрих Мудрый, и то, как одна баба индульгенцию покупала, и многое множество всяких других достопримечательностей. Конечно, все это, как через водопроводную трубу, текло через уста Кавыляева в наши записки. И все это мы должны были, не краснея за самих себя и не смеясь над нашим наставником, прилично казенным языком излагать на переходном и выпускном экзамене. И это называлось новою историею и должно было давать нам понятие о том, как сложились бытовые и политические формы теперешних обществ. Читатель видит, что ядовитое зерно скептицизма, зароненное в мою чистую душу хитрым Креозотовым, не могло чувствовать недостатка в питательных материалах и благоприятных атмосферических условиях.

В начале осени 1858 года возвратился из двухлетней заграничной отлучки экстраординарный профессор истории Ирониаиский. [17] На него наше студенчество возлагало самые блестящие надежды. Он был сверстником Кавыляева, но уже давно обогнал его в своей ученой карьере. Первые лекции его после возвращения из-за границы привлекли в аудиторию его множество слушателей. Студенты, пришедшие на лекцию из любопытства, оставались совершенно удовлетворенными, а обязательные слушатели Ирониаиского были в восторге от своего профессора, поддразнивали тех, кому приходилось дремать под звуки Кавыляева, и жаловались только на то, что места на скамейках приходится занимать заранее и что в огромной аудитории становится тесно и душно. Словом, успех Ирониаиского мог удовлетворить самое щекотливое самолюбие. Ему даже аплодировали, и он, как некогда Гизо, благо-

дарил своих слушателей и в то же время просил их никогда не выражать ему таким образом их сочувствия. Сравнительное достоинство его лекций было действительно велико. Он выражался языком современной науки; видно было, что он понимает то, что говорит, и умеет высказать то, что думает. Каждая лекция его заключала в себе какую-нибудь идею, связывающую или по крайней мере пытающуюся связать между собою сообщаемые факты. Этого уже было достаточно для слушателей, привыкших к античности Креозотова и к олимпийскому спокойствию Кавыляева. Единственный недостаток, который можно было заметить в наружной форме изложения Иронианского, заключался в его профессорском щегольстве, в его умственной кокетливости, в его постоянном усилии говорить остроумно и изображать цивилизованного европейца, трактующего d'égal à égal * с генералами и министрами ученого мира. Конечно, он не говорил, что дружески знаком с Маколеем, пил чай у Моммзена или спорил о политике с Зибелем; о подобных вещах и Хлестаков мог бы рассказывать только жене городничего; но неистовое желание ослепить слушателей оригинальностью и богатством своих заграничных впечатлений, наблюдений и исследований пробивало себе широкую дорогу всякий раз, как только представлялась к тому малейшая возможность. Тотчас после своего приезда он объявил студентам, что будет читать три раза лекции: *publica* (общий курс), *privata* (частный) и *privatissima* (самый частный). В самом частном курсе он обещал представить образчик исторической критики и действительно начал разбирать очень подробно сочинения Луитпранда, летописца X века. Историческая критика Иронианского не привела к особенно плодотворным результатам, не обнаружила в исследователе обширной эрудиции и даже не показала нам каких-нибудь замечательных критических приемов. Иронианский просто рассказывал подробно содержание сочинений и биографию автора, потом ловил Луитпранда в противоречиях, которые были очень заметны, и уличал его в пристрастии к Оттону, открывая, таким образом, обстоятельство, уже давно известное и не подлежавшее никакому сомнению. Стало быть, ученой заслуги тут не было, а собственно для студентов личность и деятельность Луитпранда не могла представлять особенного интереса, потому что сотни более крупных исторических личностей и более выразительных фактов оставались для них в смарагдовском и зуевском полумраке. Да и зачем было разгораживать курс на три отделения?

И зачем было огород городить,
И зачем было капусту садить?..

Нельзя. Европеизм одолел. Где-нибудь в Бонне или в Гейдельберге так делается, и в Царевококшайске давай так делать. Надо

* Как равный с равным (*франц.*) — *Ред.*

же было Иронианскому заявить, что он с министрами знакомство имеет. Не упускал также щеголеватый профессор случая упомянуть, как он собственною своею особою стоял или сидел на подлинном месте того или другого мирового события. При этом изливались описательные подробности, которые, во-первых, нисколько не объясняли рассматриваемого факта, а во-вторых, с удобством могли быть отысканы в карманном гиде. Но все это были мелкие слабости, а в профессорской деятельности Иронианского были и более серьезные факты. Случилось мне однажды с большим удовольствием прослушать лекцию Иронианского, в которой он, стараясь определить обязанности историка вообще, в связи с этою темою разбирал историческую и критическую деятельность Маколея. Конечно, Маколей представлялся ему богом истории, сошедшим на землю единственно для того, чтобы научить людей искусству писать исторические монографии и критические статьи. Несмотря на хвалебное направление своей лекции, Иронианский оценил, однако, умно и метко особенности и достоинства критического таланта Маколея; заметил даже слабость Маколея как отвлеченного мыслителя; доказал, почему эта слабость, обнаруживающаяся в его этюде о Бэконе, не вредит ему как историку, и очень основательно подкрепил все свои положения и выводы довольно обширными и очень удачно выбранными цитатами из сочинений разбираемого писателя. Вся лекция произвела на слушателей самое стройное впечатление, несмотря даже на то, что Иронианский, ради заграничности и щегольства, называл Маколея — *Мэкаулей*. Через несколько времени после этого Иронианский с большим успехом прочел в большой университетской зале, при значительном стечении публики, две публичные лекции о состоянии французских провинций при Людовике XIV. Источником своим он объявил сочинение Флешье «Les grands jours d'Auvergne». * Публика осталась очень довольна, и действительно во всем, что я до сих пор рассказал, нельзя заметить ровно ничего предосудительного. Но «мой злобный гений» непременно хотел превратить меня в скептика. Случилось мне купить одну французскую книжку: «Essais de critique et d'histoire par H. Taine» («Исторические и критические опыты» Тэна). В этой хорошей книжке заключались статьи о Гизо, о Мишле, о Теккерее, о Монталамбере и, между прочими, о Маколее и о Флешье. Когда я добрался до Маколея, то изумлению моему не оказалось границ. ** Читаю и глазам не верю: она, она, моя голубушка, блестящая лекция Иронианского о Маколее; те же идеи, тот же порядок изложения, те же цитаты, даже обороты речи и образы те же самые; предполо-

---

* «Чрезвычайное заседание королевского суда в Оверни». — *Ред.*

** Такое же изумление постигло меня однажды при чтении лекций Г. Вызинского об Англии в XVIII столетии, [18] когда я увидел, что характеристика Мэльборо целиком взята из романа Теккерея «Генри Эсмонд».

жить случайное сходство нет никакой возможности, самое упорное сомнение должно уступить очевидности. Зиждущий талант Иронианского оказывается чужим талантом, внимательное изучение Маколея оказывается призраком; павлиньи перья взяты напрокат, да еще без спросу; блестящая лекция не что иное, как тайный перевод с французского. Ну, подумал я, посмотрим, что такое Флешье? Подозрения мои оправдались. Обнаружилось, что публичные лекции тоже были взяты напрокат, а магазин, снабдивший ими цивилизованного европейца, был тщательно скрыт от публики, потому-де, что совестно русскому профессору открыто пользоваться идеями легкого французского критика, ну, а тайком поживиться всегда приятно и неубыточно. Еще в одном случае мне удалось убедиться в ученой бесцеремонности профессора Иронианского. В 1860 году ему пришлось задавать тему для сочинения на медаль. Он задал тему из истории последних веков язычества, и в отчете об университетском акте было напечатано, вместе с объявлением этой темы, указание на два пособия: во-первых, на сочинение Чирнера «Der Fall des Heidenthums» («Падение язычества»), во-вторых, на исследование Иронианского об Александре Авонотихите, [19] одном из ложных чудотворцев и пророков язычества. Я, с свойственным мне добродушием, последовал этому указанию и немедленно убедился в том, что исследование Иронианского упомянуто в отчете об акте исключительно ради щегольства, потому что оно не исследование, а очень малограмотное извлечение из указанной книги Чирнера. Между прочими красотами я запомнил следующее место. «Нерон, — пишет Иронианский, — приказал перенести 500 железных статуй»... Железных статуй! Слыхали ли вы когда-нибудь, читатель, чтобы в древности или когда бы то ни было выделывались железные статуи? Как же это? Ковали их, что ли? Отыскиваю соответствующее место у Чирнера и нахожу там: «500 eherne Säulen». Дело объясняется просто. Это значит, по мнению всех людей, знающих немецкий язык: «500 медных колонн». Значит, Иронианский, кроме нетвердого знания немецкого языка, обнаружил еще небрежность в работе и изумительное непонимание древней техники. Изобрести железные статуи, да еще целых пятьсот, и сохранить до сих пор репутацию ученого человека, это, милостивые государи, такой пассаж, который возможен только у нас, в России. И заметьте притом, что эти жрецы науки, тайно переводящие с французского и неудачно переводящие с немецкого, взирают с высоты величия на литераторов и журналистов как на дилетантов, неспособных удовлетворять серьезным умственным требованиям общества. Заметьте, что именно эти изобретатели железных статуй всех громче рассуждают о достоинстве науки, — заметьте это и затем, следуя мудрому совету Кузьмы Пруткова, «глядите в самый корень вещей», ибо наружность обманчива.

VIII

Говоря об Иронианском и Кавыляеве, я невольно нарушил хронологическую последовательность моих воспоминаний и потому теперь возвращаюсь назад к тому времени, когда я переводил Страбона и читал Геродота, т. е. к началу зимы 1856 года. Ожидая себе умственного просветления от каждого профессорского слова, я в то время аккуратно посещал и записывал все лекции, назначенные мне по расписанию. Особенно интересовали меня лекции профессора Телицына, [20] читавшего нам теорию языка и историю древнерусской литературы. В этих лекциях было действительно много хорошего. Телицыну было лет тридцать с небольшим; он любил студентов и искал между ними популярности; лекции свои он составлял с большим старанием и всегда заканчивал их какой-нибудь фиоритурою, которая неминуемо должна была поднять в душе студентов целую бурю добрых и возвышенных чувств. Эта фиоритура всегда была приготовлена заранее, но тем не менее она всегда выделывалась от души, с полною искренностью и без всякой натяжки. Проговорив на кафедре в продолжение полутора часа, Телицын всегда приходил в восторженное состояние, и тогда рулада вырывалась из груди его с неудержимою силою; сходя с кафедры, он всегда чувствовал действительную потребность сказать студентам что-нибудь согревающее, а так как он профессорствовал уже не первый год, то ему было вполне позволительно, зная свою разнеживающуюся натуру, заготовлять заранее материалы для той потребности, которая неминуемо возникает перед концом лекции. Неужели вы упрекнете слезливого человека в театральничанье, если он, отправляясь на чьи-нибудь похороны и находясь при выезде из своей квартиры в самом веселом расположении духа, набьет карманы своего сюртука носовыми платками? Ведь он же знает, что непременно расплачется: так как же ему не принять свои меры? Что же за удовольствие утирать слезы рукавами сюртука или умолять соседа об одолжении носового платка? Так и Телицын. Разве хорошо было бы, если бы растроганный вконец профессор не излил своего чувства в умных и красивых речах? Ведь это бы смеху наделало, если бы он, оканчивая лекцию, вдруг развел руками, изобразил бы на лице своем глубокую любовь к студентам, сделал бы несколько усилий, и вдруг ничего бы из этого не вышло. А такая участь непременно постигла бы его, если бы материалы для фейерверка не были припасены заранее. Я до сих пор помню, как он однажды, отработав специальный предмет лекции, начал говорить о величии знания вообще и вдруг заключил свою речь словами Беранже: «L'ignorance, c'est l'esclavage, le savoir, c'est la liberté» (невежество — рабство, знание — свобода). Нас так и подкинуло кверху; эффект вышел оглушительный, — а все отчего? Оттого, что в сюртуке Телицына лежали носовые платки.

Вы скажете, может быть, что слезливость не есть чувствительность и что истинный талант пренебрегает приготовленными эффектами, потому что полагается на свои силы и всегда находит эффекты под руками в ту решительную минуту, когда он в них нуждается. Против этого я спорить не буду; считать Телицына талантливым профессором позволительно только студентам первого курса, восхищающимся кончиками его лекций. Я с своей стороны отстаиваю только его искренность. Телицын не похож на Иронианского; ему хочется не блеска, не щегольства, а любви, сочувствия студентов; он не пускает пыли в глаза, он действительно хочет быть и полезным профессором и дельным ученым; он напрягает все свои силы, — но при этом мы должны помнить, что размеры человеческих сил неодинаковы. Телицын много читал, читал постоянно и передавал нам много хороших вещей на лекциях, — но лекции его все-таки были мозаиками. Переварить и переработать массу материала в своем мозгу и затем передать слушателям продукты своего мышления — этого от Телицына смешно было бы и требовать. Да и не угодно ли вам посмотреть вокруг себя: много ли у нас в целой России людей, действительно способных мыслить и пользующихся этою способностью? Куда ни посмотришь, везде — или переводчики, подобные Иронианскому, или каменщики и носильщики, вроде Телицына; везде или ловкие люди, очень хорошо знающие, чего они хотят, или терпеливые труженики, вовсе не знающие, зачем они трудятся. Пустили их вниз по наклонной плоскости, они и катятся по силе инерции до тех пор, пока их не остановит накопление жира или истощение сил. Люди, подобные Телицыну, работают или до тех пор, пока не войдут в чины и в барственную лень, или до тех пор, пока не разовьют в себе чахотку. Телицыну предстоял, по всей вероятности, последний исход. Несмотря на свои молодые лета, он уже успел приобрести очень заметную сутуловатость и постоянно страдал застоями и приливами крови; глаза его были всегда немного воспалены и всегда неопределенно тусклым взором смотрели куда-то вдаль. Обладатель этих глаз при самом простом разговоре казался всегда или усиленно сосредоточенным, или тревожно рассеянным; можно было подумать, что он постоянно созерцает духовными очами какую-нибудь неописанную красоту или постоянно старается уловить ухом какую-нибудь вечно ускользающую от него райскую мелодию; а на самом деле ничего этого не было. Телицын был просто верующим жрецом и слепым поклонником того идола, перед которым он хотел повергнуть в прах своих слушателей. На алтаре этого идола он с улыбкою блаженства сжигал медленным огнем свой мозг и свои жизненные силы. Для него слова Беранже: «L'ignorance, c'est l'esclavage, le savoir, c'est la liberté» были догматом веры. Какой savoir? какая liberté? он об этом не спрашивал и был твердо уверен, что изучить влияние византийских писателей на проповеди Кирилла Туровского или рассмотреть литературные приемы

Нестора значит до известной степени рассеять мрак губительной *ignorance* и потрясти основы ненавистного *esclavage*. Телицын был лучший продукт нашего университетского образования; он именно достиг той точки развития, которая составляет крайний и высший предел педагогических тенденций наших университетов. Пойти дальше, забрать вверх или в сторону — значило бы уклониться от той патентованной цели, которую самые лучшие профессоры показывают своим слушателям как цель, исключительно соответствующую достоинству и назначению человека.

Так как всякую систему следует судить именно по тем ее произведениям, которые она сама считает вполне удавшимися, то вот я ставлю перед читателем портрет Телицына и говорю ему: таков идеал, к которому стремится наше университетское образование. Как он вам нравится? Чувствуете ли вы в душе своей неотразимое желание приблизиться к этому результату? Находите ли вы, что обновление России будет совершаться быстро и радикально, если десятки тысяч Телицыных будут рассеяны на всех поприщах нашей общественной деятельности? — Не знаю, как вы ответите на эти три вопроса; не скажу вам также, как ответил бы я на них теперь; но в 1856 и в 1857 годах я ответил бы на первый вопрос: «очень», — на второй: «чувствую», — на третий: «нахожу». Кроме того, я самые вопросы нашел бы странными и на вопрошающего посмотрел бы как на обскуранта, кощунствующего над святыми представителями науки. 1856 и 1857 годы были, как известно, тем временем, когда наше общество во что бы то ни стало стремилось убедить себя в том, что оно переживает великую эпоху, — тогда множество старых вещей перекрашивались заново и действительно принимались за новые теми самыми людьми, которые собственноручно отдавали их к красильщику и принимали их от него обратно. При этом краски часто оказывались непрочными или разъедающего свойства, так что материи в скором времени линяли или расползались. Это стремление обольщаться и надеяться проявилось и в университете, где мы немедленно определили, что Креозотов и Кавыляев будут считаться представителями отживающего порядка вещей, а Телицын — кротким ангелом прогресса и вдохновенным провозвестником лучшего будущего.

Если читатель примет в соображение, что эти два года юношеских мечтаний матушки России соответствовали именно такой же поре в моей личной жизни, то он поймет, что образ Телицына должен был произвести на меня чарующее и одуряющее впечатление. Я увлекался в одно время и чувством массы и своею личною потребностью найти себе учителя, за которым я мог бы следовать с верою и любовью. Мысли о занятиях историею замерли во мне благодаря советам Креозотова. В этих мыслях никогда не было ничего серьезного, и я думал приняться за историю только потому, что история — самая яркая наука нашего факультета; она первая

бросается в глаза, и я схватился за нее, как ребенок хватается за пламя свечи. Теперь же, когда я всем сердцем возлюбил Телицына, теперь, когда он гальванизировал меня и товарищей моих лукавыми хвостиками своих лекций, теперь в душе моей зародилось неудержимое желание посвятить себя — чему? зачем? — ну, все равно, чему бы то ни было, а только посвятить себя. *Наука*, *истина*, *свет*, *деятельность*, *прогресс*, *развитие* — эти слова так и кувыркались у меня в голове, и это кувырканье казалось мне ужасно плодотворным, хотя из него ничего не выходило, да и выйти ничего не могло. «Хочу служить науке, хочу быть полезным; возьмите мою жизнь и сделайте из нее что-нибудь полезное для науки!» — Восторгу было много, но смыслу мало. Слово *наука* осталось для меня любезным звуком, как остается она для многих людей, утешающихся всю свою жизнь тем приятным заблуждением, что они ее, науку, двигают вперед. Не понимая того, что такое «наука», и даже не спрашивая себя о том, на какое употребление и какой сорт ее годится для человека, я, конечно, не мог понимать и того, что полезно и что бесполезно для науки. Стало быть, фраза моя изменилась так: «Возьмите мою жизнь и истратьте ее на что хотите». А из этого следует заключение, что возбуждать в молодых людях беспредметный восторг и ослеплять их блеском добродетельных слов вовсе не похвально, потому что молодые люди от этого глупеют, по крайней мере на время, а потом, когда пройдет их глупость, они начинают смеяться над тем, что возбуждало, и над тем, кто возбуждал в них неосмысленное благоговение. Действительная наука, плод внимательного наблюдения и трезвой мысли, по самой природе своей враждебна всяким восторгам, как бы ни были они добродетельны. Если бы химик или физиолог с восторгом принимался за свои опыты, то зрелище вышло бы чувствительное, но опыт не привел бы к искомому результату, или по крайней мере результат был бы неправильно понят или превратно истолкован. Что же касается до тех ученых, которые пишут о Несторе и Кирилле Туровском, то им, конечно, восторги вредить не могут, потому что они опытов не производят, и еще потому, что для их соотечественников и для всех прочих людей решительно все равно, к каким бы результатам они ни пришли и до каких бы умозрений они ни дописались.

IX

Последняя лекция Телицына перед святками 1856 года была ознаменована следующим событием. Наш обожаемый профессор сказал, что для пользы науки и для назидания студентов нам следует перевести несколько ученых исследований и рассуждений. Тут он назвал, между прочим, статью Якова Гримма «Ueber den Liebesgott» («О боге любви»), — другую статью того же автора:

«Ueber das Verbrennen der Todten» («О сожжении мертвых»), статью Шафарика о числительных именах, брошюру Штейнталя «Die Sprachwissenschaft Wilhelm von Humboldt's und die Hegelsche Philosophie» («Языкознание Вильгельма Гумбольдта и философия Гегеля»). Случилось так, что я сидел во время этой лекции на средине скамейки; товарищи мои, сидевшие по обоим концам, тотчас после окончания лекции встали, подошли к кафедре и взяли себе те работы, которые были полегче, а на мою долю осталась только одна зловещая брошюра Штейнталя. Делать было нечего; Телицын смотрел мне прямо в глаза и еще говорил с рассчитанным коварством, что эту брошюру перевести особенно необходимо. Я мысленно перекрестился и протянул к ней руку. Рубикон был перейден, и Телицын овладел мною. В брошюре Штейнталя оказалось 140 страниц, и содержание ее роскошно выполнило те грозные обещания, которые давало заглавие. О философии Гегеля распространяться нечего. Всякий читатель знает понаслышке, что это штука хитрая и что понимать ее мудрено и, кроме того, бесполезно. Что же касается до Гумбольдта, то об нем сами немцы, и притом его поклонники, говорят, что он неясен, но что эта неясность происходит от новизны и оригинальности его идей. Теперь вообразите себе, что Штейнталь, который о высоких материях пишет так же удобопонятно, как и все прочие немцы, начинает сравнивать Гегеля с Гумбольдтом, и притом не факты, добытые ими, не результаты, к которым они пришли, а методы их мышления и исследования; и это сравнение продолжается на 140 страницах; и это надо было переводить мне — человеку, читавшему Маколея с трудом и Диккенса без особенного удовольствия. На моем младенческом лице было ясно видно, насколько я способен судить о Гегеле и Гумбольдте, и Телицын мог это заметить, но Телицын на такие пустяки не обращал внимания и с наслаждением готовился зарезать юную жертву на алтаре своего идола.

Когда я начал читать брошюру Штейнталя, то у меня на первых пяти строках закружилась голова, и я понял, что читатели, к которым обращается автор, должны знать очень многое, а что я этого многого совсем не знаю. Тогда я решился не читать, а прямо переводить, хотя бы связь между отдельными периодами и смысл целого остались для меня совершенно непонятными. И я это выполнил. Зная отлично немецкий язык и владея хорошо русским языком, я передавал верно и отчетливо один период за другим, — и независимо от моей воли являлся какой-то общий смысл, точно так же, как в чтении чичиковского Петрушки из отдельных букв всегда составлялось какое-нибудь слово, которое иногда и черт знает что значило. Но переводил я долго и потом сам переписывал свою работу. Встречаясь со мною в университете, Телицын не раз говорил мне шутя, что Штейнталь не так долго писал свою брошюру, как я ее перевожу. По-моему, тут нет ничего удивительного.

Штейнталь, вероятно, понимал, что он пишет, а я совсем напротив. Месяца четыре ушло на мою работу; наконец, придя на экзамен Телицына, я вручил ему две толстые тетради, заключавшие в себе переписанный набело перевод ужасной брошюры. Должно быть, в то время демон умственного эпикуреизма, о котором я упомянул выше, был совершенно подавлен добродетельными стремлениями, возбужденными во мне влиянием Телицына. Переводить книгу, которую не понимаешь, — это, конечно, самая неприятная и самая кретинизирующая работа, какую можно себе представить; и между тем я довел эту работу до конца. Очевидно, демон был низринут и посрамлен, но Телицыну этого было мало. Он тут же, на экзамене, попросил меня на выдержку прочесть две-три страницы из моего перевода. Оказалось, что перевод хорош. Телицыну пришло в голову поместить мой труд в наш студенческий «Сборник». Такое желание польстило моему самолюбию. Но тотчас представилось возражение: объем перевода слишком велик; а вслед за возражением явилось в уме Телицына средство помирить противоречия: — сделайте, говорит, из вашего перевода извлечение. От этого предложения меня в жар бросило. Этого только недоставало. Перевел — ничего не понял, а теперь извлекай из того, чего не понимаешь. Что же я извлеку? А положение безвыходное. Сказать: «не хочу» — неловко, да и весь разговор совсем не в таком тоне был веден. Признаться в том, что переводил машинально, признаться публично, при студентах, — ведь это значит — дураком себя назвать. Нет! что будет, то будет! Все эти размышления промелькнули в моей голове чрезвычайно быстро, и я сказал Телицыну, что извлечение будет сделано. Я занялся этим трудом на каникулах и окончил его успешно, хотя и на этот раз нельзя было сказать, чтобы понимал мысли Штейнталя. Приемы мои при этой работе были довольно оригинальны. Я определил себе известный масштаб, именно, чтобы три страницы перевода превращались в одну страницу извлечения; соображаясь с этим масштабом, я сжимал и сокращал язык моего перевода, так что извлечение мое оказалось просто миниатюрною фотографиею с большой картины. Я ухитрился даже в этом случае работать машинально; да иначе и не мог работать над таким сюжетом человек, не имеющий никакого понятия ни о Гегеле, ни о Гумбольдте, ни о философии, ни о языкознании, ни об умственной жизни Германии и решительно ни об одном из тех предметов, о которых совершенно свободно рассуждал Штейнталь.

Как вы думаете, читатель, во что превратил бы меня Телицын, если бы я лет пять поработал под его руководством? Ведь такая операция над Штейнталем стоит целого года машинальной канцелярской работы; ведь тут человек не развивается, а, напротив, привыкает обращаться с чужими мыслями как с закупоренными тюками, которые он перетаскивает с места на место и расставляет в симметрическом порядке, не заботясь о том, что в них наложено.

Является искусство строить фразы, привычка вставлять в эти фразы научные термины, способность запоминать и передавать непонятые идеи, — является попугайство и обезьянство; ко всему этому присоединяется гордое самодовольство, что вот, мол, я сколько книжных понятий усвоил, вот сколько научных статей произвел, вот какую пользу великую принес. Когда явилось такое самодовольство, тогда человека следует признать совершенно погибшим; тогда критическая способность утрачена, а вместо способности мыслить приобретена способность нанизывать слова и предложения, соединять их в периоды, а из периодов составлять статьи, диссертации или книги. Работая под руководством Телицына, я большими шагами направлялся к такому блаженному состоянию.

X

Телицын имел полную возможность вглядеться в меня и из разговоров со мною узнать степень моего развития. Летом 1857 года мне пришлось ехать с Телицыным по железной дороге из Петербурга в Москву. Мы пробыли вместе 30 часов, и по крайней мере 10 часов были проведены в серьезных разговорах. Я с наивным восторгом объяснял Телицыну, какую чудесную перемену произвел во мне один год, проведенный в университете, как перед моею мыслью открылись целые новые горизонты и какие теперь у меня хорошие стремления. Телицын все это слушал с любовью и со вниманием, умиляясь и восторгаясь вместе со мною, а это, конечно, еще более поддавало мне жару. Человек рассудительный и неспособный удовлетворяться пылкими речами тотчас спросил бы у меня, в чем именно состоит перемена, какие горизонты и к чему клонятся стремления. При таком вопросе с меня поневоле соскочил бы хмель, и, может быть, за пароксизмом восторга последовал бы пароксизм уныния: пришлось бы вдруг сознаться, что все упоение произведено какою-нибудь дюжиною слов и что, кроме этих слов да профессорских записок, не воспоследовало никакого умственного приобретения; но на профессорские записки я уже смотрел без особенного благоговения, а слова, какие бы они ни были, все-таки не могли казаться мне магическими талисманами. Значит, все умственное богатство мое оказалось бы просто возбужденным состоянием мозговых нервов, и рассудительный человек тотчас понял бы, что со мною следует говорить как с мальчиком, совершенно неразвитым и ничего не знающим, что мне следует рекомендовать чтение серьезное, но вполне доступное и что задавать мне какую-нибудь работу совсем не годится, потому что ум мой должен питаться, а не тратить свои силы в преждевременной производительности. Но Телицын ничего этого не разобрал; все мои восторги были приняты за доказательства развитости; болтовня моя о науке сошла за чистую монету, и мой собеседник пресе-

рьезно посоветовал мне заняться специально теориею или философиею языка.

Чтобы оценить этот совет, надо знать, что философия языка основывается на громадном сравнительном изучении отдельных языков. Люди, посвящавшие себя этой отрасли науки, старались по возможности познакомиться со всеми существующими на земном шаре языками, что было совершенно необходимо, потому что цель философии языка (или философского языкознания, или филологии) заключается в том, чтобы представить ясное и верное понятие о *слове*, т. е. о способности человека выражать свои мысли и ощущения членораздельными звуками. Преследуя такую цель, необходимо знать, как проявляется эта способность у различных народов, потому что без этого предварительного знания нельзя позволить себе никакого заключения или даже правдоподобного предположения об общих свойствах изучаемой способности. Языки у различных народов оказывались до такой степени несходными, что разные преждевременные теории о языке вообще разрушались в прах такими фактами, которые узнавались вновь. Оказывалось, например, что многие языки не различают существительного от глагола; оказывалось, что другие языки состоят не из слов, а из готовых предложений. Все это надо было принимать в расчет, потому что в самых нелепых и неразвитых языках все-таки действует та же способность, которая только в более сильной степени проявилась в самых богатых и гибких языках человечества. Кроме сравнительного изучения языков, необходимо изучение историческое. Надо же знать, как совершенствуется или ослабевает с течением времени рассматриваемая способность. Конечно, филологу нет необходимости говорить и писать на всех тех языках, которые служат ему материалами для сравнения. Но он должен иметь очень определенные понятия о системе звуков этих языков, о переходе звуков один в другой, об образовании слов из корней, о грамматическом строе, о синтаксических особенностях; кроме того, он должен знать до некоторой степени лексический состав языков, т. е. запас наиболее замечательных слов, чтобы сближать эти слова со словами и корнями других языков. Если ученый хочет ограничить свои исследования одним племенем языков, если, таким образом, из области философии языка он спускается в область сравнительной грамматики, то с уменьшением объема его трудов должна увеличиться глубина его знаний. Немецкие филологи, занимающиеся индоевропейскою семьею языков, знают уже во всех подробностях языки санскритский, зендский (древнеперсидский), литовский, греческий, латинский, старославянский, готский и англосаксонский. Наконец ученые, сосредоточившиеся, подобно Якову Гримму, преимущественно на историческом изучении немецкого языка, доводят знание всех его старых и новых оттенков и всех иностранных языков, соприкасавшихся с ним даже в глубокой древности, до изумительной полноты и до непостижи-

мого совершенства. Целая долгая жизнь деятельного и умного человека наполняется этим изучением, и потом все-таки оказывается, что изучение это только что затронуто и что еще десятки людей будут посвящать продолжению работы свои лучшие силы.

Мы можем сомневаться в практической полезности подобных занятий, можем находить, что несколько человеческих жизней истрачиваются на них непроизводительным образом, но во всяком случае мы не можем отказать в полной дани уважения тому трудолюбию, той умственной энергии, тому глубокомыслию и остроумию, которые несомненно обнаруживаются в этих утомительных и кропотливых изысканиях. Но если мы, оставляя в стороне ученых немцев, устремим наши взоры на наших отечественных языкознателей, то тут никакой дани нам выдавать не придется, потому что соотечественники наши — народ сметливый и находят, что загребать жар своими руками горячо, а чужими даже приятно. У нас до сих пор сделано только одно открытие в области филологии, именно открытие Востокова о юсах, [21] и с этим открытием наши ученые нянчатся уже очень давно, потому что для них, конечно, это невиданная диковинка. Все же остальные наши ученые (а их таки не мало) совершенно усвоили себе ту великую истину, что прочесть немецкое исследование, даже очень толстое, гораздо легче, чем учиться санскритскому, зендскому и всяким другим, более или менее неприятным языкам. С этою истиною соображаются все их ученые подвиги. Немец на каждой странице своего труда приводит сопоставления форм и слов, взятых из разных родственных языков, и русский делает то же самое. Но немец сам разыскал эти формы и слова, а русский отважно переписал работу немца и даже не проверил ее, потому что не может этого сделать. Если русский к заимствованным рядам форм и слов присоединил соответствующие русские слова и формы, тогда имя его упоминается с уважением, и студентам говорят на лекциях: «Даровитый ученый такой-то в своем замечательном сочинении таком-то применил блестящим образом к нашей отечественной науке метод Якова Гримма», или какого-нибудь другого туза филологии. Конечно, между нашими языкознателями есть и умные люди, понимающие в глубине души, что их экскурсии в немецкие книги можно называть наукою только из вежливости; эти господа смотрят на свои работы без особенной нежности, но, как умные люди, они понимают, что экскурсии питают и греют их, и потому они не видят никакой надобности ратовать словом и пером против обычаев, укоренившихся в ученом мире. Что же касается до большинства наших филологов, то они так сжились с существующими условиями ученой деятельности, что находят их совершенно нормальными.

К этой многочисленной категории деятелей принадлежал и Телицын; занимаясь древнею русскою литературою и не имея никаких лингвистических сведений, он находил совершенно возможным читать нам лекции по философии языка и приводить

множество примеров и сближений из санскритского, зендского и других столь же известных ему языков. Мало того. Он даже находил совершенно естественным и похвальным вести по следам своим юного ревнителя науки и служить ему руководителем в такой отрасли знаний, в которой он, Телицын, был сам несведущим учеником. Он советовал мне читать сочинения Вильгельма Гумбольдта, Гримма, Боппа, Потта, Шлейхера, — но о действительном изучении языков не было и речи. По мнению Телицына, было совершенно достаточно усвоить себе идеи немецких филологов, а доходить до самостоятельного исследования или до критического отношения к благодетельным немцам — значило мечтать о недоступной и совершенно излишней роскоши. Совет Телицына был, таким образом, диаметрально противоположен совету Креозотова. Телицын советовал питаться высшими идеями, а Креозотов рекомендовал глотать сырые факты. Как ни различны эти два совета, в них есть, однако, существенное сходство: оба они рассчитывают исключительно на память; следуя тому или другому совету, учащийся должен навсегда отказаться от развития критического смысла, потому что общая идея, построенная на неизвестных вам фактах, представляется вам в свою очередь голым фактом, который надо запомнить, но над которым размышлять невозможно. Кто знает сравниваемые языки, для того сравнительная филология является осмыслением и приведением в систему известных фактов; а кто их не знает, тот принимает идеи науки на веру и закрепляет их у себя в памяти, как мог бы закрепить какую-нибудь хронологическую таблицу. Когда происходил у меня этот разговор с Телицыным, тогда я, конечно, не оценил прелести его совета и принял его с тою добродушною радостью, с которою принимал до тех пор все профессорские советы, думая всякий раз, что философский камень найден и что, наконец, жизнь моя окончательно посвящена великой научной деятельности.

XI

Осенью 1857 года, возвратившись с каникул, я отдал Телицыну составленное извлечение из брошюры Штейнталя. Телицын вполне удовлетворился им и только спросил у меня, вполне ли я усвоил себе различие между методом Гегеля и методом Гумбольдта. Я отвечал ему, что Гегель, вот видите ли, все напирает на чистое мышление, а Гумбольдт основывает свои выводы на наблюдении и изучении фактов. Если бы Телицын сколько-нибудь вошел в подробности, то я бы тотчас положил оружие; но руководитель мой, кажется, сам был поверхностно знаком с мыслями Штейнталя, и потому ответ мой показался ему достаточно убедительным. Вы спросите, читатель, отчего же я сам не требовал у Телицына объяснения темных мест. Да, хорошо требовать объяснения тогда,

когда в книге не понимаешь двух-трех отдельных фраз, но когда вся книга представляется каким-то туманным пятном, тогда не знаешь, о чем и спросить. Кроме того, я видел, какое хорошее мнение внушает обо мне Телицыну моя ярость к науке; жаль было разрушать такое мнение, тем более что в глубине души я надеялся на последовательное и серьезное чтение как на верное средство без посторонней помощи рассеять туман, скрывавший от меня идеи Штейнталя и разных других умных людей.

Расчеты мои с Вильгельмом Гумбольдтом оказались далеко не оконченными. Однажды Телицын сообщил мне, что недавно вышла в свет подробная биография Гумбольдта, написанная Гаймом, [22] и что было бы очень хорошо, если бы я по этой книге составил статью, которая, в соединении с оконченною моею работою, могла бы быть помещена в студенческом «Сборнике». К этому предложению Телицын присоединил несколько убедительных резонов: «Вы, говорит, этим составите себе имя, вам, говорит, это особенно удобно, потому что вы уже знакомы с методом Гумбольдта». Как я ни был наивен, но мысль о составлении себе имени посредством извлечения из немецкой книги показалась мне смелою, а второму аргументу я придал еще менее значения, потому что мне были слишком хорошо известны мои отношения к методу Гумбольдта. Но предложение Телицына я все-таки принял. «Что ж, — думал я, — ведь вот перевел и извлек, не понимая, — авось и Гайма обработаю так же удачно; да и наконец, все-таки я в брошюре Штейнталя присмотрелся к ученому языку, так что есть надежда, что теперь пойму больше». Справлялся я в некоторых магазинах и узнал, что книга Гайма стоит 5 рублей. Это мне было не по деньгам. Я сообщил об этом горе Телицыну и, по его совету, решился читать Гайма в Публичной библиотеке. Началось плинфоделание египетское. [23] Почти каждый день, в седьмом часу вечера, я приходил в читальную залу и читал до девяти часов, пока звонок не объявлял посетителям библиотеки о том, что пора опочить от дел. Читая в библиотеке, я отмечал на клочке бумаги собственные имена и цифры годов. Идеи и события я удерживал в памяти и потом, возвратившись домой, торопился в тот же день обработать письменно прочитанную часть книги. Таким образом я принужден был писать статью без всякого общего плана. Мне приходилось раболепно следовать за Гаймом и резюмировать начало его книги, не зная, какова будет середина и к чему приведет конец. Если бы я распорядился иначе, если бы, например, я прочел сначала всю книгу, а потом начал бы писать свою статью, то вышла бы двойная работа. Я не мог иметь книгу под руками во время самого писания статьи, потому что из Публичной библиотеки книг не выдают на дом, а писать в самой библиотеке было совершенно неудобно, во-первых, потому что в читальной зале, обыкновенное дело, довольно тесно, во-вторых, потому что постоянный приход и уход посетителей не позволял сосредоточиваться

и вдуматься в работу. Даже простое чтение шло у меня в библиотеке довольно медленно; часто приходилось останавливаться и перечитывать по нескольку раз одно и то же место, чтобы дойти до действительного понимания. Если бы я вздумал, не приступая к писанию, прочесть сначала всю книгу, то мне потом пришлось бы еще раз читать ее по частям, и общий самостоятельный план статьи не мог бы быть составлен и выполнен, потому что для выполнения такого плана совершенно необходимо иметь перед собой во время работы весь собранный материал, всю прочитанную и продуманную книгу, а удержать ясно и отчетливо в памяти все черты подробной биографии, заключающей в себе более 700 страниц, положительно невозможно.

Итак, я смиренно строил свой домик, кладя кирпич на кирпич и не зная заранее, какая из всего этого выйдет фигура. Работа шла медленно, потому что за один раз я не успевал прочитать более 30 страниц; кроме того, требовалось часто проверять написанное; иногда не оказывалось возможности тотчас резюмировать прочитанные страницы, и тогда являлась необходимость читать их еще раз. Если прибавить к этому, что от моей квартиры до библиотеки было полчаса скорой ходьбы и что нанимать извозчиков значило бы заплатить за Гайма дороже 5 рублей, то читатель увидит, при каких благоприятных условиях подвигался вперед мой ученолитературный труд. Самое чтение требовало с моей стороны сильного напряжения ума; книга Гайма была написана ясно, изящно и даже картинно, и я сознавал и ценил в ней эти достоинства; но Гайм писал все-таки для образованных немцев, а не для российских юношей, преуспевавших в гимназии и восторгавшихся любезными звуками в университете. Гайм говорил мимоходом о политическом состоянии Европы, о литературном и умственном движении в Германии, называл личности и положения, упоминал о партиях и кружках, о симпатиях и антипатиях, о надеждах и разочарованиях, о конституциях и реакциях — предметах, которые известны всем образованным людям, но которые для меня оказывались скорбною загадкой. Мне приходилось тратить бездну внимания и остроумия, мне приходилось предполагать и угадывать, — мне надо было быть Шамполионом в таком месте, где не было ни одного гиероглифа. Мне надо было, наконец, называть в моей статье имена и события, не вызывавшие в уме моем никакого определенного представления, и надо было называть их с самоуверенностью и в то же время с осторожностью, так чтобы читатель не заметил моих колебаний и не уличил меня в каком-нибудь вранье.

При таких условиях писание статьи очень похоже на путешествие по тонкому льду, который на каждом шагу трещит под ногами, — и на месте стоять неудобно и с места тронуться боязно. Однако я не провалился в моей статье, но надо знать, чего мне это стоило; надо знать, что, сидя в библиотеке, я иногда схватывался за голову обеими руками, потому что голова шла кругом от судо-

рожных усилий моих найти настоящий смысл шарад и гиероглифов, заключавшихся собственно для меня в книге Гайма. Надо знать, какое это неприятное чувство — видеть перед собой несколько собственных имен, знать, что их следует поместить в статью, и чувствовать при этом, что можешь сказать о них только то, что вычитал вчера в книжке; собственного мнения не имеешь; боишься употребить свой оборот или свой эпитет, потому что можешь провраться; и при всем этом соблюдаешь декорум и притворяешься перед публикою, будто владеешь вполне обрабатываемым материалом. Точно будто ходишь на цыпочках по темной комнате и каждую минуту ожидаешь, что стукнешься лбом в стену или повалишь ногою какую-нибудь затейливую мебель. И это мучительное чувство неловкости, притупляющееся со временем от упражнения в фразерстве, делает честь тому, кто его испытывает. Это естественное отвращение молодого ума к шарлатанству и притворству. Но отвращение это скоро изгладилось бы, и искусство составлять фразы из непонятных терминов и имен развилось бы у меня до замечательной виртуозности, если бы за статьею о Гумбольдте следовали другие подобные работы. Полюбуйтесь, читатели: кто насильно превращал меня в скептика? Профессор Креозотов, который сам вовсе не был скептиком. Кто вовлекал меня в шарлатанство? Профессор Телицын, который сам вовсе не считал себя шарлатаном. Таким образом, два почтенные наставника внушали своему питомцу: один — неуважение к старшим, другой — неуважительное обращение с наукой и с человеческой мыслью. Ни тот, ни другой не хотели прийти к таким результатам, а между тем выходило так. Должно быть, в это дело замешивался древний фатум. А еще вернее и во всяком случае проще то объяснение, что руководители сами нуждались в руководителях, и притом не сознавали этого и были довольны собою, — стало быть, в этом отношении стояли ниже тех студентов, которые чувствовали потребность совета и вразумления.

XII

Месяца три продолжалось писание статьи; недели три ушло на переписывание. Когда все было кончено, Телицын объявил мне, что есть еще сочинение о Гумбольдте, которое я также должен принять к сведению. Я заметил ему, что, стало быть, придется переделать заново всю работу; на это он возразил, что переделывать незачем, а что можно прочитать эту книгу Шлезиэра — «Воспоминание о Вильгельме Гумбольдте» и потом сделать некоторые дополнения и вставки. Я покорился, получил от Телицына книгу, состоявшую из двух томов среднего сорта и дородства, и начал делать в статье своей дополнения и вставки. Много требовалось технического искусства для того, чтобы пришить эти новые по-

дробности и скрыть от читателя белые нитки. В душе моей начинала уже шевелиться досада против распоряжений моего руководителя. Видно было, что его деспотическое господство над моею мыслью начинает колебаться. Как бы то ни было, работа моя была приведена к окончанию; выдержки из нее прочтены с успехом в собрании студентов, и их приговор решил, что статья моя заслуживает быть помещенною в студенческом «Сборнике». [24]

Значит, подвиг совершен, и самолюбие удовлетворено. За окончанием труда всегда следует время отдыха, когда трудившийся оглядывается на самого себя, поверяет свои силы и отдает себе отчет в той пользе, которую принес ему оконченный труд. Биография и характеристика Гумбольдта, как человека и ученого, лежала передо мною в пяти толстых тетрадях, и, глядя на эти тетради, я припомнил, что в них заключена вся моя умственная жизнь за шестнадцать месяцев. Перевод Штейнталя был начат в декабре 1856 года, а выписки из Шлезиэра окончены в апреле 1858 года. Что же дал мне этот упорный и продолжительный труд? Телицын смотрит на меня как на дельного молодого человека и даже не прочь похвастать мною как своим произведением; многие студенты и некоторые профессора из не-филологов знают мое лицо и мою фамилию; работа моя печатается в сборнике. Ну, а потом? Мнение других обо мне возвысилось, но чем возвысилось мое действительное достоинство? Что я узнал? Да мало ли что! Узнал я, что на свете жили два брата фон Гумбольдт — Вильгельм и Александр; узнал, у кого учился Вильгельм, с кем был знаком, куда ездил, какие писал рассуждения и исследования; узнал даже по нескольку мыслей из замечательных его произведений. Все это — знания, на улице этого не подымешь. Если бы я приобрел эти сведения в две недели, то можно было бы сказать, что время не пропало даром. Но прийти к таким результатам после шестнадцатимесячного труда — это похоже на победу Пирра над римлянами. «Еще две такие победы, —говорил Пирр, —и мне придется бежать из Италии». — Еще полтора такие подвига, мог я сказать, и мне придется выходить из университета, потому что до окончания курса мне оставалось два года, т. е. столько времени, что я под руководством Телицына мог довести до конца еще одну биографию и потом остановиться на половине третьей работы, столь же полезной для моего развития и для будущей научной деятельности. Над этим стоило задуматься, и я действительно задумался. Мне пришло, наконец, в голову, что я, по милости Телицына, работал самым безалаберным образом и потратил пропасть лишнего труда и времени. Кто же так делает? думал я. Сначала перевести, потом сделать извлечение, потом к извлечению прилепить новую статью, потом в эту новую статью вшивать вставки. Что же это за руководитель? Да много ли он сам-то смыслит? Да полно, умный ли он человек? Наконец, добросовестно ли он распоряжался моими силами? И на все эти сокрушительные вопросы следовали быстро

и неотразимо сокрушительные ответы: нет, нет и нет! Образ Телицына сводился с пьедестала, и на голове его вместо сияющего ореола появлялся какой-то смиренный колпак; и его мечтательный взор, и его рассеянность в разговоре, и его красивые слова в заключение лекций — все это освещалось иначе и приобретало другой смысл, очень простой и вовсе не торжественный. У него просто ум за разум заходит, думал я; он весь ушел в свои книги и говорить умеет только о том, что вычитал вчера или сегодня утром; дальше книг он видеть не может, и самый простой вопрос из практической жизни застает его врасплох и оказывается для него неразрешимым. Нет, решил я, такой человек не может служить другому руководителем в занятиях.

Несмотря на это правильное умозаключение, я сделал, однако, еще попытку в том направлении, на которое указывал мне Телицын. Я начал читать сочинения Вильгельма Гумбольдта и думал собственными силами продолжать потом занятия по философии языка, обращаясь по временам к Телицыну за невинными библиографическими справками. Мне уж чересчур тяжело было сознаться перед самим собою, что почти полтора года ухлопано даром, и потому хотелось как-нибудь привязать новые постоянные занятия к работе по Штейнталю и Гайму. Конечно, из этого не могло выйти ничего путного. Философским идеям Гумбольдта не на что было опереться в моем мозгу, и чтение не оставляло во мне прочного следа, а только приучало меня к немецкому философскому изложению. И за то спасибо, но время все-таки тратилось без особенной пользы. Между тем Телицын, как молодой ученый, подающий блестящие надежды, уехал на казенный счет за границу. Это обстоятельство довершило и упрочило мое освобождение из-под его влияния. Надо сознаться, что это влияние было для меня вроде крепостной зависимости. Мой труд считался за ничто, и Телицын расходовал его самым нерасчетливым образом, давая советы наобум и не обращая внимания на мои собственные умственные потребности. Правда, что я и сам не сознавал этих потребностей; но дело руководителя в том и состоит, чтобы дать своему питомцу такое чтение, которое пробудило бы его самосознание и привело бы в ясность его умственные требования. Толпа студентов провожала Телицына на пароход, но когда он уехал, тогда критический взгляд на его личность и деятельность стал быстро вырабатываться в головах его обожателей. Этому критическому взгляду содействовали во многих отношениях письма Телицына из-за границы, печатавшиеся в одном московском журнале. [25] Я помню, как, прочтя вместе с одним из моих товарищей одно из этих писем, я вынес из продолжительного чтения только ту мысль, что студенты одного немецкого университета носят очень широкие панталоны. Товарищ мой, которому я сообщил этот результат, нашел, что это действительно самое рельефное впечатление, остающееся от чтения письма.

XIII

Долго поклонялся я Телицыну, и дорого стоило мне это «любление твари паче бога»; * но когда кумир мой оказался чурбаном, тогда уже всякое идолослужение сделалось для меня отвратительным и, следовательно, навсегда невозможным. С осени 1858 года я объявил себя независимым, и отношения мои к университету и к профессорам, к лекциям и советам сделались чисто отрицательными. Начинался третий год моего студенчества, целая половина курса лежала уже позади меня — и помянуть ее было нечем. Слова, стремления, беготня по коридорам университета, бесплодное чтение, не оставлявшее по себе ни удовольствия, ни пользы, машинальная работа пером, не удовлетворявшая потребностям ума и не дававшая даже денег, школьническое приготовление к экзаменам и школьническое отвечание на экзаменах, скука на лекциях, скука дома — вот и все, что пережито мною в эти два года, вот и все, чем наградил меня волшебный мир университета за мою страстную и неосмысленную любовь к недостижимым и неведомым сокровищам мысли. Горько было не то, что пропали даром два года; я молод и деятелен; наверстать потерянное время нетрудно. А горько и страшно то, что ошибки потерянных лет ничему не научили меня и не могли пригодиться на будущее время. По прошествии двух лет я не только не сделал ни шагу вперед в той или другой области знания, но я даже не знал, за что приняться и как взяться за дело. Детская доверчивость моя была уничтожена, но опыта и собственного умения руководить своими занятиями не было приобретено. Я увидел, что проводники ведут меня в трущобу, и ушел от этих проводников, и остался в лесу один, и все-таки не знал, куда идти и что делать. Пока я доверял проводникам, положение мое было опасно, но я был доволен и успокоен; когда я бросил проводников, во мне явилось чувство тревоги и боязни, но положение мое не улучшилось, или по крайней мере улучшилось только в том отношении, что я оценил его неудобства.

Вопрос о выборе специальности начал принимать в моих глазах серьезное и угрожающее значение; он сделался для меня загадкою сфинкса; разрешения этой загадки стала требовать уже не одна любознательность, к любознательности стало присоединяться чувство самосохранения. «Отгадай, или я тебя проглочу», — говорит сфинкс. Выбери специальность, говорил я себе, или клади зубы на полку. До выхода из университета остается меньше двух лет, а потом что? Жить попрежнему на родительских хлебах? Да ведь надо же и честь знать. Не для этого давали мне образование, это образование и без того уже достается тяжело родительскому бюджету. Идти на службу? Да кого же это так прельстит мой кандидатский диплом? Кто же это мне по первому востребованию отведет

* «Любовь к творению больше, чем к богу». — *Ред.*

штатное место? Да и что я такое? Образованный юрист или просвещенный администратор? Грамотных людей и без меня довольно в числе искателей мест, а кроме грамотности во всей моей филологической премудрости нет ни одной йоты, пригодной для канцелярской деятельности. Всякий заштатный писец уездного суда или квартального управления лучше меня сумеет написать и переписать входящую или исходящую. Я вот даже и не знаю, как назвать деловую бумагу. По ученой части пойти? В учители гимназии? Это, конечно, хорошо, но только что же я за учитель? Какую науку я возьмусь преподавать? Что я знаю, кроме книги Гайма о Вильгельме Гумбольдте? И что я успею изучить в течение этих двух лет, когда мне в это время придется еще готовиться к выпускному экзамену и писать кандидатскую диссертацию? Вопрос о специальности становился мрачным и грозил сделаться неразрешимым.

Не хорошо вообще, когда обстоятельства принуждают нас рассматривать один предмет с двух различных и почти независимых точек зрения. Не хорошо, когда является необходимость сделать компромисс между требованиями любознательности и нахальными доводами житейского расчета. Совсем не хорошо, когда наука представляется вам в одно и то же время целью и средством, высоким наслаждением и хлебным ремеслом. Тогда ваши отношения к науке делаются похожими на отношения пламенного любовника, которому повелительница его сердца платит за сердечный пыл наличными деньгами и готовою квартирой. При таких двусмысленных условиях вопрос о специальности запутывается окончательно, и вопрошающий юноша делается плохим ремесленником и негодным ученым. У него оказывается мало денег и еще менее учености. Целая долгая жизнь изнашивается в бедности и неизвестности, и, что всего обиднее, часто в подобной жизни тратится по мелочам такая масса умственного труда и терпеливого мужества — такая масса, которой было бы слишком достаточно, чтобы выдвинуть труженика вперед и сделать его полезным для общества и приятным для самого себя. И труженик ни в чем не виноват, потому что наука вообще плохое ремесло; иного она и обогатит, но она никогда не будет доставлять всем своим обожателям средства платить долги в мелочную лавочку. И так поступает не одна наука; заодно с нею действуют литература, коронная служба, адвокатура и все другие видоизменения умственного труда. Самый жалкий пролетариат распространен между бедными чиновниками, между неудавшимися литераторами, между непризнанными деятелями науки, и распространен между этими людьми гораздо сильнее, чем между сапожниками, булочниками или портными.

Очень понятно. Из умственных продуктов обществу нужен только первый сорт; поэтому, осыпая деньгами и знаками уважения отдельные единицы, оно бросает массе умственных тружеников сухие корки хлеба, да и то в ограниченном количестве.

Я не говорю, что оценка общества всегда безошибочна, но это обстоятельство не изменяет вопроса, потому что здесь дело идет не о действительном достоинстве умственного труда, а о степени его надежности и прибыльности. Калач, пара сапог, сюртук или пальто всегда нужны и всегда имеют какую-нибудь ценность, но нелепое исследование или роман, отвергнутые журналистами или книгопродавцами, не имеют никакой ценности и вводят их обладателя в убыток, потому что белая бумага, на которой написано произведение, дороже исписанной бумаги, идущей на макулатуру. Все это истины очень старые и очень простые, но их не понимает до сих пор та часть нашего общества, которая называется образованною. До сих пор самые рассудительные родители тянутся из последних сил, чтобы провести своих детей через средние и высшие учебные заведения и дать им в руки аттестат или диплом; до сих пор каждый рассудительный родитель взглянул бы на вас с гневным удивлением, если бы вы заикнулись ему о том, что не худо бы его Мишеньку или Володеньку мастерству какому-нибудь обучить; да вы, как человек благовоспитанный, никогда и не заикнетесь. Даже смелые журналисты наши, порывающиеся облобызать почву, [26] толкующие о том, что не мешало бы приписаться куда-нибудь и ради сближения и слияния перенести розги, могущие представиться по мирскому приговору, — даже эти милые патриоты не заикаются насчет Мишеньки или Володеньки. Им также кажется невдомек, что больше девяти десятых нашего брата бедствует, нищенствует и дармоедствует единственно оттого, что возлагает все упование на аттестаты и дипломы, а ко всякому ремеслу подходит только тайком и украдкой, урывками и самоучкой, да и то в случае голодной крайности. Но как же Мишеньку и Володеньку отдать в учение к сапожнику или портному? — скажет самая рассудительная мать: — Ведь хозяева морят голодом своих учеников, бьют их чем попало и порют их не на живот, а на смерть. — Точно так, ваше высокоблагородие! Но эти недоразумения между хозяевами и учениками вовсе не составляют незыблемого закона природы. Хозяева действуют так потому, что им отдаются в учение Мишки и Володьки, которых было принято кормить из хозяйственного расчета, а пороть по вдохновенью. До сих пор порют и скверно кормят в семинариях, и между тем понемногу перестают пороть и скверно кормить в гимназиях единственно потому, что гимназии более на виду у общества и более интересуют его.

Если общество будет заинтересовано тем, чтобы мастера обращались человечно с своими учениками, то это исполнится без особенного труда, и благодеяния человечного обращения будут естественным образом распространены на забитых и заморенных Мишек и Володек. Стало быть, только умственная неподвижность мешает родителям обращать своих детей в мастеровых, и только рутинная ограниченность мысли заставляет их навязывать детям такую карьеру, которая чрезвычайно похожа на лотерейный билет.

Выиграл — ты директор департамента, академик или известный писатель; проиграл — ты вечный чернорабочий с развитыми потребностями или просто нищий и паразит. Но выигрышей во всякой лотерее бывает чрезвычайно мало сравнительно с общим числом билетов, а между тем охотники до лотерей запоминают только примеры выигрышей и не обращают никакого внимания на тысячи печальных уроков самого поучительного свойства. Всякий хватается за неверный умственный труд и великодушно оставляет ремесленный труд младшей братии. От этого развивается в обществе бедность, от этого чахнет и умственная деятельность, которая по самой природе своей должна быть свободна даже от влияния материальных обстоятельств. Сапожник может писать очень хорошие поэмы в часы, свободные от работы; но если этот самый сапожник будет надеяться, для прокормления своей семьи, не на ремесло свое, а на свой поэтический талант, то ему естественно придется приневоливать себя к творчеству, и стихи будут выходить посредственные; может, правда, случиться, что талант его очень богат и что он способен творить постоянно, не истощаясь и не слабея; но всякий понимает, что такие таланты редки и что их обладатели, имеющие возможность прокармливать себя умственными трудами, принадлежат именно к тем счастливым исключениям, которым достался выигрышный лотерейный билет. И вот из-за этих-то исключений наше общество ежедневно жертвует судьбою тысяч своих молодых членов, которые могли бы быть хорошими и зажиточными, образованными и деятельными ремесленниками и которые, несмотря на то, делаются бедными и бесполезными чиновниками, жалкими литераторами и смешными учеными.

XIV

В общих чертах мне пришлось передумать, во время искания специальности, все те мысли, которые изложены в предыдущей главе и которые читатель, по всей вероятности, считает неуместным отклонением от главного предмета моей статьи. Мне было очень тяжело, и нерешительность моя увеличивалась вместе с мучительным сознанием, что время не терпит и что решиться на что-нибудь надо поскорее. Когда вам случается особенно торопливо одеваться, то дело редко идет удачно; вы спешите, и каждая отдельная вещь тоже спешит и не дается вам в руки. Я спешил заняться чем-нибудь, и потому только метался из стороны в сторону, хватался то за один предмет, то за другой, читал много, но, во-первых, без толку, во-вторых, с глухим отчаянием, с постоянною мыслию, что это все бесполезно и что ничего из этого не выйдет. Понятно, с какою горячею благодарностью я вспоминал тогда почтенных руководителей, сбивших меня с толку и отнявших у меня даже доверие к моим силам. От философии языка я кинулся к славян-

ским наречиям, потом обрушился на русскую историю, потом вдруг принялся изучать гомеровскую мифологию, потому что мне представилось, что в голове моей возникла гениальная идея, великолепно объясняющая греческое понятие судьбы или рока. В таких ристаниях по наукам филологического факультета прошло больше года. Товарищи мои иногда бранили меня за мою нелепость, иногда смеялись над моими постоянными тревогами, но мне было не до смеха, я и сам готов был бранить себя самым горьким и обидным образом. Каждый разговор с товарищами приводил меня в уныние или усиливал мою тревогу. Отчего, думал я, они все знают, что им делать? Один изучает памятники народной поэзии, да еще начал с кельтских песен и языку кельтскому выучился; другой занимается славянами и совершенно доволен своими занятиями; третий читает серьезные сочинения по древней истории и тоже не волнуется мятежными страстями. Отчего же я один одержим фуриями? Ответ найти было не трудно, но этот ответ меня не удовлетворял. Легко было понять, что все они читают спокойно потому, что каждый из них нашел себе дело по вкусу и постепенно втянулся в понравившееся занятие. Но тогда возникал вопрос: отчего же это мне ничто не нравится настолько, чтобы я взялся за дело и вработался в него? На этот вопрос следовало ответить так: подожди! найдешь и ты занятие по душе, а насильно влюбиться нельзя ни в женщину, ни в науку. Этот ответ приходил мне в голову, но против него всегда находилось сильное возражение: «ищите и обрящете». Специальность не придет ко мне сама. Я рискую целую жизнь просидеть у моря в ожидании погоды, если я не буду испытывать серьезными работами свои вкусы и способности.

В этом рассуждении было много справедливого, но я применял его к делу чрезвычайно уродливо. Мне следовало бы читать такие книги, которые могли быть интересны и полезны для всякого образованного человека. Исторические сочинения, особенно по новейшей истории, политико-экономические книги, популярные книги по различным отраслям права, сочинения по естественным наукам, наконец просто русские журналы и газеты — все это несомненно содействовало бы моему развитию, все это дало бы мне много знаний и во всяком случае не осталось бы для меня мертвым капиталом, если бы даже во время этих чтений я не встретился с тою неизвестною красавицей, которой я непременно хотел отдать мою жизнь и мои умственные силы. Если бы даже судьба погрузила меня в чтение «Русского вестника» [27] и таким образом сотворила бы из меня обожателя гг. Каткова и де Молинари, то и за это я мог бы сказать ей спасибо. Гг. Каткова и де Молинари я стал бы обожать за идеи, крайне рутинные, но все же новые для меня, как Телицына я обожал за красивые слова, годные только на то, чтобы вызывать рукоплескания неопытных студентов. Прогресс был бы очевидный. Кроме того, увлечение «Русским вестником» не могло быть продолжительно, потому что молодой ум восприим-

чив к проявлениям свежей мысли и потому что такие проявления могли встретиться мне в той же русской журналистике, в которой встретились бы узкие и ложные мудрования. Словом, мне непременно надо было взглянуть за двери университета, увидать действительную жизнь, хотя бы в журнальных книжках и в столбцах газет.

Я могу сказать без преувеличения, что если бы я употребил первые два года моего студенчества на постоянное чтение «Московских» или «Петербургских ведомостей», [28] газет вовсе не замечательных по своему литературному или политическому достоинству, то все-таки это чтение принесло бы моему развитию гораздо больше пользы, чем мои занятия профессорскими лекциями, Вильгельмом Гумбольдтом и переводом Страбона. Но, ухлопав два года, я продолжал ухлопывать до конца все время моего студенчества. Я видел, что ошибся в выборе занятий, но не понимал того, что мне следует радикально переменить метод и принцип занятий, следует выйти на свежий воздух из душных монастырских стен университетской науки. Я не брал в руки ни одной книги, не спросивши себя предварительно: а нужно ли мне это читать для моей специальности? А не есть ли это потеря времени? Я, например, не знал Жорж-Занда и не взял бы в руки ни одного ее романа из опасения потерять даром время, пригодное для чтения Краледворской рукописи [29] или «Мухамеданской нумизматики» Савельева. Я позволял себе прочесть Шекспира, Шиллера или Гете только потому, что эти имена упоминаются во всякой истории литературы; но и к ним я снисходил очень редко, потому что время дорого и путь ко спасению узок и прискорбен. Принимаясь за специальность, я всегда врезывался прямо в самую сушь, в такую сушь и глушь, которая могла иметь смысл и интерес только для человека, уже давно работающего в этой области наук. Кроме того, я обладал особенным искусством браться именно за те науки, к которым нет легкого и постепенного доступа. В славянских наречиях мне приходилось начинать с польской и чешской азбуки. В русской истории надо было преодолевать книгу Соловьева, исследования Погодина, работы Круга, Байера, Лерберга. Может быть, этого и не надо было; может быть, спор о варягах [30] мог остаться для меня в стороне, — но я думал, что необходимо начинать с начала, и, несмотря на все усилия, никак не мог заинтересовать себя ни чешскою азбукой, ни исследованиями о «Русской правде». Мне приходило иногда в голову, что я, может быть, вовсе не создан быть ученым; но такая еретическая мысль наполняла меня ужасом и негодованием. На что же я после этого годен и что же я из себя сделаю? Товарищи мои также смотрели с укоризною на слишком радикальные сомнения мои в отношении к ученой карьере, они говорили даже, что это блажь и лень, и я этому верил, хотя заподозрить меня в лености было мудрено и во всяком случае несправедливо. Но студенты и профессоры филологического факультета

были уже так устроены от природы, что на поползновение уклониться от ученой деятельности они смотрели как на ренегатство, как на умственное и нравственное падение. Это не помешало почти всем моим товарищам поступить на службу в разные департаменты, но они до сих пор утешают себя мыслию, что они будут держать экзамен на магистра и потом двигать науку вперед.

Влияние профессоров и студентов, влияние спертой университетской и особенно факультетской атмосферы постоянно толкало меня обратно к чешской азбуке и к «Русской правде»; и я опять боролся, и опять изнемогал, и опять приходил в отчаяние, зачем я не влюблен в русские древности и в славянское корнесловие. Перед глазами моими был поучительный образчик того ученого аскетизма, к которому я сам стремился так упорно и так напрасно: товарищ мой М., [31] занимавшийся славянами, не хотел знать ничего такого, что не касалось бы славянского мира. В этом нежелании была какая-то холодная и постоянная энергия; для него действительно существовал особенный славянский мир, и все, что выходило из пределов этого мира, составляло для моего товарища тьму кромешную и игнорировалось им с самодовольством и гордостью заклятого специалиста. По внушению гимназического учителя русской словесности он начал заниматься славянами еще в гимназии, втянулся в изучение мельчайших фактов и потом продолжал те же занятия в университете, обращая на остальные науки столько внимания, сколько было совершенно необходимо для того, чтобы кое-как выдерживать переходные экзамены. Об общем образовании его судить было невозможно, потому что он никогда не говорил ни о чем не-славянском; когда при нем студенты вели между собою общий научный разговор или философский спор (что составляет неизбежную принадлежность студенческого быта), тогда М. молчал или приводил частный пример из славянской истории или мифологии, из славянского языка или права, если спор допускал подобные вставки. Он вообще был холоден и сух; провести с ним полчаса с глазу на глаз было тяжело и утомительно, хотя он всегда встречал товарища радушно. Чтобы объяснить себе самому и другим исключительность своих занятий, он любил драпироваться в мантию всеславянского патриотизма; на тетрадях его красовался эпиграф: «Slavus sum et nihil slavici a me alienum esse puto» (Я — славянин и ничто славянское не считаю для себя чужим), — жалкая и смешная пародия на прекрасные слова: «Homo sum, et nihil humani...» (Я — человек и ничто человеческое и т. д.). [32] Он с пафосом говорил о величии славянского имени, но этот пафос никого не увлекал, потому что самый неопытный слушатель славянствующего витии мог чувствовать и действительно чувствовал, что восторг этот подогрет и что воодушевление это искусственно. Я не понимал славянских чувств моего товарища, да и все наши филологи вместе со мною сомневались в их искренности и даже отрицали их существование, —

а между тем мы все глубоко уважали М., как чрезвычайно дельного специалиста. В каждом из нас было гораздо больше жизни, чем в нашем славянине; каждый из нас был умнее и даровитее его, а между тем мы не задумывались ставить его выше нас всех, потому что он был отрешенным от греховного мира специалистом. И я напрягал все свои силы, чтобы дойти до того умственного кастратства, в котором блаженствовал мой замечательный товарищ.

XV

Умственные страдания мои увеличивались каждый раз, когда я виделся и разговаривал с профессором Сварожичем, [33] занимавшим в нашем университете кафедру славянских наречий. Его слова были каплями уксуса, падавшими на мои свежие раны; между тем слова эти вовсе не были порицательного свойства, да и все обращение Сварожича со мною было чрезвычайно деликатно, ласково и даже задушевно. Сварожичу было около пятидесяти лет; он был академиком, членом многих обществ и пользовался очень громкою известностью в ученом мире. Не подлежит сомнению то обстоятельство, что он был умнее всех профессоров нашего факультета. Но ум этот, острый и проницательный, сухой и трезвый, был преимущественно разлагающего свойства; он мог преследовать ошибочную гипотезу в ее последние убежища, он мог разбивать красивую мечту без всякого сострадания к ее красоте, он разрушал всякую теорию, показывал несостоятельность всякого рискованного предположения, — и затем, окончив дело истребления, воздерживался от всякой попытки собственного творчества. Я уверен, что если бы Сварожич был химиком или анатомом, то имя его было бы гораздо известнее, и услуги, оказанные им знанию, были бы тогда действительно значительны и плодотворны. Но жизнь и умственная деятельность народа не могут быть вызваны из прошедшего одною критическою силою ума. Чтобы понимать человека, надо уметь поставить себя в его положение, надо перечувствовать его горе и радость. Историк нуждается, правда, в трезвой критике, чтобы очистить факты от выдумок и случайных искажений, но настолько же, или, может быть, еще более, нуждается он в силе воображения и чувства. Эти последние свойства часто вводят историка в ошибки, и историческая картина оказывается неверною; но если бы не было этих свойств, тогда картины не было бы вовсе, тогда не существовало бы истории. Историк, подобный Сварожичу, не ошибается никогда, потому что никогда не бывает историком. Его критика взвешивает каждый факт отдельно, отбрасывает все, что неправдоподобно, подмечает каждое внутреннее противоречие и пользуется им с замечательным остроумием. Потом, когда весь механизм прошедшей жизни развинчен и разобран, когда все колеса, винты и гайки пересмотрены и вычищены,

тогда вся эта груда очищенных частей оставляется в виде груды, и работник принимается за разборку другой машины. То, что делается в области истории, повторяется также в области филологии; язык так же развинчивается на звуки и части речи, а жизнь и дух языка, его особенности и красоты, в которых выразились свойства народа, остаются нетронутыми и непонятыми.

Таким образом, посвящая себя историко-филологической деятельности, сильный критический ум добровольно обрекает себя на ту черную работу, которая называется в ученом мире заготовлением материалов. Черная работа полезна, но если мы возьмем в расчет, что чернорабочий филолог мог бы быть первоклассным химиком или анатомом, то мы невольно пожалеем об его участи и заметим про себя, что большое дарование тратится на малые дела. Машинисту не следует быть землекопом, талантливому журналисту не следует быть приходским учителем, и точно так же Сварожичу не следовало быть заготовителем материалов, когда он сам мог бы быть замечательным деятелем в такой науке, которая требует только силы и трезвости критического взгляда. Я уверен, что сам Сварожич, как человек умный, понимал неестественность своего положения, но, по всей вероятности, он начал понимать ее уже тогда, когда дорога была выбрана, когда первые и самые трудные шаги были пройдены и когда, следовательно, поворотить назад и пойти по другой дороге было уже неудобно и тяжело. Он, конечно, никогда не говорил о том, что ему не нравится предмет его занятий, он постоянно работал настолько, насколько это было необходимо для поддержания составленной репутации, он даже увлекался иногда критическим процессом мысли, он ради приличия показывал сочувствие к судьбе и к поэзии славянского племени, — но всякий мало-мальски внимательный наблюдатель мог легко заметить, что Сварожич глубоко равнодушен к своей науке и даже невольно относится к ней с легким оттенком скептического презрения.

Понятно, что такие отношения человека к предмету его постоянных занятий должны быть мучительны; понятно также, что человек старается избавиться от этого мучительного ощущения и достигает своей цели; но умственное спокойствие покупается ценою нравственного достоинства. Сначала человек говорит себе: «Я приношу мало пользы на этом поприще; я здесь не на своем месте», — и ему тяжело от этого сознания; но потом он привыкает к своему ложному положению и начинает говорить себе: «А что за беда? Ведь люди глупы; им кажется, что я приношу много пользы. Меня уважают. Чем же я не на своем месте? Вон я сколько жалованья получаю!»

Такая история происходит со всеми ретивыми молодыми чиновниками, которые начинают замечать, что ретивость их должна укоротить поводья, и которые между тем не имеют духу покинуть благословенные палестины. Такая история произошла

некогда с Сварожичем. Как умный человек, он очень радикально излечился от всяких тяжелых сознаний и без малейшей любви к своему делу продолжал профессорствовать, работать в академии и заседать во всевозможных ученых обществах. Умственный труд, искание истины сделались для него службою, средством получать большое жалованье, дорогою к чинам и знакам отличия. И действительно, служба его шла блистательно. Имя его было известно даже заграничным славянским ученым, считавшим его в невинности души ревностным апостолом славянской науки в единственной самостоятельной славянской державе.

Странное дело! Начиная писать эту главу о Сварожиче, я хотел отнестись к нему почти с сочувствием, но чем пристальнее я всматриваюсь в эту замечательную личность, тем ниже падает она в моих глазах, и я начинаю чувствовать против нее такое негодование, какого не могли возбудить во мне ни Креозотов, ни Телицын, ни даже Иронианский. Тут нет, впрочем, ничего необъяснимого. И Креозотов, и Телицын, и Иронианский — смешные лилипуты в сравнении с Сварожичем. Глядя на них, мы только смеемся, пожимаем плечами и жалеем о той молодежи, которая, по милости этих господ, принуждена ежедневно терять по нескольку драгоценных часов. Но, рассматривая умственную деморализацию Сварожича, мы страдаем за него самого, страдаем за достоинство человека, потому что здесь мы видим падение замечательного ума, оставшегося замечательным даже в своем унижении. Падение Сварожича состояло в том, что он был рабом занимаемого им места, вроде того, как итальянский министр Урбан Ратацци был в 1862 году рабом своего министерского портфеля. [34] Если бы, для сохранения места, Сварожичу пришлось сжать в комок свое человеческое достоинство, то он исполнил бы эту эволюцию без малейшего тяжелого чувства, с едкою улыбкою на губах, потому что к человеческому достоинству он относился так же скептически, как к своим умственным занятиям. Влияние сильного ума во всяком случае так велико, что вы, присутствуя при операциях Сварожича над его человеческим достоинством, ни на одну минуту не почувствовали бы в себе силы презирать его; вы могли бы только чувствовать сильнейший гнев, вы могли бы задыхаться от негодования, — но вы в то же время понимали бы, что Сварожич сам, в минуту своего унижения, смеется и над собою, и над теми личностями, перед которыми он преклоняется, и над теми обстоятельствами, которые гнут его в дугу.

Конечно, такой характер мог развиться только при известных внешних условиях; но мне кажется, что его задатки заключались именно в неестественных отношениях Сварожича к предмету его умственной деятельности. Замечательные умы, направленные к такому труду, который поглощает все их силы и удовлетворяет всем их потребностям, находят именно в этом труде незыблемую точку опоры для своей нравственной самостоятельности. Они

влюбляются в свои идеи, и эти идеи, становясь для них дороже выгод и удобств жизни, делают их свободными и великими, непоколебимыми и мужественными. Вспомните старика Галилея, подумайте, почему он перед папским инквизиционным судом не побоялся произнести знаменитые слова: «А она все-таки вертится!» — подумайте об этом, и вы увидите, какой могучий и незаменимый талисман составляют для мыслящего человека любимые занятия его мысли. Если у вас есть такие любимые занятия, то на них сосредоточится ваш ум; и чем сильнее ваш ум, тем сильнее будет ваша привязанность к любимым занятиям, тем свободнее и самостоятельнее вы будете держать себя в отношении к посторонним предметам. Но если у вас нет любимых занятий, то ум ваш естественным образом направится на обсуживание практических житейских обстоятельств, и при этом обсуживании вы так же естественно будете брать за мерку практические потребности и удобства вашей особы; чем сильнее ваш ум, чем он свободнее от предрассудков, тем полнее и последовательнее он разовьет и приложит к отдельным случаям жизни ходячую мораль: с сильным не борись, с богатым не судись. Та же самая сила ума, которая в первом случае делала вас свободным и великим, сделает вас во втором случае маленьким рабом обстоятельств; или, вернее, в первом случае — великим человеком, а во втором — великим подлецом. Вот почему и говорят, что любовь и наука облагороживают человека. Облагороживают не знания, а любовь и стремление к истине, пробуждающиеся в человеке тогда, когда он начинает приобретать знание. В ком не пробудились эти чувства, того не облагородят ни университет, ни обширные сведения, ни дипломы. Понятно также, что место любимой научной деятельности может с совершенным успехом занять любимая литературная деятельность или любимый политический принцип.

Сильно развитая любовь ведет к фанатизму, а сильный фанатизм есть безумие, мономания, idée fixe; * но, с другой стороны, отсутствие любви приводит к скептицизму, а скептицизм, проведенный в жизнь с неумолимою логическою последовательностью, называется систематическою подлостью. И вот между бездною безумия, с одной стороны, и бездною подлости, с другой стороны, должен пробираться порядочный человек, балансируя на узкой тропинке, которая часто становится до такой степени узкою, что приходится только выбирать, куда свалиться: упадешь в безумие — все пожалеют, упадешь в подлость — пожалеют немногие, потому что большинство скажет: «Молодец!» В первом случае немногие пожалеют с оттенком уважения, многие — с чистым состраданием, а большинство — с примесью презрительной насмешки; во втором же случае те немногие, которые не скажут: «Молодец!», будут жалеть с горьким негодованием или с ледяным презрением, но

---

* Навязчивая мысль *(франц.)*. — *Ред.*

ведь их будет так немного!.. Остается, стало быть, затруднение выбора. Для Сварожича затруднения тут не было; он не любил падать без надобности и всегда до последней возможности балансировал на узкой тропинке, но когда приходилось круто, всегда падал молодцом и проворно выскакивал опять на узкую тропинку. Эти падения и выскакивания производились так легко и грациозно, что они никому не бросались резко в глаза и никому не западали глубоко в память. Поэтому личность Сварожича казалась и мне и другим личностью умного человека, дипломата, университетского Талейрана. Поэтому я приступил к ее анализу сначала с тем невольным уважением, которое всегда внушает к себе человеческий ум, с тем уважением, с которым историк XIX столетия стал бы вглядываться в физиономию Талейрана. Только решившись анализировать и называть вещи настоящими именами, я мог прийти к тем нелестным для Сварожича результатам, к которым привело меня естественное и непреднамеренное развитие мысли. К подобным результатам приходят, конечно, и биографы знаменитых дипломатов вообще и Талейрана в особенности.

Анализ личности Сварожича объясняет до некоторой степени, почему слова этого профессора всегда усиливали мои умственные страдания. Умному скептику было смешно видеть мои добросовестные и напрасные усилия влюбиться в науку, а даровитому и опытному критику стоило только сказать несколько слов, чтобы разбить в прах методы моих занятий. Как я ни приступал к делу, как ни изловчался, Сварожич, на суд которого я приносил свои попытки и планы, сию же минуту находил их слабую сторону и доказывал мне с самою ловкою улыбкою, что ничего из моих планов и занятий не выйдет. И я принужден был соглашаться, потому что против очевидности не спорят. А обращался я к Сварожичу по тому же самому побуждению, по которому химик испытывает золото самыми сильными кислотами. Если Сварожич не найдет против этого плана возражения, значит — действительно хорошо. Но возражение всегда находилось, и я всегда удалялся от Сварожича с целым ворохом разбитых иллюзий и перепутанных намерений. В том, что он разбивал мои иллюзии, не было, конечно, ничего дурного; я действительно затевал глупости и вертелся в заколдованном кругу. Но не хорошо было то, что Сварожич дипломатизировал даже со мною, говоря о моих занятиях и тревогах. Он указывал мне только частные мои ошибки и ни разу не проронил ни одного слова насчет общих свойств университетской науки и студенческих занятий. Когда я в совершенном отчаянии спрашивал у него: да что же делать? чем заниматься? — тогда он с необыкновенным искусством успокоивал меня на минуту несколькими общими словами и таким образом уклонялся сам от всякого категорического ответа. Ему, как филологу и профессору, было неудобно разоблачать перед студентом общую несостоятельность нашей науки; и в то же время ему, как

умному человеку, было совестно и противно повторять те фразы, которые изливал Телицын, — вот он и лавировал, говоря с солидным уважением о какой-то отвлеченной науке вообще и в то же время осмеивая тонко и умно ошибки ученых, учащих и учащихся в частности. Сказать мне просто и откровенно: бросьте наш хлам, познакомьтесь с жизнью, расширьте круг вашего чтения и вашей мысли — этого ему не хотелось. Весь хлам в совокупности назывался у него великою и священною наукою, но каждый отдельный кусочек этого хлама рассматривался и оценивался им по достоинству и оказывался пылью и гнилью, на которой нельзя построить ни одного твердого вывода.

Каков был Сварожич в разговорах, таков он был на лекциях. Относясь с глубокою недоверчивостью к трудам всех ученых, разработывавших его науку, он не читал на лекциях ничего чужого. Все его лекции состояли из сырых материалов и из замечаний, составленных им самим. На каждой лекции он рассматривал представлявшиеся вопросы с разных сторон, приводил множество доводов *за* и *против*, напрягал ожидания слушателей и потом не останавливался ни на чем. «Может быть, так, может быть, и не так» — вот и все, что выносили слушатели; каждая лекция оканчивалась знаком вопросительным и доказывала таким образом, что Сварожича забавляет иногда процесс мышления, но что предмет, о котором он размышляет, всегда остается для него безразличным. Говорить о судьбе целого народа или разбирать различные мнения археологов о какой-нибудь черниговской гривне[35] — для него это было все равно; было даже заметно предпочтение к черниговским гривнам, потому что микроскопический вопрос может быть удобнее и безопаснее анализирован с разных сторон. А поведет ли этот вопрос к чему-нибудь? — об этом собиратель материалов не спрашивает, да и спрашивать незачем. Вопрос потешил его мысль, дал ему возможность прочитать лекцию, доставил ему случай написать академический мемуар; очевидно, стало быть, что вопрос повел к очень многому...

XVI

В начале зимы 1858 года мне удалось найти себе работу в одном журнале для девиц, начинавшем свое существование с января 1859 года. [36] Это обстоятельство, конечно, не относится к университетской науке, но я упоминаю о нем для того, чтобы наглядным противоположением показать читателю различие между самой нехитрой практической работой и самыми замысловатыми кабинетными занятиями. Мне было поручено вести в этом журнале библиографический отдел, т. е. указывать юным читательницам на те книги и журнальные статьи, которые могут обогатить их ум, не вредя чистоте и непорочности их сердца. Направление

журнала было сладкое, но приличное, и от изделий г-жи Ишимовой[37] он отличался значительно. Мы даже за эмансипацию женщины стояли, стараясь, конечно, не огорчать такими суждениями почтенных родителей. Добродетель мы любили особенно горячо и об ней говорили уже совершенно смело, потому что добродетель — предмет одинаково приятный для детей и родителей.

Сначала я взглянул на свою новую работу преимущественно с денежной точки зрения; мои библиографические статейки оплачивались по 30 р. с. за печатный лист и доставляли мне ежемесячно от 60 до 70 р. с. Для студента, бегавшего в Публичную библиотеку, чтобы не издержать пяти рублей на книгу, это была целая Калифорния. Я и ухватился за эту работу обеими руками и старался выполнять ее как можно тщательней и аккуратней, чтобы удержать и обеспечить ее за собою. Редактор мой, конечно, заметил это, остался очень доволен моими стараниями, и, месяца через два после начала нашего знакомства, мы уже были уверены, что не расстанемся без особенной необходимости, потому что оба чувствовали, насколько мы полезны друг другу. Нечувствительно забралась ко мне в голову мысль, что эта работа может поддерживать меня и после выхода из университета. Стало быть, думал я, если даже я не отыщу себе прочной специальности, беда не так велика: жить можно. Чем ясней вырисовывалась для меня эта утешительная перспектива, тем сильней я дорожил моею журнальной работой. Редактор поговаривал даже о том, что, когда я выйду из университета, он попросит меня быть его помощником по редакции. При мысли о таком повышении и благополучии я чувствовал даже головокружение и отвечал, опуская глаза, что я всегда готов служить нашему общему делу. Между тем работа начинала действовать на меня не с одной денежной стороны: я привязывался к ней искренно и сильно. Я писал свои жиденькие и невинные статейки с таким увлечением, с каким мне никогда не случалось работать над биографиею Гумбольдта. Мне было приятно всматриваться и вдумываться в чтение книг и журнальных статей, потому что я видел перед собой близкую и вполне доступную цель этого всматривания и вдумывания. Мне приятно было развивать на бумаге мои мысли и взгляды, потому что они были действительно мои, и я вполне понимал, *что́* я пишу, я всей душой сочувствовал тому, что я старался объяснить или доказать. Я не производил ничего нового и оригинального, но для меня это было и ново и оригинально. Я не выписывал из книжки, я не повторял чужих слов, — я действительно сам размышлял, и, доходя путем собственного размышления до общеизвестных истин, я все-таки успевал сообщить этим истинам ту печать искреннего и живого убеждения, которая несомненно свидетельствует о том, что мысль действительно возникла в собственном мозгу писавшего. Поэтому работа моя была для меня привлекательна; я уверен, кроме того, что статьи мои, даже в глазах посторонних читателей, не имели

того утомительно-казенного характера, который имеет обыкновенно повторение идей, обратившихся уже в общее достояние всех образованных людей. Свежесть и искренность убеждения выкупали недостаток новизны; читатель мог и должен был улыбаться наивному увлечению автора, но эта самая улыбка, полунасмешливая, полублагосклонная, наверное мешала читателю зевнуть и, может быть, побуждала его дочитать до конца. Впрочем, что бы ни делал читатель — зевал или улыбался, — для меня это было все равно; я был доволен и счастлив; умственная деятельность моя пробуждалась, и я умилялся над самим собою, как умиляется молодая мать над колыбелью своего новорожденного ребенка. Занятия славянскими и русскими древностями вежливо отходили в сторону, хотя я все еще признавал их занятиями главными и существенными. Мне казалось, что я работаю так ревностно для журнала ради корысти, из практического расчета, чтобы удовлетворить заказчика; но на самом деле уже все симпатии были на стороне журнального труда, а филологической учености бросалось изредка копеечное подаяние, служившее только для успокоения моей встревоженной совести. В журнальной работе сосредоточились и существенные мои интересы и источники умственного наслаждения, а ученые занятия остались только священным долгом; я веровал, что надо исполнить этот долг, но не видал, почему надо, и не находил эту необходимость приятной. Ясно, что догмат, не поддерживаемый ни рассудком, ни чувством, был просто мертвым остатком прошедшего, которому предстояло рухнуть и рассыпаться в прах.

Для составления моих библиографических обзоров мне приходилось читать много разнообразных книг и статей, и мне нравилось не только размышление и описание, но и пестрое чтение само по себе. Вся эта масса книг и статей составляла самый разнообразный сброд, но во всем этом сброде чувствовалось то обаятельное веяние жизни, без которого не может существовать самый мрачный из современных журналов. Мне пришлось прочитать много исторических статей Маколея, Прескотта и Мотлея, много педагогических рассуждений, несколько путешествий (например, «Фрегат «Паллада» Гончарова, по Америке — Лакиера, по Африке — Ливингстона), несколько книг по естественным наукам (например, «Химия вседневной жизни» Джонстона, «История земной коры» Куторги, «Физическая география» Гюйо, «Гром и молния» Араго). Наконец в 1859 году мне пришлось говорить довольно подробно в нашем журнале об «Обломове» и о «Дворянском гнезде». Словом, библиография моя насильно вытащила меня из закупоренной кельи на свежий воздух, и этот переход доставил мне греховное удовольствие, которого я не мог скрыть ни от самого себя, ни от других. Товарищи мои стали внушительно качать головами и предостерегать меня, говоря, что, конечно, журнальной работой заниматься позволительно для приобретения мате-

риальных средств, но что увлекаться ею не следует, потому что она отводит человека от науки и повергает его в пустословие и в пагубный дилетантизм. Мне указывали с соболезнованием на поучительный пример Добролюбова, который, видите ли, мог бы быть дельным ученым, а вместо того сделался пустым журналистом и увлекся суетою «Современника». Я, с своей стороны, старался уверить всех в моей невинности, открещивался от примера Добролюбова и говорил, что никогда не пойду по такому предосудительному пути. Остаток прошедшего, мертвый догмат, все еще висел над моей головой, и я употреблял последние усилия, чтобы поддержать мою угасавшую веру в величие и святость филологии.

Но читатель мне не верит, читатель, наверное, думает, что я клевещу. «Возможное ли дело, — говорит он себе, — чтобы студенты в 1858 году смотрели на Добролюбова как на человека, идущего по ложной дороге? Может ли быть, чтобы они указывали на него как на поучительный пример, долженствующий привести молодого человека в ужас и раскаяние!..»

О читатель, читатель! Разве я не вижу, до какой степени мое показание неправдоподобно? И разве я осмелился бы высказать такую несообразность, если бы это не была чистая истина? Но уверения и клятвы мои не уясняют дела, а факт сам по себе так любопытен, что я не могу избавить себя от обязанности остановиться на нем и рассмотреть его по возможности внимательно. Надо, во-первых, заметить, что молодежь наша очень сильно изменилась в последние три-четыре года. Уже в 1858 и 1859 годах студенты, поступившие в университет, не были похожи на нас, студентов III и IV курсов. Поступая в университет, мы были робки, склонны к благоговению, расположены смотреть на лекции и слова профессоров как на пищу духовную и как на манну небесную. Новые студенты, напротив того, были смелы и развязны и оперялись чрезвычайно быстро, так что через какие-нибудь два месяца после поступления они оказывались хозяевами университета и сами поднимали в студенческих кружках дельные вопросы и серьезные споры. Они затевали концерты в пользу бедных студентов, они приглашали профессоров читать публичные лекции для той же благотворительной цели, они устроили студенческую библиотеку; а мы, старые студенты, считавшие себя цветом университета и солью русской земли, мы остались в стороне, изобразили на лицах своих недоверие и иронию и стали повторять стих Грибоедова: «Шумите вы, и только». Но скоро оказалось, что ирония наша никуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и успешно; оказалось, что движение и жизнь пошли мимо нас и что мы отстали и превращаемся в книжников и фарисеев. Конечно, отсталость наша была дело поправимое, но, чтобы поправить ее, надо было сначала признать существование новой жизни, надо было понять, что новые студенты

непохожи на бывших обожателей Телицына; надо нам было выйти из нашей гордой замкнутости и пойти вслед за другими. Но всем известна заносчивость молодости и гордость ученой касты. Большая часть моих товарищей были уверены в абсолютной непогрешимости своего умственного направления, и большая часть из них по образу мыслей уже принадлежала к ученой касте, хотя объем их сведений был еще очень ограничен. Этим молодым ученым, ушедшим уже в книги от греховного мира, казалась странною самая мысль учиться чему-нибудь у своих младших товарищей; да и приходила ли им в голову мысль, что эти товарищи обогнали их?

Если новые студенты могли быть названы людьми дела, то мы, старые студенты, с гордым самодовольствием называли себя людьми мысли, хотя, конечно, мы не имели никаких прав на это название. Новые студенты могли считать Добролюбова своим учителем, но мы относились к Добролюбову и к «Современнику» вообще с высокомерием, свойственным нашей касте. Мы их и не читали и гордились этим, говоря, что и читать не стоит. Но с каждым годом ряды ученой партии редели, отчасти потому, что ученые кончали курс и поступали на службу в разные департаменты, где они очень быстро затушевывались под общий тон чиновничества, отчасти и потому, что некоторые ученые перебегали на сторону новых студентов и делались сами антагонистами университетской учености.

Таким образом, университет сближался с жизнью лучшей части общества, и уже теперь сблизился настолько, что недоброжелательный взгляд студента на Добролюбова кажется читателю неправдоподобным изобретением. Надо также обратить внимание на то, что филологический факультет бывает обыкновенно самым недвижимым и мрачным притоном учености. Он в этом отношении может перещеголять даже математический. Математик (если только он не обладает совершенно исключительною умственною организациею и замечательным талантом в своей специальности) не может удовлетвориться одною математическою сферою наук; ему необходимо читать для отдыха, и потому он обыкновенно знаком с текущею журналистикою и с удовольствием встречает в журналах популярные и легкие статьи по разным общественным, экономическим и литературным вопросам. Но филолог, для которого история может быть и отдыхом и серьезною работою, филолог, у которого голова набита эстетикою и литературными теориями, филолог может целыми годами жить в своем ученом мире; а когда ему случится выглянуть из него, он обругает только все идеи, противоречащие его привычным умозрениям, и опять уйдет в свою раковину.

Мы действительно видим, что историею постоянно пользуются как арсеналом, из которого вынимаются против всякой новой идеи заржавленные и устарелые аргументы; фехтуют этим архео-

логическим оружием историки, юристы и гуманисты, постоянно являющиеся во главе всякой реакции; очевидно, что сфера занятий формирует мышление этих господ и воспитывает в них упорно-тупых противников всякого умственного движения. Поэтому естественно, что студенты-филологи презирали Добролюбова в то самое время, когда его «Темное царство» читалось с сочувствием и с увлечением в самых отдаленных углах России. Наконец надо вспомнить и то, что смерть Добролюбова очень значительно изменила отношения литературы и общества к его деятельности. Пока Добролюбов писал и боролся, до тех пор его бранило большинство наших журналов. Влияние его чувствовалось в обществе, но оставалось непризнанным. Как только он умер, так тотчас литературное значение его признали самые горячие его противники; продолжая бранить сподвижников Добролюбова, они немедленно ухитрились провести между мертвым и живыми разделительную черту, заметную только для самих этих господ, но тем не менее выгораживающую умершего деятеля от всякого скептического посягательства. Но в 1858 году слышалось много голосов против Добролюбова. Война «Современника» с серьезностью и бесцветностью других журналов [38] была в полном разгаре, и мы, ученые люди университета, узнавая по временам об отдельных эпизодах этой войны, были, конечно, на стороне серьезности и с полным убеждением величали бесцветность благоразумною умеренностью.

Надеюсь, что теперь читателю станет до некоторой степени понятна возможность такого неправдоподобного факта, как пренебрежение студентов в 1858 году к личности и деятельности покойного Добролюбова. Факт все-таки остается печальным, но ответственность за него должны нести не студенты и даже не профессора, а вся закваска, все устройство и направление нашего университета, и особенно факультета.

XVII

Один год журнальной работы принес больше пользы моему умственному развитию, чем два года усиленных занятий в университете и в библиотеке. Впрочем, надо заметить, что лета мои также должны были иметь значительное влияние на пробуждение моей мысли. Лето 1859 года было для меня временем умственного кризиса; все понятия, лежавшие в уме моем с самого детства, все готовые суждения, казавшиеся мне неприкосновенною основою всего существующего в моей собственной личности, все гипотезы, имеющие такое тираническое влияние на мысли и поступки большей части людей, — все это заколыхалось и как-то, помимо моей воли, стало обнаруживать мне свою несостоятельность. Пока я без определенной цели читал памятники и исследования, до тех пор

все эти несообразности оставались нетронутыми и считались такими истинами, которые ясны, как день, незыблемы, как гранитная стена, и величественнее Монблана или Казбека. Но когда пришлось читать и обдумывать читанное с практическою целью, тогда мысль получила такой толчок, которого действия и последствия я не мог ни предвидеть, ни рассчитать. Пробудившееся стремление анализировать и всматриваться не может быть по вашей воле опять погружено в сон. Каждый человек, действительно мысливший когда-нибудь в своей жизни, знает очень хорошо, что не он распоряжается своею мыслью, а что, напротив того, сама мысль предписывает ему свои законы и совершает свои отправления так же независимо от его воли, как независимо от этой воли совершаются биение сердца и пищеварительная деятельность желудка. Человек боится подойти к тем гипотезам, которые величественнее Казбека и Монблана, а мысль не боится — и подходит, и ощупывает эти гипотезы, и вдруг докладывает, что все это пустяки. Человек приходит в ужас, но ужас этот оказывается бессильным в борьбе с мыслью; мысль осмеивает и прогоняет ужас, и человеку остается только качать головою, стоя на развалинах своего миросозерцания. Наконец и качание головой прекращается, и тогда начинается новая умственная жизнь, в которой мысль пользуется неограниченным могуществом и не встречает себе нигде ни отпора, ни сопротивления. В этом царстве мысли живется светло и весело; но период перехода и умственной борьбы тяжел и мучителен. Умственный рост сопровождается болезнями точно так же, как рост физический. У меня напряжение ума во время переходной борьбы было так болезненно-сильно, что оно повело за собою потрясение всего организма.

Осенью 1859 года я приехал с каникул в каком-то восторженном состоянии. Опрокинув в уме своем всякие Казбеки и Монбланы, я представлялся самому себе каким-то титаном, Прометеем, похитившим священный огонь; я ожидал, что совершу чудеса в области мысли. Мне случилось как-то в обществе товарищей говорить о миросозерцании древних греков, и я сказал, что греческая *судьба*, которой подчинены были высшие олимпийские боги, по всей вероятности не что иное, как неизменная сила законов природы: — греки, продолжал я, не олицетворили этой силы, потому что они, как гениальный народ, чувствовали, что для этой силы узко и мелко всякое олицетворение. Эта мысль моя, находившаяся в самой интимной связи с общим ходом моих титанических идей, чрезвычайно понравилась мне и даже поразила меня каким-то благоговением. Я вдруг решился проверить и доказать эту мысль и даже превратить ее развитие в кандидатскую диссертацию. Но так как изучать для этой цели всех греческих поэтов было мне не по силам, то я ограничился одним Гомером и принялся за него с тем неистовым рвением, которое всегда руководило моими любимыми занятиями. Месяца два я работал неуто-

мимо; прочел восемь песней «Илиады» в подлиннике и, кроме того, сделал множество выписок из немецких исследований, трактовавших о мифологических и теологических понятиях Гомера. Товарищи мои смотрели на мои труды с недоумением и иногда делали мне выговоры за то, что я оставил славянорусские древности и так внезапно, очертя голову, бросился в совершенно неизвестную мне область науки. Но я объявил себя Прометеем и уже не обращал внимания ни на какие дружеские советы. Вдруг за пароксизмом восторженной и кипучей деятельности последовал пароксизм утомления и апатии. За самонадеянностью наступило уныние и совершенное недоверие к своим силам. Идея о судьбе, казавшаяся гениальною, потеряла весь свой блеск и представилась даже бессмысленною. Работа вывалилась у меня из рук. Даже такая обыкновенная вещь, как выпускной экзамен, предстоявший мне весною 1860 года, стал казаться мне совершенно непреодолимою трудностью. Словом, период переходной умственной борьбы заключился умственною болезнью. Прометея приковали к скале, и коршун стал клевать его печень, или, говоря языком более современным, меня посадили в карету и отвезли в психиатрическую лечебницу. Я дошел до последних пределов нелепости и стал воображать себе, что меня измучают, убьют или живого зароют в землю. Скептицизм мой вышел из границ и начал отрицать существование дня и ночи. Все, что мне говорили, все, что я видел, даже все, что я ел, встречало во мне непобедимое недоверие. Я все считал искусственным и приготовленным нарочно для того, чтобы обмануть и погубить меня. Даже свет и темнота, луна и солнце на небе казались мне декорациями и входили в состав общей громадной мистификации.

Такая фантасмагория тянулась четыре месяца. Наконец теплые ванны, продолжительные прогулки на открытом воздухе, ежедневные гимнастические упражнения, постоянные приемы железа внутрь, а главное — отдых мысли убавили скептицизм настолько, что в половине апреля 1860 года я оказался в состоянии жить с людьми по-человечески и пользоваться гражданскою свободою без опасности для себя и для других. О выпускном экзамене в этом году было уже поздно думать, тем более что усиленные занятия могли еще иметь для меня опасные последствия; я остался в университете на нынешний год и тотчас после своего выздоровления удалился до осени на лоно природы укреплять свои силы и наслаждаться возвратившимся рассудком.

Последний год моего пребывания в университете был для меня очень замечателен. Я почти совсем не ходил на лекции, но работал сильно. После приезда с каникул я решился писать диссертацию на медаль, на историческую тему, заданную в том году Ирониански́м. Предприятие было дерзкое. Тема задана была в начале февраля, в то время, когда я еще отрицал солнце и луну; кто писал на эту тему, тот принялся за работу тотчас после объявле-

ния задачи, а я начал изучать предмет диссертации в начале октября, между тем как все сочинения должны были быть представлены никак не позже первых чисел января. Месяц был употреблен на чтение и выписки, а в ноябре я начал писать. Дело пошло быстро и успешно, отчасти на живую нитку, кое-где на авось, с широкими взглядами и рискованными предположениями. Я писал без черновой, потому что переписывать было бы некогда, и старался обработать предмет так, чтобы произведение мое могло быть помещено в каком-нибудь литературном журнале. К началу января я кончил свой труд и заметил не без удовольствия, что в нем по крайней мере пятнадцать печатных листов (240 страниц). Впрочем, недостаток времени помешал мне развить некоторые мысли, которые были уже совсем выработаны в моем уме. Делать было нечего: я махнул на них рукою, написал на своей диссертации эпиграф: «Еже писах, писах», * и представил ее куда следовало.

Смелость города берет и даже очаровывает профессоров университета: диссертация моя очень понравилась, несмотря на то, что вместе с нею был представлен основательный труд одного студента, долго изучавшего предмет и разработавшего его чуть ли не вдвое подробнее моего. В совете университета произошло разногласие: присяжный ценитель наших работ, Креозотов, в своем отчете расхвалил обе диссертации и приписал моему труду высокое литературное достоинство, а работе моего соперника глубокую научную основательность. Кому же дать золотую медаль? Большинство говорило, что, по всем правам, золотая медаль принадлежит научной основательности. Но сильная партия утверждала, что следует дать золотые медали и научной основательности и литературному достоинству. Слышались даже еретические голоса, безусловно защищавшие литературное достоинство. Однако здравый смысл и справедливость одержали верх. Профессора поняли, что пленяться смелостью и живым языком и пренебрегать другими, более прочными достоинствами труда — не следует, и потому определили дать золотую медаль научной основательности, а серебряную — литературному достоинству. Положив такое решение, они распечатали конверты, заключавшие в себе фамилии авторов, и узнали тогда, кому принадлежит научная основательность и кто отличился литературным достоинством. Признанный обладатель литературного достоинства остался, конечно, очень доволен: единственное желание его состояло в том, чтобы достигнуть на акте почетного отзыва, который избавил бы его от необходимости писать кандидатскую диссертацию; а вместо почетного отзыва явилась медаль с изображением юноши, вероятно Аполлона, и с надписью: «Преуспевшему». Все эти прелести составляли уже неожиданную роскошь.

---

* «Что написал, то написал» (обычная приписка писцов в древнерусских рукописях). — *Ред.*

Когда Креозотов увидал меня на выпускном экзамене, то он полюбопытствовал взглянуть на черновой список моей диссертации. Я отвечал ему, что никак не могу удовлетворить его желанию, потому что диссертация писана без черновой. Тогда Креозотов почувствовал несказанное удивление, с особенною признательностью пожал мне руку и растроганным голосом проговорил, что даже Пушкин писал «Капитанскую дочку» сначала начерно. О читатель, согласитесь, что эпизод о моей диссертации имеет свою прелесть. Разве не восхитительно то обстоятельство, что для наших профессоров обыкновенный литературный язык и некоторая смелость в расположении мыслей имеют такую неизреченную сладость? Им, бедным старикам и, еще более, бедным людям среднего возраста, до смерти надоело их собственное ученое величие; им скучно сидеть на Олимпе, и сидят они на нем только потому, что сойти с него не умеют, — серьезность и основательность им нипочем: это их будничное кушанье. Но чуть что-нибудь посмелей и пооригинальней, они тотчас готовы прельститься и принуждены строго наблюдать за собою, чтобы не поддаться искушению и не изменить величию и достоинству своего сана. Это утешительно; это значит, что чисто человеческие потребности не могут быть окончательно истреблены ни монашеским подвижничеством, ни ученым столпничеством. Но, с другой стороны, это значит также, что чисто человеческие потребности находятся в постоянном разладе и с тем и с другим. А что противоречит чисто человеческим потребностям, то, стало быть, неестественно. А что неестественно, то, стало быть, и неразумно. Вот вам и нравоучение.

Диссертация моя достигла также своей литературной цели. Сделав из пятнадцати листов — двенадцать, я поместил ее в один журнал, летом 1861 года, [39] и получил за нее до шестисот сребреников. Журнал этот был уже не тот добродетельный журнал для девиц, в котором я помещал свои стыдливые опыты, — журнал этот был исполнен суеты и гордыни, и благонравные товарищи мои, состоявшие на действительной службе, бросили на меня прощальный взгляд, полный укора и сожаления, когда увидали, что я беззаботно и весело пошел по скользкому пути журналиста. На статьи мои они смотрели с глубоким презрением; меня самого они решительно и откровенно исключили из своего круга. О читатель, и это неправдоподобно, но и это — чистая правда. Они считали меня ренегатом, маленьким Брамбеусом, [40] недостойным сыном университетской науки, обратившимся против своей родной матери, — и, надо сказать правду, они не ошибались в этом отношении. Мог ли же я после этого ожидать себе помилования? Не мог и не ожидал, — и потому покорился решению судьбы. Вижу и понимаю, что мои товарищи, бывшие филологи, — люди честные, умные, вполне достойные уважения и сочувствия, но вижу также, что мне с ними уже не сойтись. Им предстоят две дороги,

и ни на одной из этих дорóг я не встречусь с ними. Они могут продолжать с успехом свою службу в разных департаментах и сделаться через несколько лет просвещенными администраторами, или они могут осуществить свою университетскую мечту и сделаться светилами отечественной науки. Очевидно, что журналист, исполненный суеты и гордыни, ни администратором, ни светилом быть не может; очевидно даже, что он и знакомства водить не может ни с администраторами, ни со светилами, потому что он им совсем не пара: стоят они на разных плоскостях, * живут в разных мирах, смотрят на вещи с разных точек зрения и приходят разными путями к противоположным выводам и результатам. Стало быть, мне остается только, вспоминая о моих добрых и честных товарищах, послать им на этих страницах последнее дружеское «прости» и уверить их в том, что я, с своей стороны, всегда готов и рад с ними сойтись и что, в то же время, я не вижу к тому ни возможности — теперь, ни надежды — в будущем.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

I

Нам постоянно случается слышать, что молодые люди, не имеющие почти никаких средств к существованию, приходят из отдаленных губерний в университетские города, чтобы учиться, перебиваются со дня на день во время четырехлетнего курса, переносят всевозможные лишения и, наконец, достигают своей цели, то есть благополучно, а иногда и блистательно выдерживают выпускной экзамен. Всякому, кто бывал в наших университетах, случалось видеть в аудиториях молодых людей, бедно одетых, худых и бледных, истомленных беготнею по грошовым уроком и, несмотря на то, усердно посещающих и записывающих все назначенные по расписанию лекции. История Ломоносова повторяется у нас в России каждый день, а между тем Ломоносовы так же редки теперь, как были редки в прошлом столетии. Мы привыкли указывать на молодых людей, приходящих пешком в университетские города, как на живые доказательства того сильного стремления к образованию, которое существует и проявляется порою в самых отдаленных захолустьях нашего отечества и в самых забитых слоях нашего общества. Существует действительно или не существует это стремление, — это такой вопрос, за решение которого я не берусь, потому что судить об этом деле может только тот, кто знает наше общество и вдоль и поперек, кто наблюдал его долго и внимательно и кто серьезно обдумал свои наблюдения. Я скажу только,

* Тут плоскость употреблена в математическом смысле, а не в порицательном.

что примеры молодых людей, переносящих тягостные лишения во время своего университетского курса, оказываются при внимательном рассмотрении доказательствами слабыми, односторонне понятыми и превратно истолкованными. Чтобы убедиться в этом, стоит только предложить себе вопрос: куда деваются эти молодые люди? Что с ними делается после блистательного выпускного экзамена? Делается то, что и со всеми делается: они идут в чиновники, в учителя, в ученые, сливаются с общею массою и ничем замечательным не проявляют свою личность и деятельность. А ведь шила в мешке не утаишь. Кто прошел сотни верст и пережил сотни полуголодных дней только потому, что он чувствовал в душе непреодолимое и бескорыстное стремление к знанию, тот стоит целою головою выше общей массы, тот не сольется с ее грошовыми заботами и не удовлетворится ее куриною хлопотливостью. Кто в глуши, среди гнетущей бедности, искал без устали истины и света, тот вынесет свои стремления неподавленными и неусыпленными даже из мертвящей аудитории какого-нибудь Креозотова. А что эти стремления останутся неудовлетворенными в подобной аудитории и, следовательно, будут искать себе удовлетворения в другом месте, это само собою разумеется. Стало быть, если история Ломоносова повторяется с незначительными вариациями каждый день, а между тем Ломоносовых не является, то остается предположить, что повторяется только внешняя сторона этой истории. Борьбу с лишениями мы видим, энергию и терпение также видим, — не видим только безделицы — побудительной причины; а между тем именно в этой безделице заключается, в большей части случаев, смысл и разгадка всего явления.

Если бы молодой человек шел пешком в университетский город только за образованием, то у нас уже теперь было бы много действительно образованных людей, и влияние этих людей чувствовалось бы в общественной жизни. Но так как этого нет, то надо предположить, что действительного стремления к образованию молодой человек не чувствует, или по крайней мере это стремление существует в нем с очень значительною примесью постороннего вещества. Нетрудно догадаться, какое это вещество. Кроме знаний сомнительного достоинства, университеты дают своим слушателям еще права, которых достоинство уже вовсе не сомнительно. Кто не идет в университет как в храм науки, тот идет в него как в преддверие карьеры. Для бедного и незнатного человека университет составляет кратчайшую дорогу к чинам, к почестям, к большому жалованью и, следовательно, ко всем благам и наслаждениям жизни. Эта кратчайшая дорога очень крута и усеяна многими препятствиями; поступить в уездный суд писцом и перебиваться в уездном городе копеечным жалованьем все-таки легче, чем идти на авось, пешком, в неизвестную даль и потом четыре года жить неверными уроками, — но зато писцу уездного суда нет перспективы в будущем, а перед кандидатом университета

открыта жизнь, с ее опасностями, но также с ее заманчивыми надеждами. Чтобы пойти навстречу лишениям и грозной неизвестности судьбы, чтобы из речного затишья выйти в открытое море жизни, необходимо обладать предприимчивостью и энергиею, а предприимчивость и энергия — свойства очень почтенные; но все-таки между этими свойствами и бескорыстно сильным стремлением к образованию лежит целая бездна. Молодые люди, пробивающие себе дорогу в жизнь энергиею, трудолюбием и железным терпением, заслуживают полного уважения, но образование тут ни при чем. Молодые люди идут завоевывать себе счастие, но не знания; и до тех пор, пока университеты будут давать своим слушателям какие-нибудь права, до тех пор, пока университетский диплом будет открывать дорогу к таким местам, которых не могут занять люди, не имеющие дипломов, до тех пор всякие сладкие речи и стремления общества к образованию будут относиться к легиону наших патриотических самообольщений. В том обстоятельстве, что бедному молодому человеку, старающемуся выбиться из бедности, необходимо идти в университет и добывать диплом, в этом обстоятельстве, говорю я, нет ничего утешительного. Это значит только, что одна коронная служба считается у нас прочным обеспечением. Это значит, что инициатива общества крайне слаба; это значит далее, что общество собственным умом не умеет оценить силы и способности своих членов и требует, чтобы эти силы и способности были оценены правительством и засвидетельствованы дипломом. Нанимая домашнего учителя для своих детей, отец семейства не может сам испытать его познания и потому рассматривает его диплом или аттестат. В деле образования мы требуем от правительства такой же гарантии, какой требуют от него возникающие общества железных дорог. Окончив курс образования, мы непременно желаем, чтобы правительство платило нам проценты с нашего умственного капитала или по крайней мере чтобы оно своим ручательством рекомендовало нас почтенной публике. Я не думаю, чтобы такое положение дел говорило особенно убедительно в пользу развитости нашего общества или в пользу его горячего стремления к образованию.

В 1860 и 1861 годах проявилось в столичной молодежи сильное желание посещать университетские лекции. В аудиториях Петербургского университета стали появляться посторонние слушатели, офицеры и дамы. Факт сам по себе хорош, но надо понимать его как следует. В чью пользу говорит этот факт: в пользу ли общества или в пользу университета? То есть пробудилась ли потребность просвещения в самом обществе или университет прославился настолько, чтобы разбудить общество и привлечь его в свои аудитории? Стоит только поставить таким образом вопрос, чтобы тотчас прийти к его разрешению. Очевидно, что общество пробудилось совершенно независимо от университета и что пробуждению общества содействовали, во-первых, реформы, предпринятые пра-

вительством, во-вторых, оживление журналистики, которое в свою очередь находилось в связи с общими реформами. Пробудившееся общество увидело, что ему необходимо образование, — а где его искать? В университете, — не потому, чтобы в университете слышались особенно живые и свежие голоса, а потому, что больше искать негде. На безрыбье и рак рыба. И общество хлынуло в университет и скоро сумело отличить менее усыпительные аудитории. Но эти аудитории (за исключением разве одной костомаровской) [41] все-таки не могли удовлетворить потребностям общества, и оно, наверное, само отхлынуло бы назад, если бы университет не предупредил его и не отогнал от своих дверей непосвященную и неплатящую чернь. [42] Стало быть, тот факт, что офицеры и дамы бывали на лекциях, вовсе не доказывает того, чтобы между обществом и университетом существовало сознательное сочувствие. Что университет вовсе не сочувствует обществу, это он доказывал неоднократно словами и поступками своих отдельных членов и даже целой корпорации. Но и общество также не сочувствует университету; оно ожидало от него живого и разумного слова и готово было полюбить его за это слово, но ожидания не исполнились, и общество, конечно, будет искать себе умственной пищи за пределами университетов, в самостоятельном чтении, точно так же, как уже все дельные студенты работают теперь над своим развитием совершенно независимо от профессорских лекций и записок. Отстранив таким образом те факты, которые люди невнимательные могли бы принять за признаки сочувствия общества к теперешней университетской науке, я приступлю прямо к критике нашего общего и высшего образования.

II

У нас составилась привычка различать два рода образования: общее и специальное. Эта привычка, как и большая часть наших привычек, не оправдывается ничем, кроме давности лет, и оказывается несостоятельною при первом прикосновении анализа. В самом деле, что такое специальное образование? Не что иное, как навык в каком-нибудь ремесле, уменье взяться за какое-нибудь дело, уменье приложить к этому делу именно те приемы, которые в данное время признаны опытом наиболее удобными. Что такое образованный специалист? Если отвечать на этот вопрос так, как того требует здравый смысл и правильное понимание употребляемых слов, то нам придется сказать, что образованный специалист есть человек, получивший общее образование и потом изучивший какое-нибудь ремесло. Если же отвечать на этот вопрос так, как того требует обыкновенное разговорное употребление слов, то нам придется сказать, что образованный специалист есть человек, изучивший основательно избранное им

ремесло. Я, конечно, беру тут «ремесло» в самом обширном смысле этого слова. Под это понятие подходят все профессии, требующие знаний и сноровки. Ремесленниками оказываются и земледелец, и портной, и медик, и артиллерист, и законовед, и педагог, и литератор. Все эти занятия требуют известного напряжения мускулов и нервов; в одних преобладает умственный труд, в других — физический; одни производительны, другие непроизводительны, — но эти различия не имеют для нас в настоящее время никакого значения, потому что для нашего рассуждения важно только то, что все они требуют практического навыка и некоторых знаний. Чтобы быть полезным членом общества, необходимо работать, следовательно — иметь какое-нибудь ремесло, следовательно — быть специалистом.

Польза, которую я приношу обществу, а следовательно, и самому себе, будет тем значительнее, чем успешнее идет моя работа; а работа моя пойдет тем успешнее, чем основательнее я изучил свое ремесло. Общество видит и ценит результат моей работы, и если результат оказывается хорошим, то общество заключает, что я знаю хорошо свое ремесло, и называет меня образованным специалистом. Но общество не всегда поступает так: если я сапожник и шью превосходные сапоги, то оно только заваливает меня заказами и называет меня отличным сапожником, а об образованном специалисте не говорит ни слова; если же я горный инженер и хорошо разыскиваю золотоносные жилы, то меня производят в образованные специалисты, потому что я ношу эполеты и потому что общество считает невежливым назвать меня хорошим ремесленником. Если я технолог и управляю каким-нибудь сахарным заводом, то и тут я еще могу, по мнению общества, носить титул образованного специалиста. Ну, а если я агроном и управляю чьим-нибудь имением, да еще небольшим, тогда титул образованного специалиста начинает колебаться, и общество начинает находить, что меня удобнее называть хорошим приказчиком. Разрозненность сословий и чиновная иерархия перепутали все наши понятия и исказили наш разговорный язык. Очевидно, что образованный специалист — такой же титул, как «ваше превосходительство» или «ваше высокоблагородие». Но последние два титула совершенно безвредны, а первый подает повод к недоразумениям и к неясности представления. Известно, что неправильное употребление слов ведет за собою ошибки в области мысли и потом в практической жизни. Когда мы называем человека образованным специалистом, то нам уже кажется неправдоподобным, чтобы этот человек был неучем и полудикарем. Если мы даже видим факты, ясно намекающие на эти печальные истины, то мы стараемся перевесить эти факты другими фактами утешительного свойства. Конечно, рассуждаем мы, этот господин имеет много предрассудков; конечно, он имеет самые смутные понятия о достоинстве человека, об интересах общества, об отношениях гражданина к своим согражданам и семьянина к своему семейству, — но зато он отлично

умеет вести корабль в гавань, или подыскать статью в своде законов, или навести понтонный мост, или выстроить колонну к атаке. Мы красноречиво разработываем это *но* и доходим до того, что основательные ремесленные познания начинают нам казаться такою штукою, которая имеет сходство с образованием и во многих случаях может заменить его, с пользою для отдельного лица и для общества. Дойдя до такого результата, мы, очевидно, потеряли уже из виду и действительное значение специальности и настоящую цель общего образования. Начинается погоня за двумя зайцами, которые уходят от нас по двум разным дорогам. Возникают общеобразовательные заведения с намеками на специальность; являются специальные заведения с претензиями на общее образование. Наконец, что всего хуже, в обществе укореняется мысль о том, что можно в одно и то же время, одними и теми же уроками делать Васеньку или Коленьку образованным человеком и, например, хорошим моряком или дельным юристом. Развелось пропасть разных образований: это, говорят, юридическое, а вот это — техническое, а вон то — военное. Идя по этому пути, можно дойти до образования кирасирского, отличающегося от гусарского и уланского, до образования, свойственного чиновнику казенной палаты и совершенно непохожего на образование сенатского или почтамтского чиновника, до образования кожевника, не имеющего ничего общего с образованием мыловара или мясника. Когда мы доведем свое развитие до такого невиданного совершенства, то нам останется только утешаться, глядя на тысячи образованных специалистов. Радость наша будет так беспредельна, что мы даже не заметим того, как общее образование совершенно уничтожилось и превратилось в миф, потому что сотни различных образований растащили его по кусочку. Образованных людей у нас не будет, — а так как только образованные люди составляют и поддерживают благоустроенное гражданское общество, то и общества не будет, а будут сотни цехов, находящихся между собою в таких же дружеских отношениях, в каких находятся к прусским гражданам прусские офицеры, поминутно обнажающие оружие против безоружных своих соотечественников за такие обиды, которые понятны только этим храбрым воинам. К сожалению, всякий ошибочный принцип только в теории может быть доведен до своей нелепой крайности; жизнь редко бывает логична и обыкновенно сворачивает в сторону, когда натыкается на нелепый вывод, прямо вытекающий из принятого ею принципа. Поэтому принцип остается непобежденным, скрывается на время внутрь и притихает, а потом опять поднимает голову и производит разные мелкие глупости, которые обыкновенно замазываются такими же мелкими паллиативными средствами. Так и ползет жизнь через пень-колоду, обходя нелепые крайности, сражаясь ежеминутно с крошечными аномалиями и безропотно уживаясь с основной причиной этих аномалий.

Таким образом нельзя подвигаться вперед быстро и успешно, но об этом почти никто и не заботится. Об образовании толкуют все, кому только есть время и охота толковать; составляются проекты, изменяются программы, увеличивается или уменьшается число учебных часов, передвигается порядок занятий, чувствуется во всем ходе образования какая-то общая нескладица, — но переделки производятся робко и нерешительно, и всё в одном и том же узком кругу идей, составившемся бог знает когда и охватившем нас бог знает зачем. Раздаются голоса, говорящие решительно и ясно о том, что следует формировать человека, а не моряка, не чиновника, не офицера. Все слушают — и умиляются и начинают действовать, а между тем в результате оказываются только переименования и передвижения. Призрак специального образования никак не решается исчезнуть и до сих пор мешает нашему обществу разглядеть действительный смысл и настоящую задачу образования. Вместо того чтобы с корнем вырвать ошибочный принцип, вместо того чтобы навсегда прогнать нелепый призрак, мы всё хлопочем о том, чтобы заключить невозможную мировую сделку между призраком и действительностью, как будто возможны какие-нибудь сделки между истиною и бессмыслицею, между здравым смыслом и предрассудком. Мы в наших учебных заведениях служим богу и мамону; мы никогда не относимся к образованию просто и бескорыстно; всякое знание мы забираем в голову как источник будущих доходов; на всякую книгу мы готовы смотреть как на руководство к изучению поваренного искусства или как на рецепт для соления грибов и брусники; эти корыстные цели, конечно, никогда не достигаются; каждая кухарка знает, что никто еще не сделался поваром по книжке; каждая деревенская хозяйка скажет вам, что человек неопытный при самом подробном рецепте испортит грибы и бруснику. Но лукавые виды на грибы и на бруснику не дают нам покоя и не позволяют нам дорыться до правильного взгляда на образование. Да и как дорыться, когда мы сваливаем в одну кучу воспитание, образование и изучение ремесла? Воспитанием мы очень дорожим, потому что нашему сердцу бесконечно отрадно видеть в детях и юношах благонравие и кротость. Изучением ремесла мы тоже дорожим по-своему, потому что жалованье и казенная квартира отыскивают себе чувствительное место в самом стоическом сердце. А что такое образование — этого мы не знаем. Там, на границе между воспитанием и изучением ремесла, есть какая-то неопределенная амальгама, какая-то переходная тень, которую мы и называем образованием и к которой мы, по правде сказать, чувствуем глубочайшее равнодушие. Но так как нам совестно питать такие не-европейские чувства к такому великому делу, как образование, то мы, ради приличного замаскирования, и придумали назвать образованием всю кучу наших педагогических отправлений, т. е. и воспитание, и изучение ремесла, и узенькую полоску неинте-

ресной для нас амальгамы. Тут дело не в словах: можно, пожалуй, стол назвать стулом, но зачем же садиться на стол? Это и неудобно и неприлично. Можно как угодно назвать наши педагогические упражнения над детьми и юношами, но зачем же сдавливать образование между воспитанием и изучением ремесла? Зачем отодвигать образование на самый задний план и выдвигать вперед воспитание и специальность, которые должны иметь второстепенное значение? Воспитывать вообще следует как можно менее, а выбор специальности всегда должен быть безусловно предоставлен самому молодому человеку, получившему уже хорошее и полное образование. Я говорю здесь о такой специальности, которая требует сильной и постоянной умственной работы и которая дает всей последующей жизни человека определенное направление. Что же касается до простого ручного ремесла, то ему можно учить ребенка с малолетства, потому что такое ремесло нисколько не мешает общеобразовательным занятиям, не направляет ума в ту или в другую сторону и, не вредя никаким другим умственным или житейским успехам, развивает здоровье и всегда остается запасным капиталом, на случай нужды или неудачи.

III

Я сказал, что воспитывать следует вообще как можно менее. Эта мысль может показаться парадоксальною, а между тем она чрезвычайно проста и совершенно неопровержима. Конечно, не я первый высказываю эту мысль, которая, как все простые и светлые мысли, не принадлежит никому в частности и непременно приходит в голову каждому человеку, задумывающемуся серьезно и добросовестно над отношениями взрослых к подрастающему поколению. Эта мысль находится в тесной связи с знаменитою идеею Бокля о том, что человечество подвигается вперед при помощи знаний и открытий и что нравственные истины не имеют почти никакого влияния на быстроту и успешность исторического развития. Приложите эту мысль к жизни отдельной личности, и вы увидите ясно, что ребенок нуждается в знаниях, а не в нравоучениях. А как только сообщаются какие-нибудь знания, каким бы то ни было образом и по какому бы то ни было поводу, так уже начинается образование и самодеятельное умственное развитие будущего человека. Чем раньше начинается это образование и развитие, тем лучше. Воспитание же должно продолжаться только до тех пор, пока не начнется образование. Как бы ни были разнообразны приемы воспитания, но все они могут быть приведены к двум главным типам: к воспитанию розгой или к воспитанию авторитетом. В первом случае воспитатель говорит ребенку: «Делай это и это, или я тебя высеку. Не делай того и того, или я тебя высеку». Об этом случае распространяться нечего. Во втором случае воспитатель приобретает себе безусловное доверие

ребенка и потому уже просто говорит ему: «Делай это, не делай того». Ребенок повинуется из любви и уважения к воспитателю, но в этом нет ничего хорошего. Воспитатель говорит: «Это хорошо, а то дурно», и ребенок запоминает это, — и в этом также нет ничего хорошего. Всевозможные нравоучения сводятся на последнюю формулу, с тою только разницею, что они бывают обыкновенно гораздо длиннее и утомительнее. Во всех этих нравоучениях нет ни одного аргумента, ни одного такого доказательства, которое ребенок мог бы сам проверить или по крайней мере понять. Все дается на память и на веру. Стало быть, для мысли нет никакой пищи, и самодеятельность будущего человека остается совершенно незатронутою. Поступать таким образом с ребенком позволительно только тогда, когда он еще не может воспринимать знаний. Если годовой ребенок лезет на горячий самовар, тогда, конечно, его прежде всего следует оттащить в сторону, но и тут можно ему позволить прикоснуться к самовару кончиком пальца. Опыт не пропадет даром. Но когда ребенок уже говорит и рассуждает, тогда заставлять его верить на слово совершенно недобросовестно. Отцы и гувернеры, матери и гувернантки обыкновенно поступают таким образом потому, что им лень объяснить ребенку причины разных своих распоряжений или перечислить ему возможные последствия его собственных поступков. Кроме лени, есть еще причина, именно неумение или даже невозможность объяснить ребенку, почему появляются приказания или запрещения. В кодексе нашей житейской морали почти все вопросы решаются безапелляционно словами: «нравственно» или «безнравственно», «прилично» или «неприлично», «принято» или «не принято». Спросите: почему? — и вам не ответят, потому что причины действительно не имеется. Когда ребенок сталкивается с одним из таких вопросов, то его осаживают одним из выше приведенных решительных слов. Он это запоминает, и таким образом его дрессировка подвигается понемногу вперед. У нас принято воспитывать, т. е. действовать авторитетом до тех пор, пока есть какая-нибудь возможность поддержать авторитет. Вследствие этого даже мужья воспитывают своих жен, т. е. читают им нравоучения; иногда бывает и наоборот, что также имеет свою оригинальную прелесть. Теперь, я думаю, будет понятно, почему я говорил, что воспитывать следует как можно менее и что воспитание уже в самом раннем возрасте может и должно уступать место образованию. Воспитание ставит воспитателя между ребенком и окружающею природою, а образование ставит ребенка в непосредственные отношения к этой природе. Воспитание заставляет только повиноваться, а образование учит будущего человека жить и распоряжаться своими силами. Я думаю, нет надобности доказывать, что образование может и должно начинаться с первого проблеска мысли в ребенке и что оно во всяком случае, даже у нас, начинается гораздо раньше первого книжного учения.

IV

Я особенно настоятельно обращаю внимание читателя на ту мысль, что у нас образование сдавлено между нравственным воспитанием и изучением специальности. Эта мысль, к которой мы пришли путем предшествующих рассуждений, дает нам ключ к пониманию многих странных явлений нашей педагогической практики. Когда ребенок начинает ходить и говорить, то первые старания родителей направляются на то, чтобы покорить возникающую силу, подчинить ее посторонней воле, не допустить ее до сознания того, что она сама — сила, способная крепнуть, развиваться, расширять свою деятельность и свои права. Прежде всего ребенок должен быть послушным сыном или послушною дочерью; поэтому ему внушается ежеминутно, что он сам ничтожен, слаб, зависим, не способен понимать, что ему полезно и вредно; стараются даже доказать ему, что он не умеет различать приятное и неприятное; но этому последнему посягательству на его чувства и волю ребенок не поддается никогда. На различии приятного и неприятного он основывает всю свою оппозицию против притязаний взрослых. Он знает очень хорошо, чего ему хочется и чего не хочется; его желания называют капризами, но это его не смущает; в капризах проявляются первые задатки характера, и эти задатки, против которых направлены все усилия воспитателей, все-таки развиваются и в конце концов заставляют признать свою законность. Ведь и Меттерних считал национальные стремления итальянцев предосудительным капризом, [43] а теперь непризнавание итальянского королевства покажется всякому здравомыслящему человеку пустым дипломатическим упорством. Так точно бывает и в частной жизни с теми воспитателями, которые ведут ожесточенную войну с так называемыми капризами своих питомцев. Эта ожесточенная война нисколько не ослабевает тогда, когда начинается книжное учение. Напротив того, книжное учение дает каждый день новые материалы для педагогических распрей. Ребенок ленив, ребенок невнимателен, все это надо побеждать и искоренять; где же тут думать о перемирии? Воспитание широкою волною врывается в собственное поле образования. Знания превращаются в нравоучения. Учитель не спрашивает об умственных потребностях ребенка, не старается их пробудить и не заботится об удовлетворении тех потребностей, которые уже пробудились сами собою. Всякая умственная потребность, являющаяся без призыва, встречается как незваная гостья, — а известно, что незваный гость хуже татарина. Такая нескромная потребность обыкновенно считается таким же капризом, как и всякое другое желание ребенка, не входящее в педагогические расчеты воспитателя. Учение не отвечает на вопросы ребенка и никогда не бывает расположено так, чтобы ребенок сам понимал его необходимость. Ребенку говорится с самого начала,

что он должен учиться для своей же пользы. Эти сакраментальные слова: «Это, душенька, для твоей же пользы» хорошо известны всякому ребенку. Эти слова всегда произносятся в заключение каждого нравоучения, каждой распечки, даже каждого наказания розгою или другим орудием. Это последний аргумент — ultima ratio, после которого воспитатель говорит себе, что он все объяснил ребенку и что ребенок окажется неблагодарным животным, если не даст с радостью завязать себе глаза и не побежит с завязанными глазами, по голосу своего воспитателя, всюду, куда прикажут. И действительно, надо сказать правду, только особенно даровитые ребята оказываются неблагодарными животными. Большинство детей так благовоспитанно, что путешествие с завязанными глазами не представляет уже для них ничего необыкновенного. Нельзя сказать, чтобы слова: «Это, душенька, для твоей же пользы» особенно глубоко врезались в их ум; они вовсе не думают, что это их польза; они не пылают фанатическою верою в непогрешимость своих учителей, потому что такую фанатическую веру способна возбудить только высоко даровитая личность. Они просто измяты и усыплены воспитанием; они привыкли кому-нибудь повиноваться и не умеют ни рассуждать, ни горячо верить. Они смотрят на свои уроки как мужики на барщину: «Нельзя же без этого; добром не сделаешь, так насильно заставят». Они и делают добром, чтобы не вышло неприятности. Таким образом приобретается привычка, которая всегда сохраняется далеко за пределами детства и часто сопровождает человека до гробовой доски. Ребенок учит урок, потому что так велено; гимназист зубрит к экзамену, потому что так заведено; студент записывает бестолковую лекцию, потому что она назначена по расписанию; гимназический учитель требует от ученика твердого знания урока, потому что он на то поставлен; профессор читает бестолковую лекцию, потому что его за тем посадили на кафедру. Словом, один толкает другого, не зная, куда и зачем, и другой также не знает, куда и зачем толкает его один, — но не расспрашивает об этом, следует импульсу и затем в свою очередь начинает толкать невинного третьего. Perpetuum mobile, * которого тщетно ищет механика, блистательным образом найдено и осуществлено в нашей педагогической и житейской практике. Так как образование наше нисколько не обусловливается собственными потребностями ребенка, то чем же определяется круг предметов, входящих в его состав? Если ребенку следует поступить в казенное заведение, то круг предметов определяется печатною программою; а если ребенок — девочка и если ей предстоит закончить свое образование в родительском доме, то круг предметов определяется теми требованиями, которые возбуждают неопределенный идеал

* Вечное движение, вечный двигатель (*лат.*). — *Ред.*

jeune personne charmante et bien élevée. * Вы видите, что к воспитательному элементу примешивается элемент специальности. Иногда примешивается с первых дней жизни ребенка. Бывают родители, которые знают заранее, что старший их сын будет фельдмаршалом, второй — адмиралом, а третий — министром финансов. Сообразно с этими предначертаниями располагается и воспитание, но таких родителей уже теперь немного; кроме того, это уже крайности, а я хочу говорить только о лучших явлениях нашей педагогической практики. Даже в этих лучших явлениях элемент специальности примешивается к образованию очень рано. Что касается до женщин, то они все специалисты, потому что воспитываются или для светской жизни, или для кухни, или для места гувернантки. Но о женском воспитании я говорить не буду. Посмотрим, какой же круг предметов назначается и требуется печатными программами, которые имеют такое неотразимое влияние на ход образования мальчиков в достаточных и просвещенных классах нашего общества. Мы можем принять за норму программу гимназии, потому что все другие программы гражданских и военно-учебных заведений представляют, по крайней мере в низших классах, очень незначительные уклонения от программы гимназии.

V

Перечислить отдельные предметы, входящие в гимназическую программу, очень легко, но определить, хоть в общих чертах, план и характер нашего гимназического образования совершенно невозможно, по той простой причине, что плана и характера в нем положительно нет.

Представьте себе, что я держу в руках маленькую и очень простую акварельную картинку. Вы умеете рисовать и сидите в другой комнате; перед вами лежат на столе лист бумаги, кисти и все те краски, которыми нарисована моя картинка. Я начинаю вам диктовать: полвершка желтой краски, три штриха зеленой, два вершка в длину и полтора в ширину лиловой и т. д. Я диктую совершенно верно и систематически-последовательно иду сверху вниз и от левой руки к правой, но, несмотря на то и несмотря на ваш художественный талант, я позволяю себе усомниться в том, чтобы на вашей бумаге изобразилась моя картина или вообще какая-нибудь другая картина. Именно таким образом диктовала нам Европа, и особенно Германия, программы своих заведений, такие программы, которые и на своем-то месте не приносили никакой пользы. А уж что из них вышло у нас — так этого и рассказать невозможно. В последнее время, с легкой руки «Русского вестника», за подобную диктовку хотела приняться Англия. [44] Явля-

* Девица прелестная и хорошо воспитанная *(франц.)*. — *Ред.*

лось в журналах мнение, что следует усилить у нас классическое образование, потому, дескать, что оно господствует в Англии, а Англия — держава просвещенная, и граждане пользуются всеми благами общественной жизни, и ораторы ее очень замечательны, и государственные люди дальновидны, и ученые глубокомысленны. Покуда мы с приверженцами классического образования не будем ни спорить, ни соглашаться. Заметим только, что школьное образование в Европе находится еще под влиянием тех идей, которые вложили в него гуманисты, жившие в эпоху Возрождения и во время Реформации. В конце XV и в начале XVI столетия все мыслящие люди Европы были увлечены обожанием классической древности, и это было хорошо, потому что лучше увлекаться идеями Цицерона и Платона, лучше восхищаться красотами Гомера и красивыми словами Виргилия, чем тупеть над средневековой схоластической гнилью. Увлечение греками и римлянами, конечно, хватило через край. Латинский язык, постоянно остававшийся языком церкви и права, вытеснил народные языки из литературы и науки. Даже Лютеров перевод библии на немецкий язык не положил предела тираническому господству латинского языка. На латинском писались и стихотворения, и богословские трактаты, и ученые исследования, и политические памфлеты. При таком положении дел латинский язык должен был твердо укорениться в школах.

Кроме того, все школьное образование должно было сложиться по образцу классической древности, с теми только изменениями, которых требовала христианская религия. Таким образом и явилось на свет так называемое гуманное образование, которому противополагают образование реальное и которого жалкие и искаженные лохмотья составляют наш гимназический курс. В Греции и в Риме образование было исключительно словесное. Преподавались грамматика, риторика и философия. К этому присоединялось кое-что из математики и разные гадания об астрономии. Естественных наук не было. Наука вообще в древнем мире не существовала, потому что соображения Аристотеля и Платона о мироздании и человеке, нравившиеся так сильно древним и средним векам, конечно не могут быть названы наукою. Математика была еще мало развита, и влияние ее на общее образование было незначительно. Стало быть, грек или римлянин в школе выучивался только хорошо говорить и хорошо писать. Апофеоза фразерства была доведена до такой наивной крайности, до которой она не может дойти в наш лицемерный век. Мы фразерствуем стыдливо и стараемся уверить всех, что говорим просто и дельно, а грек и, глядя на него, римлянин фразерствовали гордо и откровенно, потому что фразерство было и наукою, и искусством, и высшим достоинством человека, и лучшею доблестью гражданина, и вернейшим средством ворочать, по своему благоусмотрению, судьбою городов и республик. Фразерство пользовалось всемогуществом

во время лучших дней греческой и римской свободы, и это всемогущество фразы было, конечно, одною из мрачных сторон этого быта. Когда пала свобода Греции и Рима, тогда фраза потеряла свою силу, потому что эта сила перешла в македонскую фалангу и в преторианскую когорту. [45] Но в школе фраза продолжала господствовать, потому что больше не на чем было построить обучение. Из римских школ фраза, потерявшая смысл и силу, перешла в средневековые училища, потом в школы гуманистов, где она немножко освежилась от соприкосновения с литературными памятниками классической древности, и, наконец, от гуманистов к нам, через Польшу и Киев, через Заиконоспасскую академию и бурсы, та же самая классическая фраза забралась в гимназию и даже в кадетские корпуса. Кое-что приставили, кое-что урезали, и образовался гимназический курс, в котором, как я уже говорил, все предметы враждуют между собою и неутомимо преследуют и истребляют друг друга. Чтобы доискаться до какого-нибудь смысла в нашем гимназическом или общем образовании, необходимо было отправиться в историческую экскурсию и добраться до греков, потому что только там, в этом первобытном источнике, словесное или гуманное образование имело смысл и значение, а мы обнашиваем теперь чужие обноски, в которых уже не видно ни цвета, ни покроя, ни качества материи. Я, конечно, оставляю в моем обозрении преподавание закона божия в стороне; судить о том, хорошо или дурно ведется это преподавание, я предоставляю специалистам, как людям более компетентным. [46] Но, кроме закона божия, мы имеем великое множество наук.

История, география, математика, физика, русская грамматика, риторика с пиитикой, носящие более современное название теории словесности, история русской литературы, латинский язык, в некоторых гимназиях греческий, языки французский и немецкий. Помилуйте! Да может ли быть что-нибудь роскошнее этой программы, особенно если вспомнить, что вместо греческого языка в большей части гимназий преподаются законоведение и естественная история (sic!). Но замечаете ли вы странное явление? Математика и физика стоят совершенно одиночно в этой роскошной программе, точно незваные гости, зашедшие по ошибке в незнакомое общество. Они так и жмутся друг к другу; обыкновенно учитель математики преподает и физику. А в тех классах гимназии, где еще нет физики, математика оказывается совершенной сиротой и потому поневоле применяется к обычаям и манерам всего остального общества. Все другие предметы обращаются к памяти учеников; такое обращение вовсе не нравится математике, но с своим уставом в чужой монастырь не ходят, и она, скрепя сердце, покоряется господствующему порядку. Значит, математику и физику, как личности страдательные и ни в чем не повинные, мы можем оставить в стороне. Они бы и рады были помочь горю и предохранить гимназистов от угрожающего им отупения,

но сила остальных наук слишком велика, так что против них невозможно бороться. Вот, например, история. У нас принято думать, что это великая и прекрасная наука, что дети и юноши должны развивать свой ум и облагороживать сердце, читая деяния патриотов Греции и Рима и умиляясь думою над священными страницами отечественного бытописания. У нас принято даже говорить об истории высоким слогом, что я и старался исполнить в предыдущей моей фразе. У нас, далее, принято негодовать против гг. Кайданова, Смарагдова, Зуева и Устрялова; принято утверждать, что эти почтенные деятели написали очень плохие учебники и что только по милости этих учебников не достигаются те возвышенные цели, к которым должно вести преподавание истории в гимназиях. Кто только не бранил поименованных господ, кто не изощрял над ними своего копеечного остроумия! «Нам, — говорят эти остряки, — необходимы хорошие исторические учебники для гимназий. Это наша настоятельная потребность. Пора, пора обратить на нее внимание». Затем следуют знаки восклицательные, многоточия и другие печатные выражения взволнованных чувств. А между тем все это пустяки. Учебники никуда не годятся, — это правда. Но новых учебников совсем не нужно; они также никуда не будут годиться, потому что учебник истории для гимназий — бессмыслица, невозможная книга, неосуществимая мечта. Рациональное преподавание истории в гимназии также мечта, которая ни при каких условиях осуществиться не может.

VI

Мое мнение об истории требует доказательств, и я не откажу читателю, но предупреждаю его, что мне придется доказывать это довольно долго и что поэтому читатель не должен гневаться на меня за отклонение от главного предмета статьи. В настоящее время история есть список собственных имен, связанных между собою разными глаголами и пересыпанных цифрами годов: Антон поколотил Сидора в таком-то году, а потом Сидор соединился с Егором и пошел на Антона в таком-то году, и вздул его при таком-то городе, и выгнал его из такого-то царства. Потом Сидор с Егором передрались за добычу; потом Егор женился на дочери Сидора, Фекле, в таком-то году и получил за нею в приданое такие-то города; потом... Ну, и так далее, — вот образчик той истории, которую изучают наши гимназисты. Говорят, это нехорошо; это, говорят, от учебников; следует ученикам видеть внутреннее развитие народной жизни, следует понимать исторический колорит событий, следует постигать связь между великими причинами и великими следствиями... Ну да! Мало ли что следует! Да ведь все это одни фразы! Вы попробуйте приложить их к отдельному историческому эпизоду. Возьмите, например, из римской истории

деятельность Гракхов. Гимназист бойко расскажет вам, что Тиверий и Кай Гракхи были украшением и гордостью матери своей Корнелии, потом Тиверий сделался народным трибуном и захотел разделить между бедными гражданами общественные земли — ager publicus, потом сенат перепугался и стал хитрить, наконец перехитрил Тиверия, и наконец — Тиверия убили в народном собрании. И это он вам расскажет по Смарагдову, и, конечно, гораздо подробнее и красноречивее, чем я вам рассказал. Ну, чего ж вам больше? Какого вам исторического колорита? Ведь все, кажется, на своем месте: и сенат, и народное собрание, и трибун, и плебеи, и даже по-латыни ager publicus. Вы от гимназиста ничего больше требовать не можете, а между тем это то же самое, что повествование о Егоре, Антоне, Сидоре и дочери его Фекле. Гимназист, очевидно, не понимает, отчего Тиверию вдруг вздумалось осчастливить бедных, и отчего именно землею, а не деньгами, и откуда взялись эти бедные, и отчего сенату было выгодно, чтобы они оставались бедными, отчего сенату удалось перехитрить Тиверия, и отчего все предприятие рухнуло, и отчего бедные никак не могли сделаться землевладельцами. Словом, гимназист во всей деятельности Тиверия Гракха не понимает ничего и понимать ничего не может. Его нисколько не удивило, если бы вдруг оказалось у Смарагдова, что Тиверий настроил кораблей, посадил туда всех бедных, поехал с ними через Геркулесовы столбы, [47] пристал к берегам Британии, основал королевство и сделался родоначальником династии Гракхов. Гимназист принял бы этот исход дела так же равнодушно и рассказал бы его так же красноречиво, как он принимает и рассказывает действительное событие. Чтобы не было этого равнодушия и красноречия, гимназисту следует знать и понимать такое множество различных вещей, которое редко совмещается в надлежащей полноте и ясности в почтенной голове профессора истории. Ему надо знать например, что такое труд и капитал, в каких отношениях они находились между собою в древнем Риме, каково было в римской республике распределение богатства, какие причины содействовали переходу имуществ из рук в руки и сосредоточению их в руках немногих семейств, каково было умственное и нравственное положение богачей и бедняков; далее, такое же множество разнородных знаний необходимо и для понимания личного характера Тиверия, для оценки интриг сената, для разумения тех мрачных и разрушительных страстей, которые сенат умел возбудить в массе бедняков против того самого человека, который захотел их облагодетельствовать. Вот и смекайте. Ведь чего доброго, для понимания одного эпизода о Гракхах придется гимназисту прочитать несколько объемистых томов, придется заглянуть и в политическую экономию, и в философию истории, и в римские древности Нибура. Как же вы это желаете в учебник вместить? Если вы внесете в учебник все эти знания в виде кратких афоризмов, то книга значительно

увеличится в объеме, а гимназисту, вместо одной истории о Сидоре и Егоре, придется заучивать десять историй, потому что ваши краткие афоризмы будут для него голыми фактами, которые он будет брать приступом, на память, с равнодушием и красноречием. Надо вообще твердо запомнить, что тысяча прочтенных страниц может оставить по себе ясное понятие о предмете, а экстракт из этих тысячи страниц, заключающий в себе, например, страниц пятьдесят, не оставляет никакого понятия и может быть только затвержен на память. Стало быть, приходится — или удовлетвориться рассказом по Смарагдову, или написать учебник всеобщей истории томов в пятьдесят, или, наконец, прежде изучения истории сообщить ученику множество юридических, политических и экономических сведений. Но Смарагдовым вы удовлетвориться не хотите, и я тоже не хочу. Стало быть, напишем учебник в пятьдесят томов. Хорошо. Но это будет не учебник, а книга для чтения. Ну, так начнем сообщать предварительные сведения, а потом уже учиться истории. Опять-таки хорошо. Но тогда нам придется в гимназии сообщать предварительные сведения, а историю отложить на будущее время, и тогда читать уже лекции истории, а не задавать уроки по учебнику.

Против этих двух выходов я ровно ничего не могу возразить. Пусть гимназисты читают исторические сочинения, если они их понимают и находят их занимательными. Пусть им преподают в гимназии основные понятия о народном хозяйстве, о государственных системах, о юридических отношениях, ежели только сумеют преподавать эти мудреные и щекотливые вещи так, чтобы они были понятны и оставались неизуродованными. Но пусть не сваливают этого разнородного материала в один общий ящик с надписью «учебник истории», и пусть не требуют от этого учебника таких чудес, которые он ни в коем случае не может совершить. Ведь история не наука: это — приложение всех наличных знаний и всего наличного ума человека к пониманию прошедшей жизни; поэтому два различные человека на основании одних и тех же памятников напишут две истории совершенно различного достоинства; поэтому понимание важных исторических событий изменяется с каждым десятилетием, хотя бы в это десятилетие и не открылось никаких новых памятников и материалов. Самый тупой и неразвитый человек может написать историю, но она будет отражать в себе бессмысленную физиономию своего творца. А если напишет историю гениальный и очень образованный человек, то его творение будет великолепно и бессмертно. Понимать историю мы также можем только сообразно с нашими умственными силами и с шириною нашего развития. Шекспир сам по себе не изменяется, но если вы читали его, когда вам было четырнадцать лет, и потом прочли его, когда вам минуло двадцать лет, то, наверное, первое впечатление было значительно слабее и смутнее последнего. История, написанная замечательным человеком, —

тот же Шекспир; а история, составленная каким-нибудь Капфигом или г. Устряловым, — то же самое, что роман г. Воскресенского или Рафаила Зотова. Первого рода историю следует понимать, а второго рода — совсем читать не стоит. А чтобы понимать, надо стоять на известной степени развития. Но если никто не принуждает гимназистов читать исторические книги, тогда нет беды в этом, что они возьмут в руки такие сочинения, которые еще не вполне доступны их пониманию. Не поймут — так оставят, а если будут читать, — значит, находят удовольствие и, стало быть, что-нибудь понимают. Я восстаю только против обязательного изучения истории и против обязательного чтения исторических книг. Эта обязательность прямо наваливает на молодой ум непосильный груз и, следовательно, неизбежно ведет за собою отупение и упадок мыслительной силы.

VII

География, конечно, может и должна быть преподаваема в гимназиях, но, конечно, не так, как она преподается теперь. Вину плохого преподавания сваливают на учебники, и в этом случае крестовый поход против плохих учебников оказывается такою же смешною несообразностью, какою он оказался в деле гг. Смарагдова и компании. Существенный недостаток в преподавании географии заключается в том, что политическая география преобладает над физическою, а этот недостаток может быть устранен только тогда, когда география будет преподаваться в тесной связи с геологиею, ботаникою и зоологиею. В наших географических учебниках стоят на первом плане имена гор, рек, озер, мысов и особенно городов, но в них есть также замечания о почве, климате и естественных произведениях. На эти замечания ни учитель географии, ни его ученики не обращают никакого внимания, и действительно внимания обращать не стоит, потому что замечания гласят обыкновенно, что почва плодородная, климат благорастворенный, или умеренный, или холодный, произведений много, и всех не упомнить. Стало быть, если о плодородии почвы отозваться умеренно, а о климате сообразить приблизительно по градусу широты, то дело сойдет благополучно. А насчет произведений учитель редко спрашивает; ведь он видит, что ученик запомнил несколько десятков имен, означающих горы, реки и города; к чему же ему гнаться еще за дюжиною имен вроде бананов, пататов, баобабов, кокосовых пальм, орангутангов, тапиров, кенгуру, орниторинксов; для ученика, незнакомого с естественными науками, это все такие же имена, как Камбоджа, Брамапутра, Давалагири, Чандернагор и т. д. А если бы учитель взялся объяснять каждое из имен, означающих диковинные растения или принадлежащих диковинным животным, то ему при-

шлось бы сделать в преподавании своего предмета целый переворот, и переворот этот принес бы очень мало пользы, потому что две самостоятельные науки, ботаника и зоология, не могут быть сообщены ученикам между прочим, в прибавлении к урокам географии.

Ни учебник, ни учитель географии не могут своими средствами исправить общий недостаток системы. География прежде всего должна быть описанием земли. Она должна дать ученику ряд картин, показывающих ему, как размещены на земном шаре минералы, растения, животные и люди. Она должна объяснять ему связь, существующую между этими произведениями, с одной стороны, и устройством поверхности, орошением, свойствами почвы и климатическими условиями, с другой стороны. Словом, дело географии — показать общую связь отдельных частей; ее дело нарисовать общие картины природы. Но исполнить эту важную и трудную задачу она может только в том случае, если отдельные части будут уже известны учащимся. География может и должна опираться на все естественные науки, но заменять их собою она не может, потому что в таком случае ей пришлось бы обратиться в необъятную энциклопедию, наполниться множеством эпизодических подробностей и, следовательно, совершенно упустить из виду свою единственную законную цель. Стало быть, учебники наши ни в чем не виноваты, они совершенно соответствуют общим требованиям системы, и хорошие учебники могут возникнуть только тогда, когда будет перестроена вся система. Теперь преподавание географии впадает в те же роковые ошибки, которые я указал в преподавании истории. Вместо того чтобы описывать землю, география старается описывать государства, или, другими словами, старается представить картину современной жизни человечества, точно так же, как история усиливается представить картину прошедшей жизни человечества. Старания географии в этом случае так же бесплодны, как усилия истории. Могут ли ученики понять, что такое правительство монархическое неограниченное, монархическое ограниченное, республиканское? что такое религия римско-католическая, лютеранская и англиканская? что такое университеты, ученые и учебные заведения, заводы, фабрики и мануфактуры, гавани и крепости и другие слова, которыми для разнообразия пересыпаны собственные имена городов? что такое каналы, доки, верфи, таможни, биржи? что такое месторождения замечательных людей, которых имя попадается ученику в первый раз в жизни, и что такое памятники, воздвигнутые в честь этих людей или в воспоминание событий, о которых ученик также не слыхал никогда? Чтобы объяснить ученику различные образы правления, надо прочитать ему сравнительный обзор европейских конституций; чтобы слова: римско-католический, лютеранский и т. д. не были для него звуками, лишенными значения, надо познакомить его с параллельною историею религий; другие приведенные мною слова: университеты,

заводы, гавани и т. д. употребляются нами так часто, что мы не отдаем себе отчета в их неясности; но подумайте, возбуждают ли эти слова в уме ученика какие-нибудь определенные представления? Он присмотрелся к ним; слово знакомо, но о том предмете, который обозначается этим словом, он не имеет никакого понятия. Чтобы дать ему это понятие, надо по поводу каждого отдельного слова прочесть ему несколько лекций; в географии надо будет ввести множество экономических, политических, юридических и технических сведений и подробностей. А всего лучше поступить с преподаванием политической географии так же, как я советовал поступить с преподаванием истории. Политическая география — предмет очень сложный; поэтому следует преподавать ее тогда, когда ученики усвоят себе понятие о простых элементах, входящих в ее состав. Но политические и экономические сведения вообще должны быть передаваемы юношам уже развитым и способным мыслить; стало быть, всего лучше отложить о них попечение в гимназии и сосредоточить все внимание учеников на физической географии, поддерживаемой основательным изучением естественных наук.

Кстати о естественных науках. Многие заметят, быть может, что естественные науки и теперь преподаются в тех гимназиях, в которых нет греческого языка. Это замечание, конечно, не может считаться серьезным. Вы можете себе представить, что это за преподавание. Припомните только, что вместо одного греческого языка вводятся два предмета: законоведение и естественная история. Стало быть, все естественные науки, вместе взятые, соответствуют половине греческого языка. Потом, что это за наука «естественная история»? Это винегрет из минералогии, ботаники и зоологии, и винегрет этот подается на стол одним учителем. Тут, очевидно, можно ожидать только изобилия терминов и классификаций или же, для разнообразия, бюффоновских рассказов о трогательной верности собаки и об изумительной смышлености бобра. Такие естественные науки, конечно, не могут служить опорою для физической географии. Но даже естественная история все-таки лучше всеобщей истории и политической географии. Верность собаки и смышленость бобра по крайней мере понятны ученикам, а действия Тиверия Гракха или монархическое ограниченное правление Англии оказываются для учеников китайскою грамотою. Надо принять себе за неизменное правило ту основную педагогическую истину, что ученику следует говорить только то, что его интересует, или то, что он может вполне понять. Приобретаемая в наших учебных заведениях привычка встречать незнакомые понятия и свыкаться с ними, не проникнув в их смысл, привычка читать книги, не отдавая себе отчета в их содержании, привычка скользить над трудностями, не желая их заметить, — эта привычка прямо ведет к расслаблению и к вялости мысли, к неизлечимому фразерству, к бессознательному и безысходному шарлатанству.

VIII

О преподавании русской грамматики распространяться нечего. Оно идет недурно, и, конечно, оно совершенно необходимо, как естественное и неизбежное продолжение азбуки. Остается желать ему тех улучшений, которые понемногу проникают во всякое преподавание, по мере развития и уяснения общих понятий о рациональных педагогических приемах. В грамматике не может быть никаких радикальных преобразований, и поэтому я отодвигаю ее в сторону.

Но не угодно ли вам взглянуть на теорию словесности и на историю русской литературы, поглощающие в жизни гимназистов от трех до четырех лет. Эти два предмета начинаются в четвертом классе и сопровождают учеников до седьмого включительно. Под именем теории словесности укрываются, с несвойственною им стыдливостью, риторика и пиитика — те самые науки, которые до сих пор открыто свирепствуют в семинариях, отравляя жизнь бурсака и наполняя его несчастную голову непроходимою чепухою. К этим двум знаменитым наукам присоединяется кусочек формальной логики; есть даже покушения на эстетику; впрочем, где тот смертный, который отважится разграничить эти науки? Кто догадается, где кончается логика и начинается риторика? Кто отличит пиитику от эстетики? И какой здравомыслящий человек объяснит нам, на что годятся все эти четыре науки, вместе взятые? Гимназическая программа желает вероятно, чтобы они умягчали жестокие сердца буйных и строптивых учеников. Известно, что изящные искусства поселяют кротость и добродушие в суровые нравы дикарей; известно, что даже животные любят музыку и что камни слагались сами собою в стены фиванской крепости под звуки лиры Амфиона. [46] На основании всех этих исторических и зоологических примеров гимназическая программа хочет умилить и растрогать юных питомцев рассуждениями об изящном и о различных его проявлениях.

Я поневоле должен предположить в теории словесности скрытую нравственную цель, потому что отыскать в ее преподавании малейшую долю пользы для умственного развития нет никакой возможности. Представления, понятия и силлогизмы, метафоры, эпитеты, синекдохи, антитезы, определение, определение изящного, субъективность и объективность, пластические и тонические искусства, художественность и поэзия, трогательное и наивное, юмор и ирония, дидактизм, драматизм, эпос, лирика — да если бы я захотел, я мог бы наполнить словами десятки страниц; и это море слов льется сначала широкими и правильными волнами с кафедры к скамейкам, потом журчит робкими и перемежающимися ручейками от скамеек к кафедре; и в подобных занятиях учитель и его ученики проводят еженедельно часа по три в продолжение двух лет; и учителю не совестно глядеть на своих уче-

ников; и ученикам не смешно смотреть на своего учителя. Не явное ли это доказательство того чарующего и смягчающего влияния, которое рассуждения об изящных предметах оказывают на самые разнородные организации? Учитель изливает море слов и, убаюканный его величественным шумом, перестает понимать то, что он делает, перестает чувствовать подавляющую нелепость своего занятия. Ученик изливает журчащий ручеек слов и, также убаюканный его серебристым журчанием, теряет свойственную гимназисту способность видеть смешную сторону вещей. Учитель и ученик баюкают друг друга и затем расходятся, успокоенные и умиротворенные.

Я прошу читателя извинить мой шутливый отзыв о теории словесности; но мне кажется, что об этом предмете невозможно говорить серьезно. Ведь только те остроумные люди, которые, при напряжении всех своих умственных сил, дошли до отрицания учебников Кайданова и Смарагдова, только эти остроумные люди, говорю я, способны серьезно полемизировать против теории словесности. Я настолько уважаю моего читателя, что не причисляю его к этим остроумным людям. Поэтому я нахожу достаточным напомнить читателю, что такое теория словесности, и заметить ему, что этим предметом занимаются гимназисты в продолжение двух лет. Этого напоминания и замечания слишком достаточно для того, чтобы произнести приговор над этою умиротворяющею наукой. Археологическое значение этой науки также заслуживает внимания: мы сохранили ее со времен Аристотеля в полной чистоте и неприкосновенности. Живучесть фразерства ясно доказывается этим любопытным обстоятельством.

За теориею словесности следует история русской литературы. Это история, как и все другие, представляет список имен, которые навсегда останутся для ученика именами, ровно ничего собою не означающими. Жил-был Нестор, написал летопись; жил-был Кирилл Туровский, написал проповедей много; жил-был Даниил-заточник, написал Слово Даниила-заточника; жил-был Серапион, жил-был, жил-был, и все они жили-были, и все они что-нибудь написали, и всех их очень много, и до всех их никому нет дела, кроме гимназистов и исследователей старины. Когда дойдет дело до Ломоносова и Державина, тогда становится еще тошнее; приходится запоминать названия од и отрывки из них, до которых также дотыкаются только гимназисты и исследователи. А уж когда доберутся до Пушкина, тогда надо спешить, потому что учебный год приходит к концу; да и, кроме того, гимназистам не полагается знакомиться с новейшею литературою подробнее, чем с Словом Даниила-заточника и с державинскою Фелицею.

Читатель мой, вы — патриот, и я — тоже патриот; вы всей душой любите русскую литературу, и я тоже люблю ее всей душой. Но допустим на минуту предположение, что наши высокие чувства не помрачают нашего проницательного ума; в одну из таких

предполагаемых светлых минут приложим перст ко лбу и подумаем: следует ли преподавать историю русской литературы? Отрицательный ответ не замедлит привести нас в ужас, потому что, пока мы будем размышлять, светлая минута пройдет, и ответ врежется в туман наших чувств, как зловещая молния. Но если настанет еще светлая минута, тогда мы не побоимся сознаться перед собою, что действительно сохранять от забвения имена таких людей, которых идеи и поступки не имеют уже никакого влияния на нашу умственную жизнь, — труд тяжелый, неблагодарный и, кроме того, всегда безуспешный. Имена эти удерживаются в памяти учащихся только до вожделенного дня последнего экзамена. Первые впечатления действительной жизни смывают без следа все тепличные растения школы. Если случится, что молодой человек припомнит нечаянно какого-нибудь Вассиана Рыло, или Сильвестра Медведева, или Аблесимова, Хераскова, Кострова, или два-три стиха Тредьяковского, Ломоносова или Державина, то он только улыбнется и проговорит про себя или вслух: черт знает, чему нас учили! И это скажет молодой человек, потому что у нас всегда случается, что юноша, окончивший курс учения, становится тотчас непримиримым врагом той системы преподавания, которую он испытал на себе самом. Это враждебное отношение учащегося или учившегося в школе составляет у нас такое общее явление, к которому мы совершенно пригляделись и в котором мы не находим даже ничего ненормального. А хорошо ли это явление? Не доказывает ли оно само по себе, независимо от всяких других доказательств, что вся система нашего образования нуждается в тщательном пересмотре и что она может освежиться и усовершенствоваться только вследствие радикального переворота? Если бы были недовольны теперешним преподаванием десять, сто, тысяча воспитанников и учеников, то причины этого неудовольствия могли бы быть случайные, происходящие от собственной вины недовольных. Но когда нельзя найти ни одного воспитанника или ученика, который учился бы с удовольствием, из одной любви к учению, когда эта неприязнь к школе сохраняется у людей, уже вышедших из-под ее влияния, тогда делается очевидным, что школа не исполняет своего назначения.

Однако патриотическое чувство наше все-таки оскорблено, читатель, и мы говорим, снова упиваясь туманом, что нельзя же народу забывать прошедшее своей умственной жизни. Но туман опять рассеивается, и тогда мы соображаем, что прошедшее нашей умственной жизни всегда будет сохраняемо исследователями. Кому надо ознакомиться с стариною русской литературы, духовной и светской, тот найдет к ней дорогу, помимо учебника Зеленецкого, утвержденного департаментом народного просвещения. А кому такое знакомство не кажется необходимым, того не обратит на путь истины даже учебник Зеленецкого. Я думаю, не было еще примера, чтобы гимназический курс русской литера-

туры вселил в кого-нибудь любовь к этому предмету. Учитель русской словесности, конечно, может подействовать таким образом, но только в том случае, когда он будет рассуждать с учениками и, следовательно, действовать на них как человек, а не как учитель. Наконец не мешает посмотреть на дело следующим образом: если мы будем думать, что наше умственное прошедшее может сохраниться в нашей памяти только при содействии обязательного учения, то мы, стало быть, будем сомневаться в патриотизме нашего юношества. Если патриотизм надо втолковывать в школе и поддерживать экзаменами, то какой же это патриотизм? Ведь вынужденная добродетель теряет всю свою цену. Патриот поневоле — le patriote malgré lui — сюжет, достойный Мольера и нисколько не уступающий в комизме сюжету: врач поневоле — le médecin malgré lui. Стало быть, нравственная сторона в преподавании русской литературы оказывается несостоятельною. Что же касается до умственной стороны этого преподавания, то несостоятельность ее не нуждается в доказательствах. А что, если бы учитель, оставив в стороне теорию словесности и историю русской литературы, начал читать с учениками лучшие поэмы и прозаические сочинения Пушкина, потом прочитал бы им всего Гоголя, кроме «Переписки с друзьями», потом Кольцова, потом Тургенева и Островского, потом лучшие критические статьи Белинского и Добролюбова, потом несколько народных былин и песен, несколько легенд и сказок? Как вы думаете? Ведь гимназисты считали бы класс русской словесности наслаждением для себя; ведь они с благодарностью вспоминали бы о таком учителе до седых волос; ведь, пожалуй, даже интересы патриотизма были бы сохраняемы; пожалуй, у некоторых учеников пробудилось бы действительное желание узнать что-нибудь о предшественниках Пушкина. Пожалуй, могло бы из этого выйти много хорошего. Но ведь это неосуществимая мечта. Ведь ученикам тогда нечего было бы учить наизусть, и учителя согнали бы с кафедры после первого экзамена в его классе. Ведь у нас принято измерять и взвешивать плоды учения, а так как умственное развитие нельзя прикинуть ни на аршин, ни на безмен, то оно и считается мифом и роскошью. Нам подавай знания, чтоб ученик говорил на экзамене полчаса, не переводя духа, и чтоб он мог проговорить два или три часа, если только его не остановят. Это мы любим, и этого мы достигаем.

IX

Языки латинский и греческий обыкновенно преподаются в гимназиях недурно. В той гимназии, где я учился, эти предметы преподавались отлично. Каждым из них заведовали по два учителя, так что ни один день не обходился у нас без эллинов или римлян. Самые ленивые и невнимательные ученики принуждены

были читать довольно правильно латинские стихи и спрягать без значительных ошибок греческие глаголы. Результат блестящий! Но к чему это вело? К чему это могло вести? Может быть, к тому, что из тридцати учеников выработается со временем один учитель латинского языка и один учитель греческого языка; а из трехсот учеников, может быть, один сделается профессором римской и греческой словесности. Этот один в течение своей профессорской деятельности образует двоих или троих эллинистов или латинистов, которые потом в свою очередь передадут светильник своей науки немногим избранным; десятилетия, века пройдут над нашим обществом, а светильник эллинизма или латинизма будет гореть попрежнему в двух-трех кабинетах, до которых никому не будет дела; если бы этот светильник погас, то никто бы этого не заметил, никто бы об этом не пожалел, а между тем тысячи детей и юношей постоянно тратят силы и время над грамматическими и синтаксическими трудностями классических писателей, единственно для того, чтобы подливать в этот тускло горящий светильник скудные капельки масла.

Зачем гибнет это время? К чему тратятся эти силы? Защитники классического образования приводят в его пользу два главные аргумента. Во-первых, они говорят, что самый процесс изучения древних языков развивает мыслительные силы. Во-вторых, они напоминают о красотах классических литератур и говорят, что чтение в подлиннике Гомера, Виргилия, Горация, Цицерона, Демосфена, Тацита, Фукидида, Платона составляет лучшую школу для ума, для сердца и для эстетического чувства. Первый аргумент верен, но его надо расширить, и тогда практическое применение его будет значительно изменено. Не изучение древних языков, а вообще всякое изучение иностранных языков развивает ум, сообщая ему гибкость и способность проникать в чужое миросозерцание. Изучение греческого и латинского языков труднее, чем изучение языков французского, немецкого и английского, но это обстоятельство вовсе не доказывает того, чтобы занятия первого рода были полезнее для развития ума. Трудности классических языков, заключающиеся в страшном изобилии грамматических форм, в сложности склонений и спряжений, целиком ложатся на память, и усилия, необходимые для преодоления этих трудностей, вовсе не развивают критического смысла учащегося. Обыкновенно случается так, что юный гимназист приучается только к мелочной внимательности и что весь его ум уходит на борьбу с ударениями и метрами, с временами и наклонениями, с предлогами и союзами, с конструкциями и поэтическими вольностями. Древние языки сложнее новейших вовсе не потому, чтобы мысли тех времен были богаче наших, а напротив — потому, что в древности форма преобладала над мыслью. Для нас литература есть серьезное дело, а для аристократов и патрициев древности она была художественною забавою. Мысль придумывала для своего

выражения сотни ненужных оттенков, которых мы теперь не понимаем. Самая простота греков так богата украшениями, что для нас она кажется напыщенностью. «Илиада» в буквально верном переводе Гнедича поражает нас своею цветистостью и высокопарностью, а между тем известно, что удивительная простота речи составляет главное достоинство Гомера. Поэтому, углубляясь в изучение классиков, мы рискуем увлечься преимущественно формою выражения; мы тратим все силы своего ума, чтобы вдуматься в такие оттенки речи, которые для грека или римлянина были только капризами фантазии, требовавшей разнообразия. Мы делаемся педантами там, где древний человек был сибаритом, тешившимся звучностью и прихотливостью своих выражений. Силы, издерживаемые на изучение древних языков, были бы употреблены гораздо более производительным образом, если бы мы обратили их на изучение живых языков, французского, английского и немецкого. В этих языках нет тех бесплодных технических трудностей, которые заваливают собою грамматики греческую и латинскую, а между тем каждый из этих языков переносит нас в миросозерцание такого народа, который сделал гораздо больше, чем греки и римляне, как в области мысли, так и в области практической жизни.

Но нам говорят о красотах классических литератур, и это напоминание составляет второй аргумент защитников классического образования. По правде сказать, из всех греческих и латинских писателей только Гомера и Тацита действительно стоит читать в подлиннике. Все остальные писатели древности не произвели ничего такого, чего бы мы не могли найти у современных народов в более совершенной и сознательной форме. Но изучать два языка для того, чтобы прочитать в подлиннике две поэмы и четыре исторические сочинения, о которых все-таки можно составить себе некоторое понятие по хорошим переводам, — это, воля ваша, слишком удивительный подвиг самоотвержения; этот подвиг могут совершать люди по доброй воле, но зачем возлагать его на невинных гимназистов? Пусть учится древним языкам тот, кто желает этого; но зачем же обязательное учение? Если каждому образованному человеку необходимо прочитать в подлиннике Гомера и Тацита, то я не вижу, почему не было бы необходимости читать Саади и Гафиза в персидском подлиннике, Магабгарату и Сакунталу [49] в санскритском, сочинения Конфуция в китайском, коран в арабском, и т. д. Наверное, в каждом языке можно было бы найти такие красоты, которые утрачиваются или по крайней мере бледнеют в переводе. Но так как жизнь человеческая имеет пределы и не должна тратиться на одно преследование различных красот, то для образованного русского можно признать совершенно достаточным, если он, кроме своего родного языка, будет знать языки французский, немецкий и английский. Можно сказать без преувеличения, что на этих трех языках он найдет все сокро-

вища человеческого ума и человеческой фантазии, как в оригинальных произведениях, так и в превосходных переводах со всех остальных, мертвых и живых языков. Если бы гимназии, обращающие так много внимания на классическую древность, перенесли это внимание на языки французский, немецкий и английский, то общество и учащаяся молодежь сказала бы им большое спасибо. Конечно, многие молодые люди употребили бы свои лингвистические познания только для светской болтовни, но зато все они имели бы в руках ключи от трех богатейших литератур. Кто из них захотел бы, тот мог бы воспользоваться этими ключами, а это много значит; нам часто случается видеть, что самое добросовестное стремление к образованию остается на степени стремления только потому, что стремящемуся приходится начинать с французской или немецкой азбуки, чтобы добраться до серьезных научных сочинений. Заниматься азбукою, вокабулами и грамматикою в двадцать лет не всякому по силам, и прямая обязанность школы состоит в том, чтобы облегчить своим питомцам дальнейший ход занятий, сообщив им те элементарные сведения, которые так легко усвоиваются детьми и которые с трудом и скукою приобретаются взрослыми. Французский и немецкий языки преподаются в гимназиях плохо и небрежно; английский вовсе не преподается. Если бы уничтожить в гимназиях латинский и греческий языки, то сбереженное время могло бы значительно усилить преподавание новейших языков, и польза такой перемены была бы очевидна. Защитники классицизма обыкновенно приводят в пример Англию, воспитывающую свое юношество на греческих и латинских писателях и в то же время преуспевающую на поприще гражданской жизни. Аргументация этих господ более оригинальна, чем убедительна. Вот их логика: Иванов — человек очень богатый. Он ездит обыкновенно на гнедых лошадях. Следовательно, чтобы разбогатеть, необходимо ездить также на гнедых лошадях. Пока мы будем соблазняться такой логикой или сражаться против нее, до тех пор мы наверное не разбогатеем, на каких бы лошадях мы ни ездили.

X

Обзор предметов, входящих в гимназический курс, доказывает очень убедительно наше совершенное равнодушие к общему образованию. Воспитательный элемент очень силен в гимназиях; для сохранения благонравия между учениками принято множество мер положительных и отрицательных. К первым относятся различные наказания, о которых я не считаю нужным распространяться. Вторые заключаются в той заботливости, с которою начальство следит за преподаванием и удаляет из него все подробности, могущие повредить нравственной или умственной чистоте

учащегося юношества. Специальный элемент обнаруживается не так сильно, потому что гимназии считаются преимущественно общеобразовательными заведениями. Кто желает изучить характер специального элемента, тот должен обратиться к таким заведениям, в которых к гимназической программе присоединены предметы, сообщающие всему заведению особый колорит и определенное познание. Там, конечно, наблюдатель увидит, что специальные предметы преподаются очень тщательно и оттесняют на самый задний план те науки, которые считаются у нас необходимою принадлежностью общего образования. Даже в некоторых гимназиях можно, впрочем, заметить признаки специализма. Они выражаются в особенно тщательном преподавании греческого и латинского языков.

Если бы программа нашего общего образования была составлена рационально, то можно было бы пожалеть о том, что это общее образование так часто приносится в жертву специализму. Но теперь не о чем жалеть. Воспитательный элемент и специализм не могут повредить общему образованию, потому что нечему вредить; общее образование не может пострадать, потому что оно не существует. А почему оно не существует, это довольно трудно объяснить. Может быть, потому, что наша программа списана с устарелых немецких программ; а может быть, и потому, что составители наших программ упускали из виду общее образование и заботились только о воспитании и о специальностях. Как бы то ни было, общее образование оказывается у нас именно в данной форме, с очень определенным литературно-историческим направлением. С этой формой и с этим направлением свыклась рассуждающая часть нашего общества; свыкнувшись с ними, она стала поддерживать их своим мнением и своими предрассудками, она пригляделась к тому типу, который она называет образованным человеком, и потому очень смело объявляет необразованными тех людей, которые отвергают и этот тип и ее требования.

Я не буду говорить о тех временах, когда незнание французского языка или, вернее, непривычка говорить на этом языке считалась решительным доказательством необразования. Эти времена отживают свой век, и ратовать против умирающих предрассудков смешно и бесполезно. Я замечу, что даже лучшая часть нашего общества до сих пор носится с такими странными понятиями об образовании, которые она приняла по наследству, без малейшей критической поверки. Образованный человек, по господствующему мнению, должен иметь понятие... На этих словах я должен остановиться, потому что нет никакой возможности выразить точно и определительно, о чем должен иметь понятие человек, признаваемый образованным. Он должен знать, что Сервантес написал «Дон-Кихота» и что Дон-Кихот сражался с мельницами, что Шекспир написал «Гамлета» и что Гамлет был влюблен в Офелию, что Беатриче была возлюбленною Данте,

а Лаура возлюбленною Петрарки, что Жорж-Занд проповедует эмансипацию женщин, что Юлий Цезарь перешел через Рубикон, что Байрон хромал на одну ногу и сражался за свободу Греции, что Людовик XIV сказал: «L'état, c'est moi», * а потом сказал: «Il n'y a plus de Pyrénées», ** что граф Уголино умер в башне с голода, что Лютер бросил в черта чернильницей, что Марий сидел на развалинах Карфагена, что губернатором острова св. Елены был Гудзон Ло, что Тит считал потерянным тот день, в который он не сделал доброго дела; что «Парижские тайны» написаны Эженем Сю, что... ну, все равно, довольно и этого, чтобы видеть требования общества. Образованный человек должен знать, кроме того, имена всех столичных городов на земном шаре, а из математики — четыре правила арифметики и названия всех математических наук. Нельзя сказать, чтобы требования общества были обширны и глубоки, но зато в пределах своих требований общество очень строго. О Данте оно знает, например, только то, что он любил Беатриче и написал «Божественную Комедию»; о Петрарке то, что он итальянский поэт и певец Лауры; о Тите — что он римский император и хороший человек; о Людовике XIV — что он — le grand roi *** и что при нем был le siècle de Louis XIV, **** ну и потом m-lle de la Vallière, m-me de Montespan, m-me de Maintenon. ***** Но если вы не знаете и этих вещей, тогда вы человек необразованный. Вы и не требуйте от общества отчета, почему именно необходимо знать эти вещи и к чему ведет это знание. Вам или совсем не ответят, или ответят с изумлением и досадой: «Ах, боже мой, да как же этого не знать? Это все знают. Как — к чему ведет? Но нужно же иметь понятие».

Дальше этого ответа общество не идет; оно и само не знает, как велики пределы этих обязательных знаний; не знает и того, почему и с какого времени они сделались обязательными; оно только чувствует неприятное ощущение, когда кто-нибудь в его среде выходит из границ дозволенного невежества, и объявляет тотчас такого нарушителя границ человеком необразованным. Вы смело можете не знать ничего о физических законах природы и можете признаваться обществу в своем невежестве; но есть собственные имена и исторические сплетни, которые вы обязаны знать, если не желаете сделаться предметом всеобщего изумления. Понятно, стало быть, что образование представляется обществу чем-то неопределимым; этим именем называется что-то такое, а что именно — неизвестно; да общество никогда об этом и не спрашивает. Ему досталась откуда-то, когда-то, по какому-то случаю

---

* Государство — это я *(франц.)*. — *Ред.*

** Нет больше Пиренеев *(франц.)*. — *Ред.*

*** Великий король *(франц.)*. — *Ред.*

**** Век Людовика XIV *(франц.)*. — *Ред.*

***** Мадемуазель де ла Вальер, г-жа де Монтеспан, г-жа де Ментенон. — *Ред.*

сумма каких-то разрозненных знаний; оно к ним привыкло, назвало их образованием, удовлетворилось ими и теперь только иногда, точно сквозь сон, — требует частичных усовершенствований, новых учебников, наглядного преподавания, улучшения в личном составе учителей. Ему даже в голову не приходит спросить себя: да что ж такое образование? чем оно должно быть и в каком положении находится оно у нас? Молодые люди, выходящие из учебных заведений, всегда недовольны школою, но всегда объясняют свое неудовольствие мелкими и случайными недостатками: учебники нехороши, учителя плохи, начальство придирчиво. Потом это неудовольствие стирается другими житейскими впечатлениями, и молодые люди, делаясь отцами семейства, совершенно мирятся с школьными неудобствами и бестрепетно подвергают им своих детей. Таким образом, влияние общества на школу ограничивается только тем, что общество говорит: «Надо иметь понятие...», а так как школа дает понятие и о Гракхах, и о Несторе, и о синекдохах, то общество оказывается совершенно довольным, и отцы каждый год проливают слезы умиления над успехами возлюбленных детей. Я теперь перейду к университету, а потом, в заключение, выскажу несколько мыслей о том, чем должно быть общее образование.

XI

Лучшие надежды нашего отечества сосредоточиваются на университетах; университетская молодежь обыкновенно вносит в практическую жизнь честность стремлений, свежесть взглядов и непримиримую ненависть к рутине всякого рода. Обскуранты и рутинеры всегда нападали на университеты и предпочитали им систему закрытых заведений; но теперь эта порода обскурантов и рутинеров переводится и обращается в палеонтологическую редкость. Их уже никто не боится, и с ними никто не спорит. Теперь писатель, уважающий самого себя, не обязан безусловно защищать университеты; он может спокойно рассматривать и указывать недостатки их устройства. А недостатки эти очень многочисленны и крупны. В конце 1861 года появилось много статей об университетах. [50] Я теперь не имею их под руками и не помню их выводов. Может быть, мне случится в чем-нибудь сойтись с тою или другою из этих статей, но я не вижу в этом большой беды. Если мысли мои будут верны, то они не потеряют от того, что будут высказаны во второй раз. Если они ошибочны, то повторенное вранье будет так же безвредно для публики, как было безвредно вранье первобытное. То обстоятельство, что у меня нет под руками этих статей, даже благодетельно для публики; оно сокращает мое рассуждение, потому что отнимает у меня возможность возражать тем писателям, которые раньше меня разрабатывали вопрос об университетах.

Важнейшее и единственное преимущество университета перед всякими другими высшими учебными заведениями заключается в том, что учащиеся пользуются значительною степенью свободы в выборе и в направлении своих занятий. Ни талант профессоров, ни их усердие, ни их умение сближаться с студентами, ничто не может возбудить в молодом человеке ту энергию и самодеятельность, которую возбуждает и поддерживает в нем чувство собственной самостоятельности. В закрытом заведении молодой человек, при самых благоприятных условиях, может быть только благовоспитанным и прилежным школьником. В университете он делается человеком, сознательно распоряжающимся своими силами и способным обращать в свою пользу даже неблагоприятные условия. Он часто увлекается, часто делает глупости, но надо помнить, что переход от детства к мужеству заключается именно в том, что молодой человек, путем собственных опытов, ошибок и падений, выучивается твердо стоять на ногах и твердыми шагами направляться к сознательно выбранной цели. Кого заботливая рука удерживала от всяких падений, тот или в позднейшем возрасте наверстает потерянное время, или останется на всю жизнь благовоспитанным мальчиком, не имеющим ни характера, ни оригинальности. Процветание университетов всегда соответствовало той степени самостоятельности, которая предоставлена была студентам. Деятельность самых талантливых профессоров никогда не могла заменить собой эту драгоценную самостоятельность. Умственное развитие похоже в этом отношении на кристаллизацию. Главное дело экспериментатора, желающего добыть правильные кристаллы, заключается в том, чтобы не тревожить сосуда, в котором налит раствор. Главное дело университетского начальства, добросовестно относящегося к умственным интересам студентов, не вмешиваться в ход их занятий регламентацией и административными распоряжениями. Если бы начальство захотело, например, ввести на лекциях переклички студентов и репетиции, то подобное распоряжение повредило бы университету сильнее, чем выход в отставку нескольких даровитейших профессоров. Эта мера, может быть, принудила бы десяток кутящих студентов проводить в аудиториях часы, тратившиеся в ресторанах, но зато она вместе с тем удерживала бы сотни дельных студентов на таких лекциях, которые не приносят им пользы. А истратить час времени на бесполезной лекции гораздо хуже, чем истратить час на болтовню или другое развлечение.

Студент возвращается с лекции утомленный и должен отдыхать, так что у полезной работы отнимается не час времени, а вдвое или втрое больше. Прибавьте к этому постоянную досаду против нравственного насилия, и вы увидите, как некрасивы последствия такого распоряжения, которое на первый взгляд может показаться довольно благообразным.

Так как преимущества университета перед другими высшими учебными заведениями заключаются единственно в самостоятельных отношениях студентов к своим занятиям, то недостатки, обнаруживающиеся в современном устройстве университетов, заключаются единственно в ограничении этой необходимой и во всех отношениях полезной самостоятельности. Может быть, некоторые из этих ограничений неизбежны в настоящее время и находятся в связи с общим положением образования в обществе; но во всяком случае эти ограничения оказываются недостатками, на которые должна указывать теория и об исправлении которых должно заботиться общество. Если эти недостатки существуют сами по себе, то их нетрудно устранить; если же они представляются только симптомами более глубокого зла, заключающегося в образе мыслей и в складе жизни самого общества, то мы тем более не должны с ними мириться. Как бы глубоко ни укоренилось зло, оно никогда не превращается в добро; его надо искоренить рано или поздно, и анализировать его разветвления и проявления всегда полезно и своевременно.

Основная причина всех ограничений, стесняющих самостоятельность учащихся, состоит в тех правах, которые университет дает своим студентам, окончившим курс и выдержавшим выпускной экзамен. Кто получает права, тот, разумеется, несет обязанности. Всякая обязанность налагает известного рода заботы, а всякая забота, не относящаяся прямо к интересам умственного развития, мешает этому развитию.

Права, предоставляемые студентам, окончившим курс, ведут за собою два ближайшие последствия. Во-первых, университет разделяется на факультеты. Во-вторых, являются обязательные экзамены. Оба эти последствия вредят очень сильно самостоятельным занятиям студентов.

Разделение на факультеты обязывает молодого человека, стремящегося к высшему образованию, выбрать тотчас же один из факультетов. Выбор этот всегда делается на авось, потому что гимназия не дает понятия ни об одной науке. Молодой человек, кончивший курс в гимназии, не знает ни сил, ни наклонностей своего ума, не знает также и того, какой работы требует та или другая наука и какие умственные наслаждения она может доставить. Чаще всего случается так, что молодой человек делается математиком, филологом или юристом, смотря по тому, за какие предметы он получал в гимназии хорошие баллы. Иногда он угадывает верно, но это только счастливый случай. Часто бывает так, что он перескакивает из одного факультета в другой и тратит года два на неудачные пробы. Большею же частью бывает еще хуже. Поступивши на такой факультет, который ему не нравится, молодой человек остается на нем. «Все равно, — думает он: — как-нибудь дотяну; стоит ли кидаться из стороны в сторону?»

Еще, бог знает, найдешь ли на другом факультете что-нибудь получше?» Когда студент рассуждает таким образом, тогда, конечно, нельзя ожидать, чтобы он занимался своим делом с любовью; он записывает лекции, выдерживает экзамены и получает аттестат, не почувствовавши ни разу в жизни живительного влияния любимого труда. Удивительно ли, что такой человек, бывши рутинером на студенческой скамейке, окажется рутинером и в практической жизни? В университете он стремился к аттестату, а в жизни всегда найдутся посторонние цели, к которым можно стремиться и которым можно приносить в жертву интересы дела и собственное человеческое достоинство.

Но вы скажете может быть, что такой человек сам виноват в своей деморализации и что эту деморализацию нельзя приписывать разделению университета на факультеты. Вы скажете, что этот человек мог перейти с одного факультета на другой; что он мог, наконец, поступить в университет вольным слушателем и уже потом, изучив свои силы и наклонности, присмотревшись к различным наукам, сделаться студентом и сознательно выбрать себе факультет. Ваши рассуждения справедливы, но только до известной степени. Вы берете отвлеченного человека, глубоко проникнутого бескорыстным и сознательным стремлением к образованию; вы забываете, что эти чувства, мысли и стремления обыкновенно приобретаются и очищаются только путем образования и умственного труда; вы забываете, что в университет поступают не мудрецы, сознательно идущие к завоеванию истины, а юноши, прельщающиеся всеми искушениями жизни. Лучшие из этих юношей приносят с собою в университет только неопределенную любознательность, перед которою вовсе не умолкают житейские расчеты. От университетской атмосферы зависит — или очистить эту любознательность от посторонних примесей, или, напротив, совершенно задушить ее под этими посторонними побуждениями. Если любознательный юноша сразу заинтересуется какою-нибудь наукою, он станет выше своих расчетов и будет смотреть на них с презрением. Если же он ошибется в своем выборе, то неудовлетворяемая любознательность может замереть; юноша может подумать, что эта любознательность была мечтательным стремлением к несуществующим благам; расчеты одержат решительную победу, и юноша рассудит очень основательно, что переходить с одного факультета на другой значит терять время, затруднять себе дорогу к аттестату, отнимать у самого себя такие годы, которые могут быть употреблены на действительную службу, ведущую к чинам, к знакам отличия, к большому окладу жалованья. А поступить в вольные слушатели? Подобная мысль не может прийти в голову юноше, только что вышедшему из гимназии; для этого надобно, чтобы он чувствовал недоверие к своему собственному выбору. Кто же не знает, что подобное недоверие немыс-

лимо в очень молодом и совершенно неопытном человеке? Кроме того, поступить в вольные слушатели значит также потерять несколько времени на размышление и попытки, а молодость торопится жить. Мы должны иметь в виду не отвлеченную молодежь, а такую, какая действительно существует. Эта молодежь через несколько лет будет сама смеяться и над своими расчетами и над своими побуждениями; одни ей покажутся мелкими, другие — ребяческими, но и те и другие в свое время сообщали ее поступкам определенное направление. Ими нельзя пренебрегать; их не следует упускать из виду, потому что от них зависят часто сила и колорит умственной жизни целого поколения. Этим-то мелким расчетам и ребяческим побуждениям современное устройство университетов оказывает самую предосудительную поблажку.

Говоря поступающим молодым людям: «Выбирайте себе факультет!», университет сам примешивает идею карьеры к идее образования и потакает таким образом житейским расчетам будущих Петров Иванычей Адуевых. Конечно, молодой человек может противостоять этим искушениям; он может сказать: «Я не ищу прав, я не хочу выбирать факультет. Я буду вольным слушателем, выслушаю те курсы, которые меня интересуют, и потом уйду из университета без всяких экзаменов и дипломов». Он может это сказать и сделать. На это нет ни физической невозможности, ни запретительной статьи закона. А между тем очень невероятно, чтобы он поступил таким образом. Искушения слишком сильны. Все предрассудки общества поддерживают права, дипломы, экзамены, студенчество, распределенное по факультетам. Простое слушание лекций, не вознаграждаемое ни чинами, ни служебными преимуществами, до сих пор кажется обществу пустым препровождением времени. Наука величественна, образование полезно, но практические выгоды более осязательны. Они смягчают самое жестокое сердце и примиряют с университетами самые скептические умы престарелых родителей. На основании всех этих доводов мы можем принять за несомненную истину, что покуда в университете существуют права и факультеты, до тех пор большая часть молодых людей будет бросаться в эти факультеты очертя голову и, в случае ошибки, будет дотягивать лямку, чтобы получить диплом.

— Ну, хорошо, — говорите вы, — молодой человек поступил на факультет. Кто же ему мешает слушать некоторые лекции другого факультета? — Да, никто не мешает, он слушает, но из этого слушания ничего не выходит. Он смотрит на постороннюю лекцию, как женатый человек на легкую интрижку. Перед ним лежит известная дорога; над головой его висят известные экзамены; практическое значение имеют в его глазах только труды по известным факультетским предметам. Какое же значение может иметь при таких условиях посторонняя лекция? Она может ему

понравиться, как понравилась бы какая-нибудь театральная пьеса. Она может возбудить в нем желание ходить для развлечения в аудиторию постороннего профессора — и только. Что же тут за польза? Когда наука служит нам развлечением и не возбуждает в нас желания трудиться, тогда она вовсе не исполняет своего назначения. Комедия или концерт всегда развлекают сильнее, чем лекция, — стало быть, от лекции не следует требовать развлечения. Но положим, что лекция или ряд лекций постороннего профессора заинтересовали студента очень серьезно и возбудили в нем желание познакомиться покороче с этою наукою. Такое желание делается для него несчастием. Начинается борьба между искусственно сооруженным долгом и естественным влечением. С любовью заниматься постороннею наукою значит отнимать время у факультетских занятий, значит изменять интересам своей будущей карьеры, значит предпочитать приятное полезному. Оставаться на одном факультете и заниматься предметом другого факультета значит дробить свои силы. Перейти на другой факультет? Но ведь там, кроме одной любимой науки, придется заниматься десятком наук вовсе непривлекательных? Что же тут делать? Положение драматическое, а между тем весь драматизм происходит только от перегородки, поставленной между двумя факультетами и поддерживаемой обязательными экзаменами и правами. Если бы молодой человек был вольным слушателем, то ему ничто бы не мешало слушать вместе лекции разных факультетов; если бы он был вольным слушателем, то любовь, почувствованная им к какой бы то ни было науке, наполнила бы его душу живейшею радостью и повела бы его к серьезным занятиям. Не было бы никакого драматического столкновения. Конечно, студент всегда может сделаться вольным слушателем. Физической невозможности нет, но нравственных препятствий много. «Вот, — подумает он, — если я останусь студентом и выдержу определенный экзамен по программе факультета, то получу диплом и права. А если сделаюсь вольным слушателем и буду заниматься тем, что мне нравится, то ничего не получу. Это обидно». И не только обидно, а даже глупо, говорят студенту родители, опекуны и все опытные советники. — Да ты об этом и думать не смей, — подтверждает раздражительная маменька. А отчего они всё это думают, говорят и подтверждают? Отчего переход с одного факультета на другой подает иногда повод к семейным сценам? Отчего такая простая вещь, как занятия тем предметом, который нравится, оказывается трудным подвигом, требующим от молодого человека почти ломоносовской силы характера? Все оттого, что университет дает права и составляет преддверие карьеры. Если бы не было прав, не было бы и факультетов. Вся учащаяся молодежь была бы вольными слушателями, посещала бы лекции по собственному выбору и распоряжалась бы своим развитием с полною самостоятельностью.

XII

Факультеты стараются образовать специалистов и вместо того образуют только односторонних теоретиков. Студент, по выходе из университета, находится в положении Сократа: он знает только то, что ничего не знает, по крайней мере ничего такого, что приложимо к жизни и к какой-нибудь отрасли труда. В этом я и не упрекаю университет: совсем не его дело учить молодого человека ремеслу; но если все устройство университета видимо направлено к тому, чтобы образовать несколько сортов ремесленников, и если, при всем том, ремесленники не выходят из университетов, а формируются и обучаются уже после выхода, под влиянием практической деятельности, то, очевидно, не достигается ни та широкая цель, к которой должен бы был стремиться университет, ни та узкая цель, к которой он направлен в настоящее время. Университет не дает нам истинно образованных людей, потому что его устройство ставит много препятствий на пути самостоятельного умственного развития учащихся; университет не дает специалистов, потому что специалиста не может образовать школа, его образует только самая работа, — что же дает нам университет? — Людей, пропитанных умозрениями, принимающих теории за аксиомы, уходящих от жизни в книгу и сохраняющих в своих фразах и рассуждениях отпечаток того факультета, в котором они были замкнуты. Я очень хорошо знаю, что многие из теперешних и бывших студентов вовсе не подходят под эту характеристику; я знаю, что между ними найдется много людей, смотрящих на жизнь светло и разумно; но я знаю также, что эти люди развиваются помимо университета и что все неудобства современного университетского устройства сознательно чувствуются ими и производят на них самое тяжелое впечатление. Защитники современного университетского устройства очень недовольны теперешними студентами, и неудовольствие это началось именно с тех пор, как студенты поняли неудовлетворительность одних профессорских лекций и начали искать собственными силами в жизни и в литературе материалов для своего развития.

Это значит, что современное устройство университетов не удовлетворяет ни тех, для кого оно составлено, ни тех, кто его защищает. Для первых, то есть для учащихся, оно стеснительно. Вторые, то есть заматерелые профессора, находят его слабым и неспособным сдерживать развитие студентов в строю — в определенных границах. Молодая жизнь везде просачивается через обветшалые плотины, затруднения обходятся, препятствия преодолеваются, но из этого не следует, чтобы затруднения и препятствия уже теперь были безвредны. Чтобы оценить их по достоинству, чтобы увидеть в них не содействие, а помеху, молодому человеку нужно много остроумия и проницательности; чтобы вступить с ними в борьбу и одолеть их, нужно много энергии

и много драгоценного времени. Часто бо́льшая половина университетских годов уходит у студента исключительно на то, чтобы убедиться в ложности и бесплодности господствующего направления занятий. Конечно, испытывать разочарования полезно, но, по всей вероятности, защитники современного университетского устройства ожидают от университетов не того, чтобы они снабжали студентов разочарованиями.

Не одни студенты испытывают на себе неудобства современного университетского устройства; эти неудобства падают и на профессоров. Профессор университета по роду своих занятий мало отличается в настоящее время от учителя гимназии. Вся разница между ними заключается в том, что учитель спрашивает уроки во время каждого класса, а профессор спрашивает уроки за целый год, на экзамене. Отношения учителя к ученикам гораздо проще и откровеннее, чем отношения профессора к своим слушателям. Учитель очень хорошо знает, что ученики сошлись к нему в класс по звонку, без всякого особенного желания учиться; обыкновенно учитель не придает никакого значения желанию или нежеланию учеников, ставит им за нежелание плохие баллы, оставляет их без обеда или без отпуска, и дело с концом. Профессор также может предполагать, что бо́льшая часть его слушателей сидит в его аудитории по долгу службы и задабривает его своим присутствием для предстоящего экзамена; но как убедиться в этом? Как отделить слушателей, любящих его науку и его лекции, от слушателей, высиживающих в его аудитории хороший балл? Как узнать действительные потребности слушателей, записывающих с одинаковым усердием все, что благоугодно сказать господину профессору? Как заговорить откровенно с слушателем, который прежде всего видит в профессоре будущего экзаминатора? Положение добросовестного профессора чрезвычайно щекотливо. Добросовестный профессор знает, что официальность студентов в отношении к нему совершенно оправдывается, во-первых, общим устройством университета, во-вторых, личностью и деятельностью большей части других профессоров. Он — добросовестный профессор, не формалист, но он знает, что по-настоящему он обязан быть формалистом; знает и то, что в соседней аудитории сидит профессор-формалист, которому нет никакого дела до умственных потребностей слушателей. Конечно, между добросовестным профессором и дельным студентом могут установиться разумные отношения, не зависимые от экзаменов; но для этого надобно, чтобы профессор и студент узнали друг друга, а это вовсе не легко, потому что они поставлены друг к другу в обязательные отношения; профессору неловко сделать шаг к сближению с студентом, потому что он видит с его стороны официальность и недоверие; студенту также неловко, потому что профессор может подумать, что студент заискивает в нем для экзамена. Такая простая вещь, как доверчивое сближение между человеком знающим и человеком, желаю-

щим знать, становится затруднительною, — а почему? Опять-таки потому, что существуют права и вследствие того обязательные экзамены. Эти экзамены, смотря по личности профессора, бывают или очень трудны, или очень легки. Если профессор — формалист, то малейшее отклонение от записок принимается в расчет, как доказательство непосещения лекций; если профессор — не формалист, то он во всяком случае и за всякий ответ ставит удовлетворительный балл. В первом случае студент принужден зубрить, как гимназист или как бурсак; во втором случае он приходит на экзамен, чтобы исполнить формальность. Очевидно, что в первом случае экзамены вредны, а во втором — бесполезны. Но, конечно, полное отменение всяких экзаменов, и выпускных и переходных, возможно только тогда, когда университеты не будут давать своим слушателям никаких прав. Поэтому отменение прав должно быть желанием всех людей, принимающих к сердцу судьбу высшего образования в нашем отечестве.

XIII

Мы рассмотрели, таким образом, недостатки нашего гимназического образования и показали слабую сторону наших университетов. Теперь нетрудно будет обозначить в самых общих чертах те преобразования, в которых нуждаются гимназии и университеты. В гимназической программе нет общего плана; собрания слов и фраз называются науками; рассказы и гипотезы вытесняют собою серьезные знания; память учеников работает постоянно, а мыслительные способности их находятся в бездействии. Конечно, все это должно быть переделано. В программу должно быть внесено строгое единство общего плана; фразы, называющиеся в своей совокупности историею, политическою географиею, теориею словесности и т. д., должны быть оставлены за штатом; рассказы и гипотезы должны уступить место научным аксиомам и теоремам; мыслительные способности учеников должны вступить в отправление своих естественных обязанностей. Все эти метаморфозы могут быть произведены только в том случае, когда будет изменена самая подкладка образования. До сих пор в наших школах изучали преимущественно человека и его духовные произведения, а теперь надобно изучать природу. Это единственное средство выйти из области догадок и предположений, фраз и возгласов, красивых теорий и бессмысленного зубрения. Это единственное средство ввести учеников в область точного знания, добросовестного исследования и живого мышления.

Я доказал уже, говоря о преподавании истории и географии в гимназиях, что изучение человека и его гражданской жизни по своей сложности недоступно гимназистам; я доказал также, что изучение это в действительности не существует и что истори-

ческие и географические знания гимназистов составляют самый печальный оптический обман. Одного этого обстоятельства уже достаточно, чтобы навсегда отложить попечение о так называемом гуманном образовании; об этом образовании не стоит жалеть; оно кажется удовлетворительным только тогда, когда нет лучшего; оно считалось хорошим тогда, когда естественные науки были в колыбели; оно существует теперь по тому же самому, почему существуют многие антики, давно осужденные на смерть наукою и здравым смыслом; существует потому, что крепка наша рутина, велико наше невежество, безгранично наше равнодушие к умственным интересам подрастающих поколений. Благодаря невежеству и рутине естественные науки так оклеветаны в нашем обществе, что совет положить их в основу нашего школьного образования покажется многим просвещенным педагогам преступным посягательством на умственную непорочность учащегося отрочества. За естественными науками стоит призрак материализма, выдуманный от нечего делать волхвами и кудесниками московской журналистики. [51] Доказать, что материализм нам вовсе не опасен, что он у нас даже вовсе не существует, конечно, нетрудно, но это доказывание ни к чему не поведет; когда общество наслушалось нелепых толков, когда оно напугано ими, тогда оно не верит доказательствам. Попробуйте доказать крестьянскому мальчику, что нет на свете домового, и вы увидите, как блистательная аргументация ваша разобьется об укоренившийся предрассудок, превратившийся уже в инстинктивное чувство. Я очень хорошо знаю, что мои мысли о гимназическом образовании и о необходимости положить в его основу естественные науки будут приняты в обществе очень недоверчиво; я знаю, что об осуществлении подобной мысли смешно даже мечтать. Но я думаю, что между журнальною статьею и деловым проектом существует значительная разница. Проект должен быть практичен и непосредственно приложим к делу; он должен принимать в соображение взгляды, мнения и даже современные предрассудки общества. Что же касается до простой журнальной статьи, то ее дело — просто бросить в общество ту или другую мысль. Автор отвечает только за честность этой мысли и за искренность собственного убеждения. Дело общества — принять или отбросить эту мысль, оспаривать ее или оставить ее вовсе без внимания. Поэтому, не смущаясь добродетельным отвращением общества к естественным наукам и к материализму и в то же время не заботясь о практической приложимости моего рассуждения, я покажу, почему именно одни естественные науки, положенные в основу общего образования, могут развить ум и сообщить учащемуся прочные знания.

Во-первых, знания о природе вполне соответствуют естественным потребностям детского ума. Первые проблески ребяческой любознательности направляются прямо на окружающие впечатления. Спрашивает ли когда-нибудь ребенок о том, что было

тысячу лет тому назад? Нет, он и представить себе не может такую крупную цифру и такую далекую эпоху. Стало быть, история дается ребенку помимо его желания; она не отвечает никакой потребности его ума. Спрашивает ли ребенок: что такое красота, добро, истина? Когда ему нравится картинка или игрушка, спрашивает ли он: почему это мне нравится? Конечно, нет. Отвлечение и анализ собственных впечатлений — такие процессы, которые совершенно несвойственны уму ребенка. Стало быть, логика, эстетика и весь хлам теории словесности даются ребенку помимо его желания. Но ведь известно, что ребенок постоянно пристает к взрослым с вопросами. О чем же он спрашивает? Конечно, о том, что он видит. Отчего месяц сегодня стоит на небе серпом, а неделю тому назад был круглый? Отчего собака ест хлеб, а кошка не ест? Отчего бутылка с водою лопнула на морозе? Отчего облака по небу ходят? Отчего дождь идет? Вот вопросы ребенка, и ребенок так разнообразит их, что вам становится очевидным, как они родятся в голове его под влиянием свежих и постоянно изменяющихся впечатлений.

Период такой живой любознательности обыкновенно продолжается недолго; взрослые большею частью отвечают на вопросы ребенка так глупо, что ребенку надоедает спрашивать. Ему приходится думать одно из двух: или то, что на его вопросы вовсе не существует удовлетворительного ответа; или то, что окружающие его взрослые не понимают нелепости своих ответов. В первом случае он мирится с незнанием, и любознательность его засыпает; во втором случае он ищет ответа, как искал ответа Ломоносов. Конечно, второй случай гораздо реже первого. Но в том и в другом случае знакомство с естественными науками должно привести ребенка в восхищение. Разумный ответ на один вопрос порождает в уме десяток новых вопросов, и ребенок приобретает прочные сведения, даже не подозревая того, что он начал учиться. Если естественные науки преподаются ребенку сколько-нибудь разумно, то, конечно, удовольствие, испытанное им при первом знакомстве с законами природы, будет увеличиваться по мере того, как это знакомство будет делаться более коротким и сознательным. Знание природы ни в каком случае, ни при каких условиях жизни, ни в каком общественном положении не может быть мертвым капиталом ни для ребенка, ни для взрослого человека. Всякая школьная мудрость забывается за порогом школы, потому что самое существование этой мудрости поддерживается и обусловливается только затхлою атмосферою школы: но природа окружает человека везде; стало быть, человек, однажды заинтересовавшийся изучением ее сил и законов, уже никогда не забудет того, что он о ней знает, и всегда будет стремиться к расширению своих сведений. Только одни естественные науки глубоко коренятся в живой действительности; только они совершенно независимы от теорий и фикций; только в их область

не проникает никакая реакция; только они образуют сферу чистого знания, чуждого всяких тенденций; следовательно, только естественные науки ставят человека лицом к лицу с действительною жизнью, не подкрашенною нравоучениями, не обрезанною системами, не сочиненною досужным мышлением философов. И между тем эти самые естественные науки до сих пор считаются достоянием заклятых специалистов; историю, теорию словесности должны знать все образованные люди; а законы и отправления жизни, которая проявляется во всех органических существах, начиная от лишаев и водорослей и кончая обезьяною и человеком, — эти законы писаны только для двух-трех десятков чудаков, называемых натуралистами. Остальному обществу, называющему себя образованным, до них нет никакого дела, — ему, по русской пословице, закон не писан. Конечно, такое непостижимое равнодушие к тому, что нас постоянно окружает и постоянно действует на нас, может быть объяснено только крайнею неразвитостью, которую, без малейшего преувеличения, можно назвать полною умственною слепотою. Лечить от этой слепоты взрослых уже, может быть, поздно; но предохранить от нее детей — это должно быть святою обязанностью всех отцов и воспитателей. Общество наше погружено в спячку; у него нет никаких серьезных умственных интересов, а между тем великая книга природы открыта перед всеми, и в этой великой книге до сих пор, трудами немногих замечательных деятелей, прочтены только первые страницы.

Кто же виноват в том, что наши достаточные и soi disant * образованные классы ничего не делают и ничем не интересуются? Виновато, очевидно, направление их образования; школа ничем не заинтересовала их, и это обстоятельство даже делает честь их природному уму, потому что в наших школах действительно заинтересоваться нечем. Если бы Александр Гумбольдт учился в русской гимназии или в русском кадетском корпусе, то, по всей вероятности, он сделался бы ревностным посетителем балов и балетов, вместо того чтобы быть натуралистом и путешественником. Ведь Александр Гумбольдт был бароном и богатым человеком, — стало быть, нет ничего несбыточного в той мысли, что, при разумном направлении образования, даже высшие классы нашего общества могут перейти от танцев к другим занятиям, более достойным человека и более полезным для человечества. Кому же удобнее всего разрабатывать науку, как не тем людям, которые обеспечены в материальном отношении? И эти люди действительно стали бы разрабатывать науку, если бы были заинтересованы ею с детства. А заинтересовать человека с детства может только изучение природы.

Говорить о практической пользе естественных наук, указывать на паровые машины, на железные дороги, на электрические

---

* Так называемые *(франц.)*. — *Ред.*

телеграфы, на микроскоп, химический анализ и успехи физиологии — значило бы повторять фразы, встречающиеся в предисловиях ко всевозможным оригинальным и переводным книгам по естественным наукам. Я воздержусь от этого словоизвержения. Читатель сам понимает, что все материальное благосостояние человечества зависит от его господства над окружающей природой и что это господство заключается только в знании естественных сил и законов. Но читатель, может быть, не обращал внимания на то обстоятельство, что эти знания до сих пор вырабатывались только десятками людей; сотни и тысячи принимали уже выработанные результаты, питались готовыми кушаньями и, следовательно, сами нисколько не помогали стряпне. А почему они не помогали? Неужели потому, что они все были неспособны помогать? Такое предположение совершенно неправдоподобно. Неужели наши мужики потому неграмотны, что неспособны выучиться азбуке? Ведь это уже очевидная нелепость. Мужики неграмотны, потому что разные посторонние обстоятельства мешали им учиться; точно так же сотни и тысячи образованных людей оставались равнодушными к изучению природы потому, что направление их образования не давало им познакомиться с азбукою естествознания. Но между мужиками находились и находятся люди, в которых желание учиться так сильно, что оно вырывалось даже из-под гнета неблагоприятных обстоятельств. Точно так же между образованными людьми попадаются личности, замечательные по своей любознательности, личности, умеющие вырваться из того ограниченного круга идей и понятий, в который ставит их господствующее направление общего образования. Эти-то немногие личности, превращающиеся в чудаков-натуралистов, несут на плечах своих весь труд материального прогресса человечества. Если бы этих личностей было больше, то, очевидно, завоевания человечества в области естествознания совершались бы быстрее; а вместе с тем и вся жизнь человечества представляла бы меньше лишений и страданий, меньше горя и бедности. Если бы азбука естествознания была так же распространена, как та азбука, по которой мы учимся читать, то число исследователей природы, наверное, увеличилось бы в несколько десятков раз, и труды этих исследователей сделались бы также гораздо плодотворнее, чем теперь, потому что все результаты исследования обобщались и прилагались бы к жизни несравненно быстрее и полнее теперешнего. Рутина и предрассудки погибли бы навеки, потому что они держатся теперь только благодаря тому обстоятельству, что самые простые законы природы неизвестны даже образованному обществу.

Наконец, самый закал умов сделается тверже, когда естественные науки будут положены в основу общего образования. Естественные науки важны и замечательны не только по предмету своего изучения, но и по своему методу. Это — науки, основанные

исключительно на наблюдении и опыте. Собственно говоря, только математические и естественные науки имеют право называться науками. Только в них гипотезы не остаются гипотезами; только они показывают нам истину и дают нам возможность убедиться в том, что это действительно истина. Эти науки сообщают человеку; посвятившему себя их изучению, такую трезвость и неподкупность мышления, такую требовательность в отношении к своим и к чужим идеям, такую силу критики, которая сопровождает этого человека за пределы выбранных им наук, которая не оставляет его в действительной жизни и кладет свою печать на все его рассуждения и поступки.

По всем этим причинам я полагаю, что изучение математических и естественных наук должно быть положено в основание нашей гимназической программы. Кроме этих наук, должны оставаться только закон божий, [52] русская грамматика и новейшие языки. Что касается до университета, то он нуждается только в отмене прав и ограничений. Реформа гимназий естественно отразится на нем, и потребности слушателей выразятся сами собою в том обстоятельстве, что одни аудитории будут битком набиты, а другие останутся пустыми. В гимназиях должна *быть произведена* реформа, а университет *сам себя* реформирует, если только будут устранены искусственные препятствия. Реформа образования должна быть начата с низших заведений, потому что в них заключается корень нашего умственного бессилия. Все это теория и мечта, скажет читатель, и я скажу то же самое, и это нисколько не приведет меня в смущение и в раскаяние. Я говорю о том, что должно быть, а не о том, что делается теперь, и не о том, что будет делаться в будущем году.

1863 г. Июнь.

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ТРУДА

I

История человечества представляет нам бесконечное разнообразие лиц и событий, идей и стремлений, политических систем и нравственных переворотов. Под этим разнообразием форм кроются и медленно развиваются две основные потребности человека, две такие потребности, без удовлетворения которых человек не мог бы ни улучшать свое материальное и интеллектуальное положение, ни даже поддерживать бренное существование личности и породы. Первая из этих потребностей заключается в том, что человек, подобно всем другим животным, должен предохранять свое тело от разрушительных влияний окружающей природы; ему надо принимать пищу для того, чтобы вознаграждать неизбежную убыль своего организма; надо покрывать тело, чтобы сохранять в нем необходимое количество животной теплоты; надо оберегать это тело от слишком быстрых перемен температуры и от вредного действия сырости, зноя и холода; словом, человеку необходимо завоевать себе на земле квартиру, стол, одежду и разные другие материальные обеспечения жизни. Но эта первая потребность может быть удовлетворена только с тем непременным условием, чтобы так или иначе удовлетворялась другая потребность, также чрезвычайно важная, хотя и не так резко бросающаяся в глаза. Эта вторая потребность состоит в том, что человек должен сближаться с человеком, помогать ему в его предприятиях и в свою очередь находить в нем естественного помощника и союзника. Две основные потребности человека удовлетворялись в различной степени в течение тех тысячелетий, о которых сохранились летописи или предания; чем полнее удовлетворялись они, тем удобнее жилось человеку; чем сильнее, напротив того, увлекались люди посторонними целями и искусственными интересами, тем мрачнее и тягостнее становилась участь огромного трудящегося большинства.

Летописи и легенды наполнены рассказами о великих подвигах завоевателей. На равнинах Египта возвышаются до сих пор колоссальные пирамиды. В первом случае мы видим, что густые массы людей встречаются с другими густыми массами таких же людей и что естественные союзники и помощники истребляют друг друга с особенным удовольствием. Во втором случае мы видим, что люди борются с внешнею природою и побеждают страшные трудности и препятствия для того, чтобы обтесать и сложить кучу камней, которая не дает им ни пищи, ни одежды, ни жилища.

В том и в другом случае деятельность людей, очевидно, идет вразрез с их основными потребностями; но, несмотря на то, эти самые потребности, основанные на великих и незыблемых законах природы, дают себя чувствовать тем самым людям, которые действуют им наперекор. Во-первых, идея завоевателя и идея строителя пирамиды осуществляются не иначе, как при содействии многих людей, соединяющих свои усилия для достижения одной общей цели. Стало быть, потребность человека сближаться с другим человеком остается в полной силе. Во-вторых, воины завоевателя и каменщики строителя, не имея возможности добывать себе пищу собственным трудом, должны получать пищу, добытую другими людьми. Таким образом, другая потребность человека, потребность бороться с окружающею природою и оспаривать у ней те материалы, которые необходимы для поддержания жизни, остается точно так же в полной силе. Ни военный гений Александра Македонского, ни суровая воля египетского фараона Хеопса не могут ни на одно мгновение приостановить действие великих законов природы. Цели того и другого, составляющие их личную собственность, достигаются только в том случае, если соблюдаются законы природы; но так как эти цели сами по себе лежат вне естественных потребностей человека, то преследование и достижение этих и подобных целей несет с собой неизбежное историческое возмездие. Здоровые силы людей, отвлеченные от тех занятий, которые доставляют им пищу, одежду и другие удобства жизни, — силы, употребленные на разорение чужих земель или на сооружение бесполезных громад, оказываются потерянными в общей экономии человечества. Сооружение, произведенное этими силами, бесплодно; разорение не вознаграждается никаким положительным благом; работники, которые должны кормить воина и каменщика, трудятся много и получают лично для себя мало. Воины и каменщики с своей стороны получают только необходимое. Стало быть, все работают до изнеможения, все сближаются между собою без собственного желания, все едят плохо, одеваются грязно и с каждым годом становятся беднее и тупее.

Целые ряды неопровержимых исторических фактов доказывают нам самым наглядным образом, что войны всегда оказывали гибельное влияние на победителей и побежденных; наружное могущество завоевательной державы покупалось ценою внутрен-

ней бедности, ценою страданий и невежества народа-завоевателя; это могущество, основанное на неестественном напряжении сил, продолжалось обыкновенно недолго и оканчивалось таким падением, которое было тем глубже и тем полнее, чем значительнее было сделанное напряжение и, следовательно, чем величественнее было мимолетное проявление могущества. Что касается до пирамид, то будет достаточно сказать, что они воздвигались трудами рабов и что жизнь этих рабов расточалась так же щедро, как расточался их дешевый труд.

Различные видоизменения войны и различные проявления рабства наполняют собою все страницы всемирной истории. Переход от одного вида войны к другому и от одной формы рабства к другой называется благозвучным именем исторического прогресса. И война и рабство существуют до наших времен; война до сих пор называется своим настоящим именем, а рабство в большей части образованных государств скрывается под другими формами и названиями, менее оскорбительными для просвещенных и сострадательных глаз и ушей. Отчего произошли на свет война и рабство и отчего они благоденствуют до наших времен — это такие вопросы, которые не приходится решать между прочим; поэтому для нашей цели будет достаточно обратить внимание читателя на то, что историческое развитие человечества, находящееся до сих пор под влиянием войны и рабства, никогда не удовлетворяло вполне тем двум основным потребностям, от которых зависит счастье и совершенствование отдельных личностей и целых народов. Разные посторонние влияния постоянно мешали человеку посвятить все свои силы мирной и последовательной борьбе с окружающею природою; эти влияния, происходившие от неправильных отношений человека к человеку, самым фактом своего происхождения и существования не позволяли людям сближаться между собою так, чтобы во всякое время находить друг в друге помощников, сотрудников и союзников. Эти посторонние влияния, не имеющие ничего общего с законами природы, очень многочисленны и разнообразны в каждом из новейших обществ. Их так много и они так перепутаны между собой, что совершенно закрывают от глаз исследователя действительную природу человека и настоящий смысл его необходимой борьбы с предметами и силами окружающего мира.

Находясь в таком положении, исследователь должен поступить так, как поступает естествоиспытатель, заметивший, что изучаемое им явление подвергается влиянию нескольких сил, действующих по различным направлениям. Естествоиспытатель устраняет все посторонние влияния и наблюдает явление в его непосредственной чистоте; потом он дает в своем опыте место одному из действовавших прежде влияний и замечает видоизменения, совершающиеся в предмете исследования; затем изучаются поодиночке второе, третье влияние и так далее, до последнего; и таким обра-

зом получается, наконец, общий вывод, в котором каждому влиянию отводится принадлежащее ему место. Конечно, естествоиспытатель имеет перед историком то огромное преимущество, что он может брать в руки предмет своего исследования и доказывать непосредственным опытом свои положения; он может действительно изолировать изучаемое явление, между тем как историк принужден во всех подобных случаях ограничиваться рассуждениями, гипотезами и теоретическими выкладками. Но как ни плохи орудия историка в сравнении с теми сложными снарядами, которыми располагает натуралист, как ни гадательны выводы первого в сравнении с положительными знаниями последнего, все-таки желание человека узнать что-нибудь о прошедшей жизни своей породы или обсудить как-нибудь существующие бытовые формы так сильно, что оно всегда заставляет его забывать о несовершенстве орудий и о шаткости получаемых выводов.

Я уверен, что мои читатели интересуются общечеловеческими вопросами, и потому надеюсь, что они без особенного неудовольствия прочтут следующие очерки, излагающие идеи известного американского мыслителя Кэри (Carey) [1] о значении и историческом развитии человеческого труда. Чтобы не запутаться в существующих бытовых формах, составляющих более или менее патологические явления, чтобы не принять этих явлений за естественные отправления здоровой жизни, мы начнем с чисто теоретических рассуждений, а потом уже, принимая в соображение одно влияние за другим, доберемся постепенно до действительных фактов и до таких величественных хронических болезней, какова, например, колониальная политика, мануфактурная система и экономическая доктрина просвещенной и могущественной Англии.

II

Исследования геологов над различными формациями земной коры и над остатками органических тел, превратившихся в окаменелости, доказывают неопровержимым образом, что человек появился на земле в позднейший период ее образования. Тысячи и, может быть, миллионы лет прошли над нашею планетою, прежде чем органическая жизнь достигла того разнообразия, той сложности и того совершенства, которые проявляются в высших породах млекопитающих, т. е. в обезьянах и в человеке. Целые геологические периоды отошли в вечность; целые могучие виды растительности отжили свое время и, умирая, залегли под позднейшую почву громадными пластами каменного угля; своеобразные породы животных, господствовавших в первобытных лесах и в недосягаемых пучинах морей, уничтожились, оставив после себя несколько костей или даже просто отпечатки лап на мягких известковых породах; неисчислимые миллионы микроскопических моллюс-

ков образовали из крошечных обломков своих раковин целые толстые слои меловых формаций; море несколько раз переменило свой бассейн; вулканические поднятия земной коры взломали наслоения почвы, выдвинули высокие и длинные цепи гор и создали скалистые острова среди необозримых равнин океана; на развалинах многих исчезнувших первобытных миров появились новые формы растительности; вместо древовидных хвощей и папоротников каменноугольной эпохи возникли известные нам породы лиственных и хвойных деревьев; климаты обозначились явственно, и могучие деревья девственных лесов захватили сырую почву, согреваемую отвесными лучами тропического солнца; за безобразными ящерами и крылатыми драконами, за колоссальными и неуклюжими мастодонтами и динотериями последовали разнообразные породы травоядных и плотоядных животных, составляющих в настоящее время наши стада или изощряющих искусство и храбрость наших охотников. Планета наша пришла в то положение, в котором она находится до наших времен, и эта планета сделалась, наконец, жилищем человека. Насколько этот первобытный человек был похож на нас складом тела, чертами лица, силою и подвижностью ума — этого, конечно, не может разъяснить нам никакое исследование. Мы можем только предполагать, что человек прожил на земле много столетий, прежде нежели у него составились какие-нибудь исторические предания; даже язык и мифология, — эти первые проявления чувства и мысли, — не могли явиться готовыми и должны были, подобно всем произведениям природы, развиваться и совершенствоваться мало-помалу. Дурно владея орудием слова, плохо справляясь с впечатлениями внешнего мира, с трудом передавая их другому и с трудом понимая бессвязные звуки и неопределенные желания этого другого, первобытный человек был, вероятно, очень несчастным существом, если только мы позволим себе предположить, что он по устройству своего тела был похож на своих потомков. Будущий властелин природы, прямой предок какого-нибудь Ньютона или Линнея был самым жалким рабом всех окружающих его предметов: у него не было ни естественного оружия, ни естественной защиты от суровой атмосферы, ни даже такого желудка, который мог бы переваривать траву и листья. Он мог совершенно справедливо завидовать и могучему медведю, и покрытому шерстью барану, и пережевывающему буйволу. Чтó он перенес, сколько страданий ему пришлось испытать от голода, от холода, от других животных, начиная с хищных зверей и кончая лесными муравьями и москитами, сколько поколений измыкали свою жизнь в тупом страхе и бессильном отчаянии — это все такие вопросы, на которые откажется отвечать самое смелое воображение самого великого поэта. Слабым отблеском этих доисторических или даже домифических страданий можно признать мрачный и кровожадный характер всех первобытных религий

и богослужений. Человеческие жертвы, приносившиеся для умилостивления грозных и всегда разгневанных сил природы, являются, очевидно, зловещим воспоминанием о неравной и мучительной борьбе, перенесенной теми поколениями, среди которых медленно, с напряжением и с болью вырабатывались первые начатки языка и первые очерки религиозных представлений.

Между тем эта природа, так безжалостно терзавшая своего новорожденного младшего сына, была та самая мать-природа, которая доставляет нам в избытке все необходимое, та самая природа, которая дает нам все средства к наслаждению и которая вдобавок настраивает лиры наших сладкогласных поэтов. Чего же недоставало первобытному человеку? Недоставало безделицы. Во-первых, знания этой природы. Во-вторых, уменья сближаться с подобным себе человеком и находить себе в нем естественного союзника. На каждом пути первый шаг обыкновенно оказывается самым трудным. Первое усилие изобретательного ума, проявившееся в том, что человек вооружился какою-нибудь деревянною дубиною или попробовал на каком-нибудь бревне переплыть через небольшой ручей, было, может быть, самым удивительным подвигом человечества, самым верным и блестящим предзнаменованием будущей великой судьбы нашей породы. Первая попытка к сближению человека с человеком, попытка, выразившаяся каким-нибудь безобразным мычанием, подергиванием лицевых мускулов и беспокойным движением руки, была, по всей вероятности, важнее и плодотворнее по своим последствиям, чем самые удивительные и сложные комбинации позднейших создателей римского права. Первые успехи людей в практическом ознакомлении с силами и законами природы и в создавании языка как могучего и незаменимого орудия сближения между собою были, конечно, медленны и вялы; но зато каждый последующий шаг совершался легче и быстрее предыдущего. Первые, полумифические предания, открывающие собою историю каждого народа, застают людей уже на очень высокой степени умственного развития и материального благосостояния. Язык уже создан совершенно и применяется уже к таким целям, которые не имеют ничего общего с грубыми потребностями животной жизни. На языке этом существуют уже песни, космогонические мифы и героические эпопеи. Человек живет охотою и скотоводством; он уже не боится диких зверей; он сам отыскивает и преследует их; у него есть оружие; ему удалось покорить себе некоторые породы животных и обратить их в прочную собственность. Наконец, он делает то же самое с растениями; возникает первобытное земледелие, которое даже в самом грубом виде предполагает очень обширные знания сил и законов природы; чтобы сделаться земледельцем, человеку надобно, во-первых, узнать, что зёрна известных растений заключают в себе питательное вещество; во-вторых, надо узнать, что зерна, положенные в землю, производят новые растения;

в-третьих, надо узнать, на какой земле эти зерна могут дать росток; далее, надо узнать, в какое время года их сеять и когда убирать. Все эти сведения приобретаются только опытом и составляют ряд удивительных открытий, перед которыми бледнеют паровые машины и электрические телеграфы, составляющие славу и гордость нашего века.

Мы не знаем настоящей цены этим открытиям, потому что они с незапамятных времен составляют общее достояние масс; но если мы перенесемся воображением к тем векам отдаленной древности, в которых открытия эти были сделаны, если мы представим себе, как беден был тогдашний человек опытами, знаниями и, следовательно, мыслями, то подобные открытия покажутся нам почти необъяснимыми чудесами и во всяком случае чисто героическими подвигами младенческого ума первобытного человека. Такие подвиги могут быть воспроизведены только в фантастической сказке или в эпической поэме. На этом основании я принужден в этих очерках брать человека и его отношения к природе уже в том моменте развития, когда первые труднейшие и величайшие открытия сделаны. Я всегда буду, таким образом, предполагать, что язык как орудие сближения уже создан, что приручение домашних животных уже совершено и что первые, важнейшие начатки земледелия уже отысканы наблюдательным умом древнего человека.

III

Между охотниками, пастухами и земледельцами первобытной эпохи часто происходят раздоры и драки. Эти зародыши будущих войн выдвигают вперед микроскопических Цезарей и Наполеонов и вносят в быт первобытных людей такой элемент, который не имеет ничего общего с последовательным и правильным развитием труда.

Чтобы устранить из нашего исследования этот посторонний элемент, мы должны изолировать одного из древних земледельцев и поставить его в исключительное положение. Мы желаем знать, что *должно было бы* произойти, если бы никакие посторонние препятствия не отвлекали человека от мирных и плодотворных побед над различными силами окружающей его природы. Для этого мы допустим предположение, что мужчина и женщина, владеющие языком, умеющие приручать некоторые породы животных и усвоившие себе элементарные сведения по земледелию, попали вместе на необитаемый остров, богатый всеми дарами девственной природы. Остров велик, плодородной земли много, и поселенцы могут завладеть беспрепятственно теми местами, которые покажутся им особенно привольными. К сожалению, эти привольные места, лежащие в долинах, по берегам рек и ручьев, покрыты самою роскошною растительностью; в одном из этих мест обилие

сырости образовало трясину, в другом — глубокий чернозем порос колоссальным строевым лесом. Если бы поселенец мог прорыть канал для отвода воды или вырубить вековые деревья, то осушенная и очищенная почва вознаграждала бы его за труд обильным урожаем. Но такой труд превышает физические силы отдельного человека. У этого человека нет таких орудий, которые необходимы для подобных работ. Употребление металлов еще неизвестно нашему Робинзону. Он убивает зверя дубиною, сдирает с него кожу острою раковиною, режет его мясо на части острым кремнем. Тот же кремень помогает ему заострить палку; заостренный конец палки обжигается на легком огне, и обожженный кол дает земледельцу возможность вырывать в рыхлой земле те мелкие ямки, в которые он бросает хлебные зерна. Кусок острого кремня, привязанный ремнем или лыком к палке, образует топор. Этим топором можно переломить сухую хворостину; им можно, пожалуй, ушибить зверя или врага, но им, конечно, невозможно срубить большое дерево, точно так же как невозможно обожженным колом вырыть канал. Чтобы расчистить одну десятину плодородной земли, поселенцу необходимо вырубить и стащить с места десятки, а может быть, и сотни больших деревьев, потом надо вырыть пни и освободить почву от множества валежника, от повалившихся и гниющих бревен; если бы поселенец осмелился взяться за такую работу, то отчаянная храбрость его ни в каком случае не увенчалась бы успехом; могучая растительность стала бы преследовать его по пятам, заглушила бы его посевы и принудила бы его постоянно возобновлять одну и ту же бесплодную работу.

Очевидно, стало быть, что первая попытка нашего колониста срубить первобытным топором колоссальное дерево покажет ему всю неразрешимость подобной задачи; спертый и сырой воздух, наполняющий собою мрачные своды девственного леса, даст ему почувствовать неприятное ощущение лихорадочного озноба, и колонист поневоле пойдет искать для поселения такого места, на котором роскошная растительность не отнимала бы у него теплых и живительных лучей солнца и не мешала бы созреванию его скудных посевов. Он найдет такое место на темени какого-нибудь холма; там почва беднее, чем в долине, и эта бедность составляет в глазах колониста достоинство, потому что она помешала лесным исполинам укорениться на этой площадке. С легким кустарником и с сорными травами, покрывающими вершину холма, поселенец кое-как справляется; обожженный кол делает свое дело, площадка покрывается тощими колосьями, и хлеб родится на первый раз сам-друг; успех не блестящий, но прожить кое-как можно, если, не ограничиваясь земледелием, заниматься ловлею птиц, охотою и собиранием лесных плодов. Конечно, богатая почва долин могла бы родить сам-двадцать, но так как эта почва оказалась недоступною, то нашему Робинзону приходится смотреть на нее, как «пери молодая» смотрела на потерянный рай. [2]

Впрочем, мы не должны думать, чтобы Робинзон чувствовал особенную нежность к богатой почве. Драгоценные свойства этой почвы выражаются покуда во враждебном для него развитии сырости и лесной растительности, а Робинзон как плохой агроном и плохой мыслитель, по всей вероятности, не воображает себе, что со временем эта самая почва будет давать его потомкам обильную жатву. Считая развитие своих собственных сил вполне нормальным и не пускаясь в теорию исторического прогресса, он, конечно, не может себе представить, что его потомки будут обладать такими силами и такими тайнами природы, которые сделают их полными властителями окружающего мира. Не предвидя великого будущего, Робинзон повинуется физической необходимости, поселяется на сухом холме, и хлеб родится у него сам-друг.

Между тем семейство Робинзона увеличивается; подрастающие дети помогают отцу и матери в тех работах, которые не превышают детских сил; потребности поселения становятся значительнее, но вместе с тем возрастают и силы; число умов увеличивается с увеличением числа рабочих рук; и отец, и мать, и дети наталкиваются на разные явления природы, обмениваются между собою опытами и наблюдениями и, при содействии этих нехитрых опытов, улучшают понемногу свое материальное положение. Увеличение населения имеет, конечно, свои дурные стороны; пяти человекам труднее жить в мире, чем двоим; на острове могут повториться те же раздоры и драки, для избежания которых мы принуждены были увести Робинзона с женою в тихое пристанище. Но чтобы подобные пассажи не путали наших теоретических выкладок, мы предположим раз навсегда, что на нашем острове царствует мир и спокойствие и что каждый из поселенцев пользуется плодами своего труда, не захватывая в свою пользу труда слабейшего соседа.

Я очень хорошо знаю, что подобное предположение не имеет под собою исторической почвы, — на самом деле так не бывает ни на островах, ни на материках, но я напомню читателю, что мы изучаем труд человека и выводим те следствия, которые должны были бы получиться, если бы к элементу труда не примешивались разные неблагообразности. Мы ставим человека лицом к лицу с природою и спрашиваем: кто должен победить? Человек или природа? Это вопрос простой, и чтобы не усложнять его до поры до времени, мы должны постоянно отстранять всякие столкновения человека с человеком. Итак, мы предполагаем, что колонисты наши плодятся и множатся и что целые столетия проходят над тихим пристанищем, принося с собою увеличение потребностей и рабочих сил, но не возбуждая в людях тех низких страстей, которые заставляют их истреблять и грабить друг друга. При таких условиях благосостояние поселенцев должно постоянно увеличиваться, и я постараюсь убедить в этом читателя целым рядом самых правдоподобных рассуждений.

На острове есть горы, а в горах лежат жилы разных металлов. Эти жилы для Робинзона были мертвым капиталом, но какой-нибудь нечаянный случай открывает его потомкам способ извлекать из них огромные выгоды. Открытия в древности производились не так, как они производятся в наше время, когда существуют ученые исследователи и практические технологи. В наше время ищут и находят, а в древности на открытия натыкались случайно; стало быть, в древности для произведения открытия были необходимы два элемента: счастливый случай и сметливый глаз человека, способного извлечь из данного случая пользу. Число этих двух элементов, конечно, увеличивается с увеличением населения. Чем больше людей, тем больше отдельных случаев; чем больше людей, тем больше сметливых глаз и сообразительных умов. Чего не случится с одним, то может случиться с другим; чего не доглядит другой, то подметит третий; чего не сообразит третий, то осилит умом четвертый. Так или иначе, первый кусок медной руды попал случайно в огонь, и получилась какая-то красная масса, которая, конечно, очень изумила и, как новинка, обрадовала колонистов. Кому-нибудь пришло в голову испытать крепость нового тела; оказалось, что оно с удобством может заменить кремень и жженое дерево; земледельческие орудия значительно усовершенствовались; явилась возможность глубже взрывать землю и с меньшим трудом рубить небольшие деревья; поля колонистов расширились, и урожаи сделались обильнее, во-первых, от этого расширения, во-вторых, от улучшений в обработке земли. Ободренные этим успехом, колонисты, уже не дожидаясь нового случая, пробуют действие огня над разными кусками земли и камня. После многих бесплодных попыток они натыкаются на оловянную руду; пробуют смешать олово с медью; смесь оказывается крепче чистой меди и производит новое усовершенствование орудий; с увеличением материала улучшается, вероятно, и форма инструментов, потому что работники, разумеется, сображаются с указаниями возрастающего опыта.

Наконец добираются и до железа; может быть, железная руда попадалась и раньше, но ею не умели пользоваться прежние колонисты; не было ни той опытности, ни тех орудий, которые необходимы для добывания и ковки железа; теперь же, когда есть люди, привыкшие обращаться с медью и с оловом, когда есть медные лопаты и медные молотки, — теперь и железная руда должна уступить усилиям человека, и вот новый металл снова производит благодетельный переворот во всех отраслях производства. Каждый успех является, таким образом, переходною ступенью к дальнейшим, и притом более важным успехам. Железными орудиями колонисты взрывают землю так глубоко, что добираются до слоев другого состава; под песчаным грунтом они находят мергель, под глинистою почвою — известковую землю. Смешение двух слоев между собою значительно увеличивает производительность земли.

Хлебопашцы замечают это и придумывают такие орудия, которые дают им возможность пахать гораздо глубже, чем пахали их предки. Обожженный кол давно уже заменился заступом; теперь заступ в свою очередь уступает место сохе и плугу; эти новые орудия по своей тяжести изнурительны для человека, и ему приходит в голову воспользоваться силами вола или лошади. Это новое усовершенствование значительно ускоряет работу, которая вместе с тем становится легче для человека и плодотворнее по своим результатам. Времени и мускульной силы тратится меньше, а пищи получается больше. Теперь можно без особенной опасности предпринять нашествие на те части острова, в которых, при жизни старого Робинзона, деспотически господствовала могучая лесная растительность. Теперь людей много, у каждого есть в руках железный топор, и за каждым следуют вьючные животные, которые немедленно выволокут срубленные деревья, гниющие бревна и кучи валежника. Пользуясь услугами вьючных животных, поселенцы замечают, что этим животным легче тащить такие тела, которые катятся по земле, чем такие, которые производят сильное трение. Идя путем постепенных усовершенствований, они доходят до изобретения телеги, значительно сберегающей силу вола или лошади. Владея железными орудиями и перевозочными средствами, потомки Робинзона, во-первых, успевают расчистить и распахать некоторые части тучной почвы, лежащей по берегам рек и ручьев, и, во-вторых, получают возможность воспользоваться срубленными большими деревьями для различных построек. Тучная почва дает обильный урожай, а крепкие бревенчатые срубы доставляют множество удобств и выгод. Жилище родоначальника колонии было похоже на логовище медведя; Робинзон принужден был довольствоваться простою пещерою, где ему приходилось сидеть в темноте или задыхаться от дыма, когда холод заставлял его разводить огонь. Через несколько времени ему удалось вместе с сыновьями сплести из хвороста шалаш, служивший плохою защитою от дождя, ветра, холода и зноя; потом он воспользовался теми бревнами и сучьями, которые валялись в лесу, и сгородил из них с большим трудом очень безобразную и неудобную хижину, в которой было что-то подобное двери, но в которой нельзя было найти ни окна, ни дымовой трубы. Темнота, дым и грязь продолжали преследовать семью колонистов. Открытие металлов было во всех отношениях поворотным пунктом в их образе жизни. Явилась возможность рубить большие деревья и распиливать их на доски; возникло уменье выкатывать из каменной горы большие глыбы и обтесывать их так, чтобы они могли держаться одна на другой; при ближайшем знакомстве с свойствами различных пластов земли поселенцы заметили, что глина очень легко принимает в жидком виде всевозможные формы и потом твердеет, подвергаясь действию солнечных лучей. В избе, построенной из бревен, является тогда дощатый пол, окно, затворяющееся до-

сками, и печка, сложенная из камня и смазанная глиною. Здоровье поселенцев значительно улучшается, потому что им не приходится страдать ни от дыму, ни от холода, ни от грязного земляного пола; кроме того, оказывается значительный выигрыш времени, потому что представляется возможность работать в избе, в которой перестает царствовать вечная темнота.

Позаботившись о себе, поселенцы заботятся о своем домашнем и рабочем скоте. В былое время свиньи, быки и овцы жили у них под открытым небом и круглый год находились на подножном корму; в холодное время года пещера колониста превращалась в Ноев ковчег, потому что все животные загонялись в это первобытное жилище и там согревали друг друга собственною теплотою. Когда процесс строения значительно облегчился улучшением орудий, когда вместе с увеличением сил произошло усложнение потребностей и вкусов, тогда непосредственная близость самых полезных животных потеряла в глазах колонистов всякую прелесть. Люди и животные разлучились, к обоюдной выгоде тех и других. Появились скотные дворы и закутки; уход за скотом улучшился; количество добываемого молока и мяса увеличилось, и порода скота стала заметно совершенствоваться.

IV

Столетия прошли над Тихим Пристанищем нашего Робинзона; в его размножившемся потомстве живут уже одни темные предания о тех далеких временах, когда родоначальник их поселился на острове; молодому поколению кажутся уже совершенно неправдоподобными рассказы о лишениях и страданиях, выдержанных первыми поселенцами. В самом деле, трудно поверить. Их было только двое; в их распоряжении находился целый остров, обширный и богатый, а между тем они часто терпели нужду и с трудом спасались от голодной смерти. Теперь колонисты считаются тысячами, остров не увеличился в объеме ни на один вершок, а между тем все хорошо одеты и живут припеваючи. Ясно, что такая благодетельная перемена произошла именно потому, что их теперь много и что эти многие являются прямыми и законными наследниками всей массы векового опыта, набранного предками и купленного дорогою ценою прошедших трудов и страданий. Каждое последующее поколение оказывается многозначительнее предыдущего, живет богаче и придумывает новые технические улучшения, которые позволяют ему добывать больше пищи и одежды с меньшим напряжением мускулов и с меньшею тратою времени. Открывается возможность пользоваться для промышленных целей великими естественными силами воды, ветра и, наконец, пара. В былое время хлебные зерна растирались между двумя камнями, приводимыми в движение руками человека. Эта работа была

утомительна, и мука получалась плохая, потому что многие зерна оставались полураздавленными. Вслед за тем было найдено средство заменить труд человека трудом лошади или вола. Работа пошла быстрее, и мука улучшилась. Потом, когда практическая механика сделала значительные успехи, превращение зерен в муку было поручено воде и ветру, таким работникам, которые не требуют пищи и которых могущество неизмеримо велико в сравнении с ограниченными и быстро устающими силами человека, лошади и вола. Таким образом произошло громадное сбережение труда и времени, а между тем количество превращаемого продукта значительно увеличилось, и в такой же степени повысилось его качество.

То же самое произошло в тех отраслях производства, которые относятся к приготовлению одежды. Одежда Робинзона состояла из звериной кожи, наброшенной на плеча. Так как первобытному поселенцу редко случалось убивать такого большого зверя, которого шкура могла бы служить для человека достаточною защитою от воздуха, то, конечно, одежда считалась большою редкостью и очень неудовлетворительно исполняла свое назначение. Редкость больших шкур навела на мысль связывать ремешками маленькие шкурки; когда у Робинзона развелись домашние животные, то, конечно, добывание шкур значительно облегчилось; вместо связывания шкур явилось сшивание; вместо иголки употреблялась какая-нибудь острая кость, а вместо ниток — тонкие ремешки, тонкие жилья или струны, скрученные из кишечной кожи. Счастливая мысль сучить нитки из животной шерсти и растительных волокон повела за собою многочисленные улучшения; возникло прядильное искусство, из которого в свою очередь развилось производство тканей. Затем явились механические усовершенствования орудий; простое веретено заменилось самопрялкою, и первобытный ткацкий станок испытал значительные превращения. Наконец, сила пара, приложенная к этой отрасли производства, довела выработывание тканей до изумительной легкости и быстроты.

Мы знаем, что все эти открытия и усовершенствования были произведены в действительности, но мы можем, кроме того, доказать, что они неизбежно должны были быть произведены. В них нет ничего случайного, и они нисколько не зависят от личных свойств тех людей, которые сделали их достоянием человечества. Мы считаем этих людей благодетелями нашей породы и чувствуем к ним признательность по тому же самому свойству нашей натуры, по которому мы кидаемся на шею к человеку, сообщающему нам очень радостное известие. На самом же деле свойства вещества, подмеченные изобретателем, так же мало зависят от его воли, как мало зависит счастливое событие от человека, передающего радостное известие. Эти свойства вещества только потому оставались неизвестными, что большинство людей задавлено механическою

работою, а меньшинство жуирует, или занимается пустяками, или изобретает средство еще больше обременить большинство. Поэтому наблюдать и размышлять, трудиться и осмыслять свой труд могут только немногие единицы; эти единицы одарены сильным умом, но их так мало не оттого, что на известную полосу земли отпускается такое количество ума, а оттого, что отпускаемое количество расходуется самым нерасчетливым образом. Умные и полезные люди составляют редкие исключения, между тем как они должны были бы составлять правило.

Я не намерен отнимать у великих гениев ни одного вершка их роста, но с полным убеждением выражаю ту мысль, что они стоят так неизмеримо высоко над общим уровнем человечества только потому, что неблагоприятные обстоятельства довели этот общий уровень до неестественно низкой степени. Великая, богатая и могучая природа человека, совершившая в своем славном младенчестве столько героических умственных подвигов в деле завоевания внешней природы, истощается и уродуется именно теми условиями жизни, которые представляют жалкие и пагубные уклонения от великого дела производительного и постоянно расширяющегося труда. Нам часто случается слышать панегирики замечательным открытиям нашего века; конечно, хорошо, что открытия эти сделаны; но удивляться тут нечему; скорее следовало бы подивиться тому, что они сделаны так поздно, тому, что мы до сих пор так мало знаем природу, тому, что земледелие, известное человеку с незапамятных времен, только в последнее тридцатилетие, в немногих уголках Европы, начало пользоваться указаниями осмысленного опыта. Если бы Шекспир не написал «Отелло» или «Макбета», то, конечно, трагедии «Отелло» и «Макбет» не существовали бы, но те чувства и страсти человеческой природы, которые разоблачают нам эти трагедии, несомненно были бы известны людям как из жизни, так и из других литературных произведений, и притом были бы известны так же хорошо, как они известны нам теперь. Шекспир придал этим чувствам и страстям только индивидуальную форму. Но машина или закон природы не могут иметь индивидуальной формы. Из двух различных машин, построенных для одной и той же цели, одна непременно будет удобнее другой и, следовательно, вытеснит из употребления другую. Из двух различных объяснений явления природы одно будет непременно ложным и, следовательно, рано или поздно будет отвергнуто. В деле изучения и завоевания природы нет места личному произволу; тут нельзя изобретать, надо только наблюдать и понимать, пользоваться от века существующими силами и разгадывать от века существующую связь причин и следствий. Открытие есть встреча между вечным явлением и вечным умом человечества. Встреча эта неизбежна, но она может совершиться раньше или позднее, смотря по тому, много или мало отдельных человеческих умов стоят на известной высоте развития и предаются

плодотворному делу труда и наблюдения. Если бы Уатт не открыл двигательную силу пара, то ее непременно открыл бы кто-нибудь другой, потому что эта сила существовала в доисторические времена и будет существовать на нашей планете до тех пор, пока не иссякнет последняя лужа воды и не уничтожится последний луч теплорода. Эту силу открыли в XVIII столетии, а не раньше, только потому, что чем дальше мы будем забираться в древность, тем сильнее будут проявляться элементы, враждебные труду, и, следовательно, тем реже будут становиться шансы для счастливых и плодотворных встреч между явлением природы и наблюдательным умом человека.

Мы в нашей гипотезе устранили с Тихого Пристанища все элементы, враждебные труду и ассоциации; поэтому мы имеем полное право утверждать, что на острове Робинзона весь ход неизбежных открытий и совершенствований будет несравненно быстрее, чем где-либо в действительности. Чтобы историческим фактом доказать читателю неизбежность главных практических открытий и независимость их от отдельных личностей, я напомню ему только ту известную истину, что китайцы совершенно самостоятельным путем дошли почти до всех технических усовершенствований, которыми гордится теперь европейская цивилизация. Если мы предположим, что Тихое Пристанище продолжало жить до наших времен своею мирною и разумною жизнью, то мы совершенно последовательно принуждены будем допустить, что жителям счастливого острова известны такие свойства природы и такие технические комбинации, о которых не имеет понятия ни одна из передовых стран Европы. Мы, конечно, знаем, что мы далеко еще не достигли пределов естествознания, но этого мало: мы теперь не можем и не имеем права сказать, что этому знанию существуют какие-нибудь пределы; мы не имеем также права утверждать, что силы природы когда-нибудь могут быть исчерпаны или истощены. Напротив, оглядываясь назад на поприще, пройденное человечеством, и потом видя впереди необозримую и беспредельную даль, мы имеем полное основание думать, что наша порода вечно могла бы с каждым поколением становиться могущественнее, богаче, умнее и счастливее, если бы только не мешали этому развитию бесконечные и разнообразные междоусобные распри, поглощающие и истощающие лучшую и значительнейшую часть великих и прекрасных способностей человеческого тела и человеческого ума. Природа человека всегда была так же способна к беспредельному развитию, как природа, окружающая человека, всегда была способна к бесконечному разнообразию видоизменений и комбинаций; но человек не мог сразу понять ни себя, ни природу; он и до сих пор понимает неверно и неполно как самого себя, так и те бытовые условия, при которых деятельность его может быть плодотворна, развитие — быстро и успешно и счастье —

по возможности совершенно. Из этого неполного и неверного понимания, как из вечно открытого ящика Пандоры, [3] сыпятся и льются роковые ошибки, и только в этих ошибках заключаются причины всякой бедности и всяких страданий.

V

Многие причины заставляли Робинзона довольствоваться теми скудными жатвами, которые давали ему участки тощей и сухой почвы, лежавшей по вершинам холмов. Тучная почва долин была занята вековым лесом, которого одинокий и несведущий колонист не мог вырубить; она была покрыта болотами, которых он не мог осушить. Кроме того, Робинзон не умел пахать ту почву, которая была ему по силам; минеральные частицы различных слоев не смешивались между собою; песок и мергель, суглинок и известь оставались несоединенными, и вследствие этого земля развертывала только самую незначительную долю своих производительных сил. Скот Робинзона бродил по воле, и помет его пропадал даром, тем более что первобытный агроном, по всей вероятности, не знал его драгоценных свойств. Все эти причины бедности были постепенно устранены, когда население увеличилось и обогатилось опытными знаниями. Рубка лесов и осушение болот посредством каналов открыли позднейшим колонистам путь в роскошные долины; вместе с тем усовершенствование земледельческих орудий и введение рационального скотоводства дало им возможность распахать и удобрить те участки сухой почвы, которые их предки царапали обожженными кольями. Переход от бедной почвы к богатой совершился, таким образом, с увеличением числа рабочих рук и с улучшением средств обработки. Такой переход сам по себе в высшей степени правдоподобен, но нам нет надобности считать его только правдоподобным; мы можем подтвердить его всеми действительными фактами заселений, совершавшихся на глазах истории.

Колонизация Северо-американских штатов была произведена так недавно, что каждый шаг поселенцев на новом материке может быть указан как в исторических свидетельствах, так и на самой почве. Первая английская колония Плимут была основана в штате Массачусете, на песчаной прибрежной почве. Весь Массачусет отличается тощим грунтом, но пуритане, селившиеся на скалистых холмах, выбирали самые бедные части этого тощего грунта. В штате Нью-Йорке старая железная дорога идет по возвышенностям, на которых лежат деревни и местечки первых поселенцев; напротив того, новая железная дорога прямою линиею прорезывает богатейшие долины штата, которые до сих пор остаются неосушенными и невозделанными. Плодороднейшие земли Пенсильвании долгое время считались совершенно неудобными,

потому что сырой и болотистый воздух преследовал поселенцев периодическими лихорадками. В Нью-Джерси квакеры основали свои первые поселения на песчаных холмах, поросших жидкими сосновыми рощами, а потомки их оставили эти места, когда им удалось вырубить дубовые леса, покрывавшие тучный грунт, и осушить те низменности, на которых рос белый кедр. В штате Охайо пятьдесят лет тому назад сухие земли холмов были гораздо дороже долин и речных берегов, на которых никто не хотел селиться; по берегам Сускеганны целые сотни акров передавались из рук в руки за 1 доллар или даже за кружку водки; теперь эти земли возвысились в цене, а холмы, напротив того, оставлены и заброшены. В Уисконсине богатейшая земля штата называлась «мокрыми лугами» и составляла ужас первых поселенцев; теперь эти «мокрые луга» высушены без всяких гидравлических сооружений: их просто каждый год косили и вытравливали рогатым скотом; солнце и воздух вытянули излишек воды, и земледелец получил возможность воспользоваться толстейшими слоями превосходного чернозема. По берегам реки Миссисипи, ниже того места, где она принимает в себя реку Охайо, лежат миллионы акров богатейшей почвы, которая до сих пор остается нетронутою и сохраняет зловещее название трясины (Swamp). Эта обширная местность покрыта лесом и камышами и наполнена целыми озерами стоячей и гниющей воды, которая, содействуя развитию разнообразной растительности, заражает воздух самыми вредными миазмами. Разлития Миссисипи затопляют в обе стороны огромные полосы земли и, увеличивая ее плодородие осадками ила, поддерживают тот избыток сырости, который отражает завоевательные попытки самых смелых колонистов. Трясина только тогда перестанет быть трясиною, когда большие каналы спустят громадные лужи стоячей воды и когда высокие плотины положат предел разрушительным шалостям реки. Подобные сооружения могут быть выполнены только многочисленным и предприимчивым населением. Они далеко превышали силы местных плантаторов, считающих рабство и земледельческую рутину краеугольными камнями своего личного и общественного благосостояния. На этом основании в трясине господствуют исключительно охотники, рыбаки и дровосеки — люди бедные, полудикие, привыкшие к ежедневным опасностям и не боящиеся ни лесных зверей, ни болотных испарений. По течению рек Миссури, Кентукки, Теннесси и Красной мы постоянно замечаем однородные явления: чем гуще население, чем значительнее накопление богатства, тем ближе подступают земледельцы к береговым низменностям; чем реже и беднее становится население, тем исключительнее сосредоточивается хлебопашество на тощей почве сухих холмов, отодвигаясь далее и далее от течения рек. В обеих Каролинах, в Джорджии, в Флориде и Элебаме [4] миллионы акров великолепнейших лугов и лесов остаются неосушенными и нерасчищенными, между тем как

плантаторы этих штатов вытягивают последние соки из своих тощих земель.

Земледельцы, отправляющиеся искать счастья на дальнем западе, постоянно основывают свои первые поселения на холмах, несмотря на то, что у них есть отличные стальные топоры и заступы. Хорошие орудия очень полезны, но такие громадные предприятия, как расчищение девственных лесов и осушение обширных болот, могут быть выполнены только соответственным количеством рабочих рук, и поэтому решение подобных задач всегда предоставляется более или менее отдаленному будущему. Всякая попытка нарушить этот основной закон и начать обработку прямо с тучных участков земли неизбежно ведет за собою неудачи и народные бедствия; посевы гниют на корне, колонисты мрут от лихорадок, и возникающее поселение погибает, задавленное непомерными силами девственной природы. Много таких примеров представляет история французских колоний в Луизиане и в Кайенне и первых английских поселений в Виргинии и в Каролине.

В Мексике обработываются песчаные земли Потози и Закатекаса, лишенные естественного орошения и часто подвергающиеся губительным засухам; между тем остаются невозделанными и незаселенными берега рек и Мексиканского залива, покрытые богатейшею тропическою растительностью и производящие сами собою хлопчатую бумагу и индиго, маис и сахарный тростник. Возвышенности Тласкалы и сухая почва Юкатана обработаны; а плодородные земли Табаско и Гондураса нетронуты. Скалистые острова Караибского моря, Монсеррат, С.-Лучия и С.-Винцент заселены, а Порто-Рико и Тринидад, самые плодородные из этих островов, остаются почти в первобытном состоянии. На Панамском перешейке развертывается вся изумительная сила американской природы; дожди продолжаются сплошь по семи месяцев, и лесная растительность развивается так быстро, что линия Панамской железной дороги заросла бы лесом в один год, если бы на ней не производились постоянные расчистки. Конечно, как и следовало ожидать, Панамский перешеек по обе стороны рельсов представляет нетронутую глушь.

В Южной Америке повторяется тот же общий закон в самых обширных размерах. Во времена Пизарро существовала цивилизация только в гористом и сухом Перу, составляющем крутой склон Кордильеров к Восточному океану. Перу орошается небольшими и быстрыми реками, которые, не застаиваясь в своем течении, не могут образовать болотистых разливов. Кроме того, пассатные ветры, насыщенные водяными парами, задерживаются вершинами Кордильеров, и облака, гонимые этими ветрами, проливают свой дождь, не достигая плоских возвышенностей Перу и Боливии. От этого происходят засухи и неурожаи, и, однако, несмотря на эти неудобства, гражданственность сосредоточилась именно в Перу. Бразилия, лежащая к востоку от Перу, орошается вели-

чайшими реками в мире и может производить в беспредельном изобилии сахар, кофе, табак, пряности, красильные вещества и все, чего только человек может потребовать от тропической природы. Луга ее покрыты стадами буйволов и диких лошадей; драгоценные металлы лежат почти на самой поверхности земли. Кажется, людям стоило бы только прийти и овладеть всеми этими сокровищами, а между тем весь неизмеримый бассейн Амазонской реки и ее громадных притоков до сих пор представляется сплошным девственным лесом. Ту же самую противоположность мы видим южнее, сравнивая гористую и населенную береговую полосу Чили с обширною, плодородною и почти нетронутою долиною Ла-Платы.

VI

В Англии с незапамятных времен были обработаны земли Корнваллиса, известные по своей сухости; почти каждый холм в этой стране представляет следы древних поселений. Теперь эти места считаются худшими землями и обыкновенно оставляются под выгоном. Во времена первых норманских королей южный Ланкашир был покрыт болотами, в которых едва не увязло победоносное войско Вильгельма Завоевателя. Теперь на этих самых местах созревают богатые жатвы и пасутся стада породистого рогатого скота. Во времена Плантагенетов в Англии было множество лесов, в которых водились кабаны и волки; теперь на месте этих лесов мы находим пахотные земли, далеко превосходящие своим плодородием те участки, которые возделывались в древности и в средние века. В Шотландии следы древнего земледелия находятся на горах; теперешним жителям кажется до такой степени неправдоподобным возделывание таких местностей людьми, что они называют эти следы пашнями эльфов. В средние века житницею Шотландии называлась тощая полоса земли, к которой хлебопашцы наших времен чувствуют весьма незначительное уважение. Напротив того, лучшие теперешние фермы Шотландии лежат на бывших болотах времен Елизаветы и Марии Стюарт. В средние века Оркнейские острова имели очень важное значение, которое совершенно утратилось теперь. Они были однажды заложены какому-то норвежскому королю в обеспечение такой значительной денежной суммы, за которую их теперь нельзя было бы продать, если бы даже покупателю вместе с верховным господством предоставлялось право собственности над землею. Оркнейские острова могли быть так дороги только потому, что лучшие земли оставались недоступными для земледельцев. Теперь обитатели этих островов живут очень бедно, но мы не имеем основания думать, что уровень их благосостояния понизился со времени средних веков. Что считалось богатством тогда, то покажется бедностью;

теперь, точно так же как богатство дикаря для цивилизованного человека может быть крайнею степенью нищеты.

В Галлии времен Юлия Цезаря сильнейшие племена галлов: арверны, эдуи и секваны, жили по склонам Альпийских гор. В их землях возникли богатые торговые города, а в настоящее время эти самые земли лишены дорог, и путник, попавший в эту глушь, принужден перебираться через горные потоки по переброшенным бревнам, а еще чаще по камням, положенным в воду в некотором расстоянии друг от друга. В таком положении находится территория «le Morvan», занимающая до полутораста квадратных лье и представляющая местами сохранившиеся следы отличных военных дорог. Вообще остатки древней цивилизации находятся именно в самых диких и бедных захолустьях современной Франции: в Бретани, в Оверни, в Лимузене, в Севенских горах и на склонах Альпов. Все значительные города, известные в истории Капетингов, Людовика Святого, Филиппа-Августа, — Шалон, Сен-Кантен, Суассон, Реймс, Труа, Нанси, Орлеан, Бурж, Дижон, Вьеннь, Ним, Тулуза, Кагор — все построены на высоких местностях, недалеко от истоков больших рек или на возвышенностях, составляющих водоразделы. Многие из лучших земель Франции до сих пор не обработаны, и «Journal des Economistes» в 1855 г. обращает внимание правительства на необходимость осушить болотистые местности.

В Бельгии тощие земли Лимбурга и Люксембурга обработывались с незапамятных времен, а тучная Фландрия до седьмого столетия нашей эры оставалась пустынею. В Голландии первенство между отдельными провинциями принадлежало узкой и песчаной полосе земли, лежавшей между Утрехтом и морем. Эта провинция называлась Голландиею, и преобладание ее достаточно выражается уже в том обстоятельстве, что она дала свое имя всей стране.

Предания скандинавского племени выводят обитателей Скандинавского полуострова с юга и указывают их первобытную родину на берегах Дона. Мы видим таким образом, что целый народ уходит с богатой почвы южной России, не останавливается на тучных равнинах средней и северной Германии, отыскивает себе за морем новую отчизну и на этой бедной земле выбирает себе для поселений самые гористые и тощие местности. Это последнее обстоятельство доказывается тем, что следы древнейших жилищ в Скандинавии, как и в Шотландии, находятся на возвышенностях.

Славянские племена, заселившие Россию, в песнях своих вспоминают о южном происхождении своем с берегов Дуная. Первые проявления гражданственности в нашем отечестве находим мы на берегах Волхова и Ильменя, в суровом климате, на тощей почве. Киев является преимущественно военною стоянкою князей; народная жизнь уходит на север и северо-восток, держится в Новгороде и Пскове, проявляется в Суздале и Владимире, производит

колонизацию Вятки и разбрасывается по берегам Белого моря. В настоящее время северные части России, за исключением тех крайних оконечностей, в которых холод губит всякую растительность, оказываются более населенными и лучше возделанными, чем роскошные степи Новороссийского края. По верному замечанию Тенгоборского, Псковская губерния занимает девятое место по относительному количеству пахотной земли и в этом отношении стоит гораздо выше губерний Подольской, Саратовской и Волынской, которые, конечно, далеко превосходят ее плодородием почвы.

В нынешней Венгрии сподвижники Аттилы основали свои первые поселения на песчаной равнине, лежащей между Тиссою и Дунаем; потомки их до сих пор держатся на этих бесплодных местах, оставляя необработанными и неосушенными богатые земли, простирающиеся за Тиссою.

В Италии Самнитские холмы и высокая Этрурия были уже обработаны, а Веии и Альба-Лонга [5] считались уже могущественными городами, когда при низовьях Тибра еще не возникало бедное поселение товарищей Ромула. Возвышенности Цизальпинской Галлии [6] были заняты в древности, а лагуны адриатического прибрежья, на которых стоит Венеция, заселены только в начале средних веков. В Корсике хижины жителей разбросаны по горам, а почва долин, способная производить табак, сахарный тростник, хлопчатник и даже индиго, лежит нетронутая. То же самое мы видим в Сардинии, на Балеарских островах и в Сицилии.

В древней Греции обработка земли началась в гористой Аркадии и в сухой Аттике гораздо раньше, чем в тучной Виотии. [7] Фокеяне, локры и этолийцы теснились на скалистых возвышенностях, между тем как рядом с ними лежали слабо заселенные богатые равнины Фессалии и Фракии.

Египетская цивилизация возникает в верхних частях Нила, и первою столицею ее являются Фивы; оттуда она спускается вниз по течению, к Мемфису, и, наконец, уже гораздо позднее захватывает плодородную дельту Нила, на которой построена Александрия.

Столица Абиссинии лежит на высоте 8000 футов над поверхностью моря, а долины не заселены.

В Ост-Индии дельты Инда и Ганга покрыты непроходимыми лесами, и почти все долины больших рек остаются в первобытном состоянии, а между тем по склонам гор туземцы выбиваются из сил, чтобы добыть себе в день горсть рису или в месяц две рупии заработной платы. На Цейлоне и на Яве жители боятся и тщательно обходят тучную почву долин, в которых рядом с могучею растительностью развиваются губительные миазмы.

Вся эта груда набросанных фактов, взятых из всех частей света, под всеми широтами, из настоящего и из прошедшего, у народов, стоящих на самых различных ступенях умственного и общественного развития, самым блестящим образом доказывает с разных

сторон непреложность одного общего закона. Человек постоянно переходит от худшего к лучшему, от бедной почвы к богатой, точно так же как он переходит от острой раковины к железному и стальному ножу, от обожженного кола к плугу, от пещеры к каменному дому, от лука к штуцеру, от звериной кожи к сукну и бархату. Для того чтобы переход этот совершался, необходимо только предоставить свободу естественным отправлениям человеческого организма. Человеку вместе со всеми другими животными свойственно стремление размножаться, и мы видим действительно, что размножение людей составляет непременное условие всякого прогресса. Человеку свойственно искать сближения с другими людьми, и оказывается на самом деле, что только соединенные человеческие силы могут успешно бороться с природою. Человеку свойственно искать себе материальных удобств, и мы замечаем везде и всегда, что чем усерднее он их ищет, т. е. чем сильнее он работает мозгом и мускулами, тем быстрее улучшается его положение. Каждая потребность человека может найти себе удовлетворение, и чем полнее она будет удовлетворяться, тем больше будет оказываться средств удовлетворять ей в будущем. Но из этого никак не следует выводить то лестное заключение, что потребности человека действительно удовлетворяются всегда и везде. На земном шаре существует множество различных организмов, которые все могут жить и развиваться в свойственной им обстановке; но каждый из этих организмов может быть искусственно поставлен в такое положение, при котором он или зачахнет, или разрушится. Положите рыбу на берег, бросьте птицу в воду, заприте в одно стойло лошадь, а в другое кошку и положите перед первою пуд сырого мяса, а перед второй меру овса, и вы увидите, что четыре организма будут разрушены — первые очень быстро, последние довольно медленно. Если бы нашелся такой проказник, который мог бы перетасовать таким образом все существующие организмы, то в короткое время весь земной шар покрылся бы трупами, чего нельзя было бы приписать простому действию законов природы, потому что комбинации, производящие такой поразительный coup de théâtre, * составляют только игривое проявление единичной воли.

Разрушить произвольным вмешательством всю органическую жизнь на земном шаре невозможно, но повредить в какой-нибудь отдельной стране правильному развитию человеческого труда вовсе не трудно: для этого не требуется даже злонамеренности, — одно незнание производит искусственные комбинации в междучеловеческих и общественных отношениях; при таких комбинациях удовлетворение многих человеческих потребностей становится невозможным, и самое существование таких потребностей делается источником страданий и приводит к погибели, точно

---

* Неожиданное событие; эффект *(франц.)*. — *Ред.*

так же как потребность дышать губит птицу, погруженную в воду, или потребность принимать пищу — кошку, находящуюся tête-à-tête * с мерою овса. Очевидно, что тут виновата не потребность, а уродливая комбинация. Каждая из европейских наций прошла через множество подобных комбинаций, но натура человека так крепка и эластична и естественное течение событий настолько сильнее ошибочных расчетов и произвольных распоряжений, что, несмотря на все исторические несчастия, мы все-таки замечаем в передовых странах Европы постоянное возрастание народонаселения, постоянное улучшение технических приемов и вследствие того постоянное стремление к переходу от тощей почвы к более плодородной. Но в некоторых землях враждебные влияния были до такой степени сильны, что они превозмогали действие естественных стремлений человека: народонаселение убывало, материальное довольство уменьшалось, техническая ловкость и изобретательность терялась, и человек покидал богатую почву, чтобы снова добывать себе скудное пропитание на тощих и сухих землях. Войны, порабощение труда и разные видоизменения административного произвола составляют главные причины таких печальных явлений. Так опустели Греция и Италия в последние годы римской республики и во время империи. Так пустеет теперь Турция, заключающая в себе плодороднейшие земли Европы и Азии и между тем населенная таким народом, который едва успевает предохранять себя от голодной смерти. Богатая Буюкдерская долина, расстилающаяся у самых ворот Константинополя, не обработывается, так что в столицу привозится хлеб с холмов, лежащих за сорок и за пятьдесят миль. Земли, орошаемые нижним течением Дуная, давали богатые жатвы во времена римского владычества, а теперь на них пасутся малочисленные стада свиней, которых пастухи находятся в самом жалком положении. Такие же картины запущения попадаются путешественнику в Малой Азии, в Сирии, по берегам Тигра и Евфрата — в тех местах, где процветала греческая цивилизация, и там, где земля кипела молоком и медом. Все это произведено отчасти военными опустошениями былых времен, отчасти такою системою управления, которая не обеспечивает ни личности, ни собственности, отчасти тем обстоятельством, что Турция, как чисто земледельческое государство, вывозит постоянно свои сырые продукты на далекие рынки, постоянно истощает свою почву и, следовательно, проживая таким образом свой капитал, с каждым годом становится беднее и слабее.

Южные, рабовладельческие штаты Америки находятся почти в таком же положении. Вся нижняя Виргиния покрыта развалинами оставленных плантаторских домов; поля заброшены и поросли вереском и кустарником; хозяева принуждены искать новых

---

* Тет-а-тет; наедине вдвоем (*франц.*). — *Ред.*

земель, и так как расчистка и осушение богатой почвы им не по силам, то они, естественным образом, разработывают сухие вершины холмов. Здесь этот упадок земледелия произведен двумя причинами, тесно связанными между собою: постоянным вывозом сырых продуктов, истощающим землю, и рабством, обусловливающим собою хозяйственную рутину. Сырые продукты вывозились в Англию оттого, что не было мануфактур на месте, а мануфактур не было оттого, что не было предприимчивости, а предприимчивость немыслима в такой стране, где большинство жителей работает из-под палки, а меньшинство без малейшего труда проживает доходы. Следовательно, рабство и истощение почвы образуют такой заколдованный круг, из которого южные штаты никак не умеют вырваться.

VII

Если бы нельзя было осязательно доказать, что земледелие возникает на возвышенностях и уже впоследствии спускается в долины, то идея о возможности прогресса, составляющая краеугольный камень разумного миросозерцания, в научном отношении могла бы занять место рядом с теориями старух о близости светопреставления. На первый взгляд такое положение кажется нелепым, но первое впечатление здесь, как и во многих других случаях, оказывается ошибочным. Тучная почва всегда находится в долинах и низменностях, потому что каждый ливень смывает с высоких мест частицы почвы и несет их мутными потоками дождевой воды в низкие места, где эти частицы осаждаются по естественному действию тяжести. Если бы первобытные поселенцы могли разработать тучную почву и если бы размножающееся потомство этих поселенцев было принуждено мало-помалу распахивать тощие земли, то, очевидно, труд последних с каждым годом стал бы получать более скудное вознаграждение; чем больше нарождалось бы людей, тем дальше пришлось бы земледельцам забираться на сухие холмы; ценою постоянно возрастающих усилий пришлось бы добывать постоянно уменьшающееся количество пищи и других сырых материалов. При таком положении дел всякое приращение народонаселения было бы злом, потому что оно вело бы за собою постоянно увеличение бедности. Некогда было бы придумывать технические усовершенствования, потому что все время жителей уходило бы на заботы о куске хлеба, и все эти заботы все-таки не могли бы предохранить их от частых посещений голода; кроме того, всякие технические усовершенствования были бы бесполезны, если бы не увеличивалось количество сырых материалов, которое в конце концов всегда служит настоящим мерилом богатства. О прогрессе нечего было бы и думать; нищета, голод, заразительные болезни составляли бы естественную судьбу чело-

вечества и поражали бы каждое последующее поколение сильнее, чем предыдущее; перед такою перспективою самый неукротимый идеалист сложит оружие и сознается, что о нравственном и умственном совершенствовании приходится отложить попечение.

Существует, однако, целая школа ученых мужей, которые, не считая себя неукротимыми идеалистами, полагают, что есть возможность помирить идею прогресса с враждебным воззрением на возрастание народонаселения. Дело идет о многочисленных последователях слишком знаменитых учителей Мальтуса и Рикардо. Теория Мальтуса состоит, как известно, в том, что люди плодятся в геометрической прогрессии (1, 2, 4, 8, 16, 32...), в то самое время как предметы, употребляющиеся в пищу, размножаются в арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5, 6...). Через такую неравномерность размножения происходит для людей недостаток пищи, нищета, голод, болезни — одним словом, все те бедствия, от которых страдает гарнизон осажденной крепости. По мнению Мальтуса, Англия уже дошла до такого бедственного положения, и причины пауперизма и развивающихся из него страданий и преступлений заключаются именно в излишке народонаселения. Идеи Рикардо относятся к заселению земли. Он утверждает, что первые поселенцы захватили лучшие земли, потому что они имели полную свободу выбора; последующим поколениям пришлось довольствоваться тем, что осталось, или платить наследникам первых собственников известное количество продукта за пользование лучшими, уже захваченными землями. Так объясняется происхождение поземельной ренты. Обе теории составлены в рабочем кабинете, за письменным столом, за которым можно составить какие угодно проекты, выкладки, комбинации и доктрины. Обе теории носят на себе печать тех счастливых времен, когда можно было тасовать и раскладывать в голове и на бумаге разные мысли о природе и человеке, не обращая никакого внимания ни на законы и явления природы, ни на свидетельства истории и ежедневного опыта.

В подобных выкладках и человек и природа являются только как отвлеченные понятия и показывают исследователю только ту, часто даже несуществующую сторону, которую ему угодно принимать в соображение. Рикардо говорит, что первые поселенцы, *конечно*, выбрали лучшую землю. Тут, очевидно, берутся отвлеченные поселенцы и отвлеченная земля. В «лучшей земле» принимается в соображение только та сторона, что она может давать много хлеба. В «первых поселенцах» берется в расчет только то свойство, что они имеют глаза и могут сделать выбор. Но что лучшая земля, именно потому, что она лучшая, должна была непременно зарасти лесом или покрыться лужами стоячей воды, об этом Рикардо не думает. Что первый поселенец, именно потому, что он первый, должен был располагать очень плохими орудиями и очень слабыми техническими сведениями, этого Рикардо также

не соображает. Между тем мы видели, что именно эти непризнанные свойства земли и человека везде мешали одинокому колонисту захватить те участки, которые могли давать ему обильные урожаи. Мы видели также, насколько исторические факты находятся в согласии с идеями Рикардо, который, очевидно, дошел до своих заключений только потому, что соблазнился внешнею логичностью своих кабинетных соображений. Оригинально также то обстоятельство, что существование поземельной ренты в Англии, в которой землевладельцы ведут свои права от норманских завоевателей и феодальных баронов, приводится в связь с каким-то идеальным заселением земли.

Такие логические и исторические salto mortale * неизбежны в тех случаях, когда писатель, насилуя свою совесть и закрывая глаза и уши, старается во что бы то ни стало узаконить и оправдать некрасивые явления современной действительности. Гадания Мальтуса о размножении людей вытекают из того же мутного источника и, подобно рассуждениям Рикардо, не имеют ни малейшего научного основания. Так называемый Мальтусов закон много раз подвергался разрушительной критике мыслителей, имеющих здравые понятия об условиях народного благосостояния. Года три тому назад общая несостоятельность и отдельные промахи этой теории были доказаны очень основательно Чернышевским в его примечаниях и дополнениях к переводу политической экономии Милля. [8] Не желая повторять приводимых там аргументов, я обрисую здесь только мертвящий взгляд Мальтуса и его последователей на жизнь природы и на деятельность человека.

Земля и ее производительные силы представляются Мальтусу сундуком, наполненным деньгами: если, рассуждает он, пять человек разделят между собою эти деньги, то каждому достанется одна пятая; если десять человек разделят их, то каждому достанется вдвое меньше, чем в первом случае, если двадцать — вчетверо меньше и т. д. Из этого очевидно следует заключение, что чем меньше будет людей, предъявляющих свои притязания на деньги, тем богаче будут те, которые разделят содержание сундука. Мальтус допускает, правда, что производительные силы земли могут увеличиваться, но и сумма денег может увеличиться, если ее положат в банк. Мальтус вычисляет возрастание в количестве продуктов так же определительно, как можно было бы высчитать проценты с известного денежного капитала. Разумеется, в сочинениях Мальтуса не встречается сравнения земли с сундуком, но везде выражается стремление смотреть на производительные силы природы как на мертвую массу, которую можно измерить футами и свесить фунтами. В человеческом труде он также видит механическое приложение мускульной силы и совершенно

* Рискованное предприятие, ухищрение (буквально: смертельный прыжок) *(итал.)*. — *Ред.*

забывает деятельность мозга, постоянно одерживающую победы над физическою природою и постоянно открывающую в ней новые свойства.

Такой взгляд в отношении к природе радикально неверен, а в отношении к человеку совершенно односторонен и, следовательно, также несостоятелен. Вся жизнь природы на нашей планете представляется мыслящему наблюдателю вечным круговращением, не останавливающимся ни на одну миллионную долю секунды. В это круговращение вовлечены и атмосфера, и вода, и минеральные частицы, и все организмы, от инфузории до кита и от плесени до человека. Растения составляют свои корни, стебли, листья, цветы и плоды из минеральных частиц и из углекислоты, поглощаемой ими из атмосферного воздуха. Эту углекислоту они разлагают и, удерживая углерод, выбрасывают назад кислород посредством выдыхания. Кроме того, они поглощают воду из почвы, а водяные пары из воздуха. Растения служат посредствующим звеном между газами атмосферы и минеральным составом земной коры, с одной стороны, и травоядными животными организмами, с другой стороны. Травоядные животные нуждаются в пище; для поддержания жизни им необходимы именно те элементы, которые заключаются частью в атмосферном воздухе, частью в минералах; крахмал и клейковина растительных веществ состоят преимущественно: первый — из водорода, кислорода и углерода, вторая — из тех же трех элементов с прибавкою четвертого, азота. Но травоядное животное может питаться крахмалом и клейковиною, а четырьмя названными газами питаться не может. Ему необходимо, чтобы составные элементы его пищи были приведены растением именно в ту форму, в какой они могут быть восприняты и усвоены его организмом. Работа, которую растение производит для травоядного, совершается потом травоядным для плотоядного. Растение питается газами и минералами, коза съедает растение, козу съедает волк; потом волк издыхает и снова возвращает земле все составные части, которые были взяты им напрокат и которыми тотчас же может питаться новое растение. И волк, и коза, и прежнее растение при жизни своей постоянно отдавали в общую экономию природы большую часть поглощаемой материи; растение постоянно выделяло кислород, а коза и волк выдыхали углекислоту; растение однолетнее, съеденное в цвете лет козою, не могло непосредственно отдать земле своих твердых составных частей, но многолетнее растение каждый год роняет листья; коза и волк постоянно выделяли твердые вещества в испражнениях и в виде выпадающих волос. Все это опять попадало в общий круговорот.

Человек, конечно, участвует в этом круговороте так же невольно и так же бессознательно, как коза и волк; но этим роль его не ограничивается. Он поглощает и выделяет известные количества материи, но, кроме того, он еще сознательным вмешатель-

ством своим ускоряет и направляет некоторые струйки кругового течения. Такое вмешательство начинается на самых низших ступенях умственного и общественного развития. Человек разводит огонь, и уже это простейшее действие ускоряет круговорот в одном крошечном уголке нашей планеты. Дерево в этом случае быстро разлагается на свои составные части; дым уносится ветром и вступает тотчас же в разные комбинации, а зола остается на земле и втягивается также в общее движение. Все это произошло бы и в том случае, если бы сожженные сучья спокойно сгнили от сырого воздуха, но произошло бы гораздо медленнее; стало быть, влияние человека выразилось в ускорении движения. Я считаю это специфическим влиянием человека, потому что ближайшее к человеку животное, обезьяна, не умеет не только развести, но даже поддержать огонь. Когда человек занимается скотоводством и заботится о доставлении корма своим коровам, он очевидно ускоряет круговращение и сам пользуется результатами этого ускорения. Корова сама отыскивала себе пищу, но не так скоро или не столько, сколько нужно, или не такого качества. Вмешательство человека производит здесь ускорение круговращения, которое выражается в том, что корова жиреет и дает больше молока. Но если бы корова зимою стала искать себе пищи, она бы не нашла ее; круговращение продолжалось бы своим чередом, значительная часть тканей коровы была бы вовлечена в это вечное круговращение, и корова околела бы. Здесь уже вмешательство человека, доставляющего корове пищу, не только ускоряет, но и направляет струйку кругообращения так, как того требуют человеческие выгоды и соображения. Занимаясь земледелием, человек постоянно ускоряет круговращение; он старается на известном пространстве земли собрать все условия, содействующие быстрому превращению минеральных частиц и газов в различные части известных растений; для этого он проводит борозды по земле, кладет на эту землю разлагающиеся вещества, бросает семена, покрывает их слоем земли, и, конечно, всякий посторонний зритель отличит с первого взгляда ниву, обработанную и засеянную человеком, от участка земли, на котором из случайно попавших хлебных зерен выросли кое-где колосья. Круговращение на обработанной ниве усилено и направлено сообразно с выгодами человека, и человек пользуется плодами своего вмешательства.

Человек не может прибавить ни одного атома к массе существующей материи, но в этом он и не нуждается. Для него важны формы, которые принимает на себя материя, и комбинации, в которые вступают между собою простые элементы; а создавать и разрушать формы и комбинации значит именно ускорять и направлять круговращение. На это у человека есть множество средств, и число этих средств постоянно увеличивается, потому что человек постоянно узнает новые свойства и тайны природы. Что же касается до сырого материала, из которого человеку приходится

лепить необходимые ему комбинации, то количество его неизмеримо велико. Одним из важнейших материалов мы должны признать атмосферный воздух и плавающие в нем газы; воздуха у нас достаточно; над землею лежит слой атмосферы в семьдесят верст толщиною; другой важный материал заключается в различных минералах, — тоже недостатка не предвидится: вся земная кора к нашим услугам, а толщина этой коры, по мнению одних геологов, заключает в себе *пятьдесят*, а по мнению других — *двести* миль; третий материал — вода; воды довольно: все океаны, моря, реки, вместе взятые, могут покрыть всю сушу; если разровнять все горы и долины материков и побросать массы твердой земли в самые глубокие места морей, так, чтобы выровнялись все неровности морского дна, то образуется на земном шаре сплошная масса воды в 1100 футов глубины.

Надо припомнить, кроме того, что ни одна песчинка, ни одна капля воды, ни один атом газа не пропадает, не отрывается от земного шара, не улетучивается в мировое пространство. Громадный капитал, из которого не теряется ни одна полушка, конечно, должен быть признан неистребимым капиталом. А пока существуют газы, минералы и вода, до тех пор совершенно обеспечено существование растений, следовательно, и травоядным нечего бояться, следовательно, и плотоядные и человек не останутся в накладе. На земле теперь существует бесчисленное множество растений, но их число может еще увеличиться в бесконечное число раз, потому что на созидание растений пущена в оборот только крайне незначительная часть всего капитала, состоящего из совокупности всех газов, минералов и вод. Растения действительно завоевывают мало-помалу такие места, которые прежде состояли из голого камня. Процесс такого завоевания описан у Шлейдена в его книге «Die Pflanze». * На вершине Брокена, на голом граните, открыто микроскопическое растение, которое невооруженному глазу представляется в виде тончайших красноватых пылинок; если потереть кусок гранита, поросший миллионами растений, то они издают фиалковый запах; это растение питается исключительно дождевыми каплями, растворившими в себе аммониак и углекислоту. Оно готовит почву для более крупных лишаев темного цвета, называемых стигийским и фолунским; за лишаями идут мхи, потом дерн, трава, можжевельник и, наконец, сосна. А под этими растениями гранит уже не тот, что был прежде; он разрыхляется, разлагается и втягивается мало-помалу в круговращение. Что на брокенском граните делает сама природа, то делает на полях своих человек, когда он взрывает плугом глубокие слои почвы и втягивает в круговорот мергель, лежавший мертвым капиталом под песком, или известь, лежавшую таким же образом под глиною. Чем больше миллионов людей работает плу-

---

* «Растение» *(нем.)*. — *Ред.*

гом на полях, тем большее количество мергеля и извести вовлекается в круговое течение; чем больше десятков тысяч людей работает в кузницах и на фабриках, тем больше хороших орудий и хорошей одежды получают предыдущие миллионы; чем больше сотен людей работает в химических лабораториях, тем больше открывается новых средств втягивать в круговорот массы мертвого капитала. Не Либих, не Берцелиус, не Дэви, не Лавуазье создали химию; ее создали умственные и материальные потребности масс, реальное и практическое направление нашего времени; умные люди были и в средние века, но они писали теологические трактаты или картины; это было очень похвально, но от этого не прибавилось на земле ни одного зерна хлеба. Когда население разрослось, когда люди плотнее сдвинулись между собой, когда начался живой обмен мыслей, тогда массы почувствовали свои потребности и выдвинули вперед своих гениальных детей, которые сделались детьми-работниками в великой мастерской природы, а не праздными вздыхателями в храмах науки и искусства. Такое движение не могло бы произойти без возрастания народонаселения. Только в одном случае вмешательство человека ослабляет производительные силы природы; это происходит тогда, когда человек вывозит сырые продукты земли на далекие рынки и, таким образом, постоянно отнимая у земли известные составные части, не возвращает ей взамен никакого удобрения. А такой образ действий возможен только в тех местах, где мало людей и где вследствие этого нет промышленного движения. Если бы было много людей, явилась бы по необходимости предприимчивость, выросли бы фабрики, сырые продукты стали бы перерабатываться и поглощаться на месте, остатки переработанных продуктов давали бы богатое удобрение, и почва, вместо того чтобы истощаться, постоянно становилась бы плодороднее.

Выходит, стало быть, как раз противное тому, что утверждал Мальтус. Бедность происходит от малолюдства; если же бедность существует иногда вместе с многолюдством, то в таком случае надо искать причин бедности в ненормальной организации труда, а никак не в многолюдстве. Многолюдство есть обилие сил; если что-нибудь мешает приложению этих сил, то виновато, конечно, препятствие, а не существование сил. Исторические факты доказывают самым наглядным образом, что люди вовсе не размножаются быстрее, чем предметы пищи. Во Франции в 1760 г. было 21 000 000 жителей и на каждого человека по 450 литров различного хлеба; в 1840 г. жителей было 34 000 000, а хлеба приходилось на каждого по 541 литру; да кроме того были введены в употребление картофель и различные овощи, которые в 1760 г. не были известны в народном хозяйстве; картофеля и овощей получалось в 1840 г. по 291 литру на человека; стало быть, всего питательного продукта добывалось на человека по 832 литра. Число жителей увеличилось только на 60 процентов, а количество пищи

утроилось, так что Мальтус и его закон на этот случай оказались непригодными. Надобно притом заметить, что Франция вовсе не похожа на образцовую ферму и что ее земледелие чрезвычайно далеко даже от той степени совершенства, которая возможна при теперешнем состоянии агрономической науки, а агрономическая наука в свою очередь далеко еще не воспользовалась всеми указаниями и открытиями современной химии, а химия опять-таки вовсе не находится в законченном состоянии; множество вопросов решается, множество стоит на очереди, и бесчисленное множество вопросов еще не поставлено, потому что к ним и подойти невозможно при теперешних средствах науки. Следовательно, в настоящее время делать какие-нибудь выводы о производительных силах природы и о будущих успехах человека — значило бы только обнаруживать ту близорукость и заносчивость, которые всегда свойственны самолюбивому невежеству.

Любопытно заметить в заключение этой длинной главы, что школа Мальтуса не отказывается от возможности прогресса. Последователи Мальтуса полагают, что люди должны только употреблять в отношении к себе моральное стеснение (moral restraint) и воздерживаться от излишнего деторождения. Рикардо думает, что рабочие должны получать такую плату, которая позволила бы им существовать не размножаясь и не уменьшаясь. Милль, тот самый Джон-Стюарт Милль, которого так уважают все наши разноцветные публицисты, [9] говорит, что многочисленное семейство пролетария должно возбуждать в нас к отцу этого семейства такое же отвращение и презрение, какое возбудило бы безобразное пьянство. Ратуя за женщину и доказывая необходимость женского труда, Милль особенно напирает на то соображение, что труд в значительной степени отвлечет женщину от деторождения. Наконец, в своей знаменитой книге «О свободе» («On liberty») [10] Милль признает за государством право запрещать, по своему благоусмотрению, браки между людьми необеспеченных классов. Тут уж не знаешь, чем больше восхищаться: гуманностью ли или дальновидностью подобной идеи. Я посмотрю на нее с точки зрения дальновидности. Ну, прекрасно: государство запретило браки; тогда начинают рождаться дети вне брака у таких родителей, которым детей иметь не позволяется; чтобы быть последовательным, государство назначает за незаконные рождения уголовные наказания; тогда начинаются вытравливания зародышей и детоубийства; государство казнит преступников и преступниц. Так или иначе задушевное желание Милля исполнено: возрастание населения приостановлено. Кто потрусливее, тот воздержится посредством «moral restraint», а кто построптивее, того обуздает палач. Казни будут происходить каждый день, но что за беда? Великая цель достигнута, и прогресс человечества обеспечен. Я удивляюсь только, как это Миллю не пришло в голову подать государству следующий мудрый совет: пусть государство само

назначает, сколько новорожденных младенцев мужского пола могут со временем пользоваться своими половыми способностями; затем, пусть остальные будут лишены этих антипрогрессивных способностей. При теперешнем состоянии хирургии такое лишение может быть совершено без малейшей опасности для жизни, и малютки вырастут, сохраняя на всю жизнь превосходный сопрано и не жалея о своей утрате. При таком образе действий государство всегда может сохранить контроль над размножением людей, а лорды и капиталисты, в пользу которых конфискуются половые способности пролетариев, могут с полною беспечностью наслаждаться своими замками, виллами, парками, миллионами, законными супругами и балетными танцовщицами.

VIII

Одинокий поселенец находился на своем богатом острове в положении Тантала;[11] деревья девственного леса были усыпаны птицами, которые могли доставить ему превосходное жаркое; из чащи выскакивали поминутно зайцы и дикие козы, от которых не отказался бы самый разборчивый гастроном; в прозрачной воде реки шевелились форели, лещи, щуки и разные другие очень аппетитные рыбы. Задача состояла только в том, чтобы взять в руки все эти летающие, бегающие и плавающие кушанья. Но именно в руки-то они и не давались; Робинзону приходилось пробавляться дикими плодами и с сокрушением размышлять о прелестях мясного и рыбного стола. Если ему удавалось, после долгих попыток и разочарований, убить метко пущенным камнем какого-нибудь кролика, то, конечно, он очень дорожил своею добычею; он придавал ей тем более ценности, чем значительнее были побежденные им препятствия. Чтобы набрать себе плодов, Робинзону надобно было ходить по лесу и взлезать на деревья в продолжение нескольких часов; чтобы убить камнем кролика, ему надобно было ходить, осматривать, подкарауливать, прицеливаться и промахиваться в продолжение нескольких дней. Понятно, что он дорожил убитым кроликом больше, чем несколькими десятками бананов или кокосовых орехов. Но Робинзон — человек догадливый: он придумывает устроить себе лук, и опыт убеждает его, что заостренные деревянные стрелы летят дальше и достигают цели вернее, чем камень, брошенный рукою. Кролики и птицы начинают делаться его добычею чаще, чем прежде; добывание животной пищи значительно облегчено, между тем как за бананами и за кокосовыми орехами попрежнему приходится бродить по лесу и взлезать на деревья в продолжение нескольких часов. В прейскуранте Робинзона совершается переворот: кролики, сравнительно с плодами, дешевеют, а плоды, сравнительно с кроликами, становятся дороже. Когда Робинзон действовал камнем, он готов был дать

за кролика сорок штук плодов; теперь, владея луком, он уже не даст больше тридцати. Но у него родилось неистовое желание отведать рыбы; за хорошего леща он с удовольствием дал бы две пары кроликов или сто двадцать штук плодов; изобретательность опять выручает его из затруднения; заостренная кость, тонкая жила и деревянная палка образуют первобытную удочку; является рыба, и колонист наш скоро замечает, что поймать рыбу вовсе не так трудно, как ему казалось; ценность рыбы понижается, хороший лещ уравнивается в правах с кроликом, а потом, когда устройство удочки совершенствуется, то лещ даже становится ниже кролика. Но все эти передвижения на прейскуранте Робинзона клонятся к постоянному возвышению одной ценности, с которою Робинзон сознательно или бессознательно сравнивает все блага и удобства своей одинокой жизни. Это — ценность человеческого труда. С каждым новым изобретением или улучшением труд Робинзона становится более производительным. Вооруженный луком и удочкой, Робинзон в один день застрелит больше дичи и наловит больше рыбы, чем он прежде мог бы застрелить или наловить в неделю. Дичь и рыба подешевели, а труд вздорожал.

Так и должно быть. Всякая новая машина, всякое новое приложение к делу двигательных сил природы должны возвышать ценность человеческого труда, т. е. делать его более производительным и, следовательно, улучшать материальное и всякое другое положение трудящегося человека. Если в действительности выходит наоборот, если машины часто отбивают у работника хлеб или увеличивают его порабощение, то в этом, конечно, не следует винить изобретение. Изобретение само по себе хорошо; не хорошо то, что горсть людей конфискует это изобретение в свою пользу и превращает его в оружие для той глухой постоянной войны, которая ведется в обществе между почивающим на лаврах капиталистом и надрывающимся от работы пролетарием. Эта конфискация, эта война составляют, разумеется, болезненные уклонения от чистой природы труда, и поэтому рассмотрение и оценка этих явлений не относятся покуда к нашему предмету.

Робинзон на своем острове ни с кем не ведет войны и ни от кого не терпит обиды. Ценность его труда постоянно увеличивается, а ценность продуктов и составленных запасов также постоянно уменьшается. Первый лук стоил Робинзону много труда; трудно было убить кролика; следовательно, трудно было достать ту жилку, из которой надо было сделать тетиву; когда первый лук устроен, то стреляние кроликов стало легче, стало быть, и добывание жил облегчилось; второй лук стоил меньше труда, чем первый, следовательно, и первый лук понизился в цене, если только Робинзон не дорожил им как историческою реликвиею.

Так точно бывает и в действительной жизни. Каменный уголь облегчает добывание железа и понижает его ценность; увеличившееся количество подешевевших железных орудий облегчает

добывание каменного угля и, следовательно, также понижает ценность последнего. Оказывается, что каменный уголь сам понизил свою ценность, точно так же как первый лук Робинзона сам себя понизил в цене. При всех этих понижениях возвышается ценность человеческого труда и увеличивается могущество человека над окружающею природою. Ценность предмета определяется, таким образом, не тем количеством труда, которое было употреблено на его произведение, а тем, которое необходимо употребить для его воспроизведения. Если вы пятьдесят лет тому назад купили штуку сукна, то, как бы она хорошо ни сохранилась, вы никак не получите за нее тех денег, которые вы заплатили сами. В фабрикации сукна произведено много усовершенствований, понизивших цену этого продукта, и вы в самом лучшем случае можете получить за ваш товар только ту цену, по которой продается теперь сукно того же достоинства. Капитал Робинзона, состоящий в его удочке, в луке, челноке, топоре, хижине и разной грубой утвари, постоянно понижается в цене, но Робинзон от этого не беднеет, потому что он трудится, потому что труд его становится производительнее и потому что именно успешность и производительность его труда ведет за собою технические улучшения, понижающие ценность всех прежних накоплений. Лук, требовавший целых суток работы, может быть сделан в два часа; челнок, который прежде надо было долбить полгода, может быть сделан в два месяца; хижина, которую надо было городить целый год, может быть выстроена в четыре месяца.

Все эти перемены очевидно выгодны и приятны для Робинзона; он вырос, он стал сильнее, он покорил себе до некоторой степени природу, и потому его прежние подвиги кажутся ему незначительными и легкими, точно так же как взрослому человеку кажутся чрезвычайно простыми те самые арифметические задачи, которые приводили его в отчаяние в детстве. Но положим, что у Робинзона есть сосед, у которого был челнок в то время, когда у Робинзона челнока не было; сосед позволяет Робинзону пользоваться челноком и требует взамен три четверти того количества рыбы, которое будет поймано при помощи челнока. Робинзон по необходимости соглашается и выполняет заключенное условие, а сосед между тем предается сладостному far niente * и питается трудами деятельного рыболова. Но Робинзон с свойственною ему сметливостью находит возможность кое-как выдолбить полусгнившее бревно; этот новый челнок плох, но на воде держится; на нем ездить очень неудобно, но Робинзон предпочитает пользоваться плохим челноком, чем платить за прокат хорошего три четверти своей добычи. Соседу приходится или сбавить цену, или расстаться с любезным бездействием. Сосед выбирает первое, и Робинзон платит за челнок уже не три четверти, а половину улова. Затем следует новое ухищрение Робинзона, и новая уступка со стороны

* Ничегонеделание *(итал.)*. — *Ред.*

соседа. Наконец Робинзону удается сделать точь-в-точь такой челнок, какой есть у соседа; тогда Робинзон привозит обратно челнок, взятый напрокат, и дружелюбно раскланивается с своим соседом, которому поневоле приходится от «беспечального созерцания» перейти к презренным заботам действительности. Капитал, дававший ему доход, растаял у него в руках. Каждое изобретение Робинзона, уменьшавшее крепостную зависимость последнего, было тяжелым ударом для благосостояния праздного обладателя челнока.

Тот факт, который представлен здесь в простейшем виде, повторяется в действительной жизни в самых больших размерах и с самыми разнообразными усложнениями. Труд постоянно стремится выбиться из-под контроля и господства капитала в тех землях, в которых человеческий ум не находится в бездействии. Рабочая плата постоянно растет, несмотря на все усилия капиталистов держать ее на самом узком уровне. В XIV столетии работник получал в неделю $7^1/_2$ пенсов (около 11 копеек), а теперь он заработывает в тот же срок от 12 до 15 шиллингов (от 3 р. 60 к. сер. до 4 р. 50 к. с.). Драгоценные металлы, сравнительно с трудом, подешевели, таким образом, в 30—40 раз, и могущество обладателя денег над пролетарием уменьшилось в значительной степени. В XIV столетии, когда работник получал по 11 копеек в неделю, обладатель одного фунта серебра мог за пользование этим количеством металла брать с своего должника очень большие проценты, потому что приобрести фунт серебра в собственность можно было только полуторагодовым трудом; теперь никто не даст в Англии таких процентов, потому что фунт серебра заработывается в две недели с небольшим. В настоящее время проценты очень высоки в самых бедных и чисто земледельческих странах, в которых труд дешев и работник находится в положении вьючного животного; по мере того как мы переходим в те земли, в которых существуют разнообразные приложения человеческого труда, мы замечаем, что труд становится дороже, человек самостоятельнее, возможность накопления значительнее, капиталы всякого рода обильнее и, следовательно, проценты ниже. Трудящееся большинство выигрывает от каждого уменьшения в могуществе капитала, и теряют только те паразиты, которые, живя процентами, поглощают произведения чужого труда. Эти люди всегда хлопочут о том, чтобы поработить труд, и потому об их волнениях и неудачах здравомыслящему человеку сокрушаться не следует.

IX

Оставляя в стороне Робинзона и его остров, читатель может в собственном своем кабинете, не вставая с места, отдать себе полный и ясный отчет в том, с какими предметами он связывает идею ценности. Он увидит прежде всего, что он окружен атмосферным

воздухом, который для него необходим и которому он, однако, не придает никакой ценности. Днем он не придает никакой ценности солнечному свету, который, однако, чрезвычайно важен как для здоровья читателя, так и для его занятий. Летом теплота кабинета также не имеет никакой ценности. Но освещение комнаты посредством свечей, ламп или газа имеет ценность; отопление комнаты посредством дров или каменного угля также имеет свою очень определенную ценность, а между тем искусственное освещение хуже солнечного света, и натопленная комната составляет плохую замену теплого летнего воздуха.

Читатель поймет без труда, почему он придает ценность искусственному освещению и отоплению и не придает никакой ценности воздуху, солнечному свету и летней теплоте. Потому, ответит он сам себе, что воздух, свет и теплота доставляются природою в неограниченном количестве, в том самом виде, в котором мы ими пользуемся, и на то самое место, на котором мы в них нуждаемся. Если бы воздух не проникал в какой-нибудь тоннель, то его надо было бы накачивать туда, и тогда за труд накачивания пришлось бы платить, и воздух получил бы ценность. Если солнечный свет не проникает в глубокую шахту, то в ней приходится работать с фонарями, и тогда свет даже во время дня имеет ценность. В монастыре св. Бернарда, на высоте 14 тысяч туазов,[12] приходится топить камины круглый год, потому что природа даже во время лета не доставляет туда достаточного количества теплоты. Там теплота всегда имеет ценность. Рассудив таким образом, читатель решит немедленно, что он придает ценность дровам и свечам потому, что их приготовление и доставление на место стоит труда. Природа дает даром деревья и торф, из которого делаются парафиновые свечи; но дерево надо срубить, а торф надо добыть; потом срубленное дерево надо разрубить на мелкие части, а над торфом надо произвести разные химические и механические операции. Наконец, готовые дрова и готовые свечи надо перевести на место потребления. На перемену формы и на перемещение употреблен человеческий труд: за этот самый труд и придается известному предмету его ценность. Но необходимое количество человеческого труда изменяется, и это изменение выражается в изменении ценности. Читатель сидит на кресле, перед письменным столом, на котором лежат книги и письменные принадлежности. Чернила, стальные перья и бумага куплены неделю тому назад; с тех пор в фабрикации этих предметов не могло произойти усовершенствований, и новый комплект этих вещей стоил бы такого же количества труда и, следовательно, такой же суммы денег, какая заплачена за вещи моего читателя. Но мебель куплена лет десять тому назад; с тех пор столярное производство облегчилось и улучшилось введением новых приемов и инструментов; ценность кресла и письменного стола понизилась, потому что теперь можно сработать такие же вещи с меньшею тратою труда и времени; может

быть, в денежном отношении кресла и письменные столы не подешевели, может быть они даже вздорожали, но ценность предметов должна измеряться не деньгами, а трудом; если десять лет тому назад письменный стол делался одним работником в продолжение десяти дней и если теперь также один работник может сделать такой же стол в восемь дней, то ценность стола понизилась. Но если десять лет тому назад работник получал в день 70 к. с., а теперь получает 90 к. с., то стол, сработанный десять лет тому назад, стоил 7 р. сер., а стол такого же достоинства теперь будет стоить 7 р. 20 к. с. Это значит, что труд возвысился в цене, как сравнительно с столами, так и сравнительно с деньгами, т. е. с драгоценными металлами; при этом ценность последних понизилась сильнее, чем ценность первых.

Если читатель, сидящий за своим письменным столом, сам человек трудящийся, то для него такая перемена выгодна и приятна. Он платит дороже прежнего столяру, портному и сапожнику, но зато и сам получает за свой труд большее количество денег и удобств. Если же мой читатель живет процентами с капитала, тогда, конечно, возрастающие претензии всякой чернорабочей сволочи должны казаться ему высоко безнравственными; но в этом случае он сам виноват: вольно же ему полагаться на мертвую кучу денег, вместо того чтобы искать себе опоры в живых силах собственных мускулов и собственного мозга. Рассматривая свои книги, читатель замечает, что каждая из них представляет сумму нескольких сложных операций. Прежде всего он видит умственный труд автора, затем перед ним рисуются фабрикация бумаги, добывание металла, из которого отливается шрифт, отливка шрифта, работа наборщиков, отпечатание набранных полос, корректура, броширование листов и переплетная работа. Облегчение какой-нибудь одной из этих операций отражается на ценности книги. Чем больше операций и чем они сложнее, тем больше оснований предполагать, что общая ценность продукта должна быстро понижаться, потому что тем больше есть шансов для отдельных технических усовершенствований. Химик открывает такой состав, которым удешевляется беление бумаги; ценность бумаги понижается, и вместе с этим понижается ценность книги. Железная дорога уменьшает издержки на перевозку тряпок, идущих на фабрикацию бумаги, — опять понижение. Применение пара к выделке бумаги дает фабриканту возможность производить стопы бумаги в то время, в которое прежде он производил только дести. Пар применяется к отливанию шрифта; пар приводит в движение скоропечатную машину и оттискивает тысячи листов в час, между тем как машина, приводившаяся в действие руками, оттискивала в час только сотни листов. Читатель может себе представить, как совокупность таких колоссальных усовершенствований должна отразиться на ценности окончательного продукта, т. е. книги. Экземпляр сочинений Шекспира или Мильтона лет

пятьдесят тому назад изображал собою неделю человеческого труда, а теперь он может быть воспроизведен работою одного дня.

Читатель встречает здесь имена английских писателей потому, что Англии и Америке принадлежит пальма первенства в деле технических усовершенствований всякого рода. Если читатель перенесет вопрос на русскую почву, то он, конечно, увидит, что мы ничего не усовершенствовали самостоятельно, даже мало переняли у передовых народов; следовательно, ценность русских книг в последнее полустолетие понизилась не так значительно.

Из всех размышлений, предпринятых читателем в его кабинете, он может вывести то плодотворное заключение, что ценность каждого из окружающих его предметов равняется тому количеству труда, которое необходимо для его воспроизведения. Это необходимое количество труда уменьшается с каждым усовершенствованием в производстве, и, следовательно, ценность всех продуктов стремится к постоянному понижению, которое совершается быстро или медленно, смотря по тому, быстро или медленно совершенствуются различные отрасли производительного труда. Читатель увидит, что результаты, добытые им в кабинете, остаются в полной силе, как бы мы ни расширяли поле нашего исследования и в каких бы сложных комбинациях ни представлялся нам вопрос о ценности различных угодий и предметов. Ценность обработанной земли подчиняется тому же общему закону. Земля сама по себе не имеет никакой ценности, точно так же как воздух, солнечный свет, теплота, электричество, ветер и всякие другие силы природы. Если бы кому-нибудь принадлежали миллионы десятин земли в Скалистых горах Северной Америки, в девственных лесах Бразилии или в пустынных равнинах нашей Сибири, то этот счастливый собственник не мог бы получить с своей земли ни копейки дохода. Между тем в Англии или во Франции каждый квадратный аршин земли имеет свою ценность и может приносить доход, несмотря на то, что по качеству английская или французская земля гораздо хуже бразильской. Вся разница между Англиею и Бразилиею заключается в том, что в Англии с незапамятных времен потрачено многими десятками поколений неизмеримое количество труда и что весь труд этот положен в землю, как в огромную сберегательную кассу. Труд человека вырубил леса, осушил болота, насыпал плотины, провел дороги, основал деревни и города, построил школы, больницы, запасные магазины, превратил деревья в корабли и сделал тысячи других операций, вследствие которых дикая пустыня сделалась жилищем многочисленного и деятельного народа. Если бы вдруг можно было отнять от Англии всю массу потраченного на нее человеческого труда, если бы в одно мгновение ее можно было превратить в Англию доисторических времен, то наверное девять десятых ее жителей погибли бы в самом непродолжительном времени, а остальная десятая часть с ужасом

бежала бы на континент. Англия опустела бы, и земля тотчас же потеряла бы всякую ценность; тотчас началась бы, конечно, новая колонизация из Франции и Германии, и земля быстро стала бы приобретать ценность благодаря тому обстоятельству, что много человеческого труда потрачено на земли, лежащие недалеко от Англии, и что населенность этих земель и промышленная деятельность народов чрезвычайно облегчает труд разработки и расчистки новой почвы.

Населенность земель и промышленная деятельность народов нашего времени составляет также прямое следствие этого огромного количества труда, которое было положено в землю всеми предыдущими поколениями. Земля не могла бы быть густо населена, если бы труд человека не сделал ее предварительно обитаемою; а если бы на известном пространстве земли не сосредоточилось значительное число людей, то никогда не могла бы развиться промышленность. Грубый труд полудикого пахаря лежит в основании всех чудес европейской цивилизации. Этот же самый труд, которого значительная доля скрывается в доисторической древности, составляет единственную причину ценности земли. Богатый и могущественный землевладелец Англии является прямым и, по мнению юристов, законным наследником вооруженного варвара, пришедшего в мирную землю и конфисковавшего в свою пользу личный труд англо-саксов и труд многих веков, составлявших наследственное достояние беззащитных поселян. Вооруженный варвар, или, иначе, рыцарь и барон, отнял у поселян трудовое наследие предков и личную свободу; он был в одно и то же время похитителем собственности и рабовладельцем. Теперешний английский пэр, филантроп и аболиционист, [13] обязан всем своим богатством и могуществом тем самым поступкам своего славного предка, которые он, пэр, с добродетельным ужасом назвал бы позорными преступлениями.

Часто повторявшиеся исторические опыты доказывают неопровержимым образом, что колоссальное территориальное богатство может быть основано только на похищении чужого труда и на порабощении работника. В XVII и в XVIII столетиях было много примеров, что люди богатые и влиятельные получали в подарок или за ничтожную сумму огромные пространства земли в нынешних Американских штатах. Они деятельно принимались за разработку земель, нанимали поселенцев, тратили много денег, хлопотали сами, и в результате оказывалось, что они разорялись вконец. Такой случай произошел с Уильямом Пенном, с герцогом Иоркским, с Робертом Моррисом и с Голландскою поземельною компаниею. [14] Наемный труд чрезвычайно дорог в обработке новой земли, а рабский труд особенно убыточен потому, что невольники мрут в большом количестве от работ в лесах и болотах. Для заселения новой земли не годится ни наемный работник, ни раб; только вольный колонист, предприимчивый и самостоятельный,

трудящийся для себя, завоевывающий новую землю для своего семейства и потомства, имеющий полную возможность идти направо или налево, не спрашиваясь ни у кого и не давая никому отчета,— только такой колонист может положить прочное основание будущему богатству и цветущему поселению. Такие колонисты в древности заселили и начали обработывать Англию; а потомки этих колонистов были обобраны и порабощены предками нынешних пэров, точно так же как русские были порабощены татарами Батыя, которым они в продолжение двух столетий платили дань.

Из всего этого следует, что не захват земли, а захват человеческого труда составляет богатство современной плутократии. Вся ценность земли, как и всякой другой вещи, заключается только в труде человека.

X

Труд есть борьба человека с природою; в борьбе «то сей, то оный на бок гнется»; [15] когда побеждает природа, мы называем труд неудачным; когда побеждает человек, мы говорим, что труд удачен; победы бывают более или менее полные, и, сообразно с этим, труд бывает совершенно или несовершенно удачным. На одну совершенную удачу обыкновенно приходится несколько несовершенных удач и несколько совершенных неудач. Так как совершенная удача случается сравнительно редко, то мы говорим, что для достижения такой удачи надо преодолеть сильное сопротивление природы.

Конечно, все эти выражения: «борьба с природою», «сопротивление природы», при ближайшем рассмотрении, оказываются простыми метафорами. Природа вовсе не борется с нами и не старается злоумышленным сопротивлением разрушить наши замыслы и повредить нашим интересам. Наши неудачи или неполные удачи просто происходят от нашего неуменья и неполного знания причин и следствий; но отчего бы они ни происходили, они несомненно существуют и оказывают свое влияние на ценность предметов, производимых трудом. Стекольщик кладет в горн большое количество сырого материала, который должен превратиться в листовое стекло; после окончания разных операций несколько десятков листов оказываются готовыми. Материал для всех листов был один, работник тоже один, количество работы одинаковое, между тем четыре листа вышли совершенно гладкие, одиннадцать листов — с едва заметными неровностями, десятка три — с порядочными крапинами, а остальной лист — весь в пузырях, так что никуда не годится. Это произошло, разумеется, оттого, что для первых листов случайно стеклись такие благоприятные обстоятельства, которые работник, по недостатку уменья, не мог обратить в общее правило для всего количества продукта. Поэтому

он сортирует изготовленные листы, и ценность первого сорта считается выше второго, который в свою очередь ценится выше третьего и т. д.

Различие в ценностях происходит от различия в сопротивлении природы. Стекло первого сорта может образоваться при исключительно благоприятных условиях, которые встречаются редко, и оттого это стекло дорого; чтобы приготовить один такой лист, надо испортить на неудачные попытки больше десятка. Конный заводчик воспитывает с одинаковым старанием сотню жеребят, но из этой сотни, может быть, сформируется только два замечательные скакуна, потом штук пятнадцать отличных верховых и упряжных лошадей, потом штук тридцать порядочных лошадей, а затем остальные окажутся дрянью. Причины те же самые, какие мы видели в фабрикации стекла, — именно, неполное знание естественных свойств предмета и, следовательно, неполное уменье пользоваться благоприятными условиями и устранять расстроивающие влияния. Цена различным лошадям будет, конечно, чрезвычайно различная. Замечательный скакун должен будет по возможности наверстывать труд, потраченный на него самого и на менее удачные экземпляры, представляющие собою неосуществившиеся стремления заводчика. Тамберлик получает за свой зимний сезон в Петербурге такую значительную сумму денег, что каждая ария его может быть рассчитана на рубли и копейки. Положим, что какой-нибудь прожектер вздумал сформировать нового Тамберлика, с тем чтобы он пел в его пользу. Такое предприятие имеет какие-нибудь шансы успеха только в том случае, если предприимчивый оригинал займется физическим и музыкальным воспитанием целых сотен или тысяч детей, подающих надежды. Некоторые из этих детей умрут, другие потеряют голос, третьи окажутся лишенными слуха, четвертые обнаружат непроходимую тупость, бо́льшая часть сделаются хорошими людьми, но плохими певцами. Наконец, если и выдрессируется новый Тамберлик, то он, наверное, не окупит издержек и трудов, убитых на его воспитание и на неудавшиеся попытки. Тогда предприимчивый воспитатель увидит, что Тамберлик ценится так дорого потому, что надо победить множество препятствий, прежде нежели можно будет воспроизвести другой подобный голос. А препятствия все-таки состоят в незнании тех физиологических, гигиенических, климатических и всяких других данных, которых совокупность необходима для образования превосходной музыкальной организации.

Мы до сих пор ходим ощупью во всех отраслях нашей деятельности; все, что выходит у нас хорошего, принимается нами как подарок судьбы, как счастливая случайность, как исключение, стоящее рядом с сотнею уродливостей, которые считаются нами за настоящее правило. Поэтому первый сорт везде дорог — и на стеклянной фабрике, и на конном заводе, и в музыкальной школе. Это доказывает нам, что полное знание природы, полное могущество

над нею и, следовательно, полное счастье человека лежат еще далеко впереди нас, но это вовсе не доказывает того, чтобы знание наше имело перед собой неодолимые преграды и чтобы в природе заключались такие тайны, которые навсегда останутся недоступными пытливому уму человека. В наше время никто не удивился бы такому усовершенствованию в фабрикации стекла, вследствие которого весь сырой материал, положенный в горн, стал бы превращаться в стекло первого сорта. Даже значительное усовершенствование в коннозаводстве, дающее возможность удвоить или утроить число ежегодно формирующихся превосходных скакунов или ломовиков, не показалось бы нам невероятным, несмотря на то, что здесь мы имеем дело с органическою жизнью в одном из самых сложных ее проявлений. Если бы мы могли по произволу улучшать склад наших домашних животных, если бы посредством тщательного ухода и измененных условий питания мы могли сообщить простому русскому жеребенку превосходные качества арабской лошади, то мы, конечно, очень близко подошли бы к той чрезвычайно важной задаче, чтобы путем различных физических влияний сообщать развивающемуся человеческому организму возможно большее количество мускульной и мозговой силы. Уже Платон мечтал о средствах производить великих людей; для его времени такая цель была совершенно фантастична, потому что не была намечена даже та дорога, которая может к ней привести; в наше время эта цель все еще остается недостижимою, но мы знаем уже тот путь исследования, который наверное, рано или поздно, приведет к решению самых сложных вопросов органической жизни.

К сожалению, между теоретическим знанием и практическим приложением лежит до сих пор, на всех отраслях нашей деятельности, глубокая и широкая бездна. Теоретическая гигиена давно твердит людям, что для их организма необходимы чистый воздух, свет, теплота, свежая и обильная пища, а между тем все эти советы гигиены звучат горькою насмешкою для каждого, кто сколько-нибудь знаком с бытовыми условиями огромного большинства. Большие города, грязные переулки и дворы, темнота, сырость, голод, холод, разлагающаяся пища, гниющая вода — все это существует в огромных размерах и нимало не смущается предписаниями гигиенической науки. К довершению нелепости находятся люди, которые все эти явления оправдывают как неизбежные следствия неизменных естественных законов. «Вольно ж *им* плодиться, как свиньям, — говорит мальтузианец Милль, — *они* сами виноваты, и нам, людям приличным, не следует становиться между прегрешением и наказанием».

Весь исторический ход событий, породивший такое повсеместное практическое порицание гигиены, представляется каждому мыслящему человеку обидным и бесконечно долгим недоразумением, перевешивающим в значительной степени то благодетельное

влияние, которое должны были бы оказать на судьбу нашей породы великие открытия естествознания. Можно было бы, глядя на продолжающиеся исторические недоразумения, усомниться в силе этих открытий, усомниться в их приложимости к вседневной жизни всех людей, можно было бы принять эти открытия за новое видоизменение монополий и привилегий, если бы неподкупный дух анализа, пробужденный естественными науками, не проник в исследование существующих форм общественной и экономической жизни. Та минута, в которую плодами этого исследования можно будет поделиться со всем человечеством, откроет собою новую эру справедливости, физического здоровья и материального благосостояния. Препятствий много, минута эта далека. Но к приближению этой минуты направлены все усилия всех честных работников мысли на земном шаре; нет тех препятствий, которых не победила бы, рано или поздно, энергия мысли и сила честного убеждения; нет тех испытаний, которые бы испугали людей, сознающих в себе естественных депутатов и защитников своей породы, — и потому славное будущее человечества не может погибнуть. Знание есть сила, и против этой силы не устоят самые окаменелые заблуждения, как не устояла против нее инерция окружающей нас природы.

Всякая победа человека над инерциею природы увеличивает пользу окружающей нас материи и уменьшает ценность предметов нашего потребления. Пользою предметов измеряется сила человека над природой; поэтому польза увеличивается, когда люди сближаются между собой. Ценностью предметов измеряется, напротив того, сила природы над человеком; поэтому ценность уменьшается при сближении людей между собою. Одинокому поселенцу приходится бегать за водой к реке за несколько сот шагов, так что каждое ведро воды стоит значительного количества труда. Когда число поселенцев увеличивается, то им удается вырыть колодец возле самых домов; ценность воды уменьшается, но польза ее увеличивается, потому что ее употребляют в домашнем быту чаще и в большем количестве. Потом поселенцы ставят над колодцем насос, который еще облегчает добывание воды и, уменьшая ее ценность, снова увеличивает ее пользу. Наконец, когда силы поселения оказываются уже очень значительными, вода проводится в дома, после чего каждому из жителей стоит только отвернуть кран, чтобы добыть себе целые бочки воды. Ценность падает, таким образом, до самой низкой степени, а польза увеличивается до самых больших размеров. Этот простой пример, в котором нет ни натяжки, ни произвольной гипотезы, показывает нам, что ценность и польза предметов находится всегда в обратном отношении между собою. Кроме того, этот пример подтверждает еще раз ту истину, что дружное соединение человеческих сил распространяет свое благотворное влияние на все мелкие подробности вседневной жизни.

XI

Положим, что буря выбрасывает обломки корабля на такой остров, которого еще не посещали европейские мореплаватели; дикие островитяне осматривают эти обломки и находят, в числе других вещей, несколько ружей, запас неподмоченного пороха, несколько фунтов пуль и дроби и большое количество пистолетов. Для людей, живущих охотою, чрезвычайно выгодно заменить луки и стрелы хорошими ружьями, но дикари, наверное, не поймут важного значения своей находки и останутся при своем прежнем, варварском оружии. Для них ружья не составляют богатства, потому что они не умеют ими пользоваться. Если бы к ним перенесли все паровые машины Англии или Американских штатов и если бы земля их заключала в себе мощные пласты каменного угля и неистощимые жилы железной руды, то и тогда они не сумели бы сделать себе ни одного ножа и попрежнему продолжали бы резать кожу и мясо животных острыми раковинами и кремнями. У них недостает знаний для того, чтобы обращаться как следует с паровой машиной или с ружьем. Они даже не подозревают, чтобы в природе существовала возможность тех явлений и сложных комбинаций, которые известны каждому фабричному работнику в Англии или в Америке. В тех пределах, до которых успели развиться знания дикарей, они воспользуются и паровою машиной и ружьем. Первую они, вероятно, разломают на части, чтобы из этих частей сделать себе разную домашнюю утварь; второе будет обращено в дубинку, которую дикарь будет брать в руки за дуло, чтобы поражать своего врага прикладом. Это своеобразное употребление паровой машины и ружья обнаруживает в дикарях опытное знание самых элементарных свойств материи: видно, что они умеют пользоваться емкостью, твердостью, тяжестью, клинообразною или остроконечною формою и другими наглядными свойствами окружающих предметов. Благодаря этим слабым знаниям они могли извлечь очень незначительную пользу из тех снарядов, из которых сведущий европеец извлекает большое количество важных житейских удобств.

Всякий читатель согласится, что большое количество житейских удобств может быть названо богатством и что европеец, пользующийся ружьем как огнестрельным оружием, богаче дикаря, употребляющего точно такое же ружье как дубину. В руках первого ружье развертывает все свои производительные силы, между тем как у последнего все специфические свойства ружья остаются мертвым капиталом. Причины таких различных результатов заключаются в различии знаний, следовательно, надо согласиться с тем, что знание составляет важнейший элемент богатства. Но знание не такой предмет, который человек мог бы найти готовым на какой-нибудь горе или в какой-нибудь пещере. Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта, а так как жизнь

отдельного человека очень коротка и круг его зрения очень ограничен по своему пространству, то он никогда не выбился бы изпод гнета невежества и бедности, если бы, сходясь с другими людьми, он не выслушивал от них и не обращал бы в свою пользу собранных ими опытов и наблюдений. Сближение с людьми составляет для человека самое могущественное средство умственного развития; в обществе человек мыслит быстрее, чем в одиночестве, и мысли каждого отдельного лица находят себе поверку в опыте других и средство к испытанию и применению в советах и в содействии слушателей. На этом основании всякая мера, уменьшающая расстояние между отдельными людьми или уничтожающая препятствия, лежащие на пути их сближения, или увеличивающая потребность людей сближаться между собою, — всякая подобная мера, говорю я, увеличивает скорость в обращении идей, распространяет знания и производит увеличение богатства.

Люди всего больше расположены сближаться между собою тогда, когда они занимаются различными промыслами и могут меняться между собой продуктами своего труда. Земледелец не пойдет к соседу-земледельцу, потому что он знает, что у него и у соседа одни и те же излишки и одни и те же потребности. Сосед не возьмет у него хлеба, потому что у соседа своего хлеба слишком много, и сосед не даст ему рубашки, потому что сосед сам хочет приобрести себе полотна или бумажной материи. Чтобы сбыть лишний воз зернового хлеба и приобрести несколько аршин полотна или сукна, пару сапогов или новую косу, земледелец принужден отправиться в ближайший город, за несколько десятков верст, по дурной и гористой дороге. Это препятствие, находящееся между производителем-земледельцем и потребителем-ремесленником и заключающееся в далеком расстоянии и в дурной дороге, ведет за собой много невыгод. Целый день земледельца будет потрачен непроизводительно, т. е. не увеличит количества продукта; вместе с трудом земледельца пропадет и труд лошади, которая повезет хлеб в город и телегу из города. Помет лошади, падающий на дорогу, потерян; кроме того, земледелец, не имеющий под рукою близкого сбыта, принужден обсевать свои поля только такими сортами хлеба, которые, при наименьшей громоздкости, продаются по наиболее дорогой цене. Он не может возить в город картофель или сено, потому что продажная цена этих продуктов не окупит издержек и трудов перевозки. Это обстоятельство вредит успешному ходу его хозяйства, не позволяет ему вести рациональный севооборот и заставляет его истощать свои поля постоянными посевами ржи, пшеницы, овса и других зерновых хлебов. Положим теперь, что через владения нашего земледельца пролегла железная дорога, ведущая к тому городу, в который прежде приходилось ездить по разным трясинам и буеракам; теперь продукты отправляются на продажу в вагонах, а то количество лошадиного и человеческого труда, которое тратилось на бесплодные

прогулки по дурной проселочной дороге, посвящается улучшению земли; помет весь идет на удобрение земли, и количество земледельческих продуктов увеличивается. Тогда земледелец нанимает большее число работников, чтобы еще более расширить круг своих действий. Является необходимость построить новые амбары и скотные дворы; плотник, замечая запрос на свой труд, поселяется рядом с земледельцем; сапожник, получая с фермы частые заказы, приближается к своим заказчикам; мельник ставит мельницу на ближайшей речке, потому что предвидит себе работу. Прежде надо было ездить к плотнику за тесом и за рамами, к сапожнику за обувью, к мельнику с зерном и от мельника с мукою; на все эти прогулки в общей сложности тратилось большое количество труда и помета; теперь все это терявшееся количество сохраняется и увеличивает плодородие земли: хлеба добывается гораздо больше прежнего, и притягательная сила процветающего местечка постоянно увеличивается; приходит ткач, чтобы на месте превращать лен и пеньку в полотно; затем устроивается сукновальня, избавляющая фермера от необходимости возить в город шерсть своих овец. Затем являются портной, кузнец, колесник, шорник, пивовар и другие рабочие. Сблизившись между собою, все эти различные ремесленники ежедневно доставляют друг другу значительные выгоды, как производители и как потребители; все они могут постоянно заниматься своими работами, не имея надобности бегать по дорогам ни за покупателями, ни за продавцами. Сапожнику стоит перейти через улицу, чтобы купить у ткача полотна; ткачу стоит сделать несколько шагов, чтобы достать у мельника муки; и сапожник и ткач знают также, что их соседи сами придут к ним за теми продуктами, которые они вырабатывают. Что же касается до земледельца, то он находится в самом цветущем положении; каждый кусок земли приносит ему пользу и доход; хлеб, говядина, баранина, масло, яйца, домашняя птица, сыр — все это находит себе сбыт, и все это дешево, потому что продается на месте, и все это, кроме денег, дает удобрение, которое постоянно возвышает производительную силу земли.

Нравственные следствия такого сближения разнородных людей и промыслов также очень значительны. Каждое отдельное ремесло знакомит человека с особенными свойствами того или другого сырого материала; каждое из них дает человеку особенные орудия и научает его особенным приемам; каждое изощряет в человеке ту или другую способность и направляет его природную наблюдательность на ту или другую сторону обыденных явлений. Всякий знает, что у земледельца есть свои особенные метеорологические приметы, что пастухам известны многие интересные свойства в характере домашних животных, что мельники по необходимости приобретают практические сведения по части механики и гидростатики. Когда множество различных ремесленников

живут между собою рядом и находятся друг с другом в ежедневных сношениях, то они невольно и бессознательно сообщают друг другу большое количество заметок и сведений, которые возбуждают любознательность, нарушают неподвижность ума и расширяют круг понятий и воззрений. Особенно важны нравственные следствия такого сближения для подрастающих детей. Где земледелие составляет единственный промысел всего населения, там не может быть и речи о личных наклонностях или способностях молодых членов общества. К чему бы ни был расположен мальчик, каковы бы ни были его природные дарования, он все-таки должен непременно браться за соху, потому что вне сохи нет спасения от нищеты. Когда же, напротив того, десятки различных ремесленников живут на пространстве одной квадратной версты, тогда самые прихотливые вкусы и самые разносторонние способности могут и должны находить себе удовлетворение. Кто расположен к сидячей жизни и к кропотливой работе, тот пойдет в учение к портному или к сапожнику; у кого верный глаз и сильная рука, тот сделается плотником; кто владеет тем же хорошим глазомером при меньшей физической силе, тот займется столярною работой; кто любит работать на открытом воздухе, тот посвятит свои силы садоводству или огородничеству; всякому откроется возможность заниматься своим делом с охотою, по свободному влечению, а не вследствие горькой необходимости. Индивидуальные силы, наклонности и способности заявят свое существование, и это обстоятельство, во-первых, возвысит нравственное состояние людей и, во-вторых, увеличит количество и улучшит качество продуктов, понизит их цены посредством усовершенствований в производстве, усилит, таким образом, их сбыт и возвысит общее благосостояние производителей и потребителей.

Наконец, разнообразие промыслов благодетельно тем, что оно уменьшает зависимость простого работника от хозяина или мастера и увеличивает в первом чувство собственного достоинства, принуждая в то же время второго уважать человеческую личность своего подчиненного. Где все пашут землю, там личность работника не существует; там человек, идущий за сохою, по свойствам своего труда очень мало отличается от лошади или от вола, на которых он покрикивает и помахивает кнутом. Хозяин не дорожит умом и ловкостью своего батрака; он совершенно основательно рассуждает, что за сохою сумеет ходить и круглый дурак; поэтому он и помыкает своими работниками, как ему угодно, и гоняет их с двора, когда они начинают пускаться в рассуждения. Заменить выгнанного работника вовсе не трудно, потому что особенных достоинств и способностей от кандидата на такое место не требуется. В ремесленной деятельности вопрос ставится совершенно иначе. Хозяин дорожит человеком и смышленым работником, потому что его не скоро заменишь. В чисто земледельческом быту принималась в расчет только животная сила человека; при ремес-

ленной работе, напротив того, сила мускулов обыкновенно отходит на второй план, а всего больше обращается внимание на искусство, на знание дела, на сообразительность. В ремесле впервые проявляется и признается элемент личного таланта. Этот элемент эмансипирует и возвышает ремесленника и смягчает в отношении к нему хозяина, которого личный интерес зависит от ума и технической ловкости рабочего.

В истории средних веков встречается такой факт, который совершенно подтверждает собою предыдущие рассуждения. Первые признаки самостоятельности в отношении к феодалам проявляются между ремесленниками; они образуют коммуны и возмущаются против епископов и баронов; из них составляется знаменитый tiers-état, * а в это время земледельцы еще несут на себе всю тяжесть барщины и разных произвольных поборов.

Из всего, что было сказано о жизни разросшегося местечка, мы можем заметить, что сближение людей между собою, распространение знаний, увеличение богатства и нравственное освобождение личности зависят преимущественно от разнообразия занятий и, при существовании этого последнего условия, естественным образом развиваются одно из другого.

Для того чтобы в каждой отдельной местности какой-нибудь страны проявлялось то разнообразие занятий, из которого вытекают деятельность, знание, богатство и свобода, необходимо существование множества местных центров притяжения. Если в какой-нибудь земле один огромный город стягивает в себе бо́льшую часть промышленных сил страны, то жители находятся в зависимости от этого общего центра; они принуждены возить свои продукты на этот далекий рынок и на этом же рынке покупать те фабричные изделия, которые необходимы им для домашнего обихода. Ни один из жителей не решается устроить какое-нибудь промышленное заведение вне большого центра, потому что не может рассчитывать на сбыт; разбросанное население поневоле занимается исключительно земледелием и истощает свою почву постоянным вывозом сырых произведений, которые потребляются на далеком рынке и, следовательно, не дают обратно никакого удобрения. Между тем в большом центре заводятся всякие гадости; туда бежит все, что голодно, в надежде найти работу и находит чаще всего крайнюю степень нужды, совершенное нравственное падение и преждевременную смерть от изнурения, от гнилой пищи или от вынужденного разврата; туда бежит и едет все, что честолюбиво, в надежде найти блеск и повышение и чаще всего находит развращающую школу низкопоклонства и ничем не вознаграждаемого насилования совести; туда же, в обетованную землю всякой роскоши, несутся все люди, стремящиеся пожить на чужой счет, начиная от бесконечного числа разных просителей, искателей и кончая легио-

* Третье сословие *(франц.)*. — *Ред.*

ном шулеров и уличных мошенников. Первые большею частью питаются надеждами и нравственными подзатыльниками, но зато вторые, как люди, избравшие благую часть, обыкновенно находят себе обильную ловлю рыбы в мутной воде этих колоссальных клоак нашей великой цивилизации. Таким образом, страна, имеющая один большой центр притяжения, представляет очень неутешительную картину; провинции постоянно беднеют и истощаются; жители тупеют от однообразного и неблагодарного труда, а в центре собирается вся дрянь страны, вся испорченная кровь, весь гной ее бедности, вся квинтэссенция ее разврата и нравственной низости, ее страданий и преступлений; но так как эта миазматическая смесь подергивается всегда тонкою пленкою мишурного золота, то дальнозидные теоретики находят обыкновенно, что все обстоит благополучно, или утверждают, что вся беда происходит от недостатка нравственного самовоздержания (moral restraint) со стороны рабочего человека и его супруги.

XII

Когда Робинзон жил один на своем острове, то ему надо было ходить на охоту, собирать плоды, ловить рыбу, сносить все эти запасы в свою пещеру, варить или жарить их, готовить себе одежду из шкур, таскать из леса дрова для отопления жилища, сооружать и чистить охотничьи и рыболовные инструменты. Все это и, может быть, много других занятий лежало на нем одном, потому что у него не было союзника и помощника. Когда он отправлялся в лес за добычею, то запасы, набранные накануне, оставались без присмотра и могли быть съедены крысами или унесены каким-нибудь более крупным животным; когда он был на охоте, пища не приготовлялась ко времени его возвращения и одежда, которую он начал шить до своего ухода, оставалась недоконченною. Когда он готовил пищу или дошивал одежду, время, удобное для ловли рыбы, могло быть пропущено. Словом, Робинзон постоянно принужден был переходить от одного дела к другому, причем, конечно, много труда и времени терялось на эти беспрестанные переходы; все занятия, по необходимости, шли плохо, потому что они сталкивались между собою и ежеминутно мешали друг другу. Каждая работа делалась урывками, и ни в одной не было того постоянного и последовательного движения, которое необходимо для достижения выгодных результатов. Если у Робинзона была жена, то уже все работы должны были идти гораздо успешнее: пока мистер Робинзон бродил по лесу за дичью или плавал по реке за рыбою, домашний очаг охранялся бдительным оком мистрис Робинзон, которая, кроме того, в это же время варила или жарила мясо, чистила набранные накануне плоды, потрошила наловленную рыбу или шила одежду; работы не прерывались так

часто, как во время холостой жизни Робинзона, и вследствие этого в этих работах замечалось больше порядка и от них получалось большее количество продукта. Между Робинзоном и его женою происходили постоянные обмены услуг к обоюдной выгоде обеих сторон. Когда подросли дети, то быстрота в обмене услуг значительно увеличилась. Один из членов семейства охотился за дичью, другой ловил рыбу, третий чинил охотничьи инструменты, четвертый варил кушанье, пятый шил одежду, шестой копал землю, так что все отрасли работ одновременно и дружно подвигались вперед; потом продукты этих работ обменивались один на другой; когда вся семья садилась обедать, тут излишек дичи одного обменивался на излишек рыбы другого; тут съестные припасы, добытые одним, оплачивали труды других, посвящавших свои силы на приготовление кушанья, на шитье одежды, на сооружение луков, челноков и удочек. Этот обмен был выгоден для каждого, потому что вследствие такого обмена каждый пользовался разнообразным столом, каждый был одет, каждый, кому надо было охотиться или ловить рыбу, был снабжен необходимыми инструментами. Труд каждого был гораздо производительнее, чем труд одинокого колониста, потому что каждый посвящал своему занятию все свое время и все свое внимание, не кидаясь от одной работы к другой и не развлекаясь посторонними заботами и соображениями.

Эта небольшая семья колонистов служит прототипом общества; в ней, как и в самом многолюдном обществе, происходит разделение труда и обмен услуг; эти два явления заключают в себе источник всех благодетельных действий, которые существование общества производит на материальное и нравственное положение отдельного человека. Чем многолюднее общество, тем значительнее может быть разделение труда, тем деятельнее, умнее, богаче и свободнее может становиться человек, тем сильнее должны понижаться ценности предметов и тем сильнее должна возвышаться их польза.

Так *может* быть и так *должно* быть, но так не бывает в действительности, потому что люди, кроме разделения труда и обмена услуг, всегда вносят в каждое зарождающееся общество элемент присвоения чужого труда. Этого ядовитого зерна достаточно, чтобы отравить все блага общественной жизни и породить все междоусобные распри, которые составляют историю и в которых до наших времен истощаются физические и умственные силы людей. Начинается с того, что муж бьет свою жену и побоями принуждает ее работать, в то время как сам он лежит на спине и греется на солнце. Таким образом нарушается естественное разделение труда и свободный обмен услуг. Мужчина берет себе большее количество продуктов и меньшее количество труда; для установления равновесия в обмене он отпускает женщине несколько ударов кулаком по лицу или палкой по спине, и равновесие дей-

ствительно восстановляется, потому что возражения женщины умолкают после получения подобной монеты, — и обмен услуг продолжается, несмотря на явное нарушение справедливости. Как муж присвоил себе значительное количество труда жены, так родители присвоивают себе значительное количество труда детей; братья поступают точно так же в отношении к сестрам, и старший брат в отношении к младшему; потом, когда дети становятся взрослыми людьми, а родители — дряхлыми стариками, то первые эксплуатируют последних и, наконец, измучив их до крайности непосильными работами, предоставляют им полную свободу умереть с голода.

Войны и порабощение начинаются, таким образом, в самом семействе и, начавшись однажды, не останавливаются ни на одну минуту; каждый из членов семейства бывает постоянно то победителем, то побежденным, то рабовладельцем, преподающим осязательные внушения слабейшему родственнику, то рабом, испытывающим убедительность таких же наставлений со стороны сильнейшего. Значительная доля труда и изобретательности, большое количество физической силы и нравственной энергии тратятся на постоянно повторяющиеся натиски и отпоры, на завоевательные попытки и на отражение таких попыток. При борьбе с природою человек никогда не встречает сознательного сопротивления своему сознательному нападению; при борьбе человека с человеком коса находит на камень: насилие встречается с насилием, хитрость отражается хитростью, суровая воля рабовладельца натыкается на пассивное, но сознательное упорство раба. Борьба затягивается, усложняется и принимает на себя бесконечное разнообразие видоизменений. Семейство оказывается для первобытного человека превосходною школою безнравственности. Из этой школы он выносит очень основательные сведения по части естественного гладиаторства и самородного макиавеллизма; за пределами семейства он встречается с воспитанниками других учебных заведений, в которых преподавались те же элементарные науки, с некоторыми изменениями и дополнениями в программе и в плане. Встретившиеся юноши начинают пробовать друг над другом силу и убедительность своих научных аргументов и стратегических приемов. Пределы диспутов расширяются; первобытные силлогизмы совершенствуются и усложняются. Война, политика, рабство, эксплуатация, воровство и грабеж — все эти различные видоизменения одного общего начала приводятся в стройные и красивые системы. Человеческий ум развертывается во всем своем величии и блеске и производит в этом направлении такие же превосходные усовершенствования, какими являются в области производительного труда паровые машины и приложение химии к земледелию. Не рискуя ошибиться, можно даже сказать, что элемент присвоения развился гораздо быстрее, чем элементы труда и обмена услуг; этот первый элемент достиг полнейшего совершенства

и успел уже просочиться в практическое применение тех открытий, которые подарило человечеству естествознание, составляющее одно из важнейших и плодотворнейших проявлений элемента труда. Элемент присвоения преобладает во всех существующих обществах, везде и всегда искажает природу человека и во всех бедствиях частной и общественной жизни является единственной причиной страданий и преступлений.

Дойдя до этого элемента и указавши читателю, я уже вышел из области гипотез и теоретических выкладок и стою теперь на пороге истории, на почве действительных фактов. Здесь я считаю удобным остановиться на несколько минут, оглянуться назад и в сжатом очерке напомнить читателю добытые нами результаты, составляющие в своей совокупности физиологическую часть истории труда. Мы видели, что человек был слаб и беден, пока он оставался одиноким; силы природы, окружавшие человека, не приносили ему почти никакой пользы, а все удобства жизни, начиная от самой грубой пищи, имели в его глазах самую значительную ценность; когда число людей увеличилось, тогда люди стали помогать друг другу и совокупными силами успели одержать над природою много важных побед; каждая такая победа увеличивала пользу сырого материала и уменьшала ценность предметов потребления. Каждая победа человека над природой давала ему в руки новые орудия и, таким образом, прокладывала ему путь к новым и более важным победам. Начавши обработку земли на сухих холмах, человек спускался в тучные долины, когда увеличившееся число людей и усовершенствование орудий давали ему возможность вырубить леса и осушить болота, покрывавшие плодородную почву. Овладевши тучною землею, человек становится богатым; в основании его богатства лежало знание, дававшее ему господство над природой; знание приобретается и развивается вследствие частых и разнообразных сношений людей между собою. Сношения эти завязываются и поддерживаются разнообразием занятий; разнообразие занятий возможно только в том случае, когда существует множество небольших, тесных центров притяжения. Эти тесные центры образуются сами собою в тех местах, в которых общественные аномалии не парализируют естественного развития человеческого труда. Общественные аномалии всякого рода выросли из элемента присвоения чужого труда, а этот враждебный элемент возник в доисторические времена в семейном быту и из него раскинул свои ветви по всем отраслям человеческой деятельности.

Вот беглый перечень тех мыслей, которые были изложены на предыдущих страницах. Совокупность этих мыслей указывает на ту великую и светлую участь, которая должна составлять естественное достояние людей; участь эта не имеет ничего общего с теми мрачными явлениями, которые наполняют всемирную историю и обращают на себя внимание современного наблюдателя. Люди сбились с настоящего пути, исказили свою природу и до

сих пор продолжают мучить друг друга. Факты эти очень достоверны и тем более печальны. Но эти факты не дают нам права думать, чтобы светлое будущее было недостижимо. Надо помнить, что люди потратили много тысячелетий на то, чтобы ознакомиться с природой; надо помнить, что они до сих пор не знают ее вполне, и надо помнить, кроме того, что человек есть самое сложное явление природы, всего менее доступное непосредственному наблюдению и почти совершенно недоступное опыту. Очень естественно, что величайшее число ошибок, теоретических и практических, относится именно к человеку как самому сложному, самому неизвестному и в то же время самому интересному предмету во всей природе. Очень естественно, что астрономия и химия уже в настоящее время вышли из тумана произвольных гаданий, между тем как общественные и экономические доктрины до сих пор представляют очень близкое сходство с отжившими призраками астрологии, алхимии, магии и теософии. Очень вероятно, что и эти кабалистические доктрины сложатся когда-нибудь в чисто научные формы и со временем обнаружат свое влияние на практическую жизнь, со временем убедят людей в том, что людоедство не только безнравственно, но и невыгодно. Со временем многое переменится, — но мы с вами, читатель, до этого не доживем, и потому нам приходится ублажать себя тем высоко бесплодным сознанием, что мы до некоторой степени понимаем нелепости существующего.

«— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом! — повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью». [16]

XIII

Когда человеку хочется есть и когда он видит у себя под рукою приготовленный запас пищи, то в нем тотчас рождается влечение взять эту пищу в руки и отправить ее к себе в рот. Это влечение разделяют с человеком все животные, с тою только разницею, что они в подобных случаях обходятся без пособия рук. Можно было бы подумать, что это действие над пищею совершается машинально или инстинктивно, т. е. вообще без посредствующего процесса мысли. Но, во-первых, такие слова, как «машинально», «инстинктивно», сами по себе ровно ничего не объясняют, а во-вторых, есть и прямые опыты, доказывающие, что деятельность мозга обусловливает собою даже эти простейшие поступки: голуби и куры, у которых французский физиолог Флуранс снимал передние полушария головного мозга, глотали пищу только в том случае, когда ее клали им в рот и проталкивали до горлового отверстия; когда же их оставляли в покое, то они умирали с голода среди целых куч хлебных зерен. Итак, мы с полным основанием можем сказать, что человек захватывает приготовленный запас

пищи вследствие размышления. Конечно, размышление это в высшей степени просто, потому что, как мы уже видели, все животные размышляют точно так же. Но именно по своей простоте это размышление, доступное всем людям без исключения, оказывало и до сих пор оказывает на судьбу нашей породы такое могущественное влияние, каким не пользуются ни чистейшие нравственные истины, ни величайшие научные открытия. Из этого размышления развилось все, что составляет красоту и гордость нашей цивилизации, и все, что составляет ее позор и страдальческий крест.

Запас пищи, найденный человеком, мог быть приготовлен природою или другим человеком; захват пищи в первом случае является зародышем труда, а во втором он оказывается присвоением чужого труда и кладет основание борьбе между людьми и порабощению одного человека другим. В жизни нашей породы встречались несчетное число раз оба эти случая, и из них развивались все их неизбежные последствия. Человек, присвоивший себе пищу, приготовленную природою, старался устроить так, чтобы природа дала ему новый запас, и эти старания постепенно превращали охотника в пастуха, потом в земледельца; эти же старания рядом с земледельцем создавали кузнецов, портных, ткачей и всех других ремесленников, вооружающих человека рабочими инструментами, снабжающих его одеждою, устроивающих его жилище и доставляющих ему на счет окружающей природы все возможные удобства жизни. Из этих же стараний развились искусство и наука, увеличивающие силу человека над природою, расширяющие его ум, приготовляющие ему бесконечное разнообразие наслаждений и доставляющие ему возможность уважать самого себя и, анализируя себя и других, сознательно прощать и любить заблуждающихся людей, так дорого платящих за свои заблуждения. Между тем второй случай — захват пищи, приготовленной человеком, — повторялся ежедневно, и следствия, неизбежно вытекающие из него, развивались гораздо быстрее, чем те благодетельные явления, в основании которых лежал чистый труд, не политый слезами и не пропитанный человеческою кровью.

Эта несоразмерность развития существует и, быть может, даже увеличивается в наше время. Всемирная история до сих пор принуждена заниматься исключительно политическою жизнью людей, потому что действительно факты политической жизни совершенно заслоняют собою те проявления мысли, энергии и творчества, которые происходят в лабораториях, в мастерских, на полях, везде, где человек подмечает тайны природы или вводит в процесс производства те естественные силы, которые уже исследованы и обузданы. Историю интересуют преимущественно органическое развитие государственных форм, последовательная смена систем, существенные изменения в законодательстве и в международных отношениях, пробуждение в массах политического смысла и национального чувства.

Кажется, набросанная мною рамка достаточно широка; я не думаю, чтобы кто-нибудь из современных историков увидел в подобном определении задач истории признаки неуважения к науке или попытку исказить и унизить ее настоящее значение. Между тем не трудно заметить, что элемент присвоения составляет единственный предмет изысканий историка. В этом нисколько не виноват историк, потому что такова действительная жизнь, которую исследователь не имеет права украшать и разглаживать. Государственные формы, политический смысл и даже национальное чувство составляют прямое следствие элемента присвоения, т. е. все эти вещи или произошли от присвоения, или возникли как отпор присвоению. Государства, все без исключения, порождены элементом присвоения; прошу читателя не видеть в этой мысли ничего безнравственного и не искать в ней никакого лукавства; я вовсе не хочу сказать, чтобы все основатели государств были люди буйные и одержимые жадностью к чужой собственности; если такие наклонности и существовали у некоторых викингов, конунгов, шейков [17] и других эмбриологических властителей, то это обстоятельство вовсе не может быть возведено в правило. Многие государства возникали потому, что жителям известной земли необходимо было сгруппироваться для отражения нападающих врагов. В других случаях государство основывалось потому, что жителям необходимо было существование такой власти, которая разбирала бы их ссоры и своим вмешательством отвращала бы кровопролития. При таких условиях основание государства было благодеянием, но люди нуждались в этом благодеянии только потому, что заезжали в чужую личность и захватывали чужой труд. Нападавшие враги и ссорившиеся единоплеменники, по всей вероятности, должны быть признаны людьми, следовательно, то зло, в отпор которому возникло государство, заключалось все-таки в попытках одних людей попользоваться трудом других. Не было ни одного государства, которое было бы основано с тою целью, чтобы отражать зверей или общими силами граждан разработывать землю, следовательно, элемент присвоения так же необходим для развития политических учреждений, как частица дрожжей необходима для того, чтобы произвести в хлебном тесте брожение. Политическое развитие, сообщающее присвоению правильную форму, составляет очень полезное лекарство, но всякий знает, что лекарство есть горькое следствие болезни.

Национальное чувство, к которому каждый благомыслящий человек должен питать глубокое уважение, составляет прямое следствие того недоверия и антагонизма, которые водворились между отдельными группами людей вследствие взаимных обид и нападений, клонившихся все-таки к присвоению труда и его продуктов. Национальное чувство просыпается тогда, когда нации приходится защищать себя от порабощения; так было у нас в эпоху Минина и в 1812 году; так было в Испании во время войн ее с На-

полеоном, в Германии — во время ее поголовного восстания в 1813 году, во Франции — при революционной борьбе ее с европейскими коалициями, в Италии — с самого начала нынешнего столетия, в Греции, возмутившейся против турецкого господства... Везде это национальное чувство делало чудеса и вызывало к жизни народ, находившийся в самом бедственном положении, но везде это чувство возбуждалось предшествовавшими страданиями или угрожавшими опасностями; везде проявление этого чувства сопровождалось очень тягостными пожертвованиями, которые были необходимы, но все-таки оставляли после себя глубокие следы в материальном благосостоянии народа.

Эти соображения приводят к тому неотразимому заключению, что элемент присвоения остается чрезвычайно вредным даже в тех случаях, когда он, возбуждая против себя энергический отпор, приводит в движение самые возвышенные и благородные страсти человеческой природы. Поэты и сентиментальные историки, имеющие страстное влечение ко всему грандиозному, могут с особенным восхищением останавливаться на тех исторических эпохах, в которых целый народ поднимался, как один человек; поэтам свойственно видеть в каждом явлении его красоту и картинность; им свойственно принимать отдельных людей за мелкие камешки огромной мозаики; но человек, не одаренный от природы таким пылким эстетическим чувством, человек, неспособный, подобно художнику Нерону, зажечь Рим, чтобы получить понятие о разрушении Трои, такой человек видит величайшее доказательство силы зла в том обстоятельстве, что даже проявление лучших сил и страстей целого народа всегда бывает похоже на страшную конвульсию больного организма и почти всегда ведет за собою упадок сил и значительное увеличение индивидуальных страданий и общественных тягостей. В истории трудно отыскать хоть один такой факт, в котором энергия народа, его героические усилия, его жертвы, приносимые трудом и кровью, произвели бы в его образе жизни действительное улучшение, соответствующее подобным затратам. Везде и всегда народ поднимался, как один человек, против одного из проявлений несправедливости и присвоения; а в это время десятки и сотни проявлений того же элемента продолжали процветать и, пользуясь общею суматохою, пускали глубже свои корни в живые силы народа и истощали их больше прежнего. Поэтому все великие эпохи дали до сих пор людям несколько пламенных стихотворений, несколько красноречивых страниц в истории, да, кроме того, приращение налогов и то чувство утомления, которое всегда следует за напряжением сил. Все эти мысли, конечно, вовсе не относятся к России, потому что в отношении к ней я нахожу удобным соблюдать то правило вежливости, по которому о присутствующих не говорят.

XIV

Элемент присвоения, конечно, составляет зло; можно сказать больше: он составляет источник и причину всякого зла, а между тем этот ядовитый элемент, этот Ариман [18] человеческой природы, сам вытекает из совершенно безвредного свойства нашего ума, и притом из такого свойства, которое мы никак не сумели бы устранить, если бы нам была предоставлена возможность переделать по нашему благоусмотрению все физические и интеллектуальные способности человека. Это свойство состоит в том, что ум наш всегда начинает свою деятельность с самых простых процессов мысли и уже потом, укрепляясь и совершенствуясь, переходит к более сложным процессам, соображает вероятия и отдаленные последствия, рассматривает и обсуживает явления с разных сторон и точек зрения. У всякого животного есть потребности и желания, имеющие связь отчасти с сохранением жизни неделимого, отчасти с поддержанием жизни породы. Мозговые силы животного посвящаются исключительно изысканию средств, ведущих к удовлетворению этих потребностей и желаний. Руководствуясь своими внешними чувствами — зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом, — животное соображает, идти ли ему направо или налево, грозит ли ему опасность или ждет его наслаждение. Животное руководствуется, конечно, иезуитскою нравственностью; цель всегда оправдывает в его глазах средства, и в выборе средств животное обнаруживает, кроме неразборчивости, крайнюю односторонность и близорукость соображения, в чем оно далеко превышает иезуитов. Рыба хватается за червяка, не обращая внимания на крючок, в котором заключается весь смысл трагического эпизода; мышь развязно вбегает в мышеловку, руководясь запахом мяса, и не дает себе труда заметить, что в общем виде снаряда есть что-то странное и зловещее. Так действуют животные, и почти так действуют дети и дикари. Океанийские островитяне, приезжая на европейские корабли, обыкновенно начинают с изумительною ловкостью воровать все, что приходится им по душе. Их за это бьют очень больно веревками, но, конечно, это их не унимает. Нельзя сказать, чтоб воровство было у них принятым обычаем или чтобы оно составляло их болезненную мономанию; нельзя себе представить, чтобы они переносили с совершенным равнодушием удары веревками; их поступки объясняются всего удовлетворительнее крайнею простотою тех умственных отправлений, на которые способен их мозг. Дикарь рассуждает так: я вижу блестящую пуговицу, она мне нравится, следовательно... тут рассуждение обрывается, потому что дело сделано, пуговица очутилась в руках нашего мыслителя, и тут начинается новый ряд соображений, клонящийся к тому, чтобы спрятать приобретенное имущество и напустить на свою физиономию выражение полнейшей невинности. Процесс мысли, разрешившийся в приобретении пуговицы,

совершился с быстротою молнии; дикарь схватил понравившуюся ему вещь с такою же непосредственною жадностью, с какою рыба хватает червяка. Преимущество дикаря над рыбою ограничивается в этом случае тем, что дикарь в одно мгновение успевает принять некоторые предосторожности, которые всегда останутся недоступными самой гениальной рыбе. Сходство же дикаря с рыбою состоит в том, что и тот и другая не способны ни на минуту усомниться в выгодности своего предприятия и отнестись к нему критически; желание возникло и тотчас удовлетворяется с большею или меньшею степенью искусства, проворства и осторожности. Что будет потом — об этом дикарь потом и подумает, потому что в его голове не удерживается сложный ряд мыслей, в котором причины связывались бы с следствиями.

Если мы разберем значение нашего национального «авось», то заметим в нем несомненное родственное сходство с умозрениями океанийца. Действия на авось не имеют ничего общего ни с мужеством героя, ни с сознательным риском смелого спекулятора; в них просто выражается неуменье и нежеланье додумать до конца, неспособность ума к сложным выкладкам и леность мысли, ведущая за собою необходимость оставлять в тумане те следствия, которыми непременно должен закончиться данный поступок. Строгая общественная нравственность, заключающаяся в том, что каждая отдельная личность сознательно несет ответственность за свой образ действий и отдает себе и другим отчет в каждом своем поступке, — такая нравственность совершенно немыслима в такой среде, в которой «авось» составляет основание практической философии. Нравственность людей вовсе не зависит от хороших качеств их сердца или их натуры, от обилия добродетели и от отсутствия пороков. Все подобные слова не имеют никакого осязательного смысла. Нравственность того или другого общества зависит исключительно от того, насколько члены этого общества сознательно понимают свои собственные выгоды. Красть невыгодно, потому что если я обокрал удачно сегодня, то меня так же удачно могут обокрасть завтра, не говоря уже о том, что я могу попасться и получить более или менее серьезную неприятность. По тем же причинам невыгодно убивать; точно так же невыгодны и всякие другие посягательства на личность и собственность ближних и дальних. Если бы все члены общества прониклись сознанием этой невыгодности, то преступления были бы немыслимы, и вся непроизводительная трата сил на совершение, преследование, предотвращение и наказание преступлений сделалась бы излишнею и перестала бы существовать. Но проникнуться таким спасительным сознанием не может ни дикарь, ни любитель слова «авось», ни пролетарий, которого мысль постоянно направлена на борьбу с голодом. Чтобы быть нравственным человеком, необходимо быть до известной степени мыслящим человеком, а способность мыслить крепнет и развивается только тогда, когда

личность успевает вырваться из-под гнета материальной необходимости.

Человек не получает от природы ничего готового ни вне себя, ни внутри себя; ему самому надо устроить себе оружие, рабочие снаряды, одежду, жилище и даже ту землю, в которую он бросает семена; точно так же ему самому надо укрепить свои мускулы посредством упражнения и развернуть силы своего мозга также посредством упражнения. Пока дикарь доберется до хороших орудий, ему приходится пробавляться плохими; целые поколения действуют каменными топорами, потом другие поколения работают медными, и так идет дело в продолжение целых столетий. Точно так же дикарю приходится изворачиваться в жизни работою плохо развитого мозга, и весь домашний и общественный быт дикаря складывается сообразно с несовершенными отправлениями недоразвитого органа мысли. Всякое усовершенствование мозга дает себя чувствовать и в улучшении орудий, и в увеличении богатства, и в возвышении общественной нравственности. Но мозг совершенствуется чрезвычайно медленно, потому что вся жизнь дикаря проходит в постоянной заботе о пропитании и вся наличная мозговая сила тратится на приискание мелких средств, ведущих к мелким целям. Тут некогда припоминать и обобщать опыты, и потому знание увеличивается и круг мыслей расширяется только тогда, когда опыт бьет в глаза и насильно втирается в сознание. Это детство человеческого ума не только неизбежно, но даже совершенно необходимо. Если бы первобытному человеку был вложен в голову совершенно развитой мозг, то, вероятно, этот мозг был бы почти таким же мертвым капиталом, каким было бы ружье в руках дикаря, совершенно не знакомого с его употреблением. Мы способны пользоваться только тем, что́ мы сами выработали. Если человек своими трудами приобрел себе тысячу рублей, то они пойдут ему впрок, потому что, приобретая рубли, он приобретал, кроме того, уменье обращаться с ними. Но если вы подарите десять тысяч такому человеку, который не умел приобрести ни копейки, то легко может случиться, что ваш подарок будет разбросан на пустяки или заперт в сундук. Точно так же развитой мозг, доставшийся человеку как милостыня природы, мог быть растрачен на мелочи или мог погрузиться в сонное блаженство, за которым непременно последовала бы вялость и расслабление. Все, что живет в природе, растет и развивается, подвергаясь в своем развитии болезням, опасностям и тяжкой борьбе за существование. Ум человека, как самое сложное явление в природе, подвергается в большей степени, чем что-либо другое, этому общему закону всего существующего. Присвоение чужого труда, вражда между людьми и все ужасы варварства вытекают прямо из тех простейших процессов мысли, которые одни доступны младенческому уму дикаря. Все эти мрачные явления составляют неизбежную детскую болезнь нашей породы, но детство и его болезни не должны

продолжаться вечно, и потому в наше время следует по крайней мере отдавать себе отчет в том, какие именно условия удерживают различные группы людей в состоянии младенчества и превращают временные болячки в постоянные открытые фонтанели, [19] из которых сочатся страдания для одних и доходы для других.

XV

Грубое присвоение, заключавшееся в грабеже и сопровождавшееся убийствами, так естественно вытекает из слабости мысли у дикарей и из недостаточного количества пищи, добываемого плохими орудиями первобытных людей, что не стоит останавливаться на объяснении этого явления. Несколько удачных набегов, несколько безнаказанных убийств приохочивали дикаря к таким занятиям, развивали в нем дух молодечества, возвышали его в глазах единоплеменников и собирали вокруг него шайку людей, искавших добычи и называвших ее славою. Так формировалось зерно военного сословия; оно скоро начинало чувствовать презрение к тем жалким людям, которые пашут землю и пасут стада; потом жалкие люди порабощались; их заставляли платить дань, и когда это взимание известной части продукта приводилось в правильную форму, тогда группа людей, отмеченная какимнибудь общим названием, вступала в историческую жизнь под предводительством поработивших ее воинов.

Рядом с этим простейшим присвоением идет с незапамятных времен другой вид присвоения, более сложный. Рядом с откровенным грабежом развивается торговля, которую многие ученые до сих пор считают величайшею благодетельницею человеческого рода. Люди всегда нуждались и до сих пор нуждаются во взаимном обмене услуг и продуктов; один производит хлеб, другой выделывает ткани; если первый даст второму излишек своего хлеба и возьмет у него взамен излишек его тканей, то положение обоих значительно улучшится, потому что оба будут сыты и одеты. Этот обмен услуг производится очень легко и удобно, если земледелец и ткач живут между собою в близком соседстве; но если они живут в разных землях и если между их землями лежат горы, реки, пустыни и моря, то прямой обмен становится невозможным; тогда является услужливый джентльмен, который ткачу привозит хлеб, а земледельцу ткани; земледелец и ткач — оба очень рады, потому что продукты эти им необходимы, а добрый джентльмен еще более рад тому, что ему удалось услужить таким достойным людям. Но услужливость и добродушие джентльмена обходятся очень дорого и ткачу и земледельцу. Ткач получает очень мало хлеба, а земледелец очень мало тканей; ткач за малое количество хлеба отдает все свои ткани, а земледелец за малое количество тканей отдает весь хлеб, который он может сберечь от своего личного потреб-

ления. Ткач сидит впроголодь, а земледелец оказывается полуодетым; зато добрый джентльмен питается изысканными кушаньями и одевается с утонченным изяществом; в его руках остается весь хлеб, который не доходит до ткача, и все ткани, которых не получает земледелец; эти излишки продуктов он везет к таким людям, которые производят табак или пряности; тут опять происходит та же история: джентльмен берет у них как можно больше табаку и дает им как можно меньше хлеба и тканей; потом он едет с табаком в такое место, где добывают меха, и опять берет очень много мехов и дает очень мало табаку. Таким образом, услужливый джентльмен прогуливается по разным землям, осыпает своими благодеяниями жителей всех географических широт и долгот и, не увеличивая ни на один золотник количества их продуктов, оставляет у себя в руках столько хлеба, тканей, мехов, табаку и других удобств, сколько можно оттягать у производителей и потребителей. Конечно, эти удобства остаются в руках торговца не в первоначальном своем виде; они превращаются в более удобную форму золотых и серебряных монет, но сущность дела от этого не изменяется. Интересы торговца идут постоянно вразрез с выгодами и потребностями всех тех людей, с которыми он приходит в соприкосновение. Ткач и земледелец могут обменивать между собою свои продукты так, что рабочий день ткача будет отдаваться за рабочий день земледельца, и для обоих такой обмен будет выгоден, потому что оба хлопочут не о том, чтобы увеличить общую сумму своего продукта, а только о том, чтобы изменить его форму. Но между ткачом и земледельцем появляется посредник, у которого нет никакого продукта; он берется перевезти хлеб в такое место, где производятся ткани, и обещает возвратиться к земледельцу с грузом тканей, соответствующим взятому грузу хлеба. Очевидно, что и ткачу и земледельцу выгодно, чтобы на перевозку истратилось как можно меньше продукта, но торговцу-перевозчику выгодно, напротив того, чтобы перевозка обошлась ткачу и земледельцу как можно дороже, потому что вся сумма продукта, поглощенная перевозкою, идет в его пользу. Поэтому ткач и земледелец желают оба, чтобы обмен между ними совершался как можно легче, чтобы расстояние между ними сокращалось и чтобы число и величина препятствий становились как можно меньше; ткач и земледелец стараются сблизиться между собою и завязать непосредственные сношения. Купец, напротив того, желает, чтобы производитель и потребитель были как можно дальше друг от друга, чтобы непосредственные сношения между ними были совершенно невозможны, чтобы препятствия, лежащие между ними, были или, еще лучше, казались обеим сторонам чрезвычайно значительными.

Там, где между производителем и потребителем нет препятствий, там не нужно посредника, там роль купца равняется нулю. Когда увеличиваются расстояния и препятствия, тогда возрастают

важность и барыши купца, который, наконец, совершенно порабощает и производителя и потребителя. Первому он назначает произвольно малую цену; со второго берет произвольно большое количество денег, продукта или труда; оба, производитель и потребитель, доходят до крайней степени нищеты и зависимости, а богатеет и усиливается только их общий благодетель, услужливый джентльмен, не производящий ничего и совершающий постоянно прогулки от ткачей к землевладельцам, от землевладельцев к меховщикам, от меховщиков к плантаторам пряностей и т. д.

Обмен услуг и продуктов составляет ту общую цель, к которой стремятся все люди; торговля есть дорога, ведущая к этой цели; чем эта дорога прямее и короче, тем выгоднее для производителя и потребителя; чем она длиннее и запутаннее, тем выгоднее для торговца, стоящего между производителем и потребителем. Купить дешево и продать дорого — вот то золотое правило, которое всегда руководило торговцами, а это правило может быть выполнено в самых роскошных размерах тогда, когда производитель и потребитель не знают друг друга и не имеют возможности условиться между собою насчет цены и достоинства продуктов. Прямая выгода торговца побуждает его мешать сношениям производителя с потребителем и держать того и другого в состоянии невежества и такой нищеты, которая принуждала бы их отдавать весь свой труд или все продукты труда за кусок хлеба или за лоскут ткани, брошенный им сердобольным торговцем.

Средства мешать сношениям людей между собою и поддерживать между ними невежество и бедность очень незамысловаты; они были известны всем торговцам древнего мира и в существенных чертах своих остались неизмененными до наших времен. Морская торговля и морской разбой постоянно помогали друг другу; финикияне, малоазийские греки и жители островов Архипелага с одинаковым успехом занимались и тем и другим. Когда в каком-нибудь поселении проявлялось желание жителей удовлетворять своим потребностям без помощи торговцев, когда зарождались первые начатки разнообразия занятий и когда, таким образом, ткач пытался поселиться рядом с земледельцем, — тогда, конечно, торговцы старались немедленно искоренить такие предосудительные стремления. К мятежному поселению приставала сильная флотилия; с кораблей сходили вооруженные люди; местечко разорялось; часть его жителей погибала в свалке, а кто оставался в живых и не успевал укрыться в какую-нибудь трущобу, тот обращался в товар и продавался в рабство в таком месте, где за рабов давали хорошую цену. После такого разгрома оставшиеся жители выползали из своих убежищ и, конечно, принуждены были употреблять все свои силы на добывание пищи; о ремесленных занятиях нечего было и думать; людей оставалось слишком мало, да и все заведения вместе с орудиями производства были истреблены разгневанными торговцами. Разумеется, зависимость

оставшихся жителей от соседних воинов и торговцев становилась совершенно безответною, и всякое стремление к промышленной самостоятельности затихало на многие десятки лет.

Сила торговцев состояла преимущественно в том, что в их руках была монополия перевозочных средств; они были владельцами кораблей и мореплавателями, они знали торговые пути, они умели обходить подводные камни и выбирать для своих путешествий благоприятное время года; если дело шло о сухопутной торговле, то им были известны свойства земель и нравы жителей, мимо которых лежал путь их караванов; они знали, как проходить через песчаные пустыни и где отыскивать в них оазисы и источники воды, они держали стада верблюдов, приученных ко всем тягостям походной жизни; и, наконец, как сухопутные, так и морские торговцы знали в совершенстве, в каких краях господствует изобилие или недостаток в тех или других произведениях, т. е., другими словами, на каком рынке можно купить какой-нибудь предмет дешево или продать его за дорогую цену. Все эти знания и преимущества оберегались торговцами самым ревностным образом: торговые пути финикиян и карфагенян считались государственною тайною, и путешественники этих наций распространяли умышленно самые нелепые сказки о тех далеких землях, которые они посещали. Если у какого-нибудь соседнего племени заводились корабли, то купцы, видя в них будущих конкурентов, при первой возможности захватывали их в плен или пускали их ко дну; иногда тем и кончалось дело, а иногда обиженное племя затевало войну, после которой победители становились властителями моря и на несколько времени избавлялись от всякого соперничества. С воинами, не пускавшимися в торговые предприятия, купцы жили в самых дружеских отношениях; воины были самыми лучшими покупателями; они сбывали купцам захваченных пленников и ту часть добычи, которая не была удобна для их личного потребления; тем же путем уходила значительная часть той дани, которую воины собирали натурою с порабощенных земледельцев и со всей трудящейся массы; купцы давали им взамен предметы роскоши, привезенные из далеких земель; за эти предметы воины давали очень хорошие цены и находили такие покупки чрезвычайно выгодными, потому что продукты, которыми они расплачивались, были произведены работою простых смертных и не стоили самим героям ни малейшего личного труда. Доброе согласие между воинами и купцами всею своею тяжестью лежало на плечах трудящегося большинства; чем туже набивался кошелек торговца и чем чаще появлялись затейливые кушанья на столе воина или пестрые ткани в его одежде, тем сильнее голодал земледелец, тем грубее становились его орудия и тем полнее делалось его порабощение.

Древняя история представляет много примеров таких зачинавшихся цивилизаций, которые сначала были приостановлены

войною и торговлею, а потом погибли без следа под грудою благодеяний, насыпанных на развитие народа щедрыми руками купцов и героев. Война и торговля, как два главные вида присвоения, возникают чрезвычайно рано в каждом образующемся обществе людей; история не может проследить их происхождения, потому что она везде находит их уже существующими; история каждого народа начинается даже обыкновенно с каких-нибудь сказочных преданий о военных подвигах и о приобретении богатой добычи. Так как добыча эта, наверное, куда-нибудь сбывалась и на что-нибудь обменивалась, то, очевидно, война и торговля относятся к разряду таких фактов, которые, подобно языку, мифологии и варварским начаткам земледелия, зарождаются в глухие времена неопределимой древности. Война и торговля совершенно доступны дикарям, находящимся на очень низкой степени умственного развития. Для войны требуется физическая сила, из которой естественным образом развивается самонадеянность и отвага; а для торговли необходима хитрость, т. е. уменье прикладывать мелкие средства к достижению мелких целей. Для войны не требуется никаких знаний, а при торговле принимаются в расчет только такие знания, которые легко усвоиваются дикарем и не нуждаются в исследовании и в анализирующем труде мысли. Торговцу надо помнить дороги и подводные камни, надо применяться к обычаям иностранцев и знать по нескольку слов из их языков, надо соображать, куда везти купленный товар и что брать за него в обмен. Все эти сведения, при ограниченном объеме торговых операций, приобретаются очень легко, путем простого навыка, без содействия тех сложных процессов мысли, к которым неспособен мозг первобытного человека.

XVI

Могущество торговца и его господства над первобытным обществом основано преимущественно на том обстоятельстве, что он один владеет перевозочными средствами. Когда число людей увеличивается и население становится гуще, тогда власти торгового сословия наносится первый значительный удар; между деревнями, местечками и городами проводятся дороги, которые дают каждому из жителей возможность нести и везти свои продукты на различные рынки. Когда не было дорог, тогда каждый производитель поневоле принужден был продавать свои произведения на месте странствующему купцу, у которого были лодки и корабли для речной и морской перевозки или верблюды, волы, ослы и мулы для перевозки через горы, луговые степи и песчаные пустыни. Чем лучше становятся дороги, тем доступнее делается перевозка каждому из производителей; шоссейные дороги покрываются целыми обозами сельских продуктов, а когда шоссе в свою очередь сменяется железною дорогою, тогда длинные ряды вагонов

почти совершенно уничтожают расстояние между производителем и потребителем, так что купец, назначавший в былое время свои цены с диктаторским самовластием, превращается теперь в скромного комиссионера, получающего за свой труд определенный процент. Во время владычества купца, при отсутствии путей сообщения, значительное количество человеческого труда тратилось на перемещение продуктов. Целые легионы разных погонщиков и ямщиков проводили всю свою жизнь в странствовании по горам и пустыням; к этому же классу людей следует отнести лодочников, бурлаков и матросов; все они не производили ни одного зерна, и пропитание их целиком ложилось на земледельцев. Всякое улучшение дорог клонится к уменьшению этой непроизводительной траты труда: на шоссе тройка лошадей может свезти тот груз, который на простой дороге свезут пять лошадей, следовательно, как количество лошадей, так и количество людей, трудящихся при перевозке, уменьшается почти на половину при переходе с простой дороги на шоссе. Паровозы сгоняют с дороги всех лошадей и почти всех людей; так точно поступают речные пароходы с бурлаками и морские пароходы с матросами купеческих судов; в экономии оказывается огромная масса лошадиного и человеческого труда, и эта экономия на первый раз производит тягостный застой рабочей силы, потому что люди, привыкшие к известному роду занятий, не знают, куда пристроить себя; но застой этот не может быть продолжителен, потому что никогда и нигде еще земледелие не доходило до такой степени совершенства, при которой приложение новых рабочих сил к земле было бы делом излишним. Мы теперь даже не знаем, может ли быть достигнуто такое положение; вероятнее то, что производительные силы земли могут увеличиваться безгранично и что каждое новое приложение труда к обработке земли будет всегда вознаграждаться соответственным приращением продукта. Если даже производительные силы земли имеют пределы, то пределы эти далеко не достигнуты, и для нас, с ближайшим нашим потомством, недостижимы; следовательно, во всяком случае экономия труда по теории должна быть признана выгодною; если же мы видим иногда в истории и в жизни, что устранение людей от производительных занятий ведет за собою множество индивидуальных страданий, то мы должны искать причины этих страданий не в развитии путей сообщения, а в тех обстоятельствах, которые предшествовали этому развитию.

Преобладание военного и торгового элемента всегда и везде мешает разнообразию занятий, затрудняет сношения и сближение между людьми, делает невозможным прямой обмен продуктов и быстрое обращение мыслей и, таким образом, удерживает массы на самом низком уровне промышленного и умственного развития. Каждая отдельная личность в этой массе порабощена, затерта произволом и задавлена утомительным однообразием неблагодар-

ного труда. Такая личность не знает ни своих сил и способностей, ни тех отраслей деятельности, к которым могут быть применены эти способности. Для такой личности каждая важная перемена, даже самая благодетельная, составляет истинное несчастие, потому что застает ее всегда врасплох и всегда повергает ее в безвыходное недоумение. Приложение рабочим силам всегда найдется, но чтобы искать, необходима сметливость и предприимчивость, а эти свойства не существуют, потому что они систематически истреблялись всею совокупностью обстоятельств, развившихся из элемента присвоения в далеком историческом и доисторическом прошедшем. Само собою разумеется, что эта совокупность неблагоприятных обстоятельств не могла произойти от развития путей сообщения, которое, напротив того, составляет первый шаг к освобождению человеческой личности и к возвышению благосостояния трудящихся масс. Сначала пути сообщения облегчают перевозку, но потом они мало-помалу избавляют производителя от необходимости перевозить продукты.

Эта последняя мысль может показаться парадоксальною, но не трудно убедиться в том, что она не заключает в себе ни малейшей натяжки. Всякое усовершенствование в путях сообщения передает, как мы видели, в руки производителей часть барышей, достававшихся прежде посредникам, т. е. торговому классу. Когда купец становился богатым, то он употреблял свое богатство или на расширение торговых операций, или на удовлетворение тем прихотям, которые естественным образом возникают у обеспеченного человека. В первом случае господство купца над производителями, потребителями и мелкими торговцами становилось тем неотразимее, чем большее количество капитала пускалось в обращение. В увеличении этого господства не было, конечно, ничего утешительного ни для целого общества, ни для трудящейся массы. Во втором случае купец тратил свое богатство в больших торговых и промышленных центрах страны; через это увеличивалась притягательная сила этих центров, которые и без того высасывали из провинций лучшие соки их продуктов; кроме того, такая трата богатства поощряла производство предметов роскоши, а это производство несовременно и вредно в том обществе, в котором большинство членов нуждаются в самом необходимом. Положение дел совершенно изменяется, когда огромный барыш купца разделяется между производителями так, что каждый из них получает небольшой излишек. Этот излишек тратится непременно или на то, что необходимо для личного потребления, или на улучшение орудий производства.

У нас есть в обществе недоверчивые читатели, которые, считая себя практическими людьми, немедленно поразят мою аргументацию словами: «Мужик пропьет! Чем больше получит, тем больше в кабаке оставит!» Как ни сильно звучит в этих словах *практическая* нота, тем не менее приходится признать возражение недо-

верчивых читателей совершенно неосновательным. И статистические таблицы, и наблюдения всевозможных путешественников, и доклады разных специальных комиссий доказывают самым положительным образом, что пьянство и всякое безобразие развивается всего сильнее в бедных странах и в беднейших классах. Люди пьют с голоду, что имеет и физиологическое и экономическое основание. Чарка водки дешевле хорошего куска мяса, а между тем алкоголь уменьшает количество выдыхаемой углекислоты и, замедляя таким образом перегорание органических тканей, дает работнику возможность поддерживать свои силы меньшим количеством пищи.

Устраняя таким образом возражение отечественных практиков, производящих свои глубокомысленные наблюдения на пространстве десяти квадратных верст, я повторяю, что излишек, достающийся производителям, будет истрачен ими — или на пищу, платье и жилище, или на рабочие инструменты. В том и в другом случае общество получает прямую выгоду. Когда производитель сыт, одет и живет в сухом, теплом и светлом помещении, тогда он работает больше, охотнее и успешнее. Здоровье его улучшается; средняя продолжительность жизни увеличивается, способность размножения становится сильнее, и общество растет и богатеет; вместе с многолюдством является разнообразие занятий, развивающее предприимчивость и изобретательность; движение идей усиливается вместе с обменом продуктов, и общество во всех своих слоях с каждым годом становится богаче, деятельнее и счастливее. То же самое происходит в том случае, когда производитель затрачивает свой излишек на улучшение орудий, потому что за улучшением орудий, конечно, следует приращение продукта, которое ведет за собою новое улучшение и таким образом подает сигнал к постоянно ускоряющемуся движению вперед. Движение это совершается тем скорее, чем меньше труда и времени тратится на перевозку, а я сказал уже выше, что улучшение путей сообщения не только облегчает перевозку, но даже постепенно устраняет ее необходимость.

Вот как это делается: когда производители увеличивают количество своих закупок и заказов, то такое увеличение очень скоро замечается фабрикантами и ремесленниками; производителей так много, что если каждый из них прибавит только по пяти копеек к своим ежемесячным расходам, то эта прибавка составит уже заметный расчет для их поставщиков. Поставщик, постоянно получающий много заказов из одного места, постарается, конечно, приблизиться к этому месту, рассчитывая совершенно основательно, что заказов будет тем больше, чем меньше будут препятствия, заключающиеся в расстоянии и в перевозке. Когда к кузнецу, живущему в городе, постоянно приводят для ковки по десяти лошадей в день из большого села, лежащего верст за пятнадцать от городской заставы, то кузнец может совершенно основательно

предположить, что в этом селе куют лошадей только те мужики, у которых есть надобность побывать в городе; кто победнее, кто бережет каждый час времени, тот оставит свою лошадь некованою, а между тем и этот мужик подковал бы свою лошадь, если бы кузнец жил в селе; далее, кузнец соображает, что у него в городе много конкурентов и что городской работы на всех не хватает; тогда он переселяется на лоно сельской природы, к великому удовольствию мужиков и к великой пользе всех лошадиных ног. Так точно рассуждает и поступает плотник, которого часто требуют с топором в село для сооружения изб, амбаров, скотных дворов и всяких других хозяйственных построек. Пока мужики ходили в лаптях, сапожнику нечего было делать в селе, и те богатые крестьяне, которые могли позволять себе эту роскошь, принуждены были покупать сапоги в городе; когда выгодный сбыт сельских продуктов помимо благодетельных купцов дал возможность всем мужикам обуваться по-человечески, тогда в селе появился свой сапожник. Чем богаче становятся крестьяне, тем больше заводится в их селе ремесленных и торговых заведений; образуется местный центр, удовлетворяющий всем потребностям местных жителей; крестьянин кормит ремесленника и сбывает таким образом свой хлеб, а ремесленник одевает и обувает крестьянина и сбывает таким образом свой труд. Сырые продукты, получающиеся на месте, тут же, на месте, переработываются, потребляются и возвращаются земле в виде разнообразного удобрения. Крестьянину незачем ехать в город ни для продажи, ни для покупки, стало быть, его производство увеличивается всем тем количеством труда и времени, которое прежде тратилось на разъезды. Но если мы припомним первоначальную причину этого сбережения, то мы увидим, что она заключается в том улучшении путей сообщения, которое избавило крестьянина от тиранической власти купца и увеличило заработок первого, уменьшив хищные барыши последнего.

XVII

Пути сообщения приносят обществу значительнейшую долю пользы в том случае, когда они содействуют образованию и развитию мелких местных центров; эти местные центры противодействуют притягательной силе больших центров и распространяют во всей стране то разнообразие занятий, которое прежде сосредоточивалось исключительно в главных городах. Чтобы достигнуть этой цели, пути сообщения должны быть пролагаемы и улучшаемы именно так и именно там, где и как того требуют выгоды производителей и потребителей. Надобно, чтобы производитель прямо с своего поля или гумна мог везти хлеб на ближайший рынок по такой дороге, на которой по крайней мере не вязли бы по ступицу

колеса телеги и не надрывались бы животы лошадей; необходимо, следовательно, чтобы пути сообщения устраивались и улучшались прежде всего между отдельными деревнями и между деревнею и ближайшим городом; необходимо, чтобы облегчалась та часть перевозки, которая падает прямо на одного производителя.

Бо́льшая часть экономистов рассуждает иначе. Они очень мало заботятся о движении продуктов и о разнообразии занятий в самом обществе; все внимание их устремлено на торговлю общества с другими обществами; сравнительное богатство различных государств определяется, по их мнению, теми количествами продуктов, которые вывозятся за границу или ввозятся из-за границы; чем сильнее вывоз перевешивает ввоз, тем радостнее бьются патриотические сердца экономистов. Рассуждая таким образом и питая самую нежную привязанность к барышам купца, эти мыслители заботятся исключительно о таких путях сообщения, которые связывают между собою большие центры, или о таких, которые соединяют большой центр с приморским пунктом, отпускающим продукт за границу. Эти пути приносят самую существенную выгоду торговцам и не доставляют никакой выгоды производителям; продукт, свезенный в один из центров, сосредоточился уже в руках купцов, следовательно, перевозка этого продукта в другой центр или в приморский пункт составляет заботу торговцев, и облегчение этой перевозки ведет за собою только увеличение купеческих барышей и расширение торговых операций. В это самое время производители, которым приходится возить продукт из своих деревень в ближайшие города, за пятьдесят или шестьдесят верст, попрежнему калечат своих лошадей и ломают свои телеги, так что тяжелая часть перевозки попрежнему лежит на производителях, между тем как она снята с торговцев. Но, конечно, экономисты, принадлежащие, повидимому, к той школе эстетиков, которая признавала только высокое и прекрасное, не снисходят до рассмотрения низких предметов серой производительской жизни. Статистика не отмечает числа испорченных мужицких лошадей и поломанных колес, и поэтому экономисты соболезнуют только о тех возвышенных трудностях, с которыми приходится бороться купеческим капиталам, обращенным на заграничную торговлю; а между тем недурно было бы помнить, что благосостояние всего общества зависит гораздо больше от числа сытых людей и здоровых лошадей, работающих в поле, чем от числа рублей, долларов или фунтов стерлингов, составляющих годовой барыш того или другого первоклассного негоцианта. Поэтому экономистам и всем другим людям, болеющим душою об общественном благе, вовсе не мешало бы от времени до времени переносить свое просвещенное внимание с великих и прекрасных линий железных дорог на низкие и пошлые предметы, называющиеся в просторечии грязными проселками. В них-то именно и заключается вся сила путей сообщения, та сила по крайней мере,

которая может накормить и одеть мужика, научить его уму-разуму и сделать его зажиточным и полезным человеком.

Дороги, реки и каналы страны могут быть названы кровеносными сосудами, в которых обращаются питательные соки общественного организма; все люди, правильно понимающие действительные интересы общества, должны желать, чтобы эти питательные соки обращались как можно равномернее и быстрее, чтобы они не застаивались ни в каком месте кровеносной системы, чтобы нигде не происходило приливов и чтобы ни одна часть страны не страдала малокровием. Любители общественного блага, заграничной торговли и купеческих барышей находят, напротив того, что о быстроте и равномерности внутреннего обращения заботиться не стоит. Они полагают, что счастье страны будет совершенно обеспечено, если окажется возможность вскрыть одну из больших артерий и затем постоянно отсылать за море бочки вытекающей крови. Чем больше можно будет отослать этой крови и чем быстрее она будет притягиваться к ране и вытекать наружу, тем богаче и могущественнее будет становиться весь организм общества. Это сравнение употреблено здесь вовсе не для красоты слога. Не трудно будет доказать, что оно буквально верно. Панегиристы заграничной торговли советуют тем странам, в которых мало развита мануфактурная деятельность, вывозить сырые продукты и обменивать их на иностранные сукна, шелковые и бумажные материи, стальные орудия и всякие другие фабричные произведения. Так делается теперь во многих странах, но панегиристы доказывают, что так и всегда должно делаться, потому что некоторые государства должны быть чисто земледельческими, а другие — промышленными; затем дело считается решенным в теории, и все усилия направляются к тому, чтобы на практике усилить вывоз сырых произведений из тех стран, которым велено быть чисто земледельческими.

Но тут представляется маленькое затруднение. Земля родит хорошо в продолжение нескольких лет, а потом становится скупою, и чем дальше, тем хуже, так что даже оставление земли под паром не поправляет дела. Тогда истощенный участок покидается, и вместо него разработывается полоса новой земли; это разработывание сопряжено с значительными трудностями и только на ограниченный промежуток времени поправляет положение земледельца, потому что новая земля также истощается и начинает отказывать в урожаях. Снова является необходимость распахивать новь, и так продолжается до тех пор, пока не окажется, что вся земля выпахана и истощена. А потом? Потом человеку приходится бежать куда-нибудь вдаль, искать опять новых земель, как бегут американские земледельцы на запад с таких земель, которые только пятьдесят лет тому назад были заселены. Но ведь и запад не бесконечен; придется когда-нибудь добежать до Великого океана и поворотить назад, на опустошенную глушь,

поросшую бурьяном и сорными травами. Вывозить сырой продукт — все равно, что срезывать верхние слои земли и отправлять их за море; срезавши несколько слоев, человек находит, что больше нечего резать, потому что он дошел уже до того грунта, который не дает ему пищи и, следовательно, для продажи за границу также не годится. Нельзя не согласиться с тем, что такой образ действий в народном хозяйстве совершенно соответствует вытягиванию крови из животного организма. Всякому деревенскому свинопасу известно, что земля родит хлеб хорошо тогда, когда ее удобряют; а удобрение есть тот же сырой продукт, прошедший через желудки людей и животных и возвращающийся в землю. Если продукт отправить за границу, то с удобрением приходится проститься. Те хозяева, которые держат скот для удобрения и в то же время отправляют целые обозы зернового хлеба на далекие рынки, утешают себя сладкими, но обманчивыми мечтами. Земля их медленно истощается. Чтобы сохранять и увеличивать свою производительную силу, земля должна получать обратно в виде удобрения весь сырой продукт, снятый с нее при уборке хлеба. Если мы будем давать ей только часть этого продукта, то она будет становиться беднее, хотя, конечно, не так быстро, как в том случае, когда бы мы не возвращали ей ничего. Цветущее земледелие существует только в тех странах, в которых весь сырой продукт перерабатывается и съедается на месте, а это возможно только в тех частях земли, в которых разнообразие занятий и развитие промышленности позволяет людям сдвигаться в тесные группы и устроивать множество мелких центров. Земледелие идет хорошо в Англии, еще лучше в Бельгии и в Северной Германии, т. е. именно в тех странах, в которых всего сильнее развита мануфактурная деятельность. Земледелие идет плохо в России, в Турции, в южных штатах Америки, т. е. именно в тех странах, которые обречены учеными людьми на исключительно земледельческую роль.

Из этого следует заключение, что чисто земледельческая страна, с успехом занимающаяся земледелием, есть чистейший миф. Создание этого мифа, стоящего рядом с законами Мальтуса и Рикардо, делает величайшую честь блестящей фантазии ученых изобретателей, но к явлениям и фактам действительности этот миф относится точно так же, как относятся к ним Оберон и Титания. [20] В действительности есть земли, производящие в изобилии хлеб и ткани, сырые продукты и фабричные изделия, и есть другие земли, которые не производят ничего, кроме сырья, но зато и сырья производят мало. На этих последних землях вовсе не лежит какая-нибудь печать отвержения; они могут также завести у себя мануфактуры, оживить свое население разнообразием занятий и устроить множество мелких центров производства и потребления. Когда они сделают это, тогда и сырье будет рождаться у них в большем количестве, а пока они будут слушать мудрых эконо-

мистов и гнаться только за усилением вывоза, до тех пор им придется только дивиться тому, как это чисто земледельческая страна не может завести у себя порядочного земледелия; чем сильнее и продолжительнее будет упорство в этом направлении, тем полнее будет истощение земли и тем ужаснее будут нищета, невежество и порабощение жителей.

Из всего, что было говорено выше, следует, что пути сообщения полезны тогда, когда пробуждают местную жизнь и содействуют образованию мелких центров. Но путями сообщения может овладеть торговый элемент или какая-нибудь другая сила, развивающаяся из того же общего начала присвоения, — и тогда пути сообщения, проложенные не там, где следует, могут только ускорить движение общества к истощению земли, к подавлению всякой внутренней промышленности и к порабощению жителей, обреченных на вечное однообразие труда и на безвыходную зависимость от наглого произвола торговцев и от беспрерывных колебаний цен на далеких рынках.

XVIII

Чтобы передвигать или перевозить с места на место сырой материал, человеку надо знать только величину и вес его, то есть такие свойства, которые определяются простым свидетельством чувств. Чтобы производить в этом материале механические или химические изменения, необходимо иметь более подробные и специальные сведения о свойствах материи. Поэтому уменье перерабатывать сырой материал развивается в человеческих обществах уже тогда, когда существуют перевозочные средства и пути сообщения. В самом грубом быте дикарей проявляется уже способность изменять форму материи, но эти зародыши ремесленной деятельности относятся к высшим видам развитой промышленности точно так же, как начатки варварского земледелия относятся к подвигам научной агрономии. Дикарь умеет добыть себе огня трением двух кусков дерева; он умеет изжарить кусок мяса или сварить пойманную рыбу; он умеет превратить палку в лук и заострить оконечность твердого кремня; но все эти операции скользят по поверхности материи, производят в ней незначительные изменения и доставляют дикарю очень ограниченную власть над окружающею природою. Дикарь убивает зверя тяжелым камнем, но он не знает, что в этом самом камне заключается железная руда и что из этой руды можно сделать топор, которым очень удобно можно будет убивать зверей и рубить деревья. Поваливши зверя, дикарь сдирает с него шкуру и набрасывает ее себе на плеча, но он опять-таки не знает, что шерсть, покрывающая шкуру, может быть переработана в такую материю, которая гораздо удобнее самой шкуры может служить одеждою. Кроме

того, дикарь не знает, что шкуру можно выделать и превратить в кожу, которая доставит очень удобную обувь.

Таким образом, звериная кожа, способная дать дикарю суконный плащ и сапоги, дает ему только какую-то неуклюжую и неудобную накидку. Силы природы остаются под спудом, потому что у дикаря нет тех сведений о свойствах материи, которые необходимы для того, чтобы вызвать эти силы к целесообразной деятельности. Те немногие и незначительные изменения, которым дикарь умеет подвергать сырой материал, требуют от дикаря больших усилий и дают ему ничтожные результаты; много времени и труда уходит на перемещение материи и так же много на перемены формы, так что на самое важное дело человека, на обрабатывание и улучшение земли, единственного источника всякого богатства, дикарь может употреблять очень мало времени и физических усилий.

Улучшение перевозочных средств уменьшает трудности передвижения, а улучшение механических и химических процессов производства точно так же уменьшает трудности превращения. Вся масса сберегаемой силы должна тогда обращаться на землю, и это увеличение в средствах обработки должно вести за собою соответствующее приращение в количестве сырого продукта. На мельнице вода, ветер или пар превращают зерно в муку и выполняют таким образом ту работу, которую прежде должны были совершать тысячи человеческих рук или сотни лошадиных сил; в это время освобожденные люди и лошади могут прилагать свой труд более производительным образом, увеличивая количество того зерна, которое должно быть превращаемо в муку. Приложение паровой силы к прядильной машине и к усовершенствованному ткацкому станку дает возможность шести женщинам превращать в ткань такое количество шерсти, которое сто лет тому назад, в тот же промежуток времени, требовало для своей переработки усиленного труда нескольких сот мужчин; эти освободившиеся работники могут посвятить свои силы тщательному уходу за скотом, могут улучшить породу овец обильным и отборным кормом и могут таким образом значительно увеличить то количество шерсти, которое должно быть превращаемо в ткань.

Усовершенствование механических и химических процессов, сберегающее ту рабочую силу, которая должна была употребляться на переработку материала, ведет за собою, кроме того, сбережение в той массе сил, которая тратилась на перемещение. Положим, что страна производит хлеб и железную руду; если она будет отправлять за границу то и другое, то на перевозку этого сырья потребуется много повозок, вагонов или кораблей, потому что хлеб и руда занимают много места и представляют, сравнительно с своею ценностью, очень громоздкий и тяжелый груз. Но если хлебом кормить дома работников, которые будут превращать руду в полосное или листовое железо, то этот новый продукт может быть

отправлен на меньшем количестве повозок, между тем как ценность его будет соответствовать ценности руды, сложенной с ценностью съеденного хлеба. Если листовое и полосное железо будет превращено внутри страны в стальные ножи, то ценность этих ножей будет также соответствовать ценности употребленного железа, сложенной с ценностью того хлеба, который съедят новые работники, а для перевозки ножей потребуется еще меньше повозок, чем сколько требовалось для перевозки листового и полосного железа.

Если мы подумаем теперь, сколько повозок надо было бы употребить для вывоза железной руды и всего хлеба, съеденного всеми работниками, и если мы сравним это количество с тем, которое потребуется для вывоза ножей, сделанных из той же массы руды, то мы увидим, что первое количество по крайней мере в двадцать раз больше второго. Это докажет нам, что всякая переработка сырого продукта на месте сберегает огромную массу сил, которые иначе пришлось бы издержать на перевозку. Руда и хлеб комбинируются между собою и сжимаются в форму ножей, которые можно везти на край света. Точно так же шерсть и хлеб сжимаются в форму сукна, хлопок и хлеб — в форму кисеи, лен и хлеб — в форму полотна или кружева, и при всех этих операциях постоянно сберегается значительное количество перевозочной силы; а так как всякая трата труда на перевозку сама по себе непроизводительна, то всякое сбережение в этом деле приносит обществу чистую выгоду.

Эти соображения составляют также довольно увесистый аргумент против мечтателей, превозносящих вывоз сырья и прелести исключительного земледелия. В Великобритании все паровые машины, вместе взятые, заменяют собою ручной труд шестисот миллионов людей, и бо́льшая часть этих машин употребляется на сжимание хлеба и шерсти в сукно, хлеба и хлопка в разные ткани, хлеба, угля и руды в стальные орудия; можно себе представить, сколько человеческой силы сберегается для земледелия и для изучения свойств природы; если далеко не вся масса сбереженной силы употребляется производительно, то в этом виноваты уродливые условия английского землевладения и распределения имуществ, то есть такие обстоятельства, которые завещаны настоящей эпохе теми мрачными временами, когда элемент присвоения не встречал себе никакой задерживающей плотины.

XIX

Чем сильнее развивается в каком-нибудь обществе способность переработывать сырой материал на месте, тем большее количество даров природы находит себе полезное употребление. Одинокий поселенец всегда беден и, кроме того, по необходи-

мости расточителен. Чтобы расчистить себе несколько акров или десятин земли, он часто сжигает сотни деревьев; этот обычай до сих пор существует в наших северных губерниях и в американских поселениях на далеком западе; зола сожженных деревьев идет на удобрение земли, между тем как в заселенной и промышленной земле все составные части дерева нашли бы себе полезное приложение: ствол превратился бы в доски, кора пошла бы на дубление кожи, и даже тонкие ветки нашли бы себе душеспасительное педагогическое применение. В бедном поселении изношенные тряпки выбрасываются, а в промышленном городе они идут на выделку бумаги; гвозди, выскакивающие на улицах из подков лошадей, превращаются в ружейные стволы; медные опилки употребляются на приготовление краски, обрезки кожи — на производство клея, кости мертвых животных — на очистку сахара; из уличных нечистот добывается аммониак, составляющий одну из составных частей нашатырного спирта. Словом, в больших и промышленных городах не теряется почти ни одна частица материи; здесь деятельность и изобретательность людей повторяет в меньших размерах то вечное круговращение вещества, которое составляет собою жизнь природы. Разнообразие занятий дает возможность каждому отдельному человеку проявить свои индивидуальные способности в соответствующей им форме деятельности, и это же самое разнообразие занятий позволяет одной отрасли промышленности извлекать пользу из тех, повидимому, негодных остатков и обрезков, которые выбрасываются ремесленниками другой отрасли. Таким образом, сильно развитое уменье производить механические и химические изменения в форме вещества распределяет самым выгодным образом как человеческие силы, так и частицы сырого материала.

Те земли, в которых мануфактурная промышленность доведена до высокой степени совершенства, несут, конечно, свою долю страданий, произведенных элементом присвоения, но положение этих земель, по всей справедливости, может быть названо счастливым, если мы сравним его с участью тех стран, в которых свирепствует исключительное земледелие. Как ни тяжела жизнь английского или бельгийского пролетария, она все-таки показалась бы легкою негру, работающему на сахарных плантациях Ямайки или разводящему хлопок в Каролине. В чисто земледельческих южных штатах силы человека тратятся самым нерасчетливым образом, и рабство держится в них именно потому, что отсутствие разнообразия в занятиях лишает работника всякой возможности применять к производству силы своего мозга. Человек делает то, что мог бы делать вол, но так как самый глупый человек умнее самого умного вола и так как самый сильный человек слабее самого слабого вола, то, очевидно, заменять рабочий скот людьми чрезвычайно невыгодно, потому что значительнейшая доля человеческой силы (мозг) остается незанятою и теряется даром, между

тем как призывается к деятельности та часть человеческого организма (мускулы), которая в человеке слабее, чем в каждом из вьючных животных. Плантатор, распоряжающийся таким образом с своими неграми, похож на охотника, который легавую собаку пустил бы в погоню за зайцем, а борзую заставил бы отыскивать дичь. Было бы неосновательно думать, что плантаторы чувствуют особенную нежность к рабству и к такой методе земледелия, которая истощает почву; они сами попали в заколдованный круг; тираническое господство английской торговли поддерживало у них исключительное земледелие; исключительное земледелие, как и всякое однообразие занятий, мешало ассоциации человеческих сил и тесному группированию населения; разбросанность населения не позволяла людям побеждать те препятствия, которые встречают земледельца на богатой почве долин и речных берегов; необходимость ограничиваться обработкою тощей земли холмов поддерживала бедность; бедность мешала усовершенствованию орудий; плохие орудия укрепляли рутину земледельческих приемов; рутинные приемы вели к отупению работника; тупой работник мог очень легко быть заменен рабом; а когда рабство пустило свои корни, тогда потерялась всякая возможность освободиться от торгового ига Англии и завести свои мануфактуры. Вызванное к жизни бедностью и рутиною, рабство в свою очередь сделалось самым твердым оплотом рутины и бедности; заколдованный круг оказался таким образом замкнутым, и он может быть разбит только таким событием, которое, как теперешняя американская война, [21] не зависит ни от плантаторов, ни от их негров, ни от торговых оптиматов [22] Англии.

Где нерасчетливо тратится высший вид материи, заключающийся в человеческих силах, там тратится так же нерасчетливо низший вид материи, состоящий в разнообразных сырых продуктах почвы. Во всех исключительно земледельческих странах природа каждый год формирует и каждый год разрушает огромное количество такого материала, который при надлежащей обработке мог бы доставить человеку множество разнородных удобств жизни. В южных штатах стебли хлопчатника сжигаются на плантациях, между тем как в них заключаются превосходные волокна, из которых можно было бы сработать отличные ткани. Семена этого растения могли бы дать большое количество масла, но об нем никто не заботится. Бананы, кроме плодов, могут давать с каждого акра от девяти до двенадцати тысяч фунтов волокна, которое годится на всякое производство, начиная от выделки канатов и кончая фабрикациею тончайшей кисеи; и никто этим не пользуется в такой стране, в которой рабочий класс ходит почти в первобытной наготе. Почва плантаций истощается до последних пределов тупым упорством распорядителей, добывающих постоянно один и тот же продукт: хлопок, или сахарный тростник, или рис, или кофе; а в это самое время оставляются

без всякого внимания сотни деревьев, кустарников и трав, которые природа производит даром и которые дают или волокна, годные для пряжи, или превосходные красильные вещества. Рутина ничего не видит и портит все, что попадается ей в руки; а рутина совершенно неизбежна в чисто земледельческих странах, потому что предприимчивость вызывается только разнообразием занятий.

Развитие механических и химических процессов, превращающих сырой материал в предмет, годный для потребления, или в орудие, облегчающее дальнейшее производство, составляет для общества важнейший шаг вперед — к богатству, к свободе и к мирному наслаждению разумною трудовою жизнью. Человеческая личность развилась всего роскошнее и выбилась из-под средневекового гнета феодалов всего полнее именно в тех странах, в которых развернулась разнообразная ремесленная деятельность. Эпоха освобождения и возвышения человеческого достоинства совпадает везде с эпохою пробуждения технической изобретательности и предприимчивости. Человек, начинающий чувствовать себя властелином природы, не может оставаться рабом другого человека. Но элемент присвоения, отравивший торговлю и извращающий в свою пользу пути сообщения, не может и в этом случае оставаться в бездействии. Когда сделано какое-нибудь открытие, то близорукие люди стараются прежде всего не о том, чтобы обратить это открытие против инертного сопротивления природы, а о том, чтобы сделать из него оружие против тех людей, которым оно неизвестно или недоступно. Положим, что в одной земле открыта возможность прилагать силу пара к производству тканей; эта земля родит лен; сделанное открытие даст средства производить огромное количество полотна, употребляя на эту работу малое количество труда; стало быть, труд сберегается и может быть приложен к дальнейшему усовершенствованию в разведении льна. Кроме того, жители страны становятся богаче, потому что каждый из них вместо одной рубашки может приобрести себе дюжину. Так *должно* быть, но *бывает* совсем не так. Люди, разжившиеся торговлею, тотчас заводят себе новые машины, а те люди, которые не могут завести машин, принуждены покупать полотно почти по той цене, по которой оно продавалось до изобретения и применения паровых двигателей. Прежде в стране было множество ткачей, работавших на ручных станках, в свою собственную пользу; теперь обладатели машин совершенно отбивают у них работу; они, обладатели машин, понижают цену полотна как раз настолько, насколько нужно, чтобы убить мелкую промышленность, но совсем не настолько, насколько они, без убытка себе, могли бы понизить цену вследствие облегчений, произведенных новым открытием.

Таким образом, роковой удар, нанесенный мелким производителям, вовсе не уравновешивается тою ничтожною пользою, которую получают потребители. Вся выгода валится в карман посред-

ника, стоящего между производителем, т. е. поденщиком, работающим на фабрике, и потребителем, т. е. человеком, покупающим полотно. Если бы человеческий труд в данной стране распределялся по различным отраслям производства совершенно расчетливо, так, чтобы не терялись ни время, ни способности работников, тогда, конечно, ткачи, принужденные оставить свои ручные станки, могли бы тотчас приняться за земледелие и обогатить страну приращением сырого продукта. Но в действительности бывает сплошь и рядом так, что одни работники голодают от недостатка работы, между тем как несколько других отраслей промышленности в той же стране могли бы много выиграть, если бы привлекли к себе большее количество рабочих рук. Ланкаширские работники сидят без дела вследствие недостатка хлопка [23] и терпят крайнюю степень нужды, а между тем земля Англии все еще далеко не так хорошо обработана, как того требует современное положение агрономической науки. А происходит такая неурядица оттого, что и мануфактурист и землевладелец стараются извлечь свои барыши и ренты не из природы, а из тощих кошельков потребителей и из того куска хлеба, который они бросают производителю. Об увеличении количества и об улучшении качества продукта заботятся очень немногие капиталисты, а возвысить цену своих произведений и понизить задельную плату работников стараются все. Но кошельки покупателей могут быть истощены, и желудки работников также только до известной степени способны переносить лишения; между тем богатство и силы природы совершенно неистощимы. Кто борется с природою, тот обогащает и самого себя и всех окружающих людей; кто обирает людей дозволенными или недозволенными средствами, тот разливает вокруг себя бедность и страдание, которые непременно, рано или поздно, тем или другим путем доберутся и до него самого.

Если внутри каждой промышленной страны происходит постоянная борьба между перепутанными интересами различных людей, содействующих производству, то, конечно, та же бесплодная и гибельная борьба, в бо́льших размерах и с бо́льшим ожесточением, разыгрывается во всех международных промышленных сношениях. Та страна, в которой открыто средство ткать полотно паровыми машинами, будет употреблять все усилия, чтобы помешать другой стране, производящей шелк, в применении новых машин к выделке атласа, тафты и других материй. Между тем обеим странам было бы положительно выгодно, если бы в одной производилось как можно больше полотна, а в другой как можно больше шелковых тканей. Обмен между обеими землями усилился бы, и жители обеих земель могли бы пользоваться в изобилии бельем и шелковым платьем. Но международною торговлею и фабричною промышленностью управляют не жители, а капиталисты, которые, по своему неведению, воображают себе, что им нет никакого дела до общего уровня народного благосостояния.

Неведение капиталистов внушает им своеобразные расчеты и предвзятые идеи, которым эти джентльмены служат с непоколебимым постоянством и иногда с изумительным самоотвержением. Капиталисты, затратившие свои капиталы на сооружение фабрик, воображают себе, что им необходимо переработывать на своих фабриках весь сырой продукт, получающийся с полей, лесов, стад и рудников всего мира. Пусть обитатели всего земного шара занимаются земледелием, скотоводством и добыванием руды; пусть все это сырье везут к нам, в наш маленький уголок; за все это мы сами будем давать такую цену, какую захотим; потом мы сами все это переработаем на наших фабриках, нашими неизмеримо-могущественными машинами, и, наконец, пусть обитатели всего земного шара покупают у нас все, что им нужно для одежды, все, что им нужно для украшения и комфорта, все, что им нужно для работы, начиная от железного гвоздя и кончая паровым локомотивом. Чем меньше будет фабрик и чем больше они будут централизованы, тем бесконтрольнее будет наше господство над миром. Мы всем и всему будем назначать цены; от нас будет зависеть и плантатор, разводящий хлопок, и работник, нанимающийся на нашу фабрику, и всякий человек, желающий купить платье или орудие. Захотим помиловать — помилуем; захотим без хлеба оставить — оставим; все это будет в наших руках, и власти нашей не будет предела. Вот чего желают, вот о чем по крайней мере мечтают все капиталисты; эти золотые грезы понемногу осуществляются; Англия, классическая страна капитала, действительно держит в крепостной зависимости производителей многих плодородных и обширных земель. Ирландия, Португалия, Турция, Ост-Индия, Вест-Индия, южные штаты, Бразилия продают ей свои сырые продукты и покупают у нее каждый лоскут материи и каждый обделанный кусок железа по той цене, которую ей заблагорассудится назначить. Внутри самой Англии тысячи рабочих рук находятся в полном распоряжении капиталистов; тысячи желудков, соответствующих этим рукам, ожидают от них манны небесной и, по желанию тех же капиталистов, могут быть поражены всеми язвами египетскими. Мечта таких капиталистов была бы совершенно осуществлена, и блаженство этих столпов отечества было бы безоблачно, если бы только им удалось подорвать все фабрики, существующие во Франции, в Бельгии, в Германии и в других странах, не пожелавших ограничиваться поставкою сырья в Англию. К этой-то цели и направляются усилия всех капиталистов всех наций. Подорвать иностранных соперников и отбить у них выгодный рынок — это считается подвигом просвещенного патриотизма, хотя от этого подвига не выигрывает никто, кроме капиталистов. Они понижают цены на свои произведения, работают себе в убыток, несут огромные потери, а потом, подорвавши иностранную промышленность, опять возвышают цены и с избытком вознаграждают себя за пожертвования, положенные

на алтарь отечественной славы. Вся тяжесть этих патриотических операций обрушивается, конечно, на работников, которым никогда не удается полакомиться их сладкими последствиями. Когда фабрика работает себе в убыток, тогда хозяин понижает задельную плату, а когда фабрика приносит двойные барыши, тогда хозяин радуется и кладет деньги в карман.

Вся эта система вечной войны между трудом и капиталом описана очень ярко в следующей речи, произнесенной несколько лет тому назад в Бредфорде, в Йоркшире, по поводу выборов:

«Эта система основана на иностранной конкуренции. Теперь я утверждаю, что принцип «покупай дешево, продавай дорого», сталкиваясь с иностранным соперничеством, ведет к разорению рабочих и мелких торговцев. Почему? Труд есть творец всякого богатства. Человек должен трудиться, прежде чем будет выращено одно зерно или соткан один ярд материи. Но в этой стране работнику негде работать на себя. Труд отдается внаем, труд покупается и продается на рынке; следовательно, так как труд создает всякое богатство, то труд должен быть куплен прежде всего. «Покупай дешево, покупай дешево!» Труд куплен на самом дешевом рынке. Тогда начинается другая история: «Продавай дорого, продавай дорого!» Продавай — что? Продукт труда. Кому? Иностранцу — ай! и самому работнику. Так как труд несамостоятелен, то работник не принимает участия в выгодах, добытых его же усилиями. Покупай дешево, продавай дорого! Как вам это нравится? Покупай дешево, продавай дорого! Покупай труд работника дешево и продавай этому же самому работнику продукты его же собственного труда дорого. Таким образом, каждая сделка между нанимателем и наемником оказывается со стороны первого рассчитанным обманом. Труду приходится терпеть постоянную потерю, для того чтобы капитал мог разрастаться от вечного надувательства. Но на этом система не останавливается. Приходится выдержать иностранное соперничество, т. е., другими словами, мы должны разорить торговлю других стран, как разорили труд нашей собственной страны. Как тут быть? Страна, платящая большие налоги, должна подорвать такую, которая платит малые налоги. Конкуренция за границею постоянно увеличивается, стало быть, дешевизна должна также увеличиваться. Надо, стало быть, чтобы задельная плата в Англии постоянно понижалась. А как устроить ее понижение? Излишком рабочей силы. А чем они производят излишек рабочей силы? Монополией земли, которая гонит на фабрику больше рук, чем сколько их требуется; монополией машин, которые выбрасывают эти руки на улицу; женским трудом, который прогоняет мужчину от станка; детским трудом, который в свою очередь прогоняет женщину. Тогда, наступив ногою на всю эту живую кучу излишка, они придавливают ее каблуком и кричат: «Голодная смерть! Кто хочет работать? Лучше похлебка, чем совсем ничего!» И изму-

ченная толпа жадно хватается за их условия. Такова эта система в отношении к работнику. Но как действует она на вас, избиратели? Какое влияние производит она на домашнюю торговлю, на лавочника, на сбор в пользу бедных и на другие налоги? Каждому возрастанию конкуренции за границею должно соответствовать увеличение дешевизны дома. Дешевизна труда увеличивается вследствие излишка рабочих рук, а этот излишек получается посредством усиления машин. Я спрашиваю еще раз: как это действует на вас? Вот этот манчестерский либерал устроивает новую машину и за ненадобностью выбрасывает триста человек из фабрик на улицы. Лавочники! Триста покупателей убавилось. Плательщики! Триста бедных прибыло. Но заметьте! На этом зло не останавливается. Эти триста человек понижают задельную плату тех людей, которые остаются за работою. Хозяин говорит: «Теперь я убавляю вам плату». Люди упираются. Тогда он прибавляет: «Вы видите этих триста человек, которые только что ушли отсюда? Вы можете поменяться с ними местами, если хотите; они прибегут сюда на каких угодно условиях, потому что им приходится голодать». Люди чувствуют это и покоряются. Ах вы, манчестерский либерал! Фарисей из политиков! Эти люди слушают— добрался ли я до вас? Но зло и тут не останавливается. Люди, потерявшие работу, ищут себе занятий в других отраслях промышленности и везде понижают задельную плату своим появлением».

Из приведенного отрывка ясно, что усовершенствования в химических и механических процессах переработки очень часто приносят массе общества значительный вред, потому что эти усовершенствования всегда монополизируются теми самыми людьми, которые конфисковали в свою пользу все удобства и наслаждения жизни. Увеличивая могущество одних и бессилие других, открытия и изобретения увеличивают неравенство и порабощение. Если бы такое положение вещей не носило в самом себе зародыша разрушения, если бы можно было думать, что оно прочно и устойчиво, тогда надо было бы сознаться, что каждое наше открытие, улучшающее оружие монополистов, есть новое бедствие, обрушивающееся на нашу породу. Теперь всеми сделанными открытиями пользуется ничтожное меньшинство, но только очень близорукие мыслители могут воображать себе, что так будет всегда. Средневековая теократия упала, феодализм упал, абсолютизм упал; упадет когда-нибудь и тираническое господство капитала.

XX

Ремесленники и фабричные работники посредством разных химических и механических процессов изменяют форму того сырого материала, который так или иначе производит земля. В большей части случаев человек до сих пор делает очень мало для увеличе-

ния производительных сил земли. Роль земледельца почти везде ограничивается тем, что он приводит землю в соприкосновение с семенами и потом, через несколько месяцев, берет себе то, что выросло на ниве. Сколько сырого материала произведет земля и какого качества будет этот материал — это такие вопросы, на которые земледелец не сумеет дать определенного ответа. Мельник знает, сколько пудов муки выйдет из четверти зернового хлеба, и ткач знает, сколько аршин полотна он может выткать из данного количества пряжи, но земледелец, бросивший свои зерна в землю, находится скорее в положении игрока, взявшего лотерейный билет, чем в положении ремесленника, способного высчитать будущие результаты своего труда. Что даст земля, что даст погода — то и возьмет земледелец; успех его труда зависит от стечения многих благоприятных условий; успеху этому могут повредить множество случайных препятствий; зерно, положенное в землю, должно испытать не один видоизменяющий процесс, а целый ряд таких процессов, и этот длинный ряд видоизменений должен тянуться в продолжение нескольких месяцев. Чтобы управлять этими процессами, совершающимися в таинственных лабораториях природы, земледельцу необходимо обладать множеством сложных знаний, а так как до сих пор земледелие повсеместно находится в руках людей очень бедных и совершенно невежественных, то, разумеется, все процессы, относящиеся к созиданию сырых материалов, совершаются как придется, по воле прихотливой судьбы и коварных стихий.

Земледелие зарождается в самой глубокой древности, в то время, когда фабричная промышленность совершенно не существует; но, зародившись так рано, земледелие останавливается на очень низкой степени развития и начинает совершенствоваться только тогда, когда между людьми существует уже привычка к общественной жизни, значительное разнообразие занятий и деятельное движение идей. Торговля, пути сообщения, многочисленные и разнородные фабрики должны познакомить человека со многими прекрасными результатами разумного труда и ассоциации и со многими печальными явлениями присвоения и раздора, прежде нежели появится мысль о рациональном земледелии. Исцарапать землю заступом или плугом и засыпать борозды хлебными зернами может всякий дикарь, и мы действительно видим, что этими работами занимаются такие люди, которые отличаются от дикарей только платежом денежных или натуральных повинностей. Но чтобы довести шансы неурожаев до самой незначительной величины, чтобы обратить азартную игру земледелия в верное ремесло, чтобы развернуть и вызвать к деятельности скрытые силы земли, — человеку необходимо знать особенности различных слоев земной коры, химические свойства составных частей почвы, условия жизни растительного организма, нравы насекомых, которые могут вредить посеву, признаки,

по которым можно судить об атмосферических изменениях, степень зависимости этих изменений от гор, рек, лесов и других особенностей местоположения, степень влияния этих изменений на посевы и множество других одинаково важных подробностей. Физика, химия, геогнозия, метеорология, энтомология, физиология животного и растения находят себе непосредственное приложение к земледелию; бо́льшая часть этих наук возникли очень недавно; обе их стороны, теоретическая и прикладная, разработаны еще очень неудовлетворительно; круг распространения знаний вообще и естественных наук в особенности чрезвычайно тесен; истины, открытые в лаборатории, проникают в мастерскую очень медленно и применяются к фабричному производству очень нерешительно; еще медленнее пробираются они к земледельцу, работающему в поле, и еще нерешительнее относится к ним практика сельского хозяйства.

В последнем случае медленность и нерешительность доходят до таких крайних пределов, что рациональная агрономия в передовых странах Европы представляется до сих пор чем-то вроде затейливого эксперимента, не успевшего упрочить себе никакого значения в промышленной практике. Английские экономисты, например Мак-Куллох, утверждают до сих пор, что выгоднее заниматься мануфактурным производством, чем земледелием, на том основании, что «нет пределов дарам природы в мануфактурных изделиях; напротив того, есть пределы, и не слишком отдаленные, ее дарам в земледелии». Эта чрезвычайно странная мысль подкрепляется следующим рассуждением: «Самый огромный капитал может быть истрачен на сооружение паровых машин, и когда число их будет увеличено безгранично, то последняя машина будет так же сильна, как первая, и будет производить столько же продуктов и сберегать столько же работы. В отношении к земле вопрос ставится совершенно иначе. Земли первого сорта оказываются быстро истощенными; и если мы будем прилагать безграничные массы капитала даже к лучшим землям, то непременно будем получать с капитала постоянно уменьшающееся количество процентов» (Mac Culloch. Principles of Political Economy, p. 166). *

Я привел эти умозрения не для того, чтобы их опровергать: они уже, вероятно, опровергнуты в уме читателя тем простым аргументом, что самая отличная паровая машина не может произвести ни одного клочка шерсти или хлопчатой бумаги и что она приносит пользу только тогда, когда есть сырой материал, произведенный землею посредственно (как шерсть) или непосредственно (как хлопок). Стало быть, если есть известные пределы производительности земли, то на этих же самых пределах должна останавливаться и деятельность машин. Но важно и любопытно заметить, как несокрушимо экономист уверен в том, что произво-

* Мак-Куллох. Основы политической экономии, стр. 166. — *Ред.*

дительные силы земли ограничены. Эта уверенность возникает и поддерживается в таких мыслителях совершенно независимо от свидетельств естествознания; она существует даже наперекор этим свидетельствам. Если же целая доктрина, поддерживаемая такими людьми, которых многие считают умными и учеными, может говорить о земледелии и при этом оставлять совершенно в стороне современные попытки и будущие осмысленные надежды рациональной агрономии, то это, очевидно, доказывает, что истины, выработывающиеся в лабораториях и кабинетах натуралистов, плохо проникают даже в смежные кабинеты других ученых и в миросозерцание той части общества, у которой есть лоск образования и досуг для размышления. Знания распределяются чрезвычайно неравномерно между различными слоями человеческих обществ; в низшие слои они проникают туго, а оставаясь в верхних слоях, они часто превращаются в красивую игрушку, развлекающую праздный ум, но неспособную помогать какой бы то ни было производительной работе. В одной части общества лежит масса бесполезного знания, а в другой части в это же самое время напрягаются человеческие силы до болезненного истощения, — напрягаются в слепом, рутинном и, следовательно, неблагодарном труде. Соедините знание и труд, дайте знание тем людям, которые по необходимости извлекут из него всю заключающуюся в нем практическую пользу, и вы увидите, что богатства страны и народа начнут увеличиваться с невероятною быстротою.

К сожалению, в этой разрозненности труда и знания, проявляющейся в жалком состоянии современного земледелия, нет ничего случайного. Эта разрозненность служит верным симптомом и является неразлучным спутником слабости общественного движения. Где население разбросано по большому пространству земли, где все жители поневоле принуждены добывать себе хлеб первобытными приемами грубого земледелия, где нет разнообразия занятий, там не может быть и обмена продуктов, потому что нечего и не на что обменивать; там не может быть и путей сообщения, потому что нечего, некуда и незачем возить; там не может быть и живого обмена идей, потому что идеи такого общества так же однообразны, как его материальные продукты; когда исторические события выдвигают среди такого населения на первый план группу предприимчивых и задорных личностей, то этим личностям бывает очень легко справляться с разбросанными, тупыми и невежественными обитателями страны. Эта выдвинувшаяся группа налагает на остальную массу произвольную дань и монополизирует в свою пользу материальные удобства и наслаждения, право носить оружие и любить отечество, право возмущаться оскорблениями и воспитывать в груди преувеличенное чувство собственного достоинства, право совершать чудеса храбрости и изумлять потомство громом исторических подвигов. С течением времени эти монополизированные права изменяются, добыча, приобретаемая

собиранием дани и войною, порождает роскошь и нечувствительно разнеживает непреклонные сердца героев, так что потребности их становятся менее кровожадными и более утонченными; герои начинают наслаждаться произведениями искусств и наполняют свои досуги рассуждениями о высоких и прекрасных предметах; возникает официальная и официозная наука, рождается на свет патентованная поэзия; мир обогащается великодушными меценатами и вдохновенными творцами од, элегий, дифирамбов, картин, статуй, портиков и мавзолеев. Историк с свойственным ему просвещенным и человеколюбивым восторгом повествует о смягчении нравов, о процветании наук и искусств, о приближении золотого века и о том, как роскошно развертываются самые блестящие способности человеческого ума.

Но все эти прелести, восхищающие растроганного историка, относятся только к выделившейся группе, которая сначала обладала монополией военной доблести, а потом так же исключительно стала пользоваться монополией эстетического развития и умственной деятельности. Массе непросвещенной черни, грубой толпе тупых и невежественных людей безраздельно предоставлялось воинами, и точно так же предоставляется мыслителями и художниками, полное и неотъемлемое право работать, как прикажут, и платить, сколько потребуют. Выделившаяся группа похожа на маленькую статуэтку, а грубая масса — на огромную глыбу гранита; статуэтка стоит на глыбе; статуэтку обтачивают и шлифуют; ею восхищаются и любуются; она изменяет свой вид, и эти изменения тщательно записываются в большую книгу, которая называется историею. Ряд этих изменений называется прогрессом и несказанно радует всех людей, одаренных добродушием и человеколюбием; а в это время глыба лежит себе смирно и позволяет себе только обрастать мохом, что также доставляет немалое удовольствие обожателям старины и любителям дикой прелести. Прогресс относится до сих пор к очень незначительной части человечества; знания и идеи двигались в разных салонах и применялись к тому или другому ремеслу только тогда, когда такое применение могло быть выгодно для одного из обитателей этих салонов. Фабричная промышленность опирается на физику, химию, механику, но фабричный работник так же мало знает эти науки и так же мало может пользоваться их результатами, как тот клапан паровой машины, который этому работнику приходится постоянно открывать и закрывать. Работник оказывается бессознательным орудием в руках фабриканта, обладающего вещественным и умственным капиталом; работник настолько же заинтересован в общем успехе предприятия, которому он содействует, насколько какой-нибудь наполеоновский солдат, дравшийся при Аустерлице, был заинтересован в династических замыслах своего полководца; предоставленный своим собственным наклонностям, наполеоновский солдат оказался бы человеком самым миролюбивым; выпу-

щенный из-под направляющего контроля фабриканта, работник перестал бы производить предметы роскоши и совершать чудеса современной промышленной техники. Предметы роскоши не нужны покуда ни самому работнику, ни подобным ему людям, а чудеса техники до сих пор еще слишком превышают общий уровень его умственного развития. Работник есть кусок той chair à canon, * которая расходуется в промышленной войне, называющейся внутреннею и международною конкуренциею. Ожесточенность этой промышленной войны, приводящей в движение сотни колоссальных машин, тысячи рабочих рук и десятки изобретательных мозгов, вовсе не может служить мерилом благосостояния страны и доказательством развитости ее жителей.

Чтобы судить о богатстве и образовании работающих масс, надо наблюдать их тогда, когда они сами задают себе работу и сами, в свою собственную пользу, выполняют заданный себе урок. Масса населения везде занимается земледелием, т. е. непосредственным добыванием пищи, с тех самых пор, как возникли и укрепились привычки оседлой жизни. С успехами земледелия связано теснейшим образом все материальное и умственное благосостояние трудящейся массы, составляющей лучшую, значительнейшую и необходимейшую часть всякого человеческого общества. Земледелие во всех странах земного шара находится до сих пор в младенческом состоянии; в одном месте оно идет лучше, в другом хуже, но нигде общий уровень его не может удовлетворить самым снисходительным требованиям агрономической науки; в совершенном соответствии с жалким положением земледелия находится уровень материального довольства и интеллектуального развития масс; где земледелие идет лучше, там и масса меньше голодает и меньше поражает наблюдателя своим невежеством; где земледелие идет хуже, там оказывается все безобразие нищеты и вся грязь невежества и вынужденной порочности. Но так как земледелие везде идет неудовлетворительно, то и масса везде живет бедно и мыслит плохо. Мы даже привыкли в этом отношении удовлетворяться малым и обнаруживать таким образом в деле меньшей братии похвальную умеренность требований. Мы непритворно восхищаемся, когда читаем в путешествиях или в статистических сочинениях, что в том или в другом государстве бо́льшая часть жителей или даже все жители умеют читать и писать. Конечно, это хорошо, но если восхищаться такими вещами и считать их крайнею целью грез и желаний, то это значит ставить развитию масс очень узкие рамки, это значит мириться с тою перспективою, что наука, искусство, мысль, в самом высоком значении этого слова, навсегда будут составлять аристократическую привилегию ничтожного меньшинства. Точно будто масса состоит не из людей, а из орангутангов и точно будто бы широкое и полное умствен-

* Пушечное мясо *(франц.)*. — *Ред.*

ное образование помешает человеку сеять хлеб или ткать холстину!

Соглашаясь таким образом урезать и сузить умственное развитие масс, довольствуясь для них грамотою, главными молитвами и четырьмя правилами арифметики, мы сами обрекаем современные общества на хилость и дряблость и сами роем перед нашею прославленною цивилизациею ту яму, в которую свалились уже в былое время многие цивилизации древнего мира.

XXI

Все погибшие цивилизации успели выработать себе военное сословие, торговлю, дороги и корабли, науку, искусство и промышленную технику. Вавилония, Персия, Египет, Греция, Рим записали в историю воспоминание о многих победах, открыли несколько торговых путей и оставили отдаленнейшему потомству несколько удивительных образчиков зодчества, скульптуры, поэтического творчества или исторического изложения. Но ни одна из этих погибших цивилизаций никогда, в самый цветущий период своего существования, не доходила до рационального земледелия. Можно даже, не боясь ошибиться, утверждать положительно, что если бы та или другая из этих цивилизаций доработалась до рационального земледелия, то эта цивилизация пережила бы все остальные и, наверное, продолжала бы развиваться и совершенствоваться до наших времен. Внешние проявления тех болезней, от которых погибли древние цивилизации, чрезвычайно различны, но существенный и основной характер этих болезней везде и всегда остается неизменным. Везде и всегда цивилизации гибнут оттого, что плоды их растут и зреют для немногих. Немногие наслаждаются, немногие размышляют, немногие задают себе и разрешают общественные вопросы, немногие открывают мировые законы, немногие узнают о существовании этих законов и опять-таки немногие в пользу немногих прилагают к промышленному производству открытия и изобретения, сделанные также немногими, воображавшими себе в простоте души, что они работают для всех. А в это время, в славное время процветания наук и искусств, массы страдают, массы надрывают свои силы, массы своим нелепым трудом истощают землю, массы медленно роют в поле могилы для себя и для своего потомства, и действительно массы беднеют, тупеют, вымирают, и роскошный цвет цивилизации вянет, потому что корень оказывается подгнившим.

Этот бесплодный, поверхностный и недолговечный характер цивилизаций выражается в самых разнообразных исторических формах; иногда мы видим его в теократическом господстве жрецов, в другой раз — в завоевательных стремлениях политики,

далее — в несоразмерном развитии внешней торговли, потом — в фабричной деятельности, далеко превышающей естественные потребности и даже силы известной страны; сущность всех этих явлений остается тожественною: предрассудки поддерживаются для выгоды немногих; войны ведутся для славы немногих; корабли плавают по морям, а караваны ходят по пустыням для обогащения немногих; фабрики удовлетворяют утонченным потребностям немногих и выдерживают ожесточенную иностранную конкуренцию, чтобы доставить барыши немногим. Во всех этих случаях рабочие руки отрываются от земли и употребляются на разные хитрые затеи, в то самое время, когда массы нуждаются в простом хлебе и, если не каждый год, то по крайней мере в два года раз, терпят голод и вымирают целыми поселениями. Чем больше разводится хитрых затей и чем хитрее становятся эти затеи немногих, тем хуже обработывается земля, тем быстрее истощаются ее производительные силы, тем меньше получается сырых продуктов, и, следовательно, тем беднее становится общество в целом своем составе. Никакая утонченность барских нравов, никакая выработанность разговорного или книжного языка, никакая философская система, никакая бессмертная поэма, даже никакое естествознание не могут удержать от неминуемого падения такую цивилизацию, которая лежит на плечах беднеющего и тупеющего народа, истощившего свою землю невежественным и нерасчетливым трудом. Все цветы погибших цивилизаций росли и распускались в ущерб благосостоянию масс, и поэтому нас не должно удивлять то обстоятельство, что во всех этих цивилизациях упадок с такою ужасающею быстротою следовал именно за эпохою величайшего блеска. Этот блеск сам по себе был сильнейшим выражением общественной болезни, а эпоха упадка была даже сравнительно временем облегчения для масс, потому что этим массам, дошедшим до крайней степени нищеты и бессилия, позволялось тогда по крайней мере сосредоточить свое внимание на устройстве собственных мелких делишек, о которых не заботится политическая история.

Блеск и упадок, цивилизация и варварство, исторический прогресс и исторический застой — все эти слова и понятия совершенно неприложимы к многовековому прозябанию огромного большинства нашей породы, того большинства, от которого безусловно зависит наше существование и которому мы, в награду за пропитание, с такою благосклонною улыбкою бросаем трогательное название наших младших братьев. Эти младшие братья везде и всегда стояли вне истории, но зато отсутствие их везде и всегда налагало печать бесплодия на все цивилизации, сооружавшиеся старшими братьями для собственного обихода. Везде и всегда эти цивилизации оказывались таким пустоцветом, о котором невозможно сказать ни одного доброго слова. Везде и всегда эти цивилизации, подобно роковому камню Сизифа, [24] срывались с самой верхушки

горы и скатывались в бездну в ту самую минуту, когда старшие братья считали свое дело почти законченным и собирались праздновать полную победу человека над дикими силами окружающего мира и над противообщественными стремлениями своей собственной породы. Победа никогда не оказывалась полною и прочною, и триумф всегда приходилось откладывать до другого, более удобного времени. Разнообразные опыты многих веков говорят, наконец, старшим братьям, что крепка, прочна и богата благодетельными последствиями будет только та цивилизация, которая будет улучшать быт и развивать умственные силы всех людей, составляющих данное общество. Неизбежным спутником такой прочной цивилизации и вернейшим ручательством ее живучести будет развитие рационального земледелия, развитие именно той отрасли деятельности, которая была запущена и заброшена всеми исчезнувшими цивилизациями. Рациональное земледелие будет в одно и то же время самым величественным продуктом и самою непоколебимою опорою той бессмертной цивилизации, которой выпадает на долю задача сгладить навсегда позорное различие между старшими и младшими братьями.

Если мы рассмотрим те условия, при которых становится возможным существование и всеобщее распространение рационального земледелия, то мы увидим, что этот род деятельности неразрывно связан с богатством, просвещением и всесторонним благоденствием тех масс, которые до сих пор везде и всегда трудились через силу и, несмотря на то, постоянно оставались впроголодь. Мы уже видели, как много должен знать тот земледелец, который желает заниматься своим делом не как азартною игрою, а как выгодным и верным ремеслом. К этому можно прибавить, что ни одно ремесло не имеет перед собою такой широкой будущности, как земледелие; ни одно ремесло не способно к такому бесконечному совершенствованию, как обработка земли, потому что в основании этой обработки лежит самое разностороннее изучение природы, постоянно обогащающееся новыми фактами, опытами и наблюдениями. Все знания, необходимые земледельцу, лежат в области естественных наук, а всем известно, что естественные науки самым радикальным образом уничтожают предрассудки и очищают засорившиеся мозги. Следовательно, земледелец, сознательно занимающийся своею работою, незаметно и нечувствительно для самого себя выметет из своего домашнего быта и из своего миросозерцания ту безобразную паутину суеверия, которая до сих пор повсеместно застилает младшим братьям свет божий Бэкона, Галилея, Коперника и всех других светил человечества, светящих только для старших братьев.

Но для водворения рационального земледелия недостаточно одного распространения полезных знаний. Этого мало, если земледелец будет знать, что́ ему следует делать; необходимо, кроме того, чтобы он имел возможность действительно выполнять то, что он

справедливо считает полезным. Агрономические сведения наших крестьян чрезвычайно скудны, но и эти скудные сведения большею частью составляют мертвый капитал, потому что они далеко превышают меру практического могущества земледельцев. Крестьяне знают, что землю следует удабривать, и знают, чем ее удабривать, но это полезное сведение в большей части случаев остается неприменимым. Удобрения взять неоткуда, когда не на что завести и кормить скотину и когда хлеб приходится возить на продажу или даже отправлять за море, бог знает в какую даль. Самый просвещенный агроном ничего не сделает со всеми своими сведениями, когда ему придется отсылать сырой продукт за тысячи верст и получать за каждые десять пудов хлеба по фунту сукна или по полуфунту обделанной стали. Ни сукна, ни стали не положишь в землю, а сырой продукт уехал за море, и заключавшееся в нем удобрение навсегда потеряно для страны. Очевидно, стало быть, что для развития рационального земледелия, кроме распространения между массами полезных сведений, необходимо еще повсеместное разнообразие занятий и повсеместное же образование мелких центров притяжения, в которых постоянно перерабатывались, потреблялись и превращались бы в удобрение сырые продукты, добываемые из земли окрестными жителями. Близость рынков к месту производства и непосредственное сближение земледельца с ремесленником, производителя с потребителем — ведут за собою, во-первых, возможность возвращать земле взятый от нее сырой продукт в виде удобрения и, во-вторых, возможность разнообразить посевы и уменьшать таким образом количество неблагоприятных шансов, угрожающих успеху земледельческого труда.

Первое следствие приближения рынков понятно и не нуждается в дальнейших объяснениях. Второе следствие этого приближения также объясняется очень легко и просто. Когда рынок далек, тогда земледелец принужден возделывать на своих нивах только такие растительные продукты, которые выдерживают далекую перевозку, следовательно, такие, которые продаются по дорогой цене, не отличаются особенною громоздкостью и могут быть доставлены на далекий рынок в неиспорченном виде. Земледелец не может отправлять за тысячу верст репу или картофель, потому что цена этих громоздких продуктов не окупит их перевозки; точно так же сельский хозяин не может отправлять за тысячу верст яйца или свежие ягоды, потому что первые перебьются в дороге, а вторые — непременно загниют и испортятся. Всего удачнее выдерживает перевозку зерновой хлеб, да и цену за него дают такую, которая окупает труды земледельца и перевозочные издержки; поэтому для продажи на далекие рынки производится исключительно зерновой хлеб разных сортов и достоинств. Земля любит перемену; для земли было бы полезно, чтобы за пшеницею следовал, например, картофель, а за картофелем — кормовые

травы; земледелец знает это свойство земли, но он опять-таки не может воспользоваться своим знанием; разводить картофель и кормовые травы невозможно, потому что сбывать их вблизи некуда, а везти на далекий рынок не стоит; не сеять пшеницы также невозможно, потому что если земледелец не доставит на рынок пшеницы, то земледельцу не на что будет купить себе рубашку и кафтан, не на что будет приобрести новый топор или соху. Поневоле, подчиняясь требованиям далекого рынка, земледелец сознательно истощает свою ниву постоянно повторяющимися посевами пшеницы, ржи и других зерновых хлебов. Он знает, что следовало бы распоряжаться иначе, он и рад был бы вести свое хозяйство разумнее, но это полезное познание добра и зла и эта добродетельная готовность покаяться в сознанных заблуждениях оказываются совершенно бессильными перед неотразимыми требованиями материальной необходимости. Засеяв все свои поля зерновым хлебом, земледелец поставил на одну карту весь свой годовой заработок. Перемена погоды, неблагоприятная для зернового хлеба, разом губит все законные надежды хозяина. Этого не могло бы случиться, если бы рынок находился под рукою. Тогда хозяин добывал бы с своего участка земли, кроме разных сортов хлеба, всякого рода овощи, фрукты и ягоды, кормовые травы, красильные и лекарственные вещества; близость сбыта и беспрерывность запроса возбудили бы в земледельце предприимчивость и изворотливость, смышленость и старательность, которые совершенно немыслимы и почти бесполезны в человеке, живущем вдали от всякого промышленного движения. Разделивши свою ниву на мелкие участки, возделывая на каждом из них именно то растение, которое соответствует составу и свойствам данного участка, переменяя каждый год назначение этих участков и, сверх всего этого, заваливая каждый участок удобрением, земледелец, живущий возле самого рынка, может, конечно, уменьшить до самой незначительной величины риск, сопряженный с его занятиями. Та или другая перемена погоды может быть неблагоприятна только для одной какой-нибудь части его будущего дохода; что повредит, например, овощам, то, может быть, принесет пользу пшенице и не произведет никакого влияния на фрукты; потерявши на каком-нибудь одном продукте, хозяин будет всегда в состоянии вознаградить свой убыток на другом, и средний уровень его дохода в большей части случаев останется почти неприкосновенным. Конечно, может случиться такая засуха, которая все зажарит, или такой град, который перепашет заново все поля, но такого рода случайностям подвержено вообще всякое дело рук человеческих; и фабрика может загореться от грозы, и дом может быть разрушен наводнением, землетрясением или ураганом; против таких случайностей есть одно средство — застрахование, и это средство, как всякий согласится, находится также всего больше в ходу и прилагается всего чаще там, где суще-

ствует разнообразие занятий и где совершается деятельное движение продуктов, капиталов и идей.

Мы видим таким образом, что для развития рационального земледелия необходимы два условия: распространение полезных сведений между массами и разнообразие занятий, неизбежно ведущее за собою образование местных центров производства и притяжения. Должно заметить здесь, что эти два условия всегда бывают неразлучны между собою и, собственно говоря, составляют только две различные стороны того нормального процесса, который порождает рациональное земледелие. Действительно, полезные сведения никакими искусственными мерами не могут быть привиты к жизни такого населения, которое разбросано по большим пространствам земли, непривычно к промышленному сближению и угнетено бедностью и однообразием занятий. Никакие благодетельные попечения мудрых правительств о земледельческих и реальных школах, никакие заохочивания, поощрения и приневоливания к учению не улучшат приемов земледельческой рутины и не расширят умственного горизонта трудящихся миллионов. Массы воспитываются не школьною указкою, не крупицами, падающими с умственной трапезы пресытившихся старших братьев, а исключительно только правильным, здоровым и незадержанным развитием общественной и экономической жизни. Когда устраняются препятствия, лежавшие на пути этого развития, когда появляется свобода труда, когда этому свободному труду открываются разнообразные приложения, тогда каждый отдельный кусочек серой массы начинает чувствовать себя человеком и быстро схватывает себе на лету те сведения, которые необходимы ему для жизни. Тогда, и только тогда, становятся действительно полезными и школы, стоявшие прежде пустыми, и популярные руководства, которые до сего времени никого не могли научить уму-разуму. Не школа преобразовывает жизнь, а, напротив того, жизнь создает для себя школу и приспособляет ее к своим потребностям и стремлениям.

Пробуждение масс, необходимое для вступления людей в истинную цивилизацию, всегда производится только каким-нибудь решительным поворотом в течении общественной и экономической жизни, а не громкими и гуманными кликами старших братьев, подвизающихся на пользу младших в литературе и на различных кафедрах. Каждый поворот, действующий освежительно на жизнь и самосознание масс, обыкновенно заключается в том, что эти массы освобождаются от какой-нибудь стеснительной опеки и полнее прежнего предоставляются естественному ходу собственных инстинктов и стремлений. Чем больше эта темная масса, о которой так соболезнуют просвещенные деятели, получает возможность жить собственным дрянным умишком, тем удобнее она устраивает свой быт, тем быстрее она богатеет, тем рациональнее становится ее земледелие, и тем человечнее делается

каждый из ее отдельных кусочков. Если бы масса с самого начала истории была предоставлена собственной горькой участи, то рациональное земледелие давно утвердилось бы во всем мире, и мы бы теперь не имели случая восхищаться тем, что в том или другом государстве бо́льшая часть жителей умеют читать и писать. Но зато история была бы совершенно лишена того удивительного драматизма, который придают ей великие подвиги и кровавые перевороты. История была бы утомительно однообразна, как нравоучительная биография добродетельного семьянина. Старшие братья никак не могли допустить подобного оскорбления законов эстетики, и они начали заботиться о массах с той самой минуты, как сознали свое старшинство и вникли в свои обязанности к младшим. Они тотчас начали вовлекать своих неэстетических братьев в драматические войны, в эпические торговые предприятия и в трагикомические ошибки по части мануфактурной конкуренции. Усилия просвещенных эстетиков увенчались более или менее полным успехом, и совокупность этих успехов составляет канву той весьма изящной драмы, которая называется всемирною историею. Где не мешаются в дело старшие братья — там мир и богатство; где они мешаются — там драматизм и эффектность. Одно другого стоит, но так как старшие братья более или менее везде болели душою об участи младших, то драматизма и эффектности оказывалось и до сих пор оказывается на белом свете несравненно больше, чем мира и богатства. Рациональное же земледелие до сих пор принадлежит везде к далекой области мечты и желания. Правильный прогресс прямо ведет в эту область, но когда начнется этот прогресс и когда он дойдет до своих результатов — это вопросы интересные, но нерешенные.

XXII

На всех материках и островах земного шара, за исключением полярных льдов и песчаных пустынь, человек окружен неисчислимыми и бесконечно разнообразными богатствами. Богатства эти заключаются в тех сырых материалах, которые производит земля или которые она может производить при соответственной обработке. Богатства эти нигде и никогда не даются человеку сразу; человек должен трудиться, чтобы овладеть ими; он должен наблюдать и размышлять, чтобы заметить их существование и оценить их значение. Человек начинает свою борьбу с природою там, где природа слаба и бедна и где она вследствие этого скорее и легче уступает его усилиям. Он обращает в свою пользу мягкую медь прежде, чем твердое железо; он покоряет слабую овцу и козу прежде, чем сильного быка; он расчищает и засевает тощую почву холмов прежде, чем тучную землю долин и речных берегов. Пока продолжается борьба человека с слабою и бедною природою,

пока одерживаются над нею первые победы, покупаемые дорогою ценою и приносящие мало непосредственных выгод, до тех пор человек сам остается слабым и бедным. Он слаб и беден, потому что ему помогает малочисленная горсть людей и потому что сам он, со всеми своими помощниками, неопытен и несведущ. Он слаб и беден, но могущество и богатство его постоянно увеличиваются вместе с каждым новым приобретением опытности и вместе с каждым приращением в числе трудящихся людей. Он слаб и беден, но потомки его непременно будут богаты и могущественны, если только они не будут уклоняться в сторону с пути терпеливого труда и внимательного изучения природы.

Все богатство человека заключается в сырых материалах, добываемых из земли; все могущество человека заключается в умении переработывать и обращать в свою пользу добываемые материалы. Эта истина поразительна по своей простоте. Эту истину несчетное число раз внушали людям, под страхом земных и загробных наказаний, все гражданские и нравственные законоположения, предписывавшие человеку уважать права чужой личности и чужого труда. Ни простота этой истины, ни авторитет законов и законодателей не могли предупредить или удержать в должных границах бесчисленные и гибельные уклонения нашей породы с дороги производительного труда, с той единственной дороги, которая могла привести человечество к богатству и к полноте жизненных наслаждений. Бессилие законов объясняется особенно удовлетворительно тем обстоятельством, что бо́льшая часть законодателей, толковавших очень красноречиво и убедительно о необходимости уважать чужое право, — сами, своими же законами, так же красноречиво и убедительно освящали важнейшие и вреднейшие уклонения своих сограждан и современников с пути производительного труда, с того единственного пути, который всегда и везде совпадает с требованиями справедливости. Римское право, освящавшее рабство, превращавшее жену в собственность мужа и сына в собственность отца, проводившее строгое различие между римским гражданином и провинциалом, между патрицием и плебеем, между вольным и вольноотпущенным, — римское право, говорю я, конечно, никому не могло внушить достаточного уважения к тем предписаниям, которыми оно старалось обуздать хищные наклонности бедных и буйных граждан. Другие кодексы также не могли претендовать на особенную чистоту и выдержанность основного принципа. Люди обыкновенно издавали кодексы отчасти для того, чтобы дать определенную и прочную форму своим любимым заблуждениям, отчасти для того, чтобы пугнуть себя и своих современников строгими требованиями одностороннего идеала казенной нравственности. Ни та, ни другая цель не достигалась. Любимые заблуждения отживали свой век и разрушались, несмотря на определенность и прочность приданной им формы, а застегнутый на все пуговицы идеал никого не запугивал

своими требованиями и решительно никого не обращал на путь истины. Ошибались и падали отдельные личности; безвинно, невольно и бессознательно вовлекались в ошибки и доводились до падения целые народы. Отдельные личности быстро расплачивались за свои ошибки и обыкновенно, согласно букве того или другого кодекса, оканчивали свое земное существование в мучениях, делавших большую честь остроумию изобретателей и усердию исполнителей. Невольные ошибки народов, напротив того, не замечались и не считались ошибками. На них не указывал никакой кодекс. Им обыкновенно сочувствовал, их часто вызывал сам законодатель. Ошибки народов воспевались поэтами, превозносились историками и ставились в пример потомству неподкупными моралистами. Эти ошибки анализировались холодными мыслителями и оказывались великими проявлениями народного гения. На этих ошибках строились и до сих пор строятся целые политические и экономические теории. Когда ряд великих проявлений народного гения вдруг приводил к резкому падению, которое, повидимому, должно было бы окатить бочками холодной воды всех певцов, мечтателей и спокойно упорных теоретиков, — тогда это падение приписывалось посторонним и случайным причинам; песнопения продолжались, тем более что падение давало им новый эффектный мотив; историки попрежнему что-то превозносили и что-то анализировали; теоретики торжествовали, потому что всякая теория одарена удивительною гибкостью и растяжимостью; а в это время массы, о которых пелись дифирамбы, писались исследования и сочинялись победоносные теории, массы несли тяжелое вековое возмездие за ошибки, привитые к их тихой и темной жизни посторонними двигателями событий. Массы доходили до дикого состояния, теряли всякую власть над питающими их силами природы и, умирая от лишений, превращали целые области в дикие и печальные пустыни, в которых все говорило о бывшей деятельности человека, о его предсмертной борьбе и о его страшной кончине. Такими пустынями покрыты все те места, на которых в былое время кипела историческая жизнь и на которых жизнь эта замерла вследствие непроизвольных, но неисправимых ошибок, совершенных целыми народами и истощивших до последней капли их живые силы.

Ошибок этих, в большей или меньшей степени, не минует в своем существовании ни один народ. Народ, как дерево, растет и в ствол и в сук; он, как крепкий организм, может уклоняться от строго гигиенического образа жизни, он может болеть и выздоравливать; он много испытаний может перенести не надламливаясь и не хирея; но чем сильнее сук перевешивает ствол, чем значительнее делаются уклонения от разумной гигиены, чем продолжительнее и чаще болезненные припадки, тем опаснее становится положение колоссального пациента и тем ближе надвигается грозная катастрофа.

Богатство и могущество народа, равносильное благосостоянию всех составляющих его единиц, заключается в добывании и целесообразной переработке различных сырых продуктов, доставляемых землею. Земледелие и мануфактурная промышленность, взаимно поддерживающие друг друга, составляют естественные и необходимые занятия народа, стремящегося к благоденствию. Все, что отвлекает народ от этих производительных занятий, все, что нарушает необходимое равновесие между земледелием и мануфактурами, составляет ошибку и ведет к бедности. Наука, расширяющая ум человека, и искусство, обновляющее его силы живым наслаждением, не могут быть названы помехами для производительных занятий; но при этом должно заметить, что наука и искусство не имеют ничего общего со многими современными фокусами праздного ума и дряблой фантазии, несмотря на то, что фокусы эти стараются прикрыть себя разными почтенными именами. Кроме того, не мешает помнить, что наука и искусство только тогда будут в состоянии жить естественною и здоровою жизнью, когда будут удовлетворяться насущные и грубые потребности человеческих организмов. Музыкальная консерватория — учреждение очень хорошее, но она доставит мало наслаждения такому народу, у которого не хватает хлеба. Ученое путешествие на берега Тигра для чтения гвоздеобразных надписей [25] — дело очень похвальное, но оно произведет слабое впечатление на черствую душу лапотника, не умеющего разбирать печатные буквы собственного языка. Совестно назвать науку и искусство затеями, отклоняющими силы ума от настоящего дела; в отношении к естественным наукам такое суждение было бы совершенно нелепо и несправедливо; но приходится сознаться, что наука и искусство до сих пор оставались совершенно бессильными и не имели никакого влияния на умственное состояние масс. И наука и искусство были по меньшей мере красивым анахронизмом. Это — подснежники, распустившиеся задолго до наступления весны; им приходится ежиться и дрожать от холода или с похвальным благоразумием укрываться в теплицы, построенные и протапливаемые трудами масс и называющиеся музеями, академиями, консерваториями и другими именами, которые для масс столько же новы, сколько вразумительны. Я вовсе не думаю становиться здесь на славянофильскую точку зрения и декламировать о ложности и чужеземности нашей цивилизации. Наша цивилизация ничем не лучше и ничем не хуже всех остальных; наука и искусство везде прозябают в оранжереях, и массы, оплачивающие эти оранжереи, везде интересуются ими так же сильно, как, например, внутренним содержанием египетских пирамид или вопросом о Железной маске. [26] Какое дело английскому фабричному до Британского музея? Что общего у немецкого работника с Мюнхенскою глиптотекою? [27] Какую точку соприкосновения имеет парижский блузник [28] с Французскою академиею?

Мы уже так присмотрелись к этим академиям, что нам могут даже показаться наивными и странными подобные вопросы, если только они не покажутся нам лукавыми и безнравственными. Впрочем, как ни смешна кружевная заплата наук и искусств на изорванной сермяге, составляющей драпировку масс, должно, однако, сознаться, что эта резкая несообразность принадлежит к самым невинным уклонениям от правильного и разумного развития народной жизни. С тех пор как солнце светит и весь мир стоит, ученые и художники не погубили еще собственными силами ни одной цивилизации; справедливость побуждает нас заметить, что они также ни одной цивилизации не поддержали; они только украшали их, подобно тому как мох украшает стволы вековых деревьев; когда дерево падает, мох продолжает украшать его, и украшает его в то самое время, когда оно лежит на земле, гниет и истачивается муравьями.

Губителями цивилизаций оказываются два класса людей — воины и купцы, вовлекающие народы в две роковые ошибки: систематизированную войну и в изнурительное развитие торгового паразитизма. Я уже упоминал об этих двух видах присвоения, но теперь мы знаем все средства, находящиеся в их распоряжении, и потому можем проследить шаг за шагом их возрастание и усложнение. Война и торговля появляются сначала на свет в самом простом и бедном виде. Первое генеральное сражение производилось, наверное, кулаками за обладание каким-нибудь кокосовым орехом; первая торговая операция, по всей вероятности, клонилась к тому, чтобы выманить этот же кокосовый орех за гнилой банан, которого гнилость утаивалась тщательно, но неискусно; за горячею схваткою могла следовать торговая сделка, а коммерческие переговоры в свою очередь могли прерываться воинственными демонстрациями. Всякий был и воином, и купцом, и работником; всякий мог заметить, что число наличных бананов увеличивалось не во время драки, не во время торговых совещаний. Сомнительная выгода, извлекавшаяся из единоборств и из мелких мошенничеств, по всей вероятности подорвала бы во мнении людей этот род занятий, если бы только не открылась возможность образовать коллективные драки и крупные обманы. Опираясь на ассоциацию, война и торговля расширяют круг своих действий и облекаются в новые формы. Предприимчивый юноша собирает вокруг себя других юношей, уступающих ему в изобретательности, но равных ему по отваге. Ассоциация, составляющая верное средство для развития производительного труда, делается, таким образом, орудием войны и является самым сильным средством для разрушения труда, самым серьезным препятствием на пути его совершенствования. Храбрые витязи удалой дружины тотчас делаются старшими братьями собирателей бананов и тотчас начинают смотреть на вещи такими широкими взглядами, которые совершенно недоступны младшим. Затем является настоятельная необходи-

мость кормить ассоциацию, и тогда собирателям бананов вменяется обязанность приносить в жилище своих старших братьев определенное количество плодов земных. Таким образом, среди населения, собирающего бананы, образовалась сначала небольшая добровольная ассоциация; это ядро привлекло к себе других людей, частью обольстительными обещаниями, частью рассчитанными угрозами, частью скрытою силою. Но вовлечь в воинственную ассоциацию всех собирателей бананов неудобно, потому что тогда некому будет кормить удалую дружину. На этом основании разросшаяся ассоциация прилагает свои силы к тому, чтобы держать всю совокупность собирателей бананов в состоянии недобровольной ассоциации. Эта недобровольная ассоциация и состоит в том, что целые тысячи людей содействуют своими трудами выполнению таких возвышенных замыслов, о которых они не имеют никакого понятия и которые не приносят им ни малейшей выгоды. Мы видели например, что пути сообщения должны служить к образованию местных центров разнородной деятельности; мы видели также, что количество всяких бананов может увеличиваться только тогда, когда существуют такие местные центры; но система недобровольной ассоциации этого не знает и рассуждает совершенно по-своему. Где есть бананы, думает она, там прежде всего должна чувствоваться сила дружины. На основании этого рассуждения все важнейшие дороги прокладываются так, что они увеличивают притяжение центра, усиливают в этом центре искусственное движение и ослабляют естественные проявления жизни во всех далеких оконечностях страны бананов.

Изобретения, относящиеся к механической и химической переработке сырого материала, должны вести к тому, чтобы все люди питались, одевались и жили лучше прежнего, чтобы сберегалось как можно больше человеческого труда и чтобы этот сбереженный труд употреблялся на усиление производительных сил земли и на развитие беспредельных способностей человеческого ума. Но эта цель вовсе не соответствует великим интересам и строгим замыслам той системы, которая выработалась из первобытной дружины. По соображениям системы, добываемые металлы должны превращаться не в заступы, плуги и паровые машины, а в сабли, копья и ружья; строевые деревья должны употребляться не на постройку домов, мельниц и плотин, а на сооружение огромных кораблей; из меди должны делаться не самовары, а пушки; порох должен служить не для истребления хищных зверей, не для добывания мехов и дичи, а для отбивания человеческих рук, ног и голов; из камня должны строиться не мосты и набережные, а такие стены, которые будут разбиваться чугунными ядрами и взрываться порохом. Таким образом, рабочая сила и изобретательность нашей породы должны направляться не к тому, чтобы увеличивать существующие удобства жизни, а к тому, чтобы руками одних людей как можно быстрее и искуснее разрушать то, что сделано руками других.

Кто следил за современными открытиями Армстронга и Уайтворта, кто помнит происхождение «Мерримака» и «Монитора»,[29] кто слышал о любопытной борьбе английского адмиралтейства, стремящегося создать для кораблей непроницаемую обшивку, с английским артиллерийским ведомством, порывающимся разбить вдребезги всякую обшивку, тот, конечно, скажет, что XIX век в своих нелепостях так же велик и последователен, как в своих общеполезных открытиях и человечных стремлениях. Но нелепость немедленно получает себе практическое применение, а человечные стремления, по недостатку материальных сил, останавливаются обыкновенно на одной теоретической последовательности. Можно сказать без преувеличения, что остроумные изобретения Армстронга и подобных ему благодетелей человечества причинили Англии больше вреда, чем длинный ряд сильнейших неурожаев. Если бы не было этих изобретений, то старые корабли, старые укрепления и старые пушки оставались бы совершенно годными для употребления, а теперь благодаря остроумию изобретателей приходится тратить без всякой пользы огромные количества дерева, железа, меди и, главное, человеческого труда. Вред не ограничивается Англиею, потому что за нею, волею или неволею, из чувства самосохранения, тянутся все остальные державы. Но кому же все эти усилия приносят пользу? Никому. Кто выигрывает от этих всеобщих непроизводительных затрат? Никто. Всем известно, что финансы сильнейших государств Европы обременены страшными долгами и что долги эти произошли от прежних войн; всем известно далее, что чуть ли не три четверти ежегодных доходов употребляются на уплату процентов и на содержание армий и флотов, все знают, что эти издержки постоянно увеличиваются, потому что каждая держава боится своего соседа и старается превзойти его силою вооружения. Спрашивается, есть ли возможность своротить с этой дороги извращенного и постоянно ускоряющегося прогресса? Ответа на этот вопрос не решится дать ни один глубокий политик, но очевидно, что этот вопрос для всей европейской цивилизации равняется вопросу: *быть или не быть*?

XXIII

Дружинники, не производящие ничего, подчиняют своей власти работников, производящих пищу, одежду, жилища и инструменты. Торговцы, не производящие также ничего, точно так же подчиняют своему произволу производителей, владеющих продуктами, и потребителей, платящих за эти продукты трудом и другими продуктами. В действиях дружинников преобладает насилие; в распоряжении торговцев на первом плане стоит элемент хитрости и обмана; за исключением этого оттенка различия поступательный ход войны и торговли оказывается тождествен-

ным. Подобно войне, торговля обращает в свою пользу ассоциацию, пути сообщения и технические открытия, и, подобно войне, она искажает все то, к чему прикасается. Не увеличивая количества продукта, она обирает в пользу торгового посредника трудящиеся классы общества; разоряя производителей, она уменьшает их силу над природою, истощает плодородие земли, перегоняет людей с богатой почвы на бедную и превращает заселенные области в мертвые пустыни. Торговля овладевает перевозочными средствами и, взимая в пользу торгового посредника большую перевозочную плату, старается увеличивать необходимость в перевозке; таким образом увеличивается ценность продуктов и уменьшается их польза, таким образом отрываются от производительных работ тысячи рук, которые могли бы усиливать плодородие земли. Когда прокладываются пути сообщения, торговля всегда старается проложить их так, чтобы они усилили притяжение главного центра; централизация выгодна для торгового класса, потому что она поддерживает бедность областного населения, которое, таким образом, остается в безответной зависимости от диктатуры купцов, покупающих их продукты и продающих им разные удобства жизни по произвольно назначаемым ценам. Стремления торговли здесь, как и везде, совершенно сходятся с стремлениями войны и совершенно расходятся с инстинктивными или сознательными желаниями всех производительных классов. Последние желают непосредственного сближения между собою, а системы, развившиеся из войны и торговли, желают, чтобы производители оставались разъединенными и чтобы каждый из них поодиночке находился в зависимости от центрального пункта. Война извращает технические открытия. Торговля также извращает их тем, что стремится их монополизировать. Все люди желают переработывать добываемые ими продукты на месте, а это желание вполне естественно и разумно, потому что переработка на месте сберегает время и избавляет от всех хлопот, издержек и опасностей перевозки. Торговец, напротив того, хочет, чтобы сырой продукт был перевезен на его корабле или повозке и чтобы ему за перевозку заплатили побольше денег; потом он хочет, чтобы перевезенный продукт был переработан на его фабрике, его машинами и чтобы за переработку ему опять заплатили; потом он хочет, чтобы переработанный продукт был перевезен на его же корабле к первому производителю и чтобы за эту вторичную перевозку было также заплачено. Очень понятно, что торговец не останавливается на одном желании, его интересы принимаются горячо к сердцу людьми, имеющими в руках действительную силу, и вся политика целых передовых государств направляется к тому, чтобы желания торговца были действительно исполнены. И, разумеется, они исполняются. Результат оказывается тот, что индус или плантатор южных штатов продает английскому купцу хлопчатую бумагу по той цене, которую последнему забла-

горассудится дать, а потом покупает у того же купца коленкор по той цене, которую достойному джентльмену угодно будет взять. Плантатор и индус беднеют, но английские работники, переработывающие в коленкор хлопчатую бумагу большей части земного шара, от этого не богатеют, точно так же как не богатеют матросы тех купеческих кораблей, которые заработывают груды золота своим хозяевам. Матросы и фабричные получают жалованье и перебиваются им, как хотят или как могут. Хозяин покупает их труд как можно дешевле и затем берет себе все результаты их труда, как бы они ни были велики. Труд их не прибавляет в стране ни одного зерна хлеба и только увеличивает силу их хозяина над трудом индуса, негра или английского пролетария. Если бы в стране было только то число фабрик, которое необходимо для превращения сырого материала, производимого местною почвою, если бы индусу и негру была предоставлена возможность переработывать свои продукты у себя на месте и если бы все излишнее количество пролетариев, работающих на теперешних бесчисленных фабриках, получило средство приложить свою рабочую силу к улучшению земли, — то Индия и южные штаты обогатились бы вследствие учреждения местных центров и введенного разнообразия занятий, Англия обогатилась бы в барышах, потому что капитал, приложенный к развитию сил земли, дает прочный и постоянно увеличивающийся доход.

Из всего, что было говорено в этом очерке, мы можем вывести довольно важные и плодотворные заключения. Человеческое общество в первоначальной его форме можно представить себе в виде пирамиды, разгороженной на несколько этажей. В самом нижнем этаже работают люди, добывающие сырые материалы; они находятся в непосредственном соприкосновении с землею, и их этаж составляет основание всего строения, потому что в остальных ярусах люди только переработывают или передают друг другу из рук в руки то, что отрывают от земли обитатели нижнего яруса. Во втором этаже совершается механическая и химическая переработка добытых материалов. В третьем этаже действуют люди, занимающиеся перевозкою и устроивающие пути сообщения. В четвертом обитают все разнообразные классы людей, живущих производительным трудом нижнего этажа.

Равновесие этой общественной пирамиды будет тем устойчивее, чем обширнее будут нижние два этажа в сравнении с верхними и чем значительнее вес нижних этажей будет превышать тяжесть верхних. Нижние этажи должны быть обширнее — это значит, что большее число людей должно заниматься добыванием и переработкою сырых продуктов, а не перевозкою их с места на место и не разнообразным переливанием из пустого в порожнее. Нижние этажи должны быть тяжелее. Так как специфическая сила человека заключается не в мускулах, а в мозгу, то весом человека в переносном смысле может быть названа сумма его деятельных ум-

ственных способностей. История показывает нам, что приобретает и удерживает господство в обществе именно тот класс или круг людей, который владеет наибольшим количеством развитых умственных сил. Преобладанию аристократии во Франции пришел конец, когда перевес ума, таланта и образования оказался в рядах достаточной буржуазии, а преобладанию буржуазии также придет конец, когда тот же перевес перейдет в ряды трудящегося пролетариата. Следовательно, когда мы говорим: «нижние этажи должны быть тяжелее», это значит, что в массах земледельцев и фабричных должно сосредоточиваться и обращаться больше знаний, чем в кучках людей, занимающихся очень неголоволомным делом исключительного потребления продуктов.

В тех цивилизациях, которые уже погибли, и в тех, которым угрожает погибель, нарушались и нарушаются самым неосторожным образом оба условия, необходимые для поддержания устойчивого равновесия. В каждой из пирамид, соответствующих этим цивилизациям, устроен очень замысловатый механизм, посредством которого бо́льшая часть продуктов, добываемых и превращаемых в двух нижних этажах, с мгновенною быстротою переносятся в верхний ярус, где они тотчас же и потребляются. Благодаря этому механизму жильцы четвертого этажа пользуются изобилием и имеют возможность употреблять значительную долю своего вечного досуга на развитие умов и сердец. Обитатели нижних этажей знают, что на антресолях жить очень весело; поэтому во всей пирамиде господствует неистовое желание карабкаться кверху; кверху лезут и гастрономы, и честолюбцы, и тщеславные посредственности; но туда же лезут и замечательные таланты и люди безукоризненные в нравственном отношении, потому что только в верхнем этаже можно найти умственную деятельность и некоторую степень нравственной самостоятельности. Красота, ум, талант, богатство, железная воля — все, что в каком-нибудь отношении составляет силу человека, все это употребляется на переправу в верхний этаж. Внизу остаются только те, которых природа и обстоятельства лишают всякой возможности подняться. Эти невольные обитатели нижних ярусов бедны, тупы, слабы и забиты. Кто поднялся наверх, тот старается удержаться наверху и упрочивает там квартиры для своих детей. Кто не может быть бароном наверху, тот идет наверх в лакеи, потому что лакея кормят и одевают лучше, чем производительного работника.

Кроме тех людей, которые попадают наверх по собственной охоте, есть и другие, которых затаскивают туда насильно. Конскрипции [30] Наполеона I затащили в высокие хоромы более миллиона французских граждан, которые предпочли бы оставаться внизу, за сохою или за ткацким станком.

Когда, таким образом, все, что сильно, умно и талантливо, лезет или привлекается наверх, тогда, конечно, производительные работы нижних этажей идут вяло и плохо. Жильцы беднеют,

ссорятся между собою за кусок хлеба и производят преступления против личности и собственности. Чтобы разбирать ссоры, необходимы судьи и адвокаты; чтобы предупреждать и преследовать преступления, необходима разнообразная полиция; чем больше ссор и преступлений, тем больше судей, адвокатов и полицейских, которые все также живут в четвертом этаже и, увеличивая его тяжесть, увеличивают неустойчивость общего равновесия. Чем беднее жильцы нижних этажей, тем более они зависят от произвола верхних капиталистов; чем невыносимее жизнь внизу, тем сильнее и беспокойнее стремление наверх; люди бегут из нижних этажей и кверху и совсем вон из пирамиды, куда-нибудь в Америку или в Австралию. Камни пирамиды вынимаются, таким образом, из основания и кладутся на вершину или выбрасываются вон. Основание постоянно становится у́же, а вершина шире и тяжелее. Вся эта история неминуемо должна кончиться тем, что пирамида рухнет и превратится в безобразную кучу мусора. Это уже дело бывалое. Такие пассажи сделаются невозможными только тогда, когда работник будет образован и доволен своим положением. Мы уважаем труд, но этого мало. Надо, чтобы труд был приятен, чтобы результаты его были обильны, чтобы они доставались самому труженику и чтобы физический труд уживался постоянно с обширным умственным развитием. Пока это не будет сделано, всякая цивилизация будет находиться в неустойчивом равновесии перевернутой пирамиды. А как же это сделать? Не знаю. Рецептов предлагалось много, но до сих пор ни одно универсальное лекарство не приложено к болезням действительной жизни.

1863 г. Сентябрь.

ЦВЕТЫ НЕВИННОГО ЮМОРА

1. «Сатиры в прозе» Н. Щедрина
2. «Невинные рассказы» Н. Щедрина

I

Плохо приходится в наше время поэтам; кредит их быстро понижается; бесчувственные критики и бездушные свистуны подрывают в публике всякое уважение к великим тайнам бессознательного творчества. Прежде говорили о вдохновении поэта, прежде поэта считали любимцем богов и интимным собеседником муз; хотя эти мифологические метафоры грешно было принимать буквально, однакож за этими метафорами постоянно чувствовалось что-то хорошее и таинственное, неуловимое и непостижимое, что-то такое, что нашему брату-вахлаку должно оставаться навсегда недоступным; об этом нашему брату позволялось узнавать только по неясным рассказам художников, которые, «как боги, входят в Зевесовы чертоги», где им показывают весьма интересные и часто нескромные картинки. Теперь все это переменилось; наш брат-вахлак большую силу забрал и обо всем рассуждать берется; и вдохновения не признает и в Зевесовы чертоги не желает забираться, несмотря на то, что поэт весьма наглядно рассказывает, как в этих чертогах показывали одному художнику в «вечных идеалах» «волнистость спинки белой» и вообще разные такие вещи, которые «божество открывает смертным в долях малых». * Все это наш брат отрицает с свойственною ему грубостью чувств и дерзостью выражений; это, говорит, всё цветы фантазии; а вы нам вот что скажите: какова у поэта сила ума? и широко ли его развитие? и основательно ли его образование? — Ну, что ж это за вопросы? Уместны ли они? Деликатны ли они? Позволительно ли ставить перед собою любимца богов и допрашивать его, как провинившегося гимназиста? Когда уже дело дошло до таких

---

* Эти сведения о Зевесовых чертогах и о тамошних картинках с буквальною верностью заимствованы мною из стихотворения г. Майкова «Анакреон скульптору».

неслыханных вопросов, когда утрачена вера в божественность вдохновения, когда журналы находят более интересным держать корреспондентов в Париже или в Лондоне, в Саратове или в Иркутске, чем на Парнасе или в чертогах Зевеса, тогда, конечно, мирному поэту остается только повесить свою голубушку-лиру на гвоздик и поступить на действительную службу или обратиться к мрачным заботам сельского хозяйства. Если так пойдет дальше, то наступит со временем драматическая минута, когда последний поэт бросится на шею к последнему эстетику и, рыдая, скажет ему: «Друг мой, мы с тобою одни. Мир прокис и развратился. Микроскоп и скальпель не дают нам покоя. Если мы не спрячемся или не притворимся натуралистами, то нас с тобою могут посадить заживо в спирт, чтобы сохранить в полной целости последние экземпляры исчезнувшей породы, имевшей удивительное внешнее сходство с человеком. Друг мой, когда мы умрем, тогда последняя калитка, ведущая в Зевесовы чертоги, будет заколочена и наглухо заложена — не кирпичами, а всеми нераспроданными экземплярами моих стихотворений и всеми неразрезанными листами твоих критических статей». — «Ну, — скажет эстетик, — если так, то все кончено. Калитка навсегда сделается неприступною! Сквозь мою критику и твою поэзию ни человек не пролезет, ни зверь не проскочит». И, обнявшись весьма крепко, как обнимаются люди на могиле всего, что им дорого, наши последние могиканы во весь дух побегут в лавку покупать себе микроскоп и химические реторты, как маскарадные принадлежности, долженствующие спасти их от преждевременного и непроизвольного погружения в спирт. История переродившихся экземпляров исчезнувшей породы кончится тем, что оба, эстетик и поэт, женятся à la face du soleil et de la nature * на двух девушках, занимающихся медицинскою практикою и приводивших в былое время своих теперешних поклонников в совершенный ужас своим непостижимо-солидным образованием, своим неприлично-твердым образом мыслей и своим полнейшим отсутствием женственной грации, т. е. слабости, глупости и жеманства. Дети этих двух счастливых пар услышат еще кое-какие темные толки об эстетиках и поэтах, а внуки и того не услышат. Обе породы сделаются совершенно неизвестными, как неизвестны нам теперь многие слизняки первобытного мира, не оставившие после себя ни костей, ни раковин, ни других следов своего бренного существования.

По многим отдельным чертам, рассеянным в моей пророческой импровизации, читатель может заметить, что осуществление ее принадлежит еще весьма отдаленному будущему; по всей вероятности прадедушки и прабабушки последнего эстетика и последнего поэта в настоящую минуту еще не находятся в утробах своих

---

* Буквально: перед лицом солнца и природы *(франц.)*; здесь в смысле: вступят в свободный брак. — *Ред.*

матерей; но, несмотря на отдаленность решительной катастрофы, зловещие признаки показываются уже и в наше время. Так, например, г. Фет, решившись посвятить все свои умственные способности неутомимому преследованию хищных гусей, [1] сказал в прошлом, 1863 году последнее прости своей литературной славе; он сам отпел, сам похоронил ее и сам поставил над свежею могилою величественный памятник, из-под которого покойница уже никогда не встанет; памятник этот состоит не из гранита и мрамора, а из печатной бумаги; воздвигнут он не в обширных сердцах благородных россиян, а в тесных кладовых весьма неблагодарных книгопродавцев; монумент этот будет, конечно, несокрушимее бронзы (aere perennius), * потому что бронза продается и покупается, а стихотворения г. Фета, составляющие вышеупомянутый монумент, в наше время уже не подвергаются этим неэстетическим операциям. Эта незыблемая прочность монумента весьма огорчает гг. книгопродавцев вообще, а г. издателя стихотворений, купца Солдатенкова, [2] в особенности; эти господа не понимают трагического величия этого монумента и готовы роптать на его несокрушимость; поэтому-то я и назвал их неблагодарными; неблагодарность их, мне кажется, может дойти до того, что они со временем сами разобьют монумент на куски и продадут его пудами для оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копченой рыбы. Г. Фет унизится таким образом до того, что в первый раз станет приносить своими произведениями некоторую долю практической пользы. Согласитесь, что для вечного поклонника чистой красоты такое «порабощение искусства», не снившееся даже г. Ахшарумову, [3] должно казаться невыносимо обидным.

Я вижу, как растроганы все мои чувствительные читатели, и спешу отвратить их взоры, отуманенные слезами, от этих печальных и зловещих явлений, исподволь подготовляющих для нашего потомства окончательное падение чистого искусства. Спешу даже утешить моих стихолюбивых читателей. Мы ведь не потомство, мы не люди будущего. На наш век хватит и лирической поэзии, и кулачных подвигов, и темного суеверия, и бурых тараканов, и всякого другого снадобья, в котором выражаются даже до сего дня наш отечественный быт, наш доморощенный ум и наше народное самосознание. Чтобы утешить читателя еще более, я кроме того попрошу его заметить, что в наше время чистое искусство еще чрезвычайно сильно и отделаться от него почти невозможно, тем более что оно до бесконечности изменяет свои наружные формы и иногда появляется в таком месте и в таком виде, в котором чрезвычайно трудно вывести его на свежую воду. Вы не думайте, что чистое искусство проявляется только в песенках

---

* Часть стиха из оды Горация: Exegi monumentum aere perennius («Я воздвиг памятник тверже меди...»). — *Ред.*

«о серебре и колыхании сонного ручья» или «о волнах ликующего звука».[4] Не думайте также, что в один разряд с этими песенками следует поставить только те романы и повести, которые исследуют невысказанные чувства и неразъясненные недоразумения, растерзавшие два нежные сердца, из которых одно принадлежало существу мужеского пола, а другое — такому же существу пола женского. Это самые невинные видоизменения чистого искусства; их уже давно взяли на замечание, и кто попадется на эту удочку, тот обличит уже или крайнюю неопытность, или неисправимую закоснелость. Но разве мало других видоизменений, более утонченных? Вот, например, исполин-ловец, неутомимо преследующий в «Русском вестнике» всякую умственную ересь, толкует горячо и пространно о «пляшущих блудницах», о «головках и хвостиках недоделанной мысли», о том, что он, московский Немврод, часто превращающийся в мычащего Навуходоносора, * всех умнее, честнее и благонадежнее и что он всякому честному человеку будет смотреть прямо в глаза до тех пор, пока тот отвернется или сморгнет. Что должен думать читатель, при котором производятся такие конфиденциальные беседы, пересыпанные столь загадочными выражениями и столь неожиданными эксцентричностями? Он должен думать, что читает лирическую песню, и должен жалеть о том, что эта песня так длинна и притом написана прозою, а не убаюкивающим стихом г. Фета. А вот, например, платонический любитель славянских идей в сотый раз повторяет в своей газетке,[6] что наша цивилизация есть ложь и что сведения о самой настоящей правде следует собрать в самых пыльных архивах и в самых завалящих пещерах; и все-таки он не представляет никаких достоверных сведений и не собирает никаких материалов, а только, бия себя в перси, лепечет и выкликает слово «ложь», как всесильное заклинание против всех неблаголепий любезного отечества. Очевидно, что он из любви к искусству пишет дифирамб, и читателю опять-таки приходится пожалеть, что он пишет его не стихами; во-первых, он в таком случае писал бы не так быстро и, следовательно, не так много; во-вторых, его читали бы еще меньше и осмеивали бы больше, чем читают и осмеивают теперь. А вот, например, хроникер «Отечественных записок»[7] ежемесячно производит инспекторский смотр прекрасным качествам своей собственной великой души и, также ежемесячно, проливает горькие слезы над печальными заблуждениями и чернило-пролитными ссорами своих журнальных собратов. Как жаль, скажет всякий беспристрастный читатель, что этот добрый человек не пишет элегий! Его произведения можно было бы положить на ноты, и ему сказали бы большое спасибо все уездные барышни, находя-

* Так как я человек очень добродетельный и украшать себя павлинными перьями не желаю, то я должен признаться, что уподобление московского атлета мычащему Навуходоносору взято мною напрокат у г. Зайцева.[5]

щие, что «Черная шаль», конечно, романс бесподобный, но что в нем, к сожалению, недостает современного колорита гражданской скорби. А весь легион сотрудников «Времени»,[8] все эти гг. Григорьевы, Страховы, Косицы и все, «их же имена бог весть», — разве можно не признать их жрецами чистого искусства и разве можно не поставить их в этом отношении гораздо выше гг. Фета, Случевского, Майкова и Крестовского? Вся политика, наука и критика «Времени» составляет, очевидно, одну длинную, сладкую-пресладкую, нежную-пренежную идиллию, написанную в прозе Афанасием Ивановичем собственно для того, чтобы изумить и обрадовать голубушку Пульхерию Ивановну в день ее шестьдесят седьмого * тезоименитства. Собственно, одна Пульхерия Ивановна только и должна была бы читать эту идиллию, а если у «Времени» было, как оно говорит, 4000 подписчиков, то это доказывает только, что Пульхерия Ивановна у нас на Руси составляет лицо не единоличное, а в некотором смысле коллегиальное. Да, чистое искусство, вытесненное задорными отрицателями из области «сладких звуков и молитв», немедленно влетело в мир «корысти и битв» и на этой новой почве разрослось с такою силою и быстротою, какой никто не мог бы в нем предположить.

Читатель, вероятно, понимает уже теперь, что́ я называю чистым искусством и почему я считаю несправедливым ограничивать область этого чужеядного растения тем крошечным палисадником, в котором разводятся для барской потехи эстетические рецензии, розовые романы и благоухающие стихотворения. Как бы это было хорошо, кабы чистое искусство процветало в одном этом палисаднике; тогда можно было бы уговорить и упросить всех задорных критиков, чтоб они совсем и не заглядывали в этот палисадничек: пускай себе растут и цветут все эти зеленые милашки; они никого не трогают, и их пускай не трогают. А теперь нельзя. Прет чистое искусство во все стороны, и поневоле приходится, из чувства самосохранения, преследовать его в том самом убежище, в котором оно с незапамятных времен устроило себе теплое гнездышко.

Итак, что же такое чистое искусство? А вот видите ли, человек пользуется своим языком для того, чтобы выражать свои мысли, чувства и потребности; когда он действует так, тогда разговор приносит пользу или удовольствие ему или его слушателю, или тому и другому вместе. Тут разговор служит средством, а цель разговора лежит вне его пределов; стало быть, тут нельзя сказать,

---

* Цифра 67 не имеет здесь никакого таинственного значения. Она означает только, что Пульхерия Ивановна была уже в зрелом возрасте, когда сожитель ее поднес ей идиллию. Старый дедушка писал эту идиллию для старой бабушки. Каждый догадливый читатель, вероятно, давно уже заметил это обстоятельство по смиренному тону изложения и по сладкой неопределенности умствований. Так и слышится в каждой строчке: «Ох-ох-ох! Все-то мы люди, все человеки!»

что разговор производится для разговора. Но в большей части случаев человек пользуется языком для того, чтобы убить время. Разговор сам себе становится целью. Французы с гордостью говорят о себе, что они создали искусство разговора — l'art de la causerie. Зато Базаров умоляет Аркадия не говорить красиво и по своей медвежьей грубости уверяет, что говорить красиво свойственно только людям совершенно пустоголовым. Если мы припомним, что искусство de la causerie процветало при дворах Людовиков XIV, XV и XVI и что оно возделывалось маркизами и графинями, систематически притуплявшими свои умственные способности с самой ранней молодости, то мы принуждены будем сознаться, что наш грубый земляк Базаров рассуждает весьма непочтительно, но довольно основательно. Применение чистого искусства к человеческому разговору оказывается вернейшим средством развратить и ослабить умственные способности и вселить в лукавое сердце человека непобедимую любовь к извивающейся фразе и неодолимое отвращение ко всякому серьезному труду мысли. Вообразим себе теперь, что искусство салонной беседы успело развиться во Франции еще сильнее, чем было в действительности; очевидно, могло и должно было случиться, что из общей массы беседующих выделились бы специалисты своего дела, художники-болтуны, которым стали бы платить деньги, по стольку-то за час или за вечер, как платят таперу, певцу или чтецу: поговори только, отец родной, побеседуй! Этого не случилось в отношении к разговору даже во Франции прошлого столетия; но в отношении к письменному изложению мыслей это случилось во всех образованных странах Европы. Всякий умеет говорить, но не всякий умеет писать; поэтому и платят литературе деньги, не только за мысль, за исследование, за умственный труд, а, сверх всего этого, за то еще, что вот ты, дескать, сокол ясный, сумел связать слова в предложения и предложения в периоды. И это совершенно справедливо, потому что не все умеют это сделать, самые хорошие и оригинальные мысли часто становятся для общества недоступным сокровищем единственно оттого, что они разбросаны в таком беспорядке и покрыты таким туманом, в котором бесхитростный читатель не видит ни начала, ни конца, ни середины, а видит только «хаоса бытность довременну».[9] Когда принимается за дело какой-нибудь умный и трудолюбивый человек, не имеющий, однако, ни малейшего притязания на гениальность, он рассеивает туман и превращает хаос в прекрасный сад, в котором растет древо познания добра и зла. Он овладевает теми материалами, которые даны ему в хаотических творениях оригинального гения; он перерабатывает чужие мысли, но если бы он их не перерабатывал, то они остались бы мертвым капиталом и не обнаружили бы ни малейшего влияния на умственную жизнь остальных людей. За подобный труд стоит платить деньги и, кроме того, стоит уделять популяризатору часть того уважения, которое

достается оригинальному гению. Но в каждом обществе бывают между писателями люди неглупые и не лишенные дарований, а между тем питающие глубочайшее отвращение ко всякому упорному и тяжелому труду. Оригинальными гениями, бросающими в мир новые идеи, эти люди не могут быть: сил не хватает. Терпеливыми популяризаторами они не хотят быть: лень одолела. Читают эти люди только то, что доведено предварительною обработкою до последней степени ясности; мысли и взгляды свои они почерпают из популярных книг и статей; таким образом они учатся в одной школе со всею массою читающего общества; между тем в этих господах бодрствует бессмертный дух Петра Ивановича Бобчинского; с одной стороны, им хочется заявить о своем существовании, а с другой стороны, им желательно приобрести побольше денег легкою работою литературного перетряхиванья из кулька в рогожку. Тогда они начинают перефразировать мысли, полученные ими из вторых или третьих рук; мысль, вполне разъясненная первым популяризатором, становится для этих милых умственных паразитов основным мотивом, на который разыгрываются десятки вариаций; если вы сравните вариацию с мотивом, то увидите, что вариация нисколько не яснее самого мотива и что она не заключает в себе ни малейшего намека на самостоятельную работу мысли. Вся работа паразита состоит в том, что он изменил слова и обороты. Так как о мысли уже заботиться нечего, то все внимание паразита сосредоточивается на форме; он не убеждает читателя, он ничего не доказывает, он просто повторяет то, что уже доказано другими и что уже проведено этими другими в сознание читателя; поэтому паразиту надо устроить только так, чтобы читатель не заметил избитости той мысли, которую ему подносят; надо прикрыть убожество паразитизма эффектностью внешней формы; надо и соловьем свистать, и лягушкой квакать, и в грудь себя колотить, и слезами обливаться, и конструкции необыкновенные употреблять, и главное — трещать, трещать и трещать так, чтоб у читателя в ушах зазвенело. Ну, читатель и рот разинет; бедность и бессилие мысли, взятой с барского плеча, проскользнут незамеченными, и счастливый паразит получит большие деньги и приобретет репутацию блестящего писателя и полезного двигателя общественного прогресса.

II

Литературных паразитов чрезвычайно много, но из темной и жалкой толпы умственного пролетариата выдвигаются только те из них, которые умеют усвоить себе гибкую и разнообразную форму выражения. Эти блестящие паразиты действительно доводят форму до невероятного совершенства. Они выделывают на своем языке такие же изумительные рулады, какие Контский

выделывает на скрипке или Рубинштейн на фортепьяно. Когда эта виртуозность приобретена навыком и практикою, тогда, разумеется, следует ею пользоваться; это капитал, с которого надо брать проценты. И вот где всякому простодушному читателю приходится только глазами хлопать и диву даваться! Приходится присутствовать при сотворении мира в малых размерах: все творится из ничего; пустота прикидывается полнотою, и так натурально прикидывается, что остается только плечами пожимать: художник, артист, профессор белой магии, Боско и даже Михайла Васильевич! [10] Разумеется, публика ахает и восхищается, да и нельзя не восхищаться, когда чудеса воочию совершаются!

Когда паразит начинает брать проценты с своего капитала, тогда он просто и решительно творит для того, чтобы к чему-нибудь прикладывать свою техническую ловкость. Он вовсе не имеет потребности высказывать обществу какие-нибудь идеи; у него нет такого чувства, которое настоятельно искало бы себе выхода и проявления; он вовсе не желает сознательно подействовать на развитие общества в том или в другом направлении; он не мыслитель, не общественный деятель и не поэт в высшем и забытом теперь значении этого слова; он статейных, романных или стиховных дел мастер, и, как рассудительный мастеровой, он не хочет, чтобы его умение пропадало даром. Зачем сидеть сложа руки, когда выучился ремеслу? Отчего не отправиться на ловлю рублей и лавровых венков, когда есть добрые люди, рассыпающие в приличном изобилии то и другое?

Рассуждение безукоризненно верно, и это рассуждение ведет прямым путем к полному торжеству и безграничному господству чистого искусства. Одни люди пишут потому, что во всем их существе кипит страстная работа мысли и чувства; ясно, что мысль и чувство их, служащие причиною творческого процесса, возбуждены впечатлениями, независимыми от этого процесса. Другие люди пишут для того, чтобы действовать на общество; цель деятельности независима от процесса, как это мы видим у Белинского, Добролюбова и автора «Что делать?». Третьи пишут вследствие того, что выучились писать и могут писать без малейшего труда, так, как соловей поет и роза благоухает; у них творчество беспричинно и бесцельно; то есть, если хотите, причина и цель есть, но они не могут иметь влияния на направление творческого процесса; положим, что стиходелателю хочется пришить к своему теплому пальто бобровый воротник; вот побудительная причина, заставляющая его обмакнуть перо в чернильницу; между тем он, по всей вероятности, станет писать не о бобровых воротниках, а о превратностях судьбы, постигших трех древних мудрецов, или о несчастиях бедной девочки, умершей весной под звуки отцовской скрипки, или вообще о чем-нибудь высоком и прекрасном, не имеющем ничего общего с обворожительною выставкою соседнего меховщика. Цель также есть: стиходелатель желает

продать свое стихотворение в журнал, да взять подороже, да прихватить, коли дадут, хороший задаток; несмотря на то, Сенека, Лукан и Люций рассуждают весьма горячо о бессмертии души, а совсем не о том, где больше дадут, в «Современнике» или в «Отечественных записках»; и умирающая Маня [11] также интересуется в свои последние минуты весеннею зеленью, вместо того чтобы смущать себя щекотливым вопросом: отпустят ли, мол, из «Русского слова» рублей пятьдесят вперед? Ясно, стало быть, что причина и цель не проникают в святилище творчества; святилище остается неоскверненным, и люди, тоскующие о бобровом воротнике и мечтающие о пленительном задатке, могут быть признаны достойными жрецами чистого искусства. Вопрос, конечно, нисколько не изменится, если вместо бобрового воротника я поставлю стремление к литературной славе, а вместо задатка в 50 рублей — рукоплескания на публичном чтении. Жрец чистого искусства в том или в другом случае останется верен своему призванию и в том или в другом случае останется великолепнейшим экземпляром породы паразитов.

Если читателю не совсем ясно, почему наши лирические поэты, представляющие полное отсутствие мысли, могут быть включены в разряд паразитов, похищающих чужую мысль, то я немедленно разрешу это недоумение. Лирические поэты наши питают свое убожество теми мельчайшими крупицами мысли и чувства, которые составляют всеобщее достояние всех людей, глупых и умных, образованных и необразованных, честных и подлых. Всякий человек ощущает что-нибудь, когда смотрит на красивую женщину, и всякий знает это ощущение и понимает, что оно и другим известно и что, стало быть, о нем рассказывать бесполезно и неинтересно. Но лирики, подобно птице колибри, питаются цветочною пылью; они даже это мельчайшее и известнейшее чувство обратили в свою собственность и стали извлекать из него доход, благодаря своему умению творить все из ничего и надевать на неосязаемую пыль легкотканные и весьма пестрые одежды из ямбов, хореев, анапестов, дактилей и амфибрахиев. Лирики, как мелкие пташки в великой семье паразитов, пробавляются тем, что уже все знают и чем никто, кроме лирика, не может и не хочет пользоваться. Другие паразиты, более крупные, эксплуатируют в свою пользу не крупицы чувства и не зародыши мысли, а целые большие чувства и целые развившиеся мысли. Этими жрецами чистого искусства поглощаются замечательные теории и величественные миросозерцания. Есть между этими жрецами воробьи, но есть и слоны, и так как большому кораблю и большое плавание, то слоны, разумеется, овладевают самыми широкими и самыми смелыми миросозерцаниями. Они толкуют с чужого голоса о самых важных и великих вопросах жизни; они разыгрывают свои вариации с таким апломбом и с таким оглушительным треском, что читатель робеет и почтительно склоняет перед ними голову. Но храм

чистого искусства одинаково отворен для всех своих настоящих поклонников, для всех жрецов, чистых сердцем и невинных в самостоятельной работе мысли. Благодаря этому обстоятельству читатель, изумляясь и не веря глазам своим, увидит за одним и тем же жертвенником с одной стороны — нашего маленького лирика г. Фета, а с другой стороны — нашего большого юмориста г. Щедрина. Это с непривычки столь удивительно, что надо начать новую главу.

III

Да, г. Щедрин, вождь нашей обличительной литературы, с полною справедливостью может быть назван чистейшим представителем чистого искусства в его новейшем видоизменении. Г. Щедрин не подчиняется в своей деятельности ни силе любимой идеи, ни голосу взволнованного чувства; принимаясь за перо, он также не предлагает себе вопроса о том, куда хватит его обличительная стрела — в своих или в чужих, «в титулярных советников или в нигилистов». * Он пишет рассказы, обличает неправду и смешит читателя единственно потому, что умеет писать легко и игриво, обладает огромным запасом диковинных материалов и очень любит потешиться над этими диковинками вместе с добродушным читателем. Вследствие этих свойств автора его произведения в высшей степени безвредны, для чтения приятны и с гигиенической точки зрения даже полезны, потому что смех помогает пищеварению, тем более что к смеху г. Щедрина, заразительно действующему на читателя, вовсе не примешиваются те грустные и серьезные ноты, которые слышатся постоянно в смехе Диккенса, Теккерея, Гейне, Бёрне, Гоголя и вообще всех не действительно статских, а действительно замечательных юмористов. Г. Щедрин всегда смеется от чистого сердца, и смеется не столько над тем, что он видит в жизни, сколько над тем, как он сам рассказывает и описывает события и положения; измените слегка манеру изложения, отбросьте шалости языка и конструкции, и вы увидите, что юмористический букет окончательно выдохнется и ослабеет. Чтобы рассмешить читателя, г. Щедрин не только пускает в ход грамматические и синтаксические salto mortale, ** но даже умышленно искажает жизненную и бытовую правду своих рассказов; главное дело — ракету пустить и смех произвести; эта цель оправдывает все средства, узаконяет собою всякие натяжки и, разумеется, достигается, потому что все остальное без малейшего колебания приносится ей в жертву.

---

* Сия последняя острота, побивающая разом и титулярных советников и нигилистов, украшает собою страницы «Современника» (см. «Наша общественная жизнь»), 1864 г., январь. [12]

** Буквально: смертельный прыжок *(итал.)*. Здесь в переносном смысле: ухищрения. — *Ред.*

Эта особенность в литературной деятельности г. Щедрина объясняет в значительной степени постоянный успех его произведений. Когда мы были расположены ворковать по-голубиному, тогда мы упивались г. Фетом; когда мы пожелали смеяться, тогда мы стали обожать г. Щедрина; смех во всяком случае представляет собою более нормальное отправление человеческого организма, чем воркование, и потому переход от г. Фета к г. Щедрину обозначает собою некоторый прогресс в нашем умственном развитии. Но беспредметный и бесцельный смех г. Щедрина сам по себе приносит нашему общественному сознанию и нашему человеческому совершенствованию так же мало пользы, как беспредметное и бесцельное воркование г. Фета. Мы легко можем заснуть на этом смехе и, продолжая смеяться, воображать себе, что мы делаем дело, идем за веком и обновляем нашим невинным смехом старые бытовые формы. Смех г. Щедрина убаюкивает и располагает ко сну, потому что, возбуждая собою этот серебристый смех, все тяжелое безобразие нашей жизни производит на нас легкое и отрадное впечатление. Мы смеемся и теряем силу негодовать; личность веселого рассказчика и неистощимого балагура заслоняет от нас темную и трагическую сторону живых явлений; мы смеемся и склоняем голову на подушку и тихо засыпаем с детскою улыбкою на губах. Вот тут мы и можем измерить громадное расстояние, отделяющее людей, действительно чувствующих, от тех людей, которые служат с безукоризненным усердием чистому искусству. Сравните, например, Писемского с г. Щедриным. — Г. Щедрин — писатель, приятный во всех отношениях; он любит стоять в первом ряду прогрессистов, сегодня с «Русским вестником», завтра с «Современником», [13] послезавтра еще с кем-нибудь, но непременно в первом ряду; для того чтобы удерживать за собою это лестное положение, он осторожно производит в своих убеждениях разные маленькие передвижения, приводящие незаметным образом к полному повороту налево кругом. В конце пятидесятых годов г. Щедрин своим отрицанием сооружал фигуру идеального чиновника Надимова; [14] но, по свойственной ему осторожности, автор «Губернских очерков» не произнес в этом направлении последнего слова; это слово, как известно, было произнесено графом Соллогубом, которого наши добрые соотечественники сначала на руках носили, а потом, разумеется, осмеяли. Когда великосветский литератор таким образом опростоволосился, когда идеальный чиновник был доведен до последних границ картонности трудами чувствительных писателей, подобных г. Львову, тогда г. Щедрин, счастливо выбравшийся из этого кораблекрушения, тотчас начал растирать в порошок фигуру Надимова, и притом растирать ее тем же самым отрицанием, которым он ее соорудил. Из тона г. Каткова он перешел в тон Добролюбова. Держась постоянно хорошего общества, т. е. общества прогрессистов, г. Щедрин постоянно вел себя «чинно, благопристойно и вежливо»,

соблюдая «чистоту и опрятность в одежде», то есть он никогда не огорчал своих товарищей по прогрессу какою-нибудь резкою выходкою, хотя случалось нередко, что он не попадал в такт людей, к образу мыслей которых он пристраивался сбоку. Формулярный список г. Щедрина как литератора совершенно чист; литературная служба его беспорочна; служил в «Русском вестнике», служит теперь в «Современнике»; удовлетворял прежде одним требованиям, теперь так же хорошо и отчетливо удовлетворяет другим; ни тогда, ни теперь он не произвел такого скандала, который бы изумил читателей и привел в негодование лучших представителей нашего общественного сознания. Г. Писемского, напротив того, нельзя назвать даже просто приятным писателем; сходится он с людьми самых сомнительных убеждений и ведет себя часто совершенно «бесчинно, неблагопристойно и невежливо»; скандалы производит на каждом шагу, и упреки в обскурантизме сыпятся на него со всех сторон; он неразвит и необразован и вполне заслуживает эти упреки своею грубою бестактностью. Но вот что любопытно заметить. Г. Щедрин, как действительно статский прогрессист, должен, очевидно, осуждать нашу родимую безалаберщину гораздо строже и сознательнее, чем г. Писемский, которого образ мыслей загроможден предрассудками, противоречиями и разлагающимися остатками кошихинской старины. [15] Между тем на поверку выходит, что произведения г. Писемского каждому непредубежденному читателю внушают гораздо более осмысленной ненависти и серьезного отвращения к безобразию нашей жизни, чем сатиры и рассказы г. Щедрина. Критик «Современника» в ноябрьской книжке 1863 года, разбирая «Горькую судьбину» Писемского, [16] жалуется на то, что произведения этого писателя производят невыносимо тяжелое впечатление и заставляют читателя испытывать чувство нестерпимой духоты; причину этого обстоятельства критик ищет в том, что у Писемского нет идеала; объяснение это кажется мне довольно странным; жалоба также очень оригинальная. Проще было бы сообразить, что роман или драма дают читателю те же впечатления, какие дала автору сама жизнь. Вероятно, «Современник» не решится отвергать присутствие духоты в нашей жизни, а если она существует в жизни, то я не вижу резона, зачем ее выкуривать из романов и драм. Г. Писемскому душно и больно, когда он берется за перо, и оттого каждый факт, изображаемый им, бьет читателя, как обухом по голове, и совокупность картины потрясает всю нервную систему читателя неотразимым впечатлением ужасающей действительности. А там уж ваше дело осмысливать себе испытанное ощущение и отыскивать причины той духоты и того мрака, которые охватили вас во время чтения. Автор заставил вас прочувствовать то, что он чувствует сам, и вы можете быть на него в претензии только в том случае, если вы полагаете, что наша жизнь светла, прекрасна и богата разумными наслаждениями, доступными для каждой,

человеческой личности. Если же вы этого не думаете, тогда вы должны согласиться, что романы и повести неприятного обскуранта Писемского действуют на общественное сознание сильнее и живительнее, чем сатиры и рассказы приятного во всех отношениях и прогрессивного Щедрина. Когда г. Писемский начинает рассуждать, тогда хоть святых вон неси, но когда он дает сырые материалы, тогда читателю приходится задумываться над ним очень глубоко. Г. Щедрин, напротив того, очень отчетливо и благообразно рассуждает по Добролюбову, очень мило смешит читателя до упаду своей простодушною веселостью; но вы можете прочитать от доски до доски все его сатиры и рассказы, и вы ни над чем не задумаетесь, и впечатление останется точно такое, как будто бы вы побывали в Михайловском театре и посмотрели известный французский водевиль: «L'Amour qu'est ce que c'est qu'ça?». * Г. Писемский способен написать роман с самыми непозволительными тенденциями, и он вполне обнаружил эту способность в своем последнем, отвратительном произведении, [17] но зато он способен написать и такую вещь, которая, как его «Тюфяк», характеризует грязь нашего провинциального общества гораздо полнее и ярче, чем все юмористические диссертации г. Щедрина о «наших глуповских делах»; зато он создал «Горькую судьбину» и «Батьку» и в этих произведениях очертил трагическую сторону крепостного права с такою страшною силою, которая останется навсегда недоступною для г. Щедрина. Г. Писемского вы сегодня можете ненавидеть, и ненавидеть за дело, но вчера вы его любили, и любили также за дело; что же касается до г. Щедрина, то его не за что ни любить, ни ненавидеть; в его книге нельзя видеть ни друга, ни врага; его книга не что иное, как веселый собеседник, с которым приятно бывает побалагурить час-другой после хорошего обеда или на сон грядущий.

Зная беззаботные нравы наших возлюбленных соотечественников и принимая в расчет невинность щедринского юмора и заразительную веселость его добродушного смеха, мы с читателем в одну минуту сообразим, почему г. Щедрин с первого появления своего на литературном поприще вошел во вкус нашей читающей публики, и преимущественно тех самых классов общества, которые сатира его преследует с неумолимым постоянством. Конечно, провинциальные чиновники с самого начала было переконфузились, полагая, что сатира служит предвестницею грома; но так как гром не грянул, то догадливые провинциалы скоро успокоились, возлюбили веселого г. Щедрина всем сердцем своим и продолжают любить его вплоть до настоящего времени. Оно и естественно. В том обществе, в котором «Сын отечества» имеет десятки тысяч читателей, г. Щедрин неизбежно должен считать десятки тысяч поклонников. Легкая наука «Сына отечества», [18] и легкий смех

---

* Любовь, что же это такое? *(франц.)*. — *Ред.*

г. Щедрина, и легкая мечтательность г. Фета связаны между собою тесными узами умственного родства. Все эти писатели пишут для процесса писания, а публика всех их читает для процесса чтения. Из этого происходит удовольствие взаимное, безгрешное и пренепорочное.

IV

Но читатель мне не верит; читатель убежден, что я преувеличиваю. Я с своей стороны совершенно одобряю недоверие читателя, потому что терпеть не могу, чтобы мне верили на слово. Я тотчас выдвину вперед доказательства; я выберу из сочинений г. Щедрина несколько смехотворных пассажей, и мы с читателем посмотрим, в чем заключается их юмористическая соль. Предупреждаю, что выписок будет премного, потому что коли доказывать, так уж доказывать неотразимо. Вот, например, г. Щедрин рассказывает, что один губернатор имел привычку повторять по целым дням какое-нибудь слово; вздумает говорить: *закона нет*, так и пойдет на целый день: «нет закона». До такой степени зарапортуется, что даже когда докладывают, что кушанье подано, он все-таки кричит: «Нет закона!»

— Ах, Nicolas, какой ты рассеянный! — заметит, бывало, губернаторша.

— Ах, матушка! — возразит губернатор, и с этой минуты вместо «нет закона» начинает пилить: «Ах, матушка!»

«Надо сознаться, что с непривычки это крайне затрудняет сношения с нашим начальником края, а незнакомых с его обычаями повергает даже в крайнее изумление. Я помню, один эстляндский барон, приехавший из-за двести верст жаловаться, что у него из грунтового сарая две вишни украли, даже страшно оскорбился, когда начальник губернии вместо всякой резолюции сказал ему: «Ах, матушка!» и чуть ли даже не хотел довести об этом до сведения высшего начальства.

— На что это похоже! — сказывал он мне: — у него ищут правосудия, а он: «Ах, матушка!»

Не правда ли, читатель, что эта замысловатая выдумка сатирика по своему остроумию и по своей безобидности не уступит лучшим карикатурам «Сына отечества»? Это место находится в книжке «Сатиры в прозе», на странице 286—287; [19] история о губернаторских поговорках этим еще не оканчивается, но следить за ее продолжением я считаю делом роскоши. Перейдем к другим забавам.

Говорится, например, о провинциальных сплетнях, и сатирик, объятый веселым волнением, восклицает: «Какое дело кабаньей жене, что поросенков брат третьего дня с свиньиной племянницей через плетень нюхался? Ан дело, потому что кабанья жена до исступления чувств этим взволнована, потому что кабанья жена

дала себе слово неустанно искоренять поросячью безнравственность и выводить на свежую воду тайные поросячьи амуры». — A la bonne heure, * вот это сатира! Каков великодушный пыл негодования! Какова возвышенная смелость речи! А главное, каково остроумие и какова неистощимая веселость в самом разгаре душевного волнения! Что Ювенал! Ему и не грезились такие обороты. Свиньи, говорит, вы провинциалы! Но говорит не просто, а с тонкими намеками, указывая на «поросячью безнравственность» и «поросячьи амуры».

Мягко, а между тем язвительно! — Один из героев г. Щедрина, Пьер Уколкин, цвет и надежда Глупова, говорит ради остроты: «С пальцем девять, с огурцом пятнадцать, наше вам-с» и потом спрашивает насчет своей выдумки: «Joli?» ** Но до «тайных поросячьих амуров» сам Пьер Уколкин никогда не возвысится; зато г. Щедрин постоянно мигает своему читателю и, подобно Пьеру Уколкину, постоянно спрашивает насчет своих острот: «Joli?» Вопросы и мигания не выражены в печати, но они живо чувствуются в архитектуре самых острот. Поросячье место смотри на странице 372. [20] — Рассказывается эпизод из политической истории Глупова: «Вот и созвала Минерва верных своих глуповцев: скажите, дескать, мне, какая это крепкая дума в вас засела? Но глуповцы кланялись и потели; самый, что называется, горлан ихний хотел было сказать, что глуповцы головой скорбны, но не осмелился, а только взопрел пуще прочих. — «Скажите, что ж вы желали бы?» — настаивала Минерва и даже топнула ножкой от нетерпенья. Но глуповцы продолжали кланяться и потеть. Тогда, бог весть откуда, раздался голос, который во всеуслышание произнес: «Лихо бы теперь соснуть было!» Минерва милостиво улыбнулась; даже глуповцы не выдержали и засмеялись тем нутряным смехом, которым должен смеяться Иванушка-дурачок, когда ему кукиш показывают. С тех пор и не тревожили глуповцев вопросами» (стр. 407). [21] Это забавное место заключает в себе философию истории,популярно изложенную г. Щедриным для поросячьих братьев и для свиньиных племянниц. Из этого места мы можем извлечь кое-какие поучительные размышления: во-первых, мы усматриваем, что вся мудрость заключалась в голове Минервы, а что глуповцы всегда умели только кланяться, потеть и смеяться нутряным смехом, который, вероятно, очень значительно отличается от смеха г. Щедрина; во-вторых, мы видим, что Минерва отличалась бесконечною благостью и от души готова была даровать глуповцам решительно все, чего бы они ни попросили; этого мы до сих пор не знали, но теперь будем знать и твердо будем помнить, что глуповцы сами во всем виноваты, что, впрочем, говорит уже нам г. Гончаров, создавший Обломова и выдумавший обломовщину, как болезнь,

---

* Браво *(франц.)*. — *Ред.*

** Недурно *(франц.)*. — *Ред.*

и Штольца, как лекарство; а в-третьих, мы замечаем, что повествовать о губернаторских поговорках и разоблачать тайные поросячьи амуры легче и безопаснее, чем пускаться на утлой ладье сатирического ума в неизвестное и непонятное море исторических и политических соображений; ну, а в-четвертых и в последних, мы убеждаемся в том, что Добролюбов не всегда вывозит и что г. Щедрин, предоставленный своим собственным силам, рассуждает о высоких материях не столько благоразумно и основательно, сколько развязно, игриво и простодушно. Но так как поросенковы братья и свиньины племянницы хохочут над потеющими глуповцами, то цель великого сатирика, очевидно, достигнута. «Joli?» спрашивает он и мигает.

Описываются глуповские губернские власти: «В то счастливое время, когда я процветал в Глупове, губернатор там был плешивый, вице-губернатор плешивый, прокурор плешивый. У управляющего палатой государственных имуществ хотя и были целы волосы, но такая была странная физиономия, что с первого и даже с последнего взгляда он казался плешивым. Соберется, бывало, губернский синклит этот да учнет о судьбах глуповских толковать — даже мухи умрут от речей их, таково оно тошно!» (стр. 410). [22] — Здесь сатирик наш, очевидно, находится в своей истинной сфере; здесь он опять состязается в остроумии и невинности с «Сыном отечества» и опять одерживает блистательную победу над своим опаснейшим конкурентом. Все плешивые — ах, забавник! А управляющий палатой кажется плешивым — каково? и *учнет* толковать, и *мухи умрут, и таково оно тошно!* Ну, можно ли в двух строках собрать столько аттической соли! Ведь явно посягает человек на жизнь своих глуповских читателей; ведь уморить со смеху хочет! Просто приходится пощады просить. А фантазия какова: «Мухи умрут от речей их». Этого и Державин бы не выдумал, а уж на что, кажется, был проказник! Оно, положим, непонятно: как это мухи умрут? Оно, положим, и смысла нет; но разве Державин мог бы писать, если бы от писателя всегда требовался смысл? Да и что такое смысл? Лукавый враг приятных и величественных иллюзий. Прочь здравый смысл, и да здравствуют иллюзии, начиная от державинских и кончая щедринскими! «Ум молчит, а сердцу ясно». Ну, значит, милые глуповцы, понимающие сердцем стихи Державина, будут также сердцем хохотать над сатирами г. Щедрина, потому что уму и здравому смыслу нечего делать ни в том, ни в другом случае. Читателя изумляет, почему это я вдруг Державина потревожил; а вот видите ли, юмористические фантазии г. Щедрина насчет мух напомнили мне другие фантазии тожественного свойства, менее забавные, но еще более нелепые; ну, и тут, конечно, представился мне самый торжественный из наших одопевцев, а так как я очень люблю и уважаю г. Державина, то я не утерпел, чтобы не приласкать его мимоходом, при сем удобном случае. К тому же г. Щедрин, как

новейший жрец чистого искусства, более или менее приводит мне на память всех своих товарищей и предшественников на поприще этого великого служения.

Изображается сцена, характеризующая коренные обычаи Глупова: «В это хорошее, старое время, когда собирались где-либо «хорошие» люди, не в редкость было услышать следующего рода разговор:

— А ты зачем на меня, подлец, так смотришь? — говорил один «хороший» человек другому.

— Помилуйте... — отвечал другой «хороший» человек, нравом посмирнее.

— Я тебя спрашиваю не «помилуйте», а зачем ты на меня смотришь? — настаивал первый «хороший» человек.

— Да помилуйте-с...

... И бац в рыло!..

— Да плюй же, плюй ему прямо в лохань (так в просторечии назывались лица «хороших» людей!), — вмешивался случившийся тут третий «хороший» человек.

И выходило тут нечто вроде светопреставления, во время которого глазам сражающихся, и вдруг и поочередно, представлялись всевозможные светила небесные...» (стр. 418). [23]

Вы смеетесь, читатель, и я тоже смеюсь, потому что нельзя не смеяться. Уж очень большой артист г. Щедрин в своем деле! Уж так он умеет слова подбирать; ведь сцена-то сама по себе вовсе не смешная, а глупая, безобразная и отвратительная; а между тем впечатление остается у вас самое легкое и приятное, потому что вы видите перед собою только смешные слова, а не грязные поступки; вы думаете только о затеях г. Щедрина и совершенно забываете глуповские нравы. Я знаю, что эстетические критики называют это просветляющим и примиряющим действием искусства, но я в этом просветлении и примирении не вижу ничего, кроме одуряющего. Рассказ должен производить на нас то же впечатление, какое производит живое явление; если же жизнь тяжела и безобразна, а рассказ заставляет нас смеяться приятнейшим и добродушным смехом, то это значит, что литература превращается в щекотание пяток и перестает быть серьезным общественным делом. Чтобы предлагать людям такое чтение, не стоит отрывать их от карточных столов. Здесь я опять укажу на Писемского. «Взбаламученное море», при всей затхлости своих тенденций, представляет несколько замечательных эпизодов. Припомните, например, деяния Ионы-циника: [24] тут уж не засмеетесь, тут за человека страшно делается, а между тем Иона-циник вовсе не хуже щедринских героев; среда та же самая, и порождения ее одинаковы; да манеры-то у писателей бывают различные: один чувствует, что калеки и изверги нашей общественной жизни все-таки люди, которых можно ненавидеть, презирать, отвергать, но к которым невозможно относиться как к марионеткам, созданным

нашими руками для нашей забавы; а другой ищет только случая посмеяться, водит перед читателями своих глуповцев, как медведей на цепи, и заставляет их показывать почтеннейшей публике, «как малые ребята горох воруют» и «как старые бабы на барщину ходят». Если Писемский своими грубыми ухватками оскорбляет наши временные симпатии, то г. Щедрин своим юмористическим добродушием обнаруживает непонимание вечных интересов человеческой природы. Есть язвы народной жизни, над которыми мыслящий человек может смеяться только желчным и саркастическим смехом; кто в подобных случаях смеется ради пищеварения, тот сбивает с толку общественное сознание, тот усыпляет общественное негодование, тот ругается над священною личностью человека и, стоя в первых рядах прогрессистов, юродствует хуже всякого обскуранта. Но зато выходит joli и даже très joli. *

Гегемониев преподает наставление Потанчикову: «А я тебе скажу, что все это одна только видимость, что и Потанчиков и Овчинников тут только на приклад даны, в существе же веществ становой есть, ни мало ни много, невещественных отношений вещественное изображение... шутка!» («Невинные рассказы», стр. 8). [25] Ну, об этом распространяться нечего; это, очевидно, «с пальцем девять, с огурцом пятнадцать, наше вам-с»; шутка эта даже не отличается самостоятельностью, она заимствована из «Обыкновенной истории» г. Гончарова, где Александр Адуев говорит о «вещественных знаках невещественных отношений»; там это выражение уместно, а здесь поставлено ни к селу ни к городу; конечно, г. Щедрин может сказать, что он не заимствовал и что гениальные умы, идя самостоятельными путями, часто встречаются между собою на одном и том же открытии, но это возражение мало поможет нашему балагуру, потому что открытие все-таки приписывается обыкновенно тому, кто первый его обнародовал; стало быть, в этом случае честь изобретения останется неотъемлемою принадлежностью г. Гончарова. А ведь много есть добродушных и доверчивых читателей, которые, зная г. Щедрина как весьма передового прогрессиста, будут искать в его шутках какого-нибудь высшего и таинственного смысла; они даже не поверят заглавию книжки: «Невинные рассказы». Скажут: знаем мы тебя, какой ты невинный! — и все-таки будут искать, и, разумеется, каждый найдет все, что захочет найти. В бессмыслице всегда можно увидать какой угодно смысл, именно потому, что нет в ней своего собственного, ясного и определенного смысла. И когда каждый найдет все, что захочет найти, то, конечно, слава г. Щедрина как передового прогрессиста, соединяющего глубокомыслие с остроумием, упрочится и распространится пуще прежнего. Тут весь секрет тактики состоит в том, чтобы говорить неясно и игриво, не договаривая до конца и да-

* Недурно и даже очень недурно *(франц.)*. — *Ред.*

вая чувствовать, что и рад бы, да нельзя, потому что не время, потому что не поймут. Это была всегдашняя тактика всех дипломатов, но так как наша читающая публика до сих пор еще особенно доверчива, то морочить ее и дразнить ее ребяческое любопытство гиероглифическими шутками несравненно легче, чем водить за нос ту европейскую публику, перед которою Талейран и Меттерних умели прикидываться мировыми гениями. Для этого не надо обладать даже тою дозою дешевого ума, которою обладали Меттерних и Талейран; для этого достаточно усвоить себе известного рода сноровку и жаргон. Как простодушна и доверчива наша публика, это можно видеть на самом г. Щедрине; наш сатирик ухитрился самого себя обморочить жаргоном и сноровкою своего собственного изобретения; он не шутя принимает себя за глубокомысленного прогрессиста, соединяющего кротость голубя с мудростью змия; в своем заглавии «Невинные рассказы» он думал затаить глубокую и горькую иронию; он думал, что невинность будет только внешним лаком, сообщающим его рассказам необходимое благообразие, но соскоблите этот лак, и под ним вы опять увидите невинность; скоблите дальше, скоблите до самой сердцевины, и везде одно и то же, невинность да невинность, может быть угнетенная, но угнетенная чисто по недоразумению, угнетенная потому, что угнетатели также обморочены таинственностью жаргона и сноровки. А то и угнетать было бы нечего.

Во всех сочинениях г. Щедрина без исключения нет ни одной идеи, которая бы в наше время не была известна и переизвестна каждому пятнадцатилетнему гимназисту и кадету; но так как эта идея показывается из-под полы, с таинственными предосторожностями и лукавыми миганиями, то публика и хватает ее, как самую новейшую диковинку и как вернейший талисман против всякого умственного недуга. Конечно, публика разочаровалась бы, увидавши, что ей всучили медную копеечку вместо червонца, но ей не дают всмотреться в дело; ее смешат до упаду, и она остается совершенно довольною, закрывая книгу в полной уверенности, что она и либерализмом побаловалась и душу свою натешила. Ну, значит, сделала дело, и спать ложись. Тактика хорошая и плоды приносит обильные. Публике весело, а г. Щедрину и подавно.

Приведу еще три примера; в них обнаружится до последней степени ясности глубокая невинность и несложность тех пружин, которыми г. Щедрин надрывает животики почтеннейшей публике. Его сивушество князь Полугаров (смейтесь же, добрые люди!), всех кабаков, выставок и штофных лавочек всерадостный обладатель и повелитель, говорит речь: «От определения обращусь к самому делу, т. е. к откупам. Тут, господа, уж не то, что «плев сто рублев», тут пахнет миллионами, а запах миллионов — сильный, острый, всем любезный, совсем не то, что запах теорий; чем заменить эти миллионы? Какою новою затыкаемостью заткнуть

эту старую поглощаемость?»[26] Что может сказать читатель, прочитавши это удивительное место? Может сказать совершенно справедливо: «Кого ты своими благоглупостями благоудивить хочешь?» Эта фраза будет заимствована читателем у самого г. Щедрина, и наш неистощимый сатирик погибает таким образом под ударами своего собственного остроумия. Заметьте еще, что история о князе Полугарове, растянутая на несколько страниц, предлагается публике в то время, когда откупа уже не существует; заметьте, что, по рассказам самого г. Щедрина, шалимовский гимназист, процветающий в городе Глупове, уже отвертывается с презрением от администратора, желающего поддержать откупную систему; сообразите-ка эти обстоятельства и поставьте себе тогда вопрос: не есть ли смех г. Щедрина бесплодное проявление чистого искусства, подобное лирическим воздыханиям гг. Фета, Крестовского и Майкова? Посмотрим, как-то вы на этот вопрос ответите. Положим, г. Щедрин может возразить, что он писал тогда, когда откупа еще существовали, и что в 1863 году выходят только в свет отдельною книжкою те сатирические рассказы, которые печатались прежде в журнале[27] и имели некогда животрепещущий интерес современности. Но это возражение ни к чему не ведет, потому что тут возникает тотчас новый вопрос: с какой же стати вторично угощать публику объедками? Она, наша матушка, разумеется, все съест, да еще и второго издания попросит, но не мешает нашему брату, писателю, и честь знать, особенно когда писатель стоит в первом ряду прогрессистов. Тут недурно было бы и самому писателю относиться к себе критически и до некоторой степени оберегать публику от ее собственной доверчивости и неразборчивости. Воззрения на публику как на дойную корову надо предоставить в нераздельную собственность юродствующему лагерю обскурантов. Идеи наши только тогда будут действительно сильны, когда отношения наши к обществу будут строго бескорыстны и до последней степени деликатны. Кто думает и поступает в этом случае иначе, тот не прогрессист, а эксплуататор прогрессивной идеи, паразит и откупщик умственного мира. Если же г. Щедрин погрешил здесь по необдуманности, то он может принести покаяние и позаботиться об исправлении.

В следующих двух примерах[28] невинность смехотворных пружин доходит до такого великого совершенства, что она должна даже возбуждать умиление читателя.

Ходит по комнатам Кондратий Тихоныч, «и ходит и ходит по своим сараям, ходит до того, что и пол-то словно жалуется и стонет под ногами его: да сядь же ты, ради христа!» Читатель смеется, а чему тут смеяться?

Чиновник играет в ералаш против своего начальника; вследствие этого обстоятельства он вовсе не радуется своим хорошим картам, которые заставляют его, волею-неволею, обыгрывать и огорчать великого патрона. Положение действительно характе-

ристическое, и комизма в нем много; но г. Щедрин здесь, как и везде, вызывает смех читателя не самым положением, а неожиданно брошенною эксцентричностью. «Поэтому он всячески старался оправдаться; разбирая карты, пожимал плечами, как бы говоря: ведь лезет же такое дурацкое счастье! делая ход, не клал карту на стол, а как-то презрительно швырял ее, как бы говоря: вот и еще сукин сын туз!» Еще бы тут читатель не расхохотался; но ясно, что он будет смеяться над «сукиным сыном тузом», а не над мелочными слабостями начальника и подчиненного. Смех будет безгрешный.

Г. Щедрин, сам того не замечая, в одной из глуповских сцен превосходно охарактеризовал типические особенности своего собственного юмора. Играют глуповцы в карты:

«— Греческий человек Трефандос! — восклицает он (пехотный командир), выходя с треф.

Мы все хохочем, хотя Трефандос этот является на сцену аккуратно каждый раз, как мы садимся играть в карты, а это случается едва ли не всякий вечер.

— Фики! — продолжает командир, выходя с пиковой масти.

— Ой, да перестань же, пострел! — говорит генерал Голубчиков, покатываясь со смеху: — ведь этак я всю игру с тобой перепутаю». [29]

Не кажется ли вам, любезный читатель, после всего, что вы прочитали выше, что Щедрин говорит вам: «Трефандос» и «Фики», а вы, подобно генералу Голубчикову, отмахиваетесь руками и, покатываясь со смеху, кричите бессильным голосом: «Ой, да перестань же, пострел! Всю игру перепутаю»... Но неумолимый остряк не перестает, и вы действительно путаете игру, т. е. сбиваетесь с толку и принимаете глуповского балагура за русского сатирика. Конечно, «тайные поросячьи амуры», «новая затыкаемость старой поглощаемости» и особенно «сукин сын туз» не чета «греческому человеку Трефандосу». Остроты г. Щедрина смелее, неожиданнее и замысловатее шуток пехотного командира, но зато и смеется над остротами г. Щедрина не один глуповский генерал Голубчиков, а вся наша читающая публика, и в том числе даже наша умная, свежая и деятельная молодежь. А уж это дело пора бы и бросить. Развращать ум нашей молодежи «нутряным смехом Иванушки-дурачка» так же предосудительно, как щекотать ее нервы звучными бессмыслицами лирической поэзии. Первое опаснее последнего: над лириками молодежь уже смеется, а сатирикам она еще доверяет, особенно тем из сатириков, которым удалось прикрыться почтенною фирмою замечательного журнала, который еще долго будет представляться высокой силой его прошлого деятеля. Как эти патентованные сатирики пользуются выгодами своего положения, как они эксплуатируют доверие публики вообще и молодежи в особенности — это мы с читателем уже отчасти видели и увидим еще впереди.

V

Г. Щедрину приходится иногда изображать трагические происшествия: у него в рассказах встречаются два сумасшествия и одно самоубийство. Но г. Щедрин твердо убежден в том, что глуповского чиновника всегда следует обличать и осмеивать; поэтому он не рассказывает о помешательстве Зубатова и Голубчикова, а язвительно обличает того и другого в этом непрогрессивном поступке. Трагические происшествия передаются таким образом читателю весело и игриво, а читатель, разумеется, принимает их с благодарностью, как новую юмористическую интермедию. Что касается до самоубийства, то тут дело совсем другое; так как действующими лицами являются в этом случае два крепостные мальчика, то г. Щедрин, желая разыграть самым блистательным образом роль гуманного прогрессиста, натягивает трагические струны своего повествовательного таланта так туго, что они обрываются до конца рассказа; видя, что эпическая сила изменяет ему и что из нее уж не выжмешь больше никакого раздирательного эффекта, г. Щедрин смело кидается в лирическое юродство и буквально начинает голосить и выкликать над несчастными ребятами, которым и без того тошно на свете жить. Дело доходит до того, что юморист наш обращается с воззванием сначала к жестокой помещице Катерине Афанасьевне, а потом к нашей планете. Не верите, так читайте: «Катерина Афанасьевна! если бы вы могли подозревать, что делается в этом овраге, покуда вы безмятежно почиваете с налепленными на носу и на щеках пластырями, вы с ужасом вскочили бы с постели, вы выбежали бы без кофты на улицу и огласили бы ее неслыханными, раздирающими душу воплями».

«Земля-мать! если бы ты знала, какое страшное дело совершается в этом овраге, ты застонала бы, ты всколыхалась бы всеми твоими морями, ты заговорила бы всеми твоими реками, ты закипела бы всеми твоими ручьями, ты зашумела бы всеми твоими лесами, ты задрожала бы всеми твоими горами!» («Невинные рассказы», стр. 168—169). [30]

Ах, мои батюшки! Страсти какие! Не жирно ли будет, если земля-мать станет производить все предписанные ей эволюции по поводу каждого страшного дела, совершающегося в овраге. Ведь ее, я думаю, трудно удивить; видала она на своем веку всякие виды; не осталось на ней ни одного квадратного аршина, на котором ее возлюбленный сын не совершил бы над собою или над другими какой-нибудь невообразимой гадости; так уж где ей, старухе, возмущаться таким делом, которое даже в слабом человеке, в гуманном русском прогрессисте, в самом г. Щедрине не может возбудить ни одной искры неподдельного чувства! Ведь не выражается же в самом деле истинное чувство в этом завывании, в котором так мало смысла и так много риторства. Ведь это все

подделка с начала до конца; ведь это плаксивая гримаса, это слезы, извлеченные из глаз посредством нюхания хрена; это какая-то плохо устроенная мистификация, которая была бы возмутительна, если бы она не была так плоско смешна. «И кого ты своими благоглупостями благоудивить хочешь?»—в раздумье повторяет читатель и потом усмехается, пожимая плечами, но на этот раз усмехается, конечно, не шуткам сатирика, а тому печально-комическому положению, в которое попал сам сатирик. Но допустим невозможное предположение: положим, что г. Щедрин был потрясен действительно сильным приливом чувства в ту минуту, когда он создавал свое воззвание к земле и к Катерине Афанасьевне; тогда тем хуже для него; в таком случае он несет заслуженное наказание за хроническую невинность своего бесплодного смеха; это значит, что человек может превратить себя в вертлявую куклу; это значит, что вся нервная система человека может быть безвозвратно исковеркана постоянным и односторонним употреблением умственных способностей на мелкое и пустое увеселение публики; когда приходится выразить истинное чувство, тогда истасканные нервы отказываются служить, и под пером писателя не оказывается ни одного образа, ни одного выражения, соответствующего этой непривычной потребности. И выходит вследствие этого такая неестественная кислятина, что читатель не знает, что́ ему делать: жалеть ли бедного художника, продавшего свой душевный жар в мелочную лавочку, смеяться ли над его тщетными усилиями или просто отвернуться и плюнуть от негодования.

Но это еще не все. Желая во весь дух ударить кулаком по лирическим струнам, г. Щедрин не только риторствует, но даже совершает над самим собою нечто вроде литературного самоубийства; он умышленно искажает в своем воззвании к Катерине Афанасьевне тот характер, который он сам очертил довольно тщательно на предыдущих страницах. Если бы Катерина Афанасьевна зимою выбежала из дому «без кофты», не боясь простуды, и стала бы оглашать улицы города «неслыханными воплями», не боясь скандала и всех его неприятных последствий, тогда это значило бы, что она — женщина взбалмошная, вспыльчивая, но при всем том способная почувствовать себя виноватою, способная, под влиянием сильного потрясения, прийти в себя и отбросить в сторону систему своего хозяйственного терроризма. Между тем предыдущие страницы говорят нам совсем другое; из них мы видим, что Катерина Афанасьевна совершает свои жестокости очень хладнокровно и с значительною примесью рабовладельческого остроумия; мы видим, что строй нравственных понятий, вытекающих из крепостного права, ограждает ее самым надежным и непроницаемым оплотом против всяких непоследовательных припадков сострадания и человеколюбия. Мы узнаем, кроме того, что Катерина Афанасьевна — стреляная ворона; ей уже не в первый раз приходится переживать, что люди по ее милости

решаются на самоубийство; сестра одного из мальчиков утопилась вследствие жестокого обращения, а стоицизм помещицы не поколебался; помещица уверила себя и других, что «поганка Ольгушка» утопилась «для того, чтобы скрыть свой стыд», т. е. беременность. Потом, когда тело не было найдено и когда исправник укрепил естественный стоицизм помещицы своею деловою опытностью, тогда Катерина Афанасьевна смело стала отрицать самый факт самоубийства и подала объявление о побеге «девки Ольги Никандровой», которая не только бежала сама, но, усугубляя свою вину воровством, «унесла с собою данное ей помещиком пестрядинное платье, в которое и была в тот день одета». Возьмите в расчет, что наша бойкая помещица — женщина необразованная и суеверная, и тогда вы поймете, какую силу характера обнаружила Катерина Афанасьевна, взводя поклеп в побеге и в воровстве на такую покойницу, которую она, Катерина Афанасьевна, почти собственноручно спровадила на тот свет. Правда, «поганка Ольгушка» явилась своей барыне во сне, и барыня выскочила из спальни, как полоумная; но, во-первых, это видела только ключница Матрена, а во-вторых — что же из этого следует? Помещица набивала свой желудок особенно плотно, потому что больше и делать нечего было; а известно, что переполненный желудок награждает человека разнообразными и эксцентрическими сновидениями; это и случилось с Катериною Афанасьевною; привиделась ей «поганка Ольгушка», но мог привидеться и черт с рогами; тут не было бы ничего удивительного, и оба сновидения заставили бы ее выскочить из спальни с одинаковою стремительностью. Гораздо характернее то обстоятельство, что на глазах Катерины Афанасьевны рос маленький брат утопившейся девушки и что барыне не только не было тяжело смотреть на этого ребенка, который должен был ежеминутно напоминать ей совершившееся преступление, но что, напротив того, барыня имела даже храбрость мучить этого мальчика наравне с другими домочадцами и ежедневными мучениями постоянно толкать его к тому оврагу, в котором должно было произойти новое самоубийство. И вдруг эта практическая женщина станет бегать по улицам в одной рубашке и раздирать уши городских обывателей неслыханными воплями. И отчего? Оттого, что мальчишки, которых она, вероятно, иначе и не называла, как «мерзавцами» и «паршивыми», вздумали полоснуть себя ножом по горлу. Да ей-то какое дело? Она постарается схоронить концы в воду, она подарит кому следует, сколько будет необходимо, и потом попрежнему будет наедаться до отвалу и, в случае переполнения желудка, будет видеть во сне не одну Ольгу, а целую компанию знакомых мертвецов. Велика важность — нечего сказать! Г. Федору Бергу или неизвестному поэту, воспевавшему в «Отечественных записках» «Слезы кукушки», [31] позволительно не знать этих особенностей человеческого организма, а со стороны г. Щедрина такое незнание не только неприлично, но и

невероятно. Всякий здравомыслящий читатель хорошо понимает, что это игнорирование так же искусственно, как и самое чувство, породившее лирическое обращение к земле и к помещице. Над подобною искусственностью всегда следует смеяться, и чем дороже вам тот предмет, по поводу которого она пускается в ход, тем громче и резче должен быть ваш карающий смех, потому что искусственность унижает и опошляет все то, к чему она прикасается.

Но и это еще не все. У читателя давно уже вертится на языке вопрос: да разве есть теперь крепостные мальчики? — Нет, нету.— Так как же это они себя убивать могут? — Да они убивают себя не теперь, а прежде, давно, во время о́но. — А если прежде, во время *оно*, то с какой же стати повествуется об этом событии теперь, во время *сие?* — Не знаю. Должно быть, г. Щедрин позавидовал литературной славе нашего Вальтер-Скотта, графа А. Толстого, описавшего с такою наглядностью все кушанья, подававшиеся на стол Ивана Грозного? [32] Или он хотел состязаться с нашим Шекспиром, г. Островским, изобразившим с таким счастливым успехом Козьму Минина и все его видения? Или он боялся, что вновь восстановится крепостное право, и пожелал противодействовать такому пассажу кроткими мерами литературного увещания? Или же он постарался поразить своим пером прошедшее, чтобы сделать приятный и любезный сюрприз настоящему? Последнее предположение кажется мне всего более правдоподобным, потому что всякому жрецу чистого искусства должно быть чрезвычайно лестно соединить в своей особе блестящую репутацию русского Аристофана с полезными достоинствами современного Державина, который, как известно, говорил истину с улыбкою самого обезоруживающего и обворожительного свойства.

Г. Щедрин прекрасно сделает, если пойдет вперед по этому пути, но, становясь на чисто эстетическую точку зрения и заботясь о чистоте нашего литературного вкуса, я позволяю себе выразить желание, чтобы на будущее время г. Щедрин, слагая свои оды, построже придерживался литературных преданий и приемов чисто классической школы. Я возьму для примера отношение литературы к нашему молодому поколению, на стороне которого находятся все мои личные симпатии, тем более что и сам я принадлежу к нему телом и душою. Лучшие органы нашей периодической литературы начали защищать умственные интересы молодого поколения против нападений дряхлой и озлобленной бездарности, с той самой минуты, как только в нашем обществе обнаружился тот повсеместный разлад, который всегда бывает неразлучен с поступательным движением вперед. Междоусобная борьба в литературе по поводу молодежи продолжается до сих пор и, вероятно, протянется еще довольно долго, хотя строгие обличители юношества уже значительно посбавили тону. Мыслящие представители свежего направления в нашей литературе защищают до сих пор

молодых людей против медоточивой клеветы и против грубого непонимания. Защищение это вовсе не панегирик, и оно еще необходимо, во-первых, потому, что нельзя же оставлять общество в печальном заблуждении, а во-вторых, потому, что человек все-таки не камень и что самого хладнокровного писателя все-таки нет-нет да и взбесит, когда он услышит чересчур нелепую историю, вроде «Взбаламученного моря». А между тем, несмотря на полную законность и разумность этого защищения, надо сказать правду, что для молодежи всего бесплоднее именно те страницы наших журналов, в которых всего больше толкуют о ней и всего сильнее выражают ей сочувствие. Эти горячие и благородные страницы не дают ей никакого нового знания. В самом деле, чтó узнают из них молодые люди? Что они — хорошие люди? Это они сами знают. Что им сочувствует честное меньшинство литературы? Экое, подумаешь, благодеяние оно им оказывает! Да и потом, само собою разумеется. Как бы ухитрилось это меньшинство, оставаясь честным, не сочувствовать тому, что также честно? Что они, молодые люди, думают так и так? Да уж, наверное, сами-то молодые люди знают это еще лучше, чем те литераторы, которые об этом пишут.

Таким образом, всего бесполезнее для молодого поколения оказывается именно то, что всего ближе подходит к восхвалению этого самого молодого поколения. Чем больше вы хотите приносить пользы молодым людям, тем меньше толкуйте об их достоинствах и тем больше думайте об их умственных потребностях. Старайтесь помогать вашими статьями их развитию, старайтесь давать им материалы для размышления, старайтесь, чтобы молодой человек, берущий в руки журнальную книжку для развлечения, постоянно находил бы в ней вместе с развлечением полезные и основательные знания, свежие и живые идеи, разумную ширину взглядов и сознательную гуманность направления; делайте все это, посвящайте вашу жизнь этому делу, и вы увидите, что молодежь будет считать вас своим истинным другом, хотя бы вам ни разу не пришлось сказать ни одного слова в ее похвалу. Таким образом, гораздо лучше выражать свою любовь полезным делом, чем приятною похвалою.

В настоящее время чисто отрицательные отношения литературы к молодежи еще невозможны, потому что молодежь находится еще в пассивном положении. Литература не может поставить себе задачею постоянно указывать на недостатки и ошибки такого элемента, который еще в значительной степени неизвестен и во всяком случае только что начинает заявлять о своем существовании. Но и теперь уже возможны некоторые частные попытки в отрицательном роде, попытки, которые, разумеется, *не могут иметь ни малейшего сходства с слепым и ожесточенным отрицанием некоторых свирепствующих старцев.* [33] Мне кажется, что эти попытки принесут молодежи гораздо больше пользы,

чем защитительные статьи ее честных адвокатов. К числу подобных попыток в отрицательном роде я отношу мою теперешнюю рецензию. Я знаю, что г. Щедрин принадлежит к числу тех писателей, которые до поры до времени пользуются сочувствием молодежи, но с которою у них нет ничего общего; мне кажется, что сочувствие это не обдумано и не проверено критическим анализом; молодежь смеется, читая г. Щедрина, молодежь привыкла встречать имя этого писателя на страницах лучшего из наших журналов, и молодежь поддается веселым впечатлениям, потому что ей не приходит в голову отнестись к этим впечатлениям с недоверием и с вопросительным знаком. Но мне кажется, что влияние г. Щедрина на молодежь может быть только вредно, и на этом основании я стараюсь разрушить пьедестальчик этого маленького кумира и произвожу эту отрицательную работу с особенным усердием именно потому, что тут дело идет о симпатиях молодежи. Я хочу уничтожить эти симпатии, и если они действительно приносят молодым людям только вред, то уничтожение их, и, следовательно, попытка в отрицательном роде, будет полезнее для нашего поколения, чем самая горячая похвала Базарову и Лопухову и самая едкая полемика против г. Каткова. Таким образом, рассмотревши отношения журналистики к молодежи, я показал на этом примере, каким образом дельное отрицание приносит обществу гораздо больше пользы, чем справедливая похвала, воздаваемая существующим фактам. Г. Щедрин поступает как раз наоборот.

VI

Если мы с высоты птичьего полета бросим общий взгляд на рассказы г. Щедрина, то нам придется изумляться бедности, мелочности и однообразию их основных мотивов. Все внимание сатирика направлено на вчерашний день и на переход к нынешнему дню; хотя этот переход совершился очень недавно, но он, очевидно, составляет для нас прошедшее, совершенно законченное и имеющее чисто исторический интерес; а историю эту писать еще слишком рано, да и совсем это не щедринское дело. Конечно, крепостное право так глубоко отравило все отправления нашей народной жизни, что тяжелая старина долго еще будет давать себя чувствовать в разных воспоминательных ощущениях весьма неприятного свойства; конечно, и чиновничество долго еще будет жить старинными преданиями классической школы, перекроенными и перекрашенными сообразно с требованиями новейшей моды; все это так, но все эти отпрыски срубленных деревьев надо изучать именно в их теперешних видоизменениях; и, чтобы изучать их, нет никакой необходимости восходить ни к тем векам, когда деревья стояли на корню, ни к тем минутам, когда деревья стали трещать под топором. Прошедшее само

по себе, переход сам по себе, а настоящее тоже само по себе. В истории все эти моменты, разумеется, связаны между собою и объясняют друг друга, как необходимое сцепление причин и следствий, но опять-таки никому в голову не приходит требовать и ожидать от г. Щедрина истории, а сатира хороша только тогда, когда она современна. Что мне за охота и за интерес смеяться над тем, что не только осмеяно, но даже уничтожено законодательным распоряжением правительства. «Довлеет дневи злоба его», и «пускай мертвецы сами хоронят своих мертвецов».

Но г. Щедрин игнорирует это простое требование здравого смысла, и потому почти все действующие лица его рассказов смотрят мертвецами, выкопанными из могил нарочно для того, чтобы повеселить читателя. Ретрограды, перепуганные зловещими слухами, чиновники, перепуганные невиданными предписаниями, и, кроме того, глуповцы, плюющие друг другу в лохань, выпивающие «по маленькой» и каждый вечер потешающиеся «Трефандосами», — вот и все содержание сатирических рассказов. Глупов, блаженствующий в своем нетронутом спокойствии, и Глупов, только что взбудораженный слухами о преобразованиях, — вот и все; а ведь, кажется, пора бы это бросить, потому что вся наша журналистика молотила, молотила эту тощую копну плохой ржи, да и молотить устала. Всем надоело — и писателям и читателям; да и наконец, кроме соломы, тут ничего больше не осталось. Так уж это избито, что можно изменять только слова, а новой, нетронутой черты не отыщет самый проницательный сатирик. Поэтому бросьте прошедшее, ищите в настоящем, а если настоящее еще не выработало себе особенной физиономии, если вы не умеете уловить того процесса брожения, которым вырабатываются эти новые черты, то бросьте сатиру, бросьте совсем нашу истрепавшуюся беллетристику, обратившуюся с некоторого времени для наших писателей в какую-то казенную или барщинную работу. — Эти слова обращены не к г. Щедрину, а вообще ко всем нашим второстепенным беллетристам. А кто же теперь не второстепенный? Чернышевский, Тургенев, может быть Островский — и только. Раз-два — да и обчелся. Но ясно, что сила Чернышевского заключается не в самородном художественном таланте, а в широком умственном развитии; ясно, что Тургенев и Островский приближаются к концу своей литературной карьеры; ясно, что расстроенная печень Писемского будет портить каждое новое произведение этого сильного таланта и превращать каждый новый роман его в «Взбаламученное море» авторской желчи. Ну, стало быть,

И полезли из щелей
Мошки да букашки. [34]

Не знаю, как другие, а я радуюсь этому увяданию нашей беллетристики и вижу в ней очень хорошие симптомы для буду-

щей судьбы нашего умственного развития. Поэзия, в смысле стиходелания, стала клониться к упадку со времен Пушкина; при Гоголе романисты или вообще прозаики заняли в литературе то высшее место, которое занимали поэты; с этого времени стихотворцы сделались чем-то вроде литературных башибузуков, плохо вооруженных, бессильных и неспособных оказать регулярному войску никакого серьезного содействия; теперь стиходелание находится при последнем издыхании, и, конечно, этому следует радоваться, потому что есть надежда, что уж ни один действительно умный и даровитый человек нашего поколения не истратит своей жизни на пронизывание чувствительных сердец убийственными ямбами и анапестами. А кто знает, какое великое дело — экономия человеческих сил, тот поймет, как важно для благосостояния всего общества, чтобы все его умные люди сберегли себя в целости и пристроили все свои прекрасные способности к полезной работе. — Но, одержавши победу над стиходеланием, беллетристика сама начала утрачивать свое исключительное господство в литературе; первый удар нанес этому господству Белинский; глядя на него, Русь православная начала понимать, что можно быть знаменитым писателем, не сочинивши ни поэмы, ни романа, ни драмы. Это было великим шагом вперед, потому что добрые земляки наши выучились читать критические статьи и понемногу приготовились таким образом понимать рассуждения по вопросам науки и общественной жизни. Когда эти рассуждения сделались возможными, тогда Добролюбов и Чернышевский стали продолжать дело Белинского; в это же время «Русский вестник» проторил себе свою особенную дорожку, на которой он до сих пор с большим успехом виляет; но как ни предосудительна его деятельность с гражданской точки зрения, однако надо отдать ему справедливость; своими статьями об Англии и своими политическими обозрениями он также содействовал тому общему движению мысли, которое постепенно оттесняло на задний план беллетристику и искусство вообще. Теперь это оттеснение произведено: в последнее пятилетие не было решительно ни одного чисто литературного успеха; чтобы не упасть, беллетристика принуждена была прислониться к текущим интересам дня, часа и минуты; все беллетристические произведения, обращавшие на себя внимание общества, возбуждали говор единственно потому, что касались каких-нибудь интересных вопросов действительной жизни. Вот вам пример: «Подводный камень»,[35] роман, стоящий по своему литературному достоинству ниже всякой критики, имеет громкий успех, а «Детство, отрочество и юность» графа Л. Толстого, — вещь замечательно хорошая по тонкости и верности психологического анализа, — читается холодно и проходит почти незамеченною.

Теперь пора бы сделать еще шаг вперед: недурно было бы понять, что серьезное исследование, написанное ясно и увле-

кательно, освещает всякий интересный вопрос гораздо лучше и полнее, чем рассказ, придуманный на эту тему и обставленный ненужными подробностями и неизбежными уклонениями от главного сюжета. Впрочем, этот шаг сделается сам собою, и, может быть, он уже наполовину сделан. Разумеется, здесь, как и везде, не следует увлекаться педантическим ригоризмом: если в самом деле есть такие человеческие организмы, для которых легче и удобнее выражать свои мысли в образах, если в романе или в поэме они умеют выразить новую идею, которую они не сумели бы развить с надлежащею полнотою и ясностью в теоретической статье, тогда пусть делают так, как им удобнее; критика сумеет отыскать, а общество сумеет принять и оценить плодотворную идею, в какой бы форме она ни была выражена. Если Некрасов может высказываться только в стихах, пусть пишет стихи; если Тургенев умеет только изобразить, а не объяснить Базарова, пусть изображает; если Чернышевскому удобно писать роман, а не трактат по физиологии общества, пусть пишет роман; этим людям есть что высказать, и потому общество слушает их со вниманием и не остается в накладе. Это даже хорошо, если такие люди излагают свои идеи в беллетристической форме, потому что окончательный шаг все-таки еще не сделан, и искусство для некоторых читателей, и особенно читательниц, все еще сохраняет кое-какие бледные лучи своего ложного ореола.

Но если в руках писателей, имеющих свои собственные идеи, беллетристическая форма может еще приносить обществу пользу, то, напротив того, попадая в руки писателей, нищих духом, эта форма становится положительно вредною. Она превосходно маскирует их бедность, вводит читателей в ошибку и, что всего хуже, возбуждает в рядах молодежи охоту подражать таким произведениям, которые составляют пустоцвет и сорную траву нашей умственной жизни. Г. Щедрин взял из добролюбовского «Свистка» манеру относиться недоверчиво к нашему официальному прогрессу; естественный, живой и глубоко-сознательный скептицизм Добролюбова превратился у его подражателя в пустой знак, в кокарду, которую он пришпиливает к своим рассказам для того, чтобы сообщить им колорит безукоризненной прогрессивности. Если бы г. Щедрин писал не рассказы, а научные или критические статьи, то эта форменная безукоризненность очень скоро надоела бы всем читателям, и г. Щедрин не был бы метеором, а занял бы ту скромную роль, которую занимает, например, наш почтенный и возлюбленный сотрудник В. П. Попов. Тогда он поневоле был бы полезен, потому что ему уже нельзя было бы ограничивать свою деятельность производством бесконечных вариаций на весьма известные темы. Ему пришлось бы, за неимением своих оригинальных идей, популяризировать чужие идеи, еще неизвестные русской публике, переводить, извлекать, компилировать, давать не мудрствования, а действительные факты. Ему пришлось бы

побольше читать, а это принесло бы ему немалую пользу, потому что тогда бы он не стал нам рассказывать мифы о Минерве и постарался бы поосновательнее обдумать вопрос, отчего это глуповцы спят таким глубоким сном и показывают друг другу «всевозможные светила небесные». Теперь он, повидимому, убежден в том, что рыться в глуповском навозе полезно, что *молодое поколение* ради своего умственного совершенствования *должно* внимательно вглядываться в каждую частичку этого вещества, каждую из них должно *осмеивать* и спасительным смехом своим должно ограждать себя от опошления и от возвращения к глуповской старине. Если бы г. Щедрин не был блестящим беллетристом и если бы вследствие этого он был принужден побольше читать и размышлять, тогда он не питал бы вышеозначенного убеждения и понимал бы некоторые вещи, которых он теперь не понимает и которые поэтому постараюсь ему объяснить.

Смеяться над безобразием глуповца все равно, что смеяться над уродством калеки, или над дикостью дикаря, или над неопытностью ребенка; все эти смехи не дают решительно ничего ни тому, кто смеется, ни тому, кого осмеивают. Смеяться полезно только над идеею, потому что в этом случае смех есть сам по себе новая идея, отрицающая старую и становящаяся на ее место. Осмеивать идею — значит доводить ее до абсурда и показывать таким образом ее несостоятельность, но показывать так живо и так ясно, чтобы аргументация не утомляла читающую массу, чтобы эта аргументация иногда сосредоточивалась вся в одном эпитете, в одном намеке, в одной веселой шутке; такой смех действительно способен выворачивать наизнанку целые тысячелетние миросозерцания: стоит назвать только два имени — Вольтер и Гейне. Не всякий — Вольтер и Гейне, но всякий человек, обладающий светлым умом и сатирическим талантом, может и должен пристраивать свой смех туда, где он имеет какой-нибудь смысл. А если он не умеет этого сделать, то ведь его никто и не принуждает смеяться публично. Пусть смеется над глуповскими «Трефандосами» с добрыми приятелями, в тиши своего уютного кабинета. Что же касается до ограждения молодежи от возвращения к старине, то и тут смех г. Щедрина равняется нулю. Нас ограждает от пошлости не смех над пошлостью, а то внутреннее содержание, которое дает нам чтение и размышление. Чтобы человек не ел испорченной пищи, надо дать ему свежую пищу; а если вы ему не дадите свежей, он будет есть испорченную, потому что не умирать же ему с голоду из любви к свежести. У нас есть теперь это содержание, и есть основание думать, что оно у нас с каждым годом будет увеличиваться; это содержание заключается в изучении природы и в изучении человека, как последнего звена длинной цепи органических существ. Мыслящие европейцы собрали и привели в порядок необозримую груду фактов, относящихся ко всем отраслям естествознания; в настоящее время история и политиче-

ская экономия прислоняются к изучению природы и постоянно очищаются от примеси тех фраз, гипотез и так называемых законов, которые не имеют для себя основания в видимых и осязаемых свойствах предметов. Умозрительная философия скончалась вместе с Гегелем, и приемы опытных наук проникли и продолжают проникать до сих пор во все отрасли человеческого мышления. Отрешаясь от школьных фантазий, наука, в высшем и всеобъемлющем значении этого слова, получает, наконец, в мире свое полное право гражданства; она формирует не специального исследователя, а человека; она закаляет его ум, она приучает его действовать этим умом во всех обстоятельствах вседневной жизни; она входит в общество и в семейство; она помогает людям, подобным Лопухову, разрешать посредством строгого анализа все запутанные и щекотливые вопросы, которые прежде решались наудачу слепыми движениями чувства; она входит в кровь человека и переработывает его темперамент; она создает величайших поэтов, тех людей, у которых живая мысль проникнута насквозь горячею струею чувства; тех людей, которые способны дрожать и плакать от восторга и созерцания великой истины; тех людей, которые дышат одною жизнью с природою и человечеством и у которых полнейший эгоизм имеет равносильное значение с всеобъемлющей любовью. *Я* исчезает потому, что для этого *я* жить и любить есть одно и то же; а если оно живет и любит, то оно, стало быть, живет миллионами жизней, живет в себе и в других, наслаждаясь процессом и целью той всемирной работы ума, которая облегчает или облегчит страдания всемирные.

И все эти непостижимые, но очень естественные чудеса делает наука, раскрывающая пред человеком жизнь клеточки, жизнь человеческого организма и историческую жизнь человеческих обществ. Все это она совершает не тем, что открывает человеку интересные тайны, а тем, что, вовлекая его в преследование этих тайн, усиливает и регулирует деятельность, необходимую для его счастья, и затем, когда деятельность эта доведена до сильной степени возбуждения и обратилась в привычное отправление организма, позволяет ему (человеку) обратить ее (деятельность) на ежедневное обсуживание и совершенствование всех междучеловеческих отношений. Словом, наука создает мыслящих людей; если она таким образом перевоспитывает человеческую личность, если ее влияние неотступно следует за человеком в семейство, и в общество, и в суд, и в лагерь, в купеческую контору и на профессорскую кафедру, на фабрику и к постели больного, в степную деревню и в уездный город, то, без сомнения, скромное изучение химических сил и органической клеточки составляет такую двигательную силу общественного прогресса, которая рано или поздно — и даже скорей рано, чем поздно, — должна подчинить себе и переработать по-своему все остальные силы. Это уже и теперь заметно. Скромное изучение началось настоящим образом с прошедшего

столетия, с тех пор, как Лавуазье создал химический анализ; когда оно началось, метафизика смотрела на него покровительственным оком. А где теперь метафизика? И кто ее тихим манером отправил в архив? И где теперь та наука, которая бы не подольщалась к естествознанию и не отчаивалась бы в своем существовании, если естествознание не оказывает ей покровительства?

Наша русская цивилизация находится в особенно благоприятном положении для того, чтобы принять в себя эти обновляющие начала; ей благоприятствует в этом отношении именно то обстоятельство, что она находится еще в колыбели или даже в утробе матери; у ней нет укоренившихся преданий школы; нет в каждом городке легиона филистеров; нет фантастической рутины средневековой науки; перед нами лежит вся европейская наука: переводи, читай и учись! Не будем же мы в самом деле такими дураками, чтобы брать у других то, что они выкидывают за негодностью? Нет, не будем. Это мы доказываем каждый день, потому что постоянно переводим книги по естественным наукам и выбираем все, что́ поновее и получше. Если бы Добролюбов был жив, то можно поручиться за то, что он бы первый понял и оценил это явление. Говоря проще, он посвятил бы лучшую часть своего таланта на популяризирование европейских идей естествознания и антропологии. В его время интерес еще не был пробужден, и такие статьи рисковали остаться непрочитанными; теперь дело пошло на лад, и, сообразно с обстоятельствами, должна изменяться задача прогрессивного литератора; но г. Щедрин, разумеется, этого не понимает и все тянет попрежнему старую ноту, завещанную ему его молодым учителем; и не замечает он того, что его однообразное и невинное хихиканье отвлекает только от настоящего дела некоторую часть нашей свежей и умной молодежи.

Может быть, мое благоговение перед естествознанием покажется читателю преувеличенным; может быть, он возразит мне, что и естествознание будет приносить пользу и удовольствие только тем классам нашего общества, которым и без того не слишком дурно живется на свете. Книги по естественным наукам, скажет он, издаются не для народа, и все сокровища, заключающиеся в них, все-таки останутся для народа мертвым капиталом. — На это я отвечу, что издание этих книг и вообще акклиматизация естествознания в нашем обществе неизмеримо полезнее для нашего народа, чем издание книг, предназначенных собственно для него, и чем всякие добродетельные толки о необходимости сблизиться с народом и любить народ.

Если естествознание обогатит наше общество мыслящими людьми, если наши агрономы, фабриканты и всякого рода капиталисты выучатся мыслить, то эти люди вместе с тем выучатся понимать как свою собственную пользу, так и потребности того

мира, который их окружает. Тогда они поймут, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собою; поймут, что выгоднее и приятнее увеличивать общее богатство страны, чем выманивать или выдавливать последние гроши из худых карманов производителей и потребителей. Тогда капиталы наши не будут уходить за границу, не будут тратиться на безумную роскошь, не будут ухлопываться на бесполезные сооружения, а будут прилагаться именно к тем отраслям народной промышленности, которые нуждаются в их содействии. Это будет делаться так потому, что капиталисты, во-первых, будут правильно понимать свою выгоду, а во-вторых, будут находить наслаждения в полезной работе. Это предположение может показаться идиллическим, но утверждать, что оно неосуществимо, — значит утверждать, что капиталист не человек и даже никогда не может сделаться человеком. Что касается до меня, то я решительно не вижу резона, почему сын капиталиста не мог бы сделаться Базаровым или Лопуховым, точно так же как сын богатого помещика сделался Рахметовым. Для того чтобы подобные превращения были возможны и даже обыкновенны, необходимо только, чтобы в нашем обществе постоянно поддерживалась та свежая струя живой мысли, которую вносит к нам зарождающееся естествознание. Если все наши капиталы, если все умственные силы наших образованных людей обратятся на те отрасли производства, которые полезны для общего дела, тогда, разумеется, деятельность нашего народа усилится чрезвычайно, богатство его будет возрастать постоянно, и качество его мозга будет улучшаться с каждым десятилетием. А если народ будет деятелен, богат и умен, то что же может помешать ему сделаться счастливым во всех отношениях?

Конечная цель лежит очень далеко, и путь тяжел во многих отношениях; быстрого успеха ожидать невозможно; но если этот путь к счастию, путь умственного развития, оказывается необходимым, единственно верным путем, то это вовсе не значит, чтобы следовало исключить из истории все двигатели событий, кроме опытной науки. Народное чувство, народный энтузиазм остаются при всех своих правах; если они могут привести к цели быстро, пускай приводят. Но литература тут ни при чем: она ничего не может сделать ни для охлаждения, ни для разогревания народного чувства и энтузиазма; тут действуют только исторические обстоятельства; журналистика старается обыкновенно попадать в тон общего настроения, но это попадание содействует только успеху журнала, но вовсе не приносит пользы важному и общему делу. Литература может приносить пользу только посредством новых идей; это ее настоящее дело, и в этом отношении она не имеет соперников. — Если даже чувство и энтузиазм приведут к какому-нибудь результату, то упрочить этот результат могут только люди, умеющие мыслить. Стало быть, размножать мыслящих лю-

дей — вот альфа и омега всякого разумного общественного развития. Стало быть, естествознание составляет в настоящее время самую животрепещущую потребность нашего общества. Кто отвлекает молодежь от этого дела, тот вредит общественному развитию. И потому еще раз скажу г. Щедрину: пусть читает, размышляет, переводит, компилирует, и тогда он будет действительно полезным писателем. При его уменье владеть русским языком и писать живо и весело он может быть очень хорошим популяризатором. А Глупов давно пора бросить.

1864 г. Февраль.

МОТИВЫ РУССКОЙ ДРАМЫ

I

Основываясь на драматических произведениях Островского, Добролюбов показал нам в русской семье то «темное царство», в котором вянут умственные способности и истощаются свежие силы наших молодых поколений. Статью прочли, похвалили и потом отложили в сторону. Любители патриотических иллюзий, [1] не сумевшие сделать Добролюбову ни одного основательного возражения, продолжали упиваться своими иллюзиями и, вероятно, будут продолжать это занятие до тех пор, пока будут находить себе читателей. Глядя на эти постоянные коленопреклонения перед народною мудростью и перед народною правдою, замечая, что доверчивые читатели принимают за чистую монету ходячие фразы, лишенные всякого содержания, и зная, что народная мудрость и народная правда выразились всего полнее в сооружении нашего семейного быта, — добросовестная критика поставлена в печальную необходимость повторять по нескольку раз те положения, которые давно уже были высказаны и доказаны. Пока будут существовать явления «темного царства» и пока патриотическая мечтательность будет смотреть на них сквозь пальцы, до тех пор нам постоянно придется напоминать читающему обществу верные и живые идеи Добролюбова о нашей семейной жизни. Но при этом нам придется быть строже и последовательнее Добролюбова; нам необходимо будет защищать его идеи против его собственных увлечений; там, где Добролюбов поддался порыву эстетического чувства, мы постараемся рассуждать хладнокровно и увидим, что наша семейная патриархальность подавляет всякое здоровое развитие. Драма Островского «Гроза» вызвала со стороны Добролюбова критическую статью под заглавием «Луч света в темном царстве». Эта статья была ошибкою со стороны Добролюбова; он увлекся симпатиею к характеру Катерины и принял ее личность

за светлое явление. Подробный анализ этого характера покажет нашим читателям, что взгляд Добролюбова в этом случае неверен и что ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в «темном царстве» патриархальной русской семьи, выведенной на сцену в драме Островского.

II

Катерина, жена молодого купца Тихона Кабанова, живет с мужем в доме своей свекрови, которая постоянно ворчит на всех домашних. Дети старой Кабанихи, Тихон и Варвара, давно прислушались к этому брюзжанию и умеют его «мимо ушей пропущать» на том основании, что «ей ведь что-нибудь надо ж говорить». Но Катерина никак не может привыкнуть к манерам своей свекрови и постоянно страдает от ее разговоров. В том же городе, в котором живут Кабановы, находится молодой человек, Борис Григорьевич, получивший порядочное образование. Он заглядывается на Катерину в церкви и на бульваре, а Катерина с своей стороны влюбляется в него, но желает сохранить в целости свою добродетель. Тихон уезжает куда-то на две недели; Варвара по добродушию помогает Борису видеться с Катериною, и влюбленная чета наслаждается полным счастьем в продолжение десяти летних ночей. Приезжает Тихон; Катерина терзается угрызениями совести, худеет и бледнеет; потом ее пугает гроза, которую она принимает за выражение небесного гнева; в это же время смущают ее слова полоумной барыни о геенне огненной; все это она принимает на свой счет; на улице при народе она бросается перед мужем на колени и признается ему в своей вине. Муж, по приказанию своей матери, «побил ее немножко», после того как они воротились домой; старая Кабаниха с удвоенным усердием принялась точить покаявшуюся грешницу упреками и нравоучениями; к Катерине приставили крепкий домашний караул, однако ей удалось убежать из дома; она встретилась с своим любовником и узнала от него, что он, по приказанию дяди, уезжает в Кяхту; — потом, тотчас после этого свидания, она бросилась в Волгу и утонула. Вот те данные, на основании которых мы должны составить себе понятие о характере Катерины. Я дал моему читателю голый перечень таких фактов, которые в моем рассказе могут показаться слишком резкими, бессвязными и в общей совокупности даже неправдоподобными. Что это за любовь, возникающая от обмена нескольких взглядов? Что это за суровая добродетель, сдающаяся при первом удобном случае? Наконец, что это за самоубийство, вызванное такими мелкими неприятностями, которые переносятся совершенно благополучно всеми членами всех русских семейств?

Я передал факты совершенно верно, но, разумеется, я не мог передать в нескольких строках те оттенки в развитии действия, которые, смягчая внешнюю резкость очертаний, заставляют читателя или зрителя видеть в Катерине не выдумку автора, а живое лицо, действительно способное сделать все вышеозначенные эксцентричности. Читая «Грозу» или смотря ее на сцене, вы ни разу не усомнитесь в том, что Катерина должна была поступать в действительности именно так, как она поступает в драме. Вы увидите перед собою и поймете Катерину, но, разумеется, поймете ее так или иначе, смотря по тому, с какой точки зрения вы на нее посмотрите. Всякое живое явление отличается от мертвой отвлеченности именно тем, что его можно рассматривать с разных сторон; и, выходя из одних и тех же основных фактов, можно приходить к различным и даже к противоположным заключениям. Катерина испытала на себе много разнородных приговоров; нашлись моралисты, которые обличили ее в безнравственности, это было всего легче сделать: стоило только сличить каждый поступок Катерины с предписаниями положительного закона и подвести итоги; на эту работу не требовалось ни остроумия, ни глубокомыслия, и поэтому ее действительно исполнили с блестящим успехом писатели, не отличающиеся ни тем, ни другим из этих достоинств; потом явились эстетики и решили, что Катерина — светлое явление; эстетики, разумеется, стояли неизмеримо выше неумолимых поборников благочиния, и поэтому первых выслушали с уважением, между тем как последних тотчас же осмеяли. Во главе эстетиков стоял Добролюбов, постоянно преследовавший эстетических критиков своими меткими и справедливыми насмешками. В приговоре над Катериною он сошелся с своими всегдашними противниками, и сошелся потому, что, подобно им, стал восхищаться общим впечатлением, вместо того чтобы подвергнуть это впечатление спокойному анализу. В каждом из поступков Катерины можно отыскать привлекательную сторону; Добролюбов отыскал эти стороны, сложил их вместе, составил из них идеальный образ, увидал вследствие этого «луч света в темном царстве» и, как человек, полный любви, обрадовался этому лучу чистою и святою радостью гражданина и поэта. Если бы он не поддался этой радости, если бы он на одну минуту попробовал взглянуть спокойно и внимательно на свою драгоценную находку, то в его уме тотчас родился бы самый простой вопрос, который немедленно привел бы за собою полное разрушение привлекательной иллюзии. Добролюбов спросил бы самого себя: как мог сложиться этот светлый образ? Чтобы ответить себе на этот вопрос, он проследил бы жизнь Катерины с самого детства, тем более что Островский дает на это некоторые материалы; он увидел бы, что воспитание и жизнь не могли дать Катерине ни твердого характера, ни развитого ума; тогда он еще раз взглянул бы на те факты, в которых ему бросилась в глаза одна привлекательная

сторона, и тут вся личность Катерины представилась бы ему в совершенно другом свете. Грустно расставаться с светлою иллюзиею, а делать нечего; пришлось бы и на этот раз удовлетвориться темною действительностью.

III

Во всех поступках и ощущениях Катерины заметна прежде всего резкая несоразмерность между причинами и следствиями. Каждое внешнее впечатление потрясает весь ее организм; самое ничтожное событие, самый пустой разговор производят в ее мыслях, чувствах и поступках целые перевороты. Кабаниха ворчит, Катерина от этого изнывает; Борис Григорьевич бросает нежные взгляды, Катерина влюбляется; Варвара говорит мимоходом несколько слов о Борисе, Катерина заранее считает себя погибшею женщиною, хотя она до тех пор даже не разговаривала с своим будущим любовником; Тихон отлучается из дома на несколько дней, Катерина падает перед ним на колени и хочет, чтобы он взял с нее страшную клятву в супружеской верности. Варвара дает Катерине ключ от калитки, Катерина, подержавшись за этот ключ в продолжение пяти минут, решает, что она непременно увидит Бориса, и кончает свой монолог словами: «Ах, кабы ночь поскорее!» А между тем даже и ключ-то был дан ей преимущественно для любовных интересов самой Варвары, и в начале своего монолога Катерина находила даже, что ключ жжет ей руки и что его непременно следует бросить. При свидании с Борисом, конечно, повторяется та же история; сначала «поди прочь, окаянный человек!», а вслед за тем на шею кидается. Пока продолжаются свидания, Катерина думает только о том, что «погуляем»; как только приезжает Тихон и вследствие этого ночные прогулки прекращаются, Катерина начинает терзаться угрызениями совести и доходит в этом направлении до полусумасшествия; а между тем Борис живет в том же городе, все идет по-старому, и, прибегая к маленьким хитростям и предосторожностям, можно было бы кое-когда видеться и наслаждаться жизнью. Но Катерина ходит как потерянная, и Варвара очень основательно боится, что она бухнется мужу в ноги, да и расскажет ему все по порядку. Так оно и выходит, и катастрофу эту производит стечение самых пустых обстоятельств. Грянул гром — Катерина потеряла последний остаток своего ума, а тут еще прошла по сцене полоумная барыня с двумя лакеями и произнесла всенародную проповедь о вечных мучениях; а тут еще на стене, в крытой галерее, нарисовано адское пламя; и все это одно к одному — ну, посудите сами, как же в самом деле Катерине не рассказать мужу тут же, при Кабанихе и при всей городской публике, как она провела во время отсутствия Тихона все десять ночей? Окончательная ката-

строфа, самоубийство, точно так же происходит экспромтом. Катерина убегает из дому с неопределенною надеждою увидеть своего Бориса; она еще не думает о самоубийстве; она жалеет о том, что прежде убивали, а теперь не убивают; она спрашивает: «Долго ли еще мне мучиться?» Она находит неудобным, что смерть не является: «Ты, говорит, ее кличешь, а она не приходит». Ясно, стало быть, что решения на самоубийство еще нет, потому что в противном случае не о чем было бы и толковать. Но вот, пока Катерина рассуждает таким образом, является Борис; происходит нежное свидание. Борис говорит: «Еду». Катерина спрашивает: «Куда едешь?» Ей отвечают: «Далеко, Катя, в Сибирь». — «Возьми меня с собой отсюда!» — «Нельзя мне, Катя». После этого разговор становится уже менее интересным и переходит в обмен взаимных нежностей. Потом, когда Катерина остается одна, она спрашивает себя: «Куда теперь? домой идти?» и отвечает: «Нет, мне что домой, что в могилу — все равно». Потом слово «могила» наводит ее на новый ряд мыслей, и она начинает рассматривать могилу с чисто эстетической точки зрения, с которой, впрочем, людям до сих пор удавалось смотреть только на чужие могилы. «В могиле, говорит, лучше... Под деревцом могилушка... как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит... весной на ней травка вырастает, мягкая такая... птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красненькие, голубенькие... всякие, всякие». Это поэтическое описание могилы совершенно очаровывает Катерину, и она объявляет, что «об жизни и думать не хочется». При этом, увлекаясь эстетическим чувством, она даже совершенно упускает из виду геенну огненную, а между тем она вовсе не равнодушна к этой последней мысли, потому что в противном случае не было бы сцены публичного покаяния в грехах, не было бы отъезда Бориса в Сибирь, и вся история о ночных прогулках оставалась бы шитою и крытою. Но в последние свои минуты Катерина до такой степени забывает о загробной жизни, что даже складывает руки крест-накрест, как в гробу складывают; и, делая это движение руками, она даже тут не сближает идеи о самоубийстве с идеею о геенне огненной. Таким образом делается прыжок в Волгу, и драма оканчивается.

IV

Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера, и между тем сама не знает, что будет делать завтра; она на каждом шагу путает и свою собственную жизнь и жизнь других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством,

да еще таким самоубийством, которое является совершенно неожиданно для нее самой. Эстетики не могли не заметить того, что бросается в глаза во всем поведении Катерины; противоречия и нелепости слишком очевидны, но зато их можно назвать красивым именем; можно сказать, что в них выражается страстная, нежная и искренняя натура. Страстность, нежность, искренность — все это очень хорошие свойства, по крайней мере все это очень красивые слова, а так как главное дело заключается в словах, то и нет резона, чтобы не объявить Катерину светлым явлением и не прийти от нее в восторг. Я совершенно согласен с тем, что страстность, нежность и искренность составляют действительно преобладающие свойства в натуре Катерины, согласен даже с тем, что все противоречия и нелепости ее поведения объясняются именно этими свойствами. Но что же это значит? Значит, что поле моего анализа следует расширить; разбирая личность Катерины, следует иметь в виду страстность, нежность и искренность вообще и, кроме того, те понятия, которые господствуют в обществе и в литературе насчет этих свойств человеческого организма. Если бы я не знал заранее, что задача моя расширится таким образом, то я и не принялся бы за эту статью. Очень нужно в самом деле драму, написанную с лишком три года тому назад, разбирать для того, чтобы показать публике, каким образом Добролюбов ошибся в оценке женского характера. Но тут дело идет об общих вопросах нашей жизни, а о таких вопросах говорить всегда удобно, потому что они всегда стоят на очереди и всегда решаются только на время. Эстетики подводят Катерину под известную мерку, и я вовсе не намерен доказывать, что Катерина не подходит под эту мерку; Катерина-то подходит, да мерка-то никуда не годится, и все основания, на которых стоит эта мерка, тоже никуда не годятся; все это должно быть совершенно переделано, и хотя, разумеется, я не справлюсь один с этою задачею, однако лепту свою внесу.

Мы до сих пор при оценке явлений нравственного мира ходим ощупью и действуем наугад; по привычке мы знаем, что такое грех; по уложению о наказаниях мы знаем, что такое преступление; но когда нам приходится ориентироваться в бесконечных лесах тех явлений, которые не составляют ни греха, ни преступления, когда нам приходится рассматривать, например, качества человеческой природы, составляющие задатки и основания будущих поступков, тогда мы идем все врассыпную и аукаемся из разных углов этой дубравы, т. е. сообщаем друг другу наши личные вкусы, которые чрезвычайно редко могут иметь какой-нибудь общий интерес. Каждое человеческое свойство имеет на всех языках по крайней мере по два названия, из которых одно порицательное, а другое хвалительное, — скупость и бережливость, трусость и осторожность, жестокость и твердость, глупость и невинность, вранье и поэзия, дряблость и нежность, взбалмошность и страстность, и так далее до бесконечности. У каждого

отдельного человека есть в отношении к нравственным качествам свой особенный лексикон, который почти никогда не сходится вполне с лексиконами других людей. Когда вы, например, одного человека называете благородным энтузиастом, а другого безумным фанатиком, то вы сами, конечно, понимаете вполне, что́ вы хотите сказать, но другие люди понимают вас только приблизительно, а иногда могут и совсем не понимать. Есть ведь такие озорники, для которых коммунист Бабеф был благородным энтузиастом, но зато есть и такие мудрецы, которые австрийского министра Шмерлинга назовут безумным фанатиком. И те и другие будут употреблять одни и те же слова, и теми же самыми словами будут пользоваться все люди бесчисленных промежуточных оттенков. Как вы тут поступите, чтобы отрыть живое явление из-под груды набросанных слов, которые на языке каждого отдельного человека имеют свой собственный смысл? Что такое благородный энтузиазм? Что такое безумный фанатик? Это пустые звуки, не соответствующие никакому определенному представлению. Эти звуки выражают отношение говорящего лица к неизвестному предмету, который остается совершенно неизвестным во все время разговора и после его окончания. Чтобы узнать, что за человек был коммунист Бабеф и что за человек Шмерлинг, надо, разумеется, отодвинуть в сторону все приговоры, произнесенные над этими двумя личностями различными людьми, выражавшими в этом случае свои личные вкусы и свои политические симпатии. Надо взять сырые факты во всей их сырости, и чем они сырее, чем меньше они замаскированы хвалительными или порицательными словами, тем больше мы имеем шансов уловить и понять живое явление, а не бесцветную фразу. Так поступает мыслящий историк. Если он, располагая обширными сведениями, будет избегать увлечения фразами, если он к человеку и ко всем отраслям его деятельности будет относиться не как патриот, не как либерал, не как энтузиаст, не как эстетик, а просто как натуралист, то он наверное сумеет дать определенные и объективные ответы на многие вопросы, решавшиеся обыкновенно красивым волнением возвышенных чувств. Обиды для человеческого достоинства тут не произойдет никакой, а польза будет большая, потому что вместо ста возов вранья получится одна горсть настоящего знания. А одна остроумная поговорка утверждает совершенно справедливо, что лучше получить маленький деревянный дом, чем большую каменную болезнь.

V

Мыслящий историк трудится и размышляет, конечно, не для того, чтобы приклеить тот или другой ярлык к тому или другому историческому имени. Стоит ли в самом деле тратить труд и время для того, чтобы с полным убеждением назвать Сидора мошенни-

ком, а Филимона добродетельным отцом семейства? Исторические личности любопытны только как крупные образчики нашей породы, очень удобные для изучения и очень способные служить материалами для общих выводов антропологии. Рассматривая их деятельность, измеряя их влияние на современников, изучая те обстоятельства, которые помогали или мешали исполнению их намерений, мы из множества отдельных и разнообразных фактов выводим неопровержимые заключения об общих свойствах человеческой природы, о степени ее изменяемости, о влиянии климатических и бытовых условий, о различных проявлениях национальных характеров, о зарождении и распространении идей и верований, и наконец, что всего важнее, мы подходим к решению того вопроса, который в последнее время блистательным образом поставил знаменитый Бокль. Вот в чем состоит этот вопрос: какая сила или какой элемент служит основанием и важнейшим двигателем человеческого прогресса? Бокль отвечает на этот вопрос просто и решительно. Он говорит: чем больше реальных знаний, тем сильнее прогресс; чем больше человек изучает видимые явления и чем меньше он предается фантазиям, тем удобнее он устроивает свою жизнь и тем быстрее одно усовершенствование быта сменяется другим. — Ясно, смело и просто! — Таким образом, дельные историки путем терпеливого изучения идут к той же цели, которую должны иметь в виду все люди, решающиеся заявлять в литературе свои суждения о различных явлениях нравственной и умственной жизни человечества.

Каждый критик, разбирающий какой-нибудь литературный тип, должен в своей ограниченной сфере деятельности прикладывать к делу те самые приемы, которыми пользуется мыслящий историк, рассматривая мировые события и расставляя по местам великих и сильных людей. — Историк не восхищается, не умиляется, не негодует, не фразерствует, и все эти патологические отправления так же неприличны в критике, как и в историке. Историк разлагает каждое явление на его составные части и изучает каждую часть отдельно, и потом, когда известны все составные элементы, тогда и общий результат оказывается понятным и неизбежным; что казалось, раньше анализа, ужасным преступлением или непостижимым подвигом, то оказывается, после анализа, простым и необходимым следствием данных условий. Точно так же следует поступать критику: вместо того чтобы плакать над несчастиями героев и героинь, вместо того чтобы сочувствовать одному, негодовать против другого, восхищаться третьим, лезть на стены по поводу четвертого, критик должен сначала проплакаться и пробесноваться про себя, а потом, вступая в разговор с публикою, должен обстоятельно и рассудительно сообщить ей свои размышления о причинах тех явлений, которые вызывают в жизни слезы, сочувствие, негодование или восторги. Он должен объяснять явления, а не воспевать их; он должен анали-

зировать, а не лицедействовать. Это будет более полезно и менее раздирательно.

Если историк и критик пойдут оба по одному пути, если оба они будут не болтать, а размышлять, то оба придут к одним и тем же результатам. Между частною жизнью человека и историческою жизнью человечества есть только количественная разница. Одни и те же законы управляют обоими порядками явлений, точно так же как одни и те же химические и физические законы управляют и развитием простой клеточки и развитием человеческого организма. Прежде господствовало мнение, будто общественный деятель должен вести себя совсем не так, как частный человек. Что́ в частном человеке считалось мошенничеством, то в общественном деятеле называлось политическою мудростью. С другой стороны, то, что́ в общественном деятеле считалось предосудительною слабостью, то в частном человеке называлось трогательною мягкостью души. Существовало, таким образом, для одних и тех же людей два рода справедливости, два рода благоразумия, — всего по два. Теперь дуализм, вытесняемый из всех своих убежищ, не может удержаться и в этом месте, в котором нелепость его особенно очевидна и в котором он наделал очень много практических гадостей. Теперь умные люди начинают понимать, что простая справедливость составляет всегда самую мудрую и самую выгодную политику; с другой стороны, они понимают, что и частная жизнь не требует ничего, кроме простой справедливости; потоки слез и конвульсии самоистязания так же безобразны в самой скромной частной жизни, как и на сцене всемирной истории; и безобразны они в том и в другом случае единственно потому, что вредны, т. е. доставляют одному человеку или многим людям боль, не выкупаемую никаким наслаждением.

Искусственная грань, поставленная человеческим невежеством между историею и частною жизнью, разрушается по мере того, как исчезает невежество со всеми своими предрассудками и нелепыми убеждениями. В сознании мыслящих людей эта грань уже разрушена, и на этом основании критик и историк могут и должны приходить к одним и тем же результатам. Исторические личности и простые люди должны быть измеряемы одною меркою. В истории явление может быть названо светлым или темным не потому, что оно нравится или не нравится историку, а потому, что оно ускоряет или задерживает развитие человеческого благосостояния. В истории нет бесплодно-светлых явлений; что бесплодно, то не светло, — на то не стоит совсем обращать внимания; в истории есть очень много услужливых медведей, которые очень усердно били мух на лбу спящего человечества увесистыми булыжниками; однако смешон и жалок был бы тот историк, который стал бы благодарить этих добросовестных медведей за чистоту их намерений. Встречаясь с примером медвежьей нравственности, историк должен только заметить, что лоб человечества оказался

раскроенным; и должен описать, глубока ли была рана и скоро ли зажила, и как подействовало это убиение мухи на весь организм пациента, и как обрисовались вследствие этого дальнейшие отношения между пустынником и медведем. Ну, а что такое медведь? Медведь ничего; он свое дело сделал. Хватил камнем по лбу — и успокоился. С него взятки гладки. Ругать его не следует — во-первых, потому, что это ни к чему не ведет; а во-вторых, не за что: потому — глуп. Ну, а хвалить его за непорочность сердца и подавно не резон; во-первых — не стоит благодарности: ведь лоб-то все-таки разбит; а во-вторых — опять-таки он глуп, так на какого же черта годится его непорочность сердца?

Так как я случайно напал на басню Крылова, то мимоходом любопытно будет заметить, как простой здравый смысл сходится иногда в своих суждениях с теми выводами, которые дают основательное научное исследование и широкое философское мышление. Три басни Крылова, о медведе, о музыкантах, которые «немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут», и о судье, который попадет в рай за глупость, — три эти басни, [2] говорю я, написаны на ту мысль, что сила ума важнее, чем безукоризненная нравственность. Видно, что эта мысль была особенно мила Крылову, который, разумеется, мог замечать верность этой мысли только в явлениях частной жизни. И эту же самую мысль Бокль возводит в мировой исторический закон. Русский баснописец, образовавшийся на медные деньги и, наверное, считавший Карамзина величайшим историком XIX века, говорит по-своему то же самое, что высказал передовой мыслитель Англии, вооруженный наукою. Это я замечаю не для того, чтобы похвастаться русскою сметливостью, а для того, чтобы показать, до какой степени результаты разумной и положительной науки соответствуют естественным требованиям неиспорченного и незасоренного человеческого ума. Кроме того, эта неожиданная встреча Бокля с Крыловым может служить примером того согласия, которое может и должно существовать, во-первых, между частною жизнью и историею, а вследствие этого, во-вторых, между историком и критиком. Если добродушный дедушка Крылов мог сойтись с Боклем, то критикам, живущим во второй половине XIX века и обнаруживающим притязания на смелость мысли и на широкое развитие ума, таким критикам, говорю я, и подавно следует держаться с непоколебимою последовательностью за те приемы и идеи, которые в наше время сближают историческое изучение с естествознанием. Наконец, если Бокль слишком умен и головоломен для наших критиков, пусть они держатся за дедушку Крылова, пусть проводят в своих исследованиях о нравственных достоинствах человека простую мысль, выраженную такими незатейливыми словами: «Услужливый дурак опаснее врага». Если бы только одна эта мысль, понятная пятилетнему ребенку, была проведена

в нашей критике с надлежащею последовательностью, то во всех наших воззрениях на нравственные достоинства произошел бы радикальный переворот, и престарелая эстетика давным-давно отправилась бы туда же, куда отправились алхимия и метафизика.

VI

Наша частная жизнь запружена донельзя красивыми чувствами и высокими достоинствами, которыми всякий порядочный человек старается запастись для своего домашнего обихода и которым всякий свидетельствует свое внимание, хотя никто не может сказать, чтобы они когда-нибудь кому бы то ни было доставили малейшее удовольствие. Было время, когда лучшими атрибутами физической красоты считалась в женщине интересная бледность лица и непостижимая тонкость талии; барышни пили уксус и перетягивались так, что у них трещали ребра и спиралось дыхание; много здоровья было уничтожено по милости этой эстетики, и по всей вероятности эти своеобразные понятия о красоте еще не вполне уничтожились и теперь, потому что Льюис восстает против корсетов в своей физиологии, [3] а Чернышевский заставляет Веру Павловну упомянуть о том, что она, сделавшись умною женщиною, перестала шнуроваться. Таким образом, физическая эстетика очень часто идет вразрез с требованиями здравого смысла, с предписаниями элементарной гигиены и даже с инстинктивным стремлением человека к удобству и комфорту. «Il faut souffrir pour être belle», * говорила в былое время молодая девушка, и все находили, что она говорит святую истину, потому что красота должна существовать сама по себе, ради красоты, совершенно независимо от условий, необходимых для здоровья, для удобства и для наслаждения жизнью. Критики, не освободившиеся от влияния эстетики, сходятся с обожателями интересной бледности и тонких талий, вместо того чтобы сходиться с естествоиспытателями и мыслящими историками. Надо сознаться, что даже лучшие из наших критиков, Белинский и Добролюбов, не могли оторваться окончательно от эстетических традиций. Осуждать их за это было бы нелепо, потому что надо же помнить, как много они сделали для уяснения всех наших понятий, и надо же понимать, что не могут два человека отработать за нас всю нашу работу мысли. Но, не осуждая их, надо видеть их ошибки и прокладывать новые пути в тех местах, где старые тропинки уклоняются в глушь и в болото.

Относительно анализа «светлых явлений» нас не удовлетворяет эстетика ни своим красивым негодованием, ни своим искусственно подогретым восторгом. Ее белила и румяна тут остаются

---

* Чтоб быть красивой, нужно страдать *(франц.)*. — *Ред.*

ни при чем. — Натуралист, говоря о человеке, назовет светлым явлением нормально развитой организм; историк даст это название умной личности, понимающей свои выгоды, знающей требования своего времени и вследствие этого работающей всеми силами для развития общего благосостояния; критик имеет право видеть светлое явление только в том человеке, который умеет быть счастливым, т. е. приносить пользу себе и другим, и, умея жить и действовать при неблагоприятных условиях, понимает в то же время их неблагоприятность и, по мере сил своих, старается переработать эти условия к лучшему. И натуралист, и историк, и критик согласятся между собою в том пункте, что необходимым свойством такого светлого явления должен быть сильный и развитой ум; там, где нет этого свойства, там не может быть и светлых явлений. Натуралист скажет вам, что нормально развитый человеческий организм необходимо должен быть одарен здоровым мозгом, а здоровый мозг так же неизбежно должен мыслить правильно, как здоровый желудок должен переваривать пищу; если же этот мозг расслаблен отсутствием упражнения и если, таким образом, человек, умный от природы, притуплен обстоятельствами жизни, то весь рассматриваемый субъект уже не может считаться нормально развитым организмом, точно так же как не может им считаться человек, ослабивший свой слух или свое зрение. Такого человека натуралист не назовет светлым явлением, хотя бы этот человек пользовался железным здоровьем и лошадиною силою. Историк скажет вам... но вы и сами знаете, что он вам скажет; ясное дело, что ум для исторической личности так же необходим, как жабры и плавательные перья для рыбы; ума тут не заменить никакими эстетическими ингредиентами; это, может быть, единственная истина, неопровержимо доказанная всем историческим опытом нашей породы. Критик докажет вам, что только умный и развитой человек может оберегать себя и других от страданий при тех неблагоприятных условиях жизни, при которых существует огромное большинство людей на земном шаре; кто не умеет сделать ничего для облегчения своих и чужих страданий, тот ни в каком случае не может быть назван светлым явлением; тот — трутень, может быть очень милый, очень грациозный, симпатичный, но все это такие неосязаемые и невесомые качества, которые доступны только пониманию людей, обожающих интересную бледность и тонкие талии. Облегчая жизнь себе и другим, умный и развитой человек не ограничивается этим; он, кроме того, в большей или меньшей степени, сознательно или невольно, переработывает эту жизнь и приготовляет переход к лучшим условиям существования. Умная и развитая личность, сама того не замечая, действует на все, что к ней прикасается; ее мысли, ее занятия, ее гуманное обращение, ее спокойная твердость — все это шевелит вокруг нее стоячую воду человеческой рутины; кто уже не в силах развиваться, тот по крайней мере

уважает в умной и развитой личности хорошего человека, — а людям очень полезно уважать то, что действительно заслуживает уважения; но кто молод, кто способен полюбить идею, кто ищет возможности развернуть силы своего свежего ума, тот, сблизившись с умною и развитою личностью, может быть начнет новую жизнь, полную обаятельного труда и неистощимого наслаждения. Если предполагаемая светлая личность даст таким образом обществу двух-трех молодых работников, если она внушит двум-трем старикам невольное уважение к тому, что они прежде осмеивали и притесняли, — то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сделала для облегчения перехода к лучшим идеям и к более сносным условиям жизни? Мне кажется, что она сделала в малых размерах то, что делают в больших размерах величайшие исторические личности. Разница между ними заключается только в количестве сил, и потому оценивать их деятельность можно и должно посредством одинаковых приемов. Так вот какие должны быть «лучи света» — не Катерине чета.

VII

«Яйца курицу не учат», — говорит наш народ, и так эта поговорка ему по душе пришлась, что он твердит ее с утра до вечера, словами и поступками, от моря и до моря. И передает он ее потомству, как священное наследство, и благодарное потомство, пользуясь ею в свою очередь, созидает на ней величественное здание семейного чинопочитания. И поговорка эта не теряет своей силы, потому что она всегда употребляется кстати; а кстати потому, что ее употребляют только старшие члены семейства, которые не могут ошибаться, которые всегда оказываются правыми и которые, следовательно, всегда действуют благодетельно и рассуждают поучительно. Ты — яйцо бессознательное и должен пребывать в своей безответной невинности до тех пор, пока сам не сделаешься курицею. Таким образом пятидесятилетние куры рассуждают с тридцатилетними яйцами, которые с пеленок выучились понимать и чувствовать все, что так коротко и так величественно внушает им бессмертная поговорка. Великое изречение народной мудрости действительно выражает в четырех словах весь принцип нашей семейной жизни. Принцип этот действует еще с полною силою в тех слоях нашего народа, которые считаются чисто русскими.

Только в молодости человек может развернуть и воспитать те силы своего ума, которые потом будут служить ему в зрелом возрасте; что не развилось в молодости, то остается неразвитым на всю жизнь; следовательно, если молодость проводится под скорлупою, то и ум и воля человека остаются навсегда в положении заморенного зародыша; и наблюдателю, смотрящему со сто-

роны на этот курятник, остается только изучать различные проявления человеческого уродства. Каждый новорожденный ребенок втискивается в одну и ту же готовую форму, а разнообразие результатов происходит, во-первых, от того, что не все дети родятся одинаковыми, а во-вторых, от того, что для втискивания употребляются различные приемы. Один ребенок ложится в форму тихо и благонравно, а другой барахтается и кричит благим матом; одного ребенка бросают в форму со всего размаху, да еще потом держат в форме за вихор, а другого кладут помаленьку, полегоньку и при этом поглаживают по головке и пряником обольщают. Но форма все-таки одна и та же, и — не в укор будь сказано искателям светлых явлений — уродование идет всегда надлежащим порядком; так как жизнь не шевелит и не развивает ума, то человеческие способности глохнут и искажаются как при воспитании палкой, так и при воспитании лаской. В первом случае получается тип, который я для краткости назову карликами, во втором получаются также уроды, которых можно назвать вечными детьми. Когда ребенка ругают, порют и всячески огорчают, тогда он с самых малых лет начинает чувствовать себя одиноким. Как только ребенок начинает понимать себя, так он приучается надеяться только на свои собственные силы; он находится в постоянной войне со всем, что его окружает; ему дремать нельзя: чуть оплошаешь, тотчас лишишься всякого удовольствия, да еще налетят на тебя со всех сторон ругательства, затрещины и даже весьма серьезные неприятности, в виде многочисленных и полновесных ударов розгами. Гимнастика для детского ума представляется постоянная, и каждый безграмотный мальчишка, выдержанный в ежовых рукавицах свирепым родителем, удивит своими дипломатическими талантами любого благовоспитанного мальчика, способного уже восхищаться, по Корнелию Непоту, доблестями Аристида и непреклонным характером Катона. Ум разовьется настолько, насколько это необходимо для того, чтобы обделывать практические делишки: там надуть, тут поклониться в пояс, здесь прижать, в другом месте в амбицию вломиться, в третьем — добрым малым прикинуться, — все это будет исполнено самым отчетливым манером, потому что вся эта механика усвоена во времена нежного детства. Но выйти из колеи этой механики ум уже не может; надует он десять раз, проведет и выведет, будет лгать и вывертываться, будет постоянно обходить препятствия, на которые постоянно будет натыкаться; но обдумать заранее план действий, рассчитать вероятности успеха, предусмотреть и устранить препятствия заблаговременно, словом, связать в голове длинный ряд мыслей, логически вытекающих одна из другой, — этого вы от нашего субъекта не ждите. Умственного творчества вы в нем также не найдете; практическое изобретение, создание новой машины или новой отрасли промышленности возможно только тогда, когда у человека есть знания, а знаний

у нашего карлика нет никаких; он не знает ни свойств того материала, который он обработывает, ни потребностей тех людей, для которых он работает. Шьет он, положим, чемодан из кожи; кожа скверно выделана и трескается; ну, значит, чемодан надо вычернить, чтобы под краскою трещины были незаметны; и решительно ни одному карлику в голову не придет: а нельзя ли как-нибудь так выделать кожу, чтоб она не трескалась? Да и не может прийти; чтобы замазать трещину черною краскою, не нужно ровно никаких знаний и почти никакого труда мысли; а для того, чтобы сделать малейшее усовершенствование в выделке кож, надо по крайней мере всматриваться в то, что имеешь под руками, и обдумывать то, что видишь. Но мы никогда не были заражены такими мыслительными слабостями; поэтому мы разработали у себя барышничество и надувательство до высокой степени художественности, а все науки мы принуждены привозить к себе из-за границы; другими словами, мы постоянно обирали удобства жизни друг у друга, но производительность нашей земли мы не сумели увеличить ни на один медный грош. Не зная свойств предметов, карлик не знает и самого себя: он не знает ни своих сил, ни своих наклонностей, ни своих желаний; поэтому он ценит себя только по внешнему успеху своих предприятий; он меняется в своих собственных глазах, как акция сомнительного достоинства, которой курс колеблется на бирже; штука удалась, барыш в кармане, — тогда он великий человек, тогда он возносится выше нарицательной цены и даже выше облака ходячего; штука лопнула, капитал улетучился, — тогда он червь, подлец, поношение человеков; тогда он умоляет вас, чтоб вы на него плюнули, да только оказали бы ему участие. И хоть бы это было по крайней мере притворство, хоть бы он прикидывался несчастным для того, чтобы разжалобить вас, все было бы легче; а то ведь нет — действительно раздавлен и уничтожен, действительно пал в своих собственных глазах оттого, что потерпел убыток или другую неудачу; немудрено, что карлик отвертывается от друзей своих, когда они в несчастии; он и от самого себя рад был бы отвернуться, да жаль, некуда.

Все это понятно; только сознательное уважение человека к самому себе дает ему возможность спокойно и весело переносить все мелкие и крупные неприятности, которые не сопровождаются сильною физическою болью; а чтобы сознательно уважать самого себя и чтобы находить в этом чувстве высшее наслаждение, человеку надо предварительно поработать над собою, очистить свой мозг от разного мусора, сделаться полным хозяином своего внутреннего мира, обогатить этот мир кое-какими знаниями и идеями и наконец, изучивши самого себя, найти себе в жизни разумную, полезную и приятную деятельность. Когда все это будет сделано, тогда человеку будет понятно удовольствие быть самим собою, удовольствие класть на каждый поступок печать своей просвет-

ленной и облагороженной личности, удовольствие жить в своем внутреннем мире и постоянно увеличивать богатство и разнообразие этого мира. Тогда человек почувствует, что это высшее удовольствие может быть отнято у него только сумасшествием или постоянным физическим мучением; и это величественное сознание полной независимости от мелких огорчений в свою очередь сделается причиною гордой и мужественной радости, которую опять-таки ничто не может ни отнять, ни отравить. Сколько минут чистейшего счастья пережил Лопухов в то время, когда, отрываясь от любимой женщины, он собственноручно устроивал ей счастье с другим человеком? Тут была обаятельная смесь тихой грусти и самого высокого наслаждения, но наслаждение далеко перевешивало грусть, так что это время напряженной работы ума и чувства, наверное, оставило после себя в жизни Лопухова неизгладимую полосу самого яркого света. А между тем как все это кажется непонятным и неестественным для тех людей, которые никогда не испытали наслаждения мыслить и жить в своем внутреннем мире. Эти люди убеждены самым добросовестным образом, что Лопухов — невозможная и неправдоподобная выдумка, что автор романа «Что делать?» только прикидывается, будто понимает ощущения своего героя, и что все пустозвоны, сочувствующие Лопухову, морочат себя и стараются обморочить других совершенно бессмысленными потоками слов. И это совершенно естественно. Кто способен понимать Лопухова и сочувствующих ему пустозвонов, тот сам — и Лопухов и пустозвон, потому что рыба ищет где глубже, а человек где лучше.

Замечательно, что высокое удовольствие самоуважения в большей или меньшей степени доступно и понятно всем людям, развившим в себе способность мыслить, хотя бы эта способность привела их потом к чистым и простым истинам естествознания или, напротив того, к туманным и произвольным фантазиям философского мистицизма. Материалисты и идеалисты, скептики и догматики, эпикурейцы и стоики, рационалисты и мистики — все сходятся между собою, когда идет речь о высшем благе, доступном человеку на земле и не зависимом от внешних и случайных условий. Все говорят об этом благе в различных выражениях, все подходят к нему с разных сторон, все называют его разными именами, но отодвиньте в сторону слова и метафоры, и вы везде увидите одно и то же содержание. Одни говорят, что человек должен убить в себе страсти, другие — что он должен управлять ими, третьи — что он должен облагородить их, четвертые — что он должен развить свой ум и что тогда все пойдет как по маслу. Пути различные, но цель везде одна и та же, — чтобы человек пользовался душевным миром, как говорят одни, — чтобы в его существе царствовала внутренняя гармония, как говорят другие, — чтобы совесть его была спокойна, как говорят третьи, или наконец, — если взять самые простые слова, — чтобы человек

постоянно был доволен самим собою, чтобы он мог сознательно любить и уважать самого себя, чтобы он во всех обстоятельствах жизни мог положиться на самого себя как на своего лучшего друга, всегда неизменного и всегда правдивого.

Если все мыслители понимают и ценят чувство самоуважения, то мы в этом отношении никак не должны считать мыслителями всех людей, читающих и пишущих философские сочинения. Рутинер, буквоед и филистер, к какой бы школе он ни принадлежал и какою бы наукою он ни занимался, всегда будет работать по обязанности службы, никогда не почувствует наслаждения в процессе мысли и поэтому никогда не составит себе понятия о чарующей прелести самоуважения. Дело в том, что все можно обратить в механику. У нас обращено в механику искусство надувательства, а в Западной Европе, со времен средневековой схоластики, в механику превратилось искусство писать ученые трактаты, рыться в фолиантах и получать самым добросовестным образом докторские дипломы, не переставая верить в колдовство или в алхимию. Закваска рутины так сильна, что многие немцы и англичане находят возможным заниматься даже естественными науками, не переставая быть, по своему миросозерцанию, чисто средневековыми субъектами. От этого выходят презабавные эпизоды. Например, знаменитый английский анатом Ричард Оуэн (прошу не смешивать с социалистом, Робертом Оуэном) упорно не желает видеть в мозгу обезьяны одну особенную штучку (аммониевы рога), потому что существование этой штучки у обезьяны кажется ему оскорбительным для человеческого достоинства. Ему показывают, Гексли из себя выходит, а тот так и остается при своем. Не вижу, да и только! Любопытно также послушать, как Карл Фохт беседует с Рудольфом Вагнером, чрезвычайно замечательным физиологом и в то же время еще более замечательным филистером. Но Оуэн и Вагнер во всяком случае превосходные исследователи; они смотрят во все глаза и сильно работают мозгом, когда вопрос не слишком близко подходит к их сердечным симпатиям. Напряженное внимание и размышление все-таки могут расшевелить и развить ум настолько, что чувство самоуважения сделается понятным и драгоценным. А есть и второстепенные Оуэны и Вагнеры; во всех философских и научных лагерях есть мародеры и паразиты, которые не только не создают мыслей сами, но даже не передумывают чужих мыслей, а только затверживают их, чтобы потом разбавлять готовые темы ушатами воды и составлять таким образом статьи или книги. Этим людям чувство самоуважения, разумеется, останется навсегда неизвестным.

Мы видим таким образом, что мыслители всех школ понимают одинаково высшее и неотъемлемое благо человека; мы видим, кроме того, что это благо действительно доступно только тем из мыслителей, которые в самом деле работают умом, а не тем, которые повторяют с тупым уважением слепых адептов великие мысли

учителей. Вывод прост и ясен. Не школа, не философский догмат, не буква системы, не истина делают человека существом разумным, свободным и счастливым. Его облагороживает, его ведет к наслаждению только самостоятельная умственная деятельность, посвященная бескорыстному исканию истины и не подчиненная рутинным и мелочным интересам вседневной жизни. Чем бы ни пробудили вы эту самостоятельную деятельность, чем бы вы ни занимались — геометриею, филологиею, ботаникою, все равно — лишь бы только вы начали мыслить. В результате все-таки получится расширение внутреннего мира, любовь к этому миру, стремление очистить его от всякой грязи и, наконец, незаменимое счастье самоуважения. Значит, все-таки ум дороже всего, или, вернее, ум — все. Я с разных сторон доказывал эту мысль и, может быть, надоел читателю повторениями, но ведь мысль-то уж больно драгоценная. Ничего в ней нет нового, но если бы только мы провели ее в нашу жизнь, то мы все могли бы быть очень счастливыми людьми. А то ведь мы все куда как недалеко ушли от тех карликов, от которых совершенно отвлекло меня это длинное отступление.

VIII

По тем немногим чертам, которыми я обрисовал карликов, читатель видит уже, что они вполне заслуживают свое название. Все способности их развиты довольно равномерно: у них есть и умишко, и кое-какая волишка, и миниатюрная энергия, но все это чрезвычайно мелко и прилагается, конечно, только к тем микроскопическим целям, которые могут представиться в ограниченном и бедном мире нашей вседневной жизни. Карлики радуются, огорчаются, приходят в восторг, приходят в негодование, борются с искушениями, одерживают победы, терпят поражения, влюбляются, женятся, спорят, горячатся, интригуют, мирятся, словом — всё делают точно настоящие люди, а между тем ни один настоящий человек не сумеет им сочувствовать, потому что это невозможно; их радости, их страдания, их волнения, искушения, победы, страсти, споры и рассуждения — все это так ничтожно, так неуловимо мелко, что только карлик может их понять, оценить и принять к сердцу. Тип карликов, или, что то же, тип практических людей, чрезвычайно распространен и видоизменяется сообразно с особенностями различных слоев общества; этот тип господствует и торжествует; он составляет себе блестящие карьеры; наживает большие деньги и самовластно распоряжается в семействах; он делает всем окружающим людям много неприятностей, а сам не получает от этого никакого удовольствия; он деятелен, но деятельность его похожа на бегание белки в колесе.

Литература наша давно уже относится к этому типу без всякой особенной нежности и давно уже осуждает с полным единодушием

то воспитание палкой, которое выработывает и формирует плотоядных карликов. Один только г. Гончаров пожелал возвести тип карлика в перл создания; вследствие этого он произвел на свет Петра Ивановича Адуева и Андрея Ивановича Штольца; но эта попытка во всех отношениях похожа на поползновение Гоголя представить идеального помещика Костанжогло и идеального откупщика Муразова. Тип карликов, повидимому, уже не опасен для нашего сознания; он не прельщает нас больше, и отвращение к этому типу заставляет даже нашу литературу и критику бросаться в противоположную крайность, от которой также не мешает поостеречься; не умея остановиться на чистом отрицании карликов, наши писатели стараются противопоставить торжествующей силе угнетенную невинность; они хотят доказать, что торжествующая сила нехороша, а угнетенная невинность, напротив того, прекрасна; в этом они ошибаются; и сила глупа, и невинность глупа, и только оттого, что они обе глупы, сила стремится угнетать, а невинность погружается в тупое терпение; свету нет, и оттого люди, не видя и не понимая друг друга, дерутся в темноте; и хотя у поражаемых субъектов часто сыпятся искры из глаз, однако это освещение, как известно по опыту, совершенно не способно рассеять окружающий мрак; и как бы ни были многочисленны и разноцветны подставляемые фонари, но все они в совокупности не заменяют самого жалкого сального огарка.

Когда человек страдает, он всегда делается трогательным; вокруг него разливается особенная мягкая прелесть, которая действует на вас с неотразимою силою; не сопротивляйтесь этому впечатлению, когда оно побуждает вас, в сфере практической деятельности, заступиться за несчастного или облегчить его страдание; но если вы, в области теоретической мысли, рассуждаете об общих причинах разных специфических страданий, то вы непременно должны относиться к страдальцам так же равнодушно, как и к мучителям, вы не должны сочувствовать ни Катерине, ни Кабанихе, потому что в противном случае в ваш анализ ворвется лирический элемент, который перепутает все ваше рассуждение. Вы должны считать светлым явлением только то, что в большей или меньшей степени может содействовать прекращению или облегчению страдания; а если вы расчувствуетесь, то вы назовете лучом света — или самую способность страдать, или ослиную кротость страдальца, или нелепые порывы его бессильного отчаяния, или вообще что-нибудь такое, что ни в каком случае не может образумить плотоядных карликов. И выйдет из этого, что вы не скажете ни одного дельного слова, а только обольете читателя ароматом вашей чувствительности; читателю это, может быть, и понравится; он скажет, что вы человек отменно хороший; но я с своей стороны, рискуя прогневить и читателя и вас, замечу только, что вы принимаете синие пятна, называемые фонарями, за настоящее освещение.

Страдательные личности наших семейств, те личности, которым порывается посочувствовать наша критика, более или менее подходят под общий тип вечных детей, которых формирует ласковое воспитание нашей бестолковой жизни. Наш народ говорит, что «за битого двух небитых дают». Имея понятие о дикости семейных отношений в некоторых слоях нашего общества, мы должны сознаться, что это изречение совершенно справедливо и проникнуто глубокою практическою мудростью. Пока в нашу жизнь не проникнет настоящий луч света, пока в массах народа не разовьется производительная деятельность, разнообразие занятий, довольство и образование, до тех пор битый непременно будет дороже двух небитых, и до тех пор родители в простом быту постоянно будут принуждены бить своих детей для их же пользы. И польза эта вовсе не воображаемая. Даже в наше просвещенное время детям простолюдина полезно и необходимо быть битыми, иначе они будут со временем несчастнейшими людьми. Дело в том, что жизнь сильнее воспитания, и если последнее не подчиняется добровольно требованиям первой, то жизнь насильно схватывает продукт воспитания и спокойно ломает его по-своему, не спрашивая о том, во что обходится эта ломка живому организму. С молодым человеком обращаются так же, как и со всеми его сверстниками; других ругают — и его ругают, других бьют — и его бьют. Привык или не привык он к этому обращению — кому до этого дело? Привык — хорошо, значит выдержит; не привык — тем хуже для него, пусть привыкает. Вот как рассуждает жизнь, и от нее невозможно ни ожидать, ни требовать, чтобы она делала какие-нибудь исключения в пользу деликатных комплекций или нежно воспитанных личностей. Но так как всякая привычка приобретается всего легче в детстве, то ясно, что люди, воспитанные лаской, будут страдать в своей жизни от одинаково дурного обращения гораздо сильнее, чем люди, воспитанные палкой. Воспитание палкой нехорошо, как нехорошо, например, повсеместное развитие пьянства в нашем отечестве; но оба эти явления составляют только невинные и необходимые аксессуары нашей бедности и нашей дикости; когда мы сделаемся богаче и образованнее, тогда закроется по крайней мере половина наших кабаков, и тогда родители не будут бить своих детей. Но теперь, когда мужик действительно нуждается в самозабвении и когда водка составляет его единственную отраду, было бы нелепо требовать, чтобы он не ходил в кабак; с тоски он мог бы придумать что-нибудь еще более безобразное; ведь есть и такие племена, которые едят мухомор. Теперь и палка приносит свою пользу, как приготовление к жизни; уничтожьте палку в воспитании, и вы приготовите только для нашей жизни огромное количество бессильных мучеников, которые, натерпевшись на своем веку, или помрут от чахотки, или превратятся понемногу в ожесточенных мучителей. В настоящее время вы имеете в каждом русском семействе

два воспитательные элемента, родительскую палку и родительскую ласку; и то и другое без малейшей примеси разумной идеи. И то и другое из рук вон скверно, но родительская палка все-таки лучше родительской ласки.

Я знаю, чем я рискую; меня назовут обскурантом, а заслужить в наше время это название — почти то же самое, что было в средние века прослыть еретиком и колдуном. Я очень желаю сохранить за собою честное имя прогрессиста, но, рассчитывая на благоразумие читателя, надеюсь, что он понимает общее направление моей мысли, и, вооружившись этим упованием, осмеливаюсь уклоняться от общепринятой рутины нашего дешевого либерализма. Палка действительно развивает до некоторой степени детский ум, но только не так, как думают суровые воспитатели; они думают, что коли посечь ребенка, так он запомнит и примет к сердцу спасительные советы, раскается в своем легкомыслии, поймет заблуждение и исправит свою греховную волю; для большей вразумительности воспитатели даже секут и приговаривают, а ребенок кричит: «Никогда не буду!» и, значит, изъявляет раскаяние. Эти соображения добрых родителей и педагогов неосновательны; но в высеченном субъекте действительно происходит процесс мысли, вызванный именно ощущением боли. В нем изощряется чувство самосохранения, которое обыкновенно дремлет в детях, окруженных нежными заботами и постоянными ласками. Но чувство самосохранения составляет первую причину всякого человеческого прогресса; это чувство, и только оно одно, заставляет дикаря переходить от охоты к скотоводству и земледелию; оно кладет основание всем техническим изобретениям, всякому комфорту, всем промыслам, наукам и искусствам. Стремление к удобству, любовь к изящному и даже чистая любознательность, которую мы в простоте души считаем бескорыстным порывом человеческого ума к истине, составляют только частные проявления и тончайшие видоизменения того самого чувства, которое побуждает нас избегать боли и опасности. Мы чувствуем, что некоторые ощущения освежают и укрепляют нашу нервную систему; когда мы долго не получаем этих ощущений, тогда организм наш расстроивается, сначала очень легко, однако так, что это расстройство заставляет нас испытать какое-то особенное ощущение, известное под названием скуки или тоски. Если мы не хотим или не можем прекратить это неприятное чувство, т. е. если мы не даем организму того, что он требует, тогда он расстроивается сильнее, и чувство делается еще неприятнее и томительнее. Для того чтобы постоянно чем-нибудь затыкать рот нашему организму, когда он таким образом начинает скрипеть и пищать, мы, т. е. люди вообще, стали смотреть вокруг себя, стали вглядываться и прислушиваться, стали двигать самым усиленным образом и руками, и ногами, и мозгами. Разнообразное двигание совершенно соответствовало самым прихотливым требованиям неугомонной нервной системы; это двигание так завлекло нас и так полюбилось нам, что мы

занимаемся им теперь с самым страстным усердием, совершенно теряя из виду исходную точку этого процесса. Мы серьезно думаем, что любим изящное, любим науку, любим истину, а на самом деле мы любим только целость нашего хрупкого организма; да и не любим даже, а просто повинуемся слепо и невольно закону необходимости, действующему во всей цепи органических созданий, начиная от какого-нибудь гриба и кончая каким-нибудь Гейне или Дарвином.

IX

Если чувство самосохранения, действуя в нашей породе, вызвало на свет все чудеса цивилизации, то, разумеется, это чувство, возбужденное в ребенке, будет в малых размерах действовать в нем в том же направлении. Чтобы привести в движение мыслительные способности ребенка, необходимо возбудить и развить в нем ту или другую форму чувства самосохранения. Ребенок начнет работать мозгом только тогда, когда в нем проснется какое-нибудь стремление, которому он пожелает удовлетворить, а все стремления без исключения вытекают из одного общего источника, именно из чувства самосохранения. Воспитателю предстоит только выбор той формы этого чувства, которую он пожелает возбудить и развить в своем воспитаннике. Образованный воспитатель выберет тонкую и положительную форму, т. е. стремление к наслаждению; а воспитатель полудикий поневоле возьмет грубую и отрицательную форму, т. е. отвращение к страданию; второму воспитателю нет выбора; стало быть, очевидно, надо или сечь ребенка, или помириться с тою мыслию, что в нем все стремления останутся непробужденными и что ум его будет дремать до тех пор, пока жизнь не начнет толкать и швырять его по-своему. Ласковое воспитание хорошо и полезно только тогда, когда воспитатель умеет возбудить в ребенке высшие и положительные формы чувства самосохранения, т. е. любовь к полезному и к истинному, стремление к умственным занятиям и страстное влечение к труду и к знанию. У тех людей, для которых эти хорошие вещи не существуют, ласковое воспитание есть не что иное, как медленное развращение ума посредством бездействия. Ум спит год, два, десять лет и, наконец, доспится до того, что даже толчки действительной жизни перестают возбуждать его. Человеку не все равно, когда начать развиваться, с пяти лет или с двадцати лет. В двадцать лет и обстоятельства встречаются не те, да и сам человек уже не тот. Не имея возможности справиться с обстоятельствами, двадцатилетний ребенок поневоле подчиняется им, и жизнь начнет кидать это пассивное существо из стороны в сторону, а уж тут плохо развиваться, потому что когда на охоту едут, тогда собак поздно кормить. И выйдет из человека ротозей и тряпка, интересный страдалец и невинная жертва. Когда ребе-

нок не затронут никакими стремлениями, когда действительная жизнь не подходит к нему ни в виде угрожающей розги, ни в виде тех обаятельных и серьезных вопросов, которые она задает человеческому уму, — тогда мозг не работает, а постоянно играет разными представлениями и впечатлениями. Эта бесцельная игра мозга называется фантазиею и, кажется, даже считается в психологии особенною силою души. На самом же деле эта игра есть просто проявление мозговой силы, не пристроенной к делу. Когда человек думает, тогда силы его мозга сосредоточиваются на определенном предмете и, следовательно, регулируются единством цели; а когда нет цели, тогда готовой мозговой силе все-таки надо же куда-нибудь деваться; ну, и начинается в мозгу такое движение представлений и впечатлений, которое относится к мыслительной деятельности так, как насвистывание какого-нибудь мотива относится к оперному пению перед многочисленною и взыскательною публикой. Размышление есть труд, требующий участия воли, труд, невозможный без определенной цели, а фантазия есть совершенно невольное отправление, возможное только при отсутствии цели. Фантазия — сон наяву; поэтому и существуют на всех языках для обозначения этого понятия такие слова, которые самым тесным образом связаны с понятием о сне: по-русски — греза, по-французски — rêverie, по-немецки — Träumerei, по-английски — day dream. Очень понятно, что спать днем, и притом спать наяву, может только такой человек, которому нечего делать и который не умеет употребить свое время ни на то, чтобы улучшить свое положение, ни на то, чтобы освежить свои нервы деятельным наслаждением. Чтобы быть фантазером, вовсе не нужно иметь темперамент особенного устройства; всякий ребенок, у которого нет никаких забот и у которого очень много досуга, непременно сделается фантазером; фантазия родится тогда, когда жизнь пуста и когда нет никаких действительных интересов; эта мысль оправдывается как в жизни целых народов, так и в жизни отдельных личностей. Если эстетики будут превозносить развитие фантазии как светлое и отрадное явление, то этим они обнаружат только свою привязанность к пустоте и свое отвращение к тому, что действительно возвышает человека; или, еще проще, они докажут нам, что они чрезвычайно ленивы и что ум их уже не переносит серьезной работы. Впрочем, это обстоятельство уже ни для кого не составляет тайны.

X

Наша жизнь, предоставленная своим собственным принципам, выработывает карликов и вечных детей. Первые делают зло активное, вторые — пассивное; первые больше мучают других, чем страдают сами, вторые более страдают сами, чем мучают других. Впрочем, с одной стороны, карлики вовсе не наслаждаются без-

мятежным счастьем, а с другой стороны, вечные дети причиняют часто другим очень значительные страдания; только делают они это не нарочно, но по трогательной невинности или, что то же, по непроходимой глупости. Карлики страдают узкостью и мелкостью ума, а вечные дети — умственною спячкою и вследствие этого совершенным отсутствием здравого смысла. По милости карликов наша жизнь изобилует грязными и глупыми комедиями, которые разыгрываются каждый день, в каждом семействе, при всех сделках и отношениях между людьми; по милости вечных детей эти грязные комедии иногда заканчиваются глупыми трагическими развязками. Карлик ругается и дерется, но соблюдает при этих действиях благоразумную расчетливость, чтобы не наделать себе скандала и чтобы не вынести сора из избы. Вечный ребенок все терпит и все печалится, а потом, как прорвет его, он и хватит зараз, да уж так хватит, что или самого себя, или своего собеседника уложит на месте. После этого заветный сор, разумеется, не может оставаться в избе и препровождается в уголовную палату. Простая драка превратилась в драку с убийством, и трагедия вышла такая же глупая, какая была предшествовавшая ей комедия.

Но эстетики понимают дело иначе; в их головы засела очень глубоко старая пиитика, предписывающая писать трагедии высоким слогом, а комедии средним и, смотря по обстоятельствам, даже низким; эстетики помнят, что герой умирает в трагедии насильственною смертью; они знают, что трагедия непременно должна производить впечатление возвышенное, что она может возбуждать ужас, но не презрение, и что несчастный герой должен приковывать к себе внимание и сочувствие зрителей. Вот эти-то предписания пиитики они и прикладывают к обсуждению тех словесных и рукопашных схваток, которые составляют мотивы и сюжеты наших драматических произведений. Эстетики открещиваются и отплевываются от преданий старой пиитики; они не упускают ни одного случая посмеяться над Аристотелем и Буало и заявить свое собственное превосходство над ложноклассическими теориями, а между тем именно эти одряхлевшие предания составляют до сих пор все содержание эстетических приговоров. Эстетикам и в голову не приходит, что трагическое происшествие почти всегда бывает так же глупо, как и комическое, и что глупость может составлять единственную пружину разнообразнейших драматических коллизий. Как только дело переходит от простой беседы к уголовному преступлению, так эстетики тотчас приходят в смущение и спрашивают себя, кому же они будут сочувствовать и какое выражение изобразят они на своих физиономиях — ужас, или негодование, или глубокую задумчивость, или торжественную грусть? Но вообще надо им найти, во-первых, предмет для сочувствия, а во-вторых, возвышенное выражение для собственной физиономии. Иначе нельзя и говорить о трагическом происшествии.

Однако что же в самом деле, думает читатель, ведь не смеяться же, когда люди лишают себя живота или перегрызают друг другу горло? О, мой читатель, кто вас заставляет смеяться? Я так же мало понимаю смех при виде наших комических глупостей, как и возвышенные чувства при виде наших трагических пошлостей; совсем не мое дело и вообще не дело критика предписывать читателю, что он должен чувствовать; не мое дело говорить вам: извольте, сударь, улыбнуться, — потрудитесь, сударыня, вздохнуть и возвести очи к небу. Я беру все, что пишется нашими хорошими писателями, — романы, драмы, комедии, что угодно, — я беру все это как сырые материалы, как образчики наших нравов; я стараюсь анализировать все эти разнообразные явления, я замечаю в них общие черты, я отыскиваю связь между причинами и следствиями и прихожу таким путем к тому заключению, что все наши треволнения и драматические коллизии обусловливаются исключительно слабостью нашей мысли и отсутствием самых необходимых знаний, т. е., говоря короче, глупостью и невежеством. Жестокость семейного деспота, фанатизм старой ханжи, несчастная любовь девушки к негодяю, кротость терпеливой жертвы семейного самовластия, порывы отчаяния, ревность, корыстолюбие, мошенничество, буйный разгул, воспитательная розга, воспитательная ласка, тихая мечтательность, восторженная чувствительность — вся эта пестрая смесь чувств, качеств и поступков, возбуждающих в груди пламенного эстетика целую бурю высоких ощущений, вся эта смесь сводится, по моему мнению, к одному общему источнику, который, сколько мне кажется, не может возбуждать в нас ровно никаких ощущений, ни высоких, ни низких. Все это различные проявления неисчерпаемой глупости.

Добрые люди будут горячо спорить между собою о том, что в этой смеси хорошо и что дурно; вот это, скажут, добродетель, а вот это порок; но бесплоден будет весь спор добрых людей, нет тут ни добродетелей, ни пороков, нет ни зверей, ни ангелов. Есть только хаос и темнота, есть непонимание и неуменье понимать. Над чем же тут смеяться, против чего тут негодовать, чему тут сочувствовать? Что тут должен делать критик? Он должен говорить обществу и сегодня, и завтра, и послезавтра, и десять лет подряд, и сколько хватит его сил и его жизни, говорить, не боясь повторений, говорить так, чтобы его понимали, говорить постоянно, что народ нуждается только в одной вещи, в которой заключаются уже все остальные блага человеческой жизни. Нуждается он в движении мысли, а это движение возбуждается и поддерживается приобретением знаний. Пусть общество не сбивается с этой прямой и единственной дороги к прогрессу, пусть не думает, что ему надо приобрести какие-нибудь добродетели, привить к себе какие-нибудь похвальные чувства, запастись тонкостью вкуса или вытвердить кодекс либеральных убеждений. Все это мыльные пузыри, все это дешевая подделка настоящего

прогресса, все это болотные огоньки, заводящие нас в трясину возвышенного красноречия, все это беседы о честности зипуна и о необходимости почвы,[4] и ото всего этого мы не дождемся ни одного луча настоящего света. Только живая и самостоятельная деятельность мысли, только прочные и положительные знания обновляют жизнь, разгоняют темноту, уничтожают глупые пороки и глупые добродетели и, таким образом, выметают сор из избы, не перенося его в уголовную палату. Но не думайте пожалуйста, что народ найдет свое спасение в тех знаниях, которыми обладает наше общество и которые рассыпают щедрою рукою книжки, продающиеся теперь для блага младших братьев по пятаку и по гривне. Если, вместо этого просвещения, мужик купит себе калач, то он докажет этим поступком, что он гораздо умнее составителя книжки и сам мог бы многому научить последнего.

Дерзость наша равняется только нашей глупости и только глупостью нашею может быть объяснена и оправдана. Мы — просветители народа?!. Что это — невинная шутка или ядовитая насмешка? — Да сами-то мы что такое? Не правда ли, как мы много знаем, как мы основательно мыслим, как превосходно мы наслаждаемся жизнью, как умно мы установили наши отношения к женщине, как глубоко мы поняли необходимость работать на пользу общую? Да можно ли перечислить все наши достоинства? Ведь мы так бесподобны, что когда нам покажут издали, в романе, поступки и размышления умного и развитого человека, тогда мы сейчас в ужас придем и глаза зажмурим, потому что примем неискаженный человеческий образ за чудовищное явление. Ведь мы так человеколюбивы, что, великодушно забывая свою собственную неумытость, лезем непременно умывать нашими грязными руками младших братьев, о которых болит наша нежная душа и которые, само собою разумеется, выпачканы также до помрачения человеческого образа. И усердно мажем мы грязными руками по грязным лицам, и велики наши труды, и пламенна наша любовь, во-первых, к чумазым братьям, а во-вторых, к их пятакам и гривнам, и человеколюбивые подвиги темных просветителей могут с величайшим удобством продолжаться вплоть до второго пришествия, не нанося ни малейшего ущерба тому надежному слою грязи, который с полным беспристрастием украшает как хлопотливые руки учителей, так и неподвижные лица учеников. Глядя на чудеса нашего народолюбия, поневоле прибегнешь к языку богов и произнесешь стих г. Полонского:

Тебе ли с рылом
Суконным да в гостиный ряд.[5]

Лучшие наши писатели очень хорошо чувствуют, что рыло у нас действительно суконное и что в гостиный ряд нам покуда ходить незачем. Они понимают, что им самим следует учиться и развиваться и что вместе с ними должно учиться то русское

общество, которое для красоты слога называет себя образованным. Они видят очень ясно две вещи: первое — то, что наше общество, при теперешнем уровне своего образования, совершенно бессильно и, следовательно, не способно произвести в понятиях и нравах народа ни малейшего изменения, ни в дурную, ни в хорошую сторону; а второе — то, что если бы даже, по какому-нибудь необъяснимому стечению случайностей, теперешнему обществу удалось переработать народ по своему образу и подобию, то это было бы для народа истинным несчастием.

Чувствуя, понимая и видя все это, лучшие наши писатели, люди, действительно мыслящие, обращаются до сих пор исключительно к обществу, а книжки для народа пишутся теми литературными промышленниками, которые в другое время стали бы издавать сонники и новые собрания песен московских цыган. Даже такое чистое и святое дело, как воскресные школы, оказывается еще сомнительным. Тургенев совершенно справедливо замечает в своем последнем романе, что мужик говорил с Базаровым как с несмыслящим ребенком и смотрел на него как на шута горохового. Пока на сто квадратных миль будет приходиться по одному Базарову, да и то вряд ли, до тех пор все, и сермяжники и джентльмены, будут считать Базаровых вздорными мальчишками и смешными чудаками. Пока один Базаров окружен тысячами людей, не способных его понимать, до тех пор Базарову следует сидеть за микроскопом и резать лягушек и печатать книги и статьи с анатомическими рисунками. Микроскоп и лягушка — вещи невинные и занимательные, а молодежь — народ любопытный; уж если Павел Петрович Кирсанов не утерпел, чтобы не взглянуть на инфузорию, глотавшую зеленую пылинку, то молодежь и подавно не утерпит и не только взглянет, а постарается завести себе свой микроскоп и, незаметно для самой себя, проникнется глубочайшим уважением и пламенной любовью к распластанной лягушке. А только это и нужно. Тут-то именно, в самой лягушке-то, и заключаются спасение и обновление русского народа. Ей-богу, читатель, я не шучу и не потешаю вас парадоксами. Я выражаю, только без торжественности, такую истину, в которой я глубоко убежден и в которой гораздо раньше меня убедились самые светлые головы в Европе и, следовательно, во всем подлунном мире. Вся сила здесь в том, что по поводу разрезанной лягушки чрезвычайно мудрено приходить в восторг и говорить такие фразы, в которых понимаешь одну десятую часть, а иногда еще того меньше. Пока мы, вследствие исторических обстоятельств, спали невинным сном грудного ребенка, до тех пор фразерство не было для нас опасно; теперь, когда наша слабая мысль начинает понемногу шевелиться, фразы могут надолго задержать и изуродовать наше развитие. Стало быть, если наша молодежь сумеет вооружиться непримиримою ненавистью против всякой фразы, кем бы она ни была произнесена, Шатобрианом

или Прудоном, если она выучится отыскивать везде живое явление, а не ложное отражение этого явления в чужом сознании, то мы будем иметь полное основание рассчитывать на довольно нормальное и быстрое улучшение наших мозгов. Конечно, эти расчеты могут быть совершенно перепутаны историческими обстоятельствами, но об этом я не говорю, потому что тут голос критики совершенно бессилен. Но придет время, — и оно уже вовсе не далеко, — когда вся умная часть молодежи, без различия сословия и состояния, будет жить полною умственною жизнью и смотреть на вещи рассудительно и серьезно. Тогда молодой землевладелец поставит свое хозяйство на европейскую ногу; тогда молодой капиталист заведет те фабрики, которые нам необходимы, и устроит их так, как того требуют общие интересы хозяина и работников; и этого довольно; хорошая ферма и хорошая фабрика, при рациональной организации труда, составляют лучшую и единственную возможную школу для народа, во-первых, потому, что эта школа кормит своих учеников и учителей, а во-вторых, потому, что она сообщает знание не по книге, а по явлениям живой действительности. Книга придет в свое время, устроить школы при фабриках и при фермах будет так легко, что это уже сделается само собою.

Вопрос о народном труде заключает в себе все остальные вопросы и сам не заключается ни в одном из них; поэтому надо постоянно иметь в виду именно этот вопрос и не развлекаться теми второстепенными подробностями, которые все будут устроены, как только подвинется вперед главное дело. Недаром Вера Павловна заводит мастерскую, а не школу, и недаром тот роман, в котором описывается это событие, носит заглавие: «Что делать?». Тут действительно дается нашим прогрессистам самая верная и вполне осуществимая программа деятельности. Много ли, мало ли времени придется нам идти к нашей цели, заключающейся в том, чтобы обогатить и просветить наш народ, — об этом бесполезно спрашивать. Это — верная дорога, и другой верной дороги нет. Русская жизнь, в самых глубоких своих недрах, не заключает решительно никаких задатков самостоятельного обновления; в ней лежат только сырые материалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны влиянием общечеловеческих идей; русский человек принадлежит к высшей, кавказской расе; стало быть, все миллионы русских детей, не искалеченных элементами нашей народной жизни, могут сделаться и мыслящими людьми и здоровыми членами цивилизованного общества. Разумеется, такой колоссальный умственный переворот требует времени. Он начался в кругу самых дельных студентов и самых просвещенных журналистов. Сначала были светлые личности, стоявшие совершенно одиноко; было время, когда Белинский воплощал в себе всю сумму светоносных идей, находившихся в нашем отечестве; теперь, испытавши по дороге много видоизменений, одинокая личность

русского прогрессиста разрослась в целый тип, который нашел уже себе свое выражение в литературе и который называется или Базаровым, или Лопуховым. Дальнейшее развитие умственного переворота должно идти так же, как шло его начало; оно может идти скорее или медленнее, смотря по обстоятельствам, но оно должно идти все одною и тою же дорогою.

XI

Не ждите и не требуйте от меня, читатель, чтобы я теперь стал продолжать начатый анализ характера Катерины. Я так откровенно и так подробно высказал вам свое мнение о целом порядке явлений «темного царства», или, говоря проще, семейного курятника, — что мне теперь осталось бы только прикладывать общие мысли к отдельным лицам и положениям; мне пришлось бы повторять то, что я уже высказал, а это была бы работа очень неголоволомная и вследствие этого очень скучная и совершенно бесполезная. Если читатель находит идеи этой статьи справедливыми, то он, вероятно, согласится с тем, что все новые характеры, выводимые в наших романах и драмах, могут относиться или к базаровскому типу, или к разряду карликов и вечных детей. От карликов и от вечных детей ждать нечего; нового они ничего не произведут; если вам покажется, что в их мире появился новый характер, то вы смело можете утверждать, что это оптический обман. То, что вы в первую минуту примете за новое, скоро окажется очень старым; это просто — новая помесь карлика с вечным ребенком, а как ни смешивайте эти два элемента, как ни разбавляйте один вид тупоумия другим видом тупоумия, в результате все-таки получите новый вид старого тупоумия.

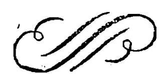
Эта мысль совершенно подтверждается двумя последними драмами Островского, «Гроза» и «Грех да беда на кого не живет». В первой — русская Офелия, Катерина, совершив множество глупостей, бросается в воду и делает, таким образом, последнюю и величайшую нелепость. Во второй — русский Отелло, Краснов, во все время драмы ведет себя довольно сносно, а потом сдуру зарезывает свою жену, очень ничтожную бабенку, на которую и сердиться не стоило. Может быть, русская Офелия ничем не хуже настоящей, и, может быть, Краснов ни в чем не уступит венецианскому мавру, но это ничего не доказывает: глупости могли так же удобно совершаться в Дании и в Италии, как и в России; а что в средние века они совершались гораздо чаще и были гораздо крупнее, чем в наше время, это уже не подлежит никакому сомнению; но средневековым людям, и даже Шекспиру, было еще извинительно принимать большие человеческие глупости за великие явления природы, а нам, людям XIX столетия, пора уже называть вещи их настоящими именами. Есть, правда, и у нас

средневековые люди, которые увидят в подобном требовании оскорбление искусства и человеческой природы, но ведь на все вкусы мудрено угодить; так пускай уж эти люди гневаются на меня, если это необходимо для их здоровья.

В заключение скажу несколько слов о двух других произведениях г. Островского, о драматической хронике «Козьма Минин» и о сценах «Тяжелые дни». По правде сказать, я хорошенько не вижу, чем «Козьма Минин» отличается от драмы Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». И Кукольник и г. Островский рисуют исторические события так, как наши доморощенные живописцы и граверы рисуют доблестных генералов; на первом плане огромный генерал сидит на лошади и машет каким-нибудь дрекольем; потом — клубы пыли или дыма — что́ именно, не разберешь; потом за клубами крошечные солдатики, поставленные на картину только для того, чтобы показать наглядно, как велик полковой командир и как малы в сравнении с ним нижние чины. Так у г. Островского на первом плане колоссальный Минин, за ним его страдания наяву и видения во сне, а совсем назади два-три карапузика изображают русский народ, спасающий отечество. По-настоящему, следовало бы всю картину перевернуть, потому что в нашей истории Минин, а во французской — Иоанна д'Арк понятны только как продукты сильнейшего народного воодушевления. Но наши художники рассуждают по-своему, и урезонить их мудрено. — Что касается до «Тяжелых дней», то это уж и бог знает что за произведение. Остается пожалеть, что г. Островский не украсил его куплетами и переодеваниями; вышел бы премиленький водевиль, который с большим успехом можно было бы давать на сцене для съезда и для разъезда театральной публики. Сюжет заключается в том, что добродетельный и остроумный чиновник с бескорыстием, достойным самого идеального станового,[6] устроивает счастье купеческого сына Андрея Брускова и купеческой дочери Александры Кругловой. Действующие лица пьют шампанское, занавес опускается, и статья моя оканчивается.

1864 г. Март.

ПРИМЕЧАНИЯ



Настоящий том охватывает произведения Писарева с марта 1862 по март 1864 г. Сюда вошли все литературно-критические статьи этого времени, а также некоторые из важнейших общественно-политических его произведений. Рецензия на сборник «Поэты всех времен и народов», относящаяся к маю 1862 г., помещена в т. 1 данного издания.

БАЗАРОВ

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1862, кн. 3; затем вошла в ч. 1 первого издания сочинений (1866 г.). Варианты текста несущественны. Дата под статьей поставлена в первом издании. Здесь воспроизводится по тексту первого издания с исправлением мелких погрешностей по журнальному тексту.

Статья Писарева представляет собою один из первых критических откликов на роман Тургенева. «Отцы и дети» впервые появились в журнале «Русский вестник» (кн. 2 за 1862 г.). Ни один из романов Тургенева не вызвал в современной критике столь многочисленных отзывов и противоречивых оценок. Катков, печатая роман в своем журнале, рассчитывал на него как на орудие в борьбе с революционно-демократическим лагерем. Похвалы роману раздавались и со страниц реакционных журналов, считавших, что Тургеневу удалось здесь нанести удар революционным демократам и развенчать молодое поколение в лице Базарова. Именно так, например, истолковал роман Тургенева мракобес В. Аскоченский в журнале «Домашняя беседа» (1862, № 19). Однако характерно, что сам Катков считал отношение Тургенева к образу «нигилиста» Базарова недостаточно последовательным и обвинял писателя в известном возвеличении этого образа. Публикуя роман в «Русском вестнике», Катков без ведома автора внес в его текст ряд редакционных изменений, принижавших образ Базарова (эти поправки Тургенев устранил в отдельном издании романа 1862 г.).

Противоречивым было отношение к роману революционно-демократической критики. Одновременно со статьей Писарева в «Современнике» (1862,

кн. 3) появилась статья М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», в которой была дана резкая оценка романа. Антонович отнесся к роману как к клевете на молодое поколение, назвал его «карикатурой самой злостной». Статья не признавала за романом какого-либо художественного достоинства. Для понимания позиции, занятой «Современником» в отношении романа Тургенева, существенно отметить, что Чернышевский в своих воспоминаниях, написанных в 1884 г., считал роман «открытым заявлением ненависти Тургенева к Добролюбову». Образ Базарова рассматривался в кругу редакции «Современника» как попытка представить в карикатурном виде Добролюбова, вообще тип «нового человека» 1860-х гг.

Совсем иным оказалось отношение Писарева и к роману Тургенева в целом и к образу Базарова. Это расхождение в оценке «Отцов и детей» и Базарова послужило в дальнейшем одним из поводов к возникновению полемики между «Современником» и «Русским словом» (см. прим. к статьям «Реалисты» и «Посмотрим», т. 3 данн. изд.).

В своей статье 1862 г. Писарев не отрицает того, что Тургенев подходит к оценке молодого поколения и Базарова с точки зрения «прошедшего». Но он не видит в романе намеренной тенденциозности. В тоне Тургенева, заявляет он, «не слышно раздражения». Вместе с тем он не видит у Тургенева и явного сочувствия к представителям другого лагеря. Признавая, что от анализа Тургенева «не ускользает ни одна слабая или смешная черта» в героях его романа, Писарев находит характеристику противника Базарова Павла Петровича Кирсанова объективно беспощадной. Высоко оценивает Писарев художественные достоинства романа, подчеркивая искренность художника, его стремление изобразить «явление как оно есть».

Отнесясь к «Отцам и детям» как к крупному художественному произведению, Писарев считает необходимым в ходе анализа сосредоточиться на оценке и характеристике самих материалов романа и отказаться от спора с Тургеневым по поводу тех или иных его личных мнений и субъективных оценок. Важнейшим предметом этого критического анализа оказывается для Писарева характеристика Базарова как нового типа, как представителя демократического молодого поколения. Все остальные образы расцениваются и рассматриваются лишь в их отношении к этому центральному образу. Отсюда и само название статьи.

По существу Писарев создает здесь свой образ Базарова, по-новому группируя те характерные черты, которые он находит в герое тургеневского романа, выделяя то, что представляется для него особенно существенным. Писарев расценивает Базарова как «героя своего времени», признает его типическим и выдающимся представителем молодого поколения 1860-х гг. В его трактовке Базаров является убежденным демократом, не способным на компромиссы с господствующим злом. Писарев особенно подчеркивает в Базарове его борьбу за полное «самоосвобождение», против отживших «авторитетов», его враждебность всяческой схоластике, идеализму, его «разумный эгоизм», основывающийся на уважении к естественным требованиям живого организма. Писарев стремится обратить внимание читателя на революционные черты этого нового типа, показать, что Базаровы ждут настоящего «дела», в котором они безоговорочно примут участие. Но в этой статье сказались и

особенности оценки Писаревым современной политической ситуации. Объясняя черты скептицизма в Базарове, Писарев указывает, что они сложились потому, что «в течение 1860 и 1861 года Базаров не мог бы сделать ничего такого, что бы показало нам приложение его миросозерцания в жизни». В этой различной оценке политической ситуации, без сомнения, заложены и причины разногласий в оценке типа Базарова между критикой «Современника» и Писаревым. С точки зрения критики «Современника», образ Базарова был снижением образа революционера-демократа. Это не был образ борца, непосредственно устремленного на революционное дело. Черты скептицизма, эмпиризм Базарова, его романические отношения с Одинцовой, сама его случайная смерть представлялись как стремление Тургенева подорвать авторитет этого типа в глазах читателей. С точки же зрения Писарева, противоречия в образе Базарова объясняются тем, что этот тип не вполне сформировался и что не готовы еще условия, в которых он может вполне развернуть свою деятельность, показать все заложенные в нем силы.

Крупные разногласия в оценке романа со стороны революционно-демократической критики объясняются также и противоречивым характером самого произведения. Объективно содержавший яркую характеристику отношений двух враждебных лагерей, роман Тургенева был вместе с тем субъективно-полемическим по своему замыслу. В образе Базарова нашли свое отражение не только некоторые общие черты нового типа, но и известное непонимание Тургеневым этого типа. В образ Базарова были внесены автором отдельные черты, искажающие действительную природу этого типа. Реакция постаралась использовать и раздуть эти ошибки и искажения, допущенные Тургеневым. Однако статья Антоновича, односторонне подошедшая к роману как к явлению «антинигилистической литературы», ограничилась простым полемическим осуждением его, не оценила его как крупное реалистическое произведение, не смогла использовать его материалы в борьбе с реакцией.

Писарев в подходе к роману допустил также односторонность. Он не воспользовался анализом материалов романа для того, чтобы показать, что́ в образе Базарова прогрессивно и правдиво и что́ представляет искажение действительных особенностей типа нового человека, демократа и материалиста. Он в своей статье не дал полемически заостренного прямого ответа реакционным истолкователям романа Тургенева с их попытками использовать ошибки и отступления от правды жизни, допущенные в романе Тургеневым.

Но, не заключая в себе всесторонней оценки романа и его героя, статья Писарева явилась все же важным событием в борьбе двух лагерей. Она подняла на щит образ Базарова как представителя демократии, придала ему революционное звучание. В этом смысле статья Писарева, при всех колебаниях его в оценке политической ситуации 1860—1861 гг., бесспорно имела характер боевого выступления в защиту демократических идей. Царская цензура поняла этот скрытый смысл статьи Писарева. На нее среди других статей ч. 1 первого издания сочинений указывал, например, цензурный комитет в своем отношении в Главное управление по делам печати от 22 марта 1866 г. как на такую статью, в которой ниспровергаются «признанные авторитеты». «В отношении к религии, — говорилось там, — Писарев обходит все случаи, даже предсмертные минуты Базарова, как будто об этом предмете не стоило и гово-

рить. Только в одном месте (стр. 140) (см. стр. 20 данного издания. — *Ред.*), в разговоре Базарова с дядею Аркадия, слова Базарова: «Когда грубейшее суеверие нас душит» автор распорядился напечатать... курсивом, очевидно не без намерения, а это, без сомнения, намек на авторитет церкви» (цит. по статье В. Е. Евгеньева-Максимова «Д. И. Писарев и охранители» — «Голос минувшего», 1919, № 1—4).

В дальнейшем характеристика образа Базарова у Писарева претерпела известные изменения в соответствии с общей эволюцией его взглядов (см. об этом в прим. к статье «Реалисты», т. 3 данн. изд.).

[1] *Неделимое*—см. прим. 7 к статье «Идеализм Платона» (т. 1 данн. изд.).

[2] «*Русский вестник*» — см. прим. 1 к статье «Схоластика XIX века» (т. 1 данн. изд.).

[3] *Шамилов* — тип безвольного фразера в повести А. Ф. Писемского «Богатый жених».

[4] Выражение *посвистывают* имеет здесь эзоповский смысл (см. прим. 23 к статье «Схоластика XIX века» в т. 1 данн. изд.).

БЕДНАЯ РУССКАЯ МЫСЛЬ

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1862, кн. 4 (главы I—III) и 5 (главы IV—VII). Первая часть статьи (главы I—III) была затем включена в ч. 2 первого издания сочинений (1866 г.). Однако увидеть свет статье в этом издании не удалось. Карательная цензура, рассмотрев ч. 2 этого издания по ее напечатании, задержала ее и возбудила судебное преследование против издателя Ф. Павленкова, которому вменялось в вину опубликование в этой части сочинений именно статьи «Бедная русская мысль», а также статьи «Русский Дон-Кихот». После того как петербургская судебная палата, несмотря на настояния прокурора, оправдала Павленкова, защищавшегося с большим искусством, и сняла арест со второй части сочинений, прокурор обжаловал решение палаты в сенате. Сенат, освободив Павленкова от наказания, разрешил выпустить в свет книгу, но статья «Бедная русская мысль» была по этому же решению из нее вырезана. В дальнейшем статья эта смогла увидеть свет лишь после революции 1905 г. Она вошла в дополнительный выпуск к шеститомному собранию сочинений Писарева в издании Павленкова (см. там же подробное изложение судебного процесса). Существенных расхождений между текстом этой статьи в журнале «Русское слово» и в дополнительном выпуске к шеститомнику нет, если не считать пропуска первого предложения статьи, иной разбивки на главы во второй половине статьи и некоторых других мелких пропусков текста в дополнительном выпуске. В рукописном отделе Института русской литературы АН СССР в Ленинграде имеется почти полный беловой автограф второй половины статьи (главы IV—VII); в рукописи отсутствует лишь конец статьи (последний абзац).

В рукописи есть несколько существенных отличий как от журнального текста, так и от текста дополнительного выпуска. Нет сомнения, что эти изменения печатного текста сравнительно с рукописью — цензурного происхожде-

ния. В печатном тексте оказались исключенными или измененными в сторону смягчения некоторые резкие оценки Петра I, характерные сопоставления его деятельности с фактами современного Писареву быта и рассуждения Писарева о зависимости развития человеческих способностей от природы и обстоятельств. Так, в журнальном тексте главы IV отсутствует отрывок со слов: «Я говорил уже, что влияние исторического деятеля...» кончая словами: «существование врожденных наклонностей к живописи, к математике, к изучению языков и т. д.» (см. данн. том, стр. 72—73). Вместо слов, заключенных в начале стр. 82 в квадратные скобки, было: «Все, что сделал Петр, было плодом его личных соображений...» (разрядкой выделены слова, отсутствующие в рукописи). В выводах к этой главе в журнале вообще отсутствует пункт 3, а в пункте 4 вместо: «Деятельность великих людей была постоянно вредна...» читаем: «Деятельность великих людей не достигала своей цели». В главе V отсутствуют три небольших отрывка (см. на стр. 85 отрывок со слов: «Опять педагогическая картина...» кончая словами: «честолюбивая маменька и усердные преподаватели!»; на стр. 88 предложение, начинающееся словами: «Тут вся штука в том...» и отрывок со слов: «Вы скажете, может быть...» кончая словами: «тогда и толковать не об чем»). Имели место и более мелкие изменения текста (так, на стр. 94 вместо слова: «солдатизму» в журнале было: «дисциплине»). Ввиду существенного значения всех этих вариантов рукописного текста, их соответствия общему направлению статьи и тесной логической связи пропущенных в печатном тексте отрывков со всем ходом изложения мыслей автора они в настоящем издании введены в основной текст в квадратных скобках. Таким образом, в этом издании статья воспроизводится по тексту «Русского слова» с дополнениями и отдельными исправлениями (во второй ее части) по рукописи Института русской литературы АН СССР.

Статья «Бедная русская мысль» не случайно подверглась ожесточенному гонению со стороны царской цензуры, а затем и судебному преследованию. В обвинительном акте по делу о ч. 2 сочинений Писарева между прочим указывалось, что статья «Бедная русская мысль», а также «Русский Дон-Кихот» появились в «Русском слове» непосредственно перед временным запрещением журнала за «вредное направление» и что именно эти две статьи в последних книжках журнала 1862 г. были «наиболее вредными по направлению». Обвинительное заключение указывало, что статья «Бедная русская мысль» заключает в себе «иносказательное порицание существующей у нас формы правления», делает «вообще враждебное сопоставление монархической власти с народом», «стараясь представить первую началом бесполезным и даже вредным в народной жизни». Статье вменялось в вину то, что в ней автор показывает произвол и реакционный характер деятельности самодержавных властителей, «народ же или общество выставляются как элемент гонимый, протестующий, борющийся с гонителями и, наконец, побороющий их личную волю». «Автор самыми черными красками, хотя и иносказательно, — говорилось там далее, — рисует характер неограниченного правления и многознаменательным тоном напоминает читателю примеры Карла I и Иакова II английских и Карла X и Людовика-Филиппа французских; не видит в России ни прежде, ни после Петра Великого никакого исторического движения жизни

(исключая реформы 19 февраля 1861 г.); о личности же и деяниях Петра Великого относится в самом презрительном тоне; издевается над патриотизмом и консервативными чувствами прежних наших издателей, восхваляет насмешку, презрение и желчь, которыми проникнута нынешняя литература наша, и только в этих ее качествах видит надежду будущего». Слова Писарева о том, что если бы Шакловитому удалось убить молодого Петра, жизнь русского народа не изменилась бы в своих отправлениях, в речи прокурора на процессе были расценены как скрытое оправдание цареубийства. Кроме того, то место в главе II, где говорится о свободе чувства (см. данн. том, стр. 61), было расценено цензурой как оправдание «свободных отношений двух полов».

Статья явилась важным выступлением против царизма, против произвола правителей, не считающихся с волею народа и его жизненными интересами.

Но полемически направляя свою статью против русского царизма, против крепостничества, реакции и застоя, Писарев вместе с тем впадает в нигилистическую оценку прошлого русского народа, утверждая, что нам якобы «не на что оглядываться, нам в прошедшем гордиться нечем». Полемически односторонней, предвзятой является и данная в статье характеристика Петра и оценка его деятельности. Писарев не отрицает талантливости Петра, выдающегося характера его личности. Но, делая исключительное ударение на тех варварских методах, с помощью которых действовал Петр, проводя свои реформы, он явно принижает значение Петра как прогрессивного политического деятеля, игнорирует выдающееся историческое значение его реформ. Следует иметь в виду, что такие полемически односторонние оценки Петра I и его деятельности в отдельных высказываниях революционных демократов 1860-х гг. были связаны с общим обострением борьбы против царизма, с убеждением, что только демократическая революция может изменить существующий порядок вещей и что никакие реформы «сверху» не приведут к благоприятным переменам. В этом смысле симптоматична, например, резкая оценка деятельности Петра, которая дана у Чернышевского в его письме к Пыпину от 7 декабря 1886 г. (см. Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 613—615). Но вместе с тем крупнейшие представители революционной демократии, Белинский, Герцен, Огарев, Чернышевский, подчеркивали и большое прогрессивное значение деятельности Петра. Так, в «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский говорил о Петре как об «идеале патриота». Оценка Петра, данная в статье Писарева, является наиболее резкой, полемичной и односторонней из всех важнейших высказываний о нем революционно-демократической критики.

[1] *«Свежее предание»* — роман в стихах Я. П. Полонского; печатался в журнале «Время» (1861, №№ 6 и 10; 1862, № 1), но не был закончен. Поэма носила мемуарный характер, в ней были даны картины быта Москвы 1840-х гг. и жизни московских кружков того времени и имели место выпады в адрес демократической критики. Поэма Полонского вызвала резкие полемические отклики в демократических журналах этого времени. В частности, резкий отзыв о «Свежем предании» и меткую пародию на него дал поэт-сатирик Д. Д. Минаев в «Дневнике Темного человека» («Русское слово», 1861, кн. 7).

[2] *А Витгенштейн!* — Флигель-адъютант князь Витгенштейн в «Кавалерийских очерках», напечатанных в марте 1862 г. в «Военном сборнике», выступил с защитой необходимости телесных наказаний солдат. Это вызвало протест ста шести офицеров, опубликованный в тогдашней печати. — *А Юркевич с его энергическими мотивами жизни!* — Реакционер П. Юркевич в своей «Заметке», опубликованной в Киеве в 1860 г., защищая применение розог, писал между прочим о том, что жизнь «нуждается в основах и мотивах более энергических, нежели отвлеченные понятия науки».

[3] *Один пишет о какой-нибудь черниговской гривне...* — Черниговская гривна — одна из разновидностей древнерусской гривны, слитка серебра, служившего денежной и весовой единицей. Упоминая об ученом, пишущем о черниговской гривне, Писарев имеет, очевидно, в виду одного из своих учителей по университету, филолога И. И. Срезневского, среди многочисленных работ которого есть и несколько посвященных древнерусским деньгам (одна из них была опубликована в 1860 г. в газете «С.-Петербургские ведомости»). На Срезневского же указывают и другие названные здесь темы статей.

[4] *Правду же говорил об вас Чернышевский, что вы очень несообразительны.* — Писарев имеет в виду статью Чернышевского «Полемические красоты. Коллекция вторая» (1861), где, иронизируя над филологом Ф. Буслаевым и критиком С. Дудышкиным, Чернышевский высмеивал их недогадливость.

[5] *Почва, народная подоплека* — выражения, характерные для славянофилов и близких к ним писателей (например, сотрудников журнала «Время»). Эти выражения были связаны с реакционными представлениями о народности у этих авторов.

[6] *Вестфальский мир* между правительствами Германской империи, Франции и Швеции положил конец Тридцатилетней войне 1618—1648 гг. — *Битва при Белой горе* — крупнейшее сражение периода Тридцатилетней войны под Прагой 8 ноября 1620 г. между чешскими патриотами и войсками католической лиги — имперско-баварской армии, закончившееся поражением чехов и приведшее к потере независимости Чехии.

[7] *Империей негров-ашантиев* Писарев называет сильное независимое государство, созданное африканскими племенами ашанти на Золотом Берегу (Зап. Африка) в конце XVII — начале XVIII в.; в течение почти всего XIX в. ашанти успешно отстаивали свою независимость, оказывая упорное сопротивление войскам английских колонизаторов.

[8] *Четыре многознаменательные исторические эпизода* — английская буржуазная революция 1640—1660 гг., в ходе которой был свергнут с престола и казнен король Карл I (1649 г.); государственный переворот 1688 г. в Англии, в результате которого был низложен последний король из династии Стюартов — Яков II; Июльская революция 1830 г. во Франции, свергнувшая Карла X, последнего короля из династии Бурбонов; Февральская революция 1848 г., покончившая с Июльской монархией и вынудившая бежать за границу короля Луи-Филиппа.

[9] *Паншин* — персонаж из романа Тургенева «Дворянское гнездо».

[10] Имеется в виду статья Белинского, написанная по поводу издания «Деяний Петра Великого» И. Голикова, «Истории Петра Великого» В. Бергмана и «О России в царствование Алексея Михайловича» Г. Котошихина

(см. В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, М. 1954, стр. 91—152).

[11] *Созрели ли мы или не созрели... вопрос, которого разрешение надо предоставить г. Е. Ламанскому или г. Погодину...* — В связи с полемикой, возникшей в 1859 г. в русской журналистике по поводу деятельности «Русского общества пароходства и торговли», в Петербурге в зале Пассажа состоялся 13 декабря 1859 г. диспут между некиим Н. П. Перрозио, критиковавшим плохое ведение дел Обществом, и И. А. Смирновым, оправдывавшим правление Общества. На этом диспуте специалист по финансовым вопросам Е. И. Ламанский, который вел диспут, сказал, закрывая заседание ввиду возникшего на нем скандала, что «мы еще не созрели» для публичного обсуждения общественных вопросов. Позднее, на диспуте с Н. И. Костомаровым (см. прим. 2 к статье «Схоластика XIX века», т. 1 данн. изд.), М. П. Погодин, начиная свое выступление, в пику Ламанскому заявил, что большой интерес публики к диспуту на тему о происхождении Руси служит указанием на то, что «мы созрели для рассуждения, для участия в вопросах для нас важных и нужных, теоретических и практических». Оба эти эпизода неоднократно служили предметом осмеяния в демократической журналистике.

[12] Цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России». Введение ее в текст статьи там, где Писарев говорит о том, что «мужики повеселели» при опубликовании манифеста 19 февраля, если принять во внимание отношение Писарева к этому стихотворению как к проявлению «казенного патриотизма» (см. выше в тексте статьи ироническое упоминание о нем), очевидно призвано подчеркнуть, что строки о «повеселевших мужиках» имеют здесь официальный характер и рассчитаны на ослабление бдительности цензуры.

[13] Статья славянофила К. С. Аксакова «О богатырях времен Владимира по русским песням» была опубликована в т. I посмертного издания его сочинений в 1861 г.

[14] *В предыдущей статье*, т. е. в первой половине этой статьи, напечатанной в кн. 4 журнала «Русское слово» за 1862 г.

[15] *...сходятся... с каким-нибудь негодяем Фиц-Гугом...*—Джордж Фиц-Гуг, американский плантатор из южного штата Виргиния, апологет рабства, накануне гражданской войны 1860-х гг. утверждал, что негры — «счастливейшие и в некоторых отношениях свободнейшие люди в мире». Он же предлагал обращать в рабство не только негров, но и бедных иммигрантов ирландского и германского происхождения.

[16] *Димиург* — см. прим. 1 к статье «Идеализм Платона» (т. 1 данн. изд.).

[17] *Lettres de cachet* (летр де каше) — закрытые записки короля, заключавшие приказание о ссылке и заключении без суда; были при Людовике XIV распространенной формой расправы королевской власти над неугодными ей лицами. Эти бланки приказов за подписью короля раздавались иногда его приближенным незаполненными, что открывало для них возможность по произволу отправить под арест неугодных им лиц.

[18] *Неделимое* — см. прим. 7 к статье «Идеализм Платона» (т. 1 данн. изд.).

[19] Несколько измененный стих из стихотворения Державина «Памятник».

[20] *...Щебальский, открывший... что донос в характере русского народа...*— Реакционный историк П. К. Щебальский писал в «Чертах из народной жизни

в XVIII веке» («Отечественные записки», 1861, кн. 10): «Страсть или привычка к доносам есть одна из самых выдающихся сторон характера наших предков. Донос существует в народных нравах и в законодательстве». Эти утверждения носили столь скандальный характер, что даже сама редакция «Отечественных записок» в следующей книжке журнала («Современная хроника» С. С. Дудышкина) поспешила отмежеваться от них.

[21] «*Le Nord*» («Норд») — газета на французском языке, издававшаяся в Брюсселе с 1857 г. на субсидии русского правительства в качестве официозного органа с целью оправдать перед западноевропейскими читателями политику русского царизма.

ПЧЕЛЫ

Впервые опубликована в ч. 9 первого издания сочинений (1868 г.), по тексту которого и воспроизводится здесь. В первом издании датирована 1862 г. Рукописи статьи не сохранилось. Отсутствуют и какие-либо другие сведения о времени и условиях работы над ней. В частности, неясно, была ли работа над статьей прервана самим автором, или конец статьи был опущен из опасений цензуры, или, наконец, многозначительное многоточие вслед за картиной начинающихся волнений рабочих пчел является своеобразным приемом эзоповского письма.

Внешней канвой для этой статьи послужило изложение очерка «Bienenstaat» («Государство пчел») из книги К. Фохта «Altes und Neues aus Tier- und Menschenleben» («Старое и новое из жизни животных и людей»), т. I, Франкфурт-на-Майне 1859. Сочинение Фохта представляет, так же как и статья Писарева, политический памфлет в форме научно-популярного очерка о жизни пчелиного улья. Но сходство памфлета Писарева с памфлетом Фохта достаточно внешнее. Воспользовавшись общим замыслом Фохта и отдельными деталями его описания пчелиного улья, Писарев создал оригинальное произведение, отличающееся большой политической остротой.

Памфлет Фохта был написан им в 1850 г. в Швейцарии, куда он бежал из Пруссии после поражения революции 1848—1849 гг., во время которой он являлся одним из «викариев империи», избранных буржуазным «охвостьем» Франкфуртского парламента. Памфлет имел в виду специально прусские дела. Это были запоздалые инвективы обанкротившегося в ходе революционных событий 1848—1849 гг. «радикала» в адрес конституционной прусской монархии. Но Фохт вместе с тем нарисовал здесь довольно живую картину жизни пчелиного улья, постоянно проводя при этом аналогии между устройством пчелиного улья и конституционной монархии. Этим и привлек Писарева очерк Фохта. Писарев при этом коренным образом переработал все изложение, сильно сократив его и отбросив все, что касалось специально прусских дел. Сохранилась лишь общая канва рассказа о жизни пчелиного улья, об отношениях между тремя его «кастами» и об основных событиях в жизни пчелиного улья. В кратком изложении Писарева этот рассказ стал несравненно более выпуклым, энергичным, более сатирически заостренным. Перевод отдельных мест, касающихся, например, описания организма пчелы и т. д., совершенно свободный. Характерно, что Писарев отбрасывает при этом те

рассуждения Фохта, в которых последний стремится доказать, что законы животного мира могут быть перенесены на человеческое общество и служить к объяснению его истории. Вступление к статье и отдельные характерные эпизоды,например яркая критика мальтузианских выводов книги Дж. Ст. Милля «О свободе», были введены Писаревым. Но еще более важно то, что, свободно воспользовавшись сюжетом Фохта, Писарев придал своему очерку особенную политическую остроту, превратил его в яркий и остроумный памфлет, обобщенно передающий картину социальных противоречий и конфликтов в обществе, разделенном на враждебные классы. Этой силы социального обличения общества, покоящегося на эксплуатации, не имел и не мог иметь памфлет Фохта. В обстановке классовой борьбы в России 1860-х гг. памфлет Писарева, — дающий сатирические образы трутней и развращенной матки-царицы, проникнутый глубоким сочувствием к рабочим пчелам, которые задавлены работой и темнотой, царящей в улье, но начинают волноваться при проникновении в улей «луча света», — звучал глубоко актуально и явился прекрасным образцом революционной демократической пропаганды.

[1] Книга английского буржуазного философа-позитивиста Дж. Ст. Милля «On liberty» («О свободе»), провозглашавшая полную свободу для эксплуататоров-буржуа, вместе с тем проводила реакционные мальтузианские взгляды и оправдывала право государства на ограничение личной свободы граждан в интересах господствующего капиталистического строя.

[2] *Липпе-Шаумбург, Гогенцоллерн-Зигмаринген* — названия ничтожных по размерам феодальных княжеств, обладавших формальной самостоятельностью и входивших в Германский союз до воссоединения Германии в 1860-х гг.

[3] *Медея* — по древнегреческому сказанию, дочь колхидского царя, волшебница. Помогла Язону овладеть золотым руном и вышла за него замуж. Когда Язон предпочел ей впоследствии другую женщину, Медея умертвила свою соперницу, послав ей отравленную одежду. Потом Медея убила и своих детей от Язона.

[4] *Олений парк* — часть дворцового королевского парка в Версале; здесь находился уединенный домик, где король устраивал свидания со своими любовницами.

⟨О БРОШЮРЕ ШЕДО-ФЕРРОТИ⟩

Впервые опубликована с цензурными искажениями и сокращениями в статье М. К. Лемке о процессе Писарева («Былое», 1906, № 2) и вслед за тем в его книге «Политические процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского» (СПб., 1907).

Полностью статья Писарева была опубликована М. К. Лемке в его комментариях к т. XV Полного собрания сочинений А. И. Герцена, П. 1920, стр. 83—90, а затем в его книге «Политические процессы в России 1860-х гг. (по архивным документам)», изд. 2, М.—П. 1923, стр. 539—547. В этих публикациях имели место, однако, отдельные неточности в воспроизведении текста статьи (пропуски и замены слов, стилистические изменения и т. п.). Меньше этих неточностей в тексте, приведенном в т. XV Полного собрания

сочинений А. И. Герцена, больше — в книге «Политические процессы в России 1860-х гг.».

Автограф статьи в настоящее время находится в Центральном государственном историческом архиве в Москве в хранящемся там деле: «Производство учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии о бывшем студенте С.-Петербургского университета Петре Баллоде, кандидате того же университета Дмитрии Писареве, бывших: студенте Василии Лобанове, вольнослушателе Евгении Печаткине, губернском секретаре Николае Жуковском, уфимском судебном следователе Владимире Жуковском, неслужащем дворянине Василии Жуковском и бывшем студенте здешнего университета Павле Машкулове», ч. 1, 1862 г. (Фонд 112 Особого присутствия правительствующего сената, № 21). Автограф статьи Писарева составляет лл. 130—136 этого дела. На полях листов автографа имеется надпись, сделанная Писаревым, об ознакомлении его с предъявленной ему в ходе следствия рукописью. На последнем листе — подпись Писарева и поставленная его же рукою дата: «6 июля 1862 г.», также относящиеся ко времени следствия по его делу.

В автографе статья не имеет названия; без названия воспроизводил ее и М. К. Лемке. При позднейших ее публикациях в отдельных изданиях сочинений Д. И. Писарева, а также при ссылках на нее в ряде работ о Писареве статья получила название: «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти». В действительности это название имела отпечатанная в марте 1862 г. в подпольной типографии Баллода небольшая прокламация, написанная на ту же тему о брошюре Шедо-Ферроти П. С. Мошкаловым. Вряд ли Писарев предполагал назвать свою статью, написанную в июне 1862 г., так, как уже была названа прокламация, распространенная ранее (см. об этом подробнее в заметке Б. П. Козьмина «Писал ли Д. И. Писарев статью под названием «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти»?» — «Известия Академии наук СССР. Серия истории и философии», т. VIII, № 4 (1951), стр. 364 — 365). Следует, однако, отметить, что уже в ходе судебного разбирательства в сенате дела о подпольной типографии Баллода имело место механическое перенесение названия прокламации Мошкалова на статью Писарева, и под названием «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти» последняя иногда упоминается в вопросах членов суда (напр., на л. 331 об. т. IV дела «О студентах Баллоде, Рымаренко, Ольшевском и др., судимых за печатание и распространение неблагонамеренных воззваний», хранящегося в Центральном государственном историческом архиве в Москве).

В настоящем издании статья воспроизводится с исправлением всех неточностей, допущенных ранее в публикациях Лемке, по автографу под условным наименованием, данным ей редакцией данного издания.

История статьи подробно рассказана в указанной выше книге Лемке (см. гл. IV, «Дело «Карманной типографии» и Д. И. Писарева»). Непосредственным поводом для написания статьи послужило появление брошюры, направленной против А. И. Герцена и подписанной Шедо-Ферроти. Шедо-Ферроти — псевдоним барона Ф. И. Фиркса, бывшего агентом царского правительства в Бельгии. Две брошюры Фиркса против Герцена были составлены

им по указанию петербургских бюрократических кругов и носили клеветнический характер. Вторая брошюра Шедо-Ферроти была издана в декабре 1861 г. в Берлине на французском и русском языках за счет царского правительства и допущена к распространению в России, несмотря на то, что имя Герцена было запрещено цензурой упоминать на страницах печати. Эта брошюрка «Письмо А. И. Герцена к русскому послу в Лондоне с ответом и некоторыми примечаниями» была написана по поводу статьи Герцена, напечатанной в «Колоколе» (распространенной также и отдельными оттисками), «Бруты и Кассии III отделения». Статья Герцена, представлявшая собою открытое письмо русскому посланнику в Лондоне барону Бруннову, разоблачала инспирированную царским правительством травлю и запугивание Герцена путем посылки к нему анонимных писем с угрозами. Царское правительство занималось поисками средств к тому, чтобы прекратить деятельность Герцена. Шедо-Ферроти во второй брошюре пытался изобразить Герцена в смешном и унизительном виде. Те, кто инспирировал Фиркса, надеялись с помощью грязной книжонки наемного агента подорвать авторитет Герцена и запятнать его имя.

Появление этой брошюры Шедо-Ферроти в России вызвало резкую реакцию со стороны революционно настроенной интеллигенции. В марте 1862 г. в нелегальной типографии П. Баллода была напечатана небольшая прокламация под названием «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти», написанная студентом П. С. Мошкаловым. В июне того же года Баллод получил для напечатания в своей типографии и статью Писарева против Шедо-Ферроти. На другой день после того, как Писарев принес Баллоду последние страницы своей статьи, тот был арестован. На допросе Баллод признался, что автором захваченной у него статьи является Писарев. Писарев был немедленно арестован и в начале июля заключен в Петропавловскую крепость. Во время следствия Писарев, после долгого запирательства, признался, что он является автором статьи, и так охарактеризовал обстоятельства, которые вызвали статью: «Статья эта, как и большая часть моих журнальных статей, писана без черновой, прямо набело, под впечатлением минуты. А впечатления эти были: закрытие воскресных школ и читален, закрытие Шахматного клуба, приостановление журналов «Современник» и «Русское слово», упразднение II отделения Литературного фонда. Все это волновало меня и отражалось на моей статье» (М. К. Л е м к е, Политические процессы в России 1860-х гг., изд.2-е, 1923, стр. 562). Таким образом, статья Писарева была вызвана не только публичным поношением Герцена со стороны платного агента царского правительства, но всеми событиями начавшегося наступления реакции на революционную демократию.

Это и ярчайший памфлет, разоблачающий клеветника Фиркса и те реакционные силы, которые стояли за его спиною, и революционная прокламация, открыто призывающая к выступлению против самодержавия, раскрывающая гнилость политического режима в стране и выражающая протест против подавления демократического движения и расправы над его участниками.

Статья Писарева является одним из замечательных документов революционной литературы 1860-х гг. Писарев поплатился за нее четырьмя годами заключения в Петропавловской крепости.

Долгое время он находился там в одиночной камере в качестве подследственного, а по утвержденному осенью 1864 г. царем постановлению особого присутствия сената был приговорен к двум годам и восьми месяцам заключения. Из крепости Писарев был освобожден лишь в ноябре 1866 г.

[1] *...ссылать Михайлова и Павлова...* — Выдающийся революционер, поэт и журналист М. Л. Михайлов был арестован в сентябре 1861 г. за распространение прокламации «К молодому поколению». По приговору сената, после совершения над ним так называемой «гражданской казни», Михайлов был сослан на каторжные работы в Восточную Сибирь. Находясь в крайне жестоких условиях царской каторги, Михайлов погиб в 1865 г. — П. Н. Павлов, профессор истории Петербургского университета, был выслан в Ветлугу с запрещением читать публичные лекции за произнесенную им 2 марта 1862 г. публичную речь по поводу тысячелетия России. В этой речи либеральный профессор призывал правительство к объединению с народом. Дело Павлова вызвало широкий отклик среди передовой интеллигенции, выражавшей свое сочувствие сосланному профессору.

В ходе следствия по делу о типографии Баллода Писарев, между прочим, показывал, что он принял участие в хлопотах, которые предприняла редакция «Русского слова» для того, чтобы речь Павлова была напечатана в этом журнале (см. М. К. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.—П. 1923, стр. 565—566). Однако цензура не разрешила опубликовать речь Павлова в «Русском слове».

[2] *Студенту Лебедеву проломили голову...* — Лебедев Владимир Александрович учился в Петербургском университете в одно время с Писаревым. Участвовал в студенческих волнениях в октябре 1861 г. При аресте студентов солдат нанес Лебедеву сильный удар прикладом по голове. Лебедев был арестован и просидел в крепости до декабря 1861 г. В 1866 г. Лебедев привлекался по делу Каракозова.

[3] *Валуев и Никитенко сооружают газету с либеральным направлением...* — Граф П. Валуев, министр внутренних дел с 1861 г., пытавшийся проводить политику «бюрократического либерализма» и лавирования в борьбе с демократическим движением, организовал в 1862 г. газету «Северная почта», орган министерства внутренних дел. А. Никитенко, профессор Петербургского университета и цензор, враждебно относившийся к демократии, был редактором этой газеты.

[4] Министр народного просвещения Головнин в своем секретном циркуляре Петербургскому цензурному комитету от 1 января 1862 г. предписал при рассмотрении статей, заключающих в себе возражения против мнений Чичерина, не пропускать в этих статьях «ничего оскорбительного для личности г. Чичерина». Б. Н. Чичерин выступал в 1862 г. в реакционно-охранительной газете Н. Ф. Павлова «Наше время» со статьями, проповедовавшими реакционные взгляды и направленными против революционно-демократического движения.

[5] *«Голоса из России»* — непериодические сборники материалов, поступавших от русских корреспондентов Герцена, выходившие в Вольной типографии Герцена и Огарева с 1857 г. В эти сборники включались те корреспон-

денции из России, в которых взгляды их авторов не совпадали с убеждениями самого Герцена и за помещение которых Герцен не мог и не хотел брать на себя ответственности. — «*Под суд*» — приложение к газете Герцена «Колокол», выходившее в 1859—1862 гг. В этом приложении систематически разоблачались злоупотребления и произвол царских властей и помещиков.

[6] Активный участник революционно-демократического движения 1860-х гг., В. А. Обручев был арестован за распространение прокламации «Великорусс» в 1861 г. и приговорен к каторжным работам на три года.

[7] М. А. Бакунин, арестованный в Саксонии за участие в дрезденском восстании 1849 г., был позднее выдан саксонским правительством австрийскому, а последнее выдало его в 1851 г. царскому правительству. В 1861 г. Бакунин бежал из Сибири за границу.

[8] О деле поручика Александрова рассказывала одна из прокламаций 1862 г. Получив телеграфный приказ из Петербурга с требованием расправы над ожидавшейся демонстрацией в Варшаве, Александров передал наместнику в Варшаве графу Лидерсу, что приказано якобы «действовать увещаниями». За это Александров был приговорен к расстрелу, замененному бессрочной каторгой.

[9] *Кровь поляков...* — Речь идет о расправе с демонстрантами в Варшаве в феврале и апреле 1861 г. — *...кровь мученика Антона Петрова...* — Антон Петров — крестьянин села Бездна Казанской губернии, где под его руководством произошло крупное восстание крестьян в связи с объявлением манифеста об освобождении крестьян. Царские войска под начальством свитского генерала графа Апраксина 12 апреля 1861 г. жестоко расправились с крестьянами. Антон Петров был расстрелян 19 апреля 1861 г. Бездинская трагедия вызвала сильный отклик в передовых кругах русского общества.

[10] *Истории со студентами* — студенческие волнения осенью 1861 г. в Петербурге и Москве. Особенно крупными были волнения студентов Петербургского университета. Волнения сопровождались уличными демонстрациями студентов и расправой над участниками этих демонстраций. Несколько сот студентов было арестовано. Герцен в «Колоколе» отозвался на расправу со студентами Москвы и Петербурга заметкой «Третья кровь!».

[11] Писарев здесь использует меткое наименование известной статьи Герцена «Бруты и Кассии III отделения», опубликованной в «Колоколе» (октябрь 1861 г.) в виде открытого письма русскому послу в Лондоне барону Ф. Бруннову.

[12] *Спадассины* (франц. spadassin) — наемные убийцы.

[13] *Придравшись к двум-трем случайным пожарам...* — В мае 1862 г. в Петербурге случились большие пожары. Царское правительство, провокационно обвинив в поджигательстве поляков и «нигилистов», воспользовалось этим предлогом для расправы с участниками революционного движения. Реакционная печать всячески раздувала слухи о «поджигателях» из среды революционной молодежи.

[14] *...два журнала закрыты...* — С июня 1862 г. правительством были приостановлены журналы «Современник» и «Русское слово» — органы демократической печати; выход их возобновился лишь с начала 1863 г.

НАША УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1863, кн. 7 и 8. Затем вошла в ч. 5 первого издания сочинений (1866 г.). Между журнальным текстом и текстом первого издания имеют место незначительные расхождения. Так, в гл. XI второй части статьи («Общее образование»), после предложения: «Кроме того, поступить в вольные слушатели значит также потерять несколько времени на размышление и попытки, а молодость торопится жить» (см. стр. 218), в журнальном тексте следовало еще: «Поступить в вольные слушатели значит на несколько времени отказаться от студенческой формы, а эта форма так обаятельна... Все это мелкие побуждения, но они действуют». В той же главе в фразе: «Все предрассудки общества поддерживают права, дипломы, экзамены, студенчество, носящее форму и распределенное по факультетам» в первом издании были исключены слова, набранные здесь разрядкой. Кроме того, в «Русском слове» отсутствует подзаголовок первой части статьи («Университет»). В конце статьи в «Русском слове» поставлена более точная дата: «1863 г. 24 июня». Здесь статья воспроизводится по тексту первого издания с исправлением мелких его погрешностей по тексту журнала.

Писарев работал над статьей, находясь в заключении в Петропавловской крепости. История написания и опубликования статьи кратко освещена в книге М. К. Лемке «Политические процессы в России 1860-х гг.» (изд. 2-е, М.—Л. 1923, стр. 575—576). В начале июня мать Писарева обратилась с просьбой к петербургскому генерал-губернатору о разрешении Писареву заниматься литературной деятельностью. Эти хлопоты увенчались успехом, и, по свидетельству Лемке, Писарев с 10—12 июля «принялся за лихорадочное писание». 30 июля генерал-губернатор Суворов «представил сенату первую готовую работу — «Наша университетская наука» — и запрашивал, не встречается ли по обстоятельствам дела препятствий к ее напечатанию. Сенат препятствий не встретил, статья была возвращена Суворову, а им направлена к министру внутренних дел, ведавшему цензурой. Затем она прошла обычным порядком и появилась в «Русском слове» (Лемке, указ. соч., стр. 576). Между датировкой этой статьи в журнале и в первом издании и теми сведениями о времени написания ее, которые дает Лемке, имеется расхождение на месяц. Цензурное разрешение на выпуск июльской книжки журнала, где была помещена первая часть статьи, помечено 30 августа 1863 г. Так возобновилось сотрудничество Писарева в «Русском слове», которое начало вновь выходить с февраля 1863 г. Редакция журнала придавала большое значение возобновлению сотрудничества Писарева и данной его статье. Статья Писарева открывала седьмую и восьмую книги журнала.

[1] *Асклепиадовские размеры* — особая разновидность стиха в античной метрике, названная по имени древнегреческого поэта Асклепиада Самосского (III в. до н. э.); асклепиадовскими размерами широко пользовался римский поэт Гораций в своих одах.

[2] *Известные исторические произведения гг. Смарагдова, Зуева и Устрялова* — учебники по всеобщей и русской истории, принадлежащие указанным авторам. Лишенные каких-либо научных достоинств, реакционные по своему

направлению и догматические по изложению, они были обязательными для гимназий в середине XIX в.

[3] *педагоги набрасывали завесу на последние события XVIII столетия...* — Писарев намекает здесь на события французской буржуазной революции 1789—1794 гг., изложение которых не допускалось программами истории в царской гимназии его времени.

[4] *Сандрильона* — имя героини в известной сказке Перро (в русских переводах «Золушка»), не любимой своими родными и вышедшей замуж за принца.

[5] *Боско* и *Пинети* — имена двух итальянских фокусников, выступавших в 1850—1860-х гг. в России; *собрание сочинений Боско и Пинети* — здесь иронически в смысле: «всякие фокусы».

[6] *Кифа Мокиевич* — см. прим. 71 к статье «Схоластика XIX века» (т. 1 данн. изд.).

[7] *Ситников* — персонаж из «Отцов и детей» Тургенева.

[8] *Натуралисты наши, последователи Мильн-Эдвардса и Катрфажа, до сих пор любуются жизненною силою...* — Речь идет о двух французских биологах-идеалистах и об их русских последователях, противниках эволюционного учения.— *Жизненная сила* — по реакционному учению виталистов — лежащая вне материи, непознаваемая причина процессов, протекающих в животном организме.

[9] *Попавши в общество студентов-филологов...* — В университете Писарев был близок к кружку филологов, в который входили будущий литературовед Л. Н. Майков, Н. А. Трескин, П. Н. Полевой, А. М. Скабичевский. Участники этого кружка были далеки от политики, общественных интересов; их исключительно занимали специальные вопросы истории, филологии, эстетики, рассматриваемые с идеалистических позиций. В связи с общим подъемом студенческого движения Писарев в дальнейшем отошел от этого кружка.

[10] *Гриммовский метод.* — Имеется в виду сравнительно-исторический метод исследования родственных языков, как он применялся известным немецким филологом Я. Гриммом.

[11] *...о родовом и общинном строе толковали...* — Споры о родовом и общинном быте в 1850-х гг. велись между славянофилами и рядом либерально-дворянских публицистов и историков. Славянофилы отстаивали исконность общинного устройства у славянских народов. К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, а также известный историк С. М. Соловьев вели историческое развитие общества от родового устройства, рассматривая государство как позднейшее объединение родов с княжеским родом во главе.

[12] Под вымышленным именем *Креозотова* выведен у Писарева М. И. Касторский (1809—1866), профессор Петербургского университета, монархист по убеждениям; как ученый был совершенно незначителен.

[13] *Камералисты* — студенты камерального факультета, бывшего во время Писарева в Петербургском университете; камеральные науки — устарелое название наук, посвященных изучению народного хозяйства.

[14] *...исторические сочинения Грота (не того, который пишет в «Русском вестнике»)...* — Каламбур по поводу Грота имеет в виду двух никак не связанных между собою лиц: Грот Георг (1794—1871) — английский историк XIX в., автор большого труда по истории Греции; Грот Яков Карлович (1812—

1893) — русский филолог, академик и умеренно-либеральный буржуазный публицист; в 60-х гг. сотрудничал в журнале М. Каткова «Русский вестник». С ним Писарев полемизировал в статье «Московские мыслители».

[15] Под характерным именем *Кавыляева* Писарев вывел Н. Д. Астафьева (1825—1906), мистика и пиетиста, читавшего в Петербургском университете в 1855 г. ряд курсов по истории. Астафьев был хромым, на что и намекает данное здесь Писаревым прозвище.

[16] *Доктринеры* — сторонники консервативно-буржуазной партии во Франции эпохи Реставрации (1820—1830 гг.), представлявшей интересы французской крупной буржуазии. Гизо был одним из руководителей и идеологов доктринеров.

[17] *Иронианский.* — Под этой фамилией выведен М. М. Стасюлевич (1826—1911), профессор всеобщей истории в Петербургском университете. В 1861 г. после студенческих беспорядков в числе пяти профессоров ушел из университета. С 1866 г. был редактором-издателем «Вестника Европы» — журнала буржуазно-либерального направления.

[18] Имеется в виду книга профессора Московского университета Г. В. Вызинского «Англия в XVIII столетии», вышедшая в 1860 г.

[19] Имеется в виду работа М. Стасюлевича, опубликованная в «Журнале министерства народного просвещения», 1856, кн. 4—6, под названием «Александр Авонотихит и его время (историческое исследование эпохи падения язычества при цезарях дома Антонинов)».

[20] В образе *Телицына* Писарев вывел профессора, затем академика, историка русской литературы М. И. Сухомлинова (1828—1901). В течение многих лет (с 1852 по 1858; затем снова — после заграничной командировки — с 1860 г.) был профессором Петербургского университета. В 1850—1860-х гг. читал курсы по истории литературы и по общему языкознанию. Наиболее крупные работы Сухомлинова отличаются богатством фактического материала и тщательностью выполнения, но страдают эмпиризмом и общей идеалистической направленностью. В политическом отношении Сухомлинов был умеренным буржуазным либералом.

[21] *...открытие Востокова о юсах...* — Выдающийся русский филолог А. Х. Востоков открыл, что употреблявшиеся в древних славянских рукописях буквы юс большой и юс малый передавали особые гласные носовые звуки, существовавшие в старославянском языке. «Рассуждение о славянском языке» Востокова (1820), где было изложено это открытие, имело большое значение для развития сравнительно-исторического метода в языкознании.

[22] Книга немецкого историка литературы и философии Р. Гайма «Вильгельм фон Гумбольдт. Биография и характеристика» вышла на немецком языке в 1856 г.

[23] *Плинфоделание египетское* — т. е. тяжелая изнурительная работа, подобная подневольному труду рабов при сооружении в древнем Египте пирамид (плинфоделание — от греч. plinthos — кирпич; ср. выражения: египетский труд, египетская работа).

[24] Статья Писарева «Вильгельм Гумбольдт» опубликована в «Сборнике, издаваемом студентами Петербургского университета», вып. 2, СПб. 1860.

[25] Письма М. И. Сухомлинова из-за границы печатались в журнале Каткова «Русский вестник» в 1858—1859 гг. (о германских университетах говорилось в «Письме из-за границы» в кн. 9 «Русского вестника» за 1858 г.).

[26] *...журналисты наши, порывающиеся облобызать почву...* — Имеются в виду писатели, принадлежавшие к группе «почвенников», близкой к славянофильству (Ф. Достоевский, А. Григорьев и др.). В начале 1860-х гг. (1861—1863 гг.) их органом был журнал «Время». Говоря о необходимости опереться на народную «почву», эти писатели развивали реакционный взгляд на русский народ как «народ-богоносец», главную добродетель которого якобы составляет смирение и пр.

[27] *«Русский вестник»* — см. прим. 1 к статье «Схоластика XIX века» (т. 1 данн. изд.).

[28] *«Московские ведомости»* — одна из старейших русских газет; начала издаваться с 1756 г. при Московском университете; в 1850—1855 гг. газету редактировал М. Н. Катков; с 1863 г. он вновь стал арендатором-редактором газеты. При Каткове газета стала одним из реакционных органов, ведших ярёстную борьбу против революционных демократов. — *«Петербургские ведомости»* (точнее «Санктпетербургские ведомости») — старейшая русская газета; выходила с 1728 г. В 1850—1860 гг. в редактировании газеты принимал участие А. А. Краевский. С середины 1862 г. арендатором-редактором газеты стал В. Ф. Корш, публицист умеренно-либерального направления.

[29] *Краледворская рукопись* — подделка под памятник древней чешской письменности, принадлежавшая чешскому филологу, деятелю буржуазно-национального движения Вацлаву Ганке. В течение долгого времени в XIX в. многие ученые считали ее подлинной.

[30] *Спор о варягах* — спор, неоднократно возникавший в русской историографии со сторонниками антинаучной и реакционной «теории», согласно которой начало русскому государству якобы положили варяги-норманны. Решительным противником этой теории был еще Ломоносов. В 1860-х гг. эту теорию поддерживал М. Погодин (о споре М. Погодина с Н. Костомаровым по вопросу о варягах см. прим. 2 к статье «Схоластика XIX века», т. 1 данн. изд). Ученые-иностранцы Байер и Круг были в XVIII — начале XIX в. сторонниками норманизма.

[31] *М.* — ученый-славист В. В. Макушев (1837—1883), бывший товарищем Писарева по университету; автор ряда работ по истории южных славян.

[32] *Я — человек, и ничто человеческое* (мне не чуждо). — Известное изречение, принадлежащее древнеримскому драматургу Теренцию. Иронизируя над «всеславянским патриотизмом», Писарев имеет в виду идеи реакционного панславизма, культивировавшиеся славянофилами (К. и И. Аксаковы) и близкими к ним филологами-славистами (В. Ламанский и др.) еще в 1850-х гг., во время Крымской войны.

[33] Под именем *Сварожича* (от названия божества в славянской языческой мифологии — сына Сварога) изображен филолог, историк русского языка и славист И. И. Срезневский, бывший с 1848 г. до своей смерти в 1880 г. профессором Петербургского университета. В 1861 г. исполнял обязанности ректора университета. Видный ученый, много уделявший внимания подготовке опытных филологов из среды студентов, Срезневский в идейном отношении

был человеком консервативным; он был близок к славянофилам; как профессор и ректор университета во время студенческих волнений осенью 1861 г. заявил себя человеком уклончивым, не решившимся поддержать студентов.

[34] *...Ратацци был в 1862 году рабом своего министерского портфеля.* — Урбан Ратацци, итальянский буржуазно-либеральный политический деятель, неоднократно возглавлявший министерство Пьемонта, в 1862 г. вынужден был уйти в отставку, так как его противодействие походу Гарибальди на Рим и профранцузская политика вызвали протест в стране.

[35] *...мнения археологов о какой-нибудь черниговской гривне...* — см. прим. 3 к статье «Бедная русская мысль».

[36] Имеется в виду издававшийся В. Кремпиным «журнал наук, искусств и литературы для взрослых девиц» — «Рассвет».

[37] *Изделия г-жи Ишимовой* — два журнала — «Звездочка» (1845—1863) для детей и «Лучи» (1850—1860) для девиц, издававшиеся А. О. Ишимовой. Как эти журналы, так и произведения для детей, написанные самой Ишимовой, отличались консервативными идеями и религиозным морализированием.

[38] *Война «Современника» с серьезностью и бесцветностью других журналов...* — «Современник» в 1858 г. выступал с критикой ряда журналов реакционного и либерально-охранительного лагеря («Отечественных записок», «Библиотеки для чтения», «Экономического указателя» и др.). Важное значение в этой борьбе имела статья Н. А. Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года», опубликованная в кн. 1 «Современника» за 1859 г.

[39] На основе своей кандидатской диссертации Писарев подготовил статью «Аполлоний Тианский. Агония древнего римского общества в его политическом, нравственном и религиозном состоянии»; она была опубликована в журнале «Русское слово», 1861, кн. 6—8.

[40] *Они считали меня ренегатом, маленьким Брамбеусом...* — Барон Брамбеус — один из псевдонимов писателя и критика О. И. Сенковского, который был профессором восточных языков в Петербургском университете; с 1834 г., став редактором журнала «Библиотека для чтения», основное внимание уделял журналистской деятельности.

[41] *...аудитории (за исключением... одной костомаровской)...* — т. е. аудитории, где читал свои лекции известный историк Н. И. Костомаров. Его публичные лекции привлекали обширный круг слушателей не только из числа студентов Петербургского университета.

[42] *...если бы университет... не отогнал... непосвященную и не платящую чернь...* — Перефразируя выражение из оды Горация («Отойди, непосвященная чернь!»), Писарев указывает здесь на антидемократический, реакционный характер введенных в мае 1861 г. правил об освобождении студентов университета от платы за обучение. Согласно этим правилам, от платы за обучение могло быть освобождено не более двух студентов на каждую губернию, входившую в состав учебного округа. Так, по Петербургскому университету освобождалось от платы за обучение всего немногим более десяти студентов.

[43] *...Меттерних считал национальные стремления итальянцев предосудительным капризом...* — Меттерних, один из вдохновителей и руководителей так называемого «Священного союза», стоявший во главе австрийского ре-

акционного правительства до революции 1848 г., постоянно стремился подавить движение за воссоединение Италии и освобождение Северной Италии от австрийского гнета.

[44] *...с легкой руки «Русского вестника», за подобную диктовку хотела приняться Англия* — см. прим. 4 к статье «Схоластика XIX века» (т. 1 данн. изд.).

[45] *Македонская фаланга* — боевое построение тяжеловооруженных воинов сомкнутой линией из нескольких шеренг (общей численностью в 16—18 тысяч человек). Фаланга сыграла большую роль в завоевательных походах Александра Македонского. — *Преторианцами* называли в древнем Риме солдат особых привилегированных отрядов, находившихся при полководцах, а затем — при императорах. Особую роль преторианцы сыграли в период империи. Император Август учредил 9 преторианских когорт, по 1000 человек в каждой. С I в. н. э. преторианцы играли большую роль в дворцовых переворотах.

[46] Говоря иронически о том, что судить о постановке преподавания так называемого «закона божия» он предоставляет «специалистам», т. е. церковникам, Писарев в условиях подцензурной печати хочет указать на невозможность для него по существу высказаться об этом привилегированном «предмете» школы в царской России.

[47] *Геркулесовы столбы* — древнегреческое наименование Гибралтарского пролива.

[48] *Амфион* — по древнегреческой мифологии — сказочный музыкант, сын Зевса и Антиопы, воспитанный музами; он так хорошо играл на лире, что камни, сами собою складываясь, образовали стену вокруг города Фив.

[49] *Магабгарата* (Махабхарата) — замечательное произведение древнеиндийского эпоса, поэма в 18 книгах (около 200 тысяч стихов), приписывавшаяся, согласно индийской традиции, легендарному поэту Виасе. — *Сакунтала* (Шякунтала) — драма известного древнеиндийского писателя Калидасы, творчество которого относится приблизительно к IV—V вв. н. э.

[50] *В конце 1861 г. появилось много статей об университетах.* — В 1861 г. в связи со студенческим движением и демократическими требованиями реформы университетов вопрос об университетах усиленно обсуждался в печати. Реакционные публицисты использовали это для нападений на прогрессивные силы общества (см., напр., статью К. Охочекомонного (псевдоним Д. Щеглова) в журнале «Библиотека для чтения», кн. 12, 1861). В «Русском слове» (кн. 12 за 1861 г.) с яркой статьей «О значении университетов в системе народного воспитания» выступил Г. Е. Благосветлов. Здесь вопрос о роли университетов в системе образования ставился в прямую связь с требованием коренной перестройки университетского образования и изгнания из его программы всего отжившего, с требованием общего распространения просвещения в народе.

[51] *Волхвами и кудесниками московской журналистики* Писарев иронически называет здесь реакционного публициста Каткова и других сотрудников его журнала «Русский вестник», а также славянофилов, чьи периодические издания выходили в Москве.

[52] «Закон божий» здесь фигурирует, конечно, только по цензурным соображениям.

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ТРУДА

Первые двенадцать глав впервые опубликованы в журнале «Русское слово», 1863, кн. 9, где они датированы: «1863 года 23 августа». Остальные главы — в кн. 11—12 журнала в том же году с подзаголовком «статья вторая» и с особой нумерацией глав (I—XI). В конце второй статьи дата: «1863. 17 сентября». Затем «Очерки» вошли в ч. 7 первого издания сочинений (1866 г.). В первом издании под статьей общая дата: «1863 г. Сентябрь». В тексте гл. XII (второй абзац с начала главы) в первом издании по сравнению с текстом журнала имеется небольшой пропуск (отсутствуют слова, выделенные далее разрядкой): «Чем многолюднее общество, тем значительнее может быть разделение труда, тем беспрерывнее и быстрее может совершаться обмен услуг, тем деятельнее, умнее, богаче и свободнее может становиться человек, тем сильнее должны понижаться ценности предметов и тем сильнее должна возвышаться их польза». В гл. XIX в первом издании (см. в этом томе стр. 306) сравнительно с журналом имеет место смягчение текста. В «Русском слове» было: «Вот чего желают, вот о чем по крайней мере мечтают все капиталисты». В первом издании слово все заменено на: многие. И далее — во фразе: «К этой-то цели и направляются усилия всех капиталистов всех наций» в первом издании слова: «все капиталисты» были заменены на: «близорукие капиталисты». Остальные расхождения между текстом журнала и первого издания не существенны. Здесь статья воспроизводится по тексту первого издания, за исключением указанного места в гл. XIX, явно смягченного по цензурным соображениям в первом издании. По тексту журнала исправлены также отдельные мелкие погрешности, допущенные в первом издании.

Цензор, рассматривавший в 1866 г. ч. 7 первого издания после ее выхода, сделал следующее заключение: «Хотя... статья написана весьма умеренным тоном, но и в ней нельзя не заметить социалистических тенденций. Автор постоянно проводит ту мысль, что в основание всего человеческого общества, как древнего, так и нового, легло присвоение чужого труда, угнетение или эксплуатация слабых и бедных сильными и богатыми и что улучшения можно ждать не от улучшения религиозных или нравственных понятий, а от лучшего понятия людьми их собственных выгод» (цит. по статье В. Евгеньева-Максимова «Д. И. Писарев и охранители» — «Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 152). Это определило судьбу статьи при последующих ее перепечатках в шеститомном собрании сочинений Писарева (особенно в изданиях 1894 и 1897 гг., подвергшихся жестокой предварительной цензуре). Все наиболее острые места статьи, отмеченные цензором еще в 1866 г., в которых говорилось об антагонизме между трудом и капиталом, об эксплуатации трудящегося большинства, о противоречивом характере прогресса при капитализме и где подвергались уничтожающему разбору взгляды буржуазных экономистов — апологетов капиталистического строя, были в первых изданиях шеститомника исключены или искажены (особенно сильные цензурные пропуски или искажения имели место в гл. IV, VII, XII, XIV, XVI, XX, XXI; почти целиком была исключена цензурой последняя глава). Эти цензурные искажения были устранены лишь в пятом издании шеститомника, но и там статья

появилась под явно смягченным подцензурным заглавием «Зарождение культуры», как это имело место и в предшествующих изданиях шеститомника. История этой статьи дает один из наиболее ярких примеров преследования боевой публицистики Писарева со стороны царской цензуры.

[1] *...следующие очерки, излагающие идеи... Кэри...* — Ссылка на идеи американского экономиста Кэри, одного из типичных представителей вульгарной буржуазной политической экономии, апологета капитализма, имеет здесь определенное назначение: усыпить бдительность царской цензуры, выдав изложение собственных взглядов за пересказ Кэри, популярного в те годы среди русских реакционных и либеральных экономистов. На самом деле очерки Писарева, дающие яркую картину социального антагонизма в буржуазном обществе и направленные против эксплуатации человека человеком и против буржуазных экономистов, оправдывающих ее, не имеют в своей основе ничего общего с антинаучными реакционными утверждениями Кэри о «гармонии интересов» в буржуазном обществе, о том, что рабочий получает полностью при капитализме продукт своего труда и т. п.

[2] Ср. в стихотворной повести В. А. Жуковского «Пери и ангел»:

Однажды Пери молодая
У врат потерянного рая
Стояла в грустной тишине.
. . . .
И тихо плакала она
О том, что рая лишена.

[3] *Пандора* — в древнегреческой мифологии — первая женщина, созданная богом Гефестом; боги, наделив ее дарами, дали также ящик, заключавший несчастья людей. Открыв из любопытства ящик, Пандора выпустила на свет заключенные в нем беды. Таким образом выражение *ящик Пандоры* означает: источник всех несчастий.

[4] Наименования различных штатов на юге США. *Элебама* — в принятом теперь написании и произношении: Алабама.

[5] *Самнитские холмы.* — Самниум — гористая область в Италии, к северу от Кампании, в древности населенная сабинско-оскскими племенами. — *Вейи* — город этрусков севернее Рима. — *Альба-Лонга* — древний латинский город юго-восточнее Рима.

[6] *Цизальпинская Галлия* — часть древней Галлии, охватывающая территорию Северной Италии.

[7] *Виотия* (по иному, принятому теперь произношению: Беотия) — область в Средней Греции.

[8] Имеются в виду примечания к переводу кн. 1 «Оснований политической экономии» Милля, впервые опубликованные в «Современнике» за 1860 г. (кн. 2—12), а также «Очерки из политической экономии (по Миллю)» Чернышевского («Современник», 1861 г.). Критика антинаучной теории Мальтуса с особенной силою дана Чернышевским в «Замечаниях на последние четыре главы первой книги Милля» (см. Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. IX, М. 1949, стр. 251—334). К. Маркс, высоко оценивая

труд Чернышевского, писал, что Чернышевский мастерски выяснил здесь «банкротство «буржуазной» политической экономии» (К. М а р к с, Капитал, т. I, Госполитиздат, 1949, стр. 13).

[9] *Наши разноцветные публицисты* — представители либерально-охранительной журналистики, постоянно высказывавшие похвалы «политической мудрости» и буржуазному позитивизму Милля.

[10] О книге Дж. Ст. Милля «О свободе» см. прим. 1 к статье «Пчелы».

[11] *Тантал* — по древнегреческому мифу — фригийский царь, который, созвав на пир богов, угостил их мясом убитого им сына. В наказание за свое преступление Тантал должен был вечно стоять в воде, касаться губами спелых плодов, не имея возможности утолить свой голод и жажду.

[12] *Монастырь св. Бернарда* — на перевале через гору Сен-Бернар в Швейцарских Альпах; монахи этого монастыря должны были помогать путешественникам, находящимся в опасности. — *Туаз* — мера длины, принятая во Франции и Швейцарии, около сажени.

[13] *Аболиционист* — сторонник освобождения негров от рабства; движение аболиционизма возникло в конце XVIII в. в США, Франции и Англии; наибольшее развитие получило в США к 1860-м гг.

[14] *Такой случай произошел с Уильямом Пенном, с герцогом Иоркским, с Робертом Моррисом и с Голландскою поземельною компаниею.* — Английский квакер Уильям Пенн приобрел во второй половине XVII в. землю в Северной Америке между Мерилендом и Нью-Йорком и основал здесь колонию Пенсильванию. — Герцог Иоркский — брат английского короля Карла II, будущий король Яков II (1685—1688), которому Карл II подарил часть территории на побережье Северной Америки; герцог Иоркский вскоре продал часть этой территории другим лицам. — Роберт Моррис (1734—1806) — американский финансист и политический деятель, сторонник правого крыла движения за независимость, после окончания войны за независимость принялся за спекуляции землями на западе США, закончившиеся банкротством и тремя годами долговой тюрьмы. — Голландская поземельная компания — Голландская вестиндская компания, основанная в 1621 г. и производившая свои операции на берегах Америки; вскоре вошла в долги и прекратила свое существование.

[15] *То сей, то оный на бок гнется* — цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Ермак».

[16] Цитата из романа Тургенева «Отцы и дети» (разговор Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым из гл. X).

[17] *Конунг* — вождь племени у древних скандинавов. — *Шейк* (в принятом произношении и написании: шейх) — старшина арабского племени.

[18] *Ариман* — греческое наименование древнеперсидского бога Анхра-Майнью. Ариман — по мифологическим представлениям древних персов — носитель злого начала.

[19] *Фонтанель* — искусственный нарыв для оттягивания вредных соков.

[20] *Оберон* — по скандинавской мифологии — царь эльфов, муж *Титании*. Миф об Обероне и Титании неоднократно использовался в западноевропейском искусстве, в частности в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

[21] Имеется в виду гражданская война в США 1861—1865 гг.

[22] *Оптиматы* — в древнем Риме — аристократия, знать; здесь слово употреблено в расширительном смысле.

[23] *Ланкаширские работники сидят без дела вследствие недостатка хлопка...* — Гражданская война в США в 1861—1865 гг. вызвала кризис в хлопчатобумажной промышленности Англии из-за сокращения ввоза американского хлопка.

[24] *Сизиф* — по древнегреческому мифу — должен был, в наказание за свое распутство, вкатывать тяжелый камень на покатую гору, с вершины которой тот всякий раз скатывался обратно. Отсюда выражение: сизифов труд, т. е. тяжелый, но бесплодный.

[25] *Гвоздеобразные* (обычно: клинообразные) *надписи* — надписи особым клинообразным письмом, распространенным в древности на Ближнем Востоке (в Месопотамии, Персии).

[26] *Железная маска* — таинственный узник, содержавшийся в XVII в. в тюрьме Бастилии. Вопрос о его личности неоднократно обсуждался в литературе XVIII—XIX вв.

[27] *Мюнхенская глиптотека* — музей скульптуры в Мюнхене.

[28] *Парижский блузник* — парижский рабочий.

[29] *Кто следил за современными открытиями Армстронга и Уайтворта...* — Английскими конструкторами Армстронгом и Уайтвортом были изобретены различные системы нарезных пушек, заряжаемых с казенной части. Эти системы в конце 1850 — начале 1860-х гг. конкурировали одна с другою. — *«Мерримак» и «Монитор»* — броненосные суда, действовавшие в Америке во время гражданской войны 1861—1865 гг. «Мерримак» принадлежал южанам; в 1862 г. потопил в одном из боев два фрегата северян; во время атаки на третий фрегат был настигнут броненосцем северян «Монитором» и был вынужден отступить. Этот бой 9 марта 1862 г. оказал большое влияние на развитие броненосного флота.

[30] *Конскрипция* — система воинской повинности с допущением выкупа и заместительства. Система конскрипции была введена во Франции в 1798 г. и затем постоянно применялась Наполеоном I.

ЦВЕТЫ НЕВИННОГО ЮМОРА

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1864, кн. 2. Затем вошла в ч. 1 первого издания сочинений. Варианты этих публикаций несущественны. Здесь печатается по тексту первого издания с исправлением отдельных погрешностей по тексту «Русского слова».

Статья относится к самому началу длительной полемики между журналами «Современник» и «Русское слово». Для того чтобы был понятен этот резкий полемический выпад Писарева против Салтыкова-Щедрина, приведем здесь краткие данные о возникновении этой полемики, составившей важный эпизод в истории русской журналистики 1860-х гг.

Отдельные расхождения между критикой «Современника» и «Русского слова» наметились еще в 1861—1863 гг. Возражения Добролюбову в связи с истолкованием образа Инсарова из романа Тургенева «Накануне», которые

имели место в статье Писарева «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова», расхождение в оценке «Отцов и детей» и образа Базарова между критикой «Современника» и «Русского слова» — таковы наиболее значительные факты разногласий между критикой двух демократических журналов до начала открытой и резкой полемики.

Первый открытый полемический выпад был сделан в «Русском слове» его молодым сотрудником В. А. Зайцевым в фельетоне «Перлы и адаманты нашей журналистики» (1863, кн. 4). Упрекая редакцию «Современника» в отходе от традиций Чернышевского и Добролюбова, Зайцев прибегнул здесь и к личным нападкам на Щедрина. «Современник» ответил на это несколько месяцев спустя. В январской книжке журнала за 1864 г. очередной фельетон из серии «Наша общественная жизнь», принадлежащей Щедрину, содержал резкие выпады против «Русского слова», его редакции и основных сотрудников. В явно памфлетных тонах была дана здесь картина обеда у некоего мецената (намек на графа Кушелева-Безбородко). В персонажах этой сатирической сцены современный читатель мог легко распознать Благосветлова, Зайцева, Писарева. Но в фельетоне Щедрина дело не сводилось лишь к памфлету на редакцию «Русского слова». Щедрин выдвинул здесь более серьезное обвинение в «понижении тона», адресованное также и сотрудникам «Русского слова». Щедрин писал о тех, кто недооценивает значения «жизненных трепетаний» (на эзоповском языке Щедрина это означало: не заботится о сохранении революционно-демократических традиций), а возлагает все свои надежды на науку, которая «все даст со временем». «Что же касается до того, что она (наука. — *Ред.*) подстрекается «жизненными трепетаниями», — говорит у Щедрина выведенный здесь «кающийся нигилист», — то это положительный вздор, потому что наука отыскивает истину абсолютную, а «жизненные трепетания» все без изъятия основаны на вечном блуждании от одного призрака к другому» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VI, М. 1941, стр. 247). «Но послушайте, — замечает на это автор, — ведь вы рассуждаете уже слишком приблизительно к «Русскому вестнику». А «кающийся нигилист» отвечает: «Э, батюшка, все *там* будем!» За этим сатирическим диалогом и следовала сцена, где шаржированно изображена редакция «Русского слова». Таким образом, по отношению к кругу «Русского слова» выдвигалось по существу обвинение в уклонении от революционно-демократического пути к либерализму. К этому же сводились и встречные обвинения «Русского слова» в адрес «Современника», его редакции, его основных сотрудников.

Общей предпосылкой для возникновения этих взаимных обвинений и недоверия явилось трудное положение, которое переживала демократическая литература в эти годы — годы, когда революционная ситуация окончилась, не завершившись всеобщим демократическим выступлением против царизма, силы революционно-демократического движения были временно ослаблены, лишились своих основных идейных руководителей, а силы реакции усилили свое наступление. В этих условиях и явились мучительные поиски новых путей, приводившие к срывам и колебаниям у отдельных представителей демократического движения.

Проявились эти колебания и у сотрудников «Русского слова». Повод к обвинению «Русского слова» со стороны «Современника» в отходе от подлинных революционно-демократических традиций давали прежде всего отдельные выступления В. А. Зайцева. В рецензии на книгу Сориа «Общая история Италии с 1846 по 1850 год» («Русское слово», 1863, кн. 7) Зайцев подверг резкой критике реакционную политику буржуазии и осуждал тактику мелкобуржуазных демократов на Западе, способствовавшую поражению революции 1848 г. Но вместе с тем, оценивая опыт революционного движения в Италии, Зайцев высказывал здесь решительное сомнение в готовности народа к революции. Он полагал, что в таких условиях революционная интеллигенция может даже «действовать энергически» против народа, «потому что народ в таком состоянии, как в Италии, не может по неразвитию поступать сообразно со своими выгодами» (В. А. Зайцев, Избранные сочинения, т. I, М. 1934, стр. 96). Таким образом, Зайцев, не веря в непосредственную готовность народа к революции, выдвигал здесь тактику изолированных действий революционной интеллигенции. В статье «Белинский и Добролюбов», появившейся в кн. 1 «Русского слова» за 1864 г., Зайцев также призывал к пересмотру взглядов Добролюбова, упрекая его в идеализации крестьянства. Вместе с тем в ряде других статей и рецензий Зайцев особенно подчеркивал значение естественнонаучной пропаганды как важнейшего условия для формирования сознания новых кадров демократической интеллигенции. Характерно, что в своем фельетоне Щедрин наиболее резко выступает именно против Зайцева, именуя его взгляды «зайцевской хлыстовщиной».

Но отдельные колебания имели место в это время и у Писарева. В «Нашей университетской науке» проявились его иллюзии в отношении общественно-воспитательной роли естественных наук. В данной статье о Щедрине Писарев вновь подчеркнул особое значение естественнонаучной пропаганды, давая Щедрину иронический совет «бросить Глупов» и посвятить свой талант писанию естественнонаучных книжек. Характерны для статей Писарева этого времени и те иллюзии (впрочем, кратковременные), которые он питал насчет перерождения молодых и наиболее образованных представителей буржуазии с помощью их перевоспитания, распространения среди них «разумного мировоззрения», основанного на понимании истинных потребностей человеческой природы.

Таковы были идейные колебания, явившиеся в кругу «Русского слова» в связи с кризисом демократического движения после окончания революционной ситуации 1859—1861 гг. Но понятно, что резкие обвинения сотрудников «Русского слова» в ренегатстве, в забвении революционно-демократических традиций были несправедливы; они вызвали столь же резкие ответные обвинения «Современнику» со стороны «Русского слова».

Линия журнала «Современник» в эти годы тоже вызывала у авторов «Русского слова» сомнения в верности взглядам Чернышевского. Отдельные идейные колебания имели место в статьях таких сотрудников «Современника», как Г. З. Елисеев и М. А. Антонович. Что касается Салтыкова-Щедрина, то недоверчивое отношение к нему со стороны сотрудников «Русского слова» в известной мере определялось тем, что он был тогда еще новым человеком

в демократической журналистике; он стал постоянным сотрудником «Современника» лишь с 1862 г.

Статья Писарева писалась в январе 1864 г. и 27 января была передана в сенат для просмотра (см. М. К. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.—П. 1923, стр. 576). Однако в «Русское слово» она была направлена Писаревым лишь 15 февраля. Писарев был уже знаком с фельетоном Щедрина в январской книжке «Современника» перед тем, как статья «Цветы невинного юмора» пошла в печать, на что указывает примечание его в тексте статьи.

Резкое начало полемики определило грубые формы ведения ее и в дальнейшем. Статья Писарева необъективно и пристрастно расценивала произведения Щедрина. Сборники рассказов и очерков Щедрина, о которых говорится в ней («Невинные рассказы», «Сатиры в прозе»), представляли важный этап в его развитии. Писарев в своей статье проходит мимо идейно-художественных достижений этих циклов Щедрина. Он стремится наложить тень на общественный облик сатирика, представить в ложном свете его участие в прошлом в «Русском вестнике», его временную службу в качестве вице-губернатора, с тем чтобы изобразить Щедрина человеком беспринципным, случайным в революционно-демократическом лагере, низвести его до уровня ловкого и безидейного юмориста.

Позже Писарев к оценке Щедрина как писателя уже не обращался. Но характерно, что писаревская линия в отношении к сатире Щедрина нашла свое продолжение и позднее, в 1870-х гг., в статьях Н. В. Шелгунова («Горький смех — не легкий смех» — «Дело», 1876, кн. 1) и П. Н. Ткачева («Безобидная сатира» — «Дело», 1878, кн. 1). Однако в условиях дальнейшего расцвета сатирического творчества Щедрина эти запоздалые выпады уже не играли сколько-нибудь существенной роли и не могли повлиять на уже сложившееся отношение демократического читателя к произведениям любимого писателя.

Помимо статьи Писарева, в той же книжке «Русского слова» был напечатан фельетон Зайцева «Глуповцы, попавшие в «Современник», где имели место резкие обвинения Щедрина в расхождении с линией Чернышевского и Добролюбова и где он был назван «будирующим сановником». Щедрин ответил на это в очередном фельетоне «Наша общественная жизнь» в кн. 3 «Современника». Подтверждая брошенные им ранее обвинения, он характеризует здесь «Русское слово» как «невинный, но разухабистый орган невинной нигилистской ерунды», а его сотрудников и сочувствующих им «вислоухими» и «юродствующими», обвиняет их, иначе говоря, в непонимании и опошлении основных задач демократического движения. Ответом на этот второй фельетон Щедрина явился неподписанный фельетон «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист «Современника», напечатанный в кн. 4 «Русского слова». Таково было начало этой резкой полемики, начавшейся с грубых выпадов обеих сторон, полемики, которую реакционная печать поспешила со злорадством объявить «расколом в нигилистах». В дальнейшем Салтыков-Щедрин прямого участия в разгоревшейся полемике не принимал, и ее вел со стороны «Современника» М. А. Антонович (см. примечания к статье «Реалисты» в т. 3 данн. изд.).

Что касается основного вопроса полемики (если откинуть различные личные выпады и обвинения) — о роли народных масс, то его Писарев затронул вновь в следующей по времени статье «Мотивы русской драмы».

[1] ...*Фет, решившись посвятить... умственные способности... преследованию хищных гусей...* — Имеются в виду очерки поэта А. А. Фета «Из деревни», опубликованные в «Русском вестнике» (1863, кн. 1 и 3). В них Фет выступил с характерными для реакционера-крепостника жалобами на ухудшение поместной жизни, на грубость и нерадивость крестьян после реформы 1861 г., с обвинениями против демократической литературы. В главе «Гуси с гусенятами» Фет рассказывает о крестьянских гусях, которых он поймал на своем поле, взыскав затем штраф с хозяина гусей. Реакционные ламентации Фета в этих очерках, в частности — эпизод с гусями были осмеяны демократической сатирой в 1863—1864 гг.

[2] В 1863 г. в издании Солдатенкова вышли два тома «Стихотворений» Фета. В «Русском слове» за 1863 г. это издание вызвало ряд сатирических откликов, направленных против реакционного «чистого искусства».

[3] ...*«порабощение искусства», не снившееся даже г. Ахшарумову...* — См. об Ахшарумове прим. 26 к статье «Схоластика XIX века» (т. 1 данн. изд.).

[4] Стоящие в кавычках выражения взяты из стихотворений Фета «Шепот, робкое дыханье...» (1850) и «Грезы» (1857).

[5] *Исполин-ловец, московский Немврод, московский атлет* — издатель «Русского вестника» реакционер М. Катков. В фельетоне В. А. Зайцева «Перлы и адаманты нашей журналистики (очерк первый)» («Русское слово», 1863, кн. 4) говорилось: «Русский вестник» напоминает собой судьбу царя Навуходоносора, который, как известно, после славного существования вдруг очутился на пастбищах между четвероногими» (стр. 12—13).

[6] ...*платонический любитель славянских идей в сотый раз повторяет в своей газетке...* — Иронический выпад против славянофила И. С. Аксакова и издававшейся им газеты «День».

[7] *Хроникер «Отечественных записок».* — Речь идет о ежемесячной «Современной хронике в России» в журнале «Отечественные записки» А. Краевского и С. Дудышкина, в которой события дня освещались с либерально-охранительных позиций.

[8] *«Время»* — см. прим. 3 к статье «Схоластика XIX века» (т. 1 данн. изд.). Поэт и критик Аполлон Григорьев, близкий к славянофилам, и реакционный публицист и философ-идеалист Н. Н. Страхов в 1861—1863 гг. были постоянными сотрудниками этого журнала. Н. Косица — псевдоним Н. Страхова, которым он обычно подписывал полемические статьи в журнале «Время».

[9] *Хаоса бытность довременну* — стих из оды Державина «Бог».

[10] *Боско* Бартоломео (1793—1863) — известный итальянский фокусник; выступал в России. Кто имеется в виду под именем Михайла Васильевича — не ясно.

[11] ...*Сенека, Лукан и Люций рассуждают весьма горячо о бессмертии души...* — Иронический намек на лирическую драму А. Н. Майкова «Люций» («Три смерти»). Вторая часть драмы была помещена в кн. 2 «Русского вестника»

за 1863 г. — *Умирающая Маня* — намек на поэму Вс. Крестовского «Весенняя смерть» («Русское слово», 1861, кн. 10).

[12] Писарев имеет в виду следующее место из фельетона «Наша общественная жизнь» Салтыкова-Щедрина, опубликованного в кн. 1 «Современника» за 1864 г. Воспроизводя разговор с тем «нигилистом», который считает, что «наука все даст со временем» и что «жизненные трепетания» — «положительный вздор», Щедрин в заключение пишет: «Я сказал вещь не менее резонную, когда утверждал, что нигилисты суть не что иное, как титулярные советники, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты». Первоначально это было сказано Щедриным в фельетоне «Наша общественная жизнь» в кн. 12 «Современника» за 1863 г.

[13] Говоря о Салтыкове-Щедрине, что он *сегодня с «Русским вестником», завтра с «Современником»*, Писарев намекает на то, что Щедрин свой цикл «Губернских очерков» печатал в «Русском вестнике» в 1856—1857 гг. Эпизодически помещая отдельные свои очерки в «Современнике» еще с 1857 г., Салтыков-Щедрин в ходе размежевания лагерей в журналистике 1860-х гг. все теснее сближается с «Современником», а с 1862 г. входит в его редакцию. Но Писарев стремится представить здесь этот переход от печатания произведений в «Русском вестнике» к активной работе в «Современнике» как проявление беспринципности Щедрина.

[14] *Надимов* — тип идеального чиновника, разоблачающего злоупотребления, из либерально-обличительной пьесы В. А. Соллогуба «Чиновник». Революционно-демократическая критика 1860-х гг. осмеяла поверхностный «обличительный пафос» Надимовых, не идущих далее громких слов по поводу мелких частных злоупотреблений. Писарев, иносказательно говоря о том, что Щедрин «сооружал фигуру идеального чиновника Надимова» в «Губернских очерках», в полемических целях явно раздувает связь автора очерков с либерально-обличительным направлением в литературе 1856—1858 гг.

[15] *Остатками кошихинской старины* Писарев называет здесь пережитки крепостничества по имени Г. Кошихина (точнее: Котошихина), подьячего Посольского приказа, оставившего записки «О России в царствование Алексея Михайловича», где в отрицательных тонах описан быт тогдашней России, в частности обрисовано невежество бояр и т. д.

[16] Разбор драмы Писемского «Горькая судьбина» в неподписанной статье (отдел «Петербургские театры») в журнале «Современник», 1863, кн. 11, принадлежит М. Е. Салтыкову-Щедрину. В этой статье дается резкая оценка Писемского как писателя, лишенного определенных идеалов и мировоззрения: Писемский осуждается за грубый и внешний натурализм его описаний и характеристик.

[17] *...Писемский... в своем последнем, отвратительном произведении...* — Имеется в виду роман Писемского «Взбаламученное море» (1863), представлявший собою клевету на демократическое движение 1860-х гг.

[18] *«Сын отечества»* — «газета политическая, литературная и ученая», выходила с 1862 г. (вместо журнала под тем же названием, 1856—1861) под редакцией А. В. Старчевского. На издании этой газеты, дававшей по преимуществу поверхностные заметки на различные литературные и научные темы, Старчевский нажил крупное состояние.

[19] См. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. III, Л. 1934, стр. 183. В цитатах имеются отдельные отступления стилистического характера от текста Щедрина.

[20] См. указ. изд., стр. 224.

[21] См. указ. изд., стр. 240.

[22] См. указ. изд., стр. 242.

[23] См. указ. изд., стр. 245—246.

[24] *Иона-циник* — тип помещика, предающегося оргиям и похождениям «по части клубнички», в романе А. Ф. Писемского «Взбаламученное море».

[25] См. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. III, Л. 1934, стр. 276—277.

[26] См. указ. изд., стр. 136.

[27] Рассказы и очерки Салтыкова-Щедрина, составившие затем циклы «Невинных рассказов» и «Сатир в прозе», первоначально печатались в различных журналах («Современнике», «Русском вестнике» и др.) с 1857 по 1863 г.

[28] Первый пример взят из очерка «Деревенская тишь» (см. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. III, Л. 1934, стр. 374); второй — из очерка «Для детского возраста» (указ. изд., стр. 344).

[29] Из очерка «Наш дружеский хлам» (указ. изд., стр. 371).

[30] Цитируемые здесь Писаревым два места из рассказа «Миша и Ваня» были исключены Салтыковым-Щедриным во втором издании сборника «Невинные рассказы» (1881 г.).

[31] Стихотворение «Слезы кукушки» (подписанное псевдонимом Куку) было напечатано в журнале «Отечественные записки» (1861, кн. 4). Оно представляло собою сочетание слезливой элегичности с «гражданскими» мотивами, стоящее на грани пародии.

[32] Имеется в виду исторический роман А. К. Толстого «Князь Серебряный», напечатанный первоначально в журнале «Русский вестник» (1862 г.).

[33] Подчеркнутыми словами Писарев хочет выразить ту мысль, что критика Щедрина со стороны «Русского слова» не должна быть отождествляема с той травлей демократической литературы и ее представителей, которую систематически вела реакционная журналистика; *«свирепствующие старцы»* — здесь реакционеры-крепостники.

[34] Цитата из стихотворения Д. В. Давыдова «Современная песня» (1836).

[35] *«Подводный камень»* — роман М. В. Авдеева, имевший при своем появлении (1860 г.) шумный успех благодаря своей теме (уход жены, полюбившей другого, от мужа).

МОТИВЫ РУССКОЙ ДРАМЫ

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1864, кн. 3; затем вошла в ч. 1 первого издания сочинений (1866 г.). В первом издании сравнительно с журнальным текстом имеют место отдельные мелкие корректурные искажения. Здесь печатается по тексту первого издания с исправлением его погрешностей по журнальному тексту.

Хотя статья и не содержит прямых элементов полемики с тогдашней редакцией «Современника», однако она тесно связана с этой полемикой, воз-

никшей в начале 1864 г. Более того. Она проливает свет на основные пункты наметившихся расхождений. В новых условиях временного спада демократического движения здесь Писаревым выражены имевшие у него и ранее место сомнения по вопросу о готовности народных масс к революционному выступлению. Именно в этих целях Писарев обратился к анализу вышедшей более трех лет назад драмы Островского «Гроза». В 1860 г. анализ этой драмы и истолкование образа Катерины были даны в статье Добролюбова «Луч света в темном царстве». Выводы Писарева оспаривают трактовку образа Катерины в этой статье Добролюбова. Но сам Писарев указывает здесь, что в статье дело идет не просто об истолковании произведений Островского и характера Катерины, а «об общих вопросах нашей жизни». Рассматривая Катерину как «решительный цельный русский характер», Добролюбов стремился показать развитие народных стремлений к свету, свободе, рост народного самосознания, который неизбежно должен привести к непосредственному выступлению народа. Как видно из всего контекста статьи Писарева, он ясно понимал этот основной смысл статьи Добролюбова. Но он резко выступает против такой оценки образа Катерины, обвиняя Добролюбова в увлечении, в идеализации этого образа. В условиях спада первой сильной волны демократического движения Писарев по-иному представляет себе ближайшие тактические задачи демократического движения. Он полагает, что нет еще условий для непосредственного выступления народных масс, что они еще недостаточно сознательны для этого. «Грустно расставаться с светлою иллюзиею, а делать нечего, — пишет он, — пришлось бы и на этот раз удовлетвориться темною действительностью». Ближайшей задачей для него представляется развитие и распространение знания, формирование мыслящих работников - типа Базаровых, которые «не Катерине чета». Эти мыслящие работники должны положить свои силы на подготовку всех необходимых условий для решительного переустройства общественной жизни на разумных и справедливых началах, просветить общество. «Много ли, мало ли времени, — говорит он, — придется нам идти к нашей цели, заключающейся в том, чтобы обогатить и просветить наш народ, — об этом бесполезно спрашивать. Это — верная дорога, и другой верной дороги нет».

Статья Писарева ясно свидетельствует о его демократических устремлениях. В ней дана резкая критика «темного царства», выражено глубокое сочувствие интересам народа. Но в ней же отразились и колебания Писарева в эти трудные годы, его сомнения в возможности непосредственно, без долгих и напряженных усилий вызвать широкое демократическое движение, которое положит конец «темному царству».

Полемический характер носила и оценка произведений Островского, опубликованных в 1862—1863 гг., — драматической хроники о К. Минине и сцен «Тяжелые дни». Островский в эти годы продолжал помещать свои пьесы в «Современнике». Таким образом, критика этих произведений была рассчитана Писаревым как удар по редакции «Современника», которая, по его мнению, печатая такие произведения, проявляет идейную неразборчивость. В ответных критических выступлениях «Современника» (статьи М. А. Антоновича) в дальнейшем большое место заняла защита статьи Добролюбова (см. примечания к статье «Посмотрим!», т. 3 данн. изд.).

[1] *Любителями патриотических иллюзий* здесь Писарев, очевидно, называет представителей славянофильской и «почвеннической» критики. Так, с возражениями Добролюбову относительно его оценки пьес Островского выступал А. Григорьев («После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу» — газета «Русский мир», 1860, №№ 5, 6, 9 и 11).

[2] *...три эти басни...* — «Пустынник и медведь», «Музыканты» и «Вельможа».

[3] Имеется в виду книга английского позитивиста Джорджа Генри Льюиса «Физиология обыденной жизни», выходившая в 1860-х гг. в русском переводе и популярная в то время.

[4] *...все это беседы о честности зипуна и о необходимости почвы...* — Эти иронические слова направлены в адрес так называемых «почвенников», писателей, сгруппировавшихся в 1861—1863 гг. вокруг редакции журнала «Время» (см. о нем прим. 3 к статье «Схоластика XIX века» в т. 1 данн. изд.). Истолковывая идеи народности с реакционных позиций, «Время» постоянно писало о необходимости обращения к «почве». В объявлении об издании «Времени» в 1863 г. говорилось между прочим: «Зипун — одежда честная».

[5] Цитата из романа в стихах Я. П. Полонского «Свежее предание», гл. 4 (см. о нем прим. 1 к статье «Бедная русская мысль»).

[6] *...с бескорыстием, достойным самого идеального станового...* — Намек на главного персонажа комедии Н. М. Львова «Предубеждение, или не место красит человека, человек — место» (1858), типичного произведения либерально-обличительной литературы 1850-х гг. (см. о ней прим. 30 к статье «Схоластика XIX века» в т. 1 данн. изд.).

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор П. А. Сидоров
Художник А. М. Гайденков
Художественный редактор
А. Ф. Кукуричкина
Технический редактор
Л. П. Крючкина
Корректор А. А. Большаков

Сдано в набор 13/IV 1955 г.
Подписано к печати 10/IX 1955 г.
М-48323. Бумага 60×92/16=27 печ. л.=
=27 усл. печ. л. 28,41 уч.-изд. л.
Тираж 75 000 экз. Заказ № 26.
Цена 12 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности. 2-я типография
«Печатный Двор» им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

ГОСТЕХИЗДАТ

1955